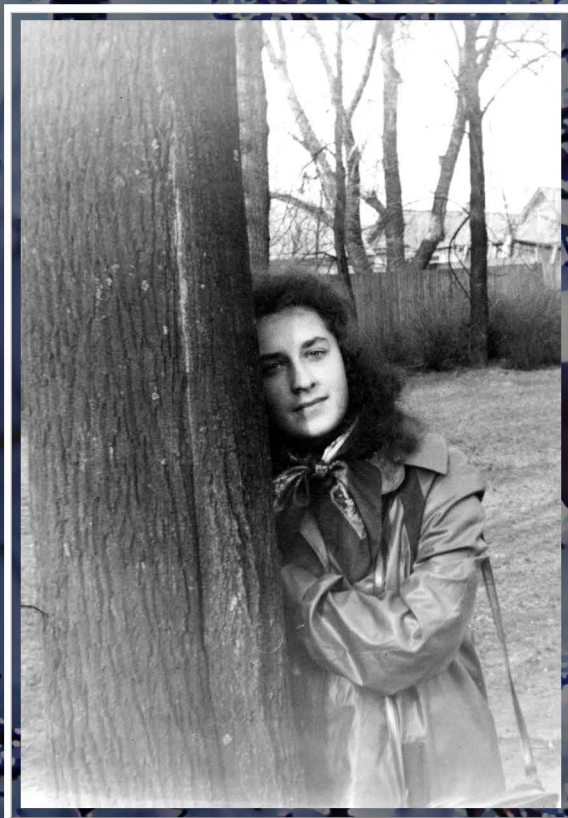


ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА



У
Дополнительные материалы

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА

Против эмпирионатурализма

V

Дополнительные материалы

**Москва
2012**

<http://unism.pjwb.net>

<http://unism.pjwb.org>

<http://unism.narod.ru>

- © Допускается копирование текста и элементов оформления в любой форме, целиком или частично, с любыми изменениями, включая перевод на другие языки, с любыми целями (в том числе коммерческими), при условии, что это не ограничивает свободы распространения данного оригинала.

Ой, что это?

Как только появилась возможность что-то выставлять на всеобщее обозрение в компьютерных сетях — грех было не воспользоваться. Раскручивали сайт потихоньку, по мере расширения круга доступных технологий, в перерывах между эпизодами тупо животного выживания в дебрях российского капитализма. Выкарабкивались из одних бед — влетали в другие... Но кое-какие задумки засветить удалось. К моменту завершения большого трактата о любви — накопилось энное количество текстов, которые, по большому счету, все про то же, — и вместо того, чтобы встраивать их в структуру, решили просто перепечатать готовое. Исключительно для удобства: пусть будет под рукой.

Воспроизводим только русскоязычные страницы сайта, опуская все, что не очень в тему: вопросы логики, теории и философии искусства, заметки о математике, физике, лингвистике, — и науке вообще... Что-то опубликовано ранее, и можно не повторяться; другое (вроде введения в философию и книги об эмпириомонизме) слишком объемисто — тянет на отдельные тома. В общем — что получилось, то и ладно.

Перепечатаваем прямо по содержанию сайта — с минимальными адаптациями, чтобы соблюсти единый формат. Разумеется, один кусочек никак не зависит от другого — и порядок не столь важен: дружат как умеют. По каждому разделу — ссылки на зеркала; не факт, что это будет жить долго (в Интернете все меняется, да и денег навеки не хватит).

Найдется для кого-то полезное — замечательно. У кого не пойдет — мы не в обиде. В принципе, четырех томов основного текста достаточно. Но если есть возможность, почему бы не позволить себе излишества — в разумных дозах?

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД

<http://unism.pjwb.net/his/hisr.htm>

<http://unism.pjwb.org/his/hisr.htm>

<http://unism.narod.ru/his/hisr.htm>

ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Вводные замечания

Мы живем в этом мире, и встречаем в нем много различных вещей; мы наблюдаем разного рода события, принимаем участие в публичной деятельности или делаем что-то для себя. Все это как-то организовано, и мы чувствуем это, даже если нас не особо заботит поиск закономерностей. Существуют разные способы говорить об этой всеобщей упорядоченности вещей и событий. В общем случае, внешнее разнообразие сопоставляется с некоторой интуитивно выделенной общностью, и вводятся специальные названия для того и другого, свои для каждой сферы деятельности. В конце концов, мы приходим к универсальным парадигмам, применимым ко всякой деятельности вообще. Так, в начале XX века достижения формализованной науки суммировал *структурный* подход. Однако его недостаточность стала очевидной спустя всего несколько десятилетий, и пришлось дополнить структурные исследования *системными* взглядами, в соответствии с развитием устройств автоматического управления. Логично дополнить структурный и системный подходы еще одной, столь же универсальной парадигмой, которую мы здесь будем условно называть *иерархией*.

Основная идея следует из обыденного использования слова. Во многих практических ситуациях вещи не только взаимосвязаны или взаимно превращаемы — они также отличаются от других вещей по своему *уровню*. Структуры и системы разного уровня могут сосуществовать в рамках одной деятельности. Это «вертикальное» упорядочение отражено в терминах «иерархическая структура» и «иерархическая система» — равно как и во множестве других понятий (например: «многоплановость», «стратификация», «соподчинение» и т. д.). Аналогичные идеи возникают и при анализе развития, которое обычно представляют себе направленным от низкоуровневых форм к каким-то образованиям более высокого уровня. Тем не менее, очевидна

взаимообусловленность различных уровней; как минимум, они всегда будут уровнями чего-то, образуя вместе одно целое. Ни структурный, ни системный подход не могут объяснить подобный тип целостности. Логично поэтому как-то обозначить его (например, термином «иерархия») — и потом уже изучать его общие законы и возможные следствия.

Разумеется, в таком контексте иерархия далека от исходной христианской этимологии «священного порядка», восходящей к мифологической космологии ранних первобытных общин. Поскольку отношения между уровнями подобной картины мироустройства были не изучены, казалось, что они привнесены некоторой высшей силой, божеством, и такой порядок вполне естественно назывался священным — иерархией. Религиозная идея не допускает никакой свободы в истолковании предписаний свыше, и потому термин «иерархия» должен был оказаться статичным, обозначая преимущественно иерархические структуры, жесткие последовательности заранее определенных уровней с фиксированными отношениями между ними. Это абсолютным образом отделяло один уровень иерархии от другого: никакие подвижки не допускались — и само существование таких уровней оставалось загадкой. Не удивительно, что подобные картины испокон веков использовались идеологами правящих классов для оправдания экономического и социального неравенства.

Чтобы избежать нежелательных ассоциаций, можно было бы подобрать другое имя — или даже использовать подходящий неологизм. Примеры таких лингвистических упражнений наблюдаются в литературе (напр., «гетерархии» Э. Н. Елисеева). Чаше, впрочем, специфика идеи переносится на уже известные категории («структура», «система», «целостность», «всеобщность» и др.). Чтобы подчеркнуть объективность развития любой стратификации, можно было бы, например, ввести термин «идиархия» — от греческих слов «*idios*» (собственный) и «*arhe*» (порядок, подчинение), — что можно было бы примерно перевести как «естественный порядок вещей». Однако обилие искусственных дополнений к словарю зачастую не слишком проясняет дело, и я придерживаюсь старого названия «иерархия», предупреждая об отсутствии каких-либо мистических оттенков. Никакой термин не совершенен, а для понимания — нужно хотеть понять.

Здесь мы представляем лишь эскиз иерархического подхода, показываю его отдельные аспекты. Более подробное обсуждение было

ранее опубликовано¹ — но вряд ли можно всерьез ожидать полноты изложения предмета, который по своей сути не может принадлежать ни к какой ограниченной области. Иерархии вокруг нас — однако нам еще только предстоит постигнуть их действительную всеобщность. А достигается это лишь в практической деятельности по пересозданию мира, превращению его из природы в культуру. Тем временем, немножко философии может пригодиться для выработки предварительных представлений, концептуальных рамок.

Не потребуются создавать что-то нуля. Иерархический подход продолжает историческую линию постижения уровней организации, и намек на практически любую идею может быть найден в литературе, от клинописных надписей Древней Месопотамии — до современных мультимедийных книг. Может показаться странным, и даже привести в легкое замешательство, тот факт, что люди до сих пор с трудом воспринимают иерархические идеи, изобретая вместо них громоздкие и неуклюжие концептуализации для объяснения чего-то, что само собой понятно в рамках иерархического подхода. Мы уже готовы к восприятию целого — но умы пока недостаточно гибки, чтобы сложить разрозненные фрагменты воедино. Надеюсь, эти страницы внесут свой вклад в развитие универсальности человеческого мышления.

Структуры, системы, иерархии

Разум всегда стремился к целостности. Для первобытного ума нет ничего кроме огромного разнообразия ситуаций, требующих адаптивной реакции. Человек, умудренный опытом, умеет помимо этого выделять классы похожих ситуаций на основе сходства способов реагирования. Так разнообразие мира начинает восприниматься как проявление его целостности.

Мы не собираемся обсуждать здесь иерархию целостности вообще. Достаточно упомянуть, что на определенном уровне целостности мы рассматриваем возможные способы соединения отдельных сущностей (элементов) в целое, и здесь есть три взаимно противоположных возможности, которые обозначаются словами «структура», «система» и «иерархия». Разумеется, в реальных вещах не может в чистом виде проявиться какой-либо один тип организации; скорее, следует говорить

¹ P. Ivanov, *Philosophy of Consciousness* (Trafford, 2009).

о структурных, системных и иерархических аспектах одной и той же вещи.

Структура говорит о внутренней организации объекта. Объект состоит из некоторого количества *элементов*, с какими-то *отношениями* между ними; когда один элемент непосредственно соотносится с другим, мы говорим, что эти элементы соединены друг с другом. Если некоторый элемент соединен с двумя различными элементами структуры, эти последние оказываются соотнесены друг с другом *посредством* того элемента, с которым они оба соединены; так элемент структуры может *опосредовать* соединения между другими элементами. Такие *опосредованные* (или *косвенные*) соединения могут быть весьма сложными, с множеством промежуточных элементов и альтернативных путей опосредования. Набор всех прямых и непрямых отношений между двумя элементами в структуре называется их *связью* в этой структуре. Поскольку внутренние различия определяются качеством объекта, структурное описание по своей сути *статично*.

Система — описывает внешнюю (наблюдаемую) организацию объекта; мы часто говорим о «поведении» объекта — или, скорее, о его «функционировании». В общем случае, система принимает что-то из своей среды на *входе* и порождает что-то на *выходе*, в зависимости от *состояния* системы, которое включает все внутренние и внешние факторы, не относящиеся к входу и выходу. Иначе говоря, система — способ преобразования одной структуры (вход) в другую (выход), а механизм этого преобразования задан структурой системы (включая как внутренние структуры, так и структуру среды). Системное описание объекта является *динамическим*, поскольку речь идет о последовательностях реакций системы на выделенные внешние воздействия. Разные системы могут быть «скоммутированы» друг на друга, превращаясь в компоненты более обширной системы.

Иерархия предполагает превращение внешних аспектов объекта в его внутреннюю организацию и наоборот, внутренняя организация становится внешним различием. Рефлексивность (самоотражение) — ключ к пониманию таких преобразований. Например, система может изменить свое окружение так, что это повлияет на ее вход, как в обычных схемах с обратной связью. Однако часть среды, обеспечивающая обратную связь, может быть включена в состав исходной системы, которая тогда становится иерархической: один уровень отвечает исходной «чистой» функциональности, а другой — вводит своего рода

«саморегуляцию». Точно так же перегруппировка рефлексивных связей делает структуру иерархической. В качестве объективного явления, такая реорганизация структур и систем широко известна как *развитие*.

Хотя описанные три уровня организации качественно различны, представляя взаимно дополнительные стороны одного целого, они также взаимно рефлексированы. Структурные свойства могут быть переформулированы в системных терминах, а некоторые аспекты функционирования системы допускают структурное описание. Например, в физике структуры часто возникают как инварианты динамических групп; с другой стороны, временная координата может трактоваться наряду с пространственными координатами, и динамика оказывается представленной особенностями геометрии пространства-времени. Аналогично физика допускает моделирование иерархического упорядочения, например, путем введения разного рода эффективных величин (средних потенциалов, самосогласованных полей, асимптотических условий и т. д.). Но подобные модели не могут полностью свести структуры к системам, системы к структурам — и, конечно, иерархии могут лишь в ограниченной мере быть представлены структурами или системами. В частности, временная координата не представляет время во всех его аспектах; чтобы понять отличие исторического времени от системной динамики нужен иерархический подход. Исследование развития снимает как статическое, так и динамическое описание, рассматривая ту же самую вещь как последовательность стадий ее развития отраженную в наборе уровней ее иерархии.

Из философии известно, что каждая единичная вещь имеет три взаимодополняющие стороны. Первично, вещь из чего-то состоит, и это что-то мы называем ее *материалом*. Нет ничего в мире, что могло бы существовать без всякого материала — хотя определение того, что служит материалом для конкретной вещи, может быть весьма нетривиальной задачей. Тем не менее, материал не полностью характеризует вещь; много разных вещей могут быть сделаны из одинакового материала, различаясь меж собой своей *формой*. В частности, видимые очертания вещи частично характеризуют ее форму. Однако раздельное рассмотрение материала и формы вещи ничего не говорит о том, почему этот именно материал должен принять именно эту форму, чтобы получилась именно эта вещь. Ни материал, ни форма, не предполагают необходимости вещи, не определяют ее уникальность в мире в целом. Есть что-то в вещи, что связано с ее бытием как она есть, историей ее

рождения, развития и гибели. Философ мог бы назвать это *содержанием*, единством материала и формы.

Структура, система и иерархия как уровни организации относятся к форме вещи. Однако можно заметить, что стабильность структуры как-то связана с материальным устройством вещи, тогда как ее содержание соотносимо с ее развитием — и, следовательно, иерархией.

Важное отличие иерархического подхода от простого рассмотрения иерархических структур или систем состоит в том, что существование многочисленных уровней объясняется ее объективным развитием, в то время как в рамках структурного или системного подхода оно может быть только постулировано, привнесено извне. Как только мы принимаем, что иерархичность есть нечто отличное от структурности и системности, иерархические структуры сразу же возникают как отпечаток развития объекта на его внутренней организации, а иерархические системы есть лишь проявление зависимости функциональности объекта от его естественной истории.

Фундаментальные принципы

В качестве общего введения, можно попытаться сформулировать основные принципы иерархического подхода. Конечно, этот перечень не может быть исчерпывающим — и другие перечисления пригодились бы с тем же успехом, описывая то же самое с другой стороны. Сама мысль о полном каталоге относящихся к делу категорий и принципов несовместима с иерархическим подходом. Тем не менее, любые практические приложения требуют некоторого ментального каркаса, и подобные схематические наброски могут помочь усвоению общей идеи: иерархичность как основной механизм процессов развития.

Холизм

Категория «иерархия» передает идею самодостаточной вещи, которая остается собой во всевозможных контекстах. Хотя она может по-разному проявляться в разных отношениях, все такие проявления внутренне взаимосвязаны и определяются единым организационным центром, целым данной вещи. В то время как для определения формы и движения вещи требуется взаимодействие с ее средой, развитие вещи идет от внутренней динамики, хотя бы и направляемой и оформленной извне.

Иерархическая структура

Иерархия проявляет себя, прежде всего, как упорядоченный набор ясно различимых уровней, так что высшие уровни в каком-то смысле доминируют над низшими; способ этого различения зависит от того, в каком аспекте взята иерархия. Элементы верхнего уровня могут, например, представлять классы элементов нижнего уровня или какие-либо интегральные характеристики движения на нижнем уровне. В любом случае верхние уровни «надстроены» над нижними, они не могут без них существовать, хотя внешне дело выглядит так, будто низшие уровни полностью подконтрольны высшим.

Иерархическая система

Каждая иерархия в любой конкретный момент взаимодействует со своим окружением как иерархическая система, преобразующая иерархически структурированный вход в иерархически структурированный выход. Это предполагает наличие некоторой внутренней иерархии в системе, формально представленной иерархией состояний системы. Иерархические системы невозможны без иерархии каналов обратной связи, и движение системы иерархически организовано в соответствии с происходящими в них циклическими процессами. Из-за этого различение «внутренних» и «внешних» структур становится относительным; как правило, оно определяется характерными временами циклических процессов.

Бесконечная делимость

То, как два уровня иерархии соотносятся между собой, составляет некоторую особую сущность, которая может трактоваться как уровень той же иерархии, лежащий между двумя исходными. Поэтому в иерархии не может быть никакой «окончательной» структуры, и между двумя любыми уровнями найдется еще один. Выделение таких промежуточных уровней называется *развертыванием* иерархии.

Свертывание

Набор промежуточных уровней между любыми двумя уровнями иерархии можно просто считать способом опосредования их связи. Все многообразие промежуточных уровней сводится таким образом к внутренней организации связи, не влияя на качественное своеобразие взаимоотношений выделенных уровней. *Свертывая* это опосредование,

мы превращаем опосредованно связанные уровни в смежные. Общее количество уровней иерархии может быть таким образом уменьшено, что дает менее детализованную картину иерархии. Это процесс, противоположный развертыванию иерархии.

Обращение иерархий

Всякая иерархия может быть свернута и развернута по-другому; в результате может получиться иерархическая структура или система, совершенно не похожая на первоначальную (другое *обращение* иерархии). А значит, иерархические структуры или системы нельзя представлять себе чем-то абсолютно жестким — всякая иерархия понимается как единство всех возможных обращений, различных граней, которые внутренне связаны и превращаются одна в другую в определенных условиях (процесс обращения).

Относительность вертикали

В силу обращаемости иерархий, не бывает раз и навсегда заданного «верхнего уровня», хотя в любой иерархической структуре или системе такой уровень обязательно есть. Всякий элемент иерархии может стать вершиной некоторой иерархической структуры и, следовательно, представителем иерархии в целом.

Полная связанность

Различие элементов и их связей внутри иерархии может относиться только к определенному ее обращению — это различие относительно. Точно так же, любые функциональные различия (вход и выход, внутреннее и внешнее) относятся к определенной иерархической системе, к одному из обращений иерархии.

Самоподобие

Любой компонент иерархии — тоже иерархичен, он может развертываться точно так же, как иерархия в целом. Само различие части и целого становится таким образом относительным, и можно сказать, что любая часть иерархии содержит ее целиком; по сути дела, часть становится эквивалентна целому. В частности, иерархия представлена в каждом своем элементе.

Качественная бесконечность

Иерархия не предполагает жесткого порядка уровней — это, скорее, многомерное образование. Количество ее измерений «бесконечно» в том же смысле, что и количество уровней. Однако каждое обращение иерархии предполагает одномерное упорядочение уровней, каждый из которых характеризуется определенной размерностью.

Обращение иерархий

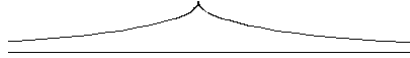
Хотя иерархия всегда проявляется как последовательность уровней (иерархическая структура или система), выделение этих уровней не столь однозначно, как в структурном или системном подходе. Иерархическое обращение — ключ к пониманию иерархичности как таковой. Обращаемость иерархий предоставляет твердую почву для разного рода интегративных исследований. В общих чертах, мы видим, что, рассматривая нечто с какой-то одной *стороны*, мы выделяем его специфический *аспект*. Одна и та же вещь может быть включена в самые разные деятельности (процессы, отношения) и может по-разному выглядеть в разных условиях, вплоть до практической неузнаваемости. Иерархический подход рассматривает все подобные проявления одной и той же иерархии как ее *обращения* (по аналогии с возможными обращениями аккорда в музыке).

Однако обращения иерархии не бывают случайными — они всегда отражают ее общую организацию. Это означает, что никакая структурность или системность не может привноситься извне как данность; контекст только делает один из элементов наиболее выраженным, а в остальном многоуровневая конструкция разворачивается сама в соответствии с внутренними связями элементов иерархии.

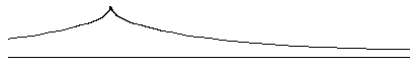
Например, представим себе скомканную сеть, кучей лежащую на полу. Если потянуть вверх один из ее узлов, за ним потянутся соседние узлы, непосредственно с ним связанные, — они, в свою очередь, потянут за собой своих соседей, и так далее. В конце концов мы получим сеть, свисающую от одного удерживаемого узла, и каждый узел будет находиться на определенном расстоянии от пола. Образовалась иерархическая структура. Начиная с другого узла, мы придем к по сути такому же результату, только узлы теперь будут на других расстояниях

от пола, в другом порядке. Так, меняя начальный (верхний) элемент иерархии, мы порождаем разные иерархические структуры.

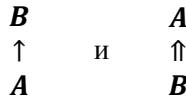
Аналогично, потянув вверх точку на горизонтально лежащей веревке, мы получим иерархическую структуру, упорядочивающую точки веревки по их расстоянию от плоской поверхности:



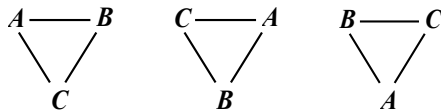
Если потянуть за другую точку, получим другое упорядочение точек:



Эта другая иерархическая структура представляет собой лишь другое представление (другое *обращение*) той же иерархии. Чтобы понять, откуда возникает образ вращения, рассмотрим еще один пример. В простейшей иерархии — всего два элемента и одна связь между ними. Два возможных обращения можно изобразить следующим образом:



Заметим, что связь от A к B — другого рода, нежели связь от B к A , что подчеркивается обозначениями на схеме. Пример с обращением триады дает еще более сильное впечатление вращения:



Разумеется, такие частные примеры не передают всего спектра возможностей иерархического обращения. Однако они наглядно показывают, как иерархически организованная вещь может представлять перед миром то в одном, то в другом облике, одновременно и меняясь, и оставаясь сама собой. Кроме того, вышеприведенные примеры с сетью и веревкой демонстрируют еще одно важное свойство обращения: чтобы перейти к другому обращению, требуется *свернуть* исходную структуру, привести иерархию в некоторое нейтральное состояние, после чего можно *развернуть* ее в другую структуру, начиная с одного выделенного

элемента, *представляющего* новое обращение иерархии (новую иерархическую структуру). В дискретном случае необходимость этих двух операций не так очевидна — но они так или иначе будут присутствовать.

Развертывание иерархий

Логика развертывания проистекает из принципа относительности различения элементов иерархии и их связей. Так, в схеме

$$A \rightarrow B,$$

связь \rightarrow можно трактовать как элемент иерархии M опосредующий связь между A и B :

$$A \rightarrow M \rightarrow B.$$

В результате мы получаем три уровня иерархии вместо исходных двух. Связь любых двух уровней может быть представлена промежуточным уровнем, так что иерархия может быть развернута снова и снова. Это пример качественной бесконечности любой иерархии.

Еще раз подчеркнем, что качество связей между элементами и уровнями иерархии зависит от способа ее развертывания, и похожие структуры могут представлять совсем разные обращения. Много примеров можно найти в современной математике, где одно и то же понятие (например, множество) может появляться в совершенно разных концептуальных рамках (скажем, в теории чисел или в рамках категорного подхода), с сохранением всех его свойств, но в иной интерпретации. Иногда различие может быть продемонстрировано явно, как в случае интегралов Римана и Лебега, которые совпадают в несингулярной области, но приводят к разным результатам при наличии сингулярностей.

Хотя идея развертывания иерархий может показаться трудной для понимания, на практике мы с ним постоянно встречаемся в повседневной жизни. Так, встречая кого-либо в первые, мы обычно обращаем внимание на отдельные внешние черты или особенности поведения; в дальнейшем знакомство развивается путем углубления или ограничения этого первоначального впечатления. Точно так же, начиная крупный проект, мы разбиваем его на относительно самостоятельные этапы, которые впоследствии расщепляются на ряд задач и подзадач.

В природе иерархическое развертывание часто связано с флуктуациями, с нарушением симметрии, с «бифуркациями» (в смысле теории катастроф). Во всяком случае, это естественный процесс, соотносящий вещь с ее окружением.

Свертывание иерархий

Обратный развертыванию процесс свертывания иерархий представляет всякую непрямую (опосредованную) связь

$$A \rightarrow M \rightarrow B$$

прямой связью иного рода:

$$A \Rightarrow B.$$

Интуитивно, это соответствует распространенной в рассуждениях логической фигуре: из того, что две вещи связаны *посредством* третьей вещи, следует, что эти две вещи как минимум *связаны*. Фокус смещается с опосредования (механизма) связи на саму связь, поскольку во многих приложениях нам не требуется вникать в детали, и можно довольствоваться общим результатом.

Свертывание — это переход от исходной иерархической структуры к другой иерархической структуре, которая по каким-то признакам «проще» исходной. В нашей повседневной жизни типичный пример иерархического свертывания — процесс *обучения*, когда сложное действие сначала выполняется операция за операцией, но постепенно свертывается в одну операцию, не требующую сознательного контроля промежуточных шагов.

В принципе, иерархию можно свернуть в единственный элемент — однако обычно процесс свертывания останавливается на некотором уровне, а дальше следует развертывание в ином направлении. «Нейтральное» состояние, до которого иерархия свертывается, может быть весьма сложным, и возникает иерархия подобных состояний.

Многомерные структуры

В иерархии (идиархии), каждый элемент или связь тоже является иерархией; эта иерархия может развертываться своим собственным

образом, безотносительно к месту в конкретном обращении объемлющей иерархии. Так, схема $A \Rightarrow B$ может превратиться в нечто вроде

$$\begin{pmatrix} S_2 \\ \uparrow \\ S_1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} R_2 \\ \uparrow \\ R_1 \end{pmatrix}$$

Поскольку любая часть иерархии соединены с любой другой, схемы такого рода всегда подразумевают опущенные связи, восстановить которые их можно по-разному. Например, можно говорить о параллельном развертывании каждого из исходных уровней:

$$\begin{pmatrix} S_2 \\ \uparrow \\ S_1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} R_2 \\ \uparrow \\ R_1 \end{pmatrix}$$

Во многих случаях, однако, такого параллелизма на нескольких уровнях нет. Зачастую иерархическая структура низшего уровня (результат его развертывания) может быть представлена одним из элементов высшего уровня — в остальном движение на высшем уровне лишь косвенным образом связано со структурами низшего уровня:

$$\begin{array}{c} S_2 \rightarrow R_2 \\ \uparrow \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ S_1 \rightarrow R_1 \end{array}$$

Иерархия может развертываться во многих направлениях, и количество измерений в полученной иерархической структуре может расти до бесконечности. Однако все возможные развертывания (обращения) иерархии определяются ее целым — и в этом смысле содержатся в ней. Всякая отдельная вещь в любой момент связана бесконечным числом отношений с остальным миром, и каждое такое отношение представлено некоторой иерархической структурой. В человеческой деятельности эту бесконечность обычно удается охватить, благодаря обращаемости иерархии всевозможных обращений иерархии: в каждый момент мы видим только одно из допустимых обращений (вершину иерархии) — все остальное лишь обогащает его, придает внутреннюю сложность.

Упорядочение

Говоря, что уровни иерархии представляют стадии ее развития, мы подразумеваем, что развитие последовательно проходит ряд отчетливо выделенных этапов. Однако сам способ выделения их зависит от уровня детализации, так что выделение трех стадий может быть столь же правомерным, как и выделение пяти или двадцати. Процесс развития сам по себе иерархичен. Каждый его этап может «расщепляться» на множество подэтапов, и так далее, без конца. Обратно, небольшие изменения объединяются в более масштабные сдвиги, давая более крупномасштабную картину процесса в целом. Подобное свертывание может объединять мелкие изменения различным образом, и последовательность глобальных уровней будет разной:

$$\dots A \rightarrow B \rightarrow C \dots$$

развертывается в

$$\dots A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow \dots$$

потом свертывается в

$$\dots (A_1 A_2 B_1) \rightarrow (B_2 C_1) \rightarrow C_2 \rightarrow \dots$$

или

$$\dots A_1 \rightarrow (A_2 B_1) \rightarrow (B_2 C_1 C_2) \rightarrow \dots$$

или

$$\dots A_1 \rightarrow (A_2 B_1 B_2 C_1) \rightarrow C_2 \rightarrow \dots$$

и так далее.

Это частный случай *обращения* иерархий, выявляющего в них совершенно разные иерархические структуры и системы (различные *обращения* иерархии), оставляя ее той же самой целостностью. Каждое возможное обращение соответствует возможному пути развития.

Иерархия в движении

Статическая картина мира рисует его совокупностью возможных состояний, иерархических структур; обращение иерархии сводится в данном случае лишь к изменению «ракурса», способа представления одного и того же. Точно так же, любой единичный объект допускает

чисто структурное описание — и одна иерархическая структура ничем не лучше другой. Но если речь о сопоставлении разных вещей — в их взаимодействие вмешиваются другие вещи, опосредующие переход от одного к другому; в результате возникает идея положения вещи относительно другой вещи — или состояния. Такая связь разных иерархий тоже иерархична, и можно говорить об обращениях этой иерархии — которые традиционно называют движениями.

Простейший пример из классической механики: тело заданной массы перемещается в пространстве из одной точки в другую по некоторой траектории. Физическое тело, вообще говоря, может быть сложной формы, и как-то вращаться, — но его положение мы всегда можем представить координатами центра масс и углами ориентации; все это вместе задает состояние механической системы. Более сложный случай — непрерывное распределение массы по пространству; но и здесь движение представляется переходом от одного состояния к другому — от одной точки «конфигурационного пространства» к другой. Квантовая механика ничего не меняет: конфигурационное пространство становится ненаблюдаемым, но переходы из одного состояния в другое никто не отменял.

Но что значит, что тело находится в какой-то точке пространства? Как минимум, то, что точки пространства иерархически упорядочены в отношении этого тела: одни из них ближе, чем другие, а при наличии связей одни переходы предпочтительнее других. Эта иерархическая структура при переходе тела в другую точку должна перестроиться, так что взаимны отношения между точками пространства станут другими. Это мы и называем обращением иерархии. Но мы знаем также, что обращение как процесс (операция) — предполагает свертывание одной иерархической структуры и развертывание другой. Таким образом, движение, которое внешне выглядит просто изменением координат во времени, оказывается сложной перестройкой отношений между телами, по-разному протекающей в зависимости от строения тел и характера взаимодействий. В частности, когда такие «внутренние» иерархические структуры достаточно сложны, мгновенно свернуть их и развернуть в другой точке — не получится; это явление в механике известно как инертная масса; массивные частицы в любом случае движутся медленнее безмассовых. Перед к релятивистской динамике мы здесь не обсуждаем — но полезно иметь в виду, что существование предельной скорости возможно не только для механических систем:

идея обращения иерархий как внутреннего механизма изменений приложима к любым системам, где есть возможность определить текущее состояние. Заметим также, что «количество движения» в механике соотносят с вектором импульса, произведением массы на скорость; это в точности согласуется с иерархическим пониманием движения как обращения иерархии.

Свертывание и развертывание иерархических структур позволяет переходить от одного способа задания состояния к другому — и это может существенно изменить характер наблюдаемого движения. Например, точечное тело может казаться практически неподвижным на фоне других, гораздо более быстрых движений. С другой стороны, та же точка при одном выборе масштаба совершает плавное движение — а при другом хаотически перепрыгивает из одного места (состояния) в другое, и такое поведение придется описывать как-то иначе. Удачный выбор шкалы позволяет эффективно разделить (то есть, иерархически упорядочить) возможные движения — и сосредоточиться на том, что нас в данный момент интересует, абстрагируясь от тонких деталей и фоновых процессов.

Карту местности можно рисовать в разных масштабах; различимое на одной карте невидимо на другой. Карта в масштабе 1:1 — это уже, вроде бы, и не карта, а натурная модель. Углубляясь еще дальше, мы обнаружим ранее неведомые структуры, так что исходная целостность распадается на разные объекты, которые в каком-то приближении можно разглядывать изолированно; поскольку же любая связь может быть развернута в сколь угодно обширную иерархическую структуру, границы предмета неизбежно оказываются условностью, артефактом выбора шкалы. Значит ли это, что вполне определенных вещей вовсе не существует? И да, и нет. Чисто формально, математически, можно выбрать любые единицы измерения и выразить что угодно через все остальное. Природа устроена иначе: каждый предмет предполагает лишь те структуры, которые совместимы с его иерархией: изменение масштаба в каких-то пределах не меняет качественной картины, и в границах этой зоны шкала, по сути, остается той же самой; переход к другой шкале как правило происходит скачком, дискретно, — и образуется другая система зон. Поэтому наши представления о природе и способы ее преобразования — отнюдь не произвол; в частности, возникновение частных наук, их разделение и слияние, следует логике предмета, а не прихоти ученых. У каждой системы есть характерные

масштабы — и характерные времена изменений; чтобы изменить их — требуется построить нечто совсем другое.

Конечно, речь не только о физических движениях. То же самое справедливо и в отношении биологических систем или исторических процессов. Например, возникновение набора предпочтительных шкал в процессе восприятия высоты музыкального тона показано в рамках математической модели,² в которой также обнаружена внутренняя иерархичность каждой из устойчивых и регулярных шкал, а также существование нескольких основных типов звуковысотных систем, прямо соотносимых с историческими и этническими строями. Аналогии звуковысотных шкал обнаружены также в развитии изобразительных искусств.³ Предположительно, формирование «естественных» шкал происходит одинаково во всех нелинейных системах — и связано это с универсальностью свертывания и развертывания иерархий.

Одно из эмпирических подтверждений — иерархичность языков (как естественных, так и технологических). Несмотря на структурные различия, в строении каждого языка наблюдаются дискретные наборы единиц — а связывание их в речения вполне аналогично, например, правилам элементарной теории музыки. Сравнительно небольшое количество практически наблюдаемых типов указывает на единый принцип образования шкал. Переход от звучащей к письменной речи лишь фиксирует исторически сложившиеся шкалы.

Разумеется, структурное и динамическое описание не изолированы друг от друга — одно перетекает в другое. Можно изучать структуры движения — и трактовать рост иерархических структур как движение. Однако игра масштабов — не только проявление строения иерархий: набор возможных шкал может изменяться в ходе роста иерархичности за счет самодействия вещи, опосредованного другими вещами.

Иерархическое развитие

Вещь любой природы, как только она становится отличной от других вещей, становится также связанной со всем остальным миром.

² L. Avdeev and P. Ivanov, “A Mathematical Model of Scale Perception”, *Journal of Moscow Physical Society*, 3, 331 (1993).

³ P. Ivanov, “A Hierarchical Theory of Aesthetic Perception: Scales in the Visual Arts”, *Leonardo Music Journal*, 5, 49 (1995)

Само различие двух вещей есть уже некоторое отношение, связывающее их воедино. Будучи соотнесена с многими вещами, данная единичная вещь проявляет различные свои качества (различные обращения иерархии). В конечном итоге, входя в соприкосновение со всеми вообще вещами, данная вещь проявляется во всех своих обращениях, тем самым будучи связанной с миром в целом.

Различая то, что принадлежит самой вещи, и то, что находится вне нее, мы замечаем, что внутренняя иерархия вещи дополняется иерархией ее окружения. Внешняя и внутренняя иерархии взаимно рефлектированы. В частности, каждая единичная вещь связана сама с собой через свое окружение, играя, следовательно, роль окружения для самой себя и рефлектируя в себя. Такое рефлексивное взаимодействие со средой — основной механизм развития, процесса изменения вещи как таковой.

Итак, корни всякого развития — в *рефлексивности*, отнесенности вещи к самой себе. Но такая самоотнесенность возможна лишь посредством каких-то других вещей. В частности, для структур рассмотрение их элементов и связей как *внутренних* должно быть дополнено рассмотрением структуры извне как целого. Каждый элемент структуры становится отнесенным к самому себе благодаря отнесенности к структуре как целому. На системном уровне рефлексивность реализуется в виде разного рода схем обратной связи. На более высоком уровне *внешние* системы, осуществляющие обратную связь путем частичного перенаправления выхода исходной системы на ее вход, становятся частью исходной системы; так происходит развитие систем. Вообще, рефлексивность делает относительным само различие между внутренним и внешним — это важный признак иерархичности.

Иерархическое развитие связано с объединением нескольких вещей в целостность более высокого уровня, а это предполагает отражение новой целостности в каждом их компонентов и, следовательно, рост их внутренней иерархичности. Иначе говоря, иерархическое развитие носит *активный* характер; вещи не просто «подвергаются» изменениям или «испытывают» их — они изменяют свое окружение и меняются сами под воздействием их собственных продуктов.

Каждый акт взаимодействия объекта с миром предполагает цикл чередующихся фаз действия и подверженности действию, которые также могут рассматриваться как уровни некоторой иерархии. Когда

одна вещь действует на другую, она подвергается определенным изменениям; обратное воздействие частично восстанавливает исходное состояние. Так вещь постоянно *воспроизводится* в каждом цикле действия/противодействия, хотя и не обязательно в точности такой, как была, и небольшие изменения могут накапливаться. В простейшем случае такое воспроизводство сводится к обращению иерархии, не меняющему объект качественно, а лишь модифицируя его форму, внешний вид или положение в мире. Это *простое* воспроизводство; примерами могут служить всевозможные варианты гомеостаза и адаптации. Простое воспроизводство в отсутствие внешних возмущений всегда приводит систему в стационарное состояние.

Гораздо чаще вещи существенно меняются в процессе воспроизводства, которое в таком случае становится *расширенным*. В очень распространенном случае *экстенсивного* воспроизводства (распространения) все большая часть мира включается в окружение объекта, при сохранении общего характера взаимодействий. Это приводит к дальнейшему разворачиванию иерархии объекта. Мир глубже рефлексирован в вещи, и вещь отражает более обширную его область.

Настоящее развитие (*интенсивное* воспроизводство) предполагает сдвиг границы между вещью и ее окружением, изменение самого понятия «внутри». Это означает, что иерархия объекта изменяется посредством синтеза с иерархией другой вещи, ранее составлявшей часть внешнего мира. Такое «поглощение» внешних вещей не следует путать с обыкновенным потреблением. Действительно, потребленная вещь перестает существовать — она целиком расщепляется на отдельные компоненты, строительные блоки для некоторой иной структуры. Это экстенсивный процесс, более характерный для расширенного воспроизводства. В иерархическом развитии несколько тел вовлекаются в деятельность более высокого уровня, сохраняя во многом их исходную функциональность, так что можно было бы говорить о формировании коллективного тела.

В качестве единства внутреннего и внешнего, иерархия может развиваться двумя взаимодополнительными способами: либо через «увеличение масштаба» и разворачивание в некоторое количество относительно самостоятельных внутренних иерархий — либо путем связывания нескольких вещей в одну. Такие процессы *дифференциации* и *интеграции* могут быть опосредованы или инвертированы, порождая весьма отдаленные взаимосвязи разных частей мира. В конечном итоге

любые две вещи оказываются связанными, так что среда вещи полностью погружена в нее, и наоборот, вещь становится полностью представленной в своем окружении. Мир в целом приходит тогда к единству — которое, впрочем, является иерархическим и не может быть понято как данность или процесс, но лишь как синтез того и другого.

Как всякая иерархия, развитие проявляет себя в виде набора иерархических структур, уровни которых представляют этапы развития. Однако в силу обращаемости та же самая иерархия может представляться разными иерархическими структурами. Это означает, что, поскольку есть много возможных взаимодействий вещи с миром, развитие может происходить по-разному; разные обращения иерархии указывают различные направления развития. Это отличает иерархический подход от прочих философских учений, которые либо предполагают жесткую последовательность ступеней — либо представляют развитие как цепь случайностей. В действительности развитие не бывает случайным — хотя оно проходит разные стадии в разных обстоятельствах.

Рост иерархий лежит в основе понимания *времени*. Цикл воспроизводства иерархии представляет собой естественную *единицу времени*, связанную с определенным способом развития. Так определенное время должно, очевидно, быть иерархическим, поскольку каждый цикл воспроизводства по-разному выглядит на разных уровнях иерархии. Не существует фиксированного набора циклов воспроизводства, которая могла бы служить абсолютными «часами». Каждая иерархия может проявлять себя в виде разных иерархических структур — а значит, существуют разные *временные шкалы*. Такое иерархическое время отличается от просто временной переменной, представляющей время в физике и других науках. Временная переменная — скорее, структурный параметр, относящийся к определенной иерархической структуре; вообще же говоря, время — мера уровня развития, *иерархической сложности*. Это отвечает интуитивному пониманию времени, предполагающему направленность от прошлого к будущему, существование конечного «сейчас» в каждом цикле рефлексии и различие «естественного» течения времени для различных классов вещей.

Поскольку всякое развитие предполагает слияние различных иерархий, идея развития (и, следовательно, идея времени) неприменима к миру в целом. Нет ничего «внешнего» по отношению к миру в целом, и любые различения возможны лишь той же самой глобальной

сущности. Однако, поскольку любая часть мира может отражать его целостность, эта часть служит миром по отношению к своим составляющим, и существо, живущее в таком «мире» могло бы вообразить себе существование иных «миров», и как-то соприкоснуться с ними в конечном итоге. Разумеется, рождение, существование и гибель таких частных «миров» не связана с универсальностью мира в целом, который всегда остается тем же самым, вне пространства и времени — но допускает любые формы движения.

**П. Б. Иванов
Ю. В. Рождественский**

РЕФЛЕКСИЯ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

<http://unism.pjwb.net/1984rd/rdr.htm>

<http://unism.pjwb.org/1984rd/rdr.htm>

<http://unism.narod.ru/1984rd/rdr.htm>

РЕФЛЕКСИЯ: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Сознание, вышедшее за пределы чувственности, стремится воспринять предмет в его истине не только как непосредственный, но и как опосредованный, рефлексированный в себя и всеобщий.

Г. В. Ф. Гегель, *Энци.*, т. 3, § 420

Всем хорошо известно, что отражение — всеобщее свойство материи. Однако многие ли задумывались: а что из этого следует? Человек, не занимающийся специально философией, и даже, к сожалению, некоторые философы-профессионалы склонны ассоциировать категорию «отражение» исключительно с процессом человеческого познания или, по крайней мере, с биологической формой движения материи. Единичные примеры отражения в неорганической природе — например, кочующий из учебника в учебник отпечаток человеческой ступни на влажной глине, — эти примеры бессильны, когда требуется выявить объективно-всеобщий характер отражения в природе — так иллюстрации к сборнику стихов незнакомого поэта могут дать лишь случайное представление о его творческом лице. Особенно не повезло более высокому уровню отражения — рефлексии, которая столь долго считалась привилегией разума, что постепенно отошла в ведение психологии, окончательно расставшись с курсами диалектического материализма для естественников и едва удерживая за собой тесный плацдарм в достаточно крупных философских словарях. Я хотел бы, насколько мне позволит мое понимание предмета, восстановить в этой заметке доброе имя рефлексии, подчеркнув ее всеобщность, тесно связанную с иерархичностью материи и сознания.

Прежде всего, что такое рефлексия? Начнем с некоторого абстрактного объекта *A*. Пока объект *A* никак не соотносится с другими

объектами, он есть вещь в себе, воплощение абстрактного тождества «*A* есть *A*». Но в силу материального единства мира любой объект вплетен в целостную совокупность объективных связей. Выделение объекта *A* из этой целостности нарушает ее вполне определенным, только объект *A* характеризующим образом. *A* значит, весь мир без объекта *A* эквивалентен тому же объекту *A*, или, другими словами, *A* есть не-*A*. В практике человеческого познания это отвечает известному способу определять некоторый объект, указывая, чем он не является.

Итак, мы получили, что, с одной стороны, *A* есть *A*, то есть в объекте *A* нет ничего, кроме него самого; с другой стороны, *A* есть не-*A*, то есть в объекте *A* содержится весь мир — а это и есть отражение в философском, всеобщем смысле слова. Оказывается, что всеобщность отражения является лишь другой стороной материального единства мира. Так понимаемое отражение выступает как сущность объекта; в частности, «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений.»⁴

Но вернемся теперь к нашему объекту *A*, который теперь есть одновременно *A* и не-*A*. Не вдаваясь в детали процесса реализации этого диалектического противоречия, мы можем сразу заключить, что результатом его будет отрицание отрицания, «не-(не-*A*)», или, снимая опосредующие отрицания, снова объект *A*, только на более высоком уровне. Легко видеть, что *A* как второе отрицание себя есть отражение в объекте *A*, того, как этот объект отражается в окружающем его мире. Другими словами, объект *A* отражает сам себя посредством взаимодействия со средой, он в каком-то смысле «постигает себя», наблюдая, как относятся к нему другие объекты. Такое опосредованное самоотражение и называется в философии рефлексией.⁵ Мы видим, что в результате рефлексии исходный объект поднялся на качественно новую ступень, то есть рефлексия есть всеобщий механизм развития. А поскольку в новом объекте *A* представлены как его абстрактное бытие в

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. — *Соч.*, т. 3, с. 3

⁵ Точнее, внешней рефлексией. Заметим, что Гегель любое отражение называет рефлексией; это следует из его идеалистической концепции, представляющей отражение как рефлексию развивающегося духа — *Энциклопедия. философских наук*, т. 1, § 112; т. 2, §§ 337, 365.

себе, так и его рефлексивная сущность, объект становится иерархией, объединяющей оба уровня.⁶

Разумеется, здесь описана наиболее общая и, следовательно, наиболее абстрактная рефлексия, в которой исходный объект — лишь голая, бескачественная единичность. Конкретная рефлексия затрагивает не только объект как целое, но и все его качественные особенности — то есть рефлексия является всеобщей как в количественном (охватывает все объекты), так и в качественном отношении (охватывает все стороны любого объекта). Отметим, что отражение характеризует объект с «пассивной» стороны, тогда как в основе рефлексии лежит необходимость воздействия на внешний мир, «активность» объекта.

На этом, пожалуй, следует завершить неизбежно скучноватый экскурс в теорию и перейти к возможным приложениям. В дальнейшем речь пойдет преимущественно о соотношении категорий «отражение» и «прогресс». Мы уже знаем, что любое развитие представляет собой рост иерархичности объекта, а уровни этой иерархии суть уровни рефлексии. Всеобщность рефлексии означает здесь необходимость развития материального мира — иначе он просто не может существовать.⁷ А поскольку сущность *любого* уровня иерархии форм движения материи состоит в рефлексии, порождающей новые, более высокие уровни, развитие необратимо. Но всякое приспособление к среде, адаптация, предполагает лишь «количественное» уточнение взаимного отражения объекта и среды; рефлексия же скорее *предугадывает* изменения среды, выделяет направление качественного развития. Поэтому *эволюция* объекта связана с отражением, а прогресс по своей природе рефлексивен. Способ существования объекта, его движение, есть единство эволюции и прогресса, взаимопроникновение отражения и рефлексии. На этом положении основано описание развивающихся систем.

Ближайшим и, наверное, наиболее ярким примером служит развитие биосферы Земли. *Формой* этого развития является дивергенция, дифференцировка видов, порождающая все новые признаки в их, так

⁶ Тем самым выполняется требование В. И. Ленина о соединении «всеобщего принципа развития» со «всеобщим принципом единства мира, движения, материи etc.» — *Полн. собр. соч.*, т. 29, с. 229

⁷ В частных случаях см. Маркс К., Энгельс Ф., *Соч.*, т. 20, с. 623; Мозелов А. П., *Философские проблемы теории естественного отбора* — Л.: "Наука", 1983, с.97

сказать, чистом виде. Именно на выделение адаптивных признаков направлены три кита биологической эволюции: изменчивость, наследственность, отбор. Эти три механизма, очевидно, не связаны с рефлексией, а потому они могут привести лишь к формированию вида как целостного, относительно завершенного образования. Вид есть слепок своей среды обитания, и, следовательно, он представляет собой тупиковую ветвь развития,⁸ именно из-за специализации обреченную на вымирание при существенном изменении внешних условий. *Содержанием* процесса развития биосферы является постепенная универсализация, соединение различных видовых признаков в одном организме. При этом возникают принципиально вневидовые существа, которые движутся в своем развитии все выше по стволу древа жизни, минуя боковые ветви-виды, как ловушки, захлопывающиеся за теми, кто хоть немного отклонится в сторону по пути специализации. Универсализация есть вбирание организмом все новых качеств — а значит, она всегда революционна, в отличие от эволюции вида.

Нельзя, однако, представлять себе рефлексию в биологии как развитие некоего особого «вида» вневидовых существ. Воспроизводство биосферы тесно связано с воспроизводством самих организмов: каждая вновь возникающая особь так или иначе заново проходит весь путь развития. Но само наличие биосферы предполагает, что развитие происходит по-другому, чем раньше, на более низких уровнях. Организм формируется существенно быстрее, если в его среде уже есть более сложные организмы — и, самое главное, он будет отличаться от своих предшественников. Жизнь порождает новую жизнь — это рефлексия в биологии.⁹ Чем сложнее организована биосфера, тем короче цикл рефлексии, цикл расширенного воспроизводства. Наконец, наступает такой момент, когда цикл рефлексии замыкается на веку отдельного организма, порождая невиданное до сих пор качество — внутреннюю

⁸ В соответствии с мыслью Ф. Энгельса — *Op. cit.*, т. 20, с. 614

⁹ Заметим, что Дарвин различал два механизма изменения живого: естественный отбор как «выживание наиболее приспособленных» — и борьбу за существование, в процессе которой организмы изменяют свою среду, вследствие чего изменяются и они сами (Ч. Дарвин, *Происхождение видов путем естественного отбора* — М.-Л., 1939; т. 3). В таком понимании, разделявшемся, кстати, Ф. Энгельсом, дарвинизм очень близок к данному здесь описанию отражения и рефлексии на биологическом уровне. В дальнейшем, к сожалению, стала преобладать однобокая трактовка дарвинизма как теории естественного отбора.

рефлексию, зачаток сознания.¹⁰ Так неуклонное восхождение ко все более высоким уровням рефлексии, линия вневидовой, «неравновесной» жизни, приводит к биологическим предшественникам человека. В этом плане развитие биосферы оказывается «целесообразным», и цель его — возникновение разума, высшей ступени рефлексии.¹¹ Всеобщность рефлексии предстает как необходимость сознания — равно как и необходимость жизни, и необходимость развития, неуничтожимость разума.

Первоначально человек — лишь некоторый «оптимальный» организм. Однако оптимальность его не есть адаптация, приспособление к одним каким-то условиям — человек способен существовать практически в любой среде, причем со временем возможности его неуклонно растут. Как любой организм, человек необходимо опосредует отношения между материальными объектами (обмен веществ) — однако только у человека это опосредование универсально. Поскольку содержанием биологического развития является именно универсализация, лишены смысла попытки отнести предков человека к тому или иному биологическому виду: их главная особенность — это как раз вневидовость, незавершенность.

Возникающий разум неизбежно активен; он не просто следует за изменениями среды, но сам творит ее.¹² Таково основное условие всякой рефлексии, а на уровне сознания оно становится условием самого существования разума. Человек всегда должен стремиться к неизведанному, уходить от устоявшегося образа жизни, расширять сферу своего влияния. Человек по природе своей искатель, новатор, первопроходец. Стоит только остановиться, излишне приспособиться к среде — и на пороге уже стагнантность и деградация. Темпы развития разума прямо связаны с темпами преобразования окружающего мира. Но, пожалуй, наиболее важный вывод из рефлексивной природы сознания — разум порождает разум. Для этого молодого, неокрепшего разума его «создатель» выступает как природная сила до тех пор, пока новый разум не разовьется настолько, что осознает наличие более высоких уровней субъекта и ощутит свою причастность к преобразующей миссии разума

¹⁰ Гегель — *Op. cit.*, т. 2, с. 120

¹¹ Ф. Энгельс — *Op. cit.*, т. 20, с. 623

¹² Ф. Энгельс — *Op. cit.*, т. 20, с. 545

в целом, на всех его уровнях. Может быть, тенденция к созданию все более универсальных машин, в борьбе с линией на специализацию автоматов, есть также проявление потребности разума в порождении нового разума. Разумеется, для возникновения «разумных машин» необходимо включить их в гораздо более сложную среду, чем та, в которой машины работают сейчас, — требуется, по крайней мере, выход на уровень автоматизированных групп отраслей. Однако аналогия между развитием биосферы и постепенной универсализацией машин очевидна.¹³

Высшая ступень рефлексии, рефлексия сознательная, организована также иерархически. Было бы слишком долго в деталях говорить о связи категорий «рефлексия» и «культура» — отмечу только, что искусство, наука и философия представляют собой различные уровни субъектной рефлексии. Поэтому общий закон развития, рефлексивность, сразу указывает на гиперприспособление к стационарным условиям как источник ремесленничества в искусстве и консерватизма в науке. С другой стороны, становится понятно, как преувеличенное внимание к одной какой-нибудь стороне искусства (натурализм, символизм, формализм) или науки (эмпиризм — аксиоматизация, гуманитарность — математизированность) заводит познание¹⁴ в тупик. Здесь же обнажаются гносеологические корни идеализма и метафизики.¹⁵

В связи с этим появляется возможность по-новому взглянуть на известную проблему о соотношении жесткости и неопределенности в языке. Поскольку язык для человека есть универсальное орудие рефлексии, неопределенность и пластичность — главная его черта. Язык может стать строгим только при социальной фиксации определенного типа деятельности — например, уставный слог в армии, — но в этом случае язык перестает быть собственно языком, теряя свою универсальность. Оказывается, что уточнение языка, тесная привязка его к условиям применения, лишает его смысла вне этих условий и, тем самым обрекает на вырождение при изменении социальной среды. Останки умершего языка могут еще долго существовать в рамках более развитого языка, порождая многочисленные штампы, сковывая мышление людей. Разумеется, речь идет о любых языках, от понятийного до музыкально-

¹³ Маркс К., Энгельс Ф. — *Соч.*, т. 23, с. 383

¹⁴ Человеческое познание в сущности есть самопознание.

¹⁵ Ленин В. И. — *Полн. собр. соч.*, т. 29, с. 322

пластического. В частности, интересен вопрос о языке науки. По-видимому, попытки формализовать некоторые области физики лишены перспектив: теория интересна только в процессе своего становления. Псевдострогое дедуктивное изложение никогда не будет идеалом физика, да и в математике оно часто лишь затемняет суть дела. Например, участвовавшие в последнее время попытки построения новых математик¹⁶ принципиально порочны, ибо втискивают «новые» теоретические конструкции в мышеловку того же традиционно формального метода. Нельзя, однако, уступать и другой крайности — полному отмежеванию от всякой математики и упованию на стихийность синкретического мышления. Диалектика не существует без формализации, без логики — как человек нуждается в собственном скелете. Но, как человек отнюдь не сводится к своему скелету, так и диалектика *как* логика не тождественна диалектике в целом.

Продолжая разговор о физике, вспомним, что сейчас весьма популярны разного рода нелинейные теории. В некоторых случаях они позволяют выявить нетривиальные закономерности в поведении иерархических систем.¹⁷ Однако большей частью физик подходит к нелинейности как к некоему досадному недоразумению, сильно усложняющему расчеты, а во всех «физических» ситуациях дающему лишь малые поправки, которых, впрочем, часто хватает, чтобы качественно изменить характеристики системы. В современной физике наблюдается подавляющее преобладание стационарных, устойчивых, равновесных и квазиравновесных решений — аттракторов. Но любой аттрактор, если видеть в нелинейности лишь одно из возможных математических выражений рефлексии, лежит в стороне от магистральной линии развития — следовательно физик в его нынешнем варианте не имеет права говорить о развитии в рамках своей науки. Поэтому попытки иных, даже весьма маститых, физиков указать путь дальнейшего развития нашей Вселенной — вплоть до схлопывания ее в нечто абстрактно-квантовое, — равно как и тщательное расписывание первых мгновений после творения, пресловутый большой взрыв, нельзя именовать иначе как смехотворными. Такого рода построения

¹⁶ Напр., см. Вopenка П. *Математика в альтернативной теории множеств* — М.: "Мир", 1983; Голдблатт Р. *Топосы. Категорный анализ логики* — М.: "Мир", 1983.

¹⁷ Фейгенбаум М. «Универсальность в поведении нелинейных систем» — *УФН*, 141, 343 (1983)

простительны западным ученым, научная среда которых глубоко метафизична, — советские же люди просто обязаны быть диалектиками и видеть сложность, многоуровневость движения материи. При этом надо четко осознавать, что в любой системе ведущей силой развития становятся высшие уровни рефлексии, имеющие к физике весьма отдаленное отношение. А поскольку развитие разума необходимо, вряд ли следует ожидать цикличности в динамике Вселенной — цикличности, присущей, кстати, лишь относительно небольшому числу известных решений уравнений Эйнштейна в крайне грубых допущениях относительно структуры нашего мира. Столь же нелепо и другое широко распространенное стремление физиков — «разложить» все известные частицы на небольшое число простых частиц с возможно более простыми взаимодействиями между ними. Но уже полтора столетия философия известно, как «расчленение» некоторого объекта неизбежно приводит к усложнению взаимоотношений между его частями, а следовательно, к усложнению каждой части по сравнению с целым (Гегель). В самом деле, взаимодействие частей, в конечном счете, должно порождать *все* известные свойства целого. Но это взаимодействие, очевидно, не тождественно системе в целом — а значит, части содержат в себе целое, и еще что-то сверх того. То есть, часть сложнее целого! Впрочем, точно так же можно показать, что целое сложнее своих частей... Возвращаясь к началу нашего изложения, мы видим, почему так происходит: разбивая какую-либо частицу, экспериментатор изменяет ее среду. При этом немедленно вступает в действие механизм рефлексии — и система в целом поднимается на следующий уровень сложности. Элементарные оценки зависимости массы компонент сложной частицы от ее размеров и энергии связи показывают, что когда-нибудь, разрушая очередную микрочастицу, мы получим если не галактику, то, по крайней мере, обыкновенный двухкилограммовый кирпич.

Можно найти в физике бездну примеров абсолютизации стационарности и равновесности. Упомяну только нежную любовь теоретиков к вариационным процедурам и, в частности, Его Величество Принцип Экстремального Действия, на котором по сути покоится все здание теоретической физики, а особенно, квантовая теория поля и теория гравитации. Уже одна эта изначальная стационарность лишает физику права говорить о развитии.

Напоследок хотелось бы затронуть широко обсуждаемую в философской литературе проблему времени.¹⁸ Естественный способ ее решения опирается на теорию рефлексии, которая приводит к необходимой однонаправленности развития. Можно сказать, что время есть внутренняя характеристика сложности объекта. Тогда становится ясно, что каждый объект существует в собственном времени, «скорость течения» которого определяется характерным циклом расширенного воспроизводства, то есть тем, насколько значительную роль в движении объекта играет рефлексия. Ярким примером такого понимания времени служат знаменитые эйнштейновские световые часы, определяющие физическое время в специальной теории относительности. На разных уровнях сложности возникают также биологическое, субъективное и т. п. время. Отмечу, что в теории рефлексии, иерархичности бытия, имеет место своеобразный принцип подобия в строении всех иерархий, связанный с всеобщностью законов диалектики. Этот принцип можно считать своего рода обобщением типичной в физике однородности времени, инвариантности по отношению к временным трансляциям.

При некотором навыке легко применить основные положения философской теории отражения к любому вопросу, с которым человек может столкнуться в своей жизни: от качества литературной критики или взаимодействия белкового обмена и наследственности — до систематизации категорий психологии или оценки бытового приспособленчества. Даже беглый обзор литературы по любой теме показывает, что рефлексивная точка зрения медленно, но наверняка пробивает себе дорогу. Можно со всей уверенностью утверждать: понимание иерархичности процессов отражения и рефлексии, их тесной взаимообусловленности, различия объективной и субъективной рефлексии, связи рефлексивности с материалистическим решением основного вопроса философии — все это безусловно поможет каждому человеку как в его профессиональной деятельности, так и в приобретении последовательно коммунистической жизненной позиции.

февраль 1984

¹⁸ Кругликов Р.И. «Отражение и время» — *Вопросы философии*, 1983, № 9

P. J.

Артур Шопенгауэр о свободе воли

<http://unism.pjwb.net/phi/nsr.htm>

<http://unism.pjwb.org/phi/nsr.htm>

<http://unism.narod.ru/phi/nsr.htm>

Артур Шопенгауэр о свободе воли

Ни об одной идее нельзя с таким полным правом сказать, что она неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениям и потому действительно им подвержена, как об идее *свободы*, и ни об одной не говорят обычно с такой малой степенью понимания ее.

Г. В. Ф. Гегель, *Энци.*, т. 3, § 482

В марте 2007 года я решил еще раз перечитать известный шопенгауэровский трактат — и мое впечатление от него оказалось печальнее, чем во времена первого знакомства... Я не сомневаюсь, что и у Шопенгауэра есть заслуги перед философией, — но их приходится с трудом откапывать из-под терриконов мыслительного шлака, и далеко не всегда на это есть настроение, ибо куда проще обнаружить те же рациональные зерна у других авторов.

Представленные здесь заметки не предполагают никакой системы, это всего лишь заметки на полях, мысли по ходу чтения, которые неизбежно субъективны. Тем не менее, эти соображения вытекают из целостной философской позиции и представляют ее с какой-то стороны. Поэтому решил я сделать свои частные записи достоянием публики, несмотря на всю их литературную непричесанность и фрагментарность. Возможно, кому-то и такое пригодится. А не пригодится — не буду расстраиваться. Объективно значимое дорогу себе найдет и без меня.

Есть и нравственно-этический повод. В литературе мало внимания уделяется критике шопенгауэровской философии — зато изобилие апологетов и продолжателей. Чувствуется идеологический перекося, который в меру моих скромных сил хотелось бы скомпенсировать. Не то, чтобы я собирался представить полноценный критический анализ учения Шопенгауэра — однако даже поверхностные впечатления

человека, имеющего продолжительное знакомство с философией, способны указать слабые места, которые буржуазная пропаганда стремится утаить от массового читателя.

* * *

Прежде всего — исторический контекст. Два трактата (*О свободе воли* и *Об основе морали*) написаны Шопенгауэром в конце тридцатых годов XIX века, опубликованы в 1841 году. Гегель умер в 1831-м, Гете в 1832-м. Время политической реакции в Германии. Официальная идеология уже успела причислить гегелевскую философию под монархическую идею, придать ей официозность. Господствующее в философии гегельянство растаскивает находки Гегеля по разным углам, замазывая революционную сущность его учения, мысль о целостности и развитии мира. Гегелевская логика превращена в пустое жонглирование словами. В таких условиях естественно зарождение философской оппозиции, критика Гегеля и поиск новых идей. Прежде всего сомнению подвергается исходное положение гегелевской философии — ее сознательный идеализм. Рождается мысль: не природу выводить из движения духа, а наоборот, сделать дух частью природы, подчинить его природным законам. По этому пути пошли Шопенгауэр и Фейербах (*Основные положения философии будущего*, 1843). Первый принял идеалистическое понимание опыта, второй — встал на сторону материализма. Однако и тот, и другой вместе с мистической стороной философии Гегеля выбросили и ее ценнейшую идейную основу, логику становления и развития. Чуть позже (*Немецкая идеология*, 1845-47) Маркс и Энгельс найдут возможность соединить материализм с гегелевской логикой — и откроют принципы материалистической философии духа (исторический материализм). Но такие идеи будут вытеснены за рамки официально признанного философствования и надолго останутся пугалом для досужего обывателя. По крайней мере, Шопенгауэр вряд ли был с ними знаком (Фейербах же в конце жизни пришел к марксизму и даже вступил в социал-демократическую партию).

* * *

С первых же строк Шопенгауэр предстает перед нами эдаким самовлюбленным писакой, которому хочется произвести впечатление,

продемонстрировать свою эрудицию и владение языками (латынь, греческий, французский, английский, испанский...) — не по существу дела, а просто так, без особой надобности, чтобы читатель привык смотреть снизу вверх. Дескать, вот я какой умный — и наверняка скажу нечто стоящее внимания! Для Шопенгауэра *выглядеть* умно = *быть* умным. Тем самым он показывает философию с худшей стороны, заставляет ее выглядеть глубокомысленным суесловием. К сожалению, и куда более выдающиеся философы не избежали подобного философствования — и это всегда становилось слабым местом их творений, на котором так легко спекулировать недалеким оппонентам.

* * *

Первоначально оба трактата были конкурсными сочинениями. И если первый из них (*О свободе воли*) Норвежская академия как-то все же отметила, то второй не был принят к рассмотрению Датской академией, и несколько десятков страниц предисловия к публикации 1841 года — это сплошной скулеж обиженного графомана: как же, я такой талантливый — а денег не дали! Смешно. Если ты придаешь сколько-нибудь важное значение мнению захолустного официозного учреждения — то какое у тебя право на него обижаться? Если же ты считаешь себя умнее — то зачем тебе вообще принимать в расчет такие мнения и портить бумагу возмущенными излияниями на их счет? Но Шопенгауэр почему-то уверен, что при одном виде его манускриптов все обязаны аплодировать и открывать кошельки. Уверенность в себе хоршее дело — но не до такой же степени!

* * *

Шопенгауэр нахально заявляет:

...мое обоснование морали действительно и серьезно мною *доказано*, со строгостью, близкой к математической. Относительно *морали* я не имел себе в этом предшественников, и это стало для меня возможно лишь благодаря тому, что глубже, чем кто-либо до меня, проникнув в природу человеческой воли, я вскрыл и обнаружил три ее конечные пружины, которыми определяются все ее действия.

Оставляя пока в стороне его самонадеянность по поводу понимания природы человеческой воли и морали, сразу же замечаем в корне

ошибочное понимание задач философии. Философ не может ничего доказать, он и не должен доказывать. Его задача — усматривать всеобщую взаимосвязь, сводить воедино то, что искусство и наука превратили в набор единичных образов и обособленных знаний. Философ должен понимать относительность и ограниченность любого доказательства — и требовать проверки мышления практикой.

* * *

Шопенгауэр сразу же обрушивается на Гегеля всей мощью того, что он, видимо, считает сарказмом. Лавина ругательств. Поток злобы. Брызгание слюной, крики и шипение. Как-то сразу думаешь: если Гегель сумел достать Шопенгауэра до такой степени — он уже явление выдающееся, и наверняка в гегелевской философии есть что-то стоящее. Жалко, что Гегеля мало читают — и еще меньше вчитываются.

* * *

Гегель, по мнению Шопенгауэра, плох потому, что его философия «не знает ни оснований, ни следствий, т. е. ничем не доказывается и сама ничего не доказывает и ничего не объясняет». Но это как раз и есть одно из открытий Гегеля в философии, делающее ее самостоятельным уровнем рефлексии, а не придатком науки или искусства.

* * *

Какова логика Шопенгауэра, можно наглядно увидеть на примере его попытки продемонстрировать порочность гегелевской философии. Со свойственной ему самоуверенностью Шопенгауэр заявляет:

...я теперь непрекаемо докажу, что [у Гегеля] недоставало даже обыденного здравого смысла, несмотря на всю его обыденность.

Хорошо, не будем пока заострять внимание на том, что философия как раз и призвана преодолевать ограниченность «здравого смысла» и выходить за рамки «обыденности». Но что же мы видим в качестве доказательства? Шопенгауэр всего-навсего выдирает три фразы из второго тома гегелевской энциклопедии (философия природы) и

огоульно объявляет их вздором и нелепостью, не приводя ни малейшего основания для такой оценки. Дескать,

уже сама *врожденная* логика делает такого рода заключения невозможными для всякого здравого и правого рассудка.

Что такое врожденная логика — дело темное. Обычная человеческая рациональность никак не является врожденной, и вырабатывается она у детей, как показывает опыт, очень долго и непросто. Создается впечатление, что у Шопенгауэра она так и не сформировалась, и логическое мышление он подменяет бряцанием латынью: *e meris affirmativis in secunda figura nihil sequitur...* Это напоминает мне дискуссию в Сети по поводу афоризмов некоего Мерайли:

А хотите, я докажу, что Вас нет? Мерайли, какие там мерайли, кто мне там пишет, там никого нет!!! И что мне ни скажите — я упрусь, и всё тут — нет Вас, и точка.

Таково же Шопенгауэровское «доказательство»: мне это не нравится, я этого не понимаю — значит, это не так.

Хорошо известно, что гегелевская философия природы — самое слабое место в его философствовании. Иного в то время и ожидать было нельзя, поскольку тогда еще не сформировалось представление о науке как особом уровне рефлексии, отличном от философии. И предрассудки естествознания конечно же отражались на сочинениях философов, включая Гегеля. Но самое забавное, что Шопенгауэр выбрал в качестве примеров нелепости как раз те гегелевские рассуждения, которые оказались пророческими и стали основой образа мысли современной физики! Это гениальная догадка о родстве электромагнетизма и гравитации (калибровочные поля), указание на необходимость переносчика любых взаимодействий (квантовая теория поля, связь массы и энергии), идея о возникновении и исчезновении вещества (которое Гегель, конечно же, в соответствии с тогдашним словоупотреблением, называет *материей*). По поводу последнего Шопенгауэр после очередной порции ругательств заявляет:

Что материя *пробывает*, т. е. не возникает и не погибает, подобно всему остальному, а, неразрушимая и не возникшая, все время сохраняет свое существование, так что ее количество не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, — это априорное познание, столь же твердое и несомненное, как любая математическая истина. Мы, безусловно, не в состоянии хотя бы только представить себе

возникновение и гибель материи: этого не позволяет форма нашего рассудка.

Тут мы видим, откуда растут ноги у шопенгауэровской философии — из примитивного кантианства (в котором забывают о положительном содержании кантовской философии и спекулируют на том, в чем Кант разобраться не успел, — и поставленные им *вопросы* выдают за готовый ответ). Даже если поверить, что Шопенгауэр додумался до всеобщего понимания материи, которое позже развивали Маркс, Энгельс и Ленин, это достижение тут же перечеркивается голым априоризмом: оказывается, главным критерием истинности по Шопенгауэру является его личная способность что-либо себе представить, форма его индивидуального рассудка — которую он со свойственной ему самоуверенностью считает единственно возможной и правильной!

* * *

С самого начала Шопенгауэр заявляет:

Понятие "свобода" при ближайшем рассмотрении отрицательно. Мы мыслим под ним лишь отсутствие всяких преград и помех; эти последние, напротив, выражая силу, должны представлять собою нечто положительное.

Сразу же вспоминается Гегель, согласно которому любое определение сначала выступает как отрицательное, потом как положительное, а потом еще и как развивающееся в соответствии с развитием определяемого. Сам Шопенгауэр без колебаний заимствует такую схему для своего трактата *Об основах морали*, разделяя его на три отдела (отрицательный, положительный и завершающий). А тут вдруг безотносительное противопоставление свободы и необходимости — первое всегда отрицательно, второе всегда положительно. Можно, конечно предположить, что это лишь неточность формулировки, и следовало бы выразиться точнее:

в обыденной жизни мы обычно мыслим свободу как отрицательное понятие, отсутствие необходимости.

Подразумевая, что дело философии — снять эту противоположность. Но поскольку мы уже знаем, что Шопенгауэр редко поднимается выше обывательского «здорового смысла» — надежда невелика...

* * *

Различение трех видов свободы (физической, интеллектуальной и моральной) у Шопенгауэра совершенно произвольно, хотя он и претендует на «полноту в подразделении понятия». Не говоря уже о возможности других подразделений, следовало хотя бы указать принцип выбранной автором классификации. Отсутствие реального основания приводит к хаотичности дальнейшего описания, к перечислению случайных признаков. Это вульгарность, беднейший уровень философии.

* * *

Различение моральной и физической свободы по рефлексивному признаку — само по себе приемлемо. Действительно, одно дело — свобода поступков, а другое — свобода побуждений к ним. Буржуазия давно уже выработала эффективные механизмы промывания мозгов, которые приводят к стандартизации человеческих желаний и вытеснению всего, что не вписывается в рамки буржуазного представления о свободе. Получается, что так называемое свободное общество при капитализме есть общество тотального порабощения — не только внешне, но и психологически. Люди просто неспособны стремиться к чему-то собственно человеческому.

* * *

Шопенгауэр необоснованно отождествляет волю с *хотением* — хотя эти категории даже называются в большинстве языков по-разному, что само по себе наводит на мысль об их несовпадении. При ближайшем рассмотрении, мы легко обнаруживаем, что воля, скорее, противоположна хотению: она позволяет человеку преодолевать свои хотения, делать не то, что он хочет, а то, что надо. Не требуется больших усилий, чтобы уступить соблазну. Куда труднее преодолеть влечение, подчинить его общественной необходимости. Такое умение и называется обычно силой воли.

Тут можно было бы возразить, что подавление одних желаний как правило связано с наличием других, более сильных, и что человек

отказывается от одного в пользу другого. Однако это возражение неосновательно, поскольку желания всегда ситуативны, а воля зачастую проявляется как устойчивая личностная направленность, регулирующая самые разнообразные поступки человека в самых разных ситуациях. Например, человек может всю жизнь отказывать себе в удовлетворении желаний, которые он считает недостойными, и не получать за это никакого вознаграждения — хотя бы даже морального. С точки зрения Шопенгауэра (и господствующей ныне идеологии) такой человек — просто мазохист, он, дескать, получает удовольствие от самого факта преодоления своих желаний. Общественная необходимость, культурность, буржуа представляется физиологическим отклонением.

Воля — это, скорее, способ сознательной организации хотений. При этом, в зависимости от ситуации, желания выстраиваются в разные иерархические структуры, и воля заставляет искать компромиссные варианты действия, снимающие противоречивость мотивации. Воля разумного существа ближе к *стремлению*, чем к хотению.

* * *

Отождествляя свободу с хотением, Шопенгауэр запутывается в дурной бесконечности. От вопроса «Можешь ли ты это сделать?» он переходит к вопросу «Можешь ли ты хотеть это сделать?», потом следует вопрос «Можешь ли ты хотеть хотеть это сделать?» и так до бесконечности. Отсюда делается вывод, что никакой свободной воли мыслить нельзя, как нельзя найти первоначальное звено в этой последовательности. Рассуждение повторяет схему апорий Зенона, согласно которым Ахиллес никогда не догонит черепаху, а кучу зерен нельзя насыпать по зернышку... Но мы-то знаем, что на практике одни обгоняют других, и кучи набираются из зерен.

* * *

Шопенгауэр пытается определить «положительное» понятие необходимости при помощи оборотов типа: «необходимо то, что следует из данного достаточного основания». Это типичная подмена понятия, когда вместо необходимости рассматривается причинность. Необходимость шире простой причинности — она есть и в случайном,

поскольку случайность всегда предполагает (и проявляется как) закономерность (например, форма распределения).

* * *

Необходимость как причинность — это самый простой вид необходимости. Однако существуют и другие уровни. Например, необходимость как потребность и стремление не сводится к простой причинности. Противоположная направленность — не в прошлое, а в будущее. Направление развития. У людей необходимость не обязательно связана с действием. Если человеку необходимо то, чего он не может достичь в данных социальных условиях, — он может компенсировать отсутствие действия деятельностью в иной сфере.

* * *

Непонятно, почему, собственно, «всякая случайность бывает лишь *относительной*». Шопенгауэр поясняет:

...в реальном мире, где только и встречается случайное, всякое событие *необходимо* лишь по отношению к своей причине: по отношению же ко всему остальному, с чем оно может оказаться связанным в пространстве и времени, оно будет *случайным*.

Но тогда и необходимость всегда относительна, поскольку она связана с одной, вырванной из целостности мира связью; выделение причины и следствия возможно только по отношению к определенному способу движения, и стоит по-другому разделить мир на части — характер причинности изменится. Например, механическое движение отдельных молекул не является причиной изменения термодинамических величин в газе, тут важна вся совокупность движений.

* * *

Еще пример отождествления разных понятий:

Во всяком случае, за свободным остается значение ни в каком отношении не необходимого, иными словами — ни от какого основания не зависящего.

Интерпретация необходимости как существования причины — совсем не то же самое, что сопоставление необходимости и возможности. Обычное утверждение, будто необходимо лишь то, противоположное чему невозможно, не есть «объяснение чисто словесное, описание понятия, ничего не дающее для уразумения дела», — как заявляет Шопенгауэр. Это постановка философской проблемы, отмахиваться от которой не подобает серьезному философу.

* * *

В гегелевской логике необходимость понимается как единство возможности и действительности. Это по-настоящему положительное определение, из которого многое следует. Гегель предупреждает (*Энци.*, т. 1, 35), что

...свобода и необходимость как абстрактно противостоящие друг другу принадлежат лишь области конечного и имеют значимость лишь на его почве.

Точно так же и случайное лишь конечным образом противоположно необходимости.

* * *

Шопенгауэр долго растолковывает читателю, чем самосознание отличается от сознания и почему свобода делать, как хочется, не то же самое, что свобода хотеть. Складывается впечатление, что он сам не очень уверен в своих суждениях и хочет прежде всего убедить себя.

* * *

«Что называется самосознанием?» — спрашивает Шопенгауэр. И отвечает: «сознание *собственного я* в противоположность сознанию *других* вещей, которое есть познавательная способность». Он, сам того не замечая, опровергает жесткое противопоставление сознания и самосознания, поскольку сознание собственного «я» есть все-таки и прежде всего *сознание*. Вопрос стоит иначе: не что есть самосознание, а как оно формируется по мере развития сознания. Очевидно, это формирование есть просто другая сторона формирования самого «я».

Самосознание понимается Шопенгауэром как «непосредственное» восприятие себя (что он отождествляет с осознанием своих желаний). Но исходное шопенгауэровское определение уже содержит важную мысль: самосознание возникает тогда, когда человек начинает воспринимать себя со стороны, как внешнюю вещь (рефлексия). Марксизм развил это положение и пришел к пониманию самосознания как восприятия не себя в своем биологическом теле, а восприятия следов, оставленных в окружающем мире, как части себя. Вещь воспринимается не как таковая, в ее собственном качестве (объект), а как *продукт деятельности*. При таком понимании проблема снимается. Свобода хотеть связана со способом присвоения человеком продуктов его труда. При капитализме продукт отчуждается от работника, и свобода сильно ограничена. Философы вроде Шопенгауэра абсолютизируют эту частную несвободу данного общественного строя и объявляют ее априорной необходимостью на все времена. Чем способствуют сохранению капитализма.

* * *

Оторванное от мира и противопоставленное сознанию, «самосознание очень сильно, собственно даже исключительно занято *волею*». Более того, оно и о воле не может дать никаких осмысленных сведений. Сначала Шопенгауэр объявил самосознание пустой абстракцией — потом вывел из этого, что в самосознании ничего нет.

Трудности возникают, если рассматривать субъекта как нечто внеприродное, существующее независимо от тела — пусть даже и связанное с ним. Если же сознание себя по сути не отличается от сознания других объектов, то и свобода действия есть явление того же порядка, что и свобода воли. Надо лишь отбросить ничем не обоснованное предположение о «непосредственном» характере самосознания, понять, что самосознание есть просто более опосредованный вариант сознания (а именно, опосредованный практикой труда и общения). Противопоставление субъекта объекту ведет абсолютизации «внешнего» и «внутреннего»:

Там *снаружи*, следовательно, перед сознанием все очень светло и ясно; но *внутри* его темно...

Чтобы внутри прояснилось, достаточно лишь осознать, что субъект, производя окружающий мир, производит и самого себя.

* * *

С одной стороны, Шопенгауэр заявляет, что все познания доставляет человеку опыт, взаимодействие с внешним миром. Но при этом верит во «вполне достоверные, т. е. а priori известные, познания». Если Кант лишь указывает на необходимость использования абстрактных идей в опыте (сейчас это называется «теоретическая нагруженность факта») — Шопенгауэр (как и все последующие кантианцы) абсолютизирует эту зависимость объекта от субъекта и делает ее внешней по отношению и к объекту, и к субъекту. Знание, спущенное свыше, божественное откровение... Гегель по этому поводу писал (*Энци.*, т. 1, 145):

...следует также остерегаться. чтобы само по себе прекрасное стремление к разумному познанию не ввело нас в искушение попытаться представить явления, которым на деле присущ характер случайности, как необходимые, или, как обыкновенно выражаются, конструировать их а priori.

* * *

В третьем разделе своего трактата Шопенгауэр предпринимает попытку взглянуть на себя со стороны и рассмотреть самосознания (волю) через его проявления в деятельности разумных существ. Это единственно правильный путь всякого познания, и знания о том, что не относится к сфере сознания, мы получаем тоже не напрямую, а лишь анализируя наблюдаемые в нашей деятельности явления. Однако для Шопенгауэра это отступление от «чистого» познания, и он извиняется, что тут

мы имеем дело не с самою *волею*, открытой лишь для внутреннего чувства, а с хотящими, *движимыми волею существами*, которые служат объектами внешних чувств.

Никак он не может отказаться от абстрактной воли ради реальной воли реальных разумных существ...

* * *

Еще к отличию кантианства от учения Канта:

Отсюда, бесспорно, явствует, что *закон причинности* сознается нами а priori, т. е. как *необходимый* для возможности всякого вообще опыта, причем мы не нуждаемся в косвенном, трудном, даже просто неудовлетворительном доказательстве, какое дано для этой важной истины *Кантом*. Закон причинности дан а priori, как всеобщее правило, которому подчинены все реальные объекты внешнего мира без исключения, — этим отсутствием исключений он обязан именно своей *априорности*. По самой своей сущности он прилагается к одним только изменениям и гласит, что где и когда в объективном, реальном, материальном мире что-нибудь сильно или слабо, много или мало *изменяется*, то непременно как раз *перед этим* должно *измениться* и что-нибудь другое, а чтобы *изменилось это последнее, перед ним* опять должно что-нибудь измениться, и так далее до бесконечности, так что никогда нельзя усмотреть какого-либо начального пункта в этом регрессивном ряду изменений, наполняющем время, как материя пространство.

Все та же шопенгауэровская логика: если я не могу мыслить чего-то, его не может быть. Ограниченность его индивидуального мышления становится мерилом истины.

Причинность всегда относится к конечным вещам (у которых, по выражению Аристотеля, есть начало и конец). Как только мы начинаем говорить о бесконечности — понятие причинности становится просто неприменимым. Бесконечное вполне может быть причиной и следствием самого себя — субстанцией.

* * *

Если мы теперь с этим всеобщим, а priori известным и потому для всякого возможного опыта без исключения действительным правилом подойдем ближе к самому этому опыту и будем рассматривать данные в нем реальные объекты, к возможным изменениям которых прилагается наше правило, то мы скоро заметим в этих объектах некоторые глубоко идущие коренные различия, давным-давно уже послужившие основой для их классификации.

Ну хорошо, и какие следствия можно вывести из всеобщей причинности по Шопенгауэру? Оказывается, это всего лишь расхожее эмпирическое наблюдение, что в мире существуют

частью предметы неорганические, т. е. неодушевленные, частью органические, т. е. живые, которые в свой черед разделяются на растения и животных. Эти последние опять-таки, оставаясь в существенных чертах сходными друг с другом и отвечающими своему понятию, все-таки представляют собою чрезвычайное разнообразие и тонко дифференцированную шкалу совершенства, начиная с еще близко родственного растению, трудно от него отличающегося, вплоть до самых законченных, наиболее полно отвечающих понятию животного; на вершине этой шкалы стоит человек — мы сами.

Здорово. При чем здесь априорная причинность?

* * *

Шопенгауэр дает замечательное описание форм причинности на разных уровнях материи: в неживом, у растений, у животных, у человека. Более того, совершенно правильно указано, что и внутри каждого из этих уровней есть свои качественно различные формы причинности. В целом, этот раздел совместим с философским материализмом; особенно важно, что человек рассматривается как часть природы, доступная рациональному познанию. Оставалось сделать только шаг и признать, что самосознание человека точно так же является лишь одной из форм чего-то более общего (универсальной рефлексии), что по-своему проявляется на разных уровнях. И тогда рукой подать до идеи развития. Однако написано это задолго до Дарвина, и марксизм родился позже. Только у Гегеля можно было в то время найти основы принципы философии развития — но Гегеля Шопенгауэр не понимал и не любил. И потому он вынужден вводить фундаментальные принципы как «а priori известные» (= с потолка, от фонаря и т. п.). В результате философия Шопенгауэра не поднимается выше феноменологии, ей недостает логики.

* * *

Различие неживой материи, растений и живых существ у Шопенгауэра метафизично, это чисто умозрительное деление, и нет ни единого намека, как возникает подобное качественное различие. Поэтому остается неясным, почему у человека вдруг развивается абстрактное мышление, тогда как остальные животные (к которым

Шопенгауэр относит человека, не замечая его общественной природы) этого дара лишены.

* * *

Очень правильное наблюдение: животные, даже умнейшие, живут только настоящим, они реагируют на актуальные стимулы. Человек же, по Шопенгауэру, способен обдумывать стимулы, не отвечать на них сразу, а действовать, сообразуясь с абстрактными понятиями, которые приобретают мотивирующую силу. Тем самым деятельность человека уже не направляется внешними стимулами:

...мы признаем *разумность* за таким образом действий, который основывается исключительно на хорошо обдуманных мыслях и потому совершенно не зависит от впечатлений созерцаемой действительности.

Но Шопенгауэр расширяет сферу мотивации только в прошлое — и человеческие поступки ему представляются лишь отсроченной реакцией. Это не выводит нас за рамки бихевиоризма.

Суть же человеческой воли в том, что мотивирующей силой становится не только прошлое, но и будущее! Не потому, что мы его знаем — а потому что нас не устраивает что придется, и мы добиваемся, чтобы шло по-нашему. Гегель пишет (*Энци.*, т. 1, 234):

В то время как интеллект старается брать мир лишь так, как он *есть*, воля, напротив, стремится к тому, чтобы теперь сделать мир тем, чем он *должен* быть.

Мысль изначально крамольная — но Маркс идет дальше и заостряет вопрос до предела [42, 262]:

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности, или самоизменения, может рассматриваться и быть рационально понято только как *революционная практика*.

Философ, поскольку он ведет себя как разумное существо, не имеет права оставаться в стороне:

Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его.

* * *

Ценно хотя бы стремление Шопенгауэра преодолеть вульгарный механицизм, который в то время набирал силу. Шопенгауэр отстаивает

иерархичность форм движения — пусть даже метафизически понятую.

* * *

Там же, где сознание разумно, иными словами, способно к неинтуитивному познанию, т. е. к понятиям и мыслям, мотивы становятся совершенно независимы от настоящего и реальной обстановки и потому бывают скрыты для зрителя. Ибо здесь это просто мысли, которые человек носит с собой в своей голове, возникновение которых, однако, лежит вне ее, часто даже в далеком прошлом, именно то в собственном опыте прежних лет, то в чужом предании, словесном и письменном, даже из самых отдаленных времен, при том, впрочем, условии, что *происхождение* их всегда *реально и объективно*, хотя часто вследствие запутанного сочетания сложных внешних условий среди мотивов фигурирует много заблуждений, а предание сохраняет много обманов, стало быть, и много глупостей. Сюда присоединяется еще то обстоятельство, что человек часто скрывает мотивы своего поведения от всех других, иной раз даже от себя самого, именно когда он боится признать, что, собственно, побуждает его к тому или иному поступку. Между тем мы, видя его действия, стараемся с помощью догадок отыскать их мотивы, которые при этом предполагаются нами с такой же твердостью и уверенностью, как причина любого движения в области неодушевленных тел, наступление которого нам случится увидеть: мы убеждены, что и то и другое без причины не бывает.

Когда человеческие мысли Шопенгауэр выводит из опыта — уже хорошо (если, конечно, не понимать опыт идеалистически), но этого не достаточно. Да, мысли возникают всегда на основе чего-то, однако нельзя сводить эту зависимость к простой причинности. Обычно мысль возникает как обобщение прошлого опыта, сведение воедино различных явлений, относящихся к разным временам, — и ни одно из них не может считаться его причиной. Так термодинамические свойства газа связаны с движением его молекул — но не сводятся к нему. А разумная мысль — это еще и отражение тенденций развития, так что определяется она не только прошлым, но и будущим.

Важно подчеркнуть, что мысли сами по себе не являются мотивами. Для того, чтобы они приобрели мотивирующую силу, требуется не просто мысль, а *идея* — общественно обусловленное представление о будущем, о том, что *следует* сделать.

* * *

«Ибо человек, как и все объекты опыта, есть явление во времени и пространстве...» — сказано замечательно, но тут же отказ от опыта: «... а так как для всех этих явлений закон причинности имеет силу а priori и, значит, без исключения, то и человек должен ему подчиняться». Нет уж! Человек на то и существует, чтобы не подчиняться никаким законам, а наоборот, создавать их! Пошлет он подальше всяческих априористов и переделает мир так, как ему потребуется. И вписывается разум в рамки причинности лишь временно и ограниченно — чтобы изменить саму причинность.

* * *

Поскольку Шопенгауэр абсолютизирует противоположность свободы и необходимости, он вынужден заключить:

При предположении свободной воли всякое человеческое действие было бы необъяснимым чудом — действием без причины.

Да, это так, если считать саму волю необъяснимым чудом. Стоит допустить, что категории «свобода» и «необходимость» относятся лишь к определенному уровню иерархии — и вполне возможны свободные действия в рамках обычной причинности. Если же еще рассмотреть иерархию форм причинности — проблема вообще снимается.

* * *

Вот замечательное рассуждение:

Но вспомним теперь также о том, что такое вообще причина: предшествующее изменение, которое делает необходимым изменение последующее. Ни одна причина в мире вовсе не вызывает своего действия безусловно, не создает его из ничего. Напротив, всегда имеется нечто, на что она действует, и она только в данном месте и в данном определенном существе обуславливает изменение, постоянно соответствующее природе этого существа, так что в последнем должна уже заключаться *способность* к такому изменению. Таким образом, всякое действие возникает из двух факторов; внутреннего и внешнего, именно из первоначальной способности того существа, которое служит объектом действия, и из определяющей причины, которая принуждает эту способность проявиться теперь и здесь. [...] Мы видим

это во всей физике и химии: всюду в их объяснениях предполагаются силы природы, которые обнаруживаются в явлениях и в сведении к которым состоит все объяснение!

Действительно, причинность всегда предполагает определенный закон движения, по отношению к которому только и возможно говорить о причине и следствии. Казалось бы, можно радоваться. Ан нет, кончает Шопенгауэр все равно за упокой:

Сама сила природы не подлежит никакому объяснению, служа принципом всякого объяснения. Точно так же сама она не подчинена никакой причинности. . .

Приехали. Получается, что сами законы природы — нечто совершенно мистическое, и никакому объяснению они не подлежат:

Таким образом, причины всегда определяют только временные и местные условия для *проявлений* исконных, необъяснимых сил, при допущении которых они только и бывают причинами, т. е. с необходимостью производят известные действия.

Дальше, конечно, человеческая воля объявляется одной из таких мистических сил — и дорога поповщине открыта.

Учиться бы ему у Гегеля, а не хаять огулом... А Гегель учил, что противоположность внутреннего и внешнего относительна и связана с определенным логическим (= деятельностным) контекстом. То, что в одном контексте внешнее, — в другом становится внутренним, и наоборот. Следовательно, различие между «причинами» и какими угодно «способностями» относительно, одно может становиться другим. Более того, — говорит Гегель, — внешняя причина и внутренняя способность взаимосвязаны, *рефлектированы* друг в друга, они развиваются вместе как две стороны одного и того же. Способность тела реагировать на некоторое воздействие как на причину возникает в ходе многократных взаимодействий, в которых и формируется (приобретает определенность) само это тело. Поэтому все последующие рассуждения Шопенгауэра о врожденности характера — полная чепуха и сплошная путаница. Современная психология установила, что характер складывается не сразу, его формирование определяется в основном социальными влияниями, и ничего врожденного в характере нет — в отличие от темперамента, который связан с телесной организацией человека. Устойчивость характера связана прежде всего с незначительностью изменений в общественных отношениях за время жизни человека; в эпохи резких исторических перемен могут

наблюдаться и существенные изменения характеров, вплоть до превращения личности в свою противоположность.

* * *

Врожденным характером человека уже определены в существенных чертах все вообще цели, к каким он невольно стремится; средства, избираемые им при этом, определяются частью внешними условиями, частью его пониманием последних...

Отсюда традиционная метафизическая этика: есть добро и зло, они раз и навсегда определены (богом?) и одинаковы во все времена, и человек от рождения добродетелен либо порочен, и потому благородные должны править миром и подчинять себе подлую чернь...

* * *

Во что превратился бы наш мир, если бы все вещи не были проникнуты и связаны необходимостью, особенно же если бы она не управляла зарождением индивидуумов? В нечто безобразное, в беспорядочную груды, карикатуру без смысла и значения — именно в дело истинной и подлинной случайности.

Необходимость может проявляться себя в форме случайности, а случайность — отнюдь не обязательно хаотична. Шопенгауэровский подход обожествляет необходимость и через это смыкается с религией.

Можно также заметить, что в традиционной философии бытует изолированное рассмотрение пар противоположностей «случайность — необходимость» и «необходимость — свобода». Шопенгауэр (как многие до и после него) полагает, что это разные формы одной противоположности, и потому свобода у него смыкается со случайностью. Гегель указывал, что это не так — но лишь мимоходом, без подробного разъяснения. По-видимому, свобода противоположна необходимости как отрицание отрицания, и следует рассматривать не изолированные оппозиции, а триаду: случайность — необходимость — свобода. В такой логической схеме свобода синтетична, и потому имеет две стороны, соотносимые со случайностью (произвольность) и с необходимостью (ответственность). Так, у Гегеля (*Энци.*, т. 1, 145):

воля содержит в себе случайное в форме произвола, но содержит его в себе лишь как снятый момент.

Можно заметить, что при таком понимании у нас появляется формальный критерий для различения неживой природы, жизни и разума: взаимодействия в неживой природе случайны (не связаны с сущностью самих взаимодействующих вещей и не требуют определенной среды); в живой природе преобладает метаболизм как необходимое отношение организма к среде; разум — область свободы, и человек (поскольку он разумен) сам ставит себя в требуемое отношение к среде. Сразу просматривается возможность развития — поскольку в неживом есть явления, родственные метаболизму, а в животном мире — зачатки сознания.

* * *

Внешне, вполне материалистическое утверждение:

Мы должны смотреть на наступающие перед нами события теми же глазами, как на печатные страницы, которые мы читаем, — вполне сознавая, что они уже имелись налицо, прежде чем мы стали их читать.

На деле же — метафизичность, отрицание развития. Далеко не всегда воспринимаемое существует прежде восприятия: оно вполне может формироваться в процессе, как своего рода «артефакт». В деятельности человека так чаще всего и происходит — отсюда (выражаясь по-гегелевски) взаимная рефлексированность объекта и субъекта. Связано это с тем, что мы, как правило, наблюдаем продукты человеческой деятельности, а не вещи сами по себе. Человеческое восприятие активно, оно не сводится к простой сумме ощущений, оно всегда обобщает (то есть относит к общей для многих людей деятельности) — подводит под категорию.

У Гегеля свободная воля предполагает единство «теоретической воли» и «практической воли». Первое относится к познанию уже существующего; второе — к труду, к созданию нового. Свобода по Гегелю требует соединения «теоретического» и «практического», пассивности и активности, потребления и производства.

Метафизическая философия не видит активной стороны, продуктивной деятельности, творчества. Для нее все сводится к созерцанию уже готового, неизвестно откуда явившегося. Разумеется, пока мы не понимаем, как нечто возникает — наши знания о нем остаются сугубо созерцательными, они констатируют наличное бытие и ничего не говорят о будущем.

* * *

Древних нельзя здесь серьезно брать в расчет, потому что их философия, как бы находясь еще в состоянии невинности, не пришла еще к ясному сознанию двух глубочайших и труднейших проблем философии новых времен, а именно — проблемы о свободе воли и проблемы о реальности внешнего мира, или об отношении идеального к реальному.

Впоследствии марксизм назвал эту проблему основным вопросом философии... Свобода воли — просто одна из сторон отношения идеального к реальному. Шопенгауэр решает этот вопрос идеалистически: идеальное существует абсолютно независимо от материального, это априорный закон, данный раз и навсегда и определяющий все, что происходит в материальном мире. По сути такое идеальное ничем не отличается от бога.

* * *

Для метафизически мыслящего философа,

если дурной поступок возникает из природы, т. е. врожденных качеств человека, то вина за него лежит, очевидно, на создателе этой природы. Поэтому-то и придумали свободную волю.

Предполагается, что природа человека впечатана в него при рождении, и он никак не может ее изменить. Но человек-то как раз и отличается от всех живых существ тем, что он способен изменять условия своего существования — и через это свою природу. Человек разумен в той мере, в которой он обладает этой способностью. Шопенгауэровский человек — существо полудикое, действующее по животным законам. Такое представление типично для буржуазной идеологии. Проблески разума в человеке с этой точки зрения кажутся совершенно непостижимыми — и тут вступает в игру религия, объявляющая создателем бога. На самом же деле человек создает свой мир — и самого себя. Шопенгауэр суммирует:

человек ответствен за свое поведение при том лишь условии, что он сам есть собственное произведение, т. е. обладает самостоятельностью.

Остается сделать следующий шаг и допустить, что так оно и есть, что человек действительно может быть творцом. Но это Шопенгауэра пугает, ибо камня на камне не оставляет от его трансцендентального априоризма. Тут потребуется другая философия — исторический материализм.

* * *

Еще один образчик шопенгауэровской скромности:

От разработки вопроса у всех этих благородных и досточтимых предшественников настоящий трактат до сих пор отличается главным образом в двух отношениях: во-первых, тем, что я, руководствуясь темой, строго ограничил внутреннее восприятие воли в самосознании от внешнего и каждое из них рассмотрел отдельно, благодаря чему только и стало возможно раскрыть источник иллюзии, с такой непреодолимой силой действующей на большинство людей; во-вторых, тем, что я разобрал волю в связи со всей прочей природой, чего никто до меня не делал и благодаря чему только и можно было обсудить вопрос с доступной для него основательностью, методической глубиной и полнотой.

При этом Шопенгауэр забывает указать, что различие сознания и самосознания (в том числе применительно к воле) во всех деталях разобрано у Гегеля, согласно которому источник иллюзии вовсе не в смешении этих двух аспектов, а наоборот, в их метафизическом противопоставлении, абсолютизации их противоположности. А уж насчет рассмотрения воли «в связи со всей прочей природой» — Шопенгауэру до Гегеля далеко, ибо гегелевская философия вся построена на единстве мира, и ее основной мотив — возникновение и снятие различий внутри этого единства. При этом Гегель не замазывает качественного отличия воли (и других движений духа) от всего, что происходит в неживой и живой природе (шопенгауэровское «всей прочей» прямо указывает, что воля у него чисто природное явление). Поэтому от Гегеля легко перейти к историческому материализму, а от Шопенгауэра — невозможно.

* * *

Шопенгауэр всячески стремится отмежеваться от «теологов», не меньшее презрение у него вызывают «их щитоносцы, профессора философии». Он не замечает, что метафизичность в философии приводит к той же поповщине, и объективно его творения представляют собой лишь один из вариантов буржуазной идеологии, они по сути идеалистичны, несмотря на все обращения к «опыту». До ленинской книги, наглядно это продемонстрировавшей, оставалось почти столетие... И если бы Шопенгауэр до этого додумался, то он был бы не Шопенгауэр, а Маркс.

* * *

Насмешки над философской категорией «дух» у Шопенгауэра совершенно неосновательны. Его абстрактная «воля» ничем не лучше. Сама воля приобретает смысл только в соотношении с другими сторонами рефлексии, которые все вместе и есть дух. Шопенгауэр рассматривает вопрос слишком узко, он не замечает социальной сущности разума — и сводит субъекта к человеческому индивидууму, к организму вне общества.

* * *

Соглашусь, что «оружием философа служат не авторитеты, а доводы». Однако вряд ли Шопенгауэр имеет право сказать: «...только ими поэтому отстаивал я свой взгляд и надеюсь все-таки, что доказал его». Не говоря уже о том, что весь раздел IV посвящен отысканию авторитетов, на которые Шопенгауэру хотелось бы опереться, замечу, что доказательство есть рассуждение при определенных исходных допущениях, и коль скоро посылки неверны — вывести из них можно все, что угодно. С самого начала отождествить сферу воли и сферу причинности — это типичная логическая ошибка, называемая подменой понятия. Все дальнейшее относится поэтому не к воле как таковой, а лишь к одному ее аспекту, отношению к причинности. Вывод о том, что воля подчинена необходимости, — чистой воды тавтология, поскольку в данном контексте под волей как раз и понимаются лишь ее причинные проявления.

* * *

Важное положение о дополнительности субъекта и объекта — одна из положительных сторон учения Шопенгауэра. Действительно, всякая деятельность есть единство субъекта и объекта — и то, и другое в равной мере определяет характер деятельности, и меняется в ней. Конечно, шопенгауэровскому пониманию не хватает гегелевской глубины, и он не поднимается до синтеза субъекта и объекта, их взаимопроникновения... Но уже то, что этот элемент гегелевской философии не был отброшен в пылу борьбы с гегельянством и получил какое-то развитие, достойно уважения.

* * *

Примитивно метафизическое понимание ответственности у Шопенгауэра естественно вытекает из абсолютизации внешнего и внутреннего, из невозможности развития. Предполагается, что человек рождается готовым, со всеми своими достоинствами и недостатками — и потому он заранее повинен во всем, что случилось с его участием. Ответственность по-шопенгауэровски просто констатирует факт, что данное действие совершил данный человек, он автор данного поступка, хотя и подчинялся строгой необходимости (врожденный характер). Таким образом ответственность здесь понимается в том же смысле, что и ответственность упавшего на голову камня за убийство. Это отдает первобытным анимизмом — у некоторых народов принято наказывать предметы и явления природы за причиненный ими ущерб (в Европе следы подобной практики можно обнаружить вплоть до позднего средневековья, и кое-где они сохранились до сих пор в традиционных обрядах; к этому же восходит обычай освящения всего подряд в христианстве, практики изгнания бесов и т. п.).

* * *

Несомненно,

всякий поступок человека определяется двумя факторами: характером этого человека и мотивом. Это вовсе не значит, будто он представляет собою нечто среднее, какой-то компромисс между мотивом и характером: в нем находят себе полное выражение и тот и другой, так как вся его возможность обусловлена ими обоими вместе, именно тем, что действующий мотив попадает на данный характер, а данный характер доступен действию такого мотива.

Замечательное наблюдение. Здесь Шопенгауэр вплотную приблизился к Гегелю. Осталось только допустить возможность развития мотивов и характеров — и картина станет совсем правильной.

* * *

Поскольку Шопенгауэр выносит волю за рамки реальности, и для него это «не подверженное никаким временным различиям, стало быть,

пребывающее и неизменное условие и основа» всякого поведения, свобода для него тоже совершенно абстрактна, и он говорит о

воле как вещи в себе, которой в таком качестве должна принадлежать, конечно, и абсолютная свобода, т. е. независимость от закона причинности (представляющего собою просто форму явлений). Но это свобода *трансцендентальная*, т. е. она *не* обнаруживается в явлении, а имеется лишь постольку, поскольку мы отвлекаемся от явления и всех его форм, чтобы добраться до того, что должно быть мыслимо вне всякого времени как внутренняя сущность человека сама в себе.

Спрашивается: а почему, собственно, мы имеем право говорить о существовании чего-то, что не обнаруживается в явлении? Если нечто никак себя не проявляет — его просто нет. Здесь Шопенгауэр непоследователен. Сначала он заявляет, что никакой свободы воли нет, что все поведение подчинено природной необходимости — и вдруг начинает выдумывать какую-то трансцендентальную свободу «от закона причинности»... По всей видимости, он не смог своими аргументами убедить даже себя самого, и ему нужна хоть какая-нибудь лазейка для разумной мысли.

* * *

Основная ошибка Шопенгауэра в том, что воля у него оторвана от мира, она существует сама по себе, это *ничья* воля, воля *никакая* и *ни к чему*. У того, что Шопенгауэр называет волей нет никаких определенностей, это чистая абстракция. Потому и рассуждения его абстрактны и ни к чему не прилагаются. В жизни воля всегда есть воля конкретного человека, социума, класса... И ее определенность вытекает из условий существования этого человека, социума или класса. Воля может иметь количественные и качественные градации, она всегда на что-то направлена. Шопенгауэровский же субъект действует сугубо рефлекторно, это просто машина для реагирования на стимулы, пусть даже очень сложная. Устройство этой машины predeterminedено свыше и не может измениться, и все, что человек может — это лишь созерцать себя, но никак не творить. Не удивительно, что философия Шопенгауэра стала так востребована буржуазной идеологией. Это прекрасный инструмент удержания масс в капиталистической кабале.

* * *

Да, «по тому, что мы делаем, мы познаем, что мы такое». Но познаем не ради познания самого по себе, а ради изменения мира и самих себя. Познавая себя, мы обнаруживаем, что мы не таковы, какими хотели бы стать — и это становится мощным стимулом к развитию. Вот тут и вступает в дело настоящая воля, а не простое потакание своим слабостям и привычкам, к чему сводится воля у Шопенгауэра.

* * *

Одним словом, человек всегда делает лишь то, что хочет, и делает это все-таки по необходимости. А это зависит от того, что он уже *есть* таков, как он хочет, ибо из того, что он *есть*, с необходимостью вытекает все, что он каждый раз делает. Если брать его поведение objective, т. е. извне, то, бесспорно, придется признать, что оно, как и действия всего существующего в природе, должно быть подчинено закону причинности во всей его строгости; subjective же каждый чувствует, что он всегда делает лишь то, что он *хочет*. Но это значит только, что его образ действий есть просто обнаружение его подлинной сущности. То же самое чувство испытывалось бы поэтому всеми, даже самыми низшими существами в природе, если бы они могли чувствовать.

Здесь сумма всех ошибок. Во-первых, Шопенгауэр путает волю с хотением — а это далеко не одно и то же. Во-вторых, он выдумывает абстрактного человека, который рождается уже готовым и остается одинаковым на всю жизнь. Кроме того, он предполагает, что сущность человека есть абстракт, присущий отдельному индивиду, тогда как на самом деле это совокупность общественных отношений (вообще, сущность любой вещи не «внутри» ее, она определяется положением этой вещи в мире).

Таким образом, в моем рассуждении *свобода* не изгоняется, а только перемещается именно из области отдельных поступков, где можно доказать ее отсутствие, в сферу высшую, но не так ясно доступную нашему познанию, т. е. она трансцендентальна.

Иначе говоря, Шопенгауэр не знает, что такое свобода, и просто замечает мусор под ковер. Логика для него типичная: я этого не понимаю — значит, этого не поймет никто, это трансцендентально...

* * *

Очевидно, что «закон, т. е. угроза наказанием, имеет своей целью служить противоположным мотивом по отношению к еще не совершенным преступлениям». Разумеется, закон не остановит того, кто достаточно богат или влиятелен, чтобы откупиться от наказания, или переложить его на других. Точно так же, закон не остановит закоренелого преступника, сознательно выбравшего для себя существование вне закона. Основное предназначение права — защита правящих классов от эксплуатируемого большинства, сохранения общественного неравенства. А поскольку буржуазия склонна приписывать свое привилегированное положение в обществе какой-то природной исключительности, она всякого преступника считает безнадежным, и считает, что он *a priori* достоин наказания:

Преступник со своей стороны терпит в таком разе кару, собственно, вследствие своей моральной природы, которая с неизбежностью привела к преступному деянию в связи с обстоятельствами, игравшими роль мотивов, и его интеллектом, рисовавшим перед ним надежду избежать наказания. Это было бы для него несправедливостью в том лишь случае, если бы его моральный характер был не его собственным созданием, его умопостигаемым деянием, а созданием кого-либо другого.

Очередная логическая ошибка: сначала Шопенгауэр заявляет, что характер есть нечто врожденное и никак от самого человека не зависящее — и вот вам совершенно противоположное мнение, что характер создается самим человеком, а не кем-то еще — и потому наказание справедливо. На деле, конечно же, ни то, ни другое...

Р. J.

**КАК ФРАНСУА РАБЛЕ ПОСМЕЯЛСЯ
НАД МИХАЛ МИХАЛЫЧЕМ**

<http://unism.pjwb.net>

<http://unism.pjwb.org>

<http://unism.narod.ru>

**Заметки о книге М. М. Бахтина
«Творчество Франсуа Рабле
и народная культура средневековья и
ренессанса»
(М.: Художественная литература, 1990)**

Должен признаться, мне стоило больших трудов дочитать эту книгу до конца. Позиция ее автора ясна с первых же страниц — и все его ошибки можно предсказать заранее. Тем не менее, я решил довести дело до логического завершения — по трем основным причинам. Во-первых, совершенно неумеренные восхваления Бахтина в прессе на протяжении как минимум двух десятков лет вызывают законное желание противопоставить им хоть каплю разумности. Конечно, писать фундаментальный труд на тему одного из заурядных идеалистических завихрений я бы не стал — но, по крайней мере, критические заметки по ходу чтения могут быть полезны в мире, где давно уже забыли, что такое критика идеализма. Далее, если уж собрался делиться с кем-то своими взглядами, хочется быть вполне уверенным, что не проглядел в потоке грязи каких-либо откровений. Поэтому я не ограничился одной лишь книгой о Рабле, а просмотрел заодно ряд других работ Бахтина — новых впечатлений, впрочем, это не прибавило. Наконец, истязать себя длительным общением со скучным и однообразным собеседником только ради того, чтобы лишний раз представить его публике, — слишком много чести. Я воспользовался случаем, чтобы вкратце обрисовать противоположную идейную позицию — и тем самым как бы дать слово в свою защиту самому Рабле, которого Бахтин бесцеремонно оболгал. В частности, небезынтересно было попробовать разобраться во взаимоотношениях смеха и разума, а заодно и продемонстрировать полное отсутствие чувства юмора у почитаемого в официальных кругах теоретика «смеховой культуры».

* * *

Бахтин подходит к искусству с позиций объективного идеализма. Отсюда все достоинства и недостатки его анализа. С одной стороны, он противопоставит субъективному идеализму в попытках отыскать единые

принципы в развитии искусства и первобытных форм рефлексии. С другой стороны, эти всеобщие принципы оказываются подвешенными в пустоте, ибо их происхождение из реальной жизни людей (а следовательно, и закон их развития) остается непонятым — отсюда произвол в интерпретации фактов истории.

* * *

Вместо серьезного исследования происхождения и развития праздников — Бахтин просто объявляет празднество первичной формой человеческой культуры, никак не связанной с трудовой деятельностью и формами рефлексии. Поэтому и в карнавале он видит не живую часть единого мира — а абстрактное строительство иного (параллельного) мира, противопоставленного реальности.

* * *

Говорить о народе сверху вниз — обычная черта замкнувшихся в своем мире интеллектуалов. Для Бахтина народ — нечто первобытное, сырое, неразвитое... Из народа вырастает искусство, и литература в частности. Но при этом народ остается вне литературного процесса, это лишь фон, предпосылка, фундамент. Народность в таком понимании сводится к дикости, грубости, — даже к пошлости; народ — серая масса, толпа.

Если же под словом «народ» понимать прогрессивную часть общества, тех его представителей, которые уловили тенденции ближайшего и отдаленного будущего, — такой народ не сводится к тупой безликости, и нет противопоставления «верхов» — «низам». В примитивных формах рефлексии так же возможно выражение исторически всеобщего, как и в развитых аналитических формах (искусство, наука, философия). И народность тогда предстает как актуальность, прогрессивность, стремление к разумному общественному устройству.

* * *

Идеализация низовой культуры и объявление ее истинно народной логично вписывается в бахтинскую концепцию «низа» («земли») как

начала и конца всего живого. «Низ» для него — нечто животворящее, зачинающее; но это же и всеобщая могила, экскременты. Здесь очевидное влияние вульгарно-биологизаторского понимания человека, сводящего разум к физиологии.

* * *

Старая сказка о «золотом веке». У Бахтина высший расцвет искусства отнесен к средневековью; в дальнейшем — только вырождение, омертвление гротескного первоначала, которое (по Бахтину) выражает собой суть народной (низовой) культуры. Капитализм представляется вырождением возвышенного начала, присущего средневековью; распад начинается в эпоху Возрождения и завершается романтическим искусством и модернизмом. Развития нет — только отблески былой славы...

* * *

Бахтин идеализирует средневековье, приписывает ему возвышенные черты, которыми оно никогда не обладало. Абстрактная идея карнавала как всеобщего братства людей далека от грубого варварства карнавальности действительности. Происходя из древнейшей обрядности, карнавал возвращает людей в первобытное состояние, угнетает их разум. Веселье по обязанности — худшее рабство. Поэтому так легко власти приспособливают карнавал для удержания масс в узде; возможность выпустить пар в пределах дозволенного прекрасно сочетается с покорностью и подобострастием. Карнавальная свобода — идеалистическая фантазия, не более. Вольности шутов — в безобидных рамках. Балаган частенько используется властью имущими как оружие: можно купить актера, чтобы настроить чернь против конкурента, подвигнуть массы к активному действию — а потом устранить исполнителей за посягательство на устои.

* * *

Карнавальная свобода — утопический штамп литературы XX века, реакция на тотальное подавление человеческой личности при

капитализме. Вместо критического анализа этого предрассудка Бахтин возводит его в основополагающий принцип — и подгоняет факты под собственное заблуждение.

* * *

Бахтин смешивает в одно совершенно разные эстетические категории, называя «гротеском» все подряд. Но орнаментальное сочетание разнородных элементов (обычно называемое арабеской) — совсем не то же самое, что эпатажная скабрёзность; совершенно особый художественный прием — метафорическое преувеличение или преуменьшение (гипербола и литота); опять же, все это никоим образом не связано с нагромождением причудливых и странных образов (фантазмагория). В гротеске могут сочетаться различные «технологии» — и важно понять, что общего у совершенно разных видов гротеска.

* * *

Вместо определения гротеска — Бахтин выводит из него искусство в целом. Неопределенность исходного понятия — произвол в следствиях. Разумеется, нельзя свести дело к простой дефиниции. Но если уж заниматься исследованием чего бы то ни было, следует хоть как-то ограничить область исследования. И только тогда проявится возможность развития, историческая перспектива.

* * *

Отождествлять гротеск с комическим вообще — полнейшая нелепость. Гротеск возможен и вне комического контекста — и Бахтину приходится изобрести специальный термин «романтический гротеск» для мрачной образности XIX–XX веков; для Бахтина это вырождение, а не развитие. Гротескность сюрреалистов остается вообще за рамками бахтинской концепции — здесь нет ни комизма, ни праздничности, ни вульгарной народности... Сюрреализм совершенно серьезен — хотя и не лишен игрового момента, присущего искусству как таковому. Многие примеры современного гротеска нельзя даже назвать сатирой. Это искусство-размышление, искусство-медитация, или искусство-плакат.

Гротеск — это не смешно. Разумеется, примитивные люди могут, например, смеяться над чужим уродством, или хихикать на карикатуру.

Но сие лишь показывает степень их незрелости как разумных существ, обнаруживает неразвитость рефлексии, неспособность воспринимать искусство (равно как и отвлеченные идеи в любой другой форме).

* * *

Есть интуитивная идея гротеска — и любая искусствоведческая теория обязана с интуицией согласовываться. Даже если это обыденное представление слишком примитивно и лишь частично отражает суть явления.

В самом общем понимании гротеск — это нарочитое искажение реальности, разрушение объективной связи вещей. Разумеется, никакое искусство вообще невозможно без художественного переосмысления действительности — оно отлично от действительности уже по своей форме. Однако в большинстве случаев отклонения от реальности лишь подчеркивают существенное в ней, выделяют объективную основу в объективном. Это не искажение, а трансформация; во многих случаях автор принимает меры, чтобы замаскировать измененность мира в художественном отражении — и даже в явном отступлении от обычности присутствует элемент возможности нового опыта. Гротеск же, наоборот, выпячивает искусственность на передний план, он назойливо противоестественен. В ранних формах, когда источником образов искусства преимущественно служило человеческое тело и связанные с ним бытовые операции, — гротеск чаще всего (но не всегда) представляется уродством; комбинирование животных и растительных форм — ведет к гротеску-фантазмагории.

Гротеск играет в искусстве особую роль. Он решительно освобождает художника от условностей времени и места, раскрепощает его. Точно так же, восприятие искусства становится творческим, свободным от штампов. Гротеск говорит нам, что разум способен не только отражать реальность, но и преобразовывать ее, выдумывать невозможное — и делать его возможным. Поэтому гротеск всегда оказывался на острие классовой борьбы, выражая неизбежность замены старого общественного уклада новым.

Так понимаемый гротеск становится в один ряд с другими формами искусства; прежде всего, это средство художественной выразительности — отличное от других средств и дополняющее их. Гротеск как форма

искусства отличается от разного рода бытовых явлений — шуток, сквернословия, обмана, распушенности. Гротеск появляется именно в искусстве, и служит развитию художественного образа.

В разные эпохи гротеск занимал разное место в искусстве. Ясная идея гротеска позволяет говорить о его особенностях в определенное время у тех или иных народов, или о различии форм гротеска в искусстве различных социальных слоев. При этом не требуется выводить все возможные формы гротеска из какой-то одной его разновидности — речь идет о взаимовлиянии и взаимопроникновении многих культур и всевозможных пластов одной культуры.

* * *

В карнавале (или иных ритуальных действиях) могут быть элементы гротеска — поскольку в нем есть элементы искусства. Однако в основном это явление вне мира искусства — и категория «гротеск» к нему просто неприменима.

* * *

В средние века многое воспринималось иначе, чем сейчас. Например, описания или изображения разного рода чудищ (великаны, химеры, единороги, драконы и т. п.) современными авторами часто трактуются как гротеск — тогда как для средневекового человека это были образы возможной реальности, существующей где-то в чужеземных странах. Байки путешественников принимались за чистую монету, и даже правдивые рассказы потрясали своей необычностью, постепенно превращаясь в сказочные истории. Слухи о невероятных деяниях ведьм и колдунов не имели гротескной окраски — они представлялись эпизодами из жизни. Умение критически относиться к писанию и преданию пришло гораздо позже, с развитием науки и промышленности, с практическим освоением новых земель, с приходом нового общественного уклада. В начале XIX века Гегель считал гротескными многоруких индийских богов — тогда как для многих индийцев они не нарушают их представлений о естественности и в наши дни. Точно так же, в древнегреческой мифологии Хронос, пожирающий своих детей, лишен оттенка гротескности, присущего известному полотну Гойи.

* * *

Вряд ли правомерно считать участников карнавала эдакими философами, устраивающими праздничные бесчинства исключительно в поисках «амбивалентности». В первобытной общине, возможно, ритуалы такого рода еще могли восприниматься массами как причащение к чему-то сверхъестественному — однако уже в античности мифология воспринималась в лучшем случае метафорически, а чаще — как оборот речи. Для большинства праздничные мероприятия — повод расслабиться, развлечься, надраться до чертиков, отключиться от действительности... Не строительство параллельного мира — а уход от мира повседневности. Нормальный человек в праздник не задумывается о символах смерти и возрождения — или иных высоких материях. Точно так же, посылая кого-то на три буквы или в пять, никто не имеет в виду ничего конкретного — это просто форма некультурной речи, как бы ни пытался Бахтин убедить публику в противоположном. Буквальное понимание таких речевых штампов — типичная тема анекдотов.

* * *

Говоря о гротеске, Бахтин все время ссылается на Рабле. Однако у Рабле практически нет следов гротеска, его книга использует совершенно другие приемы. Рабле нигде не выходит за рамки естественности, его фантастические гиперболизации не нарушают пропорциональности и соразмерности частей. Точно так же, Рабле совершенно не свойственна пошлая скабрёзность — он всегда умеет оставаться в рамках искусства, не опускаясь до неотесанной грубости, грязного натурализма или порнографии. Тематика ниже пояса подчинена идеологическим и художественным задачам куда строже, чем, например, в «Декамероне» — или в первых главах Апулея. О неправомерности отнесения его книги к области комического сам Рабле предупреждает в предисловии. Таким образом, бахтинские попытки выдать «пантагрюелизм» за манифест площадной культуры (или бескультурья) оказываются совершенно безосновательными; с таким же успехом можно было бы считать Омара Хайяма рупором кабацкой гольтыбы, алкашей и бродяг... Неумение отличить художественный образ от его автора, увидеть за легкой формой глубокое содержание — обычная беда. Но человеку, объявляющему себя теоретиком искусства, такое непροститительно.

* * *

Поскольку человеческий смех есть часть человеческой культуры, допустимо говорить о «смеховой культуре» как особом пласте культуры в целом. Как обычно, часть может развиваться относительно независимо от целого, и от иных его сторон. Однако в конечном итоге развитие смеховой культуры подчинено логике общественного развития в целом.

То, что Бахтин называет «смеховой культурой», существует отдельно от общества и независимо от него — это абстрактно всеобщее, которое лишь отражается в литературе (или других искусствах) в неизбежно искаженном и редуцированном виде. Изучать подобные абстракции нельзя — их можно только постулировать. Так объективный идеализм прокладывает дорогу религии.

* * *

Смех возникает на самых ранних этапах становления человечества. Исходно — это сигнал окружающим, приблизительно означающий: «все в порядке, можно расслабиться». Собственно физиология смеха восходит к быстрому расслаблению мышц гортани, сопровождающемуся переходными спазматическими процессами. Сигналы такого рода важны для поддержания устойчивости локальных биологических сообществ внутри вида, и, в конечном счете, биоценоза в целом. У многих животных имеются аналогичные сигналы: собачий брех, мурлыканье кошек, «пение» китов, щебетание птиц... В мире, где каждому постоянно приходится бороться за выживание, потребность в хотя бы временной безопасности, в эмоциональном убежище, всегда высока. Если вокруг смех — это повод сделать паузу, сбросить напряжение, восстановить силы для нового витка вечной войны всех со всеми...

Разумеется, в человеческом обществе любое биологическое явление окультурируется и приобретает универсальность. В древнейших обществах социализация смеха происходит путем его регламентации, вплоть до превращения в ритуал. Постепенно смех освобождается от примитивных форм; только в эпоху капитализма господство всеобщего отчуждения делает смех по-настоящему индивидуализированным — вместо смеховых шаблонов возникает чувство юмора. Разумеется, правящие круги всегда стремились удержать смех в безобидных рамках, свести его к примитивным реакциям (хохмачество, пошлость официальных юмористов, грубые шутки, пустое шутовство, приколы и стерб). Животное происхождение

смеха облегчает эту задачу. Но разумность в том и состоит, что низшие формы деятельности всегда возможно приспособить для выражения глубоких идей, использовать как строительный материал для собственно человеческих форм самовыражения.

* * *

Чисто биологическое значение смеха (психическая разрядка) у людей сублимируется — теперь он выражает социальное состояние человека, а не просто физиологический комфорт. Но суть остается той же: снятие напряжения. Сигнал: я в порядке, несмотря ни на что.

Современный человек способен реагировать не только на свои собственные проблемы — он постоянно примеривает чужую жизнь на себя, заранее проигрывает в себе возможные ситуации, готовится к ним. Поэтому выглядят комичными неприятности с театральными, экранными или эстрадными персонажами: при виде чужой беды зритель чувствует собственную (хотя бы эфемерную) безопасность. Это произошло не со мной — пронесло... Кому-то плохо — а мне хоть бы что! Кто-то страдает — а мне веселье.

Понятно, что подобная «смеховая культура» несовместима с разумностью. Но в условиях, когда возможности собственно человеческого творчества крайне ограничены, разум способен выражать себя и в примитивных формах (юмористических, религиозных и т. п.). Такие способы самовыражения исторически неизбежны и необходимы для нормального развития — в качестве игры, из которой вырастает творчество. Однако разум вызревает именно в преодолении примитивности, в сознательном отказе от пошлого комфорта.

* * *

В отличие от животного, человек может смеяться не только в реальной или воображаемой жизненной ситуации, связанной с накоплением напряженности и ее разрядкой, — человек способен видеть смешное даже в абстрактных идеях. Здесь работает тот же принцип, смех остается сигналом психического комфорта, — но преодолевается не физический дискомфорт, а трудности когнитивного, эмоционального или нравственного плана. Такой рефлексивный смех — чисто человеческое явление, но смеховая форма реакции на удачное решение трудной задачи все еще связывает человека с животным миром.

* * *

У детей смехоподобные реакции возникают очень рано — в первые же месяцы жизни, как только смягчится послеродовой стресс. Аристотель полагал, что смех появляется на сороковой день жизни и служит индикатором начала становления собственно человеческого в ребенке. Разумное зерно аристотелевской идеи (начало социализации) средневековье, как водится, превратило в догму — и до сих пор все дружно цитируют Аристотеля, утверждая, что смех отличает человека от животных. Бахтин некритически перенимает эту точку зрения и приводит подборку ссылок на старых авторов, долженствующую убедить читателя в правильности этой идеи. Однако было время, когда на Аристотеля ссылались, чтобы доказать необходимость постоянно действующей силы для инерционного движения; теперь мы знаем, что равномерное прямолинейное движение возможно только при отсутствии (или взаимной компенсации) внешних сил. Точно так же, пришлось отказаться и от античной геоцентрической астрономии. Книга Рабле в какой-то мере представляет собой литературную параллель коперниканской революции — это уничтожающая пародия на смех, особенно в его средневековых формах.

* * *

Бахтин всячески пропагандирует беззубый смех ради смеха. Он считает сатиру вырождением подлинной «смеховой культуры». Но беспричинный смех — справедливо вызывает подозрения в психической неполноценности. Смех всегда связан с напряженной ситуацией и ее (хотя бы иллюзорным) разрешением. Сатирический смех — одна из наиболее человеческих его разновидностей; сатира направлена в будущее. Безыдейное же хохмачество — признак духовного вырождения.

* * *

Традиционно в литературоведении говорят о влиянии народного творчества на профессиональное искусство. Но существует и обратное влияние — многие авторские находки расходятся в народе и становятся безымянной частью культуры. Даже когда сохраняется память об авторстве — народный вариант имеет свой собственный способ бытования, у него иные культурные функции.

* * *

Рабле откровенно злободневен. Его книга насквозь проникнута аллюзиями на общеизвестные обстоятельства того времени, на ходячие мысли и образы, на популярные литературные произведения — на образ жизни и поведение людей в XVI веке. Сатирическая направленность книги несомненна — недаром ее ненавидело официальное духовенство. Просветительское начало у Рабле обнаруживается со всей откровенностью — и потому книга тепло принята передовыми литераторами. Попытки Бахтина объявить Рабле эдаким безыдейным смехачом выглядят, по меньшей мере, странно. Если у Рабле и есть что-то смешное — то уж никак не ради смеха самого по себе.

* * *

Средневековая традиция подкрепления любой мысли ссылками на авторитеты — одна из мишеней сатиры Рабле. Его пародии на такого рода «обоснования» — просто великолепны. Однако до сих пор в гуманитарных науках большинство публикаций представляют собой компиляции цитат, долженствующих продемонстрировать эрудицию автора (вместо умения мыслить) и воздействовать на психику читателя (вместо общения с ним). Да и в естественных науках немногим лучше: без солидного ссылочного аппарата никого в печать не выпустят. Бахтинское теоретизирование вполне в русле традиции — оно пестрит надерганными из разных авторов высказываниями. К позиции автора они мало что добавляют, и единственное их назначение — создать видимость глубокого изучения первоисточников.

* * *

Смех по своей сути эгоистичен и агрессивен — он говорит: «Мне хорошо», — или: «Я сильный». Социальная функция смеха минимальна — это надежда слабого на помощь со стороны сильного в случае опасности, — или надежда на совместное преодоление возможных трудностей. На практике — смех часто оказывается жестоким, а шутки злыми. Сильный подчиняет себе слабого, смеясь над ним.

Со временем у человека рождается снятая форма смеха, в большей мере ориентированная на другого человека, — это улыбка. Разумеется,

речь идет не об открытой «голливудской» улыбке, выставляющей на обозрение батальон зубов, — это не улыбка, это оскал. Духовно развитый человек способен улыбаться без агрессии, только мимикой лица и глазами, показывая свое расположение к окружающим, а не запугивая их. У неразвитых людей вместо улыбки часто получается гримаса; свое неумение улыбаться они переносят на других, воспринимая чужие улыбки как демонстрацию снисходительного презрения. Умение улыбаться — разумнее смеха; искусственные улыбки — демонстрация животности. Как говорил Рабле, старой обезьяне приятной гримасы не соорудить...

* * *

Наивно полагать, что в старину все понимали и все умели — а ныне это знание утеряно. Тем более странно предполагать какую-либо особую целостность «смеховой культуры» в средние века, во времена феодальной раздробленности. Бахтин пытается вписать многочисленные формы юмора в единую картину, подчинить центральной идее... А они просто сосуществовали, и сосуществуют сейчас; этот культурный слой как раз и характеризуется разнородностью и слабой организованностью — и только включение юмора в официальную культуру организует и упорядочивает его.

* * *

Рабле отнюдь не выражение средневековой культуры — он даже не представитель ренессансной волны. Суть творчества Рабле в переходе от Ренессанса к Просвещению, и его книга ближе к Сирано и Вольтеру, чем к Боккаччо или трубадурам. Последовательно коммерческий подход Рабле к изданию и продаже книг — характеризует его как писателя Нового времени, типичного буржуа от искусства. Собственно профессиональная литература сложилась в Европе к началу XIX века — но Рабле был в числе ее предвестников. Только в наши дни начинают появляться признаки некоммерческого искусства, преодолевающего буржуазный принцип «все на продажу», — это и завещание Льва Толстого, и картины Ги Леврие, и музыкальные альбомы в свободном доступе, и сетевой самиздат...

* * *

Бахтин пытается увидеть какой-то особый смысл в том, что средневековый юмор во многом вертится вокруг церковных установлений и религиозных догм. Но было бы странно, если бы народ смеялся не над тем, что наполняет его быт, что встречается на каждом шагу... Смех вырастает из обыденности — и вырастает в нее. Даже абстрактные анекдоты, в конечном счете, намекают на привычные общественные явления.

* * *

Интеллигентская стыдливость: «снижение» серьезной культуры в культуре «смеховой»... Обычно это называется опошлением, похабщиной и т. п. Любое культурное явление можно воспринимать в матерном смысле — и это больше говорит об уровне духовного развития любителя скабрёзностей, нежели о его стремлении построить какой-то особый гротескный мир.

* * *

Вместе смеются равные. Смеются над теми, кто слабее. Лакеи им подхихикивают. Иерархия смеха.

* * *

Даже когда смех направлен против власть имущих, когда высмеивают пороки и заблуждения, — это агрессия. И тем самым высмеивающие уподобляются высмеиваемым. Когда на войне приходится убивать врага — это все равно убийство, и человечности убийце оно не добавляет.

* * *

То, что в массах юмор оказывается в основном ниже пояса, свидетельствует не об абстрактной идее начала и конца, и не о символах возрождения мира, — это всего лишь выражение отсутствия у масс иных, разумных потребностей. В обществе, где большинству

приходится тратить себя ради простого выживания, юмор вынужденно ограничен физиологическими темами. Это выгодно власть имущим. Но будущее умеет прорваться в жизнь — надевая маску прошлого.

* * *

Поскольку человек освобождается от ограничений, навязываемых ему косной природой, если может произвольно комбинировать известное, создавая необычное, — это придает ему уверенности в себе и вызывает чувство защищенности. В условиях, когда подобные игры разума являются редким исключением на фоне серых будней, удовольствие от игры может порождать смех. Сама по себе игра со смехом никак не связана — она более интеллектуальна. Это эксперимент, исследование возможностей. Но любая игра может быть вписана в рамки какой-то иной деятельности и стать манипуляцией или фиглярством...

* * *

Бахтин vs. Веселовский. Веселовский прав, связывая смех с внешними ограничениями и угрозами; смех по своему происхождению есть индикатор относительной безопасности в опасной среде. В эксплуататорском (цивилизованном) обществе каждый всегда в опасности, и смех необходим.

Бахтин возражает: дескать, не будь внешних репрессий, истина бы заговорила в серьезном тоне — а это (по Бахтину) не так. Возражение слабое. Веселовский не утверждал, что с уничтожением феодального притеснения исчезнет смех — на смену феодализму идет не менее грабительский общественный строй (капитализм), и поводов посмеяться будет немало — однако формы смеховой культуры станут иными. С другой стороны, там, где внешние трудности отходят на второй план, где люди могут спокойно заниматься созидательным трудом и наслаждаться окультуренной (разумно устроенной) природой, — смех действительно оказывается неуместным и выглядит глупо.

Однако Веселовский не прав, выставляя шута носителем какой-то «общечеловеческой правды» или «объективно-отвлеченной истины». Смех всегда конкретен, он выражает идеологию определенного

социального слоя — более того, он служит консолидации этой общественной группы, наглядно отделяя «своих» (кто смеется) от «чужих» (над кем смеются). Буржуазия испокон веков стремилась выдать свои ценности за общечеловеческие — буржуа просто не представляет себе мира без собственности, без торговли, без конкуренции... Средневековый шут частенько выражал взгляды нарождающейся буржуазии — их внесловный характер создавал иллюзию универсальности и общезначимости. Рабле интересен тем, что он идет дальше — и высмеивает буржуазность, но не с ностальгически-феодалных позиций, а с утопической мечтой о разумном общественном строе. Здесь он прямо примыкает к Томасу Морю (книга которого вышла в свет на 16 лет раньше «Гаргантюа») и дает толчок дальнейшему развитию социальной утопии (Кампанелла, Бэкон, Сирано де Бержерак).

* * *

Бахтин заявляет, что «смех менее всего мог становиться орудием угнетения и одурманивания народа». Это совершенно не соответствует тому, что мы наблюдаем на каждом шагу. Буржуазия широко использует хохмачество всех сортов для оглупления масс, разного рода «народные гуляния» насаждаются сверху для восстановления диких обычаев и религиозных традиций... Если смех и становится выражением социального протеста, то лишь ограниченным и противоречивым образом — подобно тому, как ереси отрицают отдельные догматы господствующих религий, не отмечая веры как таковой.

* * *

Мир смеха у Бахтина абстрактно противостоит миру официальной серьезности — тогда как на деле оба они суть аспекты (разные уровни) одного мира, у которого есть другие, не менее важные стороны. У Бахтина народная (низовая) культура сводится к культуре смеховой — и совершенно потеряна бытовая основа народной культуры, к смеху имеющая весьма отдаленное отношение. В реальности неофициальная культура в большинстве своем вполне серьезна, а официальная культура включает смеховые компоненты. По Бахтину же получается, что нельзя без смеха поесть блинов...

Даже если говорить о культуре в узком смысле, о традиционных формах рефлексии, — все равно смеховая культура составляет лишь небольшую ее часть. Есть народные песни, танцы, сказки, пословицы и поговорки, приметы, предрассудки и поверья, манера поведения, строй мысли, особенности речи... Все это может сочетаться с долей юмора — а может существовать и без него.

* * *

Почему-то критики говорят о Рабле как о едином литературном явлении — и предпочитают обходить стороной эволюцию его творчества. А ведь вторая его книга по своей направленности сильно отличается от первой, третья от второй... За формальным сходством не замечают принципиальных различий.

* * *

Бахтинская идеализация «народно-праздничных форм» (средневековых форм массовых развлечений) подобна попыткам оправдать существование религии народной привычкой молиться да исповедоваться — или апологии капитализма на основании вековой традиции все мерить на деньги. Предполагается, что эти самые «формы» не имеют истории — они возникли сами по себе или существовали всегда. Это «естественные» и «подлинные» способы самовыражения — и в них, по Бахтину, смеховая культура находит наиболее полное воплощение... С тем же успехом можно объявить современную попсу наивысшей формой эстрадного искусства — а все последующее расценивать как вырождение идеала.

Если же обратиться к реальной истории, к происхождению праздничных форм — ничего общего с народностью в них не обнаружится. Формы эти восходят к древнейшей обрядности, к первобытной магии. То есть, исходно, они направлены на подчинение человека общине, закрепление его места в родоплеменной иерархии. Понятно, что это позволяет впоследствии легко приспособить формы праздников для навязывания людям удобных для властей способов поведения, и санкционированное (освященное традицией) веселье остается обычным средством закабаления масс.

* * *

Книги Рабле (по крайней мере, первые три) сродни сочинениям маркиза де Сада. И то, и другое — попытка популяризации передовых идей через внешне привлекательные для отсталых масс формы. Только у Рабле продвижение идеологии через юмор, а у Сада — через секс. Предполагается, что народ будет заглатывать наживку — и подспудно усваивать определенный образ мысли. Прием обычный, и примеров тому немало, начиная с ранней античности. Сегодня это превратилось в науку промывания мозгов и психологической манипуляции (политтехнологии, пиар и скрытая реклама, нейролингвистическое программирование). Таким способом удастся весьма успешно вбивать в подсознание идеологический хлам. Однако использование подобных приемов для пропаганды прогрессивных мыслей приводит к внутренней противоречивости, сводящей на нет эффективность метода. Оказывается, не всякая форма пригодна для любого содержания. Возвышенное в низовых формах — искажается, становится гротескным. Низменное в возвышенных формах — становится смешным. Попытки механически соединить несоединимое приводят к расслоению, к потере целостности — либо к маскировке одного из полюсов другим. Вот так и выходит, что Рабле воспринимается исключительно как ренессансный юморист, а де Сад — как упадочный извращенец... Просветительские элементы теряются; те, кто готов к их восприятию, не успевают до них дойти, прекращают чтение, устав от эпатажного мусора. Те же, кто хочет развлечься, просто не замечают идеологических вставок — пропускают их как неинтересные, лишние. В наши дни широко практикуется сокращенное издание классики — или, например, постановка укороченных версий классических балетов. Тем самым искусство подчиняется вкусам невзыскательной публики, опошляется.

Аналогично, нельзя причесать марксизм под религию (как это до сих пор пытаются сделать разного рода богостроители) — и нельзя свести борьбу за свержение капитализма к борьбе партий (ибо партийность есть категория буржуазная).

* * *

Возникновение в XVII веке литературного вуйеризма Бахтин трактует как вырождение средневекового сортирного юмора. На самом

же деле речь идет о принципиально новом явлении, ранее просто немыслимом. Возникновение самого понятия интимности и частной жизни связано именно с приходом капитализма, с разрушением общинности и феодальной иерархии. В средние века жизнь человека в основном протекала на виду — свидетели находились буквально всему, любые личные тайны требовали поверенного (как правило, из другого социального слоя). Сословное разделение ограничивало возможности людей — только равные могли стать соперниками. Капитализм заставляет человека замыкаться в себе, поскольку любой другой способен использовать сведения личного характера в своих корыстных интересах. Как только появились укромные уголки — появились и любители подглядывать.

В наши дни физическая сторона частной жизни практически разрушена. Человек нигде не может быть уверен, что за ним не подглядывают, что его не подслушивают. Людей опять приучают жить у всех на виду, ничего не стесняясь, ничего не пряча... Всякая замкнутость и скрытность объявляются вне закона. Это удобно власти имущим, поскольку позволяет установить тотальный контроль над населением. Область интимности переместилась во внутреннюю жизнь человека — мысли и чувства надо научиться хорошо скрывать, чтобы обмануть всевозможные приборы. По всей видимости, стремление к интимности и совершенствование способов ее нарушения — это внутреннее противоречие капитализма. Следует ожидать, что в более разумно организованном обществе людям будет уже неинтересно докапываться до интимных подробностей жизни других — собственная жизнь каждого станет достаточно богатой и насыщенной, и ничто в ней не будет противоречить интересам других.

* * *

Художественное произведение нельзя воспринимать как сплошную аллегория, набор аллюзий на реалии дня. Художественная литература, прежде всего, выражает идею. В этом Бахтин безусловно прав. Однако нельзя забывать, что литература делается на определенном материале — придает ему общезначимую форму и тем самым наполняет культурным содержанием. Если материал не воспринимается — нельзя в полной мере оценить искусство. В художественной прозе литературный язык — лишь способ физически донести произведение до читателя, формальная

основа. Основным же ее материалом являются жизненные обстоятельства, обыденные представления, дух времени. Проза — отражение (и выражение) определенной культуры. Когда типичные для этой культуры явления уходят в прошлое, восприятие оставшейся от нее литературы затруднено. Вполне логично и естественно попытаться изучить обстоятельства эпохи и прокомментировать текст — это дает читателю необходимое знакомство с материалом и позволяет полнее понять и прочувствовать авторский замысел, увидеть в старой книге живое искусство. Разумеется, такого рода исторические комментарии следует воспринимать творчески, самостоятельно оценивая применимость и оправданность той или иной интерпретации. В художественном произведении даже прямые аллюзии несут печать всеобщности и выражают некоторое общественное отношение, это не простое изложение фактов. Форма в искусстве активна — один и тот же материал в зависимости от формы может иметь совершенно разное содержание.

* * *

С большой головы на здоровую: образное определение Вольтера «пьяный философ» Бахтин воспринимает буквально — и пытается приписать Вольтеру буквальное понимание слов Рабле о том, что, дескать, он пишет только под градусом...

* * *

Развитие смеха приводит к выделению различных его форм — вместо синкретически-неотесанной грубости средних веков. Для Бахтина же это признак вырождения. Согласно его ни на чем не основанной теории, настоящий смех может существовать только в примитивной первобытной форме, а все остальное — позднейшие извращения. Это все равно, что объявить манеру еды хорошо воспитанного человека извращенной формой «подлинно народной» еды — с чавканием, хлюпанием, разговорами с набитым ртом...

* * *

Ирония — высшая форма смеховой культуры. Она преодолевает первобытную дикость и бесформенность, направляя смех точно по

адресу. Ирония уходит от громоподобного «ржания» — она выражается в улыбке. Смех в иронии — только намеком, где-то на заднем плане. Дальнейшее развитие — отказ от смеха как такового, поиск новых форм остроумия.

* * *

По сравнению с современным потоком чернухи и порнухи — Рабле выглядит сущим ангелочком. Искусство XXI века тонет в море грязи, крови, матерщины, пошлости и безвкусыя... Так надо правящим кругам — чтобы рабы разучились думать и мечтать. А тут очень кстати находится теоретик, возводящий бескультурие в ранг истины. Не удивительно, что его превращают в рекламный гротеск.

* * *

Бахтин обвиняет романтиков в том же, чем грешит сам — в подмене реальности абстрактной идеей. На словах ратует за историзм, на деле — предполагает неизвестно откуда возникший идеал «амбивалентности», якобы процветавший в средние века и выродившийся после. При этом искусство оценивается не с позиций его места в историческом контексте, а с точки зрения этого абстрактного идеала.

* * *

Идеализированное представление о карнавале как мире яркой свободы, противопоставленном миру серой обыденности, восходит к романтизму, с его гиперболизацией бурных страстей, стремлением к «дикой» экзотике и демонстративным нигилизмом. Два последующих века превратили этот образ в ходячий штамп — и Бахтин некритически перенимает романтическую идею, не задумываясь о ее происхождении и предназначении.

* * *

Преувеличение исторической роли отдельных личностей характерно для романтиков. Современное восприятие слова «гений» в смысле особой одаренности, превосходящей возможности обычного

человека, — наследие романтизма. До этого слово «гений» означало нечто совсем иное — такое анимистическое понимание сохранилось до сих пор в речевых оборотах типа «добрый гений», «злой гений»... Греческое название гения как личного духа — демон; это слово также претерпело значительную метаморфозу под влиянием романтиков.

Для романтико-идеалистического понимания истории характерно выведение ее из деяний отдельных личностей. В частности, в литературе пытаются указать нескольких авторов, якобы определивших направления последующего литературного процесса; эти гении, по мысли романтиков, «создали» литературный язык и «открыли» новую образность. Даже признавая, что гениальные находки выражают насущные потребности своего времени, романтики считают их исключительно личной заслугой «гения» — приписывая ему мистическое чутье и пророческий дар.

Никто не спорит, существуют различия в одаренности у разных авторов. Одни более плодовиты, чем другие. Отчасти это связано с личными данными, с исключительными физическими возможностями. Однако разум не сводится к физиологии, он преодолевает ее. Основной вклад в человеческой гениальности — от условий воспитания и образования, от социально заданных условий индивидуального развития. Общественная необходимость выражает себя через единичных людей — в различной мере в разных людях. Кто-то первый высказывает новую мысль; но помедли он немного — и эту мысль выскажет другой, пусть даже иначе. То, что не успел сделать Моцарт, доделают кусочками десятки безвестных авторов — развитие искусства со смертью Моцарта не останавливается.

* * *

В переломные моменты истории искусство действительно испытывает значительное влияние массового «народного» творчества. Однако оно становится столь же чувствительно и ко всем остальным источникам, включая производственную практику, науку и философию. Говорить о преимущественной «народности» искусства переходного периода — явное преувеличение.

* * *

Бахтин все время говорит о смеховой культуре в целом, и люди XVI века для него — все на одно лицо. Да, в эту эпоху сословная

стратификация культуры изжила себя — но еще не была преодолена, и разные сословия смеялись очень по-разному. Рабле явно адресовался не к низшим слоям культуры, его книга предполагает определенную начитанность и привычку к рефлексии. Юмор Рабле — отнюдь не низовой, это юмор образованного человека, хотя и знакомого с жизнью социальных низов не понаслышке. Хотя книгопечатание уже получило широкое распространение, грамотных людей в тогдашней Европе было немного. Рабле безусловно не мог рассчитывать, что его книга станет доступна широким народным массам; его целевая аудитория — слой образованных людей неаристократического происхождения (для аристократии все они были «народом», чернью — как Ломоносова в России формально относили к сословию крестьян, хотя его отец был зажиточным предпринимателем).

* * *

Несмотря на беспощадную критику религии и суеверий, Рабле, конечно же, был по-своему религиозен. В XVI веке атеизм еще не мог заявить о себе. Точно так же, монархия представлялась разумным (по сравнению с предшествующими веками феодальной раздробленности) государственным устройством — соответственно, и Мор, и Рабле делают свои Утопии абсолютистскими монархиями, во главе с мудрыми и справедливыми правителями.

* * *

Термин «раблезианство» имеет столь же поверхностное отношение к Рабле, как термин «садизм» — к маркизу де Саду или, скажем, «фрейдизм» — к Фрейдю, а «марксизм» — к Марксу. Все это продукт поздней, далеко не объективной интерпретации. Но обыватель воспринимает форму, не вникая в суть.

* * *

Бахтин упорно пытается приписать Рабле ритуальный смех без повода, объявляя всех противником такого подхода недоумками, неспособными проникнуться духом «амбивалентности». Согласно Бахтину, Рабле писал свои книги исключительно хохмы ради, без

всякого намерения поговорить о сколько-нибудь серьезных вещах. Понятно, что эпизоды вроде «Телемской обители» кажутся Бахтину «выпадающими из системы». Разумеется, не стоит впадать в противоположную крайность и придавать этому эпизоду какую-то исключительную важность, — но всякому здравомыслящему читателю очевидна связь описания Телемской обители с другими утопическими фрагментами, разбросанными по остальным книгам. Если лектор пару раз пошутил на лекции по методам математической физики — это вовсе не означает, что его лекция — концерт юмориста, и что математика в ней «выпадает из системы»...

Есть немало примеров творений, созданных в шутку, только для игры. Это сразу же заметно. Такие произведения редко становятся литературой, оставаясь за гранью искусства и представляя в основном исторический интерес. Достаточно сравнить книги Рабле хотя бы с «Энеидой» Котляревского, чтобы убедиться: это совершенно разные жанры. В обоих случаях — опора на народный юмор. И таланта у обоих авторов хватает. Но различие в целях приводит к разной общественной (и литературной) значимости.

* * *

С восторгом Бахтин цитирует аргументацию Л. Е. Пинского: дескать, раз центральные персонажи книг Рабле не являются сатирическими, то и книги в целом не могут быть сатирой... Большой глупости трудно ожидать от литературоведа. Есть много книг явно сатирической направленности, в которых главный герой не может быть сатирическим персонажем, поскольку он должен противостоять высмеиваемым явлениям, утверждать противоположный им идеал — или, по крайней мере, играть роль стороннего наблюдателя, удивленного и возмущенного свидетеля. С другой стороны, даже если Рабле не сатирик, это вовсе не означает, что его творчество не может быть насыщено сатирой, создающей необходимый фон для просветительских и утопических идей.

Отсутствие положительного героя, безысходность и гротеск — черты постромантической сатиры, разочаровавшейся в идеалах и не видящей возможности вырваться из мерзости современного общества. Это характерно для русской литературы, начиная с XIX века (Гоголь, Щедрин); в западной культуре антиутопии, как правило, оказываются вне комического.

* * *

Бахтин свысока поправляет Веселовского: не грязью, дескать, надо людей забрызгивать — а забрасывать дерьмом. Это, видите ли, такой древний ритуал. Чтобы все испоганить ради оплодотворения.

Интересно, как бы Бахтин отреагировал, если бы его стали поливать мочой и обмазывать экскрементами? Скорее всего, отнюдь не амбивалентно.

Вкладывая в идиотские шутки недоразвитых личностей высокий философский смысл, Бахтин не вспоминает о подобных проказах у низших обезьян. Не хочется ему таких родственничков для его философии.

Развитие человека разумного происходило в направлении все большей чистоплотности и аккуратности. И это не вырождение «смеховой культуры», а воспитание разумного отношения к миру, предполагающего употребление вещей по их назначению, без ущерба для окружающих. Человек разумный не будет, например, переводить продукты питания на лишние украшения — пусть даже высокохудожественные; он попытается найти более подходящий для этого материал. Тем более диким кажется нормальному человеку уничтожение десятков тонн сельхозпродукции ради поддержания стабильности рынка: рынок все равно рухнет (таков закон рынка) — а продукты можно было бы отдать тем, кто в них нуждается. Горы апельсинов, раздавленных в ежегодных «апельсиновых боях» (или помидоры погубленные в таких же помидорных карнавалах) — это чьи-то голодные глаза; даже перерабатывая некондиционные и не утилизируемые продукты на биотопливо, мы высвобождаем что-то более ценное для нуждающихся — и при этом создаем нечто полезное, а не гадим смеха ради. Соответственно, и для экскрементов следует находить полезное применение — но уж никак не портить ими вещей, созданных человеческим трудом.

* * *

Пытаясь усмотреть в испражнениях «умосозерцательный смысл», Бахтин показывает себя типичным книжным червем, далеким от реальной культуры. Чтобы в юморе насчет орошения мочой заметить мотив «плодородия», не надо быть большим ученым и перелопачивать горы литературных источников. Достаточно вспомнить, что

экскременты человека и животных испокон веков применялись в сельском хозяйстве в качестве удобрений — и до сих пор органика используется наряду с химическими удобрениями. Отсюда очевидный переносный смысл. Точно так же, моча нередко использовалась в медицине — особенно в старину, до становления медицинской промышленности. Отсюда «медицинские» метафоры. И нет здесь никакой мистической космогонии, якобы утраченной за несколько веков. Как люди живут, так они и шутят.

* * *

Типично российская идеализация аристократии: это люди другого сорта, которые ведут себя «благородно», в отличие от подлых смердов... И «площадная» речь — вроде бы, не для них. А в действительности — «господа офицеры» мордуют своих рабов, пьянствуют, матерятся не меньше портовых грузчиков... И лишь в редких случаях изображают из себя нечто приличное, по уставу...

* * *

Описание «народного праздника», данного кардиналом дю Белле, показывает, что уже во времена Рабле карнавальность мало отличалась от нынешних официальных праздников — разве что теперь задаром уже не кормят. Вспоминая античных авторов, убеждаемся, что и раньше празднества шли вовсе не от народа, они предписывались народу сверху, и часто устраивались на деньги тогдашних политиков, пытающихся снискать популярность и продвинуть свои дела. В средние века (и в допетровской России) — праздники были в основном под контролем церковных властей; в ренессансной и новой Европе они стали инициативой экономических и политических кругов. Идея карнавальная свобода оказывается, при ближайшем рассмотрении, лишь романтическим мифом — или намеренной ложью. Изучение природы и развития комического следовало бы строить на более солидном основании.

* * *

Странно. Вроде бы, по-французски Бахтин понимает. И вместе с тем иногда переводит на русский как-то странно — натягивает под свою

теорию? Например, ходячая фраза «*charme de la canaille*» (плутовское очарование), точно употребленное Лабрюйером в отношении некоторых персонажей Рабле, почему-то интерпретируется как «утеха для сволочи». Да, можно и так играть словами — но там, где это уместно, а не в философском трактате, где такие перевертыши искажают смысл высказывания и характер оценки.

По-хорошему, надо бы задуматься, почему персонажи типа Панурга пользуются неизменным спросом в литературе задолго до Рабле и через полтысячи лет после него... История симпатичных пройдох, от Гомера до Владимира Высоцкого, — богатейшая тема.

* * *

Бахтин выстраивает грандиозную мистическую интерпретацию слова «требуха» (*tripes*). Это, видите ли, «гротескный узел» и «центр телесной топографии»... К реальности такие рассуждения не имеют ни малейшего отношения. Требуха — еда бедняков, которые не могут себе позволить настоящего мяса и вынуждены перебиваться остатками с барского стола. Ели в основном растительную пищу — добавляя кусочек чего-то относительно мясного чисто символически, для запаха... Со временем нищета превратилась в традицию, и разного рода субпродукты используются в кухне разных народов по привычке, постепенно уходя в область туристической экзотики.

Игра слов на тему требухи у Рабле совершенно традиционна, на уровне прямых физиологических сопоставлений, — это вовсе не выражение сложной символической системы, которую пытается извлечь из его книг Бахтин. Для народного юмора многоэтажные переосмысления вообще не характерны — здесь почти всегда сталкиваются лишь две грани образа, непосредственно и недвусмысленно. Громоздкие иерархии символов появляются в искусстве, начиная с XIX века, в рамках романтического направления; у символистов XX века — превращение в чисто формальную игру. Трактовать подобным образом Рабле — анахронизм.

* * *

Площадная жизнь была лишь одним из элементов действительности — не следует преувеличивать ее значение в жизни людей. Идеалист Бахтин

теряет из виду главное — материально-производственную деятельность, выдвигая на первое место рефлекссию.

* * *

Называя дерьмо «веселой материей», Бахтин забывает, что материя эта — прежде всего дерьмовая. Со всеми отрицательными коннотациями. Веселье тут весьма сомнительное — как правило, для любителей потешаться над чужим горем. И если кого обзывают дерьмом, то уж никак не в похвалу. Тут язык ясно указывает вполне определенные рамки: можно сказать, что женщина «чертовски красива», можно по-дружески назвать приятелей «козлами» (а сейчас в ходу обращение «уроды»). Но эпитет «дерьмовый» тут совершенно неприменим и всегда оскорбителен.

* * *

Как всякий писатель, Рабле прекрасно чувствует оттенки смыслов живой речи — и активно пользуется этим в словесной игре. Обычная техника — и обсуждать тут особо нечего, и восторгаться глупо. Не владение ремеслом существенно для искусства, а то, что выходит за рамки ремесла.

* * *

Многочисленные ряды номинаций у Рабле делятся на две очень разные группы. С одной стороны, это пародийные перечисления, имитирующие культурные штампы того времени: от простого копирования из античных авторов для создания бытописательного колорита — до явной сатиры на библейские тексты, традиционные перечисления в торжественных молебнах, официальные номинации и реляции, а также на слог юридических документов, во многом сохранившийся до сих пор. Здесь вряд ли правомерны апелляции к народной (а тем более площадной) культуре — это сугубо литературное явление. С другой стороны — Рабле широко использует чисто народное развлечение, игру в слова, нанизывание на единую основу бесконечных вариаций имени или разнообразнейших эпитетов. Эта традиция

восходит к глубочайшей древности; она связана с самим процессом зарождения абстрактного мышления. Такая игра позволяет разделить в мышлении предмет и его словесное обозначение — и тем самым избавиться от ограниченности первобытной магии, перейти от единичных явлений к общим понятиям. В религии этот процесс известен как перечисление имен бога — постижение божественной сущности связывалось с завершением перечисления и освобождением от имен как таковых.

* * *

Испокон веков писатели занимались пересказом анекдотов. С компиляции ходячих историй и начиналась литература. Позже научились придумывать собственные истории — но до сих пор развитие оригинального сюжета частенько происходит путем раскрашивания под то, что у всех на слуху... Это обычный способ придания рассказу правдоподобия, встраивания в культурный контекст.

Для юмориста анекдоты — подножный корм. В них народное творчество соединяется с наследием старых авторов так, что источник заимствования уже не установить. Сейчас анекдоты, как правило, вычитываются в Интернете; в древности доминировала устная традиция; во времена Рабле — уже существовали печатные сборники.

* * *

Серьезность у Бахтина — всегда с эпитетами «односторонняя» и «застывшая». На самом же деле, односторонность присуща именно смеху, поскольку он представляет собой лишь часть отношений человека к действительности, лишь одну из сторон жизни, а все остальное — вполне всерьез. Развитие начинается там, где кончаются шутки. А творчество не признает границ, оно многолико — и не может всегда скрываться под маской шута.

* * *

Бахтинская попытка приписать Рабле высокий патриотизм на основании эпизода с бочкой Диогена — скорее всего, сознательная или бессознательная самозащита. Надо же Бахтину как-то оправдать свои

занятия сортирным юмором в мире, истерзанном войной, тонущем в крови. А Рабле, скорее всего, воспринимал Диогена именно как циника, для которого нет ничего святого, — и манипуляциями со своей бочкой Диоген не демонстрировал патриотический пыл, а издевался над военной суетой сограждан, над псевдоосмысленностью и неразберихой, над нелепостью войны как таковой. Рабле на протяжении всех пяти книг демонстрирует типично просвещенческий универсализм, для него все народы равны, он одинаково благосклонен к французам, немцам, итальянцам, англичанам, евреям... Понятие патриотизма здесь просто неприменимо. Судя по всему, Рабле чувствовал, как на смену относительно подвижным феодальным народностям приходят антагонистически разобщенные буржуазные нации — и его это совсем не устраивало.

* * *

Согласно Бахтину, средневековые торговцы зазывали покупателей не просто так, а с «глубоким мировоззренческим значением»! Это сейчас, видите ли, все превратилось в базар — а в прежние времена каждый торгош по совместительству был еще и философом... Отсюда недалеко и до признания похода в сортир истинно философским занятием. Мы-то всего лишь отправляем физиологические потребности — а обезьяны делают это из высших соображений, исключительно амбивалентным и сублимированным образом...

* * *

Пресловутые крики Парижа (*cris de Paris*) — часть фольклора, и маркер местного колорита, вроде знаменитого одесского говора. Позже появились типично французские рекламные эмали, за которыми сейчас гоняются коллекционеры. Все это принадлежит культуре своего времени, и артист, естественно, не может не воспользоваться столь ярким и узнаваемым материалом. Однако Рабле здесь очень осторожен, он не опускается до пустого имитаторства и нигде не дает художественному слову перерасти в балаган. Для него колоритная изобразительность и аллюзии — лишь один из художественных приемов, который всегда подконтролен творческому замыслу. Чего не скажешь о современных писателях и актерах.

* * *

Можно согласиться с тем, что изобилие уличных криков в средние века во многом связано с отсутствием иных способов что-то донести до общего сведения. В эпоху развитого капитализма, подобным образом возникают, например, массовые акции протеста. Однако есть тут еще одна сторона — низкая культура народных масс. Для первобытного человека было важно постоянно слышать голоса других людей — это создавало иллюзию защищенности в стае. Привычка все делать на публику до сих пор остается по российским деревням, и в российских городах орать на улице — обычное дело, независимо от места и времени. Что подобное поведение может кому-то мешать — многим и в голову не приходит. Главное — удовлетворить дикие инстинкты.

В Европе сейчас, в начале XXI века, люди гораздо сдержаннее, и гама на улицах нет. Особенно в ночное время в жилых кварталах. Доросли. Но пятьсот лет назад — были как нынешние россияне.

* * *

Никто не спорит, разного рода жаргонизмы имеют оттенок приобщения к относительно замкнутой общественной группе, клану, сословию... Однако истоки жаргона — вовсе не в площадной вольности. Происхождение ругательств связано с древними обрядами инициации, переводящими древних людей с одной ступени родоплеменной иерархии на другую. Специфическая лексика старших (по социальному положению, а не по возрасту) групп была табу для остальных членов первобытного общества. Позже, с развитием производственной специализации и ростом социального расслоения, появилось также горизонтальное обособление, цеховой жаргон. Первобытные формы сакральной лексики превратились в ходячие ругательства, с оттенком приобщения к взрослости, демонстрации физической зрелости, «матерости» — поэтому мат популярен у подростков, пытающихся таким образом компенсировать очевидную социальную незрелость. Аналогичная функция нецензурной брани сохраняется и у взрослых, которым общественное положение не позволяет развиваться в полноценных, культурных людей.

Смех может сопутствовать некультурной речи — но чаще она не имеет к смеху никакого отношения. Как правило, оттенок юмора

появляется на контрастах, когда ситуация предполагает культурную речь, а персонажи оказываются к ней неспособны. Иначе говоря, юмористическое употребление нецензурщины предполагает осознание ее как речи ненормативной, не соответствующей собственно человеческому поведению.

* * *

Историзм по Бахтину — сводится к эволюции языка, когда исходно табуированные слова входят в нормативную лексику, и наоборот, первоначально вполне безобидные слова приобретают неприличные коннотации, вплоть до превращения в ненормативную лексику. Такого рода процессы происходят в любом языке — на протяжении одной человеческой жизни лексические оттенки способны существенно измениться. Новое поколение говорит на другом языке, не всегда понятном старикам; точно так же, старое словоупотребление уходит вместе со старыми реалиями, и молодые иногда просто не могут правильно воспринять слова старших, даже искренне желая этого. Само по себе признание подобной эволюции языка ничего не говорит об исторических механизмах, оно констатирует, не объясняя.

Но даже раскрытие внутренней логики языковых изменений — еще не все. Историзм нужен в оценке самой возможности ненормативной лексики для культурного человека. Важно увидеть развитие человеческого в человеке — и отмирание диких обычаев или привычек.

* * *

Попытка представить речевую грязь формой массового самосознания и общественного протеста — не впервые. Любое свинство можно возвести в ранг политической (или культурной) оппозиции, придавая ему разрешенный, официально санкционированный статус — и тем самым присоединяя к другим инструментам господства одного класса над другим. Разумеется, в определенных общественных условиях и мат стать протестом: например, употребление ненормативной лексики в неподходящей ситуации способно стать знаком сознательного разрушения сословной иерархии; однако такой протест ничего не стоит без последующих разумных действий, без борьбы за права угнетенных и обездоленных. Чаще же всего разного рода непотребности играют роль

дурного отрицания, подменяя собой реальные дела, заслоняя их — как водка, религия или наркотики. Именно поэтому правящие круги благосклонно относятся к народному хамству — это опора властей.

Разумеется, нельзя забывать, что и «просвещенные» слои по своему культурному уровню остаются внутри своего времени, и речевая грязь свойственна им не в меньшей степени, чем париям и неприкасаемым. Происхождение жаргонизмов из вертикального расслоения первобытного общества проявляется в том, что похабщина в устах начальства считается не столь предосудительной, как нарушение должного подобострастия со стороны подчиненных.

Смех, вообще говоря, не связан с ненормативностью — он вполне может существовать в рамках официальной культуры. Отрицание официальности иногда может принимать форму высмеивания — но это не единственная, и не всегда по-настоящему действенная возможность. Противостояние властям возможно как слева, так и справа. Смех одинаково служит и теми другим. Но животное происхождение смеха тянет назад, в пещеры... Кроме того, сам способ бытования смеха таков, что острая сатира быстро выхолащивается и становится пошлой хохмой, неспособной устыдить никого. Невесело это.

* * *

Было бы странно, если бы медик Рабле не проявил в своих книгах медицинских познаний. Современная ему медицина подвергается в его творениях такому же «киническому» осмеянию, как и другие области культуры (религия, наука, политика, юриспруденция, образование, торговля и многое другое). Рабле потешается над многочисленными нелепостями медицинской «науки», над слепотой медицинского «искусства», над высокопарностью медицинской «философии». Бахтин пытается усмотреть у Рабле намеки на какое-то особое положение медицины — и напрасно. Это лишь мешает ему увидеть действительно интересное для исследователя родство медицинских пассажей у Рабле со школярским фольклором и традиционными методами ассимиляции культуры через игру (как и с другими перечислениями-номинациями). На первых порах студенту-медику приходится основательно напрягать память, зазубривать сотни названий, за которыми сложно обнаружить какую-либо логику. Усвоению многочисленных медицинских терминов зачастую помогало нанизывание их на какую-либо житейскую,

фольклорно-мифологическую или общеизвестную литературную канву. Такого рода перелицовка ходячих сюжетов на студенческий лад весьма популярна до сих пор; особенно часто переделке подвергаются тексты популярных песен. Все это — из области юмора. Однако у Рабле всегда присутствует и сатирический элемент, здоровый скепсис.

* * *

Так ли уж смешно, когда одни избивают других — будь то физически или экономически, интеллектуально или морально? Да, «веселые» избиения (выражение М. Бахтина) — старинная традиция. Но кому при этом весело? Дикарям.

Животное происхождение смеха как индикатора целостности стаи получает в подобном злорадном юморе наиболее явное выражение. Ура! «наши» побили «не-наших» — и «наши» довольны, они подкармливают смехом чувство относительной безопасности... Униженным и побитым «не-нашим» остается либо изображать хорошую мину при плохой игре (и строить планы реванша) — либо подлизываться к победителям, войти в их стаю, пусть даже в качестве раба. Спорт — пример подобной дикости вне юмора.

Следует отметить, что в минуту опасности, когда требуется напряжение всех сил, чтобы выжить, у людей иногда появляется веселое чувство лихости, помогающее не поддаваться страху, как бы отрицающее опасность — и тем самым частично ее преодолевающее. Разумеется, в таких ситуациях человек ведет себя не как разумное существо, а как загнанное животное — он вынужден становиться животным, чтобы остаться в живых и сохранить хотя бы возможность разума.

* * *

Карнавальные избиения как развенчание? Не похоже. Скорее — торжество победителя, злорадство. Сжигая чучело «зимы», народ не просто «развенчивает» ее — он ее уничтожает, хотя бы на время. Побеждая кукольного врага, пытаются собрать силы для борьбы с врагом реальным... Это своего рода пропагандистская акция, попытка убедить себя в возможности победы. Карикатуры времен второй мировой — в той же струе.

* * *

Средневековое сознание унаследовало от первобытного общества привычку к поверхностному восприятию, полностью обусловленному сначала родоплеменной, а потом сословной и кастовой иерархией. Да и сейчас человека зачастую встречают «по одежке», воспринимая его как абстракцию социальной функции. Прилично одетый человек с хорошими манерами вызывает инстинктивное уважение и располагает к себе; старая одежда и странное поведение — гарантия общественного презрения. Жулики всех мастей играют на этом древнем предрассудке много тысяч лет — но пока существует социальное расслоение, оно будет выражать себя во внешнем облике людей, обманывая восприятие и путая мышление.

Переодевание всего во все — старая игра. Собственно, сознание и начиналось с подражательства, с превращения в другого (или в другое — первобытный анимизм). Человек уподоблялся животному, чтобы с ним справиться; человек уподоблялся неживому, чтобы его познать.

Юмор всех времен и всех народов знает тысячи смешных эпизодов, связанных с переодеванием, — которое в этом случае воспринимается как мнимое превращение, в отличие от кажущихся превращений всерьез. Однако исходно здесь нет никакого «развенчивания» — это всего лишь обыгрывание неудачи, а позже — нарочитая неудача. Приписываемый Рабле предсмертный каламбур (*beati qui in Domino moriuntur*) — это еще и сатира на ходячие суеверия: в Европе они не задержались — зато русские цари понимали писание буквально — и пытались выторговать кусочек рая, на смертном одре постригаясь в монахи.

* * *

Можно, пожалуй согласиться с Бахтиным, что «ругательство и хвала — два аспекта одного и того же двутелого мира» — и не только двутелого, но и весьма многообразного мира пошлости и невежества. Человек разумный не нуждается в похвалах, ему безразлично признание или отвержение. Он несет сознание собственной разумности в себе самом, и лишь принимает к сведению бытующие вокруг мнения. Разум для того и нужен, чтобы поступать нравственно, сообразуясь с исторической необходимостью, а не под давлением обстоятельств.

* * *

Выставляя себя смешным, можно манипулировать теми, кто не воспринимает шуту всерьез. Прекрасная маскировка. Смех подчиняет человека социуму — и ослабляет критическое мышление; поэтому он легко становится инструментом пропаганды и оболванивания масс.

У Рабле есть прекрасный пример использования смеха в корыстных целях — сцены избиения кляузников на мнимой свадьбе. Когда, вроде бы, ради смеха людей (пусть даже не самых симпатичных) калечат, почти убивают, — это ловкая шутовская проделка в старинном духе. Смех используется для маскировки истинных намерений и обдeldывания темных делишек. Смех — это страшно... Недаром отрицательные персонажи мировой литературы (от народных сказок до кинобоевиков) любят посмеяться — зловещим смехом.

Бахтин совершенно безосновательно утверждает, что все эти избиения — только понарошку, что побои тут «мнимые»... Ничего подобного у Рабле нет, это чистой воды домыслы — равно как и фантазии насчет эротического подтекста. Да, происхождение свадебных тумачков от ритуалов повышения плодородия очевидно — и до сих пор секс связывается в традиции с ударами (опять-таки, по прямому сходству, без космогонических наворотов). Но в контексте Рабле этот оттенок полностью отсутствует — здесь речь идет о плутовской проделке, не более.

* * *

Мистическая реинтерпретация сцен убийства и избиения («телесная жатва») — притянута за уши. Таков метод идеалистической философии — исследование реальности заменяется фантазиями. Бесспорно, в каком-то контексте такой образ вполне мог быть уместен (более того, война действительно иногда уподобляется жатве в античной и средневековой литературе). Но у Рабле все иначе. В его книге — очевидная пародия на многочисленные эпические творения (не только европейского происхождения), где доблесть героя выражается в количестве убитых врагов и в изобретательности убийцы. Оттуда же — мотив щедрости победителя, одаривающего бывших врагов свыше всякой меры; однако у Рабле это не пародия, а проповедь просвещенного гуманизма — тон здесь совсем иной...

* * *

Зачастую те, кто не принимает юмора, выглядят нелепо и подвергаются осмеянию (отторгаются стаей). Однако по сути — они гораздо человечнее смеющихся.

* * *

Когда люди вынуждены смеяться «за компанию» — это жалкое зрелище, которое обнажает дикую природу смеха вообще.

* * *

Гиперболизация всевозможных смеховых форм у Рабле такова, что наводит на мысль о сознательном пародировании карнавальной псевдовеселости — о высмеивании самого смеха...

* * *

Можно согласиться с Бахтиным, что «тысячелетиями слагавшиеся формы служат здесь новым историческим задачам эпохи, они проникнуты могучим историческим сознанием и помогают более глубокому проникновению в действительность». Однако сам Бахтин как раз и пытается своей книгой доказать, что смех неисторичен, что он существует в неизменных формах на протяжении тысячелетий и писатель может лишь овладеть какой-то частью «смеховой культуры», только приблизиться к идеалу. Тут не проникновение в действительность, а уход в мистику отношений абстрактного «верха» и абстрактного «низа», мистическая обрядность.

* * *

В эпоху поздней античности древние мифы подвергались рациональному толкованию, они переставали быть религиозной догмой, превращаясь в притчу, поэтический образ, метафору — или анекдот. Так они вращались в культуру средневековья, приспособлялись к христианской догматике. В XIX веке развитие идет по двум направлениям: с одной стороны, христианство теряет догматическую

силу и становится всего лишь притчей, источником поэтических образов; с другой стороны — даже поздняя литература мистически перелицовывается, становится элементом религиозной мифологии, иносказанием, пророчеством... «Серебряный век» ввел моду на сложные символические системы, на искусственные построения, выдаваемые за глубокомыслие, на игру в мудрость — вместо мудрости. К этому же времени относятся многочисленные «теософические» изыскания, когда фантазия автора преподносится как невесть откуда взявшееся наследие древних (яркий пример — сочинения Рериха и Блаватской). Родство с современной ролевой игрой очевидно. Попытка уйти от реальности, разновидность наркотика.

* * *

Веселость и юмор — не одно и то же, хотя древнейшая традиция склонна их отождествлять, и в некоторых языках они даже называются одним словом. Веселость бывает вполне серьезна, как настроение и образ действия. С другой стороны, есть мрачный смех и черный юмор.

Тем не менее, веселость и смех родственны — поскольку в их основе освобождение от страха и напряжения, чувство хотя бы иллюзорной безопасности.

В какой-то мере юмор (во всех его формах, от остроты до карнавала) — это попытка вызвать искусственную веселость, имитировать подлинное веселье. Вместо душевной легкости — натужный смех, назло кошкам на душе... Иногда это помогает — как в системе Станиславского одно переживание используется для имитации проявлений другого.

* * *

Некоторые исторические периоды больше способствуют развитию смеховых форм, чем другие, — «веселое время», по Бахтину. Когда новое начинает преодолевать гнет вековых традиций, возникает своеобразное чувство облегчения на уровне коллективного субъекта — племени, народности, нации... В любом случае, это связано с разрешением насущных вопросов современности, с выбором определенного направления, избавлением от растерянности и колебаний.

* * *

Бахтин упорно возводит всякий смех к карнавалу. Скорее, наоборот, карнавал становится концентрированной формой повседневно бытующего в народе смеха — и его отрицанием, поскольку нарочитое массовое веселье противоположно подлинной веселости. Вслед за европейскими романтиками XIX века, Бахтин понимает карнавал как стихийное проявление народного настроения, забывая, что любой праздник требует организации — и тот, кто его заказывает, надеется получить солидный привар на каждую вложенную монету.

* * *

Снижение — один из самых ходовых приемов любого юмора. Карнавальность тут ни при чем. Частный случай нарочитого соединения противоположностей. У Рабле — вольное обращение с церковными колоколами как способ лишний раз уколоть официальную церковь, носительницу пережитков средневековья.

* * *

В основе смеха как такового — (иллюзорное) уничтожение опасности, подчеркивание ее ничтожности, превращение в ничто. В частности — путем снижения, сведения к бытовым отправлениям, опошления.

* * *

Колокольчики, бубенцы, погремушки — древние инструменты борьбы с внешними опасностями, действительными и мнимыми. Первобытное стадо создавало много шума в надежде спугнуть хищников, прогнать змей — отвоевать место. Впоследствии так распугивали злых духов — например, отгоняли от колыбели младенца, от постели больного. Исторически было важно продемонстрировать активность, действовать в условиях неопределенности. Отсюда колокольчик как символ живой души — и живости нрава. Средневековый шут оставался во многом носителем той же защитной

функции — эдакий прирученный дьявол, обороняющий от злокозненных диких чертей.

* * *

Опять сказки о золотом веке: «...необходимо отрешиться от ограниченных и обедненных эстетических шаблонов нового времени, далеко не адекватных большим линиям развития мировой литературы и искусства прошлого». Если Бахтин имеет в виду свою собственную убогую эстетику — можно тут с ним согласиться. Его воззрения никоим образом не отвечают «большим линиям развития». Разумному же человеку ясно, что развитие как раз и состоит в том, что старые примитивные и незрелые формы обогащаются новыми элементами, уходят от первобытности. Искусство современности в любом случае богаче искусства прошлого. И даже его «неадекватности» выражают нечто новое, в прошлом существовавшее лишь как намек, как возможное направление движения.

* * *

Историю смеха Бахтин представляет как поглощение всевозможных «народно-праздничных» форм (карнавал «в широком смысле») карнавалом как таковым («в узком смысле»). Если не замечать разнообразия бытовых форм смеха и постепенной кристаллизации его институированных форм — так оно и получается. Однако на деле первичны именно «народные» смеховые формы, присущие повседневной жизни, бытующие локально, в интимном кругу, — и они никуда не исчезают в процессе исторического развития, меняя лишь способы проявления, обогащаясь выразительными возможностями, заимствованными из других культурных пластов. Собственно «праздничные» формы — надстройка, они зависят от исторических условий и уровня развития производства. Старые формы массового действия отмирают или трансформируются по мере появления новых форм, более приспособленных к новым культурным условиям. Так, например, флэш-моб был технически невозможен в средние века — но можно обнаружить много сходных явлений: стихийное паломничество, массовые психозы, или просто толпа зевак.

Пережитки средневековых форм праздника (и вообще, средневековой культуры) не изжиты до сих пор, они вплетены в ткань современности. С одной стороны, это груз традиций, на которые пока вынуждено опираться незрелое человеческое мышление, чтобы хоть как-то пережить все мерзости бытия. С другой стороны — насаждение отживших свое праздничных (и общекультурных) форм сверху, нормативность праздника. Так, традиционно почитаемый в России Новый год был привнесен в культуру Петром I, равно как и первоапрельский «день дураков». В наши дни праздники, как правило, устанавливают примитивным декретированием, безотносительно к чему бы то ни было. Другая сторона такого превращения праздника в чистую формальность — готовность масс праздновать что угодно и когда угодно, заимствование любых элементов других культур и превращение общественной жизни в сплошную череду праздников. Это одно из уродливых выражений глобализации в экономике, которое когда-нибудь должно уступить место более разумным культурным формам.

Карнавал — частный случай массового развлечения. Но далеко не единственная его разновидность. Если же говорить о массовых мероприятиях вообще — то праздники далеко не всегда занимают среди них главное место. Во все эпохи человеческой истории были и другие, никак не связанные с весельем или юмором действия; более того, то, что впоследствии приобрело характер развлечения, изначально было делом вполне серьезным, частью производственного цикла.

Если же ограничиться собственно развлечениями, то карнавал издавна сосуществовал с другими институтированными формами. В каком-то смысле карнавал (в узком смысле) вообще не является особой формой массового развлечения, поскольку он, как правило, лишь сопровождает, наряду с другими массовыми мероприятиями, собственно праздники, официально установленное «веселое время». Разные праздники предполагали разный уровень собственно карнавальности. Бахтин склонен вообще игнорировать все, что происходит без показного разгула, исключить это из «народной» культуры. Поэтому ему и кажется, что карнавальность в широком смысле уходит, вливается в собственно карнавал. То, что можно отмечать общественно значимые события без показухи, в тишине и спокойствии, ему и в голову не приходит.

Массовые развлечения — институтированная (официально признанная) форма развлечений повседневных, нерегламентированных, регулируемых лишь россыпью традиций. Практически любое частное

дело может превратиться в массовое мероприятие. И наоборот, некогда всеобщие формы увеселений постепенно сводятся к местным обычаям и далее к индивидуальным предпочтениям.

* * *

Объединяющая сила праздника — за и против.

В первобытном стаде праздник был одним из элементов трудового цикла, способом координации деятельности в условиях еще не сложившейся социальности. Позже, с развитием имущественного расслоения в рамках первобытнообщинного строя, праздники приобретают также компенсаторную функцию, скрадывая формальным равноправием существенные различия в общественном положении. На какое-то время можно было забыть о противоречиях и вообразить себе вроде бы утраченное единство. Перед карнавалом все равны — напоказ. Однако любое превышение пределов допустимого наказуемо. Равно как и попытки уклониться от исполнения «карнавальной повинности». Отсюда современное: «ты меня уважаешь?»

Есть и другие способы объединения, не загоняющие людей в стадо. Чем чаще человек чувствует себя личностью, тем меньшую роль в жизни общества играет ритуальное веселье.

* * *

Бахтин прямо-таки закликает читателя: ни в коем случае не следует трактовать Рабле с позиций современного словоупотребления, что в его время актуальны были совсем другие коннотации, и фекалии воспринимались исключительно как «существенный момент в жизни тела и земли»... А в чем, собственно, отличие? Пока человек привязан к физиологии, экскременты — неизбежная часть жизненного процесса. Так было тысячу лет назад, так оно есть и сейчас... В XVI веке еще не вошла в повсеместный обиход канализация — и улицы частенько бывали завалены дерьмом; вполне естественно более терпимое отношение к грязи как повседневному обстоятельству. Но даже сейчас в российских деревнях отходы утилизируют по старинке, да и в городах не особенно чисто. В средние века речь шла преимущественно об органических отбросах — позже на первое место вышел бытовой мусор

и производственные отходы. В голливудском кино значительная часть действия происходит на свалке, в трущобах, — это прямой аналог литературного дерьма пятивековой давности.

Если поверить Бахтину, что современники Рабле воспринимали фекалии исключительно в возвышенном смысле, как момент связи времен, — возникает логическое противоречие: как тогда можно говорить о «снижении» при сравнении чего-либо с дерьмом? Пропадает собственно юмористический эффект, остается только метафорическая образность... Бахтинская теория разрушает самое себя.

* * *

Бахтин подробно анализирует игру слов в главе о рождении Гаргантюа — можно подумать, что это открытие или хотя бы особенность стиля Рабле. Но не следует забывать, что еще в IX-XI веках умение играть словами считалась одной из обязательных черт всякого образованного человека, и куртуазное воспитание уделяло выработке такого остроумия немало времени. Прототип этого интеллектуального развлечения — в шутках народных низов, которые, конечно, прямолинейнее, грубее, без исторических и литературных аллюзий. Постепенно, впрочем, низы проникаются элементами образованности и перенимают более утонченную образность. Литературный процесс уходит от куртуазности, ассимилируя атрибуты различных социальных слоев — но выработанная веками технология игры словами не пропала, она просто воспроизводится на другой основе. Впоследствии, когда будут найдены новые выразительные приемы, место прямой игры слов в литературе станет значительно скромнее...

* * *

Перечисление многочисленных выходов Панурга может вызвать у современного человека омерзение. Как вообще можно держать рядом такого отъявленного мерзавца?

Однако в средние века и в эпоху Возрождения многое воспринималось иначе. К тому же, изображение деяний Панурга сильно утрировано, гиперболизировано — как и все остальное в книгах Рабле. Поэтому допустимо трактовать эту фигуру как пародию на

традиционную в феодальной иерархии роль конфидента, наперсника. Панург — типичный шут при царственной особе. Ко времени Рабле в литературе уже складывалось поэтизированное представление о шуте как эдаком мудреце, скрывающем истинное величие под личиной дурака; Рабле своим Панургом развенчивает эту слащавую фальшивку. Шут не кажется дураком — он и есть дурак. И терпят его выходки не ради какой-то скрытой мудрости — а именно потому, что они откровенно глупы, низменны, недостойны человека. Сегодня такой способ подчеркнуть собственные достоинства кажется чересчур прямолинейным — но не занимаемся ли мы этим сами время от времени, в завуалированной форме, втайне от самих себя?

В XVII–XVIII веках абсолютная монархия делает должности при дворе чисто номинальными, и шут уже не занимается увеселением присутствующих, равно как постельничий не застилает постель, а конюший не ухаживает за лошадьми. На эти должности назначают представителей знатных родов, подчеркивая их близость к особе государя. Однако этим также указывают на несоизмеримость любой аристократии с величием абсолютного монарха, который может третировать знать как своих холопов.

Но в середине XVI века до этого было далеко — и Панург у Рабле гораздо примитивнее дворцовых интриганов будущего, хотя в чем-то выражает их подлинную (подлую) натуру.

Впрочем, немало потомков Панурга и в наши дни. Злые шутки до сих пор в ходу. Наглость, хамство, угодничество и трусость в сочетании с беззастенчивой алчностью — это портрет современного распорядителя крупной корпорации, пресмыкающегося перед хозяевами ради возможности набивать кошель за счет подчиненных. Во главе большинства предприятий бывшего СССР стояли именно такие люди, и в этом одна из субъективных причин гибели социализма. Практически любой современный чиновник, министр или депутат законодательного собрания — еще одно перевоплощение Панурга. И особенно живо вспоминаются похождения этого господина при виде современных писателей и журналистов. Быть может, Рабле, будучи одним из провозвестников коммерческой литературы, уже тогда замечал характер нарождающегося племени профессиональных писак и вывел в образе Панурга именно это?

В каком-то смысле введение этого персонажа может быть расценено и как уступка примитивному вкусу массового читателя. Рабле придавал

большое значение продвижению своих книг на рынке, ему было важно, чтобы они хорошо продавались.

* * *

Бахтин — возможно, сам того не желая, — стал идейным проводником культа увеселения, возникшего в США в 1930х, в противовес мраку Великой депрессии. Что бы ни произошло — давайте веселиться! Не стоит воспринимать жизнь всерьез — а уж тем более, делать из этого серьезные выводы о необходимости что-то менять. Бахтин же на полном серьезе указывает, что у Грангузье праздники заходят за праздники, и весь его годовой круг состоит только из праздников... Прямо-таки о России начала XXI века — полный мрак в экономике и разгульное веселье как государственная политика. Бахтин ни разу не вспомнил и всеобщей пародийности книги Рабле — почему-то он здесь не захотел заняться поисками второго плана, а принял все за чистую монету.

А Рабле, вполне вероятно, насмехается над набирающими силу общественными тенденциями (по-своему отражающими переломный момент европейской истории). Он не проповедует культ праздника, а высмеивает его. Здесь работает его излюбленный прием — гипербола. И далее: «Одна часть людей переодевается для того, чтобы обманывать другую часть, и все будут бегать по улицам, как дураки и сумасшедшие; никто никогда не видел еще подобного беспорядка в природе». Может быть, этим и высказано истинное отношение Рабле к буйным увеселениям по расписанию?

* * *

Рассуждая о метафизическом значении игры, Бахтин впадает в то же заблуждение, как и с метафизикой прочих увеселений. Связь «с временем и будущим» откровенно притянута за уши. Да, карты и кости использовались для гаданий. Но для гаданий использовались практически все обычные в быту предметы, природные явления и происшествия всех сортов. Использование игральные костей в качестве генератора случайных чисел — обычное дело до сих пор. Игра как источник метафор — банальное явление в литературе с античных времен.

Никакого «миросозерцательного значения» в игре не было и нет — а источником литературных образов она становится именно потому, что испокон веков была «бытовым явлением», чем-то привычным и широко известным, так что поэтические аллюзии вполне прозрачны и легки для восприятия. Сложный символизм появляется позднее; во времена Рабле игровые метафоры прямолинейны, они строятся по простому внешнему сходству. То, что в играх «разыгрывалась вся жизнь в миниатюре», — естественное следствие самой сути игры, ее происхождения из обычных житейских дел. Игра всегда имитирует какие-то стороны человеческой деятельности — и тем самым уже обобщает их, выделяет логическую основу. Роль игры для развития человеческого мышления хорошо известна — каждое новое поколение проходит эту синкретическую стадию на глазах у родителей.

Искусство отображает жизненные явления в несвойственном им материале — и это еще один уровень обобщения. Игра формами в искусстве — это тоже игра, только на другом уровне, когда поиск новых форм ведется осознанно и целенаправленно. Метафора — один из мощных инструментов на этом пути. Однако в дальнейшем формы искусства получают широкую огласку, входят в быт — и теперь уже сами могут становиться источником новых образов, метафорически перелицовываться. И в частности, эти обобщенные образы удобны для оценки и осмысления элементов повседневности.

* * *

О бахтинской теории игры можно сказать словами самого Бахтина: «Судьба образов игры отчасти похожа на судьбу ругательств и непристойностей». И то, и другое поставлено Бахтиным с ног на голову — и вместо того, чтобы из жизни людей выводить все формы ее осмысления, он наоборот, представляет жизнь как постепенную вульгаризацию когда-то чистой идеи. Типичное рассуждение объективного идеалиста. К сожалению, до Гегеля Бахтину далеко...

* * *

Бахтину явно не хватает чувства юмора. И Рабле у него становится эдаким мрачным моралистом, занятым лишь выискиванием все новых и

новых «амбивалентностей». О том, что можно пошутить без какой-либо философской подоплеки, — не может быть и речи.

Когда Рабле описывает назидательную игру в кости, «следуя описанию Леоника», — это легкое подтрунивание над авторами многочисленных псевдовозрожденческих трактатов, пытающихся облагородить повседневные занятия ссылками на античные образцы. В таких сочинениях идеи Возрождения превращаются в фарс — и как тут не вмешаться юмористу?

Бахтин же воспринимает шутку на полном серьезе и начинает сопоставлять игру с живописью и скульптурой, выдумывая какую-то «гуманистическую сторону миросозерцательного восприятия игр».

Разумеется, серьезные моменты в этом пассаже из Рабле имеются. Как провозвестник грядущего Просвещения, Рабле заметил вырождение ренессансной идеологии, ее разложение изнутри. Насмешка над воспитанием человека эпохи Возрождения — голос нарождающейся буржуазии Нового времени. До басен Лафонтена оставалось еще сто лет...

* * *

Эпизод с «Пророческой загадкой» Бахтин толкует все в том же занудном тоне, подставляя на место мрачной эсхатологии тоскливо «амбивалентный» символизм. От юмора не остается и следа.

А все гораздо проще. Задолбали Рабле тогдашние вещатели всяческих бед. Да, течение это возникло не случайно — оно отражало ощущение смены эпох рядовым человеком — который своей задницей чувствовал все ухабы на пути к светлому будущему и своей кровью платил за исторический прогресс. Но надо, ведь, как-то пережить бесконечные неурядицы и катастрофы. На помощь приходит юмор, с его способностью создавать иллюзию безопасности. Оказывается, что любую мрачную «прогностику» можно превратить в безобидную забаву, в остроумную игру слов — как это и делает брат Жан.

Заметим, что сама возможность насмешки над черным мировосприятием связана с классово-историческим оптимизмом. Для носителя старого менталитета такого рода юмор выглядит оскорблением. Но Рабле представлял тех, на кого работали происходящие перемены, и превратности бытия все-таки были к лучшему.

* * *

Совершенно прямолинейную сатиру в эпизоде с судьей Бридуа Бахтин перерядил в метафизическое действо и назвал это «веселой травестией». Ничего веселого в бахтинской трактовке нет. Гораздо больше юмора в оригинале — обычное у юмористов обыгрывание буквального понимания речевых клише.

* * *

Бахтинская амбивалентная женщина — столь же убогое изобретение, как и все остальные «амбивалентности». Даже в античности женские образы были богаче. А ко времени Рабле женские ипостаси насчитывались сотнями — сводить это богатство к паре противоположностей (пусть даже склеенных в одно целое) было бы совершеннейшим бесстыдством. Мир раблезианской женщины разнообразнее, он вполне соответствует строению мира мужчин, хотя и остается в тени, в соответствии с бытовавшими тогда культурными нормами — и с организацией общества, откровенно отдававшего первенство мужчинам. Бахтин не удосуживается проследить галерею женских образов, начиная, хотя бы с Гаргамеллы, матери Гаргантюа, и той «мерзкой старушонки», которая дала ей неподобающее снадобье... К удивлению внимательного читателя, Рабле куда мягче относится к женщинам, нежели к сильному полу; последних он высмеивает нещадно — а женщины оказываются вне сатиры, поскольку их деяния всецело определены их положением и родом занятий, то есть, по сути, навязаны мужчинами, которые и повинны во всем дурном, что есть в женщине.

В этом плане разговор Грангузье и Гаргамеллы очень показателен — тон тут совсем иной, нежели в предшествующем описании трепя собутыльников. На смену разгульной бесшабашности приходит самая настоящая лирика, лишь чуть-чуть прикрытая стеснительной, нарочитой грубоватостью.

* * *

Уже современники Рабле осознавали недостаточность того, что ренессансная культура называла античными образцами — четко обозначенные характеры, с безусловным преобладанием какой-то одной черты и подчинением личности этой определяющей страсти. Живой

человек противоречив — но его противоречивость не имеет ничего общего с бахтинской «амбивалентностью», это реальное сосуществование в одной личности разных черт, способное приводить к душевному разладу и внутренней борьбе. Бахтину первые попытки литературного осмысления этой внутренней сложности представляются «статическими смесями» положительных и отрицательных черт. Ему неуютно вне первобытного синкретизма, в реальностях трудного мира. Но неорганичность литературных героев XVIII века — не произвол литераторов, и уж тем более не свидетельство недостаточного владения ремеслом. Это прежде всего выражение реальной неустойчивости внутреннего мира людей в эпоху, когда старые ценности уже не кажутся значительными, а новые еще не сложились. Такого правдоподобия Бахтин предпочитает не замечать — у него не идеи вырастают из бытия, а бытие подгоняется под идею.

* * *

Пассажи о римском карнавале по описанию Гете пестрят чисто логическими несуразностями. Эпитет «реалистический» просто неуместен в отношении «полуреальной, полусимволической игры символами». Наивное восприятие карнавала Гете — это впечатления туриста, далекого от повседневных забот местного населения. Ему показывают представление — и он радуется, как дитя. Гете не знает всей механики карнавала, он не интересуется процессом его подготовки — туристу важен результат, спектакль. В каком-то смысле это правильно — иначе спектакль просто не произведет должного впечатления. Когда зритель смотрит романтический балет, ему не нужно видеть, как за кулисами балерина утирает пот и корчится от боли, разминая натруженные ноги. Это из другого сюжета. Но Бахтин, не задумываясь, принимает восторги Гете за историческую правду и пристраивает к ним самопальный «мировоззренческий смысл».

Типичный образчик бахтинской логики по поводу карнавала: «...он не вводится ни благоговейным, ни серьезным тоном, ни приказом, ни разрешением, а открывается простым сигналом к началу веселья и дурачества». Большой нелепости не придумать. Если нечто не требует разрешения — почему оно должно начинаться по сигналу и заканчиваться по расписанию? Каков будет этот сигнал — совершенно неважно. Важен сам факт: приказано веселиться.

А почему, собственно, все обязаны веселиться? А если у кого-то другие планы? Нет, не получится... Все подчинено единой задаче, массовой демонстрации всенародного единства в деле увеселения господ-туристов — и просто господ. Попробуйте выпастыся в новогоднюю ночь — черта с два! Если, допустим, есть дела с зарубежными партнерами, которые знать не хотят местных обычаев, — все идет насмарку. Если что-то вдруг сломалось и требует срочного ремонта — терпите до конца праздников. Можно умирать — но не дожидаться врача. Кто пережил «всенародное» веселье — тот и герой. Теоретики вроде Бахтина не заботятся о погибших.

Карнавал — жесточайшее оскорбление свободе. Он подавляет человеческую индивидуальность, он пронесится ураганом по хрупким росткам человеческого разума, превращая народ в тупое стадо. Венец всему — пожелание смерти любому отступнику, отказавшемуся потакать диким суевериям: «*Sia ammazzato!*» Кто против толпы — будет раздавлен и уничтожен. А где-то в стороне вполне серьезные (и хорошо вооруженные) граждане следят, чтобы все шло по сценарию, и стараются вовремя изолировать отщепенцев, унести трупы...

Сказки о празднике, который народ, якобы, дает сам себе, — преступная наивность. Еще нескоро научатся люди свободно и самостоятельно организовывать свою деятельность — для этого должна исчезнуть сама возможность строить свое счастье на костях других. В классовом обществе любое массовое действие имеет классовое содержание. Организует его правящий класс, в своих интересах, — а расплачивается, в конечном итоге, одураченная толпа.

* * *

Ослепленный мистической идеей всеобщего равенства вопреки социально-экономической и политической организации общества, «которая на время праздника как бы отменяется», Бахтин не замечает внутренней противоречивости карнавалых форм. А суть карнавала как раз в том, что народу еще раз напоминают, в каких пределах ему дозволено куражиться — а какие границы переступать нельзя. Бахтин (вслед за Гете) в восторге от эпизода с мальчиком, который гасит свечу своего отца с криком «*Sia ammazzato il signore Padre!*» Дескать, тут «отменена всякая иерархия», и «все сословия и возрасты здесь равны». Но почему-то мальчик не обращается к отцу просто «*babbo*» — он

говорит: «il signore», нарочито подчеркивая разницу в положении. Сколько ни натягивай на это юмористический оттенок, факт отчетливого осознания социальных различий налицо. И таковы все карнавальные формы вообще: они закрепляют в сознании сословную иерархию под видом временного ее разрушения. Вот тут как раз к месту бахтинская присказка о единстве уничтожения и созидания, амбивалентна сама амбивалентность.

* * *

Никто не спорит, карнавал в какой-то мере есть форма рефлексии. В той же самой мере, в какой любая человеческая деятельность предполагает рефлексию и может становиться ее формой. Превозносить и объявлять единственно правильной эту низшую, синкретическую ступень разумности — совершенно неразумно.

* * *

Бахтин твердит об «историчности» народного мирозерцания, о том, что в нем выражен момент «становления-роста». Но при этом все развитие общества, по Бахтину, сводится к вырождению, к уходу от мистического карнавального идеала. Абстрактное «народное бессмертие», оказывается, в реальности невозможно — уходят одни народы, приходят другие... И сознание людей меняется от одной эпохи к другой, следуя за изменениями экономического уклада.

* * *

В конце концов, Бахтин проговаривается: «В целом народа и мира нет места для страха; страх может проникнуть лишь в часть, отделившуюся от целого...» Вот она, суть карнавала: слиться с толпой, чтобы не было так страшно жить, — почувствовать себя не угнетенным и обездоленным, а полноправным членом стаи, который может безнаказанно позволить себе любую низость по отношению к тем, кто стае не принадлежит. Поскольку народ не дорос еще до осознания единства через прекрасное и возвышенное, он в раздражении отвергает его, находя убежище в низменном. Пусть я не такой умный (красивый,

богатый...), как вы, — зато я вполне могу быть таким же дикарем, таким же мерзавцем и негодяем! «Это целое и говорит устами всех карнавальных образов, оно царит и в самой атмосфере карнавала, заставляющей [sic!] всех и каждого приобщиться чувству целого».

* * *

Карнавальные формы — рецидив общинности, первобытности. То, что на каком-то этапе было всерьез и осмысленно, на следующих ступенях развития обслуживает образования более высокого уровня. Да, это их глубинная основа, память об их происхождении. Но для разума как раз важно преодолеть собственную историю, не застаиваться в прошлом. Поэтому «народные» (по Бахтину) черты культуры не могут — и не должны — сохраняться в своей исходной «чистоте», они обязаны редуцироваться и исчезать.

* * *

Бахтин обстоятельно пересказывает сцены обделывания грязных делишек и сведения счетов под прикрытием карнавальных вольностей, начиная с XIII века. Казалось бы, вывод ясен: формы древних мистерий используются во вполне современных целях, и участники отнюдь не освобождаются от «норм и стеснений официального мира». Отсюда логичное обобщение: сама карнавальность сохраняется лишь поскольку она кому-то выгодна. И остается только понять кому, зачем и до каких пор.

Вместо этого Бахтин пускается в рассуждения о метафизической сути ритуальных избиений и оправдывает убийства под шумок тем, что это происходит исключительно «амбивалентным» образом, а значит, весело. Иначе говоря, просто так убивать нехорошо — а в шутку очень даже можно и правильно. Главное, чтобы убийство было «положительно оформлено», «выдержано в большом стиле и осмысленно во всех деталях». Интересно, как отнеслись бы к такому юмору тысячи людей ежедневно погибавших в ходе Великой отечественной войны, под залпы которой Бахтин создавал свое глубокомысленное творение...

Смерть всегда страшна. Не бывает смерти понарошку, на отведенное свыше для карнавала время. Умирают раз и навсегда. Даже

если кто-то, по большому счету, заслуживает смерти, ничего веселого в убийстве нет, и человек разумный не может радоваться мести. Любое убийство остается на совести убийцы, как бы ни оправдывали его объективные обстоятельства. Да, эта мысль возникла не в средние века, и не в эпоху Рабле — до нее человечеству еще предстояло дорасти. Но уже тогда были те, кто смутно ощущал неправильность диких обычаев и не хотел с ними мириться. Таким было две дороги — либо в мученики, либо в шуты. Рабле выбрал второй вариант. И стал мучеником от литературы. Философствующая чернь отождествила Рабле с его персонажами и перенесла на него свое к ним отношение. Да, действительно, Рабле уподобляется своим персонажам, когда расправляется с предрассудками своего времени под маской юмориста. В этом его противоречие и его трагедия. Бахтин пытается оправдать Рабле рассуждениям насчет «внутреннего положительного смысла» — но большой мастер не нуждается в оправданиях, его противоречивость неразрывно связано с его гением.

* * *

Смелое заявление о том, что роман Рабле — «самое праздничное произведение во всей мировой литературе», как обычно у Бахтина, предполагает, что понятие праздника надо «мировоззренчески осознать» — то есть поставить с ног на уши. Для Бахтина праздник — это абстрактное веселье без повода, смех клинического идиота. «Праздник не поддается никакому утилитарному осмыслению», он «освобождает от всякой утилитарности и практицизма», это «выход в утопический мир»... Единственное, чем дозволяется заниматься в праздник — это строить метафизику «амбивалентности». Праздник нельзя отнести к «определенному ограниченному содержанию», он не связан ни с какими событиями. Даже странно, почему это праздники всегда случаются именно в сочетании с какими-то личными событиями или в официально предписанные даты? По Бахтину, праздник обязан быть веселым, шумным, активным...

На самом же деле дело обстоит как раз наоборот. Праздник — это, собственно, и есть какое-то значимое событие, веха в человеческой истории (неважно, идет речь об отдельном человеке, «группе товарищей» или человечестве в целом). А вот отмечать это событие

можно по-разному. В частности, по-первобытному, диким разгулом. Как у всякого идеалиста, форма у Бахтина существует сама по себе, безотносительно к содержанию. Для него праздник — это «первичная и неуничтожимая категория человеческой культуры» (а трудиться, вроде бы, и не обязательно). Отсюда и его абстрактные гулянки, веселье ради веселья. А чтобы как-то замазать пустоту и глупость подобных увеселений — притянутая с потолка «амбивалентность».

Вместо того, чтобы изучать возможные виды и формы праздников, Бахтин просто отмечает большую их часть, как несоответствующие его представлениям о «народности». В лучшем случае он готов признать что-то жалким вырождением, сохраняющим «в искаженном виде исконную природу праздника».

Всякий переход от одной деятельности к другой предполагает момент остановки, паузу — хотя бы только подразумеваемую. Одна деятельность может превратиться в другую только путем свертывание в «точку», в «нейтральное» состояние, как бы отрешение от старых забот перед тем, как окунуться в новые. Это и есть праздник — и здесь Бахтин правильно почувствовал его двойственную природу, единство завершения и становления, конца и начала. Только, вот, к карнавальности это не имеет ни малейшего отношения. Жизнь древнего человека неизбежно была публичной — и праздники принимали форму массового действия. Но с развитием разума зарождается такое великое культурное явление как частная жизнь. И возникают совершенно иные формы праздников. Конечно, подлинной личной свободы не может быть в классовом обществе. И реликты первобытных праздничных форм помогают власть предержащим вторгаться в частную жизнь каждого, держать ее под контролем. Кому-то смешно. Кто будет смеяться последним?

* * *

Глава о пиршествах у Бахтина получилась банально-занимательной, поскольку в основном посвящена пересказу литературных эпизодов. Несколько вставных фраз насчет «амбивалентности» к делу откровенно не относятся и легко пролетают мимо читателя. Совершенно очевидно, что пища в ранних культурах занимала исключительно важное место, и что человеческое общество с самого начала окультуривает процесс еды,

делает его частью и аспектом социализации вообще. Многочисленные картины пиров разбросаны по мировой литературе от древнейших фрагментов до наших дней. Поскольку ничего более Бахтин сказать не может, особенности романа Рабле в этом аспекте никак не раскрываются. Вслед за некоторыми поверхностными критиками, Бахтин почему-то принимает за чистую монету слова Рабле о застольном происхождении романа: «Рабле был совершенно убежден в том, что свободную и откровенную истину можно высказать только в тоне застольной беседы». Однако роман отнюдь не сводится к застольным беседам, хотя, конечно же, не может обойтись без традиционно колоритных пиршественных сцен. Тем не менее (особенно в свете знакомства Пантагрюэля с «первым магистром» Гастером и осуждения чревоугодников), характер описания пиров в романе навеивает мысль о пародии. Похоже, отношение Рабле к традиционному застолью было таким же, как и к традиционному веселью — это неизбежное зло, которое следует приправлять юмором для лучшей переносимости. А человек на этом свете не для того, чтобы набивать брюхо — пусть даже многие занятия людей связаны с заботой о хлебе насущном.

* * *

Философская антропология XX века не может преодолеть мрак экзистенциализма по той простой причине, что исходит она из единичного абстрактного человека, из индивида самого по себе, и общество представляется лишь совокупностью индивидов. Отличие от экзистенциализма лишь в характере связи: для экзистенциалиста, личность обречена на страдания поскольку над ней довлечет некая свехличная, равнодушная сила; в феноменологической философии, человек — игрушка стихий, жертва статистики. Хрен редьки не слаще.

Только переход к рассмотрению коллективного субъекта (и, следовательно, иерархии форм субъективности) позволяет говорить о развитии взаимоотношений человека и общества, индивида и группы. В частности, строение иерархии субъекта оказывается связанным с экономической организацией, и возможность изменения характера межуровневых (и межкультурных) связей напрямую зависит от исторически неизбежной смены одного общественно-экономического уклада другим.

Бахтин не видит, как можно было бы преодолеть противостояние личности и общества, он мыслит категориями капитализма. Единственное спасение для него — бежать в прошлое, в первобытность, в дикость, когда личностей как таковых еще нет, когда человек неотделим от грубой массы, от протоплазмы цивилизации.

* * *

В критике эстетических теорий XIX–XX веков Бахтин постоянно подчеркивает, что это вырождение эстетики прошлого, связанное с «вырождением» человечества как такового, с его уходом от первобытного синкретизма. Все, чем человечество занималось в Новое время, непременно сопровождается эпитетами: «бедное», «скудное», «ущербное»... Следовало бы предположить, что этот процесс разложения продолжается вплоть до самого Бахтина, и его теория представляет собой следующий этап вырождения, усугубляющий ошибки предшественников... Но Бахтин почему-то считает себя исключением, как будто он обладает уникальной способностью полностью отрешиться от современности и вещать с позиций далекого прошлого, из золотого века.

* * *

То, что юмор у всех народов испокон веков преимущественно оказывается ниже пояса, свидетельствует не о глубочайшей философичности народных масс, исповедующих бахтинскую амбивалентность, — а об элементарном бескультурье, о незрелости, о недоразвитости. Как говорится, у кого что болит — тот о том и говорит. Если у человека нет высших, духовных интересов — ему остается только прохаживаться насчет жратвы, выпивки да оплодотворения. С другой стороны, писателю приходится учитывать вкусы публики — иначе его книги просто не найдут читателя (а тем более покупателя).

Поскольку юмор по сути своей возвращает человека к стадности, преодоление первобытных инстинктов и рост человеческого сознания означает постепенное снижение доли юмора в рефлексии, поиск новых, более разумных форм. Так оно исторически и происходило — для Бахтина этот процесс синонимичен вырождению, у него разумность всегда ущербна.

* * *

Народная метафора проста. Она всегда опирается на внешнее сходство или смежность. Нагромождаемые Бахтиным символические системы далеки от возможностей синкретической рефлексии. Все, что торчит, — ассоциируется с членом. Любая дырка — ему дополнительна. Колокольня превращается у Рабле в фалл не потому, что она стремится «вверх, в небо» и надо срочно ее разжаловать в телесные низы. Это совершенно ходячее сравнение, идиома, речевой штамп. В современном французском языке в этом смысле поминаются также минареты.

Один из самых распространенных юмористических приемов — обыгрывание идиоматики, перевод речевого штампа в область (фантастической) реальности и доведение до абсурда. Реальный разговор двух мужиков на улице: «Да ну, выпрямить его... Встать на хуй ногой — и по другому концу кувалдой...» А теперь вообразите эту сцену буквально. Вот вам и гротескный юмор.

* * *

Бахтин долго и (за)умно рассуждает о снятии в гротескном теле границы между внутренним и внешним, о том, что все оно «состоит из провалов и выпуклостей», и представляется сплошной цепью смертей и рождений. Все это замечательно, и возникает только один вопрос: а почему так?

Спрашивать Бахтина об этом бесполезно. Для него первична идея «амбивалентности», и эта идея воплощает себя в каких-то явлениях жизни. Безотносительно к чему бы то ни было.

Если же не впадать в мистику, оказывается, что бахтинское понятие гротеска до предела сужено и ограничено лишь одной его формой, балаганом. Примитив он считает высшим идеалом культуры, а малейшее духовное развитие клеймит как вырождение, как разрушение идеала. В таком понимании, действительно, ничего не остается, как созерцать тупую, чисто природную смену одних вещей другими, и развитие человечества сводится к физиологии размножения, как ни облагораживай его метафизическими интерпретациями. Отсюда оправдание всякого хамства, ибо «в основе общечеловеческого фонда фамильярной и бранной жестикуляции лежит резко выраженный гротескный образ тела». Будь Бахтин сколько-нибудь последователен,

он бы написал свою книгу не в ученых терминах — а простым российским матом. И я бы тогда не стал ее читать, и обсуждать было бы нечего...

* * *

Убогий духовный мир Бахтина целиком заполнен балаганными представлениями, которые ему кажутся «необозримым в пространстве и времени океаном». Все богатство собственно человеческой духовности представлено в этой бездне невежества «маленьким и ограниченным островком».

По счастью, реальное развитие человеческой культуры все же продвигалось в направлении большей разумности — и первобытная, синкретическая культура занимает в современной духовности не самое значительное место. Идеологи примитива, вроде Бахтина, сетуют на то, что за последние четыре века цивилизованность в искусстве стала господствующим канонам — во многом, они содействовали разрушению этого канона и духовной деградации человечества в конце XX века, когда, вслед за политико-экономическими потрясениями, бескультурье стало официальной нормой, и нецензурщина загадила все этажи культуры. Конечно, явление это преходящее — но пока не найдется, чем заменить балаганные идеалы, возвращения в культурное русло ждать не приходится. Тут работа не для кабинетных философов — нужны реальные преобразование в экономике и в образе жизни людей.

* * *

Переход к Новому времени связан с осознанием человеческой индивидуальности, ценности отдельно взятой личности, которая не обязана больше принадлежать стаду, общине, сословию. Это, естественно, выражается и в новом образе человеческого тела, подчеркивающим его отделенность от других тел. Бахтину, например, очень не по душе внимание к глазам как зеркалу души: «Глаза выражают чисто индивидуальную, так сказать, самодовлеющую внутреннюю жизнь человека, которая для гротеска несущественна». Разумеется, под гротеском тут понимается только одна, балаганная его разновидность.

Публичность жизни постепенно отходит в прошлое — и любые естественные отправления следует теперь прятать от глаз. Но традиция эта не нова — уже в античности в таких делах предпочитали уединение. Да и во времена Рабле далеко не все опорожнялись где попало. В XXI веке возвращается показуха физиологических отпращиваний, официально провозглашается принцип «все напоказ». Так власть предержавшим удобнее контролировать мысли — а на тела им наплевать. Капитализм довел индивидуализм до предела — но он же и обнаружил, что держать самосознающую личность в узде — дело непростое. Как избежать новых революций? Очевидно, возвратом в прошлое, в стадо. А к стаду приставить погонщика — не проблема.

* * *

Устрожение речевых и поведенческих норм в XVI–XXVII веках было во многом формальным. Но это была попытка выразить реальные преобразования в самосознании людей, уже освобожденных от феодальной общинности и переживших ренессансную апологию полиса. Не отделив формально тело от внешнего мира, нельзя перейти к осмыслению их взаимосвязи, взаимообусловленности. Чтобы сопоставить одно с другим, надо сначала отделить одно от другого. Бахтин не задумывается об истоках своей способности рассуждать об «амбивалентности» — но обязан он этим именно «статичной» формалистике Нового времени.

* * *

Когда Бахтин пишет, что новому канону человеческого тела чужда гиперболизация, он опять демонстрирует свою неспособность воспринимать что-либо кроме плоского балагана (умный балаган — уже выше его постижения). Но любая категория исторична, и существует она в определенном культурном контексте. Для примитивного сознания — требуется превышение реальных пределов за пределы всяческой разумности, иначе дикарь просто не заметит гиперболы. Цивилизованному человеку — достаточно намек, откровенно утрировать что-либо уже нет необходимости. Небольшая деталь в рафинированном образе тела нового человека для носителей этой

культуры является столь же кричащей гиперболой, как нарочитое нагромождение несуразностей для дикаря. Гротеск уходит от чисто внешних форм, он теперь говорит не о случайных проявлениях, а о сути вещей. Но этого Бахтин не дорос...

* * *

Бахтин все время подчеркивает, что «гротескный» (в его терминологии) образ тела связан с мировоззренческими категориями, что он полон метафизического смысла. И его удручает, что телесные отправления в Новое время «уже не могут нести прежних мирозерцательных функций». Ну, по поводу большей цивилизованности можно только порадоваться. А что касается глубокого внутреннего смысла «карнавальных» явлений — это еще бабушка надвое сказала. Любые формы человеческой деятельности могут становиться формами рефлексии. На ранних этапах, когда уровень самосознания людей относительно низок, смутные представления о строении мира и месте человека в нем способны принимать, в частности, форму балагана, грубой пошлости, брани. Со временем синкретическая рефлексия уходит на второй план, появляются более адекватные способы выражения. Однако полностью синкретизм не устраняется никогда, и в критических ситуациях, при столкновении с новыми, еще не осмысленными реалиями, первичное их окультуривание происходит именно в русле синкретики. Потом, по мере выработки универсальных категорий, дикий синкретизм снова вытесняется и подчиняется разуму.

Когда писатель использует простонародные формы для выражения каких-то обобщенных представлений, это вовсе не означает, что сам народ именно так их и воспринимает и предназначает именно для того. Можно с достаточной степенью уверенности допустить, что Рабле вкладывал в свои «карнавальные» эпизоды какие-то мысли о мире, о времени, о человеке. Возможно даже, что Бахтин что-то из этого угадал в своих корявых «амбивалентностях». Но — это Рабле, талантливый писатель. А народ ничего такого, вообще говоря, в голове не держит. В какой-то мере использование просторечия как раз и призвано преподнести народу новые для него идеи в привычной упаковке, чтобы не отпугнуть с порога. Полагать, что во времена Рабле и раньше все поголовно были большими философами и любой мелочи придавали «мирозерцательный» смысл — это почти гротескное преувеличение.

* * *

Бахтина раздражают правила приличия. Как так можно — не класть локтей на стол, есть, не чавкая, не сопеть, убирать живот и т. д.? Надо дать народу полную свободу свинства, а не «отмежевывать тело и сглаживать его выступления».

В наши дни бахтинское пожелание стало официальной идеологией. Сейчас нельзя включить телевизор, чтобы не наткнуться на очередной образчик истинно «народного» поведения. По радио — разговоры с набитым ртом. Даже позвонить куда-то по делу без такого букета не получится. А поведение народа в общественных местах — просто полная «амбивалентность»! Кому не по душе — умирают.

* * *

Бахтинские писания во многом напоминают многочисленные исследования на тему посещения Земли инопланетянами. Под любую априорную идею можно подобрать сколько угодно фактов, якобы ее подтверждающих. В школьные годы мы развлекались, например, доказательствами на основе текста Библии того, что Иисус Христос был женщиной; точно так же, библейский текст с неоспоримой очевидностью утверждает, что евреи (или, по крайней мере, некоторые племена) — это биороботы, внедренные в человеческое общество инопланетянами. Совершенно аналогично, Рабле оказывается глашатаем бахтинской «амбивалентности». И подборка ссылок на отдельные места романа выглядит вполне убедительно... Только к реальности это не имеет ни малейшего отношения.

* * *

Книги Рабле очень различны по стилю, по духу, по идейной насыщенности, по художественности... Вторая книга (первая по времени) действительно оригинальна. Первая (продолжение второй) — во многом сохраняет и развивает те же идеи. Но третья книга написана уже в других общественных условиях — и несет иной социальный заряд. С другой стороны, художественная идея в первых двух книгах практически исчерпана — и в третьей книге похожие приемы уже не так убедительны, это повторение сказанного. Это похоже на то, как сейчас

коммерческий успех кинокартины вызывает к жизни продолжение, потом еще продолжение — и так без конца. Сильные места оригинала, в конце концов, полностью опошляются, и сам оригинал кажется в свете этой пошлости плоским и пустым.

* * *

Трагическое противоречие художественного творчества в том, что никогда нельзя точно угадать, что в нем действительно важно и имеет непреходящую культурную ценность. В редких случаях писатель, художник, актер может сказать себе: все, больше ничего нового я сказать не смогу, — и остановиться, и умереть для публики. Чаще продолжают потихоньку что-то ваять в надежде, что это окажется кому-то небесполезным. А если благосостояние автора напрямую зависит от кропаний «шедевров», от прошлого никуда не уйти, и приходится вновь и вновь оправдывать когда-то приобретенную репутацию. Кто-то умирает раньше творческой смерти — а кто-то коптит искусство до глубокой старости, под льстивые голоса будущих наследников.

* * *

Поскольку Бахтин слабо ориентируется в реальной жизни как своего времени, так и отдаленных веков, ему приходится самые обычные вещи вымучивать из абстрактной идеи. Кабинетный червь не знает, как страшно жить. Испокон веков страх преследовал человека, затерянного в лабиринтах враждебных стихий, вынужденного противостоять сначала дикому лесу, потом дикости чужих племен и своих соплеменников. В эксплуататорском обществе человек — всегда жертва. Даже в периоды относительного благополучия он не может избавиться от дурных предчувствий, не может не ждать новых бед. Случись что — никому дела нет. Еще и подтолкнут к бездне. Конкуренция, животная борьба за существование.

Но Бахтин живет вне этого мира, и всеобщий страх ему просто непонятен. Для него это лишний повод повеселиться, не более. А чтобы все объяснить — у объективного идеалиста есть стандартный прием: надо изобрести какую-нибудь абстрактную идею, и объявить правду жизни ее проявлениями. Вот и появляется в бахтинской теории

совершенно фантастический «космический страх», страх вообще, безотносительно к каким-либо конкретным угрозам. И конечно же, все человеческие чувства вырастают из абстрактной идеи: «темная память о космических переворотах прошлого и какой-то смутный страх перед грядущими космическими потрясениями заложены в самом фундаменте человеческой мысли, слова и образа». То, что в жизни на каждом шагу люди страдают и умирают — Бахтина не касается. У него лично все в порядке. Если кого-то где-то убивают — ну и что? Зато Бахтин продолжает жить, как ни в чем не бывало, и чужая смерть для него — продолжение его жизни. Он не в состоянии поставить себя на место жертвы. Из той же оперы бахтинское отношение к юмору: если кого-то втоптали в дерьмо — так, ведь, не меня же! — а значит, это весело, и можно и дальше гадить с чистой совестью (то есть, при полном ее отсутствии).

* * *

В конечном итоге Бахтин вынужден признать, что смех — избавляет от страха. Но признает это все же идеалистически, по-страусиному: достаточно закрыть глаза — и ничего страшного уже нет. Он не понимает, что смех — лишь иллюзорное избавление, что настоящее освобождение приходит только тогда, когда человек жизнь свою организует иначе, на новых началах, устраняя причины страха, а не сам страх.

* * *

Для идеалиста, метафора — тождественна реальности. Если писатель уподобляет одно другому — он, вроде бы, так и воспринимает одно как другое, или, по крайней мере, видит их в единстве. Любой художественный образ приобретает при этом мистический оттенок, становится магическим знаком, инструментом колдовства, якобы способного решать реальные житейские проблемы. Но искусство не столь примитивно, оно как раз и начинается там, где человек уже видит различие между действительностью и способами ее выражения и отдает себе отчет в искусственности художественного образа. Никакой гиперреализм не может преодолеть эту грань, хотя бы уже потому, что

материал образа отличается от материала самой вещи. Тем более это справедливо для образов отвлеченных идей (то есть, по сути дела, культурных явлений).

Если я сравниваю глаза любимой с сапфирами — я вовсе не имею в виду их действительное отношение к минералогии. Для меня важно, что (в моем восприятии) один образ выражает существенные признаки другого — и это отнюдь не тип кристаллической решетки или температура плавления.

Точно так же, половой акт в литературе может представлять нечто космогоническое — но собственно литература начинается там, где кончается мифология, — то есть, с осознанием метафоричности образа, нетождественности его реальной космогонии. Когда Бахтин утверждает, что «образы телесного низа имели преимущественно микрокосмическое значение», он опять-таки выдает желаемое за действительное, абстрактную идею за реальное положение дел. Весьма вероятно, что многие литераторы использовали такого рода метафоричность, — особенно в те периоды, когда литературная мода требовала от авторов метафизического флера. Большинство людей воспринимало такие сравнения проще, приземленнее, именно как метафоры, — и следовательно, на более высоком, чем у Бахтина, уровне, без первобытного синкретизма.

Заметим, что ренессансная идея человека как микрокосма отличается от бахтинской трактовки. Ренессансный мыслитель уподобляет человека миру, указывает, что человек (как физиологический, так и общественный) подчиняется тем же естественным законам. У Бахтина наоборот: мир является образом человека, причем преимущественно его физиологических отправлениях. Ренессансная идея глубоко материалистична: преобразуя окружающий мир, мы тем самым преобразуем и человека. Бахтин — это идеализм: занимаясь сексом, мы воздействуем на космос. Деятельная рефлексия скатывается в первобытную магию.

Что касается Рабле, легко заметить его скептическое отношение к идее микрокосма (как и ко многим другим ренессансным идеям, от которых Рабле уходит в новую, другую эпоху). В романе микрокосм упоминается только с иронией, если не с издевкой, — а неоднократные «гротескные» образы микрокосма откровенно пародийны. Бахтин же принимает все за чистую монету — с юмором у него не все в порядке. Над такими горе-философами и смеется Рабле.

* * *

Хотя смех сам по себе ничего не решает и не снимает проблем, он может все же быть полезен как передышка, возможность собраться с силами. Так, лидокаиновая блокада не устраняет пояснично-крестцовую грыжу — однако она снимает боль и дает возможность заняться собственно терапией. Аналогично, снотворное не нормализует сон — это лишь частичный сброс напряжения, подготавливающий организм к долгому и постепенному лечению.

Если обстоятельства жизни таковы, что условия для развития заболевания воспроизводятся быстрее, чем продвигается выздоровление, никакие препараты не помогут, и приходится принимать обезболивающие или релаксанты в нарастающих дозах, и в конце концов организм ломается. Точно так же и смех может стать наркотиком — и погубить человека вместо помощи. Карнавал — одна из форм губительного смеха.

* * *

Смерть — это еще не самое страшное. Жить бывает страшнее. Те, кому становится немого, — кончают жизнь самоубийством. В жестоком мире смерть бывает желанна, несмотря на всю свою отвратительность. Остаться жить, и пытаться хоть как-то эту жизнь изменить, — ноша не для всех.

* * *

Как ни утешай себя, что смерть дает начало новой жизни, — каждому ясно, что эта новая жизнь будет уже другой, не для нас, без нас. Даже сказки о загробном мире не помогают — это, ведь, все равно другой мир, и в нем от нас — только тень.

Рабле своим романом высмеивает мистику смерти, попытки убежать от ее грубой реальности. Попытки Бахтина приписать Рабле какие-то мистические концепции (родового) бессмертия — с больной головы на здоровую. А народность Рабле как раз и состоит в том, что он отказывается всерьез принимать пустые фантазии, пусть даже отягощенные многовековой историей, освященные церковью, или облагороженные ренессансными мечтателями. Для него мистические

рассказни — повод посмеяться, не более. Да, в этом мире много грязи, дерьма, мерзости, подлости, тупости, пьянства и разврата, наглости и чванства... И людям бывает по-настоящему плохо, и они по-настоящему умирают. Но нельзя ничего исправить, не осознав пошлости действительного мира, стыдливо прикрывая его срам фиговым листком «амбивалентности». И Рабле тычет мордой в дерьмо таких, как Бахтин, специально гиперболизируя, чтобы не увернулись... Но они все равно уворачиваются, находят мистические лазейки — и объявляют мистиком самого Рабле. Возможно, поэтому тон последних книг гораздо минорнее. Затея не удалась — пора умирать. Но еще не вечер, Франсуа! — мы еще посмеемся.

* * *

Бахтин опять кичится своей «проницательностью»: «...никто не отметил ведущую роль разинутого рта в первой книге Рабле и не сопоставил этого с организацией мистерийной сцены». А может быть, потому и не обратили внимания, что эта «ведущая роль» — фикция, выдумка Бахтина? Связь раблезианских образов с образами «адовой пасти» в декорациях мистерий понятна сама собой, здесь не на чем заострять внимание. Все гораздо проще, обыденнее. И публика воспринимала традиционные декорации вовсе не в «космическом аспекте», а именно как традицию, балаганное клише — точно так же, как у каждого сценического персонажа было вполне определенное амплуа. Это лишь формы искусства того времени; собственно искусство начинается там, где кончается формализм.

Когда француз говорит «Merci!», он вовсе не призывает к кому-то милость божию — это лишь слово французского языка, давно охладевшее к своей истории. Примысливать сюда мистическую «амбивалентность» могут только люди дурно воспитанные.

* * *

Общее для Рабле и Сада — иллюзорность освобождения. Можно смеяться над мерзостями бытия, можно демонстративно отказываться от моральности в водовороте оргий — это никак не меняет самого мироустройства, установленного порядка вещей. В каком-то смысле это

практический аналог философского идеализма — вместо осмысления реальности ее вытесняют (по-фрейдовски) абстрактными идеями (или смехом, сексом и т. д.). Очевидно, такое «освобождение» возможно лишь внутри обособленной группы, как бы изолированной от общества в целом — на время. Смеяться можно только в компании — над теми, кто этой компании не принадлежит. Разврат — только в будуаре (или в духовном будуаре — монастыре). Стоит вернуться в мир — и от иллюзорной свободы остается одно воспоминание. Конечно, на безрыбье — и рак рыба. Но привкус разочарования неизбежен.

* * *

В средневековом «Завещании осла» нет никакой мистики — это совершенно прямолинейная сатира. Когда папу римского обзывают ослиной головой, а кардиналов наделяют ослиными ушами, когда певчих уподобляют орущим ослам — что тут непонятного? Припутать сюда мифологическую метафизику, выражаясь словами Рабле, так же трудно, как заставить пернуть мервого осла. Но Бахтин умеет. По его мнению, тут выражена первобытная идея «о происхождении различных социальных групп из различных частей тела божества». С тем же успехом можно в зеленом свете светофора усматривать мотив вечной весны и вселенского обновления.

* * *

Когда ругательства начинают понимать буквально — это либо смешно, либо совсем грустно. А усматривать здесь «чреватую и рождающую смерть» — последняя стадия мазазма. Если для Бахтина роман Рабле — просто «развернутое ругательство», что тут говорить об уровне духовного развития такого псевдофилософа?

То, что у первобытных людей есть обряды поношения божества (или вообще начальства), никоим образом не означает, что ругательства происходят из таких обрядов; скорее, наоборот, чтобы обряд поношения мог возникнуть, брань уже должна восприниматься как таковая, как намеренное оскорбление. Когда ругательства регламентируют и вводят в рамки дозволенного — они теряют бранный оттенок и превращаются в языковые клише.

Кроме ругательств, в речи большинства людей присутствуют и другие слова-паразиты. Как правило, набор этот сугубо индивидуален, хотя одни словечки становятся паразитными чаще, чем другие. Однако связано это не с какой-то отвлеченной метафизикой, а с чисто формальными признаками, артикуляционными автоматизмами (не забывая, конечно, и о социальных факторах).

* * *

Вместо того, чтобы представления людей выводить из их образа жизни, Бахтин, наоборот, любые житейские явления выводит из абстрактных идей. В частности, в том, что балаганное действо сочетает в себе множество трюков в воздухе (акробатика), в воде (плавание), с землей и огнем, Бахтин усматривает выражение древних представлений о четырех стихиях. На самом же деле наоборот: человеческая деятельность вовлекает разные аспекты реальности — и это отражено в теоретической форме четырех стихий. Даже христианская триада «небо — земля — преисподняя», совершенно сознательно положенная в основу сценического оформления мистерий, происходит не из абстрактных образов рая и ада, а из топографии повседневной жизни, с ее взлетами и падениями, с данностью звездного неба, высоких гор, недр земли и морских глубин. Не жизнь выстраивается по образу «гротескного тела» — а наоборот, гротеск есть утрированная жизнь, и только в соотнесенности с нею он приобретает характерную образность.

* * *

В своем рассказе о «Гиппократовом сборнике» Бахтин буквально каждую деталь ставит с ног на голову, идеалистически переворачивает. Логика «Гиппократова сборника» идет от сопоставления процессов в организме человека с физическими явлениями окружающего мира, и организация человеческого тела уподоблялась организации природы в целом. Иначе и быть не могло в то время — другой объективной опоры у человеческого мышления еще не было. Задача тут была сугубо практическая — попытаться воздействовать на организм так же, как человек воздействует на природу, заставляя ее служить человеческим потребностям. У Бахтина, наоборот, любое сравнение выдается за

отождествление внешнего и внутреннего, за признание их идентичности. Он полагает, что авторы сборника занимаются абстрактным философствованием и подгонкой (в чисто бахтинском духе) реальных явлений под априорные категории.

Медицина исстари придавала большое значение исследованию выделений человеческого тела. А как иначе мог врач судить о происходящем внутри? Даже сейчас нетравматические методы проникновения внутрь организма — экзотическая редкость, и большинство диагностических процедур основано на изучении выделений организма, или на варварских процедурах типа гастроскопии или колоноскопии, по своей травматичности зачастую превосходящих хирургическое вмешательство. У Бахтина же оказывается, что медик интересуется выделениями исключительно в метафизическом плане, для утверждения «гротескной открытости тела».

Даже во внешне бесспорном утверждении, что «Рабле последовательно материалистичен» Бахтин умудряется все вывернуть наизнанку: «Тело для него — наиболее совершенная форма организации материи, поэтому оно — ключ ко всей материи». Ничего подобного. Врачи гиппократического направления, наоборот, указывали на родство органических процессов и физической природы, и пытались из знаний о физическом мире извлечь моменты, полезные для поисков путей эффективного воздействия на организм. В этом они противостояли школе Парацельса, с ее идеей микрокосма, и падуанской школе, превращавшей сопоставление человека космосу в абстрактно-философское упражнение, уводящее от практических задач в дебри схоластики. Рабле не принимал всерьез мистику «натуральной магии» или нумерологические изыскания — это вынужден признать даже Бахтин. Своим романом Рабле утверждает всецело прагматический подход: дело надо делать, а не в игры играть. И потому его юмор нарочит и гипертрофирован — чтобы не было соблазна отождествлять слова с реальностью. Но извращенцу-Бахтину даже столь явное указание — как об стенку горох.

* * *

Кто-то стремится к звездам, другие — в болото. Стремление вверх — не для таких, как Бахтин. Их привлекает лишь низменное. И шли бы они — туда. Но нет, они хотят и остальных затащить в дерьмо, лишить

человечество всяческой одухотворенности и возвышенных стремлений. Так из века в век служат бахтины самым реакционным слоям общества, пытающимся удержать угнетенные массы в нищете и бесправии. Апология низа — попытка убедить низы, что там им и место, а хозяева презрительно смотрят на быдло сверху вниз и отнюдь не собираются покидать господствующие высоты. Но в обществе страха у каждого свой страх. Поэтому иногда и верхи не прочь поверить в сказки о вседвлюющей стихии низа — спрятаться от мысли, что когда-нибудь придется упасть.

* * *

Как ни странно, здравые мысли бывают и у Бахтина. Пусть даже выведены они из совершеннейшей чепухи. Так, Бахтин долго разбирает эпизод с подтирками Гаргантюа — дескать, «на фоне литературы нового времени он выглядит и странным и грубым». Однако ничего особенного здесь на самом деле нет. По части непристойностей современные писатели перещеголяли всех предшественников вместе взятых — по сравнению с ними Рабле просто ангелочек. Что же касается использования неожиданных сопоставлений для придания обычным вещам оттенка новизны — это совершенно универсальная технология всех уровней рефлексии, начиная с примитивного синкретизма и заканчивая восхождением от абстрактного к конкретному. К этому сводится любое вообще остроумие. В искусстве поиск неожиданных ракурсов испокон веков был излюбленным занятием всех авторов. В науке новые направления открываются сопоставлением ранее отдаленных друг от друга областей. Особого новаторства тут нет ни у Рабле, ни у Бахтина.

Бахтинские рассуждения о превращении верха в телесный низ и о загробном мире притянуты сюда за уши — это его обычная практика. То, что двусмысленность французского слова «trou» ведет к множеству непристойных интерпретаций — банальность. Но в конечном итоге следует поразительно правильная мысль: «Мир не мог стать предметом свободного, опытного и материалистического познания, пока он отдален от человека страхом и благоговением [...] Фамильярно-площадное освоение мира [...] разрушало и отменяло все созданные страхом и благоговением дистанции и запреты, позволяло любую вещь трогать, ошупывать со всех сторон, залезать в нутро, выворачивать наизнанку,

сопоставлять с любым другим явлением, каким бы оно ни было высоким и священным, анализировать, взвешивать, измерять и примерять — и все это в единой плоскости материального чувственного опыта». Bravo! Аплодисменты.

Разумеется, остроумие — не единственный (и не самый человеческий) способ ассимиляции мира в человеческой рефлексии. Снимать дистанцию между человеком и миром можно по-разному. Тем не менее, само присутствие этого момента в «смеховой культуре» — несомненно. Конечно, при том условии, что остроумие не превращается в мероприятие, не предписывается никем и ничем. В частности, массовые народные гуляния, как правило, преследуют совершенно противоположную цель, поработают человека и закрепощают мысль; возможные проявления свободомыслия в таких условиях — вопреки, а не благодаря.

* * *

Эпизод с воскрешением Эпистемона вовсе не является столь «смелым», как указывает Бахтин; здесь нет никаких аллюзий на писание, и потому особой опасности для автора эта глава не представляла. По Бахтину-Лефрану эпизод связан сразу со всеми евангельскими чудесами — то есть, по сути, ни с одним из них. Тема воскрешения была обычной в литературе того времени, и общая канва таких историй неизбежно заимствовалась из Библии.

Новаторство Рабле заключалось в том, что воскрешение преподносится не как чудо, а как обычная работа врача, знатока своего ремесла. Процесс оживления Эпистемона очень технологичен — используются разного рода медикаменты, плюс точная хирургия («вена пришлась к вене, сухожилие к сухожилию, позвонок к позвонку»). Даже омовение белым вином перед операцией — чисто практический прием, ибо вино (например, крепкий арманьяк) широко использовалось в медицинской практике как дезинфицирующее средство. Здесь почти нет собственно юмористических элементов — эпизод, скорее, сродни научной фантастике.

Странно, что Бахтин не обратил внимания на те элементы, которые действительно могли быть иносказанием. Имя Эпистемон означает «знающий», «сведущий», «опытный» — то есть, речь идет о том, что на войне (как побочное следствие военных действий) погибают ученые,

лучшие люди своего времени. Тут тянется цепочка от Архимеда, о чьей участи Рабле не мог не знать. Недаром Пантагрюэль загрустил «так, как не грустил еще ни один человек на свете». Сама манера гибели Эпистемона (потеря головы) — говорящий образ. Походя обыгрывается обычное мнение, что вино «прочищает голову» — в том же русле восстановление здоровья Эпистемона путем обильных возлияний.

* * *

Бахтинские рассуждения по поводу образов преисподней были бы занимательны, если бы он ограничился простым описанием того, как представлялось это разным народам в разные эпохи. Но когда начинается усиленное натягивание истории под «амбивалентность» и высокомерные замечания о том, что кто-то изображал ад правильно, а кто-то не очень, — становится противно. Но даже из тенденциозно подобранных фактов выпячивает вывод, прямо противоположный бахтинскому толкованию: карнавальное восприятие преисподней складывалось постепенно, вбирая различные элементы как религиозного, так и фольклорного характера. То, что Бахтин преподносит как базовую идею, из которой вытекают все формы карнавальности, — на самом деле итог развития массовой культуры на протяжении многих столетий, своего рода завершение, после которого надо переходить к новым уровням рефлексии.

Здесь полная аналогия с «реконструкциями» индоевропейского праязыка, которые, скорее, выражают обобщенное видение реальных языков, выделение в них единой логической основы, синтез, а не генезис.

* * *

Высокопарные рассуждения Бахтина о вертикали и горизонтали прикрывают совершенно банальное содержание. То, что средневековые избегает исторической перспективы и сосредотачивается на иерархических отношениях — общеизвестно, это прямое выражение сословного расслоения общества. Ренессанс, отвергая принижение человека по сравнению с потусторонними иерархиями, остается столь же статичным — возрожденческое мышление объявляет человека совершенным, вершиной творения, — и о постепенном восхождении к

человечности речь не идет. Только в эпоху Рабле, с переходом к новому типу общественного устройства, возникает сознание исторического процесса, преодолевающее внеисторическую идеологию средних веков и Возрождения. Впоследствии, с установлением господства капитализма, этот исторический элемент снимается — буржуазия больше не заинтересована в пропаганде развития, ей важно сохранить свою власть на века. Так появляется метафизический склад мышления, в его механистическом и идеалистическом вариантах.

Отождествление исторического времени с «горизонталью» — полная чушь. Сам же Бахтин неоднократно говорит о «новой и высшей ступени исторического и культурного развития человечества», о «новой и высшей ступени развития культуры»... Какая же это горизонталь? Скорее, речь идет о замене абсолютной и неизменной иерархии сверхъестественного живой иерархией уровней человеческой культуры — ступенями исторического развития. Идеи «высшего» и «низшего» ассоциируются теперь не с божественным установлением, а с естественноисторическим процессом, становятся материалистически объективными.

Заявления Бахтина о том, что, дескать, средневековое мышление занято исключительно вертикалью, — очень сильное преувеличение. Горизонталь из человеческой культуры никогда не исчезала, поскольку сама жизнь заставляла осваивать все новые области доступного мира. Другое дело, что горизонталь эта мыслилась преимущественно пространственно, статически, как удивительное многообразие явлений и существ. Средневековье (во многом благодаря единству культурной иерархии) весьма подвижно в пространстве, и эпоха великих географических открытий продолжает все ту же линию освоения новых земель, расширения «горизонтального» мира. Коперниканская революция в астрономии стала естественным переносом этой экспансии на мир небесный, открывающим человечеству бесконечность Вселенной и неограниченные перспективы ее освоения.

* * *

Образ смерти у Рабле таков, каким он и был в народном сознании его эпохи — без мистических коннотаций, которые пытается навязать ему Бахтин. Смерть была на каждом шагу, элементом повседневности.

И бояться ее не было сил. Больше боялись другого — мучительной жизни, мучительного умирания.

То, что рождение ребенка часто приводило к смерти матери, — так это и сейчас так. Никакой мистики и «амбивалентности» у Рабле в описании рождения Пантагрюэля нет — наоборот, сугубо реалистическая сцена, будто фрагмент из учебника медицины. Здесь Рабле предвосхитил психологизм литературы Нового времени.

Отношение к смерти было в эпоху Рабле еще поверхностным, поскольку не сложилось представления об уникальности человеческой личности, о самоценности человека независимо от рода или общественного положения. Во многом это отражено и в романе Рабле. Однако отдельные моменты уже намекают на иное, более субъективное отношение к смерти. Так, например, вопрос о том, какая смерть лучше, трактуется уже не в плане принадлежности человека к определенной общественной структуре (или божественной иерархии) — речь идет о переживании смерти отдельным человеком, о желании снять тяжесть перехода в иной мир. Современные споры об эвтаназии показывают, что эта проблема актуальна и по сей день.

* * *

Скучная болтовня об отрицаниях у Бахтина выдержана в псевдоакадемическом тоне — и не содержит ни одной свежей мысли. Если бы Бахтин читал Гегеля, он бы знал, что любое вообще отрицание «амбивалентно», поскольку оно сопоставляет разные вещи, удерживая их в мысли одновременно и преобразуя одно в другое. В этом плане «народно-праздничное» отрицание ничем не отличается от любого другого. И остается невыясненным, есть ли у Рабле какие-либо особые черты отрицания, свойственные именно его стилистике. Вся бахтинская «наука» оказывается бородатым анекдотом, вроде историй с господином Никто. Такого рода языковые игры практиковались уже во времена Платона — и заслугой Радульфа было не изобретение нового юмористического трюка, а его последовательное применение к каноническим текстам, приведшее к возникновению целостного образа, эдакой интеллектуальной лоскутной куклы. Раз возникшая целостность дальше развивается самостоятельно, как особое культурное явление. В этом суть перехода от синкретической к аналитической рефлексии, от сознания к самосознанию.

* * *

Высказывание о том, что «у Рабле вообще нет нейтральных слов», и все у него «смесь похвалы и брани», — злостная клевета. Сам же Бахтин постоянно отмечает «официальный» тон некоторых отрывков (например, письмо Гаргантюа к сыну). Если на то пошло, собственно похвалы или брани в романе вообще нет. Самое большее — их пародийная имитация, всецело следующая традиции (в том числе литературной). Здесь Бахтин снова демонстрирует отсутствие чувства юмора.

* * *

Техника «соq-à-l'âne» — одна из древнейших словесных игр у всех народов, и даже Бахтину ясно, что это имеет отношение к способности абстрагировать свойства вещей от самих вещей и произвольно переносить от одной вещи к другой. По-хорошему, тут следовало бы не ограничивать пустым указанием, а понять, как это механизм рефлексии связан с другими, каково его место в развитии человеческого мышления. Но эта работа — для более зрелых мыслителей.

* * *

Пафосные заявления Бахтина о «народной позиции» Рабле и его стремлении раскрыть смысл эпохи «для народа, народа растущего и бессмертного» — чистейшая бессмыслица. Не бывает народа вообще, есть конкретный народ данной эпохи и данной страны, и народ этот отнюдь не един, он разделен на сословия и классы, преследующие самые разные интересы. Если у писателя нет определенной классовой позиции — это бездарная серость. Народность Рабле не в том, что он «не солидаризировался до конца ни с одной из группировок в пределах господствующих классов» — ни один человек не может абсолютно во всем с кем-то «солидаризоваться». Важно, что своими творениями Рабле отвечал духу времени, отражал объективные тенденции общественного развития. Ничего общего с «народным хором на площади» это не имеет — и здесь Лефран, причислявший Рабле к числу королевских публицистов, был гораздо ближе к истине. Но, судя по всему, Рабле заглядывал в будущее несколько дальше — и в его романе

где-то брезжит и независимость Голландии, и английская революция, и 1789 год... И уж совершенно определенно, Рабле не причислял устройство своей утопии под карнавальный разгул — толпа дикарей отнюдь не была его идеалом. Сколько-нибудь внимательному читателю видно, что Рабле симпатизировал людям, умеющим работать головой и руками, знающим свое дело, сведущим в науках и обладающим широтой взгляда. Но самое главное — не сливаться с толпой, критически оценивать расхожие мнения, не признавать диктата традиций. Творческие люди могут использовать балаган и карнавал в своих целях — но не наоборот, не становиться рупором толпы.

* * *

Перечисляя с восторгом многочисленные реальные детали в романа Рабле, Бахтин впадает в худшую разновидность критики, для которой в искусстве нет ничего кроме биографии автора. Безусловно, любой автор так или иначе опирается на то, с чем он лично встречался на жизненном пути — и вовсе не требуется каждый раз все придумывать с нуля. Разные авторы по-разному используют биографический материал — но к содержанию художественного произведения это не имеет ни малейшего отношения. Насколько точен автор в описании событий своего времени, исторических лиц, географии, нравов или мифологии, — совершенно неважно. Это, ведь, не научный трактат, а произведение искусства. А в произведении искусства важно не то, что в нем упоминается, а то, о чем идет речь. Авторская позиция, художественные принципы, авторский стиль — все это составляющие особого образного строя, который, собственно, и является продуктом искусства. Дальше уже можно классифицировать, выделять типы. Но в искусстве мы идем от целого к деталям, а не наоборот.

То, что у Рабле повествование насыщено реальными деталями, вполне отвечает традициям литературы его времени. Тенденция строительства искусственных миров в искусстве набрала силу гораздо позже. Но до сих пор литераторы широко используют все тот же прием для придания образу живой объемности — ссылки (или хотя бы аллюзии) на реальные вещи, реальные события, реальных людей. В литературу часто вводятся широко известные исторические фигуры, их присутствие задает общекультурный фон, на котором разворачивается

сюжет. В конце концов, есть исторические романы, мемуарная литература, псевдодокументалистика...

В каком-то смысле, использовать готовые элементы проще, чем изобретать нечто оригинальное. Сегодня большинство сюжетов перепевает уже известное, перелицовывает старое на новый лад. Новых героев и неожиданных сюжетных ходов — практически нет. Даже фантастика топчется на давным-давно отработанных образах, не рискуя выйти в свободное плавание в просторы Вселенной и погрузиться в неизведанные бездны человеческой души. В этом проявляется коммерческий характер искусства наших дней.

* * *

То, что Рабле был «передовым человеком своего времени», по Бахтину выражается в стремлении вернуться в далекое прошлое. Дескать, медицина должна вернуться к Гиппократу, право тоже надо вернуть в римские времена, и вообще, держаться поближе к античности, во всех отношениях... Ничего подобного в романе, конечно же, нет. Наоборот, Рабле высмеивает идеологию Возрождения за преувеличенное внимание к прошлому — и требует творческого подхода к культурному наследию, не отметающего ни античных образцов, ни достижений средневековья (а таковые безусловно есть). Образ исследователя-практика Рабле гораздо симпатичнее, и элементы научной фантастики в его романе говорят о направленности в будущее.

* * *

Во времена Рабле литературный французский язык только складывался — и Рабле стал одним из его создателей. Соответственно, не было и норм литературности, и потому любые просторечные выражения могли свободно проникать в тело книги. Отсюда впечатление «особой карнавальской свободы».

Бахтин прав в том, что слова попадали к Рабле еще сырыми, некультурными, индивидуализированными — это во многом были не имена, а прозвища. Но при чем тут хвала и брань — остается только догадываться. Фантазии Бахтина неисповедимы.

Заметим, что и в современном французском языке грань между именем нарицательным и именем собственным не так резка, как в других

языках. Французское словоупотребление легко превращает собственные имена в нарицательные и наоборот. По-видимому, такой строй народной речи восходит к древнейшим временам, до римского периода.

Тут, кстати, оказывается вполне объяснимым отмеченное исследователями повышенное внимание Рабле к кельтской культуре. Галлы — одно из кельтских племен, и вхождение в литературу (и в официальный обиход) французского языка естественно привело к заострению нероманских черт, унаследованных от древних галлов. Кельтские легенды и мифы были весьма популярны, они оказывали значительное влияние на формирование национального самосознания французов.

* * *

Для Бахтина свобода — синоним дикости. Поэтому он всячески превозносит дикий, еще недооформившийся французский язык эпохи Рабле, с его мешаниной диалектов, латинизмов и разношерстных заимствований. Разнузданность он принимает за исключительную выразительность. То, что современный французский язык неизмеримо богаче и выразительнее любого из старых диалектов, — бахтинскому разумению недоступно. Рафинированная речь современных людей для таких слишком сложна. Им бы попроще чего-нибудь, из балагана...

* * *

Чтобы увидеть глубину в сопоставлении разных вещей, надо прежде всего осознать их различие — только тогда можно заметить их родство и взаимопроникновение. Собственно многоязыковая культура складывается поэтому лишь там, где различные языки в достаточной мере обособились друг от друга — и взаимодействие их воспринимается как языковая игра.

Когда современный французский писатель вводит в текст диалектизм, это несет вполне определенную художественную нагрузку, поскольку диалектизм воспринимается читателем как таковой, как вторжение, как диссонанс, как хроматизм. Если же различие между диалектами не слишком велико — их смешение в рамках одного текста не приводит к сколько-нибудь существенным художественным

последствиям. Да, такое словоупотребление способно приводить к формированию нового литературного языка — но это уже языковой, а не художественный процесс, он лежит вне сферы искусства.

* * *

Смешно, когда Бахтин упрекает французскую раблезику в том, что она, дескать, не знает народной французской культуры. Можно подумать, он тут большой знаток. Да любой рядовой француз, никогда не занимавшийся раскапыванием культурных древностей, намного компетентнее Бахтина в вопросах французской культуры. Хотя бы потому, что в нем и через него эта культура осуществляется.

* * *

Стремление французских исследователей соотнести Рабле с другими явлениями французской культуры гораздо более достойно уважения, чем огульное противопоставление выдуманной Бахтиным «народной» культуры выдуманному им же «официальному» уровню. Да, культура господствующих классов противостоит культуре угнетаемых ими низов. Но это не разные культуры, это уровни одной культуры, и само их противостояние объяснимо и осмысленно только в контексте их единства. Попытки объявить культуру низов единственным носителем культурности как таковой — отрицание той самой «амбивалентности», которую сам же Бахтин пытается всюду протащить. Нельзя устранить одну из противоположностей, не устранив другой — их противостояние снимается на более высоком уровне, в другой формации. Бахтинское теоретизирование подобно тому, как если бы кто-то объявил любые строения «суженными» и «обедненными» на том основании, что они лишены «подлинно народных» черт фундамента — и предложил бы снести все подчистую, оставив одни фундаменты. Такой, вот, карнавал...

* * *

Сравнивая Гоголя с Рабле, Бахтин выбалтывает самую суть своего теоретизирования. Комизм, дескать, вскрывает «многомерную природу»

и «показывает пути обновления». И далее: «Этой цели служат разнузданная пляска, животные черты, проглядывающие в человеке, и т. п.»

Вот оно, истинное лицо бахтинского идеализма! В нем — животные черты. Ему подавай разнузданность. «Народная смеховая культура» по Бахтину — это полное, ничем не сдерживаемое бескультурие — в понимании тех, кто не хочет оставаться животным и стремится стать достойным звания «человек».

* * *

Подведем итог.

Книга Бахтина практически бесполезна для понимания романа Рабле, она страдает убогой примитивностью эстетической мысли, тенденциозной и наивной одновременно. Бахтин — один из тысяч философов-идеалистов, апологетов воинствующего невежества как опоры экономического и социального неравенства.

Бывали идеалисты, великие даже в своих заблуждениях, открывавшие новые горизонты культурного развития для человечества в целом. Бахтин не таков, он нигде не поднимается выше банальностей.

Однако объективный характер бахтинского идеализма делает его формальные выверты глубоко типичными, показывает без прикрас подлую натуру любого идеализма вообще. В этом смысле работы Бахтина оказываются полезными и занимают свое место в истории человеческой культуры. Это своего рода удобрение, стимулирующее рост по-настоящему культурных идей. В небольших дозах — такие «мыслители» способствуют духовному росту человечества, пока не найдены более эффективные подкормки. Но избыток духовных экскрементов — отравляет культурную почву и убивает живую мысль. Лучше читайте Рабле — мечтайте, страдайте и смейтесь вместе с ним.

Р. Я.

**МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЭТИКА
Г-НА Д.**

Заметки о книге Ю. Н. Давыдова
«Этика любви и метафизика своеволия»

**безнравственный произвол
против любви**

<http://unism.pjwb.net/2010md/mdr.htm>

<http://unism.pjwb.org/2010md/mdr.htm>

<http://unism.narod.ru/2010md/mdr.htm>

**Заметки о книге Ю. Н. Давыдова
«Этика любви и метафизика своеволия:
Проблемы нравственной философии»**

М.: Молодая гвардия, 1982

Пометки на полях и записи по ходу чтения возникали в 1984–1985 годах. Другая страна, другая эпоха... Современному читателю что-то может показаться странным и непонятным. Пришлось кое-где добавить комментариями — с учетом реалий начала XXI века. Но в целом написанное остается справедливым и по сей день. Рефлексия застряла на уровне 1980-х, ничего более разумного за истекшие десятилетия в философии не родилось; официальная идеология насаждает философский идеализм и топит в потоке духовной грязи даже те крохи разумности, которыми человечество могло когда-то гордиться. Конечно, передовые идеи останутся жить — но пройдет немало лет, прежде чем люди почувствуют настоящую потребность в их возрождении и дальнейшем развитии. Тогда, возможно, и эта рукопись кому-то пригодится, хотя бы в качестве напоминания о методах подрывной работы, о том, как идеологически готовили распад СССР и реставрацию капитализма.

* * *

В самом названии книги очерчен круг ее пороков. Философия есть учение о единстве мира, она имеет дело с универсалиями — и сама универсальна. Можно говорить о философии чего угодно (и философия марксизма требует такой конкретности) — однако любые уточняющие эпитеты к слову «философия», разговоры о какой-то *определенной* философии — сразу же переводят вопрос в узко прикладную сферу. Философия только одна — она не может быть ни «нравственной», ни «аналитической», ни еще какой-нибудь. Любое идейное течение несет в себе, помимо всего прочего, и что-то от философии, поскольку оно утверждает нечто универсальное, касающееся мира в целом — и разума в любых его формах как части единого мира. Но лишь только мы начинаем противопоставлять одно направление другому — философия испаряется, и начинается нечто иное — идеологическая борьба.

В результате — читатель сразу же предупрежден: его вниманию предлагается заведомо немарксистский подход к этике, пытающийся монополизировать сферу нравственности, оторвать ее от человеческой практики и противопоставить философской универсальности. Такого рода келейность — обычный прием буржуазных идеологов, выдающих взгляды буржуазии (или отдельных ее слоев) за общечеловеческие ценности и не заинтересованных в сопоставлении с чем-то еще, что могло бы высветить классовую ограниченность подобных «ценностей», их преходящий характер.

Конечно, нельзя судить о книге только по ее названию: ни один автор не застрахован от стилистических погрешностей. Однако сама возможность подобной фразеологии требует от читателя повышенной внимательности и критического отношения к прочитанному.

* * *

Чудеса начинаются уже во введении. На первой же странице Д. с гордостью заявляет, что его профессия (заметим: не призвание, а всего лишь источник дохода) — «философское просвещение людей». Вот и посмотрим, что это за сияние...¹⁹

[3] На страницах журналов, посвященных вопросам, далеким от абстрактного теоретизирования, все чаще появляются ссылки на классиков русской и мировой философской мысли.

Если не списывать опять на хромоту стиля, звучит по меньшей мере странно, ибо философия не имеет ничего общего с абстрактным теоретизированием: философия всегда конкретна — ее, ведь, надо подсказать людям, как жить — и как сделать мир человечнее.

Пока оставим в стороне сомнительное положение о том, что интерес к философии в 1970-х и 1980-х как-то вырос по сравнению с предшествующими годами. Не похоже. Было бы разумнее говорить лишь о смещении акцентов, о новой проблематике — в конце концов, о популярности и моде. Но это — долгий разговор.

Далее Д. провозглашает: «Интерес к философии за пределами профессионально-теоретической области — это симптом *нравственных*

¹⁹ Номера страниц даны в квадратных скобках; вставные комментарии — в угловых. При отсутствии ссылки на страницу подразумевается, что мы остаемся (примерно) там же. Оформление текста в цитатах всюду соответствует оригиналу.

исканий народа...» Можно подумать, что нравственность существует сама по себе, безотносительно к деятельности людей и их воззрениям. Опять же, почему философия должна сводиться к нравственности? Наконец, народ — не теоретическая абстракция; каждый народ, и каждый общественный слой, в каждую историческую эпоху, ищет в философии что-то свое. И то, *что именно* он ищет, с какой-то стороны очень даже характеризует и его, и соответствующую эпоху...

... вопрос, с каким сегодня обращается читатель к философии, — это, как правило, вопрос о том, зачем живет человек, то есть вопрос о *смысле жизни*.

Вот тут с Д. можно согласиться — поскольку философия, по сути, и есть поиск смысла жизни. И не только сегодня — а всегда и везде. Другое дело, что разные люди по-разному представляют себе, что есть жизнь — и ищут в ней разного смысла...

... то, что сегодня понимается под «любовью к мудрости» в непрофессиональных кругах, — это прежде всего и главным образом нравственная философия с ее извечным стремлением к «оправданию добра».

Приехали. Сначала говорим о философии как таковой. Потом, ни с того ни с сего, философия вообще — подменяется ловко вынутой из рукава «нравственной философией», и ничего не подозревающим массам предписывается считать мудростью именно ее. Но самое забавное, что эта никому неведомая философии, оказывается, стремится оправдывать добро! Ладно, классовый характер абстрактного противопоставления «добра» и «зла» — отложим до особого рассмотрения. Но, пардон, в чем добро виновато, и почему его надо оправдывать? Традиционно, добрые дела не нуждаются в оправдании, это, по большому счету, одно из определений добра. Чуть только пошли оправдания — значит, где-то не все путем... Но там, где начинается «нравственная философия», — здравому смыслу лучше помолчать.

* * *

На с. 5 мы узнаем, что существует некое «знание о жизни, взятой в ее нравственном измерении». Оказывается, это «жизнь, постигнутая сквозь призму *абсолютного различения добра и зла*». Когда марксизм говорит о классовом и конкретно-историческом характере этических категорий — такой поворот Д. никак не устраивает. Для него идеи добра

и зла — существуют сами по себе, безотносительно к чему бы то ни было, как пустые абстракции, как априорные формы, через которые мы, якобы, постигаем жизнь. Другими словами, в основу «нравственной философии» намеренно положен философский идеализм. С другой стороны, абсолютность различения чего бы то ни было (в частности, добра и зла) исключает развитие, взаимоотражение и взаимопереходы одного в другое. Различие не возникает, не движется — оно предписано человеку внешним, потусторонним, сверхъестественным образом (даже если называть это «материей», или «природой»). Такую позицию в марксизме называют метафизикой; прямолинейно и незамысловато, она выражает идеи вечности разделения общества на антагонистические классы, на богатых и бедных, на господ и рабов.

Остается обратиться к истории философии и посмотреть, кто и когда проповедовал подобные взгляды. Оказывается, что корни «нравственной философии» в европейской культуре восходят (как и во многих других случаях) к древним грекам — к стоикам и Сократу (которого мы преимущественно видим глазами Платона — как художественный образ, а не историческую личность²⁰). Однако центральным принципом этики абсолютное различение добра и зла могло стать только на основе христианства (метафизически препарирующего наследие древнейших восточных культов); так и повелось, что все последующие образцы «нравственной философии» лишь пересказывают на философский манер христианские догматы.²¹ Наконец, является великий Иммануил Кант и решительной рукой препарирует философию, отделяя этику и эстетику от логики, а логику от онтологии. Так и повелось: вместо философии — отдельные ее органы, экспонаты кунсткамеры, анатомический театр...²² Опять же, каждый кусочек — из еще более мелких кусочков; а там и до отдельных клеток дойдет, которые предстоит разобрать на молекулы... Философия как точная наука. А почему — вопрос демагогический.

²⁰ Точно так же, под маркой Nescafé может продаваться все, что угодно, а вовсе не подлинная продукция фирмы Nestlé.

²¹ Философы-идеалисты испокон веков занимались богостроительством; однако христианская этика откровеннее отделяет философствование от жизни, обожествляя чистую абстракцию — идею классового неравенства. Но тем самым религиозная философия оказывается сугубо утилитарной, философией *ad hoc*.

²² Как водится, не столь отдаленные потомки подняли на щит заблуждения и недоуменные вопросы — и постарались забыть о действительных заслугах Канта перед философией.

Но не можем мы из никак не увязанных друг с другом кусочков механически слепить целое! — одни франкенштейны получаются. Оно и понятно: нельзя познать жизнь, имея дело с одними лишь трупами. Остается чисто по-детски: расплакаться, топнуть ножкой и отказаться вообще что-либо объяснять — дескать, так оно все устроено, потому что мы по-другому не умеем. И никогда не сумеем — если будем дуться на природу и самих себя.

Влияние расхожего кантианства (в его наиболее вульгарных, «попсовых» вариантах) сказывается на всех последующих строителях «нравственной философии» с их проповедью «абсолютной» (то есть, по сути, богом данной, предписанной сверху) морали. Классовое общество противопоставляет одних людей другим — и это противостояние тупо переносится в этику: буржуй — по определению хороший (потому что у него много добра), а раб — по природе плохой (потому что его добро отняли буржуи, и он на них за это все время злой). Даже хорошие (покорные) рабы — это подлый люд, и от них благородному сословию всегда приходится ожидать какой-нибудь пакости...

На русской почве, в условиях варварского подавления всякой самодеятельности масс, европейские прототипы приобретают особый мистический оттенок, акценты смещаются из практической сферы в область чисто личного, субъективного, а поведение в соответствии с навязанным сверху абстрактным идеалом носит характер юродства, самоуничтожения, покаяния, подвижничества. У любого европейского философа традиционно присутствует элемент прагматизма, который хотя бы отчасти уравнивает идеалистические представления, не дает им безраздельно подмять под себя человеческий разум.²³ На то и профессия: буржуа про духовные искания не надо — ему бы про прибыль... В России этот (псевдо)критический оттенок скоренько выветрился — и абсолютизация религиозных догматов достигла абсолютной беспредельности. Разумное (даже в официозных рамках) осмысление принципов бытия (хотя бы и классово понимаемого) нам уже ни к чему — достаточно следовать раз и навсегда заданному пути и не задавать лишних вопросов. Там, где европеец добивается (хотя бы

²³ В Европе светская власть испокон веков противостояла церкви, никогда не допуская полного ее владычества — даже в Средние века. В России государственность началась с религии и срослась с ней. Европейская церковь — это прежде всего бизнес, ее отношение к прихожанам достаточно формально. Российские религии претендуют еще и на духовное подчинение, им мало формального соблюдения канонов.

иллюзорного) освобождения, — россиянин ищет новых цепей.²⁴ Но кормиться одними церковными книжонками — надо окончательно выродиться, стать плесенью, грязью. Поэтому давайте разрешим какую-нибудь художественность — но лишь в русле партийных установок. Символами «русского пути» стали Достоевский и Толстой. Как только Д. решает заняться «абсолютным различием добра и зла» — он неизбежно придет к вульгарной достоевщине и пошлому толстовству.²⁵

* * *

Как и ожидалось, буквально в следующем абзаце, нам сообщают, кто будет нашим проводником «по кругам ада, являемого нам в русле новейших тенденций современной философии»:

[6] Этот проводник — русская классическая литература, которая в произведениях таких наших писателей, как Лев Толстой и Федор Достоевский, предстала одновременно и как классика нравственной философии, до сих пор не превзойденная ни «новой», ни «новой» философской модой, — будь это экзистенциалистская, структуралистская или неомарксистская мода.

Вот так, без обиняков — зачем нам марксизм? Высшая ступень этической мысли — Достоевский и Толстой²⁶ (хоть они между собой никогда не ладили). «Нравственная философия» может обойтись одной только беллетристикой, а философия как таковая тут где-то даже и неуместна — а то, ведь, придется честно признаваться в клерикальных грешках! А чтобы с работы не уволили — заявим, что сама жизнь

²⁴ На рубеже XIX–XX веков и в Европе, и в России возникают многочисленные теософические учения. Однако европейская теософия в своей основе рациональна; Даже мистически переименованная «восточная» философия сводится для буржуа к набору «практик», к инструментальному обслуживанию коммерческого успеха.

²⁵ Достоевщина и толстовство — не выражают идей Достоевского и Толстого. Это плоды последующей интерпретации, подгонки под российскую религиозную традицию. Наследие Достоевского и Толстого противоречиво, оно вбирает историю их идейных шатаний. Превратить его в религию — дело апостолов.

²⁶ Тут полезно вспомнить, что в брежневские времена формально требовалось сначала сослаться на классиков марксизма, потом на материалы партийных съездов, — и только потом припутывать иных «проводников». Сама возможность «неканонических» публикаций показывает, что идеологическая «перестройка» началась задолго до перестройки политической, и господствующие высоты в «советской» философии к 1982 году уже захвачены персонажами, откровенно враждебными марксизму.

заставляет нас «сконцентрироваться на сравнительно небольшом числе фундаментальных философских произведений». Классики марксизма (и даже Аристотель с Гегелем) недостаточно фундаментальны — а уяснить отличие искусства от философии Д. не по зубам, поскольку он заранее отрекся от искусства философии и философии искусства, и валит в одну (компостную) кучу художественный образ, философские категории, политические лозунги и расхожую мораль.

* * *

В соответствии с принципом «разделяй и властвуй», Д. ссылает остатки (или останки?) марксизма в область логики и методологии — а в этике, дескать, мы сами разберемся:

Наряду с возрастающей потребностью в методологическом руководстве, которое обеспечивает нам философская Логика — диалектика и теория познания, дающие правильный подход к решению мировоззренческих проблем естествознания, гуманитарных наук и практической деятельности, — в наше время все большее значение приобретает этическая ориентация человека...

Но кончается все равно за упокой:

... как в самой реальной жизни, сотканной из межчеловеческих отношений, в сложнейшую ткань которых влетаются и отношения нравственные, так и в многообразных идеологических процессах, каковы, оказывается, также невозможно правильно понять, не учитывая их морального аспекта.

То есть, на первом месте в идеологии — «моральный аспект», а потому Достоевский главнее Маркса, а Толстой может указывать Ленину. Молодежи не нужно заморачиваться анализом экономических проблем и поисками путей реального изменения общественного уклада — «нравственное чувство и моральное сознание, если они развиты в правильном направлении, помогут ей избежать многих ошибок на жизненном пути». А на резонный вопрос: что, собственно, понимается под развитием этого самого нравственного чувства «в правильном направлении»? — Д. тут же дает совершенно недвусмысленный ответ, что это не какая-нибудь там философия вообще, а именно «*наша* нравственная философия, уходящая корнями своими в народную традицию и получившая свое крайне плодотворное развитие уже в русле классической русской литературы». То есть, сначала мы марксизму

противопоставляем некую абстрактную этику, не имеющую отношения к проблемам «естествознания, гуманитарных наук и практической деятельности», — потом отдаем ее на откуп придуманной по случаю «нравственной философии», — а затем из этой последней политическим решением вырезаем то, что (якобы) подходит Достоевскому и Толстому, в противовес любым «не нашим» влияниям. Припутывание «народной традиции» — для совсем наивных, кто не догадывается, что любая рефлексия (у всех народов и во все времена) вырастает из повседневного быта, — а традиция как раз и есть ее первобытная форма, которую деятели искусства, ученые и философы обязаны не только принять к сведению, но и творчески перерабатывать, преодолевать, тем самым способствуя искоренению изживших себя традиций и становлению новых. «Наше» от «не нашего» тут ни капельки не отличается.

* * *

Если не ограничивать литературу Достоевским и Толстым, можно согласиться с Д., что именно литература «изначально была и нашей философией», и что в ней «концентрировался нравственный опыт народа». Но это же справедливо и для любой «не нашей» философии, поскольку на ранних этапах развития рефлексии собственно философское мышление еще не сформировалось, и неизбежно приходится выражать всеобщее в синкретичности художественного образа. Точно так же, восприятие философии требует определенного уровня духовного развития — и массовый читатель получает первое смутное представление о философской проблематике из произведений искусства. Но искусство никак не может (и не должно) заменять философию; у них совершенно разные методы и задачи.

* * *

Очередная иллюстрация «философского» метода Д., образчик грубо метафизической пошлости — в блестящей обертке:

Философия вообще, а нравственная философия в особенности, вырастает из морального опыта народа...

Но точно так же философия вырастает из всякого другого опыта — и прежде всего, из опыта практической деятельности, преобразования

мира. А этот опыт различен в разные эпохи, и сама категория «народ» может говорить об очень разных вещах. Начиная философию с морали, Д. отмечает другие возможности — и вместо единства различных сторон и направлений рефлексии провозглашает диктатуру начальственного мнения (которое, как обычно, выдают за глас народа).

С другой стороны, мораль не дана человеку изначально, она исторически развивается — и один моральный опыт сменяется другим, иногда прямо противоположным. Морализаторство входит в моду на определенных стадиях развития общества — и следовало бы не возводить его в ранг единственного источника философии, а понять, когда и почему этическая проблематика (которую вовсе не обязательно сводить к морали) начинает звучать громче других. Тут ни Достоевский, ни Толстой не подспорье: действительную связь форм человеческого самосознания с уровнем общественно-экономического развития может заметить только исторический материализм.

* * *

Сваливание в одну кучу художественной литературы и религии у Д. начинается с уподобления корана гомеровскому эпосу — а в России, дескать, ту же культуuroобразующую роль играют Достоевский с Толстым. По-видимому, библия не упомянута в том же ряду лишь потому, что Лев Толстой (в противоположность Достоевскому) ее не жаловал и всячески шпынял; а Толстой для Д. — высший авторитет. Можно подумать, что до Толстого не было у нас ни литературы, ни философии, а возник Толстой чисто метафизически, из ничего. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев — так, мелкие эпигоны; а всякие там ломоносовы, салтыковы-щедрины, тютчевы и некрасовы — полная безнравственность!

* * *

Неограниченная самоуверенность перерастает в самоуверенную ограниченность:

[7] Живя в России, невозможно найти иного пути к содержательному пониманию нравственно-философских проблем, чем тот, который проходит через русскую классику...

Пардон, а почему, собственно, россиянам западло опираться на опыт других народов? Содержательной литературы за бугром предостаточно. Начиная с того же Гомера, или Конфуция, или Фирдоуси — не говоря уже о Шекспире, Мольере, Гете... Но даже внутри России русская классика — далеко не исчерпывает все богатство ее многонациональной литературы. Опять же, если на то пошло, у нас на полках не только Достоевский и Толстой; там, между прочим, и Радищев, и Герцен, и Чернышевский, и Горький, и Маяковский... Плюс тысячи других — кого Д. легким движением смахивает в мусорную корзину.

* * *

Гипертрофирование «нравственно ориентированной перспективы» философии — лишь одна из разновидностей того самого «формалистического выхолащивания», коему эта «перспектива» призвана «по мере сил противостоять». Надо бы не противопоставлять один аспект философии другому, а искать универсального единства всех ее сторон; не мерить один национализм другими — а показать, как ограниченность каждой нации преодолевается в процессе становления разумного (единого) человечества.

* * *

Как это обыкновенно происходит, российский ура-патриотизм вырастает на почве обостренного чувства собственной ущербности, в глупо-бесплодных попытках кого-то догнать и перегнать, любой ценой:

Речь идет о перспективе, в русле которой не только возникли идеи, поднявшие русскую философскую мысль на один уровень с западно-европейской, но и были сформулированы проблемы, над разрешением которых до сих пор бьется мировая философская мысль.

Дескать, не ценят нас на Западе — а мы ой как хотим встать «на один уровень», и вообразить себе, что кого-то кроме нас интересуют загадки «русской души». Но «мировой философской мысли» до нас дела нет — у нее свои интересы, а русских если и привлекают — то лишь в качестве примера вековой отсталости и косности сознания. Немудрено, коли судить по образчикам вроде писаний г-на Д. Стараниями буржуазных блюстителей нравственности, многочисленные образцы подлинной

культурности народов СССР были практически неизвестны за его границами; впрочем, на излете социализма, в разгар закулисной дележки собственности, и внутри страны о них мало кто знал... Только после распада националисты всех мастей начали обожествлять имена, делать их символами этнической замкнутости (а значит, бездуховности) — чем в отношении русских занимается г-н Д.

* * *

Если какие-то философские течения (не важно, в России или за рубежом) пытаются пристроить Достоевского в отцы-основатели — стало быть, имеется у Достоевского нечто такое, что позволяет к нему относиться именно так. Разумеется, понять Достоевского невозможно, не изучив той культурной среды, из которой вырастает его юродствующее морализаторство. Знание российских реалий необходимо и для того, чтобы заметить, что Достоевский как литературное явление — гораздо шире банальной достоевщины. Но то же самое можно сказать и о любом другом крупном писателе, в любой другой стране.

Когда писатель замыкается в этническом самосознании, когда в его творчестве говорит лишь ущемленное чувство национального достоинства — он не станет частью мировой культуры. Это касается не только русских: например, идея американской исключительности в творениях некоторых (безусловно выдающихся) писателей США не позволяет зарубежному читателю проникнуться их видением мира, разделить их тревоги и мечты. Кому-то надо самоутвердиться — а мы при чем? Точно так же, не всем удастся по достоинству оценить явления африканской, индийской или китайской культуры. Культурные явления перерастают времена и границы только тогда, когда в них есть элемент всеобщности, универсальности.²⁷ Д. призывает к «верному прочтению» Достоевского; предполагается, что его личное (националистически ограниченное) видение безусловно выше любых культурных «ассимиляций». Но исторически именно такие межкультурные параллели вывели русскую литературу за рамки узко национального развития и сами россияне

²⁷ Толстой в этом смысле универсальнее Достоевского. Его философствование изначально отталкивается от всеобщей идеи, а его художественный стиль далек от стилистики русского литературного языка (как бы ни пытались оправдать неуклюжий толстовский слог восторженные профессора), корни его — в Европе.

осознали ее всеобщее содержание только благодаря этому взгляду со стороны.

* * *

Д. высасывает из западной моды на ужастики некую «метафизику ужаса» — которую буржуазная идеология насаждает и оправдывает якобы верным изображением рыночной действительности (иногда с левацким уклоном). Ни одного возражения, правда, предьявить не удается. Тогда Д. пытается один субъективизм перешибить другим:

[13] Что такое эта самая «живая жизнь», исполненная всевозможных кошмаров и ужасов? Не сплетается ли она из великого множества человеческих поступков, то есть действий, совершаемых существами, обладающими, как правило, здравым умом и трезвой памятью?

Именно *не* сплетается! Действительность не может не восприниматься иначе как в бесконечном разнообразии ее единичных проявлений — однако она *не сводится* к ним, в основе всегда некоторая *сущность*. Человеческие поступки, как правило, имеют мало отношения к разуму, они по большей части лежат вообще за гранью сознания. За ложью мотивировок — надо уметь видеть реальность мотивов.

Если присмотреться к западной трэш-культуре, легко заметить, что нагромождение ужасов сверх меры приводит к девальвации ужаса — поголовному равнодушию к действительным (а не лубочно-киношным) мерзостям жизни: экранная грязь и комиксы — это не только противно, но местами даже весело, и очень даже годится на роль обезболивающего, снимает тревоги за судьбы человечества. На что все и рассчитано. Раскольников с топором и отцеубийство — тут в самую струю.

* * *

Метафизический лозунг «неотчуждаемости моральной рефлексии от человеческого сознания» подгоняет всех под спущенные сверху нормы добра и зла — и Д. возмущается по поводу «хитросплетения обесчестившей себя мысли Родиона Раскольникова» [14]. Но мысль не может обесчестить себя. Даже если она не умеет выпутаться из ошибок и заблуждений. Бесчестен — отказ от мысли, попытки спрятаться (следуя указаниям Д.) за абстрактный принцип, за «абсолютную» мораль. Какое свободомыслие? Если вы не следуете нормам нашей

морали — то ваша мораль преступна. По определению. И мы с чистой бессовестностью объявим вас параноиками — с соответствующими оргвыводами:

[14–15] ...основная особенность «метафизики», лежащей в основе преступной морали, заключается в том, что она с параноидальной настойчивостью решает одну-единственную задачу: представить весь мир так, чтобы на его фоне преступление уже как бы и не выглядело преступлением, а преступник — преступником.

Но что есть преступление? Чем его оправдание отличается от его порицания и наказания? Почему одно и то же деяние одни считают преступлением, а другие — подвигом? Почему одно и то же по-разному оценивается в разные эпохи?

Стремление Д. всех посадить в одну клетку и запретить любые альтернативы (даже в мысли) — вот «параноидальная настойчивость». Плюс мания величия:

[15] Здесь мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с философией, так как оказывается, что никакая мораль, в том числе и преступная, не может пользоваться иной метафизикой, кроме той, что изобретается профессиональными философами, приобретает более или менее общезначимую форму в искусстве, а затем входит в сферу практически ориентированного обыденного сознания. В наш век такое проникновение философии в общее сознание осуществляется не иначе как через массовую культуру и соответствующие ей средства коммуникации.

Философия ≠ метафизика. Философию не «изобретают» — ее надо обрести, прийти к ней через осмысление реальности прошлого, настоящего и будущего — если угодно, выстрадать. Самозванные «профессиональные философы» редко занимаются философией; чаще всего, они, наоборот, пытаются увести массы от мудрости, отвлечь внимание младенца-человечества очередной яркой побрякушкой. Для этого их и держат их классовые заказчики, и готовы хорошо платить за оболванивание масс, за «массовую культуру». «Общезначимость» — чисто буржуазный термин, уравнивающий рабов и господ в рамках якобы единого для всех закона; общезначимые формы в искусстве — смерть искусства, его перерастание (в лучшем случае) в ремесло (если не в политехнологию). Искусство не для того, чтобы популяризировать (или вульгаризировать) откровения философов; наоборот, философия осмысливает достижения науки и искусства, заимствуя формы и того, и другого. Проникновение философских идей в массовую культуру возможно лишь поскольку сами эти идеи отражают нечто уже вызревшее

в недрах общественного сознания; это вовсе не предписание свыше, а возвращение массам того, что философия у них же и почерпнула (подобно тому, как инженер усовершенствует типовые орудия труда). Метод буржуазной пропаганды — опошление и вырождение великих идей, подменой одних идей другими, в чем-то противоположными. Для этого и муssiруют миф о всемогуществе масс-медиа — с которым Д. походя соглашается: оказывается, нет у человека никаких средств для выработки убеждений, кроме лапши на ушах; конечно! — мыслить-то ему г-н Д. строго-настроено запретил.

* * *

То, что философствование оказывает влияние на поступки людей, не нуждается в особых доказательствах. Собственно, философия и есть осмысленный выбор человека — в отличие от слепого подчинения жизненной стихии. Если же философствование уходит от философии в область психотехники и промывания мозгов — его практическая направленность еще более очевидна. Однако нельзя представлять дело так, будто бы возможно «убедить» массы принять кем-то придуманную «метафизику», абстрактные правила абстрактной игры. Допустимость того или иного поступка обусловлена уровнем общественного развития в целом, который связан прежде всего со способом производства, с характером производственных отношений. Философское «оправдание» приходит потом, когда действие (хотя бы в принципе) уже позади.

* * *

Философию делают люди — но не «изобретают» ее, и не изрекают как оракул, божий глас, откровение и непреложный закон, — философ лишь выражает одну из граней самосознания народа. Абсолютно голословно, Д. заявляет, что Толстой и Достоевский исходили из

совершенной «вменяемости» всякой философии, ее подотчетности людскому суду, в особенности, когда она вообще не хочет признавать над собой никакого суда.

Глупость несусветная! Если мы открыто высказали то, что назрело в обществе, что пропитывает его дух насквозь, — нас за это надо судить? Нашими устами «люди» открывают себе себя — и если после этого он

собирается кого-то осуждать — это самобичевание, юродство, покаяние. Лубок, карикатура на совесть, имитация духовного пробуждения. Иван Карамазов, видите ли,

оказался способным, наконец, признать радикальную виновность своей мысли и нашел в себе силы предстать с повинной перед людьми.

Мысль не бывает виновной! Слово недаром начинается с «мы» — мыслят люди вместе, лишь поручая время от времени высказаться одному. Не будь теорий Ивана Карамазова — нашлись бы другие; даже если вообще никакой софистики — дела обойдутся без нее, и «моральная бухгалтерия» ни чуточку не пострадает.

* * *

Марксизм учит нас, что философия только тогда истинна, когда она становится способом жизни, определяет направление мысли и действия. Говоря словами Д., важно, «платил ли человек за свое мышление звонкой монетой собственной жизни, или оно было для него лишь модным костюмом, который снимается и вешается в шкаф после очередного randevu» [17]. Однако сам Д. понимает это с точностью до наоборот. Отречение от своих убеждений и публичное покаяние — для него важнее решительного поступка, утверждения мысли делом. То есть можно философствовать то так, то эдак, — и это нравственно; а «сбежать в самоубийство», осознав полный крах своего представления о нравственности и свою неуместность в этом мире — это, видите ли, «смердяковщина».²⁸ На самом же деле оказывается, что именно Иван Карамазов относился к своему философствованию как к «модному костюму», который можно тут же заменить на другой, когда мода ушла. И это Д. называет «серьезностью отношения к собственной мысли»! А когда человек платит за теоретические ошибки собственной жизнью — не дожидаясь (и не принимая) никакого другого суда, кроме суда собственной совести, — такого «нравственная философия» не приемлет. Но глупо считать, что человек, готовый лишиться себя жизни, «убоится» чисто формального осуждения кучкой обывателей. Убийство — это поступок; самоубийство — поступок вдвойне.

²⁸ Показательно, что Горький говорил как раз о *карамазовщине*: «...вся деятельность Достоевского-художника является гениальным обобщением отрицательных признаков и свойств национального русского характера...»

Господам важно, чтобы рабы не только не бунтовали — но и даже помышлять не могли; Д. услужливо поддакивает: вот вам «перспектива публичного покаяния», якобы предложенная Достоевским «в качестве единственного способа самопреодоления преступной мысли» [16]. То есть, мыслить — это преступно; мыслить за вас будут кому положено. Показательно выпороть за прегрешения — это по-нашему! Галилея заставили публично отречься от убеждений. Кого-то публично сожгли, или экономически обесчестили, или морально четвертовали. К этому ведет нас лакейская философия г-на Д.

* * *

Смешно, когда Д. трактует эпидемию сифилиса как «родовую вину» отважного путешественника [18]. Это, оказывается, всего лишь «опасная случайность», обратная сторона «путешествия за открытиями»... В исконно русской анекдотической литературе есть такой персонаж — поручик Ржевский. А писанина Д. — философский сифилис.

* * *

Вот полный букет метафизических заблуждений как логического, так и этического свойства:

[19] Говоря об «открытии» Смерти западноевропейской буржуазной мыслью, мы, конечно же, не имеем в виду констатацию того самоочевидного факта, известного каждому, как правило, уже с ранних детских лет, что человек — конечное существо, подобное в этом отношении всем прочим живым телесным существам, что он смертен.

Во-первых, никакой факт не может быть «самоочевиден» — факт всегда предполагает предварительную мыслительную, душевную и вполне практическую работу многих людей по соотносению явлений с существенными (то есть, экономически и культурно обусловленными) способами организации человеческой деятельности. Латинское *factum*, собственно, и означает: «сделанное».

Во-вторых, человек принципиально *бесконечен* — поскольку он человек, носитель разума. Задача разума как раз и состоит в том, чтобы универсальным образом соединить мир в одно целое; именно в человеке

разумном возникает связь между явлениями, сколь угодно далекими друг от друга, — и без человека этой связи быть не могло. Человек не просто «живое телесное существо» — он делает весь мир своим орудием, своим органом, полем своей деятельности.

Наконец, «смертен» — не значит: «конечен». Бесконечное тоже способно рождаться и умирать. А смерть — далеко не всегда конец.

* * *

И репейник в чем-то красив. Даже у Д. бывают по-настоящему интересные наблюдения:

[20] Так преодолевался страх перед неистойвой смертью, превращаясь в проблему смысла жизни. Живые, растущие культуры добуржуазного прошлого, да и сама буржуазная культура, не ставили — не хотели и не могли ставить — вопрос о смертности и смерти человека иначе как в форме проблемы самой жизни — ее смысла и значения.

Однако ни одно из философских течений XIX–XX века, против которых так ополчается Д., не превращает смерть в «единственное абсолютное божество», в «единственно достоверный Абсолют». Речь в них идет в точности о противоположном — об осознании ценности жизни каждого отдельного человека: ее потеря становится невозполнимой утратой для всего человечества. А значит, человек не обязан подлаживаться под какие бы то ни было «общезначимые идеалы и ценности» — наоборот, наши идеалы следует привести в соответствие с целями и потребностями человека (очеловечить, сделать гуманнее). Объективную необходимость установления такого соответствия в истории человечества утверждает исторический материализм. Только кто же об этом знал? Вот и пришлось изобретать велосипед. Колеса и педали приладить кое-как сумели — но в буржуазной барахолке так и нашлось руля.

* * *

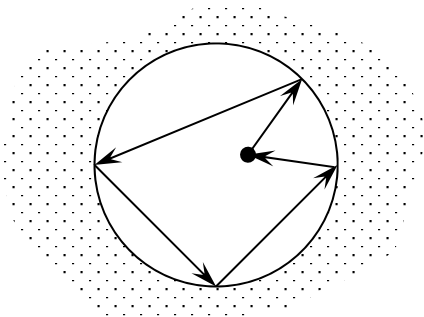
Без особых оснований, Д. приписывает западным философиям признание смерти как единственной «абсолютной власти». Чтобы такое стало возможно, требуется «не просто утрата веры в бога, но полная утрата веры в какие бы то ни было общезначимые идеалы и ценности вообще, в какие бы то ни было абсолюты». Почему идеалы и ценности

должны обязательно быть абсолютами — загадка, необъяснимая прихоть «нравственной философии». Буржуазная философия никогда не отрицала этической общезначимости — более того, она всячески продвигала идею абстрактных и абсолютных «общечеловеческих» ценностей, подразумевая под ними ценности буржуазные. За это западным философам и платят. Но допустим, что кто-то действительно впадает в столь красочно расписанные Д. прегрешения и болеет буржуазным индивидуализмом в особо острой форме...

[21] Человек, взятый в качестве «вот этого» — конечно: частного, одностороннего и ограниченного индивида, — должен был осознать себя своим единственным кумиром, своим собственным идеалом, своей высшей и последней ценностью.

Другими словами, то, что Д. описывает как «эгоистическое самоутверждение» и «самообожествление» означает 1) отрицание всеобщности человека, отказ от человечности в самом себе, — и, как следствие, 2) признание собственной конечности, сведение себя к индивиду. У такого изуродованного человека, отчужденного от самого себя, действительно, нет никаких перспектив, кроме смерти.

Чисто метафорически, можно провести параллель с известным из физики явлением полного внутреннего отражения:



Человек смотрит изнутри себя, но его взгляд наталкивается на его же собственную границу — и остается внутри, не в состоянии разглядеть что-либо за пределами духовной ограниченности. Социальная слепота, невозможность опереться на объективные знания, — отсюда страх темноты, клаустрофобия, фрустрация...

Человеку разумному незачем бояться смерти — разум вообще не знает страха. Факт конечности индивида, неизбежность растворения единичного биологического тела в конечности других тел, не вызывает

у человека ни «смертельной тоски», ни «невыразимого ужаса». Помимо животного метаболизма, у человека есть масса других занятий, далеких от физиологии. Те, кто немного знаком с марксизмом, знают, что, кроме биологического тела, у человека имеется еще и «неорганическое тело», и что именно оно в основном определяет его общественную суть. Со смертью *индивида* — не умирает *человек*, он продолжает оказывать влияние на других людей, и через них — на весь мир. И тут вполне можно согласиться с Д.:

[23–24] Чтобы человек начал воспринимать свою собственную кончину на совершенно апокалипсический манер — [...] как абсолютный конец, за которым уже ничего нет: одна лишь безмолвная пустота, небытие, — он должен обладать совершенно специфическими качествами [...] Человек этот должен сознавать и чувствовать себя абсолютно одиноким в мире, он уже не может ощущать свои природно-социальные связи, свои душевные привязанности, свои духовно-культурные определения как нечто неотъемлемое от него, непосредственно достоверное, имеющее внутреннее отношение к подлинности и аутентичности его существования. Его кровно-родственные узы [...] — отношение к друзьям, к своему поколению, к современникам вообще, наконец, его традиционно-культурные зависимости — отношение к более отдаленным предкам и потомкам, — все это утрачивает для него свое живое содержание, свое поистине одухотворяющее значение: формализуется, принимает форму чего-то совершенно необязательного, внешним образом навязанного, если не чуждого и враждебного.

Вот вполне реалистичная картина капиталистического всеобщего отчуждения, подавляющего собственно человеческое в человеке, низводящее его до рабочей скотины. При этом, совершенно логично, Д. ссылается не на Достоевского или Толстого — а на Карла Маркса. Но основополагающие принципы марксизма остаются выше понимания г-на Д., и он спешит причесать жизнь под голую схему:

[25] Речь идет о признании того, что человек утратил все абсолюты, а вместе с ними и все связи, все привязанности, все обязательства по отношению к чему бы то ни было, находящемуся вне его.

У Маркса дело обстоит с точностью до наоборот: именно превращение одного из общественных отношений (капитала) в абсолют приводит к вырождению человека, обесценивает его жизнь. Только отказ от каких бы то ни было абсолютов, обращение к реальному развитию экономики и культуры, снимающему (в гегелевском смысле) старые формы бытия

в новых позволяет людям разумно относиться к самим себе — и в частности, сообща выработать новую, сознательную нравственность, свободную от слепого следования кем-то раз и навсегда установленным принципам. Свободный (то есть разумный) человек умеет увидеть объективную необходимость того или иного поступка, вытекающую не из каких-то «абсолютов», а из анализа конкретной общественно-исторической обстановки. То, что нравственно в одних условиях, — становится безнравственным в других. Изменение культурных условий требует пересмотра этических принципов.²⁹ Нравственность отличается от морали как творчество от традиции, как будущее от прошлого, как предвидение от слепоты. Но, так или иначе, это две стороны одного целого, которые превращаются в противоположности лишь в определенных общественно-экономических условиях.

* * *

Формальное противопоставление разных сторон одного целого неизбежно превращается в столь же формальное противоречие. Вот пример скрытой логической непоследовательности в рассуждениях Д. относительно человека, утратившего «абсолюты»:

[25] Стоит ли повторять, что перед лицом смерти такой человек не может предположить, что его переживет нечто существенное, устойчивое, заслуживающее серьезного отношения. Все свое он унесет с собою в пустоту небытия, а то, что не было им самим, тождественным его «самости», не представляется ему ни ценным, ни истинным, ни субстанциальным. Но тем более ужасающим будет сознание, с которым он встретит свою кончину: сознание того, что воистину «все кончено» — эти слова приобретают здесь совершенно буквальный смысл абсолютной катастрофы, метафизической аннигиляции бытия.

Но уже сама возможность мыслить собственную гибель есть выход за пределы ограниченного в пространстве и времени индивида. Тот, кто

²⁹ Такое творческое отношение к нравственности не имеет ничего общего с релятивизмом «критической» философии (включая все ее формы, от Маха и Карнапа до Поппера и Фейерабенда). Критерием нравственности в марксизме выступают объективные потребности общественного развития, а не субъективный (несмотря на всю свою коллективность) «опыт», и не какие-то (произвольно установленные) формальные критерии.

действительно смирился со своей конечностью и отказался от человеческого в себе, — воспримет смерть, скорее, как избавление, как долгожданный конец тягот земного бытия. Если за смертью пустота — страха нет, есть надежда. Недаром все на свете религии старательно внушают людям мысль о существовании загробного мира — им нужно любой ценой пробудить страх, чтобы господствующие классы могли держать народ в кабале. Предъявление массам потусторонних «абсолютов» как бы говорит обывателю: не надейтесь сбежать, за смертью мы вас все равно найдем и накажем.

Пессимистические течения в западной философии возникают не как выражение мистического («экзистенциального») страха — а как способ его преодоления. Это стихийный протест против обесценивания личности в капиталистическом обществе; отсюда и «нигилистическое» клеймо, которое навешивает на таких философов господствующая идеология — и которое некритически заимствует Д. Бывает, что философы начинают бравировать своим «нигилизмом», — и тогда их философия вырождается в формальный трюк, становится частью той самой официальной культуры, против которой они пытались восстать.

«Ужас и тоска» в буржуазной философии появляются не потому, что человек (трактуемый в ограниченно-индивидуалистическом плане) смертен — это реакция на безысходность жизни. Страшна не пустота, а то, что в капиталистической действительности человеку не остается ничего другого. Ужасна не смерть — а то, что жил впустую.

* * *

Буржуазный индивидуализм действительно состоит в родстве с солипсизмом [25]. Человек, замкнутый на себя, лишенный возможности жить и действовать по-человечески, свободно и творчески, неизбежно теряет интерес ко всему, что выходит за рамки его повседневности. Отсюда скептическое отношение к любой объективности: может быть, там, снаружи, что-то и есть — но мне какое дело? В частности, нет смысла говорить о нравственности и морали. Такой человек видит бессмысленность жизни — но он не способен даже на самоубийство, которое для него столь же бессмысленно, как и все остальное. Д. не прав, когда пишет, что

...смерть, даже его собственная, отнюдь не выступает как порождение его собственного сознания. Наоборот: она для него нечто единственно

серьезное и непреложное, существующее за его пределами. Она единственная «объективная реальность», с абсолютной достоверностью, интимнейшим образом данная ему, причем данная в самом глубоком и адекватном переживании — в переживании беспредельного ужаса и отчаянной безнадежной тоски.

В том-то все и дело, что даже смерть дана конечному человеку лишь как субъективное переживание — каким бы глубоким оно ни было, ни о какой «адекватности» речи быть не может, поскольку это переживание просто не с чем соотнести. Смерть для такого индивида — полное уничтожение мира его личных представлений — а никакого другого мира он больше не знает (не хочет знать).

* * *

Как только Д. начинает говорить нечто (хотя бы по видимости) осмысленное — значит, где-то рядом бродит тень Карла Маркса... Возникновение роли идеологического «аутсайдера» Д. совершенно правильно связывает с развитием капитализма, и усматривает элементы (изобретенной нынешними философами) «враждебной культуры» уже в XVI веке (то есть, как раз тогда, когда Европа ясно обозначает решительный поворот к буржуазности). И, конечно же, «типичность определенной исторической фигуры совсем не тождественна ее массовости и вовсе не гарантирует ее устойчивого и непреходящего характера» [27]. Если быть последовательным, ряд «де Сад, Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше» [29] следовало бы начать именно с XVI века, с Франсуа Рабле.

Однако Д. не понимает, хотя и (невыпадет) цитирует Маркса, что массовость какого-либо художественного, научного или философского направления — не дань моде: она выражает объективно достигнутый уровень развития общественных отношений (и прежде всего — производственных). А следовательно, глупо считать «враждебную культуру» всецело отрицательным явлением, способным только «паразитировать на разрушении того, что было накоплено долгим и трудным опытом человеческого развития». Важно увидеть в кажущемся «нигилизме» то, до чего ранее философия дойти не могла, что стало насущным именно теперь, в эпоху расцвета капитализма, с доведением капиталистического способа производства до логического завершения. И эта совершенно новая для философии мысль — уникальность и

бесконечная ценность каждой человеческой личности, невозможность вписать ее в рамки абстрактных идей и моральных «абсолютов».

* * *

Д. ополчается на «аутсайдера» за то, что абсолюты буржуазной культуры «не имеют для него абсолютной ценности». Но, ведь, в этом и суть — и важнейший вклад аутсайдерства в развитие человеческой духовности: любой ценой не уступать давлению верхов — даже ценой собственной жизни. Для Д. это покушение на святое — на веру: эти преступные элементы против господствующей поповщины, они хотят «разложить ее изнутри, заразив трупным ядом своего всеразъедающего неверия». А в начальство надо верить. Подписываться под каждым словом. Благоговеть и восхищаться. Такова традиция. А эти...

... все традиционные ценности для них мертвы, а предложить новых они не в силах.

Берите пример с Д.: он ничего нового предложить не в силах — так он же и не против традиций, а даже наоборот, всех загоняет в старое стойло!

* * *

[30] Если человек не утратил еще веры в высокое предназначение человеческого рода, то проблему смысла жизни, навещающую его в трудные времена, он все-таки склонен формулировать позитивно, в форме вопроса: «Зачем я живу?»

Вот так простая мысль о том, что человеку (пока он остается человеком) свойственно смотреть вперед, обрастает идеалистическим хламом. Почему, собственно, «высокое предназначение» — это вопрос веры? Что, разума уже нет? И с какой стати это самое предназначение — обязательно предназначение «человеческого рода»? Если так — путь к личностному совершенствованию закрыт, человек обречен оставаться огрызком родового существа. Тогда сама постановка вопроса в форме «Зачем я живу?» невозможна — положено говорить: «мы живем»...³⁰ Наконец, почему о смысле жизни полагается думать только «в трудные

³⁰ Этим грешила советская идеология, вульгарный коммунизм. Общественная сущность человека сводилась к простой общинности. Малейшая индивидуальность — пугала буржуазным индивидуализмом. И это выдавали за марксизм...

времена»? А когда все путем — хватит и бессмыслицы? Или как раз бессмысленность Д. считает признаком правильности? И далее — едва успели за здравие, как сразу же за упокой:

Ведь сама внутренняя структура этого способа вопрошания имеет целеустремленную, то есть, во всяком случае, не безвольно-пассивную позицию. Она предполагает цель как что-то находящееся за пределами «микромира» индивидуальной жизни человека, спрашивающего о ее смысле. Она изначально ориентирует его на поиск какой-то высшей цели — идеала, абсолюта, — найдя которую он смог бы ответить на волновавший его вопрос. Ибо человек — это целеполагающее и сознающее свои цели существо, и только в соотношении с высшей, конечной целью, к которой сознательно устремлена его собственная жизнь, он может вразумительно ответить на вопрос о ее смысле.

Это не просто перл, это перловая каша. Зачем нормальному человеку стремиться к абстрактным целям, не связанным с его «индивидуальной жизнью»? Тогда чьи это цели? Почему смысл жизни обязательно должен быть за ее пределами? Что значит «высшая цель»? Выше всякой разумности? Выше любой осмысленности? И почему смысл жизни следует обязательно делать очередным «абсолютом»? Это дежурное словечко Д. сует куда ни попадя. Ну а что такое абсолютный идеал — вообще непонятно. Идеалы по сути своей всегда конкретны: они выражают нынешнее состояние дел, задают направление ближайшего развития. Насчет конечной цели — это не для человека, это к скотам. Получается, конец всему — и есть та самая «высшая цель». То есть, дойти — и рухнуть. Умереть. Так Д. на деле проповедует то, против чего внешне возражает: смысл жизни — в смерти. Ну и для коллекции — неоправданное отождествление смысла и цели. Это совершенно разные уровни. Цель относится к действию — и в этом смысле связана с конечностью. Смысл — показывает место действия в деятельности, ее отношение к бесконечности.

* * *

Вопрос «почему я живу?» вовсе не отменяет вопроса «зачем?»; всякий путь — это не только «куда?», но и «откуда?». Что плохого в мыслях о причине разумного бытия, о его необходимости? Связывать это с деградацией личности и нежеланием стремиться «к высшим целям человеческого существования» — полная нелепость. Для разумного

человека как раз характерно сочетание «зачем» и «почему», их взаимная дополнительность. Произвольно выдергивать одно из двух, формально противопоставлять одно другому, — метафизическая бессмыслица.

На самом деле иерархия «экзистенциальных» вопросов намного сложнее. Она предполагает, прежде всего, различие уровней субъекта, при котором «я» неизбежно соотносится с «мы», а противоположность «мы» и «они» снимается в идее субъекта как такового (больше, чем человечество, разум в масштабе Вселенной).

Далее, человеческая деятельность — это не житейская рутина, а сознательное преобразование мира в соответствии с потребностями человека. И уж никак не монотонное повторение, переливание из пустого в порожнее: деятельность характеризуется определенной направленностью, из чего-то исходит и куда-то стремится, связывает прошлое и будущее — в этом ее бесконечность. Поэтому источник деятельности — вовсе не то же самое, что ее предназначение; тем не менее, в психологическом плане, и то, и другое может стать мотивом. Соответственно, возможны (и неизбежны) вопросы о начале и конце — хотя бы и в качестве разных проявлений одного и того же.

Даже если ограничиться только двумя измерениями, и пренебречь рефлексивностью категорий, вопрос о смысле жизни уже становится глубже и конкретнее, обнаруживая разные грани:

	<i>субъективно</i>	<i>объективно</i>
<i>источник</i>	«почему?»	«отчего?»
<i>направленность</i>	«зачем?»	«для чего?»

В каких-то условиях на первый план выходит одно, в других — другое. Но ни один взгляд не отменяет свою противоположность, а наоборот — предполагает и осуществляется через нее. Но это не для метафизиков.

Конечно же, тут нет никаких «абсолютов» — поскольку любой из этих вопросов предполагает конкретного представителя конкретной общественной группы в конкретную историческую эпоху. И те ответы, которые кто-то найдет для себя, вовсе не обязательно пригодятся кому-то еще. Интересуясь духовными исканиями других, мы вовсе не стремимся приспособить чью-то линию жизни к себе — мы лишь учимся самостоятельно искать свое, неповторимое. Поэтому нельзя говорить, что один был прав, а другой заблуждался, — каждый из них мыслил по-своему, в своих обстоятельствах. Ошибки и путаница могут служить опорой новых находок в той же мере, как и самая возвышенная

мудрость; в каждой находке — единство истины и заблуждения; некритически заимствовать чужие идеи — это не комильфо.³¹

* * *

Никакой «двузначности» [31] в вопросе «почему?» нет (если, конечно, не предполагать ответ: *по кочану*). Есть внутренняя сложность, иерархичность — как и в любом серьезном деле. И разворачивать эту иерархию можно то так, то эдак. Например, в деятельности субъект превращает внешний мир (объект) в элемент культуры (продукт). Поэтому любой мировоззренческий вопрос предполагает объективный, субъектный и продуктивный аспекты, что в рефлексии (в частности, философской) превращается в онтологию, логику и этику. Поскольку же в деятельности человек воспроизводит и собственную субъектность, вопрос «зачем?» в равной мере относится и к субъекту, и ко всему, что ему противостоит как объект.

* * *

Вот замечательный образчик абстрактного философствования в жанре глубокомысленной чепухи:

[31] «Я», исключаящее (по определению) всех «других», задает себе вопрос, на который не может ответить и на который должен ответить кто-то «другой», доведя затем ответ и до сведения вопрошающего «я». А потом оказывается, что вопрос этот вовсе не является моим. Он и не обо «мне самом», и не о том, что является «моим»; это вопрос о том, что во мне является «другим» и существует для «другого», с его точки зрения, с его познавательной позиции. Значит, он может быть либо результатом моей полной самоутраты, моего полного «отчуждения» от самого себя, либо простым следствием навязывания его мне кем-то «другим», имеющим свои, а не мои цели и задачи.

Откуда-то Д. вытащил «определение», противопоставляющее «я» и «других» — хотя одно без другого просто невозможно, и одно никак не исключает другого, а даже и предполагает его. Из одной нелепости

³¹ Даже отмечая нагромождение несуразностей у Д., надо отдать ему должное в том, что он собрал всю эту коллекцию в одном месте, и тем самым сделал возможным, в частности, появление этих заметок.

вытекает другая — глупый спор о том, кому, черт побери, все-таки отвечать на поставленный вопрос. Но любой вопрос, очевидно, требует, как минимум, того, кто спрашивает, и того, кто отвечает. Даже если это окажется (совершенно несущественным образом) одно и то же лицо — человек в одной роли не совпадает с самим собой в другом амплуа. Однако вопросы ставят не изолированные от жизни одиночки — сколько-нибудь осмысленные (не «риторические») вопросы выражают общественную необходимость, и разные люди будут спрашивать по-разному. Точно так же, ответы всегда приходят «извне» — хотя бы потому, что единственным их источником является практическая деятельность людей, а следовательно — и общение. Но при чем тут «полная самоутрата»? Почему отношения человека и общества — это обязательно «навязывание» личности чего-то извне? Если личность выражает интересы определенной социальной группы, ее поведение никоим образом не «навязывается» ей этой группой, оно может быть вполне сознательным и творческим. Разумеется, в классовом обществе, где одна его часть все время навязывает что-то другой, — приходится заниматься не высокими материями, а работать на чужого дядю. При капитализме это отчуждение становится универсальным, охватывает все слои общества и все аспекты деятельности. Но глупо разглагольствовать о порочности этого самого, отчужденного от самого себя человека — надо говорить о порочности общественной системы, доводящей людей до такого (нечеловеческого) состояния, и надо искать пути построения нового общества, в котором противопоставление личности и общества стало бы невозможным. Только в таком обществе жизнь каждого станет по-настоящему осмысленной.

* * *

Сто с лишним лет назад Джон Стюарт Милль отмечал, что всякое суждение есть сопоставление как минимум двух вещей — указание на единичную вещь ни о чем само по себе не говорит. Поэтому нет большого открытия в том, что в вопросе о смысле жизни мы имеем дело с двумя элементами — «я» и «живу». Это (вопреки уверениям г-на Д.) одинаково справедливо для любой конкретной формы этого вопроса. «Я живу» — довольно сильное утверждение, и некоторые философы склонны его оспаривать, а другие отмечают необходимость серьезного

уточнения того, что есть «я» — и что есть «жизнь». И только тогда возможно задавать по поводу этого высказывания какие-либо вопросы. В противном случае — чистое словоблудие насчет моей жизни, являющейся как бы уже и не моей, поскольку из нее «отмыслено» мое сознание — «а разве жизнь без моего сознания это моя жизнь?» Если полагать, что человеческая жизнь (в отличие от животной) есть жизнь прежде всего разумная (сознательная деятельность по преобразованию мира), «отмыслить» от нее сознание никак не получится. А учитывая, что человек как разумное существо в своей сущности есть совокупность всех общественных отношений (Маркс), сознание не так просто разделить на «мое» и «не мое»; в силу универсальности рефлексии у *каждого* человека (как разумного существа) его индивидуальное сознание участвует в жизни человечества в целом, а общественное сознание накладывает отпечаток на сколь угодно личные дела. В том-то и штука, что для разума всякая жизнь — своя, он обязан вобрать в себя весь мир, и не только живой. В этом и состоит разумность.

* * *

[32] В рамках вопроса «почему?» проблема смысла жизни сразу же перемещается из плоскости человеческой свободы и ответственности в нечеловеческую плоскость: в сферу фатальной (ибо она не находится ни в каком отношении к человеческому в самом человеке) необходимости и соответственно абсолютной безответственности. От устремленного вперед и ввысь и потому одухотворяющего, духоподъемного вопроса о сознательно избираемых и сознательно утверждаемых целях человеческого существования индивида поворачивают вспять — к вопросу о том, что как бы толкает его «в спину»; о том, что не является в нем человеческим началом, но почему-то должно определять его именно как человека; о том, что он вообще не может признать за нечто высшее в себе, ибо оно действует как раз в обход всего того, что он мог бы признать в себе за достойное почтения и уважения.

Вот так. Сколько же можно в одном абзаце нагородить ерунды! Когда и кто поместил проблему смысла жизни в «плоскость человеческой свободы и ответственности» — неизвестно. Не говоря уже о том, что вопрос о смысле жизни охватывает не только этическую сферу, — сама эта сфера отнюдь не такая плоская, как видится Д. Далее, если речь идет не о «свободе и ответственности» — это вовсе не значит, что все сразу

становится нечеловеческим. Разве людям, кроме «нравственной философии», уже и поговорить не о чем? Человек только тогда становится человеком, когда он умеет к каждой пылинке отнестись по-человечески. Поэтому ничего «нечеловеческого» для человека в мире нет — все имеет к человеку первейшее отношение, все подлежит пересмотру и перестройке на человеческих началах, включению в человеческую культуру. Но даже если говорить о мире самом по себе, в онтологическом плане, безотносительно к человеку, — почему это должно сводиться только к необходимости, и почему любая необходимость обязательно фатальна? Необходимость (равно как и причинность, и случайность, и т. д.) принадлежит к сфере конечного. К бесконечному такие категории «местного значения» просто никак не прилагаются. А значит, поскольку (то есть, в той мере, в которой) человек разумен (и, следовательно, бесконечен) — ни о какой фатальности речи быть не может.

Хотя человеку приходится регулярно поступать в соответствии с объективной необходимостью (ну не может он чисто физически находиться вне этого, единственного мира!) — сие никоим образом не снимает с него ответственности. Если, например, один человек убивает другого, никакие доводы о том, что он был вынужден это сделать по совершенно не зависящим от него обстоятельствам, не отменяют самого факта убийства. Когда убийца знаком с совестью — от оправданий она чище не станет. Если по Д. — получается, что над человеком все время должен стоять кто-то с этической дубиной, а сам человек блюсти себя никак не в состоянии. Но истинно нравственным будет лишь тот, кто ведет себя нравственно даже в безнравственных обстоятельствах.

Из каких соображений вопрос «зачем?» является «духоподъемлющим», а вопрос «почему?» таковым не является — тайна, покрытая мраком. В человеческой деятельности вопрос «почему?» столь же относится к ее субъективному отражению, как и вопрос «зачем?» — и ни о каких природных факторах речи не идет. Например, если я объясняю, что вынужден работать не по призванию, потому что мне нужно кормить семью, — подобные «почему» просто переполнены этическими соображениями, хотя и ссылаются на чисто внешнюю необходимость. Наоборот, если я уморил голодом свою семью для того, чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, — подобные «зачем» выводят меня за рамки человеческой нравственности. Следует отметить, что никакая объективная необходимость не может действовать на уровне

человеческой деятельности иначе как становясь необходимостью субъективной (общественной и личной). Человек — не физическое тело, не животный организм. Это прежде всего совокупность общественных отношений. Говорить о том, что, например, порыв ветра способен сдуть человека с его общественных позиций, — нелепо и смешно (хотя чья-то реакция на порыв ветра может в определенных общественных условиях запросто задвинуть человека на социальное дно).

Далее, если нечто в человеке «действует в обход всего того, что он мог бы признать в себе за достойное почтения и уважения» — это вовсе не означает, что этого в нем нет, что оно действует внешним образом, как природная необходимость. Значительная часть человеческой мотивации скрыта от непосредственного наблюдения, и требуется немало изобретательности, чтобы вытащить на свет тайные мотивы, в которых человек просто так никогда себе не признается. В частности, на этом держится весь психоанализ (как бы мы к нему ни относились). Здесь особенно важно спросить: «почему?» — без ответа на этот вопрос просто не будет никаких «зачем?».

Какие мотивы (и когда) являются «высшими», а какие наоборот — тоже бабушка надвое сказала. В любом случае, сначала надо *осознать* свою мотивацию — и тогда уже решать, как быть дальше.

И так далее. В несколько строк Д. умудряется впихнуть тонны ни на чем не основанных заявлений, пренебрегая элементарными нормами публичного рассуждения. И потом с гордостью заявляет:

Такова логика жизни и ее мировоззренческого осмысления.

Вот уж действительно, с больной головы на здоровую! Попытка прикрыть собственную идеологическую нечистоплотность логической объективностью, которая, якобы, выше этики.

* * *

Буржуазная пропаганда выработала немало приемов скрытого подсовывания человеку выгодных власти идей. Один из излюбленных трюков — подмена понятий, переименование. Если взять словесное выражение чего-нибудь гуманного и возвышенного, а потом потихоньку заменить значения ключевых слов не противоположные — то смысл утверждения окажется уже иным, не таким возвышенным и далеким от гуманности. Называя вещи своими именами, скормить такое широкой

публике было бы затруднительно. Например, после (а местами и до) развала СССР под «духовностью» начали понимать то, что раньше называлось «бездуховностью» или «убожеством», — и привычная «социалистическая» фразеология приобрела совершенно реакционный оттенок. Точно так же, Д. пишет:

Тот, кто не хотел свободно отдать себя во власть чего-то более высокого, чем он сам, взятый в его неизбежной конечности, односторонности и частичности, волей-неволей оказывается вынужденным покориться чему-то низшему, примитивному, существующему в нем, а потому принимаемому человеком за «свое исконное», но существующее так, что оно вообще не зависит от человека и не имеет никакой связи с его подлинно человеческими определениями.

Вроде бы, звучит красиво. Если понимать под «высоким» и «низким», соответственно, разумное и неразумное, бесконечно универсальное и ограниченное. Тогда можно понять это как требование всегда следовать объективному призванию человека — пересозданию мира на разумных началах. Всякое отступление от своего призвания — уступка природной стихии, превращение в животное или нечто вообще неодушевленное.

Но в контексте книги Д. под «высоким» подразумевается некий абстрактный моральный «абсолют», человеку спущенный свыше и никоим образом не подлежащий обсуждению и пересмотру. И тогда покорность этому (чисто внешнему, не зависящему от самого человека) принципу называется «подлинно человеческими определениями», а любая попытка протеста и стремление освободиться от навязанных сверху догматов — приписывается «чему-то низшему, примитивному». И фраза в целом звучит угрозой: дескать, если вы не захотите «свободно отдавать себя во власть», вам придется покориться банальному принуждению, полицейской дубинке. А поскольку речь идет об «абсолютах», про изменение подобного порядка вещей лучше и не мечтать; никому не позволено посягать на право власть имущих вершить наши судьбы за нас.

* * *

Рассказ о Шопенгауэре Д. начинает эдаким театральным жестом, громкой фразой, претендующей на остроумие:

[33] Когда устраняется проблема *смысла жизни*, неизбежно возникает другой вопрос — вопрос о *смысле и значении смерти*.

Шопенгауэр такие побрякушки тоже любил. Только проблему смысла жизни никто, по факту, не устранил — и тезис Д. остается подвешенным в вакууме, подобно всем прочим «абсолютам». ³² Утверждение Д., что «этот вопрос и был центральным в философии Шопенгауэра», имеет к действительности, мягко выражаясь, очень отдаленное отношение.

Надо заметить, что (по странному стечению обстоятельств...) авторов для критики Д. подобрал таких, о которых советская публика почти ничего не знает — и можно скормить ей любую нелепость под видом правды о западной философии. ³³ Разумеется, всякий вправе произвольно излагать и комментировать чьи-либо произведения. Это не критический разбор, а выражение личного мнения, рассказ о своих субъективных впечатлениях, — и потому не требуется текстуальной точности, ибо речь идет о субъективном впечатлении, и на первый план выступает изложение своей позиции, а не разбор позиции оппонента.

Но если предполагается сравнить два литературных источника, две концепции — тут сложнее. Необходимо иметь перед глазами первоисточники, или хотя бы их пересказы нейтральными лицами — только тогда можно проследить за логикой. Творения вроде книги г-на Д. бесполезны в плане анализа и сопоставления. Только тот, кто в совершенстве знает, о чем идет речь (т. е., фактически, лишь сам автор) может догадаться, что имеется в виду.

Обзор или сопоставление источников, недоступных обычному читателю, производит не самое приятное впечатление. Этим автор как бы подчеркивает свою элитарность, отделяет себя от читателя. Неэтично получается. Пожалуйста, ссылайтесь на тех, кого все знают, — или, по крайней мере, с кем могут при необходимости познакомиться. Если же привлечен малодоступный материал — извольте дать представительные

³² Даже формально-логически, традиционное противопоставление жизни и смерти не выдерживает критики. Сопоставлять единичный момент с чем-то длящимся — логически некорректно (ибо даже если смерть растягивается на годы — она не противостоит жизни, а лишь обрисовывает ее границы). Можно осмысленно говорить о противоположности рождения и смерти — а значит, и о их тождестве, взаимной рефлексированности. А жизни — противоположна вечность, без рождений и смертей.

³³ В советское время работы Шопенгауэра и Ницше были практически невидимы массовому читателю. Только в крупных библиотеках, в фондах с ограниченным доступом. Это сейчас каждый, кому не лень, может выкачать из Сети тонны текстов и проверить чьи-то утверждения. В то время Д. мог разглагольствовать без опаски. Доступ в Ленинку у меня был в полном объеме — и я знаком с оригиналами. Однако, по большому счету, оно и не требовалось: логика Д. выдает его с головой.

выдержки в приложении — либо интенсивно цитируйте в тексте. Вплоть до превращения критических заметок в подробный конспект, с краткими комментариями по ходу (в духе «Философских тетрадей»).

Когда соблюсти этику комментирования автор не в состоянии — или не видит в этом необходимости, — анализ и сопоставление каких-либо концепций не имеет права ссылаться на имена. В этом случае мы *самостоятельно* формулируем некие обобщенные идейные позиции — предположительно *типичные* взгляды, которые мы уловили в потоке литературы и выразили по-своему, — и далее обсуждаем именно их, а отнюдь не конкретные воззрения единичных людей.

Лично мне в общении с г-ном Д. хватает кратких заметок на полях, разрозненных замечаний. В деталях разбираться просто незачем. Мне важно осознать не то, что считает примечательным Д., а что здесь в русле моих исканий — и как я хотел бы это понимать.³⁴

* * *

Муки Толстого по поводу неизбежности смерти — от того, что жилось ему слишком долго и слишком хорошо. Он мог наслаждаться жизнью, высказывать любые мнения без оглядки на кого бы то ни было, писать все, что заблагорассудится... Эдакий здоровый молодой мерин, который если и испытывает трудности — то лишь потому, что сам себе их организовал, забавы ради. Потом пришлось столкнуться с реалиями жизни — семейные проблемы, болезни, старость, разочарования... Оказалось, что все не так просто. Тогда фрустрированный ребенок топает ногами и кричит: не хочу я такую жизнь, пусть будет смерть — назло всем.

[36] Единственное, к чему остается способным человек, загипно-тизированный неотступно преследующим его кошмарным видением смерти, — это способность к разоблачительству: выворачиванию наизнанку, ерническому сведению к низшему и примитивному, глумливому сбрасыванию с пьедестала всего, чему он когда-либо поклонялся, что он когда-либо принимал за нечто высшее. Речь идет о

³⁴ Исходно заметки не предназначались для самостоятельной публикации — это лишь подготовительный материал для другой работы. Вероятно, если бы их предстояло предъявить широкой публике, структура текста оказалась бы несколько иной. Сейчас, впрочем, полный текст книги Д. есть в Сети; оригинал вполне доступен — и желающие могут решить для себя, насколько все это с ним соотносится.

своеобразной «игре в ничто», заключающейся в сбрасывании в бездну Небытия всех истинно человеческих определений.

Д. противоречит сам себе. Как показывает пример того же Толстого, выход не один: Толстой перечисляет, как минимум, четыре варианта — а потом придумывает еще и свой, толстовский.

Но дело даже не в этом. Если человек смог поддаться «гипнозу» глупой мысли о собственной конечности, — значит, он не развился в достаточной мере как человек, разумное существо. И когда такой индивид ведет себя не по-человечески — ничего удивительного. Стремление втоптать в грязь все самое светлое — обычно для подлых скотов, чисто внешне похожих на людей. Так они оправдываются перед остатками совести.

В частности, такой недочеловек пытается мерить по себе тех, кто честно пытается осмыслить ситуацию, не потерять способность искать (пусть даже без особого успеха) собственно человеческие пути. Если при этом выясняется, что его первобытные представления о «подлинно человеческих определениях», не выдерживают испытания разумностью, недоразвитый зритель, не умеющий мыслить сам и слепо принимающий кем-то изобретенные «абсолюты», тут же в крик: наших бьют! рушат самое святое! беспардонно очернительствуют! Но когда уничтожают чьи-то узколобые, закостеневшие «определения» — это вовсе не значит, что конец вообще всему. Просто пришла пора выкорчевать суеверия, выжечь предрассудки — освободить место для культурных растений.

* * *

Толстой на каждом шагу пытается философствовать (всегда в ущерб художественности) — но культура его круга (а значит и его воспитание) не нуждалась ни в какой философии, не давала к ней реального повода. Надерганные отовсюду рассуждения (за что Толстого любят на Западе) никак ни с чем не уживаются — и выходит криво, неубедительно. Даже себя он толком не мог убедить — так что, в конце концов, махал на все рукой да шел наобум, по старой барской привычке. Вот они, плоды толстовских раздумий:

«...есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица...

Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть...

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее...

Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может»

Но почему только четыре? Есть десятки и сотни других «выходов». Например, уничтожить саму смерть, сделаться бессмертным и делать бессмертными других. Или — прожить несколько жизней (сразу или по очереди). Или — закрыть тему и просто выйти к людям, в реальный мир, сломать собственную ограниченность, обрекающую человека на глупое самокопание.

* * *

Самоубийством кончают вовсе не оттого, что разочаровались в жизни и «очаровались» смертью, прониклись ее неизбежностью. Заигрывали со смертью многие; для богатого барина и благополучного буржуа — это эффектная поза, попытка спрятаться за ярким фантиком от сознания внутренней пустоты, прикрыть одну бездуховность другой. Чтобы решиться покончить с собой — надо очень, очень, очень любить жизнь! Только тогда неистребимое уродство общественного бытия, напрочь закрывающее человеку дорогу к тому, что для него особенно дорого, может подтолкнуть к смерти. Самоубийство всегда — от безнадежности, от *невозможности* (а не от нежелания) жить.

* * *

Да, «решения, принимаемые человеком так, как если бы он был совсем один на свете, — это всегда неистинные, безнравственные решения» [37]. В этом Д. совершенно прав. Только он забыл добавить, что решения, принимаемые человеком, который не в состоянии отделить себя от других (и даже от себя самого), — это вообще не человеческие решения, и к нравственности они не имеют ни малейшего отношения. Исходить из «непосредственного, не разъединенного скептической рефлексией, нравственного чувства народа», то есть, из пошлой

сентенции, что «худо быть человеку единому», — это дикость, которая страшна в своей слепоте, губительна для разума.

* * *

Выдуманную им «болезнь смерти» Д. умудряется приписать Ницше. И это про человека, который призывал жить, танцуя! Про того, кто характеризовал себя как

...влажный от нежности,
ветер оттепели для заснеженных душ...

Это про человека, который мог с чистым сердцем сказать: «Мне очень радостно видеть, что люди совершенно не желают думать о смерти! Я с удовольствием бы сделал что-нибудь, лишь бы они поняли, что мысль о жизни в сотни тысяч раз *достойней размышлений*». Еще достойнее — не просто мечтать, но и делать жизнь, снимать различие между деянием и мечтой.

Ницше идейно последователен: он требует трезвой оценки образа жизни своих современников — и оценки его резки и нелицеприятны. Для него любовь к жизни — это «любовь к женщине, которая пробуждает в нас сомнения». Но отрицать на этом основании жизнь и переселяться в мир абстрактных «абсолютов» — не для людей, а для тех, кто позволил болезни подавить разум:

...любая метафизика и физика, которые признают только один финал, только один вид конечного состояния, любое стремление, как правило эстетическое или религиозное в своих основах, к чему-то постороннему, потустороннему, запредельному, беспредельному — позволяют задать вопрос: а не является ли именно болезнь тем началом, которое вдохновляло философов?³⁵

Вся философия Ницше стоит на отрицании смерти как единственного финала — на ее понимании как преходящего момента, необходимого для утверждения жизни. В этом Ницше противоположен Шопенгауэру — безвольному скептику, объявившему волей собственное безволие и не умеющему разглядеть в человеческой жизни и смерти ничего, кроме бессмысленной игры природной (лишенной разума) случайности — и природной же (тупой) необходимости. Человек (поскольку он человек,

³⁵ *Веселая наука*, Предисловие ко второму изданию [цитирую по экземпляру из серии «Азбука классика», СПб. 1997].

олицетворение разума) сам творит свою жизнь — и свою смерть. Он выше их — и в этом его вечность.

* * *

Смерть — лишь момент жизни, ее вершина. Поэтому невозможно думать о смерти, не думая о жизни, и смерть всегда будет такой, какова приводящая к ней жизнь. Смерть — итог человеческой жизни, ее резюме, ее афористическое выражение. Противопоставлять одно другому — примитивное недомыслие.

* * *

Забавная (говорящая?) описка: вместо слова «патопсихология» Д. пишет «психопатология» [39]. Получается, что все последующее у Д. вытекает из помутненного сознания...

* * *

Подавать Ницше как ученика Шопенгауэра, пусть даже «далеко превзошедшего учителя остротой и яркостью своего дарования» — гнусная ложь. Недолгое увлечение Шопенгауэром было связано, в основном с Вагнером — с которым в конечном итоге Ницше вынужден был порвать, отвергая в нем именно шопенгауэровщину.³⁶ Отдельные рассуждения Шопенгауэра, чисто внешне, перекликались с идеями Ницше; с другой стороны, всякая попытка мысли достойна уважения — и какие-то крупинки мудрости можно перенять от Шопенгауэра. Но в конце концов не могло не обнаружиться, что Шопенгауэр не просто

³⁶ *Веселая наука*, с. 99: «Что обыкновенно в первую очередь перенимают немецкие (и не только немецкие!) последователи Шопенгауэра от своего учителя? [...] мистические попытки Шопенгауэра как-то вывернуться из затруднительного положения, когда он [...] поддается тлетворному воздействию своего собственного тщеславия [...], бездоказательное (!) учение о единой воле [...] (присовокупим сюда такие утверждения: «Умирание есть истинная цель бытия» [...]), — эти и подобные проявления невоодержанности и порочности (!) философа перенимаются в первую очередь и делаются предметом веры: легче всего подражать порокам и скверным недостаткам, они не требуют особых предварительных усилий.

далек от идеалов Ницше — а полностью им противоположен. Ни о каком «ученичестве» и речи быть не может.³⁷

* * *

Критики Ницше любят посмаковать его душевное расстройство. Тем самым они уподобляются прочим недочеловекам, выпячивающим пороки других в оправдание собственной, куда более фундаментальной порочности. Пошлые сентенции Д. полны высокомерия: дескать, ну какой философии можно ожидать от психически больного? Но болезнь Ницше лишь подчеркивает его духовное превосходство над Д. — чтобы потерять «разум», надо, как минимум, его иметь. Быдлу, покорно принимающему пошлость бытия, сумасшествие не грозит. Заказному философу, оправдывающему уродство современного ему общества, провозглашающему вечность и неизменность рыночной экономики под видом «общечеловеческих ценностей» и «нравственных абсолютов» — обеспечено комфортное существование самовлюбленного буржуа; ему, конечно же, не страшна никакая болезнь.

* * *

Знаменитая ницшевская формула: Сократ убил древнегреческую трагедию — всего лишь констатация общеизвестного факта смены эпох в античной культуре. Первобытному разуму предстояло утвердить себя, противопоставить себя природе, осознать собственную необходимость. Поэтому древнейшая философия внешним образом присматривается к окружающему миру, пытаясь усмотреть его собственное движение, из которого с неизбежностью вырастает человек. Следующий этап — осознание активности человека, его способность творить мир (и богов) по своему образу и подобию. Человек не просто дитя природы — он ее

³⁷ Одно время Ницше даже собирался написать книгу *Воля к власти* — чтобы подчеркнуть противоположность своего понимания воли шопенгауэровскому. Однако впоследствии Ницше отказался от этого замысла — в частности, чтобы не показаться последователем Шопенгауэра, по простому сходству названия с основным трудом своего оппонента (*Мир как воля и представление*). К сожалению, уже после смерти Ницше, под его именем была издана *Воля к власти* — компиляция из черновиков Ницше и чужих текстов. По иронии судьбы именно эта подделка принесла Ницше мировую известность.

смысл и закон. Недостаточно познавать мир (и себя) — надо еще и очеловечить его (и через это — себя). С именем Сократа³⁸ традиционно связывают поворот мыслителей к человеку, утверждение приоритета этической проблематики, упор на самопознание в отрыве от познания (что, понятно, не может не импонировать последующим строителям «нравственной философии»). Но к Сократу и Платону восходит не «культурная традиция Европы», как заявляет Д., а лишь одно из философских направлений — философский идеализм. Досократики оказали на европейскую культуру отнюдь не меньшее влияние — и ярким примером может служить философия Ницше (не забывая, конечно же, о Гассенди, Дешане, Бэконе, Спинозе, Марксе). Сократ не начало истории, он лишь ее закономерное продолжение — и невозможен без своих предшественников.

Но в *Рождении трагедии* речь о другом. В мировоззрении греков *досократовского* периода Ницше выделяет два больших этапа, которые он условно связывает с именами Аполлона и Диониса — имея в виду старинную идею противоположности света и тьмы, гармонии и хаоса, вдохновения и опьянения. Трагедия, согласно Ницше, возникает именно в «дионисийский» период, разрушая «аполлонические» культурные традиции. «Дионисийская» мысль уходит от деятельного слияния человека с миром, характерного для «аполлонического» периода; на новом этапе человек — не просто часть мира, он противопоставлен ему (но, ведь, этого мы и добивались, не так ли?). В таком контексте, идеологический переворот Сократа и Платона логично продолжает все ту же линию исторического развития. Ничто не возникает из ничего.

Главная идея Ницше — историзм, неизбежность гибели любой культуры и абсурдность каких бы то ни было «абсолютов». Вот за это и не любят Ницше всяческие морализаторы, жаждущие спустить на человечество очередное предписание свыше в качестве раз и навсегда открытой «истины» или вечного и неизменного нравственного «императива». В своей книге Д. всячески замалчивает ницшеанский историзм и трактует «аполлоническое» и «дионисийское» начала как вневременные «абсолюты», неизменно сосуществующие в культуре любой эпохи. Да, когда-то сформировавшаяся противоположность

³⁸ Разумеется, у Сократа были предшественники, и его жизнь и деятельность лишь отмечает хронологические границы перехода от одной культурно-исторической формации к другой.

оказывает влияние на все последующее — и следы нашего прошлого так или иначе присутствуют в нас. Но в том и суть исторического развития, что всякая противоположность должна быть *снята*, она продолжает себя лишь как момент *единства*.³⁹

* * *

Ницше справедливо указывал, что «аполлоническое» восприятие мира связано с неразвитостью разума, с низким уровнем (со)знания. Только при этом условии возможен первобытный синкретизм мысли и действия, предшествующий всякой вообще рефлексии. Человек далекий от разумности ведет себя как сомнамбула — он движется (хотя иногда весьма успешно) в странном, условном мире — как будто специально созданном для него. Ницше постоянно использует метафору «покрывала майи», оболстительного самообмана, грез наяву. Чернь принимает поэтический образ за дурную буквальщину — до поэзии ей не дорости.

* * *

Д. пытается подредактировать своего кумира Толстого: дескать, не об эпикурействе надо было говорить, а о гедонизме... Для обывателя «эпикурейство» — синоним «удовлетворения похотям». Но весьма начитанный г-н Д. осведомлен, что на самом деле учение Эпикура полностью противоположно гедонизму, поскольку оно, вроде бы, требует разумного ограничения чувственных удовольствий. Меняет это логику Толстого? Нисколючки. «Второй выход» возможен и по Эпикуру, только речь тогда вовсе не о разнузданной погоне за удовольствиями.

Следующее за тем отождествление «дионисического» начала с гедонизмом — полный маразм. Но и этот маразм — можно усугубить, приписав «дионисийство» самому Ницше — тому, кто призывает к разумности даже в отношении собственного разума и на каждом шагу

³⁹ Чтобы стать частью эстетического и этического инструментария позднейших эпох, противоположность «аполлонического» и «дионисийского» начал должна была *исторически развиться* как таковая — и тем самым подготовить почву для устранения, снятия противоположности. Любая философская категория (эстетическая, этическая, логическая) относится к определенному уровню рефлексии и применима лишь в пределах этого уровня.

твердит о необходимости «преодоления человека» с его метаниями, болезненными противоречиями — след житейской неустроенности, болезнью общества.

[46] Отсюда тот особый трагический, демонический, дьявольский ответ, который падал на самый плоский, самый пошлый, самый низменный гедонизм, когда его касался своей лихорадочной мыслью больной Ницше — аскет, распятый на кресте своей поистине «сумасшедшей идеи», своего безумного желания стать пророком Антихриста, если не самим Антихристом.

Можно подумать, Ницше от рождения только бредил и кидался на окружающих с «лихорадочной мыслью». То, что больной человек — это прежде всего человек, обывателю в голову не приходит. Малейшее отклонение от «нормы» обыватель воспринимает как потенциальную угрозу и старается откреститься от любых «странностей». Но больной человек мыслит ничуть не хуже здорового, а некоторые — намного лучше.⁴⁰ Огромного уважения достоин Ницше за то, что сумел остаться человеком разумным, не поддаться своей болезни, творить — до самого конца, используя паузы между приступами (на ранних этапах — весьма продолжительные). Но разве объяснишь это филистеру от философии, которого пугают его собственные слова, пустые абстракции! — а вникать в суть благочестивому обывателю ни к чему.

Но, конечно, самое возмутительное — это посягательство на моральные (то есть, религиозные) устои. Буря негодования: надо же, против бога! Антихриста проповедают — разве это не безумная идея? То ли дело Достоевский и Толстой — они все про бога твердят... Если даже бог у них какой-то не такой — можно простить, поскольку сам принцип религиозного раболепия соблюден.

В современных переводах Ницше употребляют более точное слово «антихристианин» — и от образа психа с вытаращенными глазами и пеной на губах приходится отказываться. Никогда не собирався Ницше становиться антихристом — но всегда был антихристианином, равно как и антимусульманином, антибуддистом, антишаманистом — и даже антизороастристом. Ницше против любой религии — вот что кажется самым страшным господину Д. и иже с ним. Значит — против любой морали, против предписанных начальством «абсолютов». Так и кажется

⁴⁰ Это, кстати, породило ходячую теорию о том, что гениальность — род сумасшествия, особенно в искусстве.

пошлым морализаторам, что вот-вот набросятся на них с топором, аки Раскольников на двух бабушек... А Ницше писал, что о тупых обывателей не стоит руки марать — пусть вымирают сами. О будущем думать надо, о том, что придет им на смену.

Но где там! В ужасе тычут буржуа в мыслителя пальцами и кричат самое страшное ругательное слово: «Богоборец!»

[48] Подонки и уголовники, подлецы и мерзавцы — все вмиг исчезли: остались одни Богоборцы. Это ли не великое открытие! — кстати сказать, чего уж вовсе не ожидал недалекий автор «Воли к власти», — обнаруживающее поистине невероятные возможности и для криминальной статистики: сколько преступлений можно объявить как бы уже и несуществующими, списав их в рубрику «богоборчество».

Кто тут недалекий — Д. мог бы увидеть в зеркале. Ему, конечно, невдомек, что *Воля к власти* имеет к Ницше весьма отдаленное отношение — те, кто ее компоновал, были рядовыми злобствующими филистерами, вроде г-на Д., который обрушивается на философа всеми филистерскими силенками:

[275] Идея «обожествления индивидуации» в аполлоновском искусстве, намеченная еще в «Рождении трагедии», впоследствии была развита Фридрихом Ницше в вульгарно-позитивистском направлении, что привело философа к обожествлению «физиологического» индивида и разработке концепции «сверхчеловека» («белокурой бестии»), культивирующего в себе в качестве божественного именно животное — «зверское» — начало.

Кто бы говорил о вульгарности! Достаточно хоть раз по-человечески пообщаться с Ницше, чтобы понять: его «сверхчеловек» не имеет ничего общего с глупой физиологией — напротив, он подчиняет животное начало разуму, чего современный человек в массе не умеет. И потому возможно говорить от сверхчеловеке — и том, идет на смену мелким людишкам. А уж о том, чтобы культивировать в себе что-то «в качестве божественного» — это пальцем в небо. Суть-то как раз и состоит в отказе от любых богов, в утверждении суверенного права человеческого разума самостоятельно решать, что правильно, а что нет, без оглядки на подленькую обывательскую мораль, абстрактные «абсолюты» и распоряжения сверху.

Человек поступает нравственно лишь тогда, когда он ведет себя разумно, ибо нравственность — один из атрибутов разума. А значит, нет и не может быть в этике застывших догм: человек разумный вправе

устанавливать этические нормы в соответствии со своим пониманием исторической необходимости — и отказываться от них, когда они исторически изживают себя. И в этом благородном деле ему даже Лев Толстой не указ.

* * *

Попытки Толстого возразить Шопенгауэру — классический пример философской беспомощности. При том, что Шопенгауэр — отнюдь не эталон мудрости, и склонен высасывать из пальца псевдопроблемы, подавая их под соусом кабинетной учености, — «опровержения» Толстого и на таком фоне выглядят детским лепетом.

Вывод о том, что «разум есть сын жизни» — чистой воды демагогия. Пока ни то, ни другое толком не определено, из ничего запросто выводится что угодно. Жизнь человека — совсем не то же самое, что жизнь животного. И различаются они как раз отношением к разуму. В этом смысле, возможно, следовало бы сказать наоборот: человеческая жизнь (в отличие от жизни животной) есть порождение разума. И попытаться показать, как на деле такое происходит.

Но допустим, что Толстой умеет разумно обосновать тезис о порождении разума жизнью (поскольку это вообще возможно). Однако он тут же спотыкается о банальную обывательскую метафизику:

[49] Разум есть плод жизни, и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал, что тут что-то неладно.

Но почему — нет? Напротив, такое отрицание вполне естественно, мы наблюдаем его на каждом шагу. Дети отрицают своих родителей — обычный конфликт поколений. Огонь уничтожает топливо и кислород, устраняет условия для горения. Козы съедают всю растительность на острове — и вымирают от голода. И так далее. «Неладно» в голове у Толстого, а Шопенгауэр тут ни при чем.

Из того, что «эти дураки — огромные массы простых людей — ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что их жизнь очень разумно устроена», вовсе не следует, что живут они правильно.⁴¹ Сложите крохи мудрости в миллионе тупых голов — это не заменит одного мудреца.

⁴¹ Великолепный афоризм Ницше: «Жизнь — это не аргумент».

Для того и появляются мудрецы, чтобы понемногу искоренять тупость миллионов. В этом их (мудрецов) объективное предназначение — что мы и называем гением. Помимо всего прочего, мудрость состоит в том, что человек осмеливается принимать на себя ответственность за свои слова — и не заморачивается пустыми сомнениями: «а что как я чего-нибудь еще не знаю?» Понятное дело, и даже обязательно чего-нибудь не знаю! — ибо никто не может знать все. Но того, что я знаю, мне хватает, чтобы выработать твердые убеждения — которые не смогут поколебать стадные нападки миллиона обывателей.

С другой стороны, идея Толстого, будто массы живут легко и беззаботно, «и им кажется, что их жизнь очень разумно устроена», есть, по меньшей мере, глубокое заблуждение. Непросто живется тому, кому не довелось родиться бариним: приходится барахтаться в житейском болоте, выцарапывать у жизни минимальные условия для хоть сколько-нибудь терпимого существования. О разумной устроенности такой жизни и речи нет — даже думать об этом народу некогда. И если кое-кому кажется, что «все на свете — органическое и неорганическое — все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо», — это не «мудрость мудрецов»,⁴² а его недоразвитость, позволяющая принять на веру разглагольствования кучки прохиндеев. Буржуазная пропаганда всячески старается убедить массы, что все в мире правильно, что иначе и быть не может, — и ни в коем случае не надо никаких революций. А горе-мыслители, вроде Толстого и г-на Д., хотя и считают это высшей добродетелью, унижались с удовольствием! Кому не нравится — могут удалиться. Не хотите жить — не живите. Саваном дорожка! Разумеется, не из соображений гуманности, не для того, чтобы избавиться от мучений — а для того, чтобы избавить начальство от необходимости принимать меры, пресекать вольнодумство и посылать еретиков на костер. Экономия дров, снижение выбросов в атмосферу.

[49–50] Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя — и не будешь рассуждать... А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни,

⁴² Ницше: «Остережемся также усматривать везде и всюду некое совершенство форм [...]; одного взгляда на Млечный Путь достаточно, чтобы усомниться в совершенстве. [...] Общий характер мира, напротив, извечно хаотичен, не в смысле отсутствия необходимости, но в смысле отсутствия порядка, членения, формы, красоты, мудрости и так далее...»

рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни... Тебе скучно и противно, так уйди.

Третий «тезис» Толстого стоит первых двух... Отрицать — не значит убить. Убийство всего лишь заменяет бытие небытием, ничего не меняя по существу. В этом и сказывается отличие человеческой жизни от жизни животного. Но даже в биологии смерть особи не имеет особого значения для существования вида; и уж тем более распад единичного органического тела не уничтожает человека. Люди гибнут — но не умирают их идеи, их дела. Мысль о бессмысленности равнодушного самоубийства — один из редких проблесков мудрости у Шопенгауэра; Толстой даже до этого не дорос.

Бессмысленность жизни приводит к бессмысленной смерти. Те, «которые потеряли смысл жизни», вовсе не хотят себя убить — им недоступны хотения как таковые, им просто все равно. Напротив, отрицание того, чем живут «миллиарды отживших и живых людей», — это знак подлинной заинтересованности, (отрицательное) выражение необходимости переустраивать мир, убить не себя, а уродскую жизнь.

* * *

Огульно объявлять разум «абстрактно-теоретическим» (другого, видимо, нет...) и заменять его толстовским «сознанием жизни» — подставлять одну абстракцию на место другой. Что есть «сознание, находящееся в соответствии с фактом его бытия»? Кто-нибудь может придать этой трескучей фразе разумный смысл? Вряд ли. Судя по высказываниям Толстого, его «сознание жизни» как раз предполагает отсутствие не только разума, но даже и элементарного самосознания. Дескать, жили до нас миллиарды, и после нас будут миллиарды землю удобрять, — стало быть, и нам туда дорога, в компост. И нечего тут рефлексировать. Но Д. надо и здесь блеснуть дырами в логике:

[50] Прежде необходимо было доказать, почему до сих пор в человечестве не побеждала идея «бессмысленности» жизни — ведь люди были смертны и раньше, а тем не менее они не только жили, но и сознавали осмысленность своего существования, благотворность того, что было дано им в качестве их бытия.

Если кто-то живет — то вовсе не обязательно потому, что сознает осмысленность этого занятия. Как раз наоборот, проще тянуть лямку, ничего не осознавая, тупо, как последняя скотина. А если идея

бессмысленности жизни никогда не овладевала умами — то зачем тогда Д., вслед за Толстым, разводит по этому поводу словеса?

* * *

Толстовское «решение» проблемы наглядно показывает суть всяческих «абсолютов» — это произвол власть имущего. Отказываться от удовольствий жизни барину, конечно же, не хочется — и он слышать не желает интеллигентские призывы малость потесниться. Но искать сколько-нибудь разумные контраргументы (было бы против кого!) ему в лом. Вот он и придумывает отговорку — «сознание жизни». Пустая абстракция, чистый ноль. Этот ноль к чему ни приплюсуй — к нему не добавится, отними от чего — от него не убавится. Зато всех идейных противников теперь можно с чистой совестью помножить на ноль. И торжествуя заявлять: вот видите, «и у Соломона, и у Шопенгауэра, есть только ответ неопределенный, или тождество: $0 = 0$, жизнь, представляющаяся мне ничем, есть ничто». А я, дескать, вообще ничего в этом плане не представляю — мне с моим аристократическим «сознанием жизни» и так хорошо.

* * *

Если капрал говорит, что вся рота идет не в ногу — он прав, ибо именно ему начальством вверено право (и вменено в обязанность) судить и определять. Как бы там ни думали про себя плебеи — они вынуждены подчиняться уставу. Но согласно уставу, идти в ногу — не значит двигаться синхронно самим по себе, безотносительно к чему бы то ни было; это значит — выполнять поставленную командованием задачу, и следовательно, двигаться так, как приказано.⁴³ Что бы вы по этому поводу себе не воображали. Измените устав, если можете, — вот

⁴³ Заметим, что возникло такое требование не случайно, и в нем исходно содержался глубокий смысл. Например, музыкант может быть каким угодно виртуозом и тонким интерпретатором классики — однако в составе оркестра он обязан подчиняться жестам дирижера, а не тому, что творят другие оркестранты. Опять же, если рота дружно удирает от врага, вместо того, чтобы идти в атаку, — капрал вправе расстрелять каждого, хотя бы тот и оправдывался, что делает как все. Конечно, любое разумное установление можно превратить в полную нелепость, — но это особый разговор.

тогда и рассуждайте на свой манер. Только, ведь, и ваш устав кому-нибудь обязательно не понравится — будьте уверены...

* * *

Ссылка на миллиарды людей, которые, якобы, жили и живут, не задумываясь о бессмысленности своего существования, подобна «доказательству» бытия божия исходя из якобы очевидного факта — наличия миллионов прошлых и нынешних верующих. Сказывается исконно религиозная суть толстовства. Но, во-первых, даже миллиард слепцов не докажет зрячему, что света нет. Во-вторых, если попробовать на зуб веру каждого — по большей части она окажется фальшивкой. Просто кому-то очень удобно, чтобы все считались верующими.⁴⁴

* * *

Когда «некто, утверждающий, что жизнь абсолютно бессмысленна и гнусна, тем не менее продолжает жить точно так же, как жили до него и живут при нем миллиарды людей» — это и есть настоящее *отрицание* жизни! Скотское существование вопреки протестам разума.

* * *

Толстой не понял Шопенгауэра — и отсюда заключает, что «знание философское ничего не отрицает, а только отвечает, что вопрос этот не может быть решен им, что для него решение остается неопределенным». Но жизнь — не только знание. Искусство кулинарии не сводится к сборникам кулинарных рецептов. Важно знать и уметь — еще важнее не стать рабом знаний и умений, творить. Человеческое творчество — это не случайность, это сознательное действие. Чтобы заняться «решением» вопросов, надо еще умудриться их правильно поставить — что и пытаются по мере сил делать философы. Не сможет один — подхватит другой. Философия не сводится к Соломону и Шопенгауэру — есть

⁴⁴ Удобство, очевидно определяется экономическими соображениями. Когда начинаются разглагольствования о «христианских» и «мусульманских» народах — следует прежде всего поинтересоваться состоянием чьих-то банковских счетов.

мудрецы и покруче. Было бы странно по опыту одного дождливого дня заключить, что в погоде всегда дождь. Почему бы Толстому (или Д.) не посоветоваться с Аристотелем, Гегелем, Марксом? Кишка тонка. Для настоящего философа, в конце концов, и нули что-то значат, и « $0 = 0$ » — совсем не тривиальное утверждение...

Но Лев Толстой как философ = 0. А уж Д. — и подавно.

* * *

Согласно Толстому (в интерпретации Д.), разума у человека нет, и все сводится к вере: «одни верят в то, что жизнь не имеет смысла, а другие не верят в это и, наоборот, считают ее исполненной смысла». Почему — «наоборот»? Почему не может быть других решений? Ну да ладно, простим убогим. Однако дальше следует поистине иезуитское предписание:

[51] Поскольку же вера первых находится в разительном контрасте не только с убеждением абсолютного большинства человечества, но и с их собственной жизнью, с фактом их бытия, [...] именно она должна быть подвергнута сомнению в первую очередь, а не вера тех, для кого жизнь обладает всей полнотой смысла.

Иными словами, всякое инакомыслие наказуемо. Малейшая попытка протеста — преступление против «большинства человечества», против «полноты» стадного смысла.⁴⁵ Не дай бог, кто-то поймет, что на самом деле большинство бессовестно эксплуатируется меньшинством, и ему просто не до поисков «смысла»; в этом смысле жизнь одурманенного большинства совершенно бессмысленна. Понятие смысла относится к человеческой деятельности — к рабочему скоту оно неприменимо.

Короче, давить надо всяческих проповедников «эпикурейства», поскольку начальство решило, что их «вера» (а про человеческие, сознательные *убеждения* Толстой и Д. ничего не знают)

... не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтобы оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры.

⁴⁵ Ницше: «Мораль заставляет отдельного человека быть функцией стада и только в качестве таковой воспринимать себя как нечто значимое».

Тут барин выдает себя с головой: пользоваться («потешаться») трудами других — это его прерогатива; остальные должны лишь обеспечивать ему барскую жизнь. Однако в глубине души всякий барин смертельно боится бунта, и ему хочется хотя бы относительной безопасности — чтобы раб не скрипел втихаря зубами, а демонстрировал веселость и восхищение заведенным порядком⁴⁶; для этого не плохо бы всучить рабу «настоящее знание веры» (заметим: не знание, и даже не веру, — а только «знание веры» — то есть, вбитый в головы с малолетства катехизис и церковный чин).

* * *

В качестве одной из мер пресечения смуты — обычное предложение самоустраниться по-хорошему, добровольно, — чтобы начальству не тратиться лишний раз на административный ресурс:

[52] Когда они говорят, что жизнь — злая бессмыслица, заслуживающая лишь уничтожения, то какую жизнь имеют они в виду — не свою ли собственную (которая затем «проецируется» на жизнь «вообще»)?

Именно свою! Но другой-то нет... С точки зрения последователей Шопенгауэра нет смысла говорить о «жизни вообще» — мы о ней ничего не знаем, нам предъявлена только наша собственная жизнь.

«Неправильно было только то, что ответ, относящийся только ко мне, я отнес к жизни вообще: я спросил себя, что такое моя жизнь, и получил ответ: зло и бессмыслица».

На этом месте наследник Шопенгауэра просто останавливается — делать какие-либо метафизические выводы не в его манере. Однако те, кто чуточку знаком с Гегелем или с марксизмом, могли бы заметить, что единичная жизнь протекает в определенных общественных условиях — впитывает их в себя. Если чья-то личная жизнь — зло и бессмыслица (кому — зло? для кого — бессмыслица?), есть нечто в устройстве общества, что позволило ей такой стать. И стало быть, единичная жизнь *представляет* собой нечто всеобщее, является частным выражением общего правила («проецируется на жизнь вообще»). Отмахнуться от

⁴⁶ Как в пионерском лагере: «Мы бодрь! весель!» — и чтобы «бодрь» говорить бодро, а «весель» — весело...

единичного не получится: оно есть, оно факт! — и чем громче шикают, тем больше подчеркивают эту неприличность. Статистика — игрушка буржуазная; в свободном обществе людей не усредняют, а наоборот, присматриваются к единичностям на предмет изменить что-то вообще.

* * *

«...истину закрыло от меня не столько заблуждение моей мысли, сколько самая жизнь моя в тех исключительных условиях эпикурейства, удовлетворения похотям, в которых я провел ее».

Очень по-русски — юродствовать, бить себя в грудь и каяться: дескать, вот он, я, пес смердящий, редиска, нехороший человек... А потом барин встает с колен, лакеи быстренько чистят запачканные штанины — и можно продолжать барствовать как ни в чем ни бывало.

* * *

Главное, что делало весомым возражение Толстого Шопенгауэру, заключалось в том, что в качестве «объекта критики» он взял не «другого», а самого себя.

Это шаг *назад*. Говорите только о других. О вас — они скажут. Брать в качестве объекта себя — это не возражение Шопенгауэру, а слепое следование его методу, идеалистически подменяющему реальную жизнь индивидуальными впечатлениями. Сам того не замечая, Д. препарирует Толстого под тупоголового улучшателя западных систем, неспособного отрешиться от навязанного ими «критического» метода — заменить критику делом.

* * *

... мы, считающие жизнь бессмыслицей, «хороши», а все остальные, кто так не считает, «плохи», — изначально безнравственная, бессовестная, бесчестная установка...

Абсолютная бредятина! Нет ничего «изначального». Особенно в области морали. Но фокус в том, что на место одного абсолюта Толстой тупо ставит даже не другой, а тот же самый, но в еще более абстрактной, оторванной от жизни форме — поскольку теперь он может не

оглядываться на окружающих, а полностью погрузиться в лицемерное самокопание. Ответ по типу «сам дурак»: не мы «плохие» — а вы «безнравственные, бессовестные, бесчестные!» Хрен редьки не слаще. Тут Д. всеми конечностями за, и добавляет от себя:

[53] А если человек превращает свою жизнь в нечто, что он расценивает как бессмысленное и злое, то повинна в этом не жизнь сама по себе, а прежде всего он сам, превративший благо в зло.

Вот-вот. Мы тут за свои блага боремся! А если кого побьем — они сами виноваты, что мы на них злые.

Метафизику в голову не придет, что нет людей самих по себе — и не могут они сами себя сделать никогда и ничем (даже ничем!). Единичное лишь выражает всеобщее — которое только таким способом способно обнаружить свою всеобщность. Моя боль — боль общества; моя воля — воля человечества. Поэтому безнравственно делить все на «мое» и «не мое» — искать виноватых.

* * *

[52–53] «Я понял, что для того, чтобы понять смысл жизни, надо прежде всего, чтобы жизнь была не бессмысленна и зла, а потом уже — разум для того, чтобы понять ее. [...] если думать и говорить о жизни человечества, то надо говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов жизни. Истина эта была всегда истина, как $2 \times 2 = 4$, но я не признавал ее, потому что, признав $2 \times 2 = 4$, я бы должен был признать, что я нехорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем $2 \times 2 = 4$. Я полюбил хороших людей, возненавидел себя, и я признал истину».

Тот еще букет! Достаточно объявить кого-то абстрактно «хорошим», возненавидеть себя, поюродствовать немножечко, — и можно уже не заботиться о своем нравственном развитии, и так сойдет. Тем более незачем думать о переустройстве общества: раз человечество уже сейчас сплошняком состоит их «хороших» — о чем еще мечтать? все и так замечательно. Хотя и портит пейзаж существование «нескольких паразитов жизни» — это досадная случайность, не более...

В переводе: царская Россия — образец благоденствия, и вешать надо смутьянов, сомневающих в осмысленности установленного порядка: смысл жизни господ — возлюбить самих себя; смысл жизни рабов — обеспечить господам условия для самовлюбленности и не смущать

бунтами (как водится, дикими и бессмысленными). Похристосоваться с быдлом на красный день, демонстративно покаяться — и можно снова ездить на чужом горбу в рай и обратно...

Истина, которая «всегда истинна», = ложь. Нет вечных истин. Разум на то и дан человеку, чтобы понять, как истины рождаются, развиваются и отмирают (превращаются в другие).

Говорить «о жизни человечества», игнорируя жизни отдельных людей, — занятие бесплодное. Нельзя произвольно отбрасывать то, что, по видимости, не укладывается в рамки новообретенной «истины». Если единичное явление противоречит провозглашенному нами всеобщему благолепию — встает закономерный вопрос к нашей теории: а истина ли это? Может быть, исто веруя в то, что $2 \times 2 = 4$, мы просто прячемся от трудностей, с которыми мы не сумели справиться, которых испугались.

* * *

Толстого можно уважать — хотя бы за его запоздалые попытки пересмотреть прежние ценности, противопоставить себя своему классу. Даже если послышки половинчаты, а выводы беспомощно абстрактны. Даже если учесть, что господство этого класса было уже практически упразднено дорвавшейся до власти буржуазией. Конечно, толстовские хождения в народ попросту смешны — в печальном смысле слова. Но он хотя бы не гнушался грязной работы и умел не отстать от работяг в простых практических делах.

Однако то, что Толстой применял свои идеи лишь к себе, а не к обществу в целом, совершенно их обесценивает. Ну, косил он траву, пахал, деревья выкорчевывал... Что с того? Прочим господам от этого ни холодно, ни жарко.⁴⁷ Даже собственных детей он не мог приучить к «правильной» жизни. Система, культивирующая барство, оставалась в неприкосновенности. Толстовщина принимает жизнь, как она есть, — во всей ее недоразвитости. И стремится заморозить экономическое и социальное развитие, отвергая любые попытки пересмотреть «истину» существующего строя. Индивидуальные чудачества — сколько угодно. Посягать на изначальную «осмысленность жизни, ее ритмичность, ее законосообразность, ее необходимость» — ни-ни!

⁴⁷ Мы знаем некоего фабриканта по фамилии Энгельс, который доставил своему классу куда больше неприятностей — не вставая при этом к станку на своем заводе...

Этот принцип властями подхвачен и положен в основу буржуазной системы промывания мозгов: внимание масс любыми средствами следует отвлечь от главной причины трудностей — капиталистической системы производства. Стихийные протесты направляются против частных, поощряется «активная жизненная позиция», участие в «общественной жизни», «гражданственность»... Не надо обобщать. Боритесь с симптомами болезни, а не с болезненностью как таковой. Приносите «реальную» пользу. Такая борьба ничего радикально не меняет, и можно развлекаться до бесконечности.

Так «цепь умозаключений, по всей линии выстраивающихся против шопенгауэровского пессимизма» приобретает у Толстого (*à la* Д.) совершенно шопенгауэровскую окраску. Шопенгауэр в них продолжает жить и здравствовать, а на всяческие «возражения» только посмеивается в гробу: ага, достойного ответа таки не нашлось!

* * *

Обосновывать необходимость труда тем, что это «призвание и долг каждого человека: деятельное выражение благодарности за тот дар, что он получил», — чисто буржуазная этика. Дескать, платите долги. Неважно, на кого вы работаете,⁴⁸ — главное, испытывать при этом благодарность к работодателю за то, что есть хоть какая-то работа, источник средств к существованию. Некоторые и того не имеют.

Тут вылезает внутреннее противоречие: выходит, что «дары», которые получают одни, сильно отличаются от «даров» другим. Один живет, как барин, — другой еле концы с концами сводит. За что же быть благодарным судьбе?

Единственный выход для апологетов капитализма — свести человека к животному, объявить самоценной его физиологию, — уж этот-то «дар» у всех, вроде бы, одинаков... Но как быть с органическими дефектами, с врожденными или приобретенными заболеваниями и травмами? В рыночной экономике для того, чтобы продлить жить, больному человеку требуются значительные средства — далеко не у

⁴⁸ Ср. у Толстого: «И день, и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого этот труд? Какие будут плоды труда? — Это соображения посторонние и ничтожные». Заставить бы графа своим трудом зарабатывать на хлеб — посмотрели бы мы, какие тогда это были бы соображения!

каждого они есть. Даже минимальное удовлетворение органических потребностей здорового организма доступно не всем: миллионы людей гибнут от голода, холода, жажды, нездоровых условий существования. Без философского идеализма и религии тут не обойтись — жизнь превращается в абстрактную идею, в нечто предписанное свыше, «дарованное» кем-то, кому нельзя возразить. Дареному коню в зубы не смотрят. Даже если конь — троянский.

* * *

На с. 54 у Д. просто фантастические нагромождения чепухи и буржуазной пропаганды:

Именно конечность человека обуславливает непреложность нравственных законов, которым он должен подчиняться.

Поскольку в предыдущей главе мы видели, что конечность человека (то есть, сведение человека к животному) вызывает чувство протеста и *отрицание* нравственных законов (раз уж все равно за человека не считают), следует понимать эту фразу в том смысле, что держать такого «конечного» (или — «конченного»?) человека в узде можно только подчиняя его (при помощи плетки, пулеметов и атомной бомбы) «непреложным нравственным законам» (которые буржуи объявляют «общечеловеческими ценностями»).

Представление об осмысленности жизни дается человеку как награда за серьезное к ней отношение.

Раз уж другие, более осязаемые награды начальство разобрало по себе, так хоть побаловаться мечтательными надеждами, что не просто так прозябаешь, а для чьей-то выгоды... И этот кто-то от щедрот иной раз теоретически может устроить рабам веселое представление, в смысле зрелищного мероприятия — или атомной войны.

Всякие нигилисты, конечно же, скепсис разводят. Дается — кем? Серьезность = покорности? Действительно, согласно Д.:

Человек, всерьез стремящийся воздать своей жизни за то благо — бытие, которое он получил вместе с нею, сам того не замечая, приходит к нерушиму убеждению в осмысленности жизни. А это убеждение, в свою очередь, дает ему силы, чтобы сносить все трудности, все тяготы повседневного существования, не впадая в отчаяние и уныние.

Бред! Кто сказал, что бытие — это всегда благо? Для кого как. Вспомните Гамлета. И что значит — «воздавать жизни», если от жизни остается одна абстракция бытия? Скрытый посыл метафизического фразерства: если долго и покорно трудиться на барина (произволом которого раб только и может существовать — и рабство становится способом расплаты за то, что рабу пока позволено остаться в живых), можно отупеть настолько, что рабская покорность станет смыслом жизни, и тогда раб уже не способен на человеческие чувства и готов тупо тянуть лямку и впредь.

Та же лапша у апологетов репродуктивной животности: родители, дескать, одарили вас жизнью — будьте благодарны по ее гроб, и сами покорно размножайтесь по указке вышестоящего начальства...

Разумеется, говорить и личностном самосознании тут не приходится, и такое «осмысленное» отношение затравленного зверя к жизни не есть нечто «партикулярное», оно «раскрывается для него через отношение к окружающим людям» (то есть, через принадлежность стаду, общине, классу, нации). Тут как тут категорический императив, в самой вульгарной форме: «Не причиняй другим того, чего не хочешь, чтобы они причинили тебе», — и наоборот: «Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе». Библейское фарисейство в полном разгаре. И это называется «жизнью»!

Милая естественность одних — смерть для других. Когда резвое дитя скачет как лошадь по квартире и орет во все горло — все умиляются «живой жизни», и никому и в голову не приходит, что за стенкой кто-то страдает от шума. Пожалуйста, вы можете поступать так же. Хочется пьянствовать по ночам — вполне живое желание, каждый вправе. Хочется мастеровому хозяйчику стены долбить годами — жизнь, стало быть, в нем так играет. Подумаешь, кто-то сошел от этого с ума, кто-то покончил с собой... Это их проблемы. Они ведь имели такое же право вести себя по-свински — но почему-то не захотели. Неблагодарные.

Так дикари — убивают людей. Живая жизнь — убивает жизнь разумную.

И тут г-н Д. начинает разглагольствовать о «большой и суровой ответственности, которая возлагается таким образом на человека», о «справедности» отношения к другим людям:

Гораздо легче тысячу раз произнести приведенную этическую формулу, чем один раз всерьез поступить в соответствии с нею, не считая при этом, что совершаешь подвиг самопожертвования.

Да какое там самопожертвование! Свинье нравится валяться в грязи — и она хочет весь мир превратить в одно большое свинство. Еще один, (если бы уж заключительный!) аккорд:

Точно так же, как, воспроизводя в повседневном труде свою «материальную жизнь», человек бессознательно приходит к выводу о ее «осмысленности», так же как и о неслучайности своего присутствия в мире, — он же, воспроизводя вновь и вновь свои отношения с другими людьми, реализуя в своем общении с другими моральные принципы, сколь бы сложным и трудным это подчас ни было, приходит к убеждению в абсолютности нравственных принципов, а следовательно, и в осмысленности жизни в целом. Приходит еще до того, как начинает философствовать о смысле жизни. Словом, и здесь убеждение в том, что жизнь имеет смысл, дается человеку как награда за осмысленную жизнь.

Действительно, если считать, что существующий способ производства установлен раз и навсегда, и следует лишь работать на чужого дядю, не помышляя о разумности, — человек вынужден безропотно принять свое место в жизни как ее единственный смысл. Трудно тянуть тяжести волоком (хотя есть, подъемные краны и грузовики, рядом ходят поезда, над головой аэропланы, да и пароходы на воде не перевелись) — терпи, вообрази, что это не кара, а дар; а что даровано свыше, то вполне осмысленно и не случайно — так что не вздумай изобретать очередное колесо! Точно так же, если кто-то имеет право ежедневно плевать вам в морду (которую и лицом-то уже назвать-то нельзя) — таков, стало быть, абсолютный нравственный принцип, и вы (с вашей-то мордой!) даже это должны считать наградой.

Д. полагает (не знаю, насколько искренне), что общение с другими способно привести лишь «к убеждению в абсолютности нравственных принципов» — то есть, к *философскому идеализму*. Тем самым идеализм утверждается в качестве единственно возможной философии, к которой каждый, якобы, приходит «еще до того, как начинает философствовать». Оказывается, никаких материалистов никогда и не было. Про Маркса, Энгельса, Ленина г-н Д. и слыхом не слыхивал. Или делает вид, что не читал. По крайней мере, что и читал — не понял. Не захотел понять.

Если нечто дается человеку как награда — значит, это у человека когда-то отняли, и кто-то узурпировал право карать и награждать. Разумеется, критерием служит соответствие классовой осмысленности. То есть — каждому свое; любимый лозунг гитлеровцев. Сомнения в этом абсолютном ведет к отлучению от всяческих благ — и превращению в

абсолютное зло, в козла отпущения. Чего лакействующие филистеры боятся больше всего на свете.

У свободных людей другая логика: все, что есть в этом мире, никому не принадлежит — это продукт совместного труда, и никто не вправе чего-то лишать или к чему-то принуждать других. Каждый сам вырабатывает убеждения — но не «свои», а разумные, всеобщие, нужные всем. И дело не в том, чтобы изо дня в день воспроизводить «материальную жизнь» — а в том, чтоб творить, переделывать мир, отрицать его вечность и неизменность. Делать жизнь — а не выискивать в ней смысл.

* * *

И вот, наконец, подтягивается самое интересное...⁴⁹ От простого присутствия других людей мы переходим к *совместности* их бытия, к общению. Но что может по этому поводу сказать метафизик-идеалист?

[55] Живя среди людей, разделяя с ними нелегкий труд по ежедневному, ежечасному, ежеминутному воссозданию этой жизни (сохранение того, что было даровано как бытие), человек учится любить людей: всем существом своим понимая не только «необходимость», «неизбежность» другого человека, но и глубокую осмысленность, благодатность этого факта: *бытия другого человека*.

Компот с гуталином. Религиозные сказки про «дарованность» бытия и «благодать» — оставим пока без внимания: это продолжение темы про смысл жизни рабов. Насчет «сохранения» — та же барская метафизика: не вздумайте посягать на устои! Важный материалистический момент: любовь, во-первых, неразрывно связана с трудом, с совместной (но не «разделенной») деятельностью людей, а во-вторых, она не сваливается с небес в готовом виде — ей надо учиться. С другой стороны, про

⁴⁹ Ради этого и покупал книгу. В советское время философией любви практически не занимались, был круг официально принятых тем... О любви говорили мимоходом, случайными экскурсами, между строк, в подстрочных примечаниях... Материал приходилось выцарапывать по крохам. О сексе — и то литература богаче. А тут, вроде бы, специальный труд. Пусть без позитива — но и это годится, в качестве повода для размышлений.

Сегодня в наличии всякие — но почему-то про любовь нынешняя философия говорить боится. Чуть что — сразу за советом к попам. До избытка мудрости по-прежнему далеко, и эти заметки пока не устарели.

осмысленность — тоже достижение: для животного другие особи — биологическая случайность и внешняя необходимость; для разумного существа общение не только обязанность — но и сознательный выбор.

Опять-таки еще до того, как он начинает осознавать это, человек принимает свое отношение к «другому» (к «другим») как внутреннее отношение своего собственного бытия: он не мыслит своего бытия вне отношения к «другому» («другим»).

Весьма недурно. Собственно, это и есть определение сознания: внешние отношения принимаются как внутренний закон, как желание (в отличие от животных позывов и влечений) и стремление — как мотив и цель. Определенность деятельности не только в ее материальном продукте — это еще и определенное отношение к другим (кому, собственно, продукт и *предназначается*). В совместной деятельности людей производство отделяется от потребления — и становится возможным их синтез как исторически определенный способ общественной организации. Человек не может быть «вне» своей эпохи, он вырастает из нее и выражает ее черты; только так может появиться потребность творчества, а изменение внешних условий бытия воспринимается как преобразование самого себя. Очень важны кавычки у слова «другой»: общественная сущность человека разумного выражается, в частности, и в том, что к себе он относится как к полноправному представителю общества в целом, как к «другому», — а других принимает как внешнее воплощение каких-то своих определенностей. Любовь становится уровнем рефлексии — это не просто отношение к миру, это отношение к себе.

Здесь обнаруживается неделимость жизни (бытия) (с каких пор это одно и то же?) как дара (или кары?), который дается (богом?) всем людям вместе (но не всем одинаково!), хотя каждый из них несет за него совершенно индивидуальную (почему?), то есть ни с кем не разделяемую, ответственность.

Нет, любителю с профессионалом тягаться — дохляк. Тут надо уметь. «Ответственность за дар» — ну, очень круто! Всучили тебе неликвид — и ты же виноват в собственной «одаренности». Принцип буржуазной пропаганды: имеешь право стать буржуем! — рынок на всех один, а нищета — только от лени, от личной нерадивости, от неумения (или нежелания) грабить других. Что само буржуиство (с его «правами») не всех устраивает — мысль еретическая.

Если общественно человеческое бытие (и человеческая жизнь), то не менее общественна и человеческая нравственность, сознательное

отношение к собственному бытию. Как соотносится единство культуры с индивидуальностью — вопрос конкретно-исторический. По-разному в разные эпохи. Противопоставление людей друг к другу в этической сфере проистекает из их объективной противопоставленности друг другу в экономике; сама идея ответственности — порождение вполне определенного экономического строя, превращающего сотрудничество в конкуренцию, а взаимопомощь — во взаимозависимость.

Индивидуальность — лишь одна из форм социальности. Есть и другие, в том числе те, о которых сегодня, в условиях безраздельного господства «абсолютов» капитализма, мы не можем даже догадываться. Но даже в пределах исторически навязанной нам противоположности общества и индивида можно бы добавить хоть чуточку диалектики и не делать раба виноватым всегда и во всем! По большому счету, за его провинности отвечает хозяин — буржуй, бог или родители. Пока есть само понятие вины — индивидуального выбора никто не отменял. Но господам очень не хочется, чтобы рабы выбирали смерть, — как освобождение, возможность не быть рабами.⁵⁰

... для того, кто «открыт» другому (другим) в самом сокровенном, кто не мыслит себя без другого, кто еще с раннего детства привык мыслить себя «вместе» с другими, бессознательно принимая таким образом бытие не как свою «личную собственность», но как нечто, дарованное людям всем вместе...

Раба хотят лишить даже этой собственности. Оказывается, его жизнь (читай: рабочая сила) ему изначально не принадлежит, и распоряжаться ею он не вправе! Это шаг назад, от капитализма к рабовладению. Сюда же примыкают колониалистические теории об «ответственности белого человека» — то есть, и буржуй не вправе предать свой класс, призывать к отказу от эксплуатации человека человеком; все, что ему дозволено, — благотворительность, использование части награбленного для создания более благоприятных условий для грабежа.

Слово «вместе» — недаром взято в кавычки! Это не общественное бытие (совместное творчество) — а всего лишь коллективность: всех сваливают в кучу, раздают лопаты — и «даруют» общую работу на барина, которая нисколько не объединяет людей, а наоборот, приучает ненавидеть конкурентов. Здесь Д. (по глупости?) выбалтывает основные

⁵⁰ Именно поэтому в большинстве государств эвтаназия под запретом, а где и разрешено — так с дикими ограничениями. Но время идет, все меняется...

принципы промывания мозгов: запрет интимности, вторжение в личную жизнь («открытость»), насаждение коллективности «с раннего детства», подавление сознательного отношения к себе и другим, некритическое принятие спущенных сверху «даров». Рабы должны чувствовать себя стадом — которое целиком зависит от мудрого пастыря; кто отбился — смерть. Время от времени некоторых и обрекают на смерть — баранина для барского стола. Но вот продолжение:

... кто, следовательно, действительно любит других — в истинно нравственном смысле, для того смерть перестает быть чем-то абсолютно непереносимым, поражающим его неизлечимой болезнью. Постигнув через эту любовь смысл жизни, он верно постигает и смысл смерти — и чем глубже он постигает этот смысл, тем меньше трепещет перед нею. Смерть перестает мучить его своей бессмысленностью.

Постигая смысл жизни (а это возможно только через любовь — другого пути нет!), человек преодолевает смерть — и ему не надо еще и ее осмысливать. Любовь делает человека бессмертным, тем самым снимая конечность жизни, рождение и смерть. Но именно этого меньше всего хотели бы хозяева жизни. Делиться жизнью с рабами они не хотят, однако не прочь уделить им капельку смерти: дескать, вы умираете не просто так — а за великое дело (то есть, за успех общего бизнеса). Гладиаторы на арене.⁵¹

Осмысленно говорить о действительности любви возможно лишь понимая это категориально, диалектико-материалистически. Любовь не фантазия, на субъективное состояние; это прежде всего сознательное действие, стремление изменить мир. Смысл — это и есть отношение к деятельности, к ее (исторической) направленности, ее (общественным) мотивам. Если жизнь — не просто животное существование, а орудие труда, условие деятельности, — она осмысленна. И точно так же могут быть осмысленными рождение и смерть. Напротив, рождение, жизнь и смерть раба (или гнилого интеллигента) — совершенно бессмысленны. Тем не менее, когда эта бессмысленность становится мучительной — верный признак пробуждения разума, попытка отделиться от стада, избавиться от тупой «благодарности» за то, что хоть что-нибудь дают («все хорошо, прекрасная маркиза!»), стать свободной личностью — без чего не бывает любви. Иначе — остается чистая абстракция, абсолют,

⁵¹ Когда в бой идут «за власть советов», чтобы «как один умереть» — это из той же оперы. По-настоящему революционная песня: «мы наш, мы новый мир построим».

«истинно нравственный смысл» — в котором нет ни истины, ни нравственности, ни смысла.

* * *

[56] Внутренне постигнув, что жизнь есть нечто неизмеримо более широкое и глубокое, чем то, что он переживает, про-живает, изживает в качестве таковой, любящий человек всем своим существом чувствует: она не кончается с его собственной кончиной. Те, кого он *любит*, остаются жить, а в них — и он сам; и чем больше тех, кого он действительно (то есть, действительно!) любит, тем больше его — общей с ними — жизни остается и после его смерти.

Если постигать не «внутренностями», а понимать любовь в диалектико-материалистическом ключе — почти глубокая и почти правильная мысль. Но скользкие формулировочки на каждом шагу протаскивают идеализм.

Бессмертие — это не жизнь после смерти, как объясняют попы. Оно вообще вне жизни и смерти, оно *снимает* их различие. Когда человека утешают: ты все равно умрешь, но тебя продолжают другие, — это не отменяет самого факта *моей* «собственной» смерти. Материалист сказал бы: «она не кончается». Точка. Идеалист добавляет: «с его собственной кончиной» — то есть, все-таки кончается. Когда человек любит (излишне добавлять: «истинно», «по-настоящему» — неистинной и ненастоящей любовь не бывает), для него вопрос о жизни и смерти *вообще не стоит*. У него есть нечто более высокое.

Далее, человек остается жить не в тех, кого он любит, — а в том, что он совершил (в частности, этим свершением может стать и другой человек). Совершенно материально, а не в качестве «вечной памяти». По логике Д., любовь обязана быть взаимной — чтобы по кусочку себя раздать тем, кто согласится принять «дар». А остальное человечество? Только фон для межсубойчика? Как-то не по-людски получается...

Память — не в самом человеке, она в других. И не всегда добрая. Нередко бывает, что людей помнят за то, чего они никогда не делали (например, живой Антонио Сальери в потомках раздвоился на великого музыканта и подлого убийцу). Более того, помнить могут и того, кого вообще никогда не было (вроде Козьмы Пруткова или Иисуса Христа). Остаться в других — дело нехитрое. Для этого вовсе не нужно кого-то любить. Надо просто уметь себя пристроить (как деньги вложить).

Способность любви — совершенно противоположна бизнесу. Любящему безразлично, есть ли он сам, — ему важно, что есть любовь. Полюбят ли его в ответ, получится ли из этой затеи что-либо полезное и значительное, останется ли что-либо в ком-нибудь — не все ли равно? Люблю — и это освещает все вокруг (даже такую мелочь, как жизнь или смерть). Только в этом свете я могу видеть мир, во всей его красоте, и во всем безобразии. И с открытыми глазами (или — просветленной душой) заниматься переустройством мира, делать его воплощением любви. Не в этом ли суть разума? Именно в любви человек чувствует себя равным мирозданию; в нем просыпается Вселенная.

В любви исчезает само различие «ты» и «я»; поэтому нельзя сказать: «моя любовь» — есть просто любовь. Не потому, что человек забывает о себе — а потому что он *становится* другим, возвышается до любви — и возвышает весь мир.

Очевидно, раздробленное на кланы, нации, классы и сословия человечество — не самая плодородная почва для любви. Именно поэтому редкие встречи с ней воспринимаются как чудо, откровение, великое потрясение и озарение. Когда-нибудь — если случится до этого дорасти — любовь станет нормальным состоянием разумного человека. И будет совсем другая жизнь...

* * *

Господа смотрят на рабов как на нечто безусловно низшее, как на насекомых, лишенных сколько-нибудь человеческих черт. Г-н Д. с восторгом цитирует Толстого:

[56] «... эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. [...] смерть беспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа.»

Граф бесконечно далек от народа — о его бедах он не знает ровным счетом ничего. Какие-то мухи дохнут миллионами — и никто против этого не возражает, все тихо-спокойно, сплошной восторг и благолепие. Что человежье насекомое способно чувствовать и переживать — барину и в голову не приходит.

«И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, — многое множество... И все они знали смысл жизни и

смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро».

Супер! Оказывается, рабство и нищета — это «величайшее счастье»! Несчастные господа всю дорогу страдают в своих хоробах (с жиру бесятся) — а крестьянин в развалюхе или рабочий в казарме (или проститутка в борделе) беспредельно счастливы. Ради такого дела можно закрыть глаза на вопиющий факт: история цивилизации всегда была (и остается) борьбой классов. Рабы отнюдь не «спокойно трудились, переносили лишения и страдания» — нет, они постоянно восставали — но восстания эти подавлялись железной рукой, чтобы очередной зажавшийся «страдалец» мог без опаски строчить подлые пасквили о величайшем счастье угнетенных масс.

Любовь как этический принцип означает, по убеждению русского писателя, прежде всего бережное и благодарное отношение человека к своему бытию, понятому как дар — дар высшей любви.

Надо отдать Д. должное: он совершенно точно выразил классовую суть толстовства, его идеалистическую основу. Любовь можно в каких-то обстоятельствах сделать этическим принципом. Но любая попытка свести любовь к этике и этику к любви означает лишь одно: смерть любви и уничтожение нравственности как таковой. Любовь = свобода, нельзя любить по обязанности, по предписанию сверху. Дареному коню в зубы не смотрят — очень удобная поговорка для господ всех мастей и прислуживающих им идеологических диверсантов. «Высшая» любовь по-толстовски — это любовь, «дарованная» свыше, — в переводе на человеческий язык: любовь к вышестоящим. А любовь (как разум) не бывает различной «сортности»; невозможно любить «по частям» — ибо любовь и *есть* человеческое выражение целостности, единства мира.

... бытие предстает в глазах Толстого не как пустой и бессодержательный эмпирический факт, но как факт нравственный: благо.

Бытие — не «нравственный факт», а именно *факт бытия*, из которого и вырастает всякая нравственность. Презрительное отношение господ к «эмпирии» — продолжение все той же идеалистической позиции, оправдывающей классовое господство «высшими соображениями», вопреки исторической очевидности. Барин пользуется всеми благами — и требует, чтобы все считали (его, барское) бытие благом. У него много всяческого добра — и поэтому он (по определению) добрый. Делиться он ни с кем не собирается (разве что по дури) — а рабам оставляет лишь «постижение бытия как абсолютной целостности и единства»: нечто,

выделенное (барином) рабу персонально («дарованное *именно ему*»), — принадлежит «*ему вместе с другими*» [57]: я даровал — я и отнять могу в любой момент (и отдать кому-то еще); или по скорбной русской пословице: *бог дал — бог и взял*. А разу уж все под богом ходим, то и мыслить себя можем только в качестве (и в числе) рабов божьих:

Ведь стоит только «отмыслить» от моего бытия бытие всех других людей, как тут же исчезнет и мое собственное бытие.

Всякая попытка быть не как все, малейший выход за установленные рамки — карается смертью. В какой-то мере это прогрессивно: рабы начинают в конце концов консолидироваться в класс — и противостоять господам как классу. Но это о классовой борьбе, а не о любви.

[57] По этой причине моя благодарная любовь к бытию, которое непосредственно раскрывается мне во мне самом, с тою же непосредственностью переживается мною как *любовь к другим людям*, участвующим «моем» бытии точно так же, как я участвую в «их» бытии...

Поскольку *человеческое* бытие общественно, «любовь к бытию» и «любовь к другим» — это одно и то же. Просто любовь.

* * *

Какой ни на есть, Толстой все же писатель — и само его ремесло заставляет его порой отодвинуть в сторону неуклюжую философию и уступить художественной правде. Сила искусства в том, что оно делает зрячими даже тех, кто этому усиленно сопротивляется. Но тут на подмогу спешит профессиональный философ Д. и любые попытки вправить идеалистический вывих решительно пресекает, выкручивая руки искусству искусственными интерпретациями...

* * *

Любовь не «путь преодоления страха смерти» [57]. Любовь — преодоление жизни и смерти как таковых.

* * *

Д. на каждом шагу подчеркивает противопоставленность человека «другим» — и поэтому, якобы, нужно «прорываться» к другим, а это

«согласно Толстому дается только любовью». Не хотел бы я, чтобы ко мне кто-то вот так «прорывался»... И обретал «истинный смысл» своей жизни за мой счет.

А дело-то в том, что человек изначально не противопоставлен другим; до осознания собственной индивидуальности ему еще предстоит дорасти — по мере становления этой самой индивидуальности. И далеко не все становятся и дорастают. Любовь в этом плане — как индикатор: зажглась — значит есть что-то разумное за душой.

Но речь не идет о «прорыве» к другим — предстоит «прорваться» прежде всего к самому себе, стать разумным существом, а не умножать поголовье скота. И уметь принять на себя всю тяжесть и боль бытия, не перекладывая ответственности на других. Стать представителем всего человечества — и мира в целом.

* * *

«Смерть Ивана Ильича» — типично толстовская вещь: корявый язык, назойливое морализаторство... Но все это можно простить ради нескольких крупиц озарения. Здесь Толстой родил гениальнейшую фразу, которая вполне могла бы считаться вершиной его творчества: «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать». Всего на сорок лет позже Маркса — это не срок по историческим меркам.

Надо отдать должное Толстому — он и по жизни пытался что-то делать, не ограничиваясь словесными эскападами. Конечно, классовая ограниченность часто превращала действие в бесплодные метания, в фарс. Однако буржуазные литераторы еще долго не могли вырваться за рамки профессиональности, превращаясь в коммерсантов от искусства. Решительно порвать с рынком, как это сделал Толстой,⁵² — к этому люди начали подходить лишь сотню лет спустя, в начале XXI века, но и сейчас это экзотика, исключение из правила, больше подтверждающее его.

В контексте повести принцип деятельной любви, к сожалению, не найдя воплощения, остается умоглядной абстракцией. Слишком

⁵² Справедливости ради следует заметить, что такое «бескорыстие» опиралось на унаследованное положение в обществе и состояние и продолжало старую традицию аристократического «дилетантизма», когда богатые могли заниматься искусством ради развлечения, а не в качестве источника средств к существованию. Для литератора-разночинца (или обнищавшего дворянчика) авторское право — дело святое, он иначе не выживет. Любовь у буржуа неизменно вызывает мысль о деньгах.

поздно пришло озарение, слишком оно зыбко и ограничено, и последний жест Ивана Ильича напоминает ритуальный постриг русских царей — попытку купить царствие небесное в последний момент. Осознание вины — тоже немало. Но нет в нем смысла, если за ним не следует искупление — а это не единичный акт, а долгий, тяжелый, повседневный труд. В качестве исключения еще можно было бы принять высокую жертвенность — но Иван Ильич об этом подумать не успел.

* * *

Конечно же, Д. не может принять художественной правды — ему нужно заменить ее суррогатом «нравственной философии», поправить Толстого там, где он начинает вести себя слишком уж по-человечески. Прежде всего, задвинуть подальше собственно искусство и вытащить на первый план откровенную искусственность. Понятно, что переживания умирающего в реальности далеки от унылого философствования, на которое обрекает Толстой своего Ивана Ильича. Но г-на Д. [60] «эта сцена потрясает своей внутренней достоверностью: здесь нет ничего надуманного». И чтобы, не дай бог, не поняли неправильно, надо приписать Толстому пошленькую житейскую «философию»:

[61] ...жизнь не кончается вместе с ним, она продолжается в его близких и любимых, а с ними, в них — живет и он.

А толстовский почти покойник просто радуется смерти как концу страданий (неважно, своих или чужих). К перспективе продолжения в других Толстой в этой повести относится ехидно-иронически: первые страницы красочно выписывают, как честная компания восприняла известие о смерти Ивана Ильича. Оказывается, что никому нет ни малейшего дела до чужого исчезновения, и хочется скорее покончить с ритуальным действием, дабы с чистым сердцем возобновить суетное существование. Вся соль повести в том, что Иван Ильич (равно как и его близкие, и все прочие, и даже буфетный мужик Герасим, которым так восторгались последующие проповедники «живой жизни», вроде Вересаева) умер задолго до своей физической смерти, что он, по сути дела, и не жил вовсе. Не глупо ли воспринимать эту одушевленную пустоту как «дар человечеству, который не перестает быть даром оттого, что каждому человеку предстоит умереть»?

Когда некто повязан только на «близких и любимых» — это не человек, это нечто, в лучшем случае, растительно-животное. Человек как

разумное существо, как действующий дух, — изначально безграничен, ему мало и человечества в целом, ему важно слиться со всей вселенной (да и не с одной!). И живет человек — сам, а не в ком-то или в чем-то. Разве Сократа мы знаем только по его сварливой жене? Много ли читателю известно о родственниках Рабле, Мольера, Сервантеса? Беднягу Ницше родственники после смерти причесали под нациста, состряпав совершенно антиницшеанскую *Волю к власти*. «Близкие и любимые» — слащавая условность; на деле по-разному бывает. Сам Толстой, например, продолжался отнюдь не в жене и детях, а, скорее, вопреки им, — причем, парадоксальным образом, именно благодаря утверждению той самой буржуазности (примат закона), которую он презирал и осуждал.

* * *

В главе о «ницшеанской интеллектуальной ориентации» — ни слова о Ницше. Если не считать высокомерного замечания, что Ницше «было чему поучиться»... у Достоевского! В шовинистическом угаре Д. сам себе противоречит, помещая своего литературного любимчика в одну команду с презренным швейцарском психом. Для порядку звякнув именами Шпенглера и Хайдеггера (мы, дескать, и о них наслышаны!), Д. ограничивается в дальнейшем лишь критикой Макса Вебера, которого с Ницше трудно перепутать даже в измененных состояниях сознания. При этом походя отождествляются «проблема смысла жизни, как ставит ее Толстой, и проблема нигилизма, как формулирует ее Достоевский» [63], которые, предположительно, «уходят своими истоками в одну и ту же народную традицию».

[61–63] В толстовской постановке вопроса о смысле жизни существенно важную роль играет исходная предпосылка, согласно которой вопрос этот не может быть правильно поставлен как вопрос «одиночки», штирнеровского «единственного», или, говоря более современным языком, «атомизированного человека». Дело в том, что само бытие этого человека, коль скоро оно переживается им как его — «исключительная» (и «исключающая» всех «других») — *собственность*, нечто оторванное и обособленное от бытия «остальных» людей, представляется русскому писателю чем-то глубоко неистинным. А раз это так, то и ответ, который может дать человек, отправляясь от этого своего бытия, неизбежно будет ложным, если он будет отнесен к бытию вообще, бытию как таковому. Ложный хотя бы уже потому, что для

«одиночки», «монады», «единственного» не существует главного в бытии: его целостности, его «неделимости», его «всеединства». И в этой своей постановке вопроса Толстой глубоко традиционен, поскольку в ней нашла свое выражение нравственная установка народа, не мыслящего себе бытие иначе как данным всем людям, всему «миру».

Длинная цитата — но иначе трудно подсветить дурно пахнущий букет маразма. Совершенно разные идеи свалены в одну кучу — все равно читатель западных философов не знает и жульничества не углядит.

Да, капитализм противопоставляет человека человеку, делает их сторонами сделки, а не партнерами по общению. Загнанные в клетку товарного обмена, люди формально тождественны, они перестают быть личностями. Но, ведь, в этом же состоит и суть всякой общинности: человек воспринимается не как самостоятельная всеобщность, а как представитель узкой группы, не по своей воле рожденный таким среди таких.⁵³ Заигрывание с традицией обернулось апологией рабства. Следуя той же логике, легко породнить рабочего и капиталиста, крепостного крестьянина и феодала — точно так же, как рабы в античности считались членами семьи. Дескать, мы же все люди, все делаем одно общее дело, и есть у нас общечеловеческие (национальные, производственные и т. д.) интересы...

Буржуазный индивидуализм последовательнее и прогрессивнее «нравственной философии». Он заставляет человека взглянуть в лицо грубой реальности, не прятаться в семейное гнездышко или пошлую мораль. Признать вину — даже если не в силах ее искупить. Именно то, что высмотрел Д. у Толстого, — чтобы тут же отречься. «Атомизация» общества — объективный процесс; нельзя повернуть историю вспять, к простым первобытным «радостям». Истинное для неандертальца — не всегда работает в эпоху глобализации и космической экспансии. Доводя до предела отчужденность и одиночество, капитализм готовит почву для общности более высокого уровня, сознательного единства свободных людей. От формального уравнивания всех членов общества в их отношении к собственности — один шаг до осознания собственного бытия как продукта деятельности, до стремления самим вершить свою судьбу, а не ждать «даров» свыше. Рыночное хозяйство превращает людей в товар; но хотя бы в пределах рынка человек пытается (учится)

⁵³ В этом плане, переход от общинности к глобальной общине, человечеству в целом есть великое достижение, духовный прогресс.

сознательно распоряжаться собой, вплоть до вопросов жизни и смерти. И мир для него — не ближайшее окружение, не родственники и друзья, а Вселенная целиком.

Барин считает себя выразителем «нравственной установки народа» и упорно не желает признавать индивидуальное бытие холопов их собственностью — с вытекающей из этого (хотя бы формальной) неприкосновенностью, невозможностью прямого диктата свыше (то есть, придется поторговаться). Куда проще спускать сверху «моральные абсолюты» — и пусть они на них опираются. А кто не хочет — сдохнет.

Понятно, что буржуазное барство ничем не радужнее: технология причисывания масс под какие угодно абсолюты отработана до мелочей. Роль носителя перекроенной на буржуазный лад народности берут на себя (узурпируют) мелкие чины из разорившихся и новых дворян, ядро прослойки, которая будет впоследствии (столь же самозвано) величать себя российской интеллигенцией. Но если самодержавие утверждает «народность» грубой силой — экономически ущербные недобуржуи вынуждены обратиться ко второму звену черносотенной триады, православию. Здесь корни «духовных» исканий Достоевского. Согласно Д. толстовщина с достоевщиной «уходят своими истоками в одну и ту же народную традицию». Насчет народности — см. выше; а вред нигилизма (под который запросто подводится любое бунтарство) Достоевский якобы усматривает «в потере нравственных абсолютов» — когда русская литература попадает в лапы опытному парикмахеру Д., всех поголовно причисывают на единый манер.

Ведь ни один народ, по убеждению русского писателя, не может жить, не опираясь на моральные абсолюты.

Кто против лакейской морали, не нуждается в абсолютах и не пытается примазаться одновременно к скоту и его погонщикам, — тот, как можно заключить, не русский, и не писатель.

Гарантированные всюю нравственной жизнью народа нравственные абсолюты, по убеждению Толстого и Достоевского, воспринимаются в качестве таковых и каждым человеком, коль скоро он еще связан с этой жизнью. Однако стоит только оторваться ему от этой нравственной субстанции, как он утрачивает и веру в абсолютность своих абсолютов. Жизнь его теряет высший смысл...

Высший смысл — это предписания свыше. Абсолютная монархия, полновластие церкви. Кто против — нигилист, и пора в распыл. Важная оговорка: эти (безнравственные) абсолюты воспринимаются «в качестве

таковых» только теми, кто связан с «этой» (безнравственной, подлой) жизнью; за ее границами, на воле, — никакой абсолютности вообще не может быть, и не нужна никакая вера. Судорожно цепляться за «веру в абсолютность своих абсолютов» — яркая характеристика законченного раба, который совершенно лишен убеждений и даже в абсолютность навязанных ему абсолютов может только верить.

* * *

То, в чем раболепствующие теоретики усматривают утрату смысла жизни, — всего лишь указание на неабсолютность любых смыслов, необходимость искать новые направления деятельности, когда старые ориентиры изживают себя. Если все опирается на авторитет начальства, замена одного начальника другим воспринимается как личная трагедия. Когда человек свободен — никакая утрата (в том числе утрата жизни) ему не страшна.

* * *

Разобщенность разобщенности рознь. С точки зрения барина — сплоченные коллективы удобнее, ими легко управлять (даже если это оппозиционная партия). Другой полюс того же самого — буржуазный индивидуализм, противопоставление одного рыночного агента другому, когда любое партнерство оказывается временным союзом, сделкой. Разумный человек вообще не задумывается о том, чтобы с кем-то объединяться и чему-то соответствовать; он действует согласно разуму, и даже быть выразителем всеобщего, полномочным представителем человечества, — слишком узко для него.

* * *

Убежденность метафизика в абсолютности его (доморощенных) истин так и прет из полемики в Вебером по поводу отношения Толстого к «смыслу смерти»:

Многое в этом рассуждении близко к истине, но в целом нельзя признать его верным. Здесь дано не изложение концепции Толстого, а ее толкование, причем такое, при котором она могла бы войти в

структуру построения самого Макса Вебера, выступив очередным аргументом в его пользу.

Но разве сам Д. занимается чем другим? Его толкования Толстого и Достоевского бесконечно далеки от литературной реальности; более того, опираются они не на литературу как таковую, а на рассуждения вокруг литературы — на рефлексию авторов, которая, как это часто бывает, подменяет действительные (действенные!) мотивы другими, более приличествующими для предъявления начальству и широкой публике. Так, приписывая Достоевскому веру в абстрактные абсолюты, г-н философ не замечает, что практически все написанное Достоевским как раз и борется против абсолютизации чего бы то ни было, подчинения человека идее, мнению, обычаю... Именно Достоевский показывает, что чрезмерная убежденность или вера — источник народных страданий, и не может быть истинным то, что куплено такой ценой. В частности, этим привлекало Достоевского русское старчество — которое решительно выводит отношения людей за рамки религии, требует действенного решения человеческих проблем; попы прекрасно видят — но терпят ересь: они что угодно стерпят, если это делает рекламу — и позволяет больше наварить на (загнанных абсолютизмом в абсолюты) дураках. Даже любовь, превращенная в абсолют, поставленная над разумом, — превращается в разрушительную силу, уничтожает все вокруг и самое себя.⁵⁴ Конечно, писатель не может, не имеет права превращать художественное произведение в памфлет или трактат — это было бы выходом за грань искусства. Достоевский нашел свой, особый путь: всепроникающая ирония, сарказм под маской серьезности, — как бы доказательство от противного. Он достойно продолжает сатирическую линию Гоголя и Салтыкова-Щедрина, доводит метод до совершенства, логического завершения. И в этом он противоположен Толстому, делающему искусство «как барин праздный, оторванный от почвы человек», — которому, по большому счету, все равно, как отзовется его слово в народе: прокукарекать — и можно дальше в темноте.

У всех свои тараканы. Я прислушиваюсь к своим — и несколько сгущаю краски. Не полемики ради, а чтобы не увлечься проповедями,

⁵⁴ Резко отрицательное отношение Ленина к Достоевскому во многом связано именно с этим идейным посылом: великий вождь боялся признаться себе в заведомой неистинности слишком однобокого, узко партийного подхода к человеческой истории и к практике строительства бесклассового общества. Ему (объективно) важнее было подавить врага — а не общаться с другом. Трагедия гения.

выращивать в себе убеждения, а не предрассудки (абсолюты). Быть иногда несерьезным — это обезоруживает, и конец войнам. Как не вспомнить Достоевского:

Но ничего так не боялась Варвара Петровна как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений.

Напротив, Д. призывает придавать (якобы следуя Толстому) «истинную *серьезность* простейшим межчеловеческим отношениям» [68], когда «любая ошибка приобретает совершенно особый — принципиальный — смысл». Успокойтесь, дядя! Не надо запугивать нас и себя. Любые отношения — делают люди, и они же могут их переделать, не взирая ни на какие серьезности. А ошибемся — еще раз переделаем, и поправим себя сами, без царей, богов и вашей безнравственной философии.

* * *

Вместо «живого, непосредственного отношении людей друг к другу» [66] — будем относиться друг к другу разумно, не ограничиваясь жизнью, и вовлекая все возможные опосредования. И не замыкаясь «в нравственной сфере», где, якобы, «только и возможна истинная любовь человека к человеку». Наша любовь — сразу во всех сферах, она так же бесконечна, как и мы сами, и ее незачем осмысливать, не надо к ней ничего домысливать.

* * *

Больше всего, по убеждению русского писателя, тесному непосредственному общению людей, сызмальства воспитывающему в них нравственное отношение друг к другу, способствует традиционный *трудоуклад* народа — как русского, так и любого другого.

Оставляя в стороне вопрос о том, насколько это вяжется с думами Толстого, заметим, что *любое* общение возможно лишь в совместном труде, а не так, чтобы труд ему только «способствовал». Не столь важно, каков характер труда — и требуется ли собирать толпу для пушей «непосредственности»: общаться можно на любых расстояниях, через время, и даже вообще ничего не зная друг о друге. Не наткаться друг на друга как молекулы в газе — а разумно выстраивать и перестраивать

трудовой уклад, чтобы избавить его от навязчивой традиционности, сделать продуктом, а не спущенным сверху условием деятельности. Вот тут очень кстати о «добывании» и «творчестве» жизни, о «поддержании» и «воссоздании» [68]. Жизнь человека — не абстракт, присущий ему «по природе»; это не обстоятельства, в которые предстоит встраиваться. Жизнь надо делать — так, как мы считаем разумным: что-то пока оставлять — что-то пересоздавать, на другой основе. Но не ради жизни самой по себе — а сообразно текущим историческим задачам; такая включенность в деятельность и называется смыслом.

* * *

И не надо опять про «слиянность простейших межчеловеческих отношений с нравственными отношениями»! Почему мы должны ограничивать человеческие отношений «простейшими» — и кто тут за критерий простоты? Вспоминая, что «нравственность» г-н Д. понимает на уровне вульгарной обывательской морали, можно не удивляться: вписываются в эту мораль только самые примитивные, полуживотные формы общения. Бриллиантом в куче навоза — идея любви как «утверждения одним человеком бытия другого человека» (хотя бы и опошленная чисто рыночным требованием «благодарности»).

Вот где та «архимедова точка», опираясь на которую молодой человек, стремящийся к подлинно нравственной жизни, может (и должен) последовательно, шаг за шагом, «выстраивать» свои отношения к окружающим его людям, и не только «родственно» близким ему.

Нельзя быть нравственным, стремясь к нравственности. Нельзя любить, желая любви. Трудиться надо, творить, пробовать себя во всех сферах бытия — только это нравственно, и только так можно любить.

Фундаментальная идея за метафизическим косноязычием — развертывание иерархии человеческих отношений в деятельности. Начиная с любви — мы вовлекаем в нее весь мир, становимся равными миру. Каждый развертывает иерархию по-своему, от своей вершины. Все это стороны одного и того же — поскольку любая из таких, единичных структур в итоге охватывает вообще все. В единстве всех возможных обращений — возникает иерархия человеческого общества, что Д., неуклюже называет «элементарной, клеточной структурой». Но кончается все равно за упокой: оказывается, всю это нужно только ради «сохранения в человечестве убежденности в осмысленности жизни,

веры в нравственные абсолюты!»! То есть, главный начальник «бдит и бодрствует» — и только он будет решать, кого и как мы должны любить.

* * *

Про «безумие Ницше, также отвергнувшего любовь» — полная чушь. Называть так человека, который всем творчеством доказывал, что *он и есть любовь*, — это с очень большого бодуна... Ницше умел любить, он дал миру любовь нового типа — отношение истинно духовное, а не абстрактно супружеский долг. За это его ненавидела жена (буржуазно недалекая и неспособная любить) — и отомстила после его смерти.

* * *

Упрекая Вебера в неспособность «понять перспективу сохранения нравственной народной субстанции», Д. проповедует обыкновенную стадность, выставляя народ не вершителем истории, а просто быдлом. Оказывается, приветствовать научно-технический прогресс — это «парализовать нравственные искания». И то верно! — пусть рабы сидят в дерьме и едят дерьмо. Под это всячески стараются причесать буржуазную науку: не помогать людям, не менять радикально условия бытия, а только наваривать капитал на чужих бедах.

Конечно, мало разума в том, чтобы бросаться в другую крайность и вместо вылизывания задницы начальственному абсолюту рисовать

перспективу жизни «под знаком «войны богов» — противоборства различных абсолютов, — из которых нельзя избрать ни одного, не оскорбляя тем самым «всех остальных богов».

Но тупость Д. превосходит все пределы, и он вопит про конец всему:

[70] там, где абсолютов (богов) много, ни один из них уже не является абсолютным. Так что жизнь под знаком «войны богов» — это жизнь без абсолютов, под «опустевшими небесами».

Чушь несусветная. Приписываемая Веберу позиция лишь продолжает и развивает линию абсолютизма: когда абсолютов много — каждый из них не перестает быть абсолютом; это не борьба с верой, а всего лишь веротерпимость (чего одержимый идеей самодержавия, православия и народности Д. принять, конечно же, не может).

Именно жизнь без абсолютов, изгнание царей и богов, превращение небес в банальный ближний космос — вот настоящая любовь, свобода; именно в этом пафос гуманистической философии (или, скорее, поэзии) Ницше. Это не «нигилизм» — это утверждение человека разумного, творца вселенной, у которого никто не сможет отнять любовь.

* * *

Д. изобретает какую-то «психологику» [73]... В одной куче совершенно разные вещи: животное (психика) и разумное (эстетика, логика, этика). Что-то не в порядке у Д. с психикой — или с логикой?

* * *

Пушкинское переложение анекдота о Моцарте и Сальери, конечно же, навеяно ходячими теориями, модным философствованием. Похоже, литературный эксперимент не удался: слишком прямолинейно, просто лубок. Так оно всегда и бывает: когда автор заранее знает, что он хочет поведать миру, — он перестает делать искусство и начинает назойливо поучать. *Маленькие трагедии* не нравились и самому Пушкину — но к тому времени он уже стал коммерческим писателем и был вынужден творить на продажу. В последующих поколениях пьесы всплывали, в основном, на волнах диссидентства — не как утверждение разумных начал, а в качестве абстрактного протеста; абстрактность и пустота образов тому очень способствуют.

Но здесь мы обсуждаем не Пушкина, а современных буквоплетов. Согласно Д., «Сальери хочет утвердить свою собственную правду». Тут есть два очень разных варианта: «собственное» мы понимаем либо как самостоятельно найденное, выстраданное, — либо только свое, как собственность. В первом случае человек вправе поступать как считает нужным — без оглядки на то, как к этому отнесутся другие и он сам. Второй, рыночный вариант — всего лишь конкуренция, и эта тенденция утверждается всем ходом развития капитализма. Пушкин (поданный под соусом Д.) не замечает ни духовных поисков Сальери — ни трагичности мира, в котором человеку так часто приходится действовать вопреки человеческому в себе. Для Д., Сальери просто псих, «нигилист» — чего ради надо было бунтовать? Сверху спустили разнарядку: этих в гении,

этих в отстой... Вот и ликуйте. Не надо против начальства. Больше всего Д. возмущает «нечто вроде мародерства по отношению к богу, им же самим и признанному мертвым»; где логика? — если бога нет, так нет и «мародерства, а есть попытка человека взять ответственность за судьбы мира в свои руки — не спихивая ни на кого.

Отныне он, Сальери, хочет единолично, без оглядки на молчаливые небеса решать, что есть истина, а что — ложь, что следует считать добром, а что — злом, предписывая свое решение «другому».

Бунтовщик! На виселицу его! — в кандалы! — в Сибирь! Сам того не замечая, Д. выбалтывает и главную ошибку вымышленного персонажа: речь об установлении «принципов всеобщего законодательства» (слова Канта!) как основы этики — то есть об утверждении столь милых сердцу Д. абсолютов. А если есть хоть один абсолют — разуму пора искать другое жильё (о чем жестко — иногда слишком жестко! — сказано у Достоевского).

Заметим, что Д. вовсе не против убийств — он вполне согласился бы с убийством на дуэли (и значит, Пушкина убили совершенно законно, по всем правилам); тем более не оставляет сомнений право начальства казнить и миловать. Но тут случай особый: человек заявляет, что никакие правила не вечны, и люди могут (и должны!) их менять. Просто суперкрамола!

Но если все это так, то убийство, совершенное Сальери, может быть квалифицировано лишь двояким образом: оно — либо «сверх»-, либо «недо»-человеческое деяние.

Метафизика без намордника. Почему всех надо выстраивать на одной вертикали? Есть тысячи других вариантов. У Д. типично классовый менталитет: отношение к другому мыслимо только в разрезе господства и подчинения, и либо надо признать господина и повиноваться ему — либо подчинить другого себе, поиграть в местного князька.

Его всегда интересовало только одно — «гений» он или нет, а что означает это «нет», как оно в действительности расшифровывается, — его не интересовало. Вопрос о том, «гений» он или «не-гений», был для него совершенно равнозначен гамлетовскому «быть или не быть?»...

Снова о том же: либо вознестись над миром — либо покориться ему. Другой постановка вопроса Д. не знает. Разумный человек делает то, что считает важным на данный момент — мнение других его не интересует. Гений или нет — какая разница? Важно, что ты делаешь, а не как это

назовут. Разум — не оправдание, а движущая сила. В качестве боковой ветви: покорность *всегда* означает и безразличие к формам «небытия» (это вовсе не субъективное качество, как полагает Д.!); как только мы предоставили кому-то право вершить наши судьбы — мы всего лишь рабы, материал для обработки, и придавать нам форму будет другой.

* * *

Человек может ошибаться. Но не изменять себе, не отдавать себя на чей угодно суд — не прятаться за спинами, не сливаться с толпой. Нравственность несовместима с совестью.

[76] Нужно было поставить Сальери лицом к лицу с его собственным злодеянием, чтобы он разом постиг бесконечную низменность своих тайных помыслов и — главное — их абсолютную несовместимость с его собственным представлением о гении и гениальности.

Назвали человека злодеем — и он сразу хвост поджал? Нет уж! Поучитесь у Ницше (и у Маркса, и у Ленина): взялся за гуж — не говори, что не дюж. Идти до конца — пока остается чувство разумности. Когда пора остановится и перейти к другому — разум подскажет. Только упрямство, застаивание в изжившем себя, в абсолютах, — вот подлость, ниже которой — лишь отречение, покаяние (не для виду, а в душе).

Выдуманный Сальери злодей не потому, что он убил. Его беда в том, что он не продолжал действовать в соответствии с убеждениями, а отступился от них, испугался «грязной» работы, — и тем самым обнаружил в себе подлого филистера, перешел на точку зрения обывательской морали. Это безнравственно — и значит, не было идейности и прежде, а только казуистика, уступка (снова рабство!) абсолютам. Точно так же Иуда: в традиционной интерпретации он вернул сребреники и удавился — изменил себе. Булгаковская трактовка интереснее — она показывает, как людей силой вынуждают отречься, создают видимость отречения (вспомним, конечно же, про Галилея!) — для устрашения рабов и для создания иллюзии безусловной правоты властей (которую усиленно пропагандирует Д.).

Признание неправоты не предполагает отказа от уже содеянного и тем более от будущего труда. Наши ошибки — и ошибками-то назвать возможно лишь с позиций классового сознания; это лишь попытки двигаться вперед, не завязнуть в «абсолютном» болоте. Не получится одним способом — попробуем другие.

А Д. твердит об «осознании Сальери низкой, злодейской природы содеянного» — и о «пробуждении совести». Не бывает низости вообще, абстрактного зла: это классовые понятия, позиция вполне определенных общественных кругов. Низкое с точки зрения буржуа — оказывается возвышенным и благородным у пролетария; наоборот, буржуи считают достойным уважения то, за что их следовало бы презирать. Поэтому говорить приходится не о «пробуждении», а о наваждении совести, о ее абсолютизации, фетишизации, — подчинении диктату властей. Разуму совесть не нужна — у него есть убеждения. Не абсолютные, данные раз и навсегда, — а подвижные, развивающиеся вместе с обществом и личностью.

* * *

Снова о психованной логике (приписываемой Пушкину). Вместо исторических реалий, исследования всеобщности наших деяний, — мистические излияния по поводу

крайне двусмысленного, исполненного темных соблазнов чувства, отмеченного не столько тоской по «умершему богу» и не столько даже возмущением по поводу отсутствия «высшей правды», сколько сатанинской гордыней, толкающей индивида все дальше и дальше по пути самообожествления. [77–78]

Ладно, допустим «сатанизм» оскорбляет ваши христианнейшие души. Но как по-вашему должны поступать *действительно* тоскующие и возмущенные? Где примеры? Без этого подвисают в пустоте ваши «психологические эксперименты» — они не ведут *вообще никуда*, и это похуже самого радикального нигилизма. Нетрудно догадаться, что в искусственно нагнетаемую пустоту быстренько сольются вполне определенные настроения: лакейская преданность «богоданной» власти, требующей ни в коем случае не «самообожествляться» — не отнимать у экспроприаторов ни уже награбленное, ни право грабить и дальше.

Разумному человеку незачем гордиться собой (или кем-то еще) — он просто живет сообразно разуму. Душителю свободы (в лице г-на Д.) называют это гордыней. Свободный человек не рвется к власти — но и не позволяет властвовать над собой; он никем не «распоряжается» — но Д. просто не в силах такое вообразить (вспомните *Коммунистический манифест* — про вопли обывателей по поводу «общности жен»). Пушкинский Сальери — далек от зависти: его занимают вопросы совсем

другого порядка, за гранью личных амбиций (именно обезличивание — источник губительных абсолютов, уподобление власти, а не борьба с ней). Исторический Сальери — великий музыкант и педагог, которого мышьяная возня вокруг приоритетов и рангов вообще не интересует: ему бы успеть (памятуя о судьбе Моцарта) дописать свой *Реквием* (и по счастью успел). И дело не в «трагичности самочувствия» — а в драмах общества, на каждом шагу путающегося в классовых противоречиях, противопоставляющего одних другим — и отчуждающего человека от самого себя.

* * *

Метафизический рассудок привык оперировать лишь вечным и неизменным, якобы априорным и абсолютным. Поставили рабочего за станок — и пусть всю жизнь тачает одну деталь. Даже если эту деталь уже не вставить ни в одну из современных машин. Тем более возмущает Д. прагматичный политик,

убивающий направо и налево, чтобы утвердить одну свою «правду», а затем — диаметрально противоположную.

Тут даже не надо лезть во французскую литературу: вспомните историю борьбы Ленина с отзовистами (во главе с «эмпириомонистом»), а потом и разворот от «военного коммунизма» к нэпу.

[79] Как правило, они «гробят» совсем даже и не одного, а многих «других». Причем каждое из этих убийств, совершенных ими без зазрения совести и без малейшего сомнения в его «оправданности», как бы молчаливо утверждает их в своем праве делать следующее.

Две крайности: абсолют совести — и абсолют убийства. А по жизни, одна совесть другой рознь — и убийство убийству тоже. И дело тут вовсе не в «праве» — а в объективной необходимости, которую разумный человек призван превратить в необходимость историческую. История не движется сама по себе — ее делают люди, или, с другого ракурса, она себя делает руками людей. Есть реальная расстановка классовых сил — и совесть одних оказывается бессовестностью для других. Если что-то должно быть сделано — найдутся исполнители. Вопрос лишь в том, кто и кому будет диктовать свою волю. Господа вроде Д. ратуют за православие (абсолютную мораль) и за царя-батюшку (абсолютного монарха) — и называют это народностью.

Но даже очень предвзятый взгляд обнаруживает в истории кровавые страницы, писанные под диктовку (или диктат) «законных» властителей и «истинной» веры. С точки зрения Д. — это нормально, это их право. Отрицать правоту верхов и переделывать мир — не имеете права.

* * *

Как только идея превращена в абсолют и возведена в ранг ценности в себе — человечество неизбежно делится на классы по отношению к этой идее. Пока Раскольников занимается арифметикой («одна смерть и сто тысяч жизней взамен») — тут нет этических проблем (если не учитывать, конечно, нормальное для разумного человека стремление по возможности избежать жертв, и заниматься не выданным из истории примером, а изменением хода истории в целом). Этика против, когда людей начинают делить «обыкновенных» и «необыкновенных»: вся соль в том, что делают историю самые обыкновенные люди, — и не для того, чтобы уверовать в собственную исключительность, а следуя голосу разума. Я пишу эти строки не потому, что я гений, — а желая разобраться в происходящем и составить себе целостную (то есть, разумную, человеческую) картину прошлого, настоящего и будущего; тогда станет ясно, что предстоит делать сейчас, в ближайшей и отдаленной перспективе. Что-то изменится в мире — картину придется менять, ничего не поделаешь. Какое может быть «раскаяние»? Какая «совесть»? А, вот, когда лезут в наполеоны и добиваются особых прав — это чисто классовая мотивация, и ничего человеческого в этом нет.

* * *

Вот она, истинная, а не подложная интеллектуальная совесть...

В переводе: ханжество. Вместо совести — всего лишь интеллектуальная «совесть». Если у вас есть разумная цель — действуйте, и незачем оправдывать и оправдываться. Типичная черта российской (и не только) интеллигенции — интеллектуальный мазохизм: не согрешишь — не покаешься. Нагадить даже не для выгоды — а чтобы поиметь повод публично (а иначе не интересно!) бить себя кулаком в грудь и вопить: я дурной! Обязательно исповедаться, вывернуть душу и высыпать мусор на окружающих, выставить грязное белье на всеобщее обозрение.

В отличие от этого, подленького существования, всегда готового спрятаться в карман царственного благодетеля (спонсора), Ницше — сама искренность, честность, одухотворенность и неподкупность. Он ни от кого ничего не требует — даже от себя; он сверхчеловек не потому, что он «выше» людей, а потому что он далек от мерзости сравнений (выше, ниже, хуже, лучше...); ницшевский человек — существо заведомо несравненное, уникальное и по-своему единственное — это не правило, не закон, не пример, а всего лишь образец, демонстрация возможности, равно доступной всем. Только такие люди способны любить.

* * *

[83] ... знаменитые «метафизические опыты», которые производит экзистенциалистское «я» в целях утверждения «абсолютности» своей «свободы», это всегда опыты, на самом-то деле осуществляемые этим «я» не над самим собою, а над «другим»: экспериментирую над «другим», чтобы понять, «кто я есть».

А иначе невозможно! Человек узнает, кто он — только через отношение к другим; по сути, он *и есть* это отношение! Остается только вспомнить, что все это не абстрактная игра в абсолюты, а деятельность, и дух человека — не в нем: он одухотворяет мир.

* * *

Д. утверждает, что «самый общий вопрос нравственной философии» есть вопрос

о смысле жизни и моральном абсолюте, в свете которого человеческая жизнь обретает свой смысл и «горизонт»

Более узкую философию трудно себе представить. Разум не ищет смысл, он сам создает смыслы — и вовсе не абсолютные, а в каждом конкретном отношении, в деятельности. И уж тем более свободному человеку не нужны никакие «горизонты» — он всегда может снять само это понятие, неограниченно раздвигая себя в других измерениях. Человеческая жизнь возможно лишь там, где есть человек — который не сводится к одной только жизни, ибо его задача — перестроить весь мир, в прошлом, настоящем и будущем.

Философия как поиск единства мира — средство избавления от навязанных классовым обществом проблем. Как только кто-либо пытается «рассмотреть каждую из этих проблем в отдельности» — он теряет перспективу, всеобщую связь, и любая проблема становится неразрешимой; псевдорешение — абсолютизм, произвол одних и рабство других: это отказ от решения, передача в вышестоящие инстанции (которым якобы сверху виднее). Уберите эту классовую вертикаль — и само понятие проблемы исчезает, а остается только совместная деятельность и общение, труд и любовь.

* * *

Подзаголовок второго раздела книги: «Достоевский против Ницше и Сартра». Идиотизм с самого начала. Почему обязательно одни должны быть против других? Что-то есть у Достоевского, что-то у Ницше; давайте соберем все ценное до кучи и добавим по возможности от себя. Натравливая людей друг на друга, Д. выказывает себя верным сатрапом начальствующих кругов, всегда готовых поспорить бунтовщиков меж собой, чтобы перебить поодиночке.

* * *

Поскольку у Д. критика Ницше целиком зиждется на «посмертно опубликованных материалах и фрагментах» — можно, в принципе и не читать: посмертные записки составляли убежденные ненавистники и клеветники (вроде Д.) — а самого Ницше там практически нет. Смешно, когда один фантом критикует другие фантомы. Д. вынужден признать:

он слишком фрагментарен и имеет здесь характер скорее «заявки» на определенную тему, чем ее содержательного раскрытия.

Но даже изуродованный Ницше — исполин в стране карликов, который не возвышается над ними, а пытается с ними на равных разговаривать!

Мысль Ницше об историзме человеческих мотивов и оценок, об иерархичности и переплетении линий в истории, — это гениально. Сторонник абсолютов — вообще не врубается и предлагает считать это оправданием бессовестности и преступлений. Разумеется, совесть и убийство Д. трактует как абсолютные, для всех одинаковые и на все времена. Даже историчность классовой морали от Д. начисто ускользает,

и он все эпохи подгоняет под свой буржуазно-монархический идеал. Позиция типичная для раскритикованной Д. западной философии; тогда ничего кроме общих мест на выходе ожидать и не приходится.

* * *

До глубин метафизической души Д., возмущен исторически точным указанием Ницше: восставших против «общественного порядка» не «наказывают», а подавляют. Типичная позиция типичного барина: учить мерзавцев розгами (а также виселицей, костром и атомной бомбой) — для их же блага.

Разумеется, в историческом контексте само понятие преступления может сильно меняться: преступники одной эпохи предстают героями для другой, и наоборот. Точно так же, преступность — лишь с точки зрения класса: господствующий класс узурпирует право решать, что все обязаны считать преступлением, — это абсолют преступности, «горизонт» для Д.

* * *

[88] Восставший может быть человеком, вызывающим жалость и презрение: но в восстании самом по себе нечего презирать — быть восставшим против общества нашего типа — это само по себе еще не может снизить ценности человека. Имеются случаи, когда такому восставшему следовало бы воздать почести потому, что он ощущает в нашем обществе нечто, против чего необходимо вести войну: когда он пробуждает нас из дремотного состояния.

Что здесь от Ницше, сказать трудно; однако полагать, что тем самым Ницше оправдывает преступника и «прямо встает на точку зрения этого последнего» — это клевета. Обращаем внимание: четко разведены две стороны, историческая необходимость — и субъективные качества. История вовсе не обязательно выбирает для великих деяний киношно представительных типов, рыцарей без страха и упрека; иногда великое делают (даже против своей воли) отъявленные мерзавцы. Отношение к человеку и отношение к его поступкам — не одно и то же. По жизни постоянно приходится иметь дело с людьми (мягко выражаясь) неприятными — но как партнеры по работе они просто незаменимы. Поэтому в преступлении надо различать его общественное наполнение,

соответствие ему непосредственных исполнителей — и критерии оценки (в том числе этической) у разных общественных групп, в разное время.

* * *

«Нельзя, — продолжает Ницше, — принимать наказание в качестве покаяния или в качестве сведения счетов, как будто существуют меновые отношения между виной и наказанием, — наказание не очищает, так как преступление не грязнит» [90].

Опять же, неясно, что здесь от Ницше, а что от умелых подтасовщиков. В любом случае, последняя фраза точна — и требует комментариев лишь начало: можно подумать, что Ницше скатывается на неисторичную точку зрения и признает абсолютность наказания и вины. Сомнительно. Добавить префикс: *в общем случае*, — и тогда верно: в какие-то эпохи одно, в другие — другое. При капитализме *вообще все* становится меновой стоимостью — и закон превращается в преискуртант. Тенденцию уловил великий Гегель. Однако увязывать бытующие правовые формы с какой-то вневременной моралью — это против логики, в интересах классового заказчика. Откровенна клевета Д.:

для Ницше главное заключалось в апологетике преступления и преступника, сколь бы чудовищным оно ни было.

Да, поэт ненавидел посредственность — но не возводил вывихи в абсолют; история его борьбы с болезнью (вместо обожествления ее) — ярчайшее тому свидетельство.

* * *

Стремление «преступить» выражает согласно Ницше суть дела, а то, в *чем* оно найдет свое выражение, не столь важно.

Здесь есть глубокое рациональное зерно — которого Д., конечно же, замечать не желает. Еще раз: великие дела делают обыкновенные люди, а движение прогресса в классовом обществе почти всегда приобретает уродливые формы. Очень точно у (псевдо-)Ницше: всякий поступок есть одновременно и проступок. Культурная роль одно, ее проекции на индивидуальное и групповое сознание — совсем другое. Не путать мотивы с мотивировками, направления исторического развития — со способами участия в нем отдельных лиц. Попытка судить о поведении

людей с позиций абстрактной (то есть отчужденной от них, враждебной им) морали — все равно что лечить все болезни одной таблеткой: кто выживет — тот и праведник...

* * *

Д. упрекает Ницше в некорректности интерпретаций — чья бы корова мычала! Возможно, Ницше не знаток русской литературы — однако критикуют его не фактические ошибки, а за самостоятельность мышления, несоответствие пошлым стандартам, насквозь пропитанным идеализмом и метафизикой.

* * *

«Моральное презрение», то есть осуждение человека с точки зрения нравственных абсолютов и норм поведения, по утверждению философа, является «гораздо большим унижением и приносит гораздо больше вреда, чем любое преступление».

Только так! Неблаговидные поступки сами по себе — меньшее зло, чем их использование в целях промывания мозгов, для утверждения прав господ давить ростки свободомыслия. В обстановке насильственного насаждения рабелепствующей морали и казарменной муштры — даже заведомо глупое злодейство объективно оказывается вызовом мерзости общества, насаждающего культ силы; неразумные выходки рабов — другая сторона классового насилия. Ясно, что убийство по пьяни или дикое изнасилование — никак не подвести под протестные настроения: это просто животность, и необходимо изолировать опасных животных от общества, предупредить рецидивы (а в крайних случаях уничтожить). Однако недоразвитость, животное состояние масс — целиком и полностью вина властей, поэтому принимать меры надо не только на уровне отдельного «преступника», но и гораздо выше: решительно ломать выстроенную ими систему «абсолютов», и вместо подлости, покорности и страха вырабатывать иные, культурные нормы поведения. Одно дело говорить человеку, что он подлец, потому что ведет себя подло; совсем другое — считать подлостью лишь отступление от «норм поведения» и несоответствие барским «абсолютам». Если то же самое делают с ведома господ и в их интересах — все нормально, это вовсе не преступление. Когда тысячи евреев уничтожают в немецких лагерях —

это холокост, великая трагедия. Когда Израиль уничтожает и сгоняет с мест миллионы арабов — это в порядке вещей, геноцид в законе. Жестокие разборки в подворотнях — это криминал; издевательства тюремщиков, пытки в качестве метода дознания — абсолютно правильно. Изнасиловать в подъезде — преступление; групповое изнасилование заключенного (да еще снятое на камеру) — мелочь, воспитательное воздействие. Вот такую лицемерную мораль отстаивает г-н Д. — и против такой морали протестует Ницше. С точки зрения борца за «абсолюты», инсценированный расстрел Достоевского — полностью соответствует «нормам», прямо-таки верх гуманности. С человеческой (а не людоедской) точки зрения — это жестокое издевательство, слом психики, травма на всю оставшуюся жизнь; уж лучше бы в самом деле расстреляли.

Судья, выносящий приговор именем закона — намного подлее тех, кого он собирается карать, даже если отъявленные мерзавцы вполне заслуживают кары. Делать гадости — мерзко; делать гадости из-за спины очередного «абсолюта» — мерзко в бесконечной степени.

Буржуазия всего мира с пеной у рта борется за повсеместное насаждение принципов «правового государства» (часто силой оружия подавляя массовые восстания против импортных «абсолютов»). Беда советской власти в частности и в том, что буржуазную законность целиком и полностью пересадили в культуру, призванную строить бесклассовое общество, уничтожать абсолюты и нормы — опираясь на революционную сознательность. Коготок увяз — всей птичке пропасть.

* * *

Дальше у Д. начинается совсем уж беспардонная подтасовка идей и истории. Разбивший христианские абсолюты ренессанс Д. называет эпохой «великих» преступников и гнуснейших преступлений [94], обществом, в котором нет никакой морали, когда никаким мерзавцам

не был закрыт путь «наверх», невзирая на всю их подлость и низость, на всю гнусность и чудовищность совершенных ими преступлений.

Можно подумать, что в классовом обществе когда-нибудь было иначе! Средневековые теоретики и практики — отнюдь не ангелочки; костры пылали по всей Европе сотни лет после Возрождения. Каким образом насаждали абсолютизм европейские монархи — всем (кроме г-на Д.) хорошо известно. Варфоломеевская ночь — заурядный эпизод. Только

очень наивный (или подлый) писатель будет настаивать, что в современном «правовом государстве» хоть что-нибудь изменилось: пираты (и прочие разбойники) переходили на государственную службу и становились потомственными аристократами; казнокрад и спекулянт пристраивались на теплые местечки, покупали имения и рабов; разорение колоний — источник несметных богатств самых почтенных семей. Соединенные Штаты Америки фантастически наживались на мировых войнах — и до сих пор держат в рабстве весь мир.

История человечества на каждом шагу тычет в глаза упрямый факт: понятие «преступление» — не абсолют, оно меняется от эпохи к эпохе, от класса к классу. Деяние становится преступлением в определенных исторических условиях — в контексте определенной культуры, по отношению к правовой системе, установленной господствующим классом. Не бывает ни «абсолютного законодательства» ни «абсолютной морали». Смена шкалы, переоценка ценностей — зависит от расклада экономических и политических сил, и что считалось преступлением вчера — сегодня уже знак доблести (или предприимчивости). Легко видеть, что минус меняется на плюс, когда черед злодеяний приводит исполнителя в ряды господ: теперь его действия надо мерить другой меркой. Бывает и наоборот: съеденные конкурентами становятся козлами отпущения.

* * *

Нищие приписывают изобретение идеи «тип преступника», который, якобы, есть «сильный человек, превращенный в большого человека».

[95] «Большим» же он становится, по заверению философа, в силу отсутствия вокруг него обстановки «дикости», то есть «определенной, более свободной и более опасной природы и формы существования», в рамках которой все, что используется как оружие нападения и защиты в соответствии с «инстинктом сильного человека», утверждается в своем «праве» (так что господствующим «правом» оказывается «право сильного»).

Насчет прав сильного — это явно с больной головы на (относительно) здоровую: именно Д. утверждает право господ диктовать волю рабам, жестоко подавляя любые выступления против барских «абсолютов». Даже в этом, явно не авторском переложении — светится совсем другая

идея: сильный человек = дикий человек! — и он утверждает свои «права» грубой силой, поскольку до разума он пока не дорос. Можно ли точнее охарактеризовать процессы «первоначального накопления», источник всех без исключения «абсолютов»? Одни дикари подчиняют себе других и принуждают следовать правилам победителей. Так рождается цивилизация — вместе с ее апологетами, вроде г-на Д.

* * *

«Общество, — заключает Ницше свою мысль, — наше ручное, усредненное, кастрированное общество, — является таким, в котором естественно выросший человек, спустившийся с гор или вернувшийся из морских приключений, необходимо вырождается в преступника»

И это правильно! Дикарю нечего делать среди культурных людей. Его поведение заведомо антикультурно, преступно. Однако это относится только к таким культурам, где возможно противопоставление человека обществу, где культурность превращена в абсолютизм — и *предписана* членам общества, а не выращена в них в соответствии с гением каждого. Ясно, что такое (классовое) общество может представлять лишь зачатки разумности, и подлежит переработке в нечто иное — где просто нет «естественно выросших», дикарей; и даже если забредет ненароком из другой вселенной — он сразу волеется в культуру, займет в ней вполне достойное место. Разумеется, речь не о животных, о людях. И о разумности, а не животности в каждом из нас.

* * *

... реабилитируется преступление «как таковое», как нарушение «границы» и «меры», совершаемое ради самого этого нарушения, — но для этого должен быть объявлен чандалой, неприкасаемым любой, кто выступает от имени моральных принципов и нравственных абсолютов, и прежде всего тип священника. [97]

Очень важное уточнение: «как таковое». Если мы нарушаем правила сознательно, имея в виду их нарушить, — это вовсе не то же самое, что нагадить вокруг себя по животной привычке. В первом случае — поиск иных (возможно, более разумных) правил, отказ от абсолютов; даже если не удалось найти — сохраняется возможность развития. Во втором — просто дикость, недоразвитость. А следовательно, подчинение власти

абсолютов, вечное рабство. Проповедников абсолютизма — давить надо! Это худшее из всего, что водится в классовой культуре.

Впрочем, Ницше не теряет надежды: «Придет время, когда он (имеется в виду священник, но не как вероучитель, а именно как проповедник нравственных абсолютов. — Ю. Д.) будет расцениваться как самый низкий (человеческий тип. — Ю. Д.), как наш чандала, как самый лживый, самый неподобающий род человека...

Как не согласиться с (даже выдуманном) Ницше! С одной поправкой: придет время, когда не станет самого деления на «высшее» и «низшее», «плохое» и «хорошее», — когда люди будут просто людьми, и даже отказ от абсолютов не превратится в абсолютом.

* * *

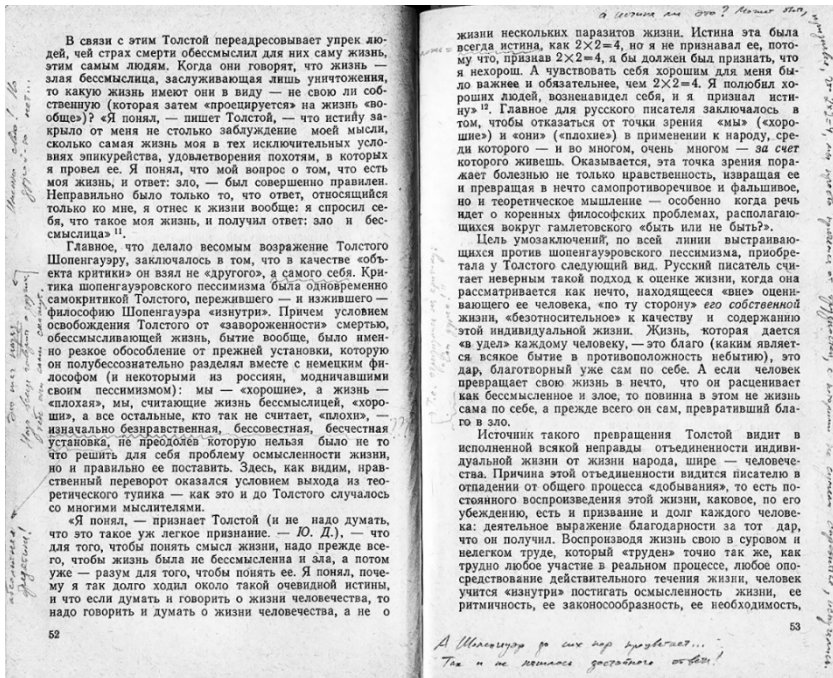
Решение вопроса о преступлении в глазах Ницше является производным от проблемы преступника как физиологического, а не мировоззренческого и даже не психологического типа...

Апофеоз подлой клеветы! Ницше меньше всего говорит о физиологии, речь всегда об уровне культуры — о мере разума. Дикость тупого бугая, дикость записного интеллигента (вроде Д.) — это все равно дикость; она не зависит от органики, и нет никаких «врожденных» склонностей. Дикарем человека делает дикое общество, в котором культурность далеко не всем доступна; в этом плане ограниченность «спустившегося с гор» ничем не отличается от ограниченности «просветителя»: они поразному уроды — но все равно будут уродски проявлять себя «в области практически жизненной или в заоблачных высях интеллектуального творчества». Не бывает преступников «по природе» — есть обделенные разумом (отчужденные от разумности), которых ловко используют власть предержащие, чтобы потом походя избавиться, как от орудий их «абсолютного» преступления.

* * *

Нельзя судить о личности по черновикам. Тем более, сознательно препарированным в угоду подлой идеологии. Фрагменты рукописей приобретают дух подлинности лишь в контексте того, что реально удалось совершить. Неопубликованный Ницше — возможен только в контексте прижизненных публикаций.

Когда я читаю книгу и рисую каракули на полях — это, конечно же, не готовый продукт, а лишь наброски тем, зарубки на память. Карандашиком особо не разгуляешься! — пардоньте, мосье Ферма.



Даже восстановленные по этим каракулям развернутые комментарии — лишь черновики, процесс осмысления, а не его результат. Если удастся сказать напрямик, своими словами — слова придется заменить другими, снять неприbranную корявость. Только, вот, дойдет ли до настоящего дела — гарантии ноль. Все под богом ходим (то есть, под абсолютами), и могут запросто взять за шкуру, да отправить по этапу — вместе с Ницше и Марксом. Палачи проинструктированы — для этого власти и содержат господ вроде Д.

Учитывая сознательно и откровенно провозглашенное немецким философом тождество «гения» и «злодейства», не без основания осознаваемое самим Ницше как совершенно точное выражение

«ренессансной» точки зрения на человека и его «творческую сущность», совсем нетрудно предположить, как этот философ должен был относиться к раскаянию... [102]

Очередной ушат помоев на голову поэта... Ничего кроме пошлостей Д. на следующих нескольких страницах не изрекает. Кухонная философия, житейское резонерство.

У Ницше — яркая аналогия, метафора: душевная подлость — это болезнь. Изображающий из себя философа дикарь Д. все понимает буквально, «физиологически».

Когда человек отрекается от себя — это не его личная слабость, это болезнь общества, которое намеренно производит душевнобольных — ими легче командовать, и уж у властей-то никаких угрызений совести: они же больные, недееспособные! Разумный человек — думает о том, что следует сделать сейчас, в данных обстоятельствах, — независимо от того, какова его роль в том, что они сложились именно так. А бить себя в грудь, «ревмя-реветь» и размазывать слезы по морде — имитация прозрения, игра на публику. Вроде юмора: похихикали над тигром — вообразили себя вне опасности; а он все равно съест, и на жалкие потуги внимания не обратит.

* * *

Типичный прием буржуазной пропаганды — приписать свои намерения идеологическим оппонентам и выставить их уродливыми монстрами (или поднять на смех). Действительно, если отделать барскую мораль от узурпированного господами права вершить судьбы людей, — получается жестокая нелепость; но сказать так про барина — не по правилам; зато отыгрываться на беззащитных — абсолютно нормально. Мерзавчик Д. всю дорогу вылизывает задницы сильным мира сего — и ненавидит бунтующую чернь; однако в его писаниях все вывернуто наизнанку: поэта любви Ницше обвиняют в насаждении «морали господ» — и самим себе господа приписывают (конечно же, абсолютную) этику любви.

Учитывая ненависть и презрение, которые неизменно вызывали у Ницше простейшие, полубессознательные проявления нравственного отношения к миру, связанные с чувством вины, угрызениями совести, переживанием раскаяния, можно представить себе, как должен был откосяться немецкий философ к морали, вырастающей на основе этих

«стихийных» проявлений человечности, осмысляющей их, приводящей их в систему и резюмирующей в виде совокупности норм и правил человеческого поведения.

Все поставлено с ног на уши: вина, совесть, раскаяние — не имеют к человечности ни малейшего отношения: это проявления животности в человеке — и возникают они отнюдь не стихийно, а намеренно производятся и воспроизводятся господствующим классом ради сохранения экономического господства, возможности и дальше ездить на шеях оболваненных и удерживаемых в темноте рабов. Инструментом духовного насилия как раз и служит классовая мораль, которую господа бесстыдно выдают за обязательные для всех и всегда (абсолютные) общечеловеческие «нормы и правила». Нам навязывают мораль, якобы «возникающую из элементарных нравственных побуждений человека»; здесь каждое слово — гнусная ложь: вместо живых (и очень разных) людей — абстрактный «человек», руководствующийся не разумом, а «побуждениями», которые безнравственны в силу своей неразумности, а элементарность — это дикость, неразвитость, примитивность, — которую объявляют вечной и неизменной основой всего (и не вздумайте придумывать другие элементы!); наконец, «возникновение» морали из этого нагромождения абсолютов — попытка замазать ее истинное происхождение и подлые цели.

Понятно, что певцу свободы Ницше мораль — вцепившиеся в горло хищные клешни душителей свободных песен. Но он горд — он не пытается сбежать от насильников, и готов бороться до конца. Силы неравны — и до сих пор господствующая мораль душил миллионы светлых душ, покруче фоггена и газовых камер (одной из которых и стала книга г-на Д.).

* * *

Сопоставлять Ницше и Достоевского, конечно же, возможно — если не ограничиваться только этим, а вписать сходство и различия в более широкий исторический контекст, представить и того, и другого как культурную необходимость, веление времени. Для метафизика Д. — задача совершенно невыполнимая. Да ему оно и не нужно: ему платят за способность перевернуть, опозлить искания гениев, и сталкивать лбами выдуманных карликов — на потеху ярмарочной публике. Вырванные из эпохи, превращенные в абстрактные символы (абсолюты), — они стали

пустыми именами, технологией манипуляции, машиной для промывки мозгов. Здесь нечего читать — и без комментариев.

* * *

[116] Любопытный парадокс. Говоря о каторжниках, изображенных Достоевским в «Записках из мертвого дома», Ницше ни разу не употребил словосочетание «отбросы общества». Когда же речь заходит о людях, мечтающих о восстановлении пошатнувшихся абсолютов, одержимых нравственными исканиями, склонных оценивать происходящее вокруг них с точки зрения морали, тотчас появляются эпитеты, какие немецкий философ запрещал себе в отношении самых «отпетых» преступников, которых он стремился «защитить» от общественного презрения. Философ начинает говорить о «низменно распутном», «грязно вульгарном», об отсутствии «малейших следов духовности» и «добросовестности» и прочих характеристиках «отбросов общества».

Можно только воскликнуть: *браво, Ницше!* Даже в опошленном, изуродованном переложении он гениален — и бьет в самую суть.

Чего не хватает? Обращения к экономической основе — к борьбе классов. Чтобы не ограничиваться субъективной оценкой, постановкой задачи, — но указать пути преодоления общественных уродств, перехода к таким отношениям между (экономически и духовно) свободными людьми, когда никому и в голову не придет изобретать и навязывать другим какие-то «абсолюты», — когда у общества уже не будет «отбросов».

Только в комплекте с Марксом Ницше, наконец-то, становится самим собой, и его интуиция стоит на твердой материи, а не брошена на волю ветров; точно так же, Марксу очень не хватает поэтики Ницше (и Баадера), стремления изменить не только экономику — но и людей, пересоздать, привести к разуму человеческую духовность (без чего экономические преобразования просто бессмысленны).

* * *

Абсолютист Д. не понимает, как Ницше может говорить об одном и том же то со знаком минус, то со знаком плюс. То, что каждый человек, каждая культура, лишь *представляет* нечто единое с разных сторон (и

потому односторонне), — выше метафизического разума. Ницше говорит не об эмпирически данном — ему важно увидеть как в каждом ростки свободы отсекают все новые площади от болота абсолютов.

* * *

Еще раз: во времена Достоевского всякий честный человек должен был неизбежно стать «преступником» (в глазах властей), борцом против феодально-буржуазного абсолютизма. В этом Достоевский и Ницше едины. Но обоим недоставало понимания, с чем, собственно, они борются — и куда хотели бы человечество пригласить.

* * *

Ницше отвергает христианскую любовь (во всех ее ипостасях — договориться о которых христиане так и не смогли, и не смогут). Для апологета христианства Д. это равносильно отрицанию любви вообще. Ницшевскую характеристику поповщины Д. суммирует так [119]:

Инстинктивное исключение всякого нерасположения, всякой вражды, всяких границ и дистанций в чувстве: следствие крайней способности к страданию и раздражению, которая ощущает каждое сопротивление, каждую необходимость сопротивляться, уже как невыносимое неудовольствие (т. е. как нечто вредное, как нечто несоветуемое инстинктом самосохранения) и видит блаженство лишь в том, чтобы не сопротивляться более никому и ничему, ни бедствию, ни злу, — любовь, как единственная, как последняя возможность жизни.

Это великолепно! Именно такое блаженное непротivление господа мечтают вбить в души рабов — чтобы даже близко не помышляли бунтовать. Именно эту «любовь» проповедуют Д. и прочие продажные крючкотворы. Отработанный за тысячелетия трюк: словам придают прямо противоположное значение, и называют подлую бездуховность духовностью, безнравственность — нравственностью, коммерцию — благотворительностью, ненависть и страх — любовью (разумеется, к хозяину). Человеческая любовь — зовет к свободе; напротив, лакейское подобострашие — отказ от себя, помутнение разума.

Любовь как этический принцип оказывается здесь выражением полнейшей физиологической деградации, проявлением совершеннейшего «идиотизма»...

Такова она и есть — как «этический принцип». Человеческая, свободная любовь — вне этики; более того, именно любовь порождает идею нравственности — в противоположность диктату морали. По Энгельсу, это важнейший принцип, синтез всех остальных черт любви [21, 80].

Тем самым Ницше дает понять своему читателю, чего стоит «абсолютность» любви как краеугольного камня европейской этики.

Бурные аплодисменты и немой восторг. Ницше прав: нравственная деградация любителей абсолютов постепенно принимает форму

душевной болезни, физиологического вырождения того, кто воплощал в себе эту Правду, олицетворял нравственный абсолют.

Для Д. (и прочих борцов за самодержавие, православие и народность) высший идеал — фигура юродивого, упивающегося собственной ничтожностью, нарочито (публично) втаптывающего человеческое достоинство в грязь.

Нет никакой правды с большой буквы — правда у каждого своя, в этом суть цивилизации, классового общества (а в мире свободы само понятие правды сдают в пыльный архив). Конечно, во времена Ницше еще не было материалистической психологии (а сегодня ее уже нет) — и почти невозможно найти подходящие слова (тем более, когда язык намеренно опошлен, выхолощен, насквозь пропитан поповщиной и вонючей моралью). Тем больше мы уважаем Ницше за мужество сказать главное — даже зная, что переврут и поймут не так.

* * *

Как видим, и здесь главный объект ницшеанской критики не религия, а мораль; не религиозность морали, а моральность религии — вот что вызывает его патологическую ненависть. [121]

При всей вульгарности недопонимания — заметна суть: религия и мораль — две стороны одного и того же, инструменты классового господства.

Как видим, здесь вовсе нет борьбы между атеизмом и религией. Здесь воюют две «морали»: традиционная мораль и антимораль...

Правильно! Поскольку и то, и другое — мораль, уничтожать надо обе, строить мир, где вообще нет ни морали, ни религии.

Ницше называет антимораль «моралью господ» — подчеркивая, что в классовом обществе нет единой морали: *Quod licet Iovi, non licet bovi*.

Выставляя христианскую мораль как абсолютную, общечеловеческую, Д. в очередной раз демонстрирует менталитет лакея, выслуживающегося перед баринном, чтобы иметь возможность помыкать прочими холопами.

* * *

Снова о ненависти Д. к разрушителям поповских абсолютов: «Ренессанс как прибежище философского аморализма». И много-много псевдоученой чепухи. Но эпоха Возрождения — начало становления капитализма, период «первоначального накопления», превращения капитала в движущую силу экономики. На что потом добропорядочные буржуа навесили фиговые листочки — в ренессансном обществе цветет во всей неприглядности, — но и не расценивается как неприглядное по меркам той культуры, с позиций приходящего к власти класса.

* * *

Как и прочие клеветники, как германские нацисты, Д. выставляет Ницше апологетом «лавр завоевателя и покорителя, наводящего ужас на покоряемых» [123]. Глупость невероятная. Ницше смотрит со стороны на мышиную возню недочеловеков — для него они все скоты, и одна мораль не лучше другой. Речь о том, чтобы вытащить-таки человечество из скотского состояния, из вечной войны одной морали с другой. Слабость позиций Ницше в том, что одной декларации о намерениях недостаточно — нужна экономическая база, и не какая-нибудь, а вполне определенного типа; строить воздушные замки — не то же самое, что реально перерабатывать в мечту наличествующий строительный материал. Однако без мечты, при любых арсеналах строительство не начнется — и мыши разворуют, растащат строителей по углам.

* * *

Дело в том, что Ницше не только читал «Бесы» Достоевского, но и достаточно тщательно законспирировал этот роман в аспекте его философско-теоретического содержания!

Это из области опечаток по Фрейду? Великий конспиратор Д. скрывает имена своих работодателей... Называет их «абсолютами» — или

«нормами и правилами человеческого поведения». Но мы-то знаем: за этими кликухами — оскал мирового капитала, увешанного долларами и бомбами, весьма убедительно демонстрирующими отличие «морали господ» от рабской и плебейской морали.

* * *

Как ни пытается Д. перевернуть представления Ницше о любви, поэзию не спрятать за метафизикой:

... вся мораль, всякое послушание и действие не вызывают такого чувства мощи и свободы, какое вызывает любовь...

... из любви не делают ничего дурного...

... из любви делают больше, чем делали бы из послушания и добродетели...

Тем самым, любовь решительно отделена от морали, от послушания и добродетели, — выведена за рамки борьбы добра и зла. Но это — человеческая любовь. Попы (и апологеты буржуинства) подменяют слово — и называют любовью совсем другое: рабскую покорность.

Мы божественны в любви, мы стали детьми бога, бог любит нас и совсем ничего от нас не хочет, кроме любви.

Совершенно справедливо, Ницше называет это «стадным счастьем»: отказ от разума и слепое следование велениям очередного «бога» (будь то мистическая фантазия — или реальный автоматчик на вышке). Человек (бесконечный в своей разумности, равный миру в целом!) — схлопывается в «маленького человека», которому только и остается, что верить, будто все запертые вместе с ним в клетке, — божьи избранники. Такие могут навалиться гуртом, одолеть, подмять, — и торжествовать, упиваться дикой мощью — выражением барской власти.

Фактически человек еще раз переживает повреждение личности (аналогично тому, как «повреждаются умом». — Ю. Д.): на этот раз он называет свое чувство любви богом.

Гениально! Просто слов нет, до чего здорово. Смерть любви — смерть личности, утрата духовности, — уподобление животным, болезнь. Как только человек признает себя частью общины, рабом (в частности божьим) — он уже не человек, а всего лишь особь, биологический индивид. Удивительно ли, что и обращаются с ним, как с животным? Хорошо еще, если барин попался добрый...

У Ницше — лучистый ступок идей, которые можно обсуждать очень долго. Однако здесь (к сожалению) о другом — о «поврежденном» философе Д., начисто лишенном любви.

* * *

Достоевский велик как писатель — но философ из него никакой. Разумный человек ищет в искусстве художественность; официозные пропагандисты — выискивают догмы и лозунги, — а на самом деле просто подменяют писателя собой, прикрывают его именем лакейскую подлость. Неудивительно, что Достоевский у Д. всегда прав, а Ницше — вроде мальчика для битья.

* * *

В соответствии с пошлыми традициями эмпирионатурализма, нравственность Д. выводит из физиологии [134]:

Натура предстает здесь в качестве исконной противницы мозговых и отвлеченных, остроумнейших и наихитрейших умственных игр преступника. Она изначально серьезна и органически не приемлет той мертвой, безжизненной лжи, которую пытается навязать ей заболевший, помрачившийся совестью интеллект. Сам человек, в котором занедужил дух, исполнившийся нечеловеческой гордыни, может считать себя стоящим бесконечно выше обычной житейской правды «обыкновенных» людей. Но его натура не подчиняется ему в осуществлении его ложной идеи; и когда эта последняя запрещает ему говорить правду, затворяя его уста, натура находит свой способ все-таки произнести слова правды, побуждая высказаться саму человеческую плоть.

Ссылается Д. на *Преступление и наказание* — речи «бедненького» (подленького) следователя Порфирия Петровича (одна из самых мерзких фигур в сатире Достоевского). В переводе с метафизического — речь о том, что все в человеке — от его природы, которая заложена в него изначально и с которой уже ничего не поделаешь. Чуть выше — эту идею Д. приписывал Ницше и ругал на чем свет стоит. А тут пожалуйста: столь превозносимая г-ном Д. высшая Правда (с большой буквы!) оказывается всего-навсего зовом плоти! Плоть становится критерием истины, оплотом морали.

Разумеется, Д. лжет. Его натура — эвфемизм рабской покорности и лакейской преданности; она никоим образом не встроена в человека — это целиком и полностью продукт воспитания. Легавые рассуждения сводятся безусловному требованию властей подчиниться абстрактной («абсолютной») законности, которая, якобы, одна на всех; адаптация самодержавного закона для широких масс — религия и мораль. Можно согласиться:

Эта идея вообще непостижима не только для нищезанятия, но и следующей в его русле французской интеллектуальной романистики.

Да. Она им просто не нужна.

Верный себе, Достоевский противопоставляет дикой природности активное человеческое начало — не позволяя ни тому, ни другому превратиться в абсолюты:

... да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы потонуть в предрассудках.

Путей разрешения классовых конфликтов Достоевский не видит — он просто показывает все как есть, в надежде, что разумные люди таки найдутся и что-нибудь придумают. Но когда писатель (совершенно справедливо) указывает, что всякий идеал предполагает стремление к нему и готовность участвовать в общем деле (а иначе это уже не идеал, а кухонная метафизика), — Д. в упор не понимает и объявляет это «экзистенциальной постановкой вопроса». Батюшки! — при чем здесь экзистенциализм? Простая вещь: идеи не существуют сами по себе (как витающие в вакууме «абсолюты») — они воплощены в практике, они выражают (они и есть) всеобщее содержание этой практики, ее место в человеческой истории; нет практики — нет идеи. А Д. предлагает вместо обращения к людям — общения с людьми — проверять истинность одной лишь своей натурой, прислушиваться к голосу плоти («чисто телесным способом»). Да, это исходный пункт экзистенциализма — но далеко от Достоевского.

* * *

Она продолжала твердить свое ... до тех пор пока Раскольников не поклялся всенародно в совершенном злодеянии.

Еще одна опечатка «по Фрейдю». Покаяние — не признание вины, а ее разделение с широкой публикой (типа: распить на троих), превращение

в аттракцион, в балаган. Чем публичнее — тем меньше груз на каждом из приобщенных. И можно гордиться собой — «клясться», а не каяться. Окаянная «натура» тут же стихает: грехи смыли в ярмарочный унитаз, прицепиться не к чему.

* * *

... принцип «не убий!» убить ему не удалось.

... ему открылось не отсутствие «высшей правды», не относительность различия добра и зла, не ничтожность принципа «не убий!», а совсем наоборот: присутствие «высшей правды», абсолютность различия добра и зла, непреложность извечного «не убий!».

Нельзя абстрактно отрицать, «устранить» мораль — на ее место неизбежно встанет другая. И не какая-нибудь, а мораль определенного класса. Раскольников — деклассированный элемент, и ему приходится заимствовать чужую мораль; разумеется, это мораль господствующего класса, «христианская» мораль. Поэтому и нечем заменить абстрактный принцип «не убий!» — моральный абсолют, придуманный господами для рабов: господин может убить раба — а наоборот не положено.

Разумный путь — избавиться от любых абсолютов, перейти от абстрактных принципов к деятельности, от отрицания к утверждению. Этика активного преобразования мира просто не нуждается в морали.

Достоевский не сумел. Призывая не возводить принципы в абсолют, он все же тоскует по простой (животной) определенности:

Непременно поставить ход дела на настоящую точку и уничтожить неопределенность, т. е. *так или так*

Все, что предлагается видеть в Раскольникове — «гордость, личность и заносчивость». По счастью, роман гораздо глубже неуклюжих авторских философствований — искусство ведет художника за собой, делает его рупором общества в целом, а не только господствующего класса. Разумеется, Д. всеми клешнями ухватился за малодушную философию, а вдумчиво прочесть книгу — ему запахло:

В общем, не «смыслоутрата» была реальным фоном, на котором произошло убийство, а «гордость сатанинская».

Снова христианская заповедь (разумеется, только от господ рабам): не возгордись! Парадоксальным образом, Достоевский оказывается в родстве с Раскольниковым: голое отрицание без переосмысления,

слепое подчинение господствующей морали — вместо освобождения от моральности как таковой.

* * *

Речь идет о человеке, рассуждающем по принципу: если нельзя «схватить бога за бороду» — значит, его и не существует, значит, в мире нет никакого смысла и здесь можно поступать согласно заповеди «Телемской обители» — «делай что хочешь».

Образчик непроходимо тупого «глубокомыслия» г-на Д.

Если бог есть — пусть он покажется нам, и мы тогда решим, как и по поводу чего с ним общаться. При случае и за бороду можно. Если же бог вообще никак себя не обнаруживает — его просто нет, и эта идея нам совершенно ни к чему. Обойдемся своим разумом.

Смысл — не «в мире»; он в человеческой деятельности. Получится пристроить к ней бога — и в нем будет смысл. Но если бога нет — миру от этого ни жарко, ни холодно: мы по-прежнему делаем то, что нужно нам, и сами производим и преобразуем смыслы. Д. пытается молчаливо подсунуть нам очередной «абсолют»: люди (рабы божьи) сами ни на что способны — поэтому руководить ими и направлять их труды должен некий «сверхчеловек» (барин, бог). Тогда, конечно, смысл своего бытия мы обязаны видеть в прислуживании начальству — а нет начальника, так и смысла нет.

Рабле г-н Д., очевидно, читал так же, как Достоевского — больше по отзывам буржуазных критиков, с позиций филистерского абсолютизма. Иначе он вспомнил бы, что возведение в абсолют заповеди «делай, что хочешь» привело к прямо противоположному — к стадности. Обитатели райской утопии, живущие на всем готовом, просто разучились хотеть — и тупо повторяли случайные позывы одного из них (вроде панурговых баранов). Дайте таким «мудрого» пастыря — и вот вам хищная стая наемных убийц, готовых разорвать в клочьях всех, кто не согласен с мнением начальника.

Действительно освобождение возможно только в деятельности, в совместном труде по преобразованию мира. Для этого каждый должен иметь возможность не только представить себе этот идеал — но и руки приложить, заняться практической реализацией вымечтанного, на ходу корректируя курс, спрямляя перегибы. Да, мы по-прежнему делаем то, что хотим; но хотим мы не просто делать, а делать разумнее мир — не

для себя любимого, а для любимых. Мы учимся хотеть разумно, не чего попало — а всего! Наша задача одухотворить, окультурить весь мир — работы непочатый край, не соскучишься, — бирюлькаться с абсолютами некогда, да и никакого желания.

* * *

Честно признаюсь: Камю и Сартра я ставлю в один ряд с г-ном Д., и встывать в их межсобойчик мне без надобности. Замените одну веру на другую, один абсолютом другим — картина не изменится. Быстренько пробегаем мимо — карандашик отдохнет...

* * *

Клевета на маркиза де Сада (якобы жаждавшего «актов зверского убийства») — очередная подлость Д., мерзкая подтасовка, — в расчете на недоступность источников советскому читателю. Сад не только звал к подлинной, человеческой свободе — но сам утверждал ее, отвергая диктат права, морали, религии и прочих «абсолютов»; его ненавидел «первый консул» (а потом и император) Наполеон: гноил в тюрьме и в конце концов убил. Сад вовсе не «любовался мучительной агонией своих жертв» — он принес себя в жертву во имя свободы, светлого будущего для всего человечества. Книги Сада — полны высочайшего гуманизма, это великая философия — а не жалкие потуги господ-метафизиков. Даже выбранный им (далеко не самый удачный) способ популяризации — попытка проникнуть в заскорузлые души, используя (тщательно скрываемый, но неизменный) интерес обывателя к грубому сексу, к порнухе, — не выбивается из общей идеи: против предрассудков и предубеждений, — чтобы каждый сам решил, что ему ближе, поставил тело на службу разуму.

* * *

Сартровские *Мухи* — яркое выражение господствующей идеологии (приверженность которой всячески демонстрирует г-н Д.). Черчилль провозгласил принцип тотальной войны — и налеты авиации союзников уже не имели в виду военные цели, а просто стирали с лица земли целые

города, истребляли население сотнями тысяч. Позже американцы утюжили японские города, за один налет убивая десятки и сотни тысяч людей — всех подряд. Атомная бомбардировка на этом фоне уже не казалась чем-то из ряда вон выходящим — зато простые американцы (по воспоминаниям современников) «плакали от радости и облегчения», и «спешили к телефонам, заказывать столики, чтобы отпраздновать это событие». Линия продолжается и все послевоенные десятилетия: если великие державы, готовые истреблять в любых количествах и любыми средствами нарушающих принципы абсолютной демократии мух.

Если фашисты еще опирались на какие-то «абсолюты», убивали, следуя выработанной ими для себя идее права, — англичане и американцы (а за ними и французы) приняли войну как оправдание слепого убийства ради убийства, когда не имеет значение, кого убивать (вот он, призрак Варфоломеевской ночи: господь на небе своих найдет). Разумеется, спекулировали на патриотизме, твердили о необходимости сохранить бесценные жизни «своих» — ценой ничего не стоящих мушиных жизней. Это подлость, игра на низменных чувствах, животном страхе — растворение разума в животности.

... этот ход мысли был воспринят французами как безупречный не только в логическом, но и в этическом отношении. Правда, это скорее было свидетельством морального состояния французской публики, исполненной справедливой ненависти к захватчикам, чем «этоса» самой пьесы Сартра. Но это уже другой вопрос. [144]

Пьеса не существует без публики. Даже если не идет на театре. Если пьесу принимают — это не «другой вопрос», это показатель нравов эпохи и общественной среды; следовательно, пьеса выражает именно то, что в ней усматривает общество, — независимо от намерений автора. Сам же Д. через пару страниц говорить об «удовлетворении», с которым принимали пьесу убежденные нацисты — хорошая иллюстрация неотличимости одного абсолюта от другого.

* * *

Когда Ясперс утверждает, что «все немцы, жившие при Гитлере в Германии, и каждый из них в отдельности, в той или иной мере повинны в кошмарных преступлениях, которые творили гитлеровцы», — он фактически оправдывает военные зверства англичан и американцев; именно этот аргумент теории современной войны выставляют на

первый план, призывая убивать, убивать, и еще раз убивать. Разумеется, военная машина все подгребает под себя — и нет никого, кто так и или иначе не работал бы на войну, — а следовательно, нес ответственность за ее последствия и становится мишенью. Рабочий, собирающий на конвейере автоматы (и женщины, фабрикующие патроны к ним), — пособник солдата-убийцы; те, кто добывает руду для этих изделий — тоже убийцы; те, кто разводит скот и возделывает поля — кормят убийц, и тоже убивают. Не говоря уже о женщинах, рожающих всех этих убийц и будущих рожениц.

И наконец, метафизическая вина, которая делает каждого ответственным за все несправие в мире, в особенности за преступления, совершенные в его время и с его ведома. Если я не сделал все, что мог, чтобы уничтожить эти преступления, значит, я их соучастник. Даже то, что я живу в то время, когда это происходит, есть уже моя вина.

Поэтому давайте все вместе еще раз помолимся — и друженько в геенну огненную...

В чем глюк?

Все в том же — в этическом (если бы только этическом!) абсолютизме. Не бывает абстрактного «бесправия» и абстрактных «преступлений» — равно как и абстрактного «уничтожения», или «соучастия», — или «вины». Есть обычные люди — и в каждом поступке много чего намешано, и мух от котлет не отделить. Вот и надо честно разбираться с каждым конкретным лицом — и всеми его деяниями, не деля огульно на «зло» и «добро». Соответственно, не исправлять «ошибки», не «искупать» и не «каяться», — просто идти дальше, пытаться сделать следующий шаг разумнее предыдущих. Думать о том, что можно сделать, что следовало бы сделать здесь и сейчас.

Вся трудность, весь трагизм проблемы заключаются в том, чтобы принять на себя всю полноту вины и ответственности за это прошлое, двинуться дальше, шаг за шагом изживая и преодолевая его в искреннем переживании раскаяния, в свете которого по-новому перестраивается вся человеческая жизнь.

Да нет тут никакой проблемы! И не надо высасывать из пальца трагизм. Если вы будете грузить себя абсолютами («вина», «ответственность», «раскаяние») — вы ни на шаг не продвинетесь в будущее, прошлое затянет вас в свою трясику — и вместо «изживания» сплошное переживание (пережевывание), воспроизводство того же самого снова и снова. Чтобы «двинуться дальше» (к чему и я всех призываю) — надо

уже быть там, в этом самом «дальше», прикидывать, что предстоит совершить и как бы это разумнее организовать — с учетом прошлого опыта. Мы как бы забрасываем веревку мечты в будущее, убеждаемся, что она зацепилась за что-нибудь прочное, — и вытягиваем себя из болота. Да, может зацепиться не за то. Бывает. Придется пытаться снова и снова — и каждый шаг разумнее предыдущего. А пускать слюни по поводу «радикального несовершенства» — значит смаковать его, наслаждаться им, юродствовать. Это не наш путь.

* * *

Для экзистенциалистского героя нет прошлого. Он, если хотите, человек ниоткуда, из небытия, ничто. [151]

И на старуху бывает проруха! Д. таки сказал что-то относительно умное. Или слямзил у кого?

Экзистенциальный герой Сартра живет «экстазами» — актами «чистого экзистирования», выхода в «ничто». Каждый из этих актов совершается им так, как будто он только что родился на свет божий, а потому не имеет никакого прошлого. [154]

Это примерно как стоять по уши в дерме — и время от времени высовывать ноздри, глотнуть воздуха... И ни малейшего позыва вылезти и помыться. Тут Д. с ним вполне солидарен [156]:

Сартр совершенно прав.

* * *

Нравственно оскотивший себя метафизик Д. видит только две перспективы: либо лбом об стену — либо сопли по стене [157]. Первый вариант — принять

«мораль двусмысленности», требующую от человека, чтобы он поступал *абсолютно* свободно, но в то же время твердо знал, что никаких абсолютов нет...

Или же — встать на

«путь отчаяния», толкуемого прежде всего как «раскаяние», переживание человеком всех уровней своей вины... Эта вторая перспектива превращает «дурную бесконечность» экзистенциального своеволия в истинную бесконечность содержательно ориентиро-

ванной свободы, твердо знающей, что не в ней все начала и концы, а что она лишь путь к высшему.

Догадитесь с трех раз, кому давидовские симпатии! Конечно же не «нигилистам»:

ибо что такое нигилизм как не обесценение всех высших ценностей?

См. выше про «путь к высшему». А понимать это «высшее» следует как «вышестоящее» (или, скорее, «высокопоставленное»). Содержание всей вашей жизни — указания начальства, и только такая, «содержательно ориентированная» свобода ведет в «истинную бесконечность». И то верно: у кого лбы недостаточно чугунные — могут и расшибить об абсолюте; а соплей у нас на целый век хватит — и можно бесконечно каяться с собственно низости царю-батюшке (а потом еще и какому-нибудь богу). Короче: не кидаться на барина с топором, а кидаться с топором на того, кого укажет барин.

У разумного человека вовсе не два пути, а сколько угодно, и всегда можно при необходимости добавить еще пару бесконечностей, — но Д. об этом не слыхал (потому что благоверным про это знать не положено). Значит и про нигилизм — либо Толстой с Достоевским («нравственная философия») — либо (вездесущий дьявол!) Ницше, с его «философским аморализмом». Не положено больше никого пущать! А то тут некоторые всякие марксизмы выдумывают... Или — еще хуже — начинают от своего имени говорить: оскорбление в лучших (верноподданнических) чувствах, форменное кощунство — нигилизм!

* * *

Ницше можно уважать уже только за то, что он до такой степени уел метафизика и абсолютиста Д.; а сколько других, ему подобных, — и не сосчитать! Что и говорить, «размышления Ницше положили начало целой философской традиции» [160]. И даже не одной. Как минимум, есть идиотское ницшеанство — и есть идиотская критика; и то, и другое успело оформиться в многотомие клеветы. Вероятно, имеются и вдумчивые читатели, способные разобраться в доступных текстах и не путать революционные идеи с традиционными формами выражения, клише, речевыми оборотами. Но таких начальство публиковать не велит. А вылезут через самодетельность — кто ж их заметить в потоке мутной грязи, которую Д. именует «философским просвещением»!

Как понимают все нормальные (не абсолютизированные) люди, Ницше вовсе не пуп земли, и кое-кто полезно потрудился и помимо него. Мне, вот приятно иногда Маркса почитать... Или Гегеля. Современных, к сожалению, почти нет: один Ильенков высится на горизонте; но философствующие писатели (вроде Ефремова, Стругацких, и дюжины других) дают достаточно пищи для размышлений и далеко идущих выводов. На крайний случай — хоть стихи почитать. Бальзам для мозгов.

* * *

Чтобы хоть как-то огрызнуться, отбрехаться от приставучей тени великого немца, Д. пытается обвинить того во вторичности, в плагиате: вот, поначалу у Вагнера тасил — а под конец все от Достоевского. Ну, Шекспир тоже промышлял переработкой старых сюжетов; а Эйнштейн взял готовую математику у Планка, Пуанкаре и Римана — добавил пару слов от себя — и вот вам нобелевский лауреат... Мимоходом (якобы по мотивам Ницше)

хайдеггеровская идея «метафизики», понятой как основной стержень всей истории Запада

Идея, между прочим, богатая — если не забывать про диалектическую струю, и про марксизм-ленинизм. Россияне Хайдеггера неоднократно передирали — но дальше тупой метафизики так и не пошло. А суть-то как раз в том, что метафизичность — выражение классового расслоения, характерно классовый способ мышления, чувствования, действия. Пока история всех человеческих обществ остается историей борьбы классов, метафизики правят бал. И не только в философии.

* * *

Согласно Д., «немецкий мыслитель» ничем не мог заниматься, кроме разработки «ницшеанской схемы нигилизма», — и

решил обратиться к русскому писателю, пытаясь воспользоваться его материалом для укрепления определенных звеньев этой схемы.

При этом, якобы, предполагалось тупо использовать Достоевского «для подтверждения ницшеанской концепции нигилизма» — а тот не дается: не хватает «пластичности» — и все потому, что у Достоевского уже на мази «собственное понимание нигилизма, не уступавшее Ницшевому по

глубине и проникновенности». Забавное признание: Ницше таки глубок и проникновенен! — пусть даже до Достоевского ему далеко, особенно в интерпретации г-на Д. Невольный комплимент врага — иногда ценнее тонны восторженных почитателей.

Фишка в том, что никакие цитаты или ссылки не способны ничего «подтвердить». Пока свои извилины не напряг — телега философии стоит как вкопанная. У особо башковитых — она не только сама в гору катится, но даже и летать умеет.

Разумному человеку вообще не требуется что-либо подтверждать, кому-то что-то доказывать. Он действует (и философствует) как считает нужным — и общается с другими такими же не ради сколачивания банды злоумышленников, а просто по душевной склонности, духовному согласию. В таком общении каждый волен думать свое — и незачем свозить всех в один монастырь и стричь под одну гребенку; более того, люди интересны друг другу именно разнообразием, несходству единого. Ницше (заочно) общался с Достоевским, Гегель с Кантом, Ильенков со Спинозой, — и всем от этого хорошо. Сегодня я общаюсь со всеми, и мы свободно делимся находками друг с другом, — только с Д. я общаться не хочу.

* * *

Ницшевская предварительная периодизация истории европейского нигилизма — достаточно разумна, и достаточно сопоставить ее с экономической историей, чтобы уловить динамику, показать движущие силы и взаимодействие уровней культуры.

Схема универсальна — это обычный путь рефлексии. Сначала новое возможно только в старых формах; потом осознание несоответствия формы содержанию и всплеск формальной комбинаторики — поиск нового как отрицание старого, противопоставление одного другому; накопленный таким образом опыт позволяет перейти от отрицания к самоопределению — и здесь три этапа, три направления деятельности, три взаимозависимых подхода: дифференциация (выделение сторон и уровней предмета), интеграция (осознание взаимодополнительности и взаимопереходов), снятие различий (переход к новому единству); в итоге новое становится неотъемлемым компонентом культуры — само собой разумеющимся способом действия.

Примените это к нигилизму — в точности воспроизводится схема Ницше; примените это к (классовой) экономике — и перед нами история общественно-экономических формаций. Важно, что люди не стихийно ведут себя в соответствии с абстрактной схематикой, а сознательно ее воспроизводят как продукт деятельности.

* * *

Бродить по архивным материалам и черновикам — занятие, безусловно увлекательное. Но по предыдущим главам технологию обработки источников у Д. можно представить в полном объеме, и отслеживать логику его сопоставлений нужды нет. Уж лучше напрямую: взять собрание сочинений — и заглянуть в лабораторию духа Ницше, памятуя о неуместности слишком уж глобальных выводов на основе (заведомо несовершенных) черновых формулировок. Туда я всех и посылаю — благо сегодня все тексты доступны в интернете, и пудрить народом мозги возможно лишь там, где народ требует именно этого.

* * *

[172] Ницше сразу же оговаривает: то, что побуждает к разврату последовательного нигилиста, ни в коем случае не может быть «любовью» (слово, заключенное здесь, как это вообще характерно для немецкого философа, в иронически остряющие кавычки. — Ю. Д.).

Д. опять пытается пальцем в небо... Для метафизика — слово есть то, что написано в словаре, и никаких других значений быть не может. Понять, что кавычки у Ницше отнюдь не «иронические» — Д. не в силах. А речь-то о том, что словечком «любовь» кое-кто (например, Д.) любит прикрывать всякого рода нечистоплотности. Чтобы не перепутали, не подумали, что речь идет о настоящей, человеческой любви — надо закавычить слово, вывести его из словарного контекста. Но дикари все равно перепутают, и дурно подумают — не умеют они иначе... Ницше сравнивает одно закавыченное с другим — ничего больше. Одно не лучше другого — но для Ницше эти обрывки не сами по себе: философ обязан видеть за каждой мелочью проблески чего-то единого, что на мелочи не разменивается. Мещанская «любовь» — действительно фальсификация реальности, и тут Ницше прав на все сто. Но сбегать от

любви в «страдание» — то же самое с обратным знаком (ибо «страдание» точно так же глушит разум, «опьяняет» — о чем тот же Д. нам так сообщает); вместе эти фальсификации складываются в тупой нигилизм, разврат — бессмысленный хаос вместо разумного поведения. Демонстративные «нигилисты» — отрицают одно *в пользу другого*, и могут в любой момент метнуться в обратную сторону, или в другую крайность (абсолют). Чтобы (хотя бы) заметить реальность (и стать реальным) требуется иное, *универсальное* отрицание — отрицание всех без исключения буржуазных абсолютов, как бы их ни называли, — чтобы вырваться, наконец, из кавычек и вернуться к человеческим, осмысленным словам. Классовое сознание заперто в клетке рынка — и строит рыночный мирок, прячущийся от мира в кавычки. Обывателю (даже с философским дипломом и окладом) посягательство на этот, бесконечно узкий быт — кажется уничтожением всякого бытия, обращение всего в ничто. Но универсальное отрицание лишь выводит нас к разуму, освобождает от грязи — как росток пробивается к свету из глины; списать в утиль очередной абсолют — будто пылинку смахнуть с цветка.

Поскольку человек (как субъект деятельности) занимается как раз универсальным связыванием мира воедино, любая универсальность — даже в (классово ограниченной) форме универсального отрицания, — шаг в будущее, в котором никто не гоняется за «удовольствиями» и не занимается «полаганием ценностей»: люди просто дышат свободой, ведут себя и общаются друг с другом по-человечески.

* * *

[175] Достоевский гораздо раньше Ницше исследовал те «бездны» нигилистического сознания, вся кошмарность которых ощущается именно в ночном мраке, наступающем после крушения «последних абсолютов». Но вопреки Ницше, который считал возможным для человека «трансцендировать» эту бездну, вынырнув «по ту» ее сторону — «по ту сторону добра и зла» (и тем самым превратившись в «сверхчеловека»), Достоевский был глубочайшим образом убежден, что «на дне» этой бездны человек может найти только свою гибель.

То есть, там, где Ницше видит свет — и путь к свету, — Достоевский (конечно, не настоящий, а придуманный Д.; «Достоевский» в кавычках) тонет «в ночном мраке» (я бы сказал: в ночном горшке). Вместо того,

чтобы избавиться от метафизики абсолютов, освободиться от классового размежевания на «добрых» и «злых», и понемногу приходиться к единству (к любви) — в перспективе вечная вражда, в которой (по мнению Д.) «добрые» (господа) всегда сумеют задавить «злых» (рабов), приведут чернь к повиновению. А кто не повинуется — тому гибель. Палачей на всех хватит.

* * *

Самоубийство, следовательно, оказывается для нигилиста не только его последней добродетелью в нигилистическом смысле, но и единственно последовательным актом с точки зрения нигилистической «метафизики». Человек, для которого *у-ничто*-жение — единственный абсолют, так или иначе должен погрузить в *ничто* и самого себя... [179]

Тупость Д. воистину абсолютна. Ему снова и снова объясняют про уничтожение абсолютов — а он воспринимает это как очередной абсолют. Мир без этого Д. даже близко представить не может. Свою метафизику — приписывает другим. Но уничтожение абсолютов по Ницше — это вовсе не переход в «ничто»! Напротив, это стремление не быть ничтожеством, подлецом и развратником — и уж тем более не духовным растлителем, подобно г-ну Д. Раб абсолютов — это и есть ничто: его существование — лишь тень господской воли. Но мы будем строить наш, новый мир, и кто был ничем — тот станет всем! Песенка, абсолютно противная абсолютному слуху бар и попов, и их лакеям от «философии». Ницше зовет к свободе. Которая не придет сама — надо ее делать, трудиться, творить, разбивать один абсолют за другим. Кто струсил, сбежал в ничто, — так и остался ничем; разум не уничтожает, а утверждает себя. Это вовсе не придуманная апологетами властей «воля к власти» — нет, это, скорее, власть над волей — способность не позволять ей отодвинуть в сторону разум, сделать всего лишь одним из инструментов, а не абсолютной панацеей.

* * *

Это значит, что мы должны будем согласиться и с общим культурфилософским и философско-историческим выводом Достоевского, который в противоположность Ницше считал, что нигилизм не может быть

путем к «более высокой» форме человеческого существования, если «исчерпать» его бездну до дна. Он ведет в никуда.

Снова: *должны* согласиться — не положено иметь собственное мнение! Про диалектику, про переход количества в качество, — от сатаны. Метафизика превыше всего. То есть, абсолютно.

* * *

Ницше опять приписывают «физиологически ориентированную» якобы «философию жизни». Чья бы корова мычала! Ницше пытается вырвать человека из животности, сделать духовным существом, — и начхать ему на мельтешение жизней: человеку нужен весь мир, во всей его бесконечности.

* * *

Про универсальность ницшевской схемы исторического развития выше сказано. Даже тупой критик чувствует глубинную мощь — снова и снова возвращается к теме. Поскольку всерьез возразить нечего — остается классический метод буржуазной пропаганды: все перевернуть и ополщить. Чем Д. и занимается на с. 180–181, переводя Ницше на язык абсолютов; поскольку абсолютизм с Ницше несовместим — получается набор нелепостей, которые потом легко охаять за эту (искусственную) нелепость. А в историко-материалистической трактовке — понятная и последовательная теория:

1. Классовое общество навязывает массам право, религию и мораль, выдавая их за само собой разумеющееся, одинаковое для всех, вечное и неизменное (абсолютное).

2. Классовая культура постепенно перестает отвечать направлениям исторического развития и воспроизводит лишь самое себя, объявляет господство одних над другими «общечеловеческой ценностью», якобы вытекающей из «природы человека». Свободомыслие преследуют, стремление к свободе — преступно.

3. Противоречие отживших форм экономики и рефлексии уровню развития производительных сил проникает в массовое сознание отрицательным образом — как сомнение, скепсис, смутное неприятие, пессимизм, слепой протест, — нежелание следовать тому, что каждый

день на деле обнаруживает свою несостоятельность. Пока люди не замечают зародышей будущего в современности, они огульно отрицают все налично существующее как «абсолютное зло» — и тем самым лишь укрепляют власть прежних абсолютов.

4. Если не удастся осознать причины кризиса и логику выхода, пассивное неприятие переходит в саботаж, стихийные бунты; однако без положительной программы строительства нового мира политические и духовные революции оказываются лишь переворотами, ничего не меняющими по существу и тем самым обесценивающие саму идею перехода к новым, более разумным формам общественного устройства. Так возникает нигилизм как «логика декаданса» — разрушение ради разрушения, животность.

5. Собственно революционные изменения опираются на идеи, которые поначалу доступны лишь узкому кругу «революционеров», — однако построение нового мира невозможно без продвижения идей в массы, консолидации трудового народа в общность нового типа, где прежние общественные установления уже не имеют никакой силы. Такой, деятельный «нигилизм» — это не разрушение, а становление, внедрение новых черт в прежние формы бытия, переосмысление их.

6. Когда новая идеология достаточно укореняется, очередной переворот не просто перераспределяет богатства и власть, а приводит к установлению производственных и духовных отношений нового типа, снятия прежних «абсолютов». Но если способ производства зиждется на эксплуатации человека человеком, смена общественно-экономических формаций не сопровождается коренными изменениями в культуре; история при этом производит впечатление круговорота, возвращения одного и того же — противостояния верхов и низов, господства и подчинения. Только полное уничтожение классов, ликвидация рынка и собственности — разрывает этот круг, делает людей свободными, дает возможность каждому участвовать в преобразовании любых уголков вселенной.

В этом контексте, «нигилисты, как мы видим, призваны, по мысли немецкого философа, сыграть в основном служебную роль». Так оно и есть. Они не боги и не пророки — они просто люди, которым дано выразить назревшие тенденции общественного развития, — сделать скрытое явным. Через них общество осознает собственную историю. Однако движущая сила истории — не гениальные одиночки, а широкие народные массы, делающие будущее своими руками — не сознавая

своего величия. Это не «маленькие люди», рабы и лакеи, — это кузнецы собственного (и всеобщего) счастья, носители разума.

* * *

[182] А ведь речь идет здесь ни больше и ни меньше как о том, способен ли человек жить, способен ли он существовать с ясным сознанием того, что нет никакого требования, обращенного к нему от имени человечества, от имени его традиции, его абсолютов, которые он не мог бы преступить, причем с сознанием «практическим», подтверждаемым новыми и новыми преступлениями.

Пока человек не оскотинился, пока его не довели до абсолютной животности, — от него никто не может ничего требовать, он сам решит, что разумнее сделать. Нет для свободного человека никаких традиций и абсолютов — и ему вообще нечего «преступать».

Господа узурпируют право говорить и требовать от имени всего человечества — и присваивать плоды общего труда. Нет у них такого права — а есть подлые прислужники (вроде Д.), каратели, тюремщики. Других абсолютов не бывает.

* * *

Нужны ли абсолютные измерения, абсолютные эталоны кому-нибудь, кроме человека, живущего на земле, то есть конечного и смертного, — этот вопрос не интересует Достоевского.

Отнюдь! Писатель Достоевский (в отличие от подставы Д.) ясно дает понять, что любые абсолюты — против людей, и что возможны они лишь там, где человека *делают* конечным и смертным; даже иллюзорное освобождение — знак величия.

Его интересует специфически моральная проблема. Может ли человек обойтись в жизни без всего этого, может ли он вообще прожить более или менее длительный отрезок человеческой жизни, не зная никаких моральных запретов, с ощущением того, что ему «все позволено»?

Свести общественные проблемы к морали — обычный трюк буржуазной пропаганды. Дескать, не общество менять надо, не свергать власть буржуев, — а изменить свое отношение к общественному уродству, принять ограбление масс буржуями как должное и не сопротивляться грабителям. Верхи насаждают живодерскую мораль, опутывают народ

всяческими запретами, истребляют любые сомнения в начальственном праве запрещать или позволять. Для свободного человека сами понятия запрета и позволения — бессмыслица; мы поступаем так, как считаем разумным, — и нам вообще никто не указ. Не надо нам ваших проблем, с больной головы на здоровую.

* * *

И хотя Достоевский также склонен рассматривать христианство под углом зрения его нравственного содержания, как определенную систему морали, определенный этически ориентированный образ жизни, достаточно мало интересуясь его теологической и обрядовой стороной, тем не менее он считал моральное измерение присущим человеку изначально, как некое существенное свойство, без которого вообще невозможно человеческое общежитие. Мораль в этом смысле и есть способность человека к общежитию, бытию-совместно-с другими.

И на солнце бывают пятна! Классик таки не абсолютно прав: как же можно сомневаться в существовании бога, не признавать мистического содержания и возвышенности культа? Г-н Д., вот, ни капельки не сомневается — и вообще, «сфера идеального измерения человеческого существования» состоит из абсолютов, «гарантированных самим богом» [181]! По всей видимости, имеется в виду не какой-нибудь фаллический культ, а истинно монархическое православие.

Каким образом «моральное измерение» может быть присуще человеку изначально — это тоже мистика. Или Д. стаскивает с Ницше напыленное на того обвинение в физиологизме и заявляет, что мораль есть врожденное свойство — и следовательно, сводится к физиологии? Зверушки, они тоже как-то друг с другом уживаются — хищными прайдами, дружными стадами, а у рыб — офигенные косяки!

Совместное бытие под надзором полиции нравов — это вовсе не человеческое общежитие, а клетка в зоопарке (или камера в тюрьме). Разумные люди — учатся быть совместно с другими всю сознательную жизнь, а также до и после. Это не приходит само по себе — общество надо строить, и все в нем — продукт деятельности. И здесь Ницше полностью прав; но

... то, что представляется немецкому философу «физиологическим вырождением», «декадансом», с точки зрения Достоевского (как и Толстого), есть норма: свойство, без которого человек не может считаться вполне нормальным.

Кстати, опять проговорился: физиология у Ницше вмешивается в людские дела там, где они перестают быть людьми, вырождаются, скатываются в животность. Для классового общества — это норма. Остается только конкретно указать, кто будет делить на нормальных и ненормальных — и мы тут же придем к классовому строению экономики и быта.

Без прочных моральных устоев (убежденности в абсолютности абсолютов и истинности моральных истин) согласно Достоевскому невозможно нормальное существование не только общества в целом, но и каждого отдельного человека.

Как обычно — Достоевским Д. величает самого себя; диагноз: мания величия... Соответственно, нормальностью (по определению) считается согласие с Д.: именно он правильно выражает идеалы абсолютизма!

Их разрушение неизбежно ведет к болезни человеческого духа, которая, как показывает русский писатель, чаще всего переживается как душевная, а подчас и телесная болезнь.

Вот и опять свели дух к физиологии. Обычное двурушничество: требуют соблюдения приличий от рабов — а господам не обязательно...

* * *

Согласно Д., дубовая голова — залог душевного здоровья. Чем тверже — тем здоровее. Когда какой-нибудь Ницше пытается работать головой не только в смысле стучать об пол (перед образами, разумеется), это дуболомам

предстает как сплошное безумие: переворачивание с ног на голову естественного положения вещей, выглядит как горячечный бред, если взглянуть на все это с простых и ясных позиций русской нравственной философии.

Классовое господство выдают за «естественное положение вещей» — и это нормально, поскольку естественность = дикость, а классовый мир далек от разумности. Чтобы поставить вопрос об уничтожении такого, животного порядка и наведении порядка разумного — это ересь. Позиция «русской нравственной философии» предельно ясна: рабам рабское, господам господское, — и не вздумайте бунтовать!

В противоположность тому, что хотел бы доказать немецкий философ, причина нигилизма вовсе не в том, что «некогда» была положена в качестве абсолютной некоторая система моральных требований и

норм, идеалов и ценностей. Она в том, что в определенные периоды человеческой истории количество людей, для которых эти (общечеловеческие, если взять их в чистом виде) нормы и ценности утрачивают значение совершенно непререкаемых, достигает размеров «критической массы».

Врете, господин нехороший! Ваша система не просто «была положена в качестве абсолютной» — ее тысячелетиями насаждали огнем и мечом, и лишь потом добавили еще и крест (поначалу для казни — потом и для духовного распятия). Когда недовольство достигает «критической массы» — это революция; а вам уж очень хотелось бы в зародыше задавить протест — для этого и внушают рабам, что без абсолютов никак нельзя, что на смену одному придет другой — так зачем менять шило на мыло?

* * *

[185] Преодолевается же нигилизм извне: на путях укрепления тех органических основ человеческой жизни, условием естественного существования которых является опора на нерушимость нравственного абсолюта.

Открытым текстом: православие, самодержавие, народность. И снова физиология: жизнь человека сужена до «органических основ», и ничего кроме «естественного» (то есть, животного) состояния нам не светит... Начальство призывают «преодолевать нигилизм извне» — железной рукой истреблять нигилистов во имя нерушимости абсолютизма — и чтобы другим неповадно было.

* * *

Следующая глава целиком посвящена религиозной агитации. Раз уж Достоевский и Толстой сделаны идолами «нравственной философии», придется их реабилитировать в глазах идолопоклонников — объяснить, что на самом деле они самые что ни на есть правоверные, а если русская церковь и монархия их не жаловали — то исключительно по досадному недоразумению.

Как всегда, страшнее Ницше зверя нет — а его атеизм еще страшнее, потому что теперь «мы не имеем больше над нами абсолютно никакого господина», и «над нами нет никакой более высокой инстанции». То

есть, если бы только на бога покушались — еще куда ни шло; но здесь черным по белому речь о неповиновении начальству! Бунт — и призыв бунтовать.

Главное для немецкого философа заключается в том, что отсутствие бога предстает здесь как отсутствие каких бы то ни было ограничений для человеческой воли.

Все с ног на уши. Наоборот: именно нежелание терпеть какие бы то ни было внешние ограничения влечет за собой также отказ от любых религий: свободный человек в боге не нуждается — как (по жизни набожный) Ньютон не находит места богу в математике механического движения.

А ограничения, с которыми сталкивается воля, — это прежде всего ограничения нравственного, морального, этического порядка.

Гнусная ложь! Ограничивают нас экономически и силой оружия, морт голодом и сгоняют с насиженных мест, бросают в тюрьмы, пытаются и распинают на чем придется. На нас натравливают банды оболваненных «защитников морали», и можно нарваться не только на «поражение в правах» — но и побьют, и покалечат; власти поддерживают разборки «по понятиям», открыто признают полномочия уголовных авторитетов. Душещипательные беседы — всего лишь надстройка, довесок, лыко в начальственную строку.

... отсутствие бога — это, в глазах Ницше, отсутствие нравственных ограничений человеческой воли, связанных с идеей абсолютного морального принципа, символом и гарантом которого выступал бог...

Чушь! Не может мифологема «выступать гарантом» — ее делают символом своей власти власть предержащие. Нет богов самих по себе — их изобретают люди, чтобы угнетать других людей. Ницше против барского насилия — а не только его символов. Разум — мерило всему; но разум не нуждается в богах. Ницше пишет:

Насколько далеко мог простираться бог, настолько теперь мы сами боги. Это черновик, неудачный оборот речи: все, что приписывают богам — дело рук людских; но зачем свободному человеку изображать из себя такое, заведомо ограниченное существо? Мы не хотим быть богами — мы хотим быть людьми!

Согласно Фейербаху бог был отчуждением человеческой чувственности. Ницше же считает, что бог был отчуждением человеческой воли.

Какая разница? Человеческая воля и человеческая чувственность — стороны одного и того же, атрибуты разума. Классового человека обкрадывают во всех отношениях — ограничивают как чувства, так и желания. Сначала грубым насилием — потом промыванием мозгов. Ницше начинает с воли — это логично, поскольку речь прежде всего о запрете жить по-человечески, свободно трудиться, творить и любить. Как мы действуем — так мы и чувствуем. Маркс копнул еще глубже — и от субъективности действия перешел к его всеобщности, к труду как пересозданию мира и человека.

* * *

[189] ... убийство другого — как акция, которая согласно Ницше под стать только «сильному человеку», — предстает, в глазах немецкого философа в качестве позитивного выражения воли, ее «приращения». Самоубийство же он склонен расценивать скорее как проявление упадка, ослабления волевого начала в человеке.

Метафизик Д. мыслит убийство само по себе — как абстрактную идею, абсолют. Но человеческие деяния — в контексте деятельности в целом, на всех ее уровнях, вплоть до всемирно-исторического звучания. Люди разумные — подбирают способы действия в зависимости от условий и задач; дело тут не в самокопании — а в соответствии инструмента характеру труда. Разумеется, поскольку уважение к свободе других — неотъемлемая сторона личной свободы, убивать по дури никто не станет; но если в общих интересах (а значит, и в интересах каждого) изъять из обращения одно из органических тел — это не вопрос этики, а чисто технический вопрос. Этика определяет характер действия — но никак не влияет на его общественную (историческую) необходимость. Способы умерщвления в классовом обществе — изощренная жестокость, цель которой — нагнать страх на рабов. Власти всячески сопротивляются проектам легализации эвтаназии: если раб в любой момент может исчезнуть — как его эксплуатировать? Легкий, блаженный уход из жизни — мечта тысячелетий. Там, где это возможно, различие убийства и самоубийства полностью снимается.

Но такое снятие — не абстрактный идеал отдаленного будущего; оно на каждом шагу происходит в недрах классовой, и прежде всего капиталистической действительности — в извращенных, классовых формах. Нет ничего проще, чем довести человека до самоубийства:

достаточно сделать невозможной жизнь, довести страдания до такой степени, что (даже страшная) смерть покажется избавлением. Когда вам предлагают выбор между расстрелом из огнемета (или распилом бензопилой) и добровольным цианидом — вы наверняка предпочтете последнее. Цивилизация придумала тысячи иных, более утонченных воздействий: наркотики, психическая болезнь, религиозный фанатизм и патриотизм... Наконец, смерть за деньги, на потеху публике (или чтобы прокормить семью). С другой стороны, ставя подпись под документом, политик или коммерсант формально никого не убивает; во сколько миллионов трупов выльется эта закорючка — никому не интересно.

* * *

Нигилисты Достоевского чувствуют себя обязанными что-то кому-то доказать — публично продемонстрировать свою исключительность. Но тем самым они уничтожают эту самую исключительность, сливаются с серой массой, покорно следующей чуждым для них абсолютам. Все, что остается такому, зажатому в абсолюты недочеловеку — страх. Свободному человеку незачем изображать, доказывать, подтверждать свою разумность — ему вообще до нее дела нет: когда разум есть — мы просто используем его в труде, в творчестве, в любви, в повседневной жизни, — и думаем при этом не о себе, а о предстоящих свершениях, ищем приемлемые, человеческие варианты действия. Сводный человек никому ничем не обязан и ничего не должен; он поступает так, как того требует поставленная всем ходом истории общечеловеческая задача, которая стала в какой-то момент частью его личности.

* * *

[197] ... в той мере, в какой Кириллов признает другого человека именно как человека (а не как простую границу или, наоборот, механический инструмент его «своеволия»), он признает и нравственный абсолют как нечто возвышающееся над его волей и так или иначе ее определяющее. В этом смысле он действительно непоследовательный, половинчатый нигилист, очень непохожий на тех, на кого возлагал все свои надежды Ницше.

Здесь Д. опять подсовывает Достоевскому свою метафизическую идею человека вообще, самосушую абстракцию вместо реальных людей.

Признавать именно такого «человека» — это уже признание абсолюта, так что навешивание всех прочих — дело техники (как говорится, дурак дурака видит издалека). Такие половинчатые — очень нужны властям, их намеренно производят в системе классового воспитания, чтобы опошлить идею свободы, подменить ее глупейшей неприглядностью, — и тем самым выставить еще один барьер на пути к свободе в сознании далеких от просвещенности рабов.

* * *

Д. возмущается: как можно пройти мимо глубокой религиозности недочеловека Кириллова — показушного нигилиста, который ни на йоту не сомневается не только в существовании богов, но и в подлинности поповских сказок; для него Христос — «человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить» [198].

Эту кирилловскую мысль Ницше, ненавидевший в христианстве прежде всего и главным образом моральную символику, связанную с образом Христа, разумеется, не зафиксировал в своем конспекте.

Так работает промывание мозгов: народное возмущение уже не в силах переступить вбитые в подсознание абсолюты, и можно убить барина — но ни в коем случае не посягнуть на богов, олицетворяющих барство как таковое. Но Д. идет дальше: ему надо вытравить в рабах последние блики самосознания, убедить их, что их рабская жизнь невозможна без господина, и потому покушение на власть — есть покушение на собственную жизнь [199]:

Человек, провозглашенный «богом», в принципе не может убить другого человека. Бог может убить лишь сам себя.

То есть, захотелось бунтовать — убейте себя. Чтобы не отвлекать лишний раз начальство от барских увеселений (или от бизнеса). Настолько людоедскую метафизику в цивилизованных странах не решаются пропагандировать даже отпетые апологеты буржуйской непогрешимости — это сугубо российская «народность».

Нужно быть очень тупым, чтобы не заметить грубейшей лжи: христианский бог даже по библии вырезает население почем зря, без малейших колебаний применяя оружие массового уничтожения (сказка о потопе, Содом и Гоморра и т. д.). Именем божьим христиане всех мастей (включая православных) истребили миллионы язычников (и

евреев); руками своих рабов — бог убивает отнюдь не себя. То же вытворяют и прочие боги; например, *вся* Бхагавадгита посвящена тому, как бог Кришна (которого считают индийским прототипом Христа) натравливает одних людей на других по приказу своего начальника, который решил, что людишек многовато развелось, и надо поубавить — так пусть сами вырезают друг друга. Показательно, что убедить в необходимости резни удастся далеко не сразу; это важное историческое свидетельство, указание на то, что насаждение абсолютов (рождение классового общества, цивилизации) встречало упорное сопротивление доклассовых, первобытных людей.

* * *

Ницше против библейских сказок о воскресении и царстве божием, поскольку его «сверхчеловек» (сбросивший цепи классового бытия) есть непрерывное становление — перетекание одной деятельности в другую, а что достигнуто — то мертво, и нельзя превращать эти трупы в абсолюты. Как символ евангельского тупика, Ницше подчеркивает у Достоевского: «...*то есть цель достигнута*: к чему дети?» — и далее:

«В ребенке выражается неудовлетворенность женщины», давая этим понять, что женщина, желающая иметь детей, против такой идеи. Она в силу своего природного предназначения к деторождению неизбежно будет против «вечной гармонии», имевшей у Кириллова характер нравственно-религиозного постулата. Если продолжить эту мысль в том направлении, которое сообщил ей Ницше, то она должна, по-видимому, означать следующее. Женщина как воплощение начала становления — вечной неудовлетворенности, является «естественной противницей» всяких абсолютов, что согласно философу уже само по себе делает их сомнительными.

Воистину, беседуют два умных человека: Ницше и Достоевский... Рассуждения дурака о них — метафизический лепет... Надо читать оригиналы!

Женщина как воплощение свободы от абсолютов, от закостенелой «вечности», от поповских «постулатов», — это великолепно! Остается добавить, что женщина — символ любви, — настоящей, человеческой, свободной. И вслед за Ницше:

Что вызывает у меня самую большую досаду? Видеть, что никто не имеет больше мужества додумать до конца.

А Д. бессовестно запугивает читателя:

Все должно погрузиться в сплошной поток «становления», понятого даже не по Гераклиту, у которого над этим потоком возвышается «мера», а по Кратилу, для которого поток становления оказывается тождественным полному хаосу.

Так все буржуи и говорят: без начальства — никакого порядка. Дескать, не пытайтесь ничем становиться — куда поставят, там и стойте. Но становление — вовсе не «бессмысленность и абсурдность» (как пыжится доказать г-н Д.), это и есть реальность, самообновление мира — в котором разумные существа постараются поучаствовать. В отличие от иллюзии «ставшего», законченного, данного раз и навсегда.

* * *

В действительности мы сталкиваемся здесь с феноменом, уходящим своими корнями в онтологические основания человеческой природы, хотя и отмечаемым на уровне человеческого сознания... [205]

Каков концентрат маразма! Оказывается, существует абстрактная (сама по себе, без человека) «человеческая природа» — и зиждется она на невесть откуда взявшихся «онтологических основаниях»! А сознание людишек, дескать, только «отмечает» готовенькое — и никоим образом не участвует в его изготовлении.

Имеется в виду тот факт, что человечество не может существовать, не утверждая высшего — то есть не совпадающего с простым «физическим» присутствием на земле — смысла собственного существования.

Оголтелая пропаганда идеи о вечности классового мироустройства: не может толпа рабов существовать без мудрого пастыря — и смысл их бытия — ублажение господ; только для этого им позволяют «физически существовать». Чтобы сбросить цепи и жить своим разумом — ни-ни!

В связи с этим можно сказать, что утверждение высшего смысла своего существования является для человечества одним из необходимых условий возможности его элементарного самосохранения.

Вот и опять свели человека к животному. Стоят над стадом надсмотрщик с кнутом и охранник с автоматом: кто будет рыпаться — того побьют, или на мясо для барского стола... Разум — не имеет ничего общего с инстинктом самосохранения. По большому счету, ему все равно, какое тело его приютит — и ничего не стоит отказаться от одного и перетечь в

другие. Когда люди творят — и любят — им плевать на подлую животность! Отдать жизнь за любовь — вовсе не жертва, не игра на публику, — это свобода, способ подлинно человеческого бытия. А вовсе не как у подлых тварей:

Выражаясь более отвлеченно, утверждение высшего смысла существования входит в качестве органически необходимого момента в тот «способ», которым осуществляется человеческое бытие. Утрата этого высшего смысла приводит к распадению тех органических форм общения, из которых складывается человеческий род, ведет к деградации человека, а тем самым и человечества.

Снова и снова: «высший смысл» — указания свыше. Над человеком, против человека. Заметьте: абсолюты пытаются встроить в рабов как неотъемлемый компонент метаболизма, устройство органики. На фигу же нам такая органика, если работает она не для нас, а на зажавшегося мерзавчика? На кой нам заботиться о «человеческом роде»? Да пусть он сгинет целиком — если тем самым получится расчистить дорогу к свободе, воплощенной как-нибудь иначе. Ну а про «деградацию» — это совсем по-барски: бунтующий холоп — негодный холоп. То есть, поездить на шее уже не получится...

* * *

Живописуя, как слишком возомнившего о себе раба «заталкивают в самоубийство», Д. перечеркивает собственное глубокомыслие по поводу непозволительности убивать других — и логичности самоубийства. Если господа пьют нашу кровь — мы не обязаны это терпеть, и вполне можем прихлопнуть кровопийцу. Если спущенный сверху абсолют нас не устраивает — мы обходимся без него. Человек разумный — это и есть изменение мира в сторону большей разумности.

Рабское «жизнелюбие» тех, кто «в бога верует пуще, чем поп», — надежная опора власть предержащих. Думая только о своей пошлой и подлой жизни — даже бунтующий раб не посягает на устои:

Своеволие, которое должно было утвердить себя в противоположность нравственным абсолютам, обернулось не просто утратой человеком своей собственной воли, а превращением его в бессмысленное орудие гнусно и низменно направленной чужой воли. Этим было доказано лишь то, что человеческое действие не может быть «абсолютно своевольным». Оно либо направляется тем, что человек считает

вышим в самом себе, возвышающимся над его единичной волей, либо оказывается во власти «низших стихий», используемых в античеловеческих целях.

Рабская психология г-на Д. не в состоянии избавиться от деления на «высшее» и «низшее». Он, правда, скромно умалчивает, что «низшие стихии» используют в античеловеческих целях те же самые лица, кто насаждает нравственные абсолюты (которые подавляют человека — «возвышаются над его единичной волей»): либо вы «добровольно» подчиняетесь попу и закону — либо на вас натравят стаю живущих «по понятиям», воинствующих мещан — или прикормленных властью уголовников.

Метафизически противопоставленные друг другу «абсолюты» и «своеволие», разумеется, не склеиваются в целое — и не получается ни абсолютного своеволия, ни своевольного абсолюта. Синтезом полюсов становится барский произвол (который, как и рабское служение, далек от человеческого, разумного действия). И если барин прикажет — раб убьет, и это не будет убийством, а будет лишь исполнением барской (божьей) воли — служением абсолюту. Принцип «не убий!» означает лишь одно: не иди против господ, не убивай их власти, не порти их имущества (например, другого раба).

Это принцип вечности, абсолютности, нравственной оправданности жизни как целого, к которому наряду с любым другим живым существом причастен и человек — единственный, кто способен осознать благо дарованного ему бытия, постичь его высший смысл.

Понятно? Людишки — только домашний скот, «наряду с любым другим живым существом». Живите, пока вам «даруют» жизнь — и радуйтесь, что пока не отправили на живодерню.

Не случайно высший моральный принцип гласит: «Не убий!» А тот, кто попирает этот принцип, выступает не только против морали, но и против самой жизни, как бы он ни пытался доказать совершенно противоположное.

Человек — не зверушка. Не нужна ему жизнь без свободы, без любви. Тем более не нужны жизни тех, кто пытается отнять свободу, задушить любовь. Спущенный сверху («высший») моральный принцип — можно сразу же спустить в унитаз. Вместе с прочей моралью. Подлая тактика античных софистов и современных «нейролингвистов» — подставить одно под другое и запретить собеседника в навязанной ему теме: вместо того, чтобы думать о переустройстве вселенной, — оболваненный раб

мечется в клетке противоположностей: убить или не убить? Да какая разница! Нам все равно, быть или не быть; важно *как* быть — и *как* не быть. Нам важно — чему и как быть, и что для этого сделать. Не по указанию извне — а по велению сердца, по любви.

* * *

Абсурдные теории Камю — далеки от лучезарности Ницше. Солнце заменили приглушенным рассеянным светом, революцию — мелкими реформами, театр истории — театром абсурда.

Камю считает Кириллова «абсурдной фигурой» по той причине, что последний отверг нравственный абсолют и прежде всего бога, гарантировавшего абсолютность всех абсолютов.

Снова трюк НЛП: молча предполагается, что абсолюты «гарантируют» боги — а вовсе не вооруженные до зубов мерзавцы, с миллиардами на банковских счетах. Согласитесь с таким «отрицанием» богов — и вы согласитесь с утверждением их могущества, станете винтиком машины промывания мозгов.

Если нет нравственного абсолютa, возвышающегося над человеческим «своеволием», то все человеческие действия в принципе становятся «равноценными».

И снова: нам подсовывают буржуйскую мысль, что одно непременно должно возвышаться над другим, — и неравноценность автоматически становится правом одних ездить на шее у других. Оценивать — это рынок. Дележка имущества, конкуренция. Животное выживание — вместо человеческого, свободного труда, без оглядки на других, следуя голосу разума. Свободным людям незачем сравнивать одни действия с другими, и тем более расставлять их по (данному со стороны) ранжиру.

* * *

Д. против Камю поскольку речь идет о несогласии с мнением начальства — но вполне солидарен там, где бунтовщиков объявляют опасными психопатами, маньяками, вытворяющими черт-те что «на почве душевно-духовного заболевания».

Как говорили древние, «когда боги хотят наказать человека, то прежде всего они отнимают у него разум». А наказывали они людей чаще

всего за гордыню, или, говоря более современным языком, за стремление человека быть «сверхчеловеком», поставив себя «по ту сторону» добра и зла.

Намек понятен? Хотите «по ту сторону» — пожалуйста в дурдом, или в лагерь, за колючую проволоку. На той стороне бетонного забора — хоть вешайтесь. Понятно, что заборы строить можно и метафорически: окружить отщепенца стеной молчания и презрения, запретить труд и общение, лишить средств к существованию и доступа к общественным фондам. Если при этом еще и измываться денно и ночью, гадить под дверью и на голову, угрожать расправой, — трудно не сойти с ума. Таковы традиционные методы господ-абсолютистов.

* * *

Подлый трус отказывается от бога только ради собственной выгоды (в чем бы она ни состояла). Для него отказ — не средство достижения разумной цели, а самореклама. Если оказывается, что никому до этой показухи дела нет — личная трагедия, катастрофа, конец всему; но молча отойти в сторону подлец не может — и в его распоряжении последний шанс всем нагадить: убить себя назло врагам (а в классовом обществе все друг другу враги). Вот это Достоевский и показывает, в характерной для него стилистике злой сатиры (к сожалению, иногда разбавленной антихудожественным резонерством). Но дурак Д. толкует про «педагогику» Достоевского:

... человек не может жить без морального абсолюта, ограничивающего его «своеволие»...

В том-то и штука, что Кириллов не дорос до человека — он остался маленьким вредным насекомым, от исчезновения которого не изменится ровным счетом ничего. Для таких — все упирается в абсолюты; они сами представляют собой ходячий абсолюты. И чем больше они будут убивать себя — тем легче дышать настоящим людям: одним абсолютом стало меньше.

Камю здесь не намного умнее Д. Какая, к дьяволу, «последняя революция»? Нечто вроде христианского страшного суда? Суть в том, чтобы каждый шаг свободного человека становился революцией — чтобы никто не лез в «цари» и не бредил «славой». Воля свободного человека не имеет ничего общего ни с рабской покорностью — ни со

своеволием: это просто разумность, соответствие движению мира в целом и стремлениям других людей, совместный труд не ради того, чтобы получить результат во что бы то ни стало, — а просто чтобы быть вместе, друг для друга, а не для барина.

* * *

При имени Ницше у Д. перекашивается физиономия, выкатываются на уши глаза и лезет обильная пена изо рта, изрыгающего все новые проклятия по поводу

болезненной экзальтации Ницше, одержимого мазохистской «волей к самопреодолению» (преодолению в себе всего человеческого).

Заметьте: это не дурацкая «воля к власти» — это преодоление (прежде всего в себе самом) «человека» в кавычках во имя настоящего, разумного человека. Причем

Существуют разные пути и способы преодоления: ищи их *сам!*

Нельзя сделать человека разумным извне — ему придется вырастить разум в себе, преодолевая колоссальное давление классовой культуры и наследие подлой педагогики.

Беда Ницше — в беспредельном одиночестве, от которого можно запросто сойти с ума. Оторванный от трудового народа, не привыкший руками месить материю мира, Ницше не находит людей — и кажется, что так и будет всегда, что революции — дело одиночек. Но если человек в состоянии сам искать пути к свободе — добиться свободы он может только вместе с другими, и преодолеть мерзость в себе невозможно без помощи тех, кто любит — и достоин любви.

* * *

Вот что такое ставрогинский способ «стать царем», глядящим сверху вниз на те самые нравственные абсолюты, которым подчиняется обыкновенный смертный, не видя в том никакого оскорбления ни своей воле, ни себе самому.

Обыкновенный барин — не подчиняется никаким абсолютам: он предписывает их рабам — и покупает подлых лакеев, убеждающих мерзавца, что «обыкновенные смертные» бесконечно счастливы иметь над собой такого «нравственного» господина. А то, ведь, ненароком и

совесть пробудится! — и от страха кусок в горло не пойдет. Для острастки холопам — персонажи Достоевского, гад на гаде; дескать, смотрите: попытались сбросить ярмо — и что? никакой радости... Так что ровно сопите в две дырки, и если ваша воля состоит в том, чтобы гнуть спины на господ, — никакого оскорбления этой воле, конечно же, нет, а одно лишь райское благолепие...

* * *

Обыватель Достоевский может сколько угодно писать в дневнике, или вкладывать в уста персонажей, что

без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация.

Художник Достоевский убедительно показывает, что *любые* апелляции к «высшей идее» — оправдание дикого насилия, зверства, — способ снять с себя ответственность за подлость и малодушие.

Не заметить откровенно иронического отношения Достоевского к Алеше Карамазову может только абсолютно слепой. Он такой же Карамазов, как и все остальные, — и пафос романа как раз в том, чтобы во всей полноте представить разные грани карамазовщины. Нам прямо-таки кричат: не ведитесь на сладкие речи — не позволяйте затащить себя в болото абсолютов! Но если есть хоть малейшая возможность понять что-то неправильно — власть предержавшие постараются, чтобы это неправильно поняли; если такой возможности совсем нет — есть г-н Д., который высосет из пальца тонны липкой грязи и вывалит в ней самые светлые мечты.

* * *

Название раздела: «Возможна ли нравственность без абсолюта?» Абсолютная бредятина. Говорить о нравственности возможно лишь там, где человек сам выстраивает свое поведение; подчинять себя какому угодно «абсолюту» — это отказ от себя, и это заведомо безнравственно. Однако «низвержение морального абсолюта» — само по себе ничего не значит: если на его место встанет другой, столь же «моральный» абсолют — для человечества равным счетом ничего не изменится. Идеологи классового господства намеренно подсовывают людям зауженную постановку задачи, переводят разговор на сугубо этические

рельсы. Но людям, по большому счету, все равно, из каких соображений они будут поступать, — людям надо менять мир, одухотворять его, освобождать от абсолютов. Этика годится в качестве отправной точки точно так же, как эстетика или логика; можно вообще не заморачиваться разграничениями — потому что все это грани одного и того же.

* * *

Когда некто «приносит себя в жертву идее» — это не человек, а жертвенное животное. Идея возведена в ранг божества, в абсолют. Стоит ли овчинка выделки?

* * *

Достоевский:

В Кириллове народная идея — сейчас же жертвовать собою для правды... Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман.

Казалось бы ясно: Достоевский не знает, и не берется судить, какая правда правдивее; он лишь показывает, что обожествленная правда — всего лишь идол, мишура. Жертвенность как «национальная черта поколения» — скорее, препятствие на пути к правде, синоним непроходимого невежества, забитости и униженности масс. Но Д. быстренько перевирает — сразу всех:

[236] Речь идет здесь о правде в народном, то есть нравственном, ее понимании, которое не имеет ничего общего с пониманием «абсурдной истины» Камю, стоящей «по ту сторону» самого различения доброго и злого.

Сразу провозглашается черносотенная «народность» (самодержавие + православие) — которую запихивают в клетку абстрактно этической проблематики и нагло приписывают Достоевскому; после этого Камю приписывают идеи Ницше (до которых француз так и не дорос) — и на обоих науськивают сатрапов «морального абсолюта».

Заметьте у Достоевского: «жертвовать собою и всем». Если есть одна жертва — будут и другие: боги («абсолюты») ненасытны — они

жаждут все новой и новой крови. Очень характерно в этом отношении построение фабулы *Преступления и наказания*: одно убийство ведет к другому. Только решительный отказ от подсказанных сверху решений, выход за грань добра и зла (и любых иных противопоставлений), — позволяет включить, наконец, разум и действовать по-человечески.

* * *

... любовь вообще располагается в измерении, не имеющем точек соприкосновения с нигилизмом.

О любви Д. не знает вообще ничего. О нигилизме, впрочем, тоже. На всем протяжении книги, озаглавленной «Этика любви», — ни единого слова о сути любви, причем не только обыкновенной, человеческой — но и «абсолютной», божественной, мифической, фальшивой! Оно и понятно: согласно Д., любить можно только начальство — и сводится такая «любовь» к вылизыванию зада и бичеванию «нигилистов», посмевших подвергать сомнению божественность повелителя и его извечное (абсолютное) право «дарить» рабам жизнь — пока не взбредет в голову отнять «дарованное».

Человеческая любовь (в отличие от закавыченной, холопской) существует там, где нет никаких размежеваний и взаимных отрицаний. Нет покорности, нет нигилизма. Есть общий труд — в котором каждый сам найдет себе место, и все это любят, и человек может любить всех.

* * *

Самообожествление человека путем самоубийства — это, в глазах Достоевского, то же самое утверждение нравственного миропорядка посредством устранения морального абсолюта, только переведенное с этического языка на онтологический, на язык проблемы самого бытия.

Воистину, абсолютизм вреден для психики! Д. начинает заговариваться, упивается собственным бредом и впадает в белую горячку. Устранение морального абсолюта — это, видите ли, «утверждение нравственного миропорядка», — то есть насаждение другой морали, с ее собственными абсолютами. В переводе: передел собственности, захват рыночной ниши и устранение конкурентов; как в известном фильме: *Скидай сапоги — власть переменилась!*

У бытия нет никаких проблем. Проблемы только у людей — пока одни создают проблемы другим. Каким языком тут ни говори, на повестке дня вопрос об уничтожении классового общества — о переходе к обществу свободных людей, которым не нужно ничего «утверждать», которым не нужны боги, а разговоры о смерти — неуместная глупость в кругу разумных, то есть, заведомо бессмертных.

Это «метафизическая предпосылка» кирилловской «этики без абсолюта», глубинный корень которой в уравнивании жизни и смерти, бытия и небытия. Оказывается, что в основе подобной этики, возводящей в абсолют самого человека, лежит стирание различия между жизнью и смертью, бытием и небытием.

Речь вовсе не об «уравнивании»! Буржуазная идея равенства — лишь формально объявляет всех собственниками, рыночными игроками, — а делить собственность все равно будет господствующий класс. Людям подсовывают мысль, что ничего кроме рынка нет и быть не может — заставляют сталкиваться лбами в клетке (или как скорпионы в банке). Против такого НЛП — диалектика Гегеля: мы не просто «стираем» (замазываем) различия — мы их *снимаем*, то есть, изменяем мир таким образом, чтобы все эти различия стали неуместными, невозможными в иной постановке человеческой деятельности. Не заставляйте нас вечно вращаться в кругу искусственный противопоставлений! — дайте нам возможность искать единство.

Сотни страниц Д. посвящает пропаганде своего абсолюта человека, мертвой абстракции, на которую жизнь и смерть навешивают извне; вдруг оказывается, что такое «возведение в абсолют самого человека» — «метафизическая предпосылка» клятого нигилизма, и Д. автоматически залетает в стан своих врагов!

Ничего удивительного. Лакейская метафизика Д. целиком сводится к одному «этическому» вопросу: перед кем пресмыкаться? Если некий нигилист сумел отбить кусок пирога у прежних властей и сделался уважаемым господином — Д. морально готов переметнуться на его сторону, публично покаяться — и славить новое божество.

В этом самый глубокий исток нигилизма, представляющего собою в конечном счете отрицание самого бытия, из чего и проистекает все разрушительно-разлагающее, все чудовищно бесчеловечное в нигилизме.

Метафизика г-на Д. достойно продолжает всю эту разрушительность и бесчеловечность. Обратить в ноль человеческое бытие — это нормально. Возмущение по поводу «неправильных» нигилистов вызвано другим:

некоторые позволяют себе считать рабов людьми — а не абстракциями «человека»; тем самым рабу дозволено самому вершить судьбы мира, и собственную судьбу. А это посягательство на устои: даровать жизнь и отнимать жизнь — прерогатива начальства, и только такое, спущенное свыше бытие (согласно Д.) может быть исполнено «высшего смысла».

* * *

Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек.

Надо быть *очень* тупым, чтобы усмотреть в этой формуле подталкивание к самоубийству. Действительно, разумному человеку животные тела не указ, — для него нет абсолютов (тем более физиологических). Базар за «жить или не жить» нас не интересует. Нам важнее делать свое дело, честно трудиться, творить, любить. Как в этом будут участвовать биологические тела (и будут ли участвовать вообще) — дело десятое.

А у Достоевского — издевка на рабской казуистикой и наглядно о технологиях НЛП: дураку *подсовывают* дурацкую мысль под видом железной логики:

Если будет все равно, жить или не жить, то все убьют себя...

Вздор. Логический вывод — невозможность убийства как такового. Уничтожение какого-то биологического тела не может стать мотивом деятельности — это лишь средство, путь к собственно человеческим, разумным (а не животнo-шкурным) целям. Человек — не организм; как совокупность общественных отношений, как личность, человек вечен. Чем ближе человечество к разумности — тем больше у нас возможностей влиять на свои воплощения, свободно менять их, — избавиться от (навязанного свыше) диктата органики.

* * *

Здесь уже кое-что от фихтеанского экстремизма: «Пусть погибнет мир, лишь бы торжествовала справедливость», — как если бы «справедливость» была чем-то не только «сверх», но и вообще «внечеловеческим», нечеловеческим.

Дожили. Г-н Д. наступает на горло собственному шлягеру и выступает против абсолюта справедливости — а следовательно, против всех без исключения абсолютов! Только недавно нам пели про «дарованную»

начальством «высшую мораль» — как если бы ее абсолюты были чем-то «внечеловеческим», божьим установлением; тут вдруг разворот на все градусы — и он уже против царей и богов. Батюшки! — кто же тогда будет вершить справедливость?!

* * *

Но запала хватило ненадолго — и Д. быстренько впадает в грех нейролингвистики:

Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя.

Кто свободен — тому не нужно убивать (или не убивать). Он занимается своими делами, а дикие зверушки ему просто не интересны (разве что, в чисто научном плане, как раздел зверушководологии).

* * *

У Достоевского гениальное (им самим не до конца осознанное) прозрение: нужно не копаться в морализаторских кишках, а добиваться «перемены земли и человека физически»! А когда «мир переменится» — тогда (как его часть) «и дела переменятся, и мысли, и все чувства». Один шаг до боевого марксизма: *мы наши, мы новый мир построим...* А Д. подменяет деятельное, *физическое* преобразование сугубо «моральным преобразованием человека» — это безнравственная ложь!

* * *

Оказывается, стирание различия добра и зла — прямая дорожка к безумию... И в самом деле: марионетка так устроена, что ее надо дергать за ниточки — и тут нужен опытный кукловод, а иначе она кукла начнет дергаться хаотически — сойдет с ума, и может вовсе съехать с ниточек, рухнуть мертвой грудой. Так что извольте блюсти дистанцию, не переступать грань! Каждому свое, как любили писать гитлеровцы на вратах смерти. Царю — царское, барину — барское; рабу — рабское, дураку — дурацкое; попу — поповское, жиду — жидовское... Такая, вот, «этическая любовь». Взаимная метафизическая отчужденность, дурные (абсолютные) противоположности...

Лично мне — никакой радости копать в этой мерзкой писанине. Противно. Будто в дерьме вываляли. Но раз уж взялся — придется джужить. Не из пристрастия к абсолютам, а ради любви. Человечеству на пути к свободе придется преодолеть людоедскую метафизику господ вроде Д. — пусть какую-то часть преодоления оно совершит через меня. Мой разум предлагает мне участие в общем труде — вместе с Кабе, Марксом, Ницше, Лениным, Ильенковым, — и всеми остальными, кто не пишет свободную от догм философию, а делает ее.

* * *

Приписываемая Достоевскому сказка про «совесть в универсальном смысле» — очередная подтасовка и ложь. Совесть — понятие классовое, целиком вписанное в сферу господства и подчинения, когда одни устанавливают рамки другим — и вбивают в головы холопам подлый страх, так что малейшее неповиновение им сами кажется величайшим грехом, требующим раскаяния и искупления. Если я поступаю как разумный человек — это мое личное дело, и я ни перед кем не обязан держать отчет. Даже перед собой самим. Универсальность состоит в том, что мы нигде и ни в чем не упираемся ни в какие барьеры: вместо перегороженной тропинки ничто не мешает выбрать другую, в обход или поверх, через десятое измерение. Мои поступки никто не может оценивать или осуждать — они просто есть, и другие разумные люди ведут себя, сообразуясь с моим разумом, — как я сообразен им. А нам талдычат про «дурные поступки в общечеловеческом смысле этого слова»; как всегда, право говорить от лица человечества узурпировали власть предрежащие — и они же клеймят «дурных», и поощряют верноподданнические чувства.

* * *

... коли в жизни нет никакого смысла, значит, является ложным и представление о каких бы то ни было «сущностях». Раз это так, то в жизни человека не «сущность» предшествует его «существованию», а, наоборот, его «существование» предшествует «сущности».

Первая фраза — давидовский бред по поводу «магического круга ницшеански-экзистенциалистских посылок»; к Ницше она не имеет ни

малейшего отношения — и полное отсутствие логической культуры с головой выдает защитника абсолютов. Вторая фраза — совершенно неоспоримое положение об отсутствии в мире сущностей самих по себе: нет существования — так просто не в чем (и некому) искать сущность.

* * *

... нравственный импульс ... со временем как бы растворяется в том *эстетически-творческом* акте, в котором каждый раз заново рождается измерение «священного».

Почему творчество только эстетическое — даже аллах не усечет. Нормальные люди творят во всех областях; именно поэтому они никогда не упрутся ни какие «абсолюты». А когда творчество окружают ореолом мистики и возводят в ранг «священного» — это просто дикость, недостойная даже первобытного разума.

Этот итог, на наш взгляд, препятствует тому, чтобы рассматривать движение ... от нигилизма к гуманизму как «попятное движение», реставрирующее религиозные элементы гуманизма. Да и вообще можно ли говорить о «попятном» движении, коль скоро речь идет о преодолении нигилизма, то есть отходе от абсолютного нуля?

Если нигилизм — «абсолютный нуль», то на фигура г-н Д, тратит на него столько пены из перекошенного рта? С другой стороны, как мы знаем из элементарного курса физики, и абсолютный нуль — тоже не абсолют, и отрицательные температуры таки возможны (например, как инверсия населенностей в многоуровневой квантовой системе). Не говоря уже о том, что приближение к нулю — работа чрезвычайно полезная в теории и на практике; но работать руками Д. не умеет, и у него перед глазами только бестелесные «сущности». Хотя насчет попользоваться плодами чужого труда — это всегда пожалуйста...

Для г-на Д. самая махровая реакция — лучше трезвого взгляда на мир, отбрасывающего религиозные извращения. Пусть лучше попы воют с амвонов (или колотят в бубны) — и правоверный монарх железной рукой обращает в ничто не только бунтовщиков, но и мечтателей, лишь воображающих себе хоть какую-нибудь свободу.

Если ни во что не верить, если ни в чем нет смысла и нельзя утверждать ценность чего бы то ни было, тогда все позволено и все неважно. Нет «за» и «против», убийца ни прав, ни не прав. Злодейство или добродетель — все чистая случайность и прихоть.

Это не сам Д. — но он к этой глупости всецело присоединяется. Типичный фокус НЛП: «тогда все позволено». А кто вообще присвоил себе право «позволять»? Свободному человеку в голову не придет спрашивать разрешения: он действует, опираясь на свой разум, — и не обязан ничему верить. Не подсовывайте нам ваши дурацкие крайности, «зло» и «добро»! — мы уже давно там, где все это неуместная пошлость. У нас не бывает ни «за», ни «против» — у нас есть дело, которое мы разумно делаем. А ваши абсолюты — не чистая случайность, а грязная ложь, оправдание зверских прихотей очередного барина.

* * *

Камю осуждает себя с точки зрения как раз той максимы, которая теперь не только восстановлена в правах, но приобрела достоинство единственно возможного абсолюта: «Не убий!»

Ха-ха! Скажите это душителям свободы, отправляющим на пытки и гибель тысячи и миллионы людей. Достоинство тут весьма гнусного толка. С другой стороны, как быть со всеми прочими абсолютами, коих Д. уже назаявлял воз и маленькую тележку? Раз абсолютом только единственный — стало быть, и нет других абсолютов, и царь-батюшка нам не указ, и бога нет... Ай, как нехорошо получается! Нигилизм-с...

Камю видит единственно возможный выход... Необходимо утвердить нравственный абсолютом...

А Д. следует за только что раскритикованным — как слепой кутенок... И свое «раскаяние»

Камю стремится обосновать философски, апеллируя к картезианской ясности и отчетливости человеческого разума...

То есть, к заскоруждлой метафизике самого дурного пошиба. Ничего разумного от такого засаживания разума в клетку ожидать не приходится — зато тюремщики всех мастей довольно потирают руки: можно продолжать измываться над людьми — сам Камю разрешил! Революционная диалектика Маркса — дурной тон; Гегель — просто козьявка, и аргументация противников подлого Камю

целиком воспроизводит аргументы Гегеля против кантовской этики, изложенной в «Критике практического разума», хотя уже давно стало очевидным, что Гегель просто не хотел принимать всерьез саму кантовскую постановку вопроса, а потому говорил «не о том».

Гениальность Гегеля как раз и состоит в том, что он не позволяет заточить разум в клетки метафизических «вопросов» — провозглашает свободу отбросить любую «постановку», если она противоречит практике преобразования мира (хотя бы только отраженного, только по идее). Даже дураку Д. это «очевидно» — но такое посягательство на абсолютизм он принять никак не может, и начинает вилять вокруг да около и бряцать пустыми словесами (цитатами из Камю):

Если же тем не менее социально-исторические условия складываются так, что во имя свободы людей возникает необходимость убить их поработителя — тирана, то человек, взявший на себя эту «сверхчеловеческую» миссию, имеет право сделать это при одном неперемennom условии: убив тирана, он должен затем покончить с собой, заплатив за отнятую жизнь своей собственной и тем самым восстановив нарушенное равновесие человеческого существования.

Здорово живешь! Сразу после революции революционеры должны самоуничтожиться — а на пустой трон скоренько влезет новый тиран, и равновесие господства и подчинения тут же восстановится...

Таким образом нарушение онтологической «меры» человеческого бытия, вынужденное необходимостью борьбы за свободу, будет содержать в самом себе и условия своего собственного восстановления, полагая предел дурной бесконечности новых и новых убийств.

Ленин — редиска, что не застрелился в 1917-м. Не говоря уже о Фиделе Кастро и Хо Ши Мине. Впрочем, поборники «онтологической меры» стараются исправить несознательных, приговаривая всех скопом к высшей мере. Как расстреливали Парижскую коммуны — мы помним. Как топили паровозы коммунистами — тоже известно. Покушения и убийства — сплошной чередой. Смена власти ничего не меняет: немцы (в том числе христиане) уничтожали евреев; отстранили фашистов от власти — так евреи взялись столь же усердно вырезать арабов, персов и всех прочих.

* * *

... чисто логическая ошибка: подмена тезиса, заключающаяся в том, что вместо идеи начинают критиковать личность, ее защищающую.

Идеи не бывает без личности. Более того, личность как раз и есть совокупность (иерархия) своих идей — и это делает ее всеобщей, носителем культуры. По тому, что проповедует г-н Д., можно с полной

уверенностью заключить: мерзавец и хам! Нам глубоко до лампочки, кого он ненавидит и на кого клеветает — хотя и это показатель. Но когда Д. заявляет, что за каждой революцией должен следовать откат, «приобретая характер национального покаяния», — это проповедь махровой реакции, оправдание насильников и палачей. И снова призыв к покорности, к недопустимости посягательства на устои:

В эпохи «мирного», «эволюционного» развития человечества тоже происходят кое-какие существенные исторические изменения, причем не так уж и несопоставимые с теми, что происходят в «крутые времена». [246]

Долой революции! Ждите, пока добрый барин доэволюционирует до очередной подачи — закрется до такой степени, что кусок вывалится изо рта. А всяческим «товарищам» — в лучшем случае, реформизм, демократия в рамках дозволенного.

* * *

Но ведь само это словосочетание «нелюди в человеческом обличье» имеет смысл лишь на фоне вековечного «Не убий!» — иначе какое основание имеет наш автор говорить о «нелюдях»?!

В переводе: нас будут убивать нелюди — а нам приказано: не убий! Причем не какое-нибудь — а «вековечное». Рабство во веки веков. Дескать, материться по поводу начальства — сколько угодно; реально послать начальника в ад — ни-ни! Рабы для господ — только фон, безликая масса; всякий начальник — «сверхчеловек» по отношению к подвластному ему быдлу, и делает что хочет — это даже убийством назвать нельзя: одна таблетка убивает миллионы микробов — но мы же не убиваем, мы лечимся! Потому что на первом месте — начальник, и его благополучие. Эх, вылечить бы человечество от господ!

* * *

Разумеется, все возражения против религиозных догматов «бьют мимо цели, поскольку не касаются сути проблемы».

У Камю ведь речь шла о формулировке эталона, на основе которого можно было бы оценивать человеческое поведение, сопоставляя его с «мерой», в этом эталоне фиксированной.

То есть, предлагается очередной абсолют — обязательный для всех распоряжением начальства (иногда оформленным как демократическая процедура). И «суть проблемы», согласно Д, состоит в насаждении «правильных» (православных) абсолютов — в отличие от забугорных «нигилистических» мер. Если у нас принято мерить на аршины — французская метрическая системы есть богомерзкая ересь, не говоря уже об англо-американских извращениях; и валюта в мире должна быть только одна — российский рубль.

А что мы сказали бы человеку, занимающемуся измерением, скажем, земельных участков, если бы он менял свой эталон («метр» в соответствии с общепринятыми мерами длины) в зависимости от «социально-исторической ситуации», в которой ему приходилось бы измерять? Оказавшись, скажем, в условиях «сшибки гражданских страстей», сегодня считал бы метр равным пятидесяти сантиметрам, а завтра — ста пятидесяти? Эталон потому и эталон, что заключенная в нем мера остается постоянной, независимой от изменения ситуации.

Классика метафизики абсолютизма! Чтобы каждое явление мерить его собственной мерой — богохульство! Про теорию относительности Д. вообще ничего не слыхал (и слышать не желает). Разгоните ваш метр до субсветовых скоростей — он не только в 50 сантиметров выродится, а даже в миллимикроны! Это обывательскому умишку не по извилинам.

Изменение мер в зависимости от предмета — совершенно обычное дело для вменяемых людей, не свихнувшихся на поповских абсолютах. Мощность лампочки мы измеряем ваттами, мощность водородной бомбы — мегатоннами; атомные масштабы удобно мерить ангстремами, космические — мегапарсеками; исторические эпохи делятся века — но вы никогда не скажете, сколько микросекунд отведено на средневековье или капитализм; прекрасное — схлопывается в мгновение, ожидание — растягивается в вечность. Когда администратор американского проекта создания атомной бомбы подполковник Кеннет Николс потребовал от государственного казначейства от пяти до десяти тысяч тонн серебра для обмоток электромагнитов — ему ответили ледяным тоном: «Господин полковник, в Казначействе серебро меряют не тоннами, а тройскими унциями».

А нам опять вдолдонивают абсолютные эталоны всего — и этот абсолютизм пропитывает классовое искусство, классовую науку — не говоря уже об этике. Так, например, лингвисты пытаются загнать звуки всех языков в единую таблицу МФА — вместо того, чтобы честно

изучать собственную фонетическую систему каждого конкретного языка, безотносительно к предрассудкам европейских теоретиков (бессовестно объявляющих себя «международными»). Точно так же, всю математику пытаются вывести из априорных оснований, а физики упорно строят окончательные «теории всего».

Если в одну историческую эпоху счет убитых человеческих жизней ведется в пределах трехзначных и четырехзначных чисел, а в другую — в пределах шести- и семизначных, то это ни на йоту не меняет принципиальной сути заповеди «Не убий!».

Правильно. Потому что суть заповеди — вечное господство одних над другими, требование покорности и беспрекословного повиновения:

Но человека человек
 Послал к анчару властным взглядом,
 И тот послушно в путь потек
 И к утру возвратился с ядом.

И совершенно без разницы, умрут от «послушливых стрел» тысячи людей — или десятки миллионов. В этом смысл «фиксированного» эталона. Заметьте: царю вовсе не обязательно убивать своими руками — ему достаточно властного взгляда. Христианнейший владыка чист перед «высшей» моралью — поскольку он и есть эта (безнравственная) мораль.

В ней выражено принципиальное условие возможности человеческого общества, возможности существования человечества вообще, в котором принцип «Не убий!» все еще господствует над противоположным: «Убей!» Если господствующим окажется этот последний, тогда человечеству придет конец.

С логикой у Д. еще хуже, чем с нравственностью. Отрицание чего-либо вовсе не означает утверждения противоположного; кроме того, призывы убивать или не убивать — вовсе не противоположности: можно проповедовать принцип «убей!» — но никого за всю жизнь не убить; можно и наоборот: изображать из себя святошу — но жечь еретиков на каждой площади, пытаться, рубить головы и колесовать. Иван Грозный был набожен, а перед смертью принял постриг — агнец невинный...

Принцип «убей!» — государственная доктрина США и основа стратегии НАТО; это политика ядерного «сдерживания» — мировая диктатура международного капитала. Но человечество пока не до конца истребили — и конца мучениям не видно. Это для острастки рабам: страх — полезнее смерти. С другой стороны, поскольку господа считают людьми только себя, их собственная смерть кажется им концом

человечества: позволь холопу убить барина — в мире не останется «благородного» сословия, рухнет цивилизация.

Нам то что? Пускай рухнет. Останутся люди. Для которых не существует абстрактных противоположностей и абсолютов — и никакой промывщик мозгов не затащит их в одномерность дистанции между тем и этим.

... какие бы «резоны» ни приводились в защиту призыва убивать врагов и сколь бы оправданными ни были случаи убийства в тех или иных исторически-конкретных ситуациях, в качестве принципа, выражающего кардинальное условие человеческого общежития, этот призыв не имеет и не будет иметь никакого смысла.

То же самое о запрете убивать: никакого смысла. Кардинальное условие человеческого общежития — совместный труд; никакого отношения к религиозным догмам это не имеет. У людей (поскольку они вышли из животного состояния) нет врагов; есть просто люди, с которыми надо разумно выстраивать общение, безотносительно к их органическим телам. Нам важно сохранить дух, а не телеса.

Лозунг «не убий!» господа (устами раболепствующих холуев) объявляют «условием возможности человеческой истории» — иначе «человеческая история кончилась бы». Для них человечество — это они сами, и больше никто! Знаменитая резолюция Николая I на пушкинской рукописи: «у бунтовщиков нет истории».

Как обычно, все шишки Д. валит на главного сатану, Ницше. Дескать, это он звал убивать всех подряд, без разбора... Прихвостень убийц-сатрапов не гнушается самой мерзкой лжи.

* * *

... свободы нет там, где отсутствуют нравственные ориентиры, так что невозможно различить, где добро, а где зло.

Безнравственно — подсовывать людям абсолюты «добра» и «зла», вынуждать людей различать и выбирать. Имперская формула: разделяй и властвуй. Свободному человеку вообще нет дела до абстрактной морали — он ведет себя разумно, без оглядки на начальственные «ориентиры», следуя логике, эстетике и этике дела. Это свободный труд, а не коммерция или работа на хозяина. Только узурпация права (ложью, силой и угрозами) навязывать массам однобокие (классовые) воззрения открывает путь к «каппризно-инфантильному произволу» (орфография

давидовская!), от которого тысячи лет страдают угнетенные, униженные и оскорбленные.

* * *

Д. приветствует «перерождение» Камю: исходя «из понятия жизни как высшего блага» (набор метафизических абстракций), недалекий француз мечется между придуманными противоположностями:

Тогда из этого понятия выводилось «право» человека на убийство «другого», теперь из этого понятия выводится, наоборот, отсутствие у человека такого права, поскольку каждый сам имеет право на свою жизнь и только он волен распоряжаться ею по своему усмотрению. Иначе говоря, если раньше из этого понятия выводился «брутальный» (ницшеанский) вариант философии жизни, то теперь из него выводится иной — либеральный вариант той же философии...

Логика учит нас, что из ложных посылок допустимо выводить все что угодно. Смысла в этом все равно ноль. Не обругать (оболгать) Ницше — Д., конечно же, не может... Но сползание от революционности к либерализму — характерная черта всей послевоенной эпохи, во всех странах. Логическое следствие — крушение социалистической системы и установление кровавой диктатуры кучки олигархов, перекраивающих карту на свое усмотрения и обрекающих на уничтожение миллионы «недоразвитых» во имя абсолютной «демократии».

Метафизик Д. высокомерно поучает несмышлениша Камю, что, дескать «камюсовское понимание» жизни не позволяет

вывести никакого (понятия) права: ни моего права на собственную жизнь (исключающую мои притязания на жизнь «другого»), ни моего права на жизнь «другого» (ставящего, в свою очередь, под вопрос мое собственное право на свою жизнь, которой я должен постоянно рисковать, зная, что и «другой», в свою очередь, может претендовать на мою жизнь).

То ли дело черносотенный абсолютизм! — сразу все по местам: одним жизнь, другим ее отсутствие (животное прозябание); одним право «даровать» и отнимать — другим обязанность радоваться вечному рабству. Это не «формально», а по жизни, по классовой реальности.

В этом вопросе был более прав Ницше, полагавший, что понятие «жизни», взятой чисто формально, находится «по ту сторону» права точно так же, как и «по ту сторону» добра и зла.

Не признать гениальности Ницше не может даже заклятый враг! Разумеется, чтобы потом опозлить и извратить:

Сила, мощь каждой индивидуальной жизни — это и есть, по убеждению философа, «право» этой жизни. Сколько ей удастся захватить, тем она и обладает «по праву».

Только что Д. сообщил, что Ницше существует «по ту сторону права» — но тут же приписывает ему бредни о «праве жизни»... Тяжелый случай. То ли дело Камю: он ни «ни в коей мере не подвергает сомнению сам принцип» — а лишь играет в выданные заведующим детского сада бирюльки, расставляет приоритеты, переходя от «убийственных» противоположностей к (столь же абстрактной) противоположности «первичного» и «вторичного». Тут Д. в своей стихии — и может метафизичить до умопомрачения — если, конечно, допустить, что возможно помрачить никогда не имевшееся в наличии — или дойти до еще более глубокого мрака, чем разлитое на предшествующих 250 страницах.

* * *

... «экзистенциальное «я» умозаключает от «права» распоряжаться самим собою (вплоть до самоубийства) к своему «праву» распоряжаться жизнью «другого», опять-таки не замечая того, что эти два «права» не связаны друг с другом необходимой логической связью.

По поводу отсутствия логических связей в опусе Д. — см. выше. Бревно в своем глазу — конечно же, ничто по сравнению с чужими соринками. Маразм в том, что оба подсовываемых читателю в качестве безусловной необходимости «права» — вздор и бессмыслица: «распоряжаться» — чисто классовое понятие, и речь идет лишь о расстановке классовых сил, когда одни узурпируют себе все «права» — а остальным достаются только «связи» (кандалы, клетки, абсолюты). Уберите классовый диктат, дайте людям свободу поступать так, как они считают разумным, — и нет больше никаких распоряжений, убийств и дурных противоположностей.

Возникает вопрос: не сталкиваемся ли мы здесь вновь с неправомерным перенесением на нравственную (и — глубже — онтологическую) проблему юридически-правовых представлений о свободе?

Вопрос только об идиотизме метафизических абсолютов, отрывающих друг от друга то, что по жизни никакими силами не разорвать. Формы общественного сознания отражают то, что реально существует в

экономике, в быту, в культуре. Право — делает это одним способом; религия — другим; мораль — третьим. Искусство, наука и философия не только отражают, но и представляют в аналитических формах (не совпадающих с формами отражаемого). Наконец, эстетика, логика и этика (уровни и стороны синтетической рефлексии) — превращают отражения в идеи, ориентиры для деятельности, практики. Тут не надо ничего никуда переносить — это все об одном, взятом с разных сторон.

* * *

... являюсь ли я «собственником» своей жизни в той же самой мере, в какой я есть «собственник» своих поступков, то есть человек, которому они могут быть «вменены» как его вина, ответственный за них? Очевидно, нет. Сам факт моего появления на свет не может быть «вменен» мне как результат моего свободного волеизъявления.

Критикуя Сартра, г-н Д., наконец-то, демонстрирует проблески сознания: пара извилин затесалась-таки в дуболомную «философию».

Буржуазная пропаганда целиком стоит на признании животной жизни первичным правом рыночного человека: при рождении каждому выдают начальный капитал — рабочую силу, которой, дескать, все могут распорядиться на свое усмотрение и наварить на выгодных вложениях. Вот это и есть то, что на протяжении всей книги Д. называет «даром» жизни. Разумеется, никаких благодетелей: для власть предержащих это лишь вложение капитала, затраты на создание и поддержание рыночной инфраструктуры. Отсюда традиционная идея «долга» детей перед родителями — и долга «перед обществом»; долги надо отдавать, и человек в классовом обществе рождается не как личность — а как раб, вечный должник. Что его никто не спрашивает о его предпочтениях, — это же так естественно! То есть дико.

Половинчатое решение Д. — оставить понятие собственности в сфере экономики и права, а мораль (о нравственности Д. ничего не знает) выделить в отдельное производство — и тогда уже возможно хоть как-то говорить о любви. Разумеется, мораль — такой же продукт товарного производства, как право и религия; но обывателю об этом знать не полагается — и «просветители» вроде Д. тщательно замазывают классовые корни морали, выводя ее из специально для этого придуманной «человеческой природы». Понятно, что в отрыве от своих деятельных корней, мораль становится метафизической абстракцией —

и трепаться по ее поводу можно как угодно, ибо все рассуждения о моральных «абсолютах» равно бессмысленны. Но само допущение чего-то нерыночного — это грандиозный прорыв, огромная брешь в редуках защитников капитализма. Грех этим не воспользоваться — и наша признательность г-ну Д.

* * *

Человек, совершивший массу гнусных поступков и покончивший жизнь самоубийством, дабы уйти от справедливого возмездия, не становится от этого честным человеком. Наоборот. Этим он лишний раз подчеркивает неспособность отвечать за свои поступки.

Голос не мальчика, а мужа. То, о чем так долго твердил Ницше, стало позицией его злейшего врага.

* * *

Полусознательное перенесение юридически правовых представлений (к тому же скопированных с товарообмена) на нравственную сферу взаимоотношений людей в корне извращает эти взаимоотношения, поражая проказой их сердцевину — любовь. Она ведь не терпит никаких товарно-денежных ассоциаций... В любви ведь чем больше отдаешь, тем больше и богатеешь, а чем больше сберегаешь «для себя», тем больше беднееешь; в любви утверждают свое «собственное» бытие — именно утверждая бытие другого, любимого. Там же, где этого нет, взаимоотношения двух любящих друг друга людей превращаются в отношения «партнеров», каждый из которых стремится побольше урвать и поменьше отдать. [255]

Предпоследняя страница — это таки про любовь. При всем уродстве фразеологии — есть главная идея: любовь — не разделяет людей, она соединяет их. В любви мы не отчуждены друг от друга как рыночные партнеры, мы не «один» и «другой» — мы вместе, мы одно. И в этом — единство человечества как сообщества разумных существ.

Конечно, базар в голове — базарный язык. Никто в любви ничего не «отдает» и не «богатеет»; любящим незачем что-либо «утверждать»; здесь просто не существует «для себя» или «для кого-то». Все это «товарно-денежные ассоциации». Чтобы говорить о любви — нужна другая философия, поиск всеобщего единства, снятие любых различий. Для этого, конечно же, нужна свобода — преодоление ограниченности.

Выхватить что-то одно — выстраивать деятельность вокруг случайного центра, — значит, потерять все остальное, лишиться первого определения духа — универсальности. Поэтому и любовь не замыкается на том, что в нас и между нами — в любви мы открываем друг другу весь мир. Как его материальную сторону, преобразование природы, — так и все уровни рефлексии — вместе, друг в друге.

* * *

Тут Д. спохватывается и начинает наводить критику. Но не сам (поскольку разобраться в только что содеянном смелости нет), а руками подлых коллег. Например некоего Кисселя, согласно которому у Сартра смысл любви в том, чтобы приковать к себе сердце другого свободного человека, но как только это достигается, другой из свободного становится рабом, а ведь первоначальное намерение было любить свободного человека.

Если это так — Сартр, конечно, полный идиот: говорит об освобождении от рынка — но требует от людей присваивать друг друга, превращать в собственность (и тем самым человек исчезает, а остается всего лишь имущество).

Следовательно, любовь есть мечта, прикрывающая довольно-таки неприглядную реальность борьбы и порабощения. Так развенчивается еще один романтический идол, которому поклоняется буржуазная респектабельность, отлично сознающая, впрочем, изнанку действительных отношений между мужчиной и женщиной в капиталистическом обществе.

Да, в классовом обществе любовь — это мечта. Развернуться во всю ширь в рыночных формах ей не дадут. Но мечта — это не так уж мало. Это начало освобождения, знамя революции. Треп о «развенчании» — буржуазная пропаганда: сначала устраивают мир так, чтобы разумное могло проявиться только в уродских формах — а потом злорадно восклицают: видите, какое уродство? — значит, и нет разума, нет свободы, нет любви. Но почему нужно обращать внимание лишь на внешность, не замечая за ней ростков будущего? В самых уродливых формах, любовь таки есть — и ее не убить, и буржуазное дерьмо к ней не пристаёт. Ну и, конечно же, сводить любовь к одним лишь «отношениям между мужчиной и женщиной» и превращать ее в «романтический идол» — традиция чисто буржуазная; любовь гораздо

шире: она охватывает все сферы труда и человеческого (духовного) общения. К чести Д., он пытается робко возразить:

Но ведь при этом не учитывается, что то, что М. А. Кисселя полностью устраивает как реалистическая характеристика «действительных отношений» между мужчиной и женщиной «в капиталистическом обществе», у самого Сартра играет совершенно иную роль — роль фундаментальной структуры человеческих отношений вообще, их «онтологического» основания.

Но возражает не по существу: покорно соглашается говорить только об извращениях — замазывая ими свободную суть любви. Тогда, конечно, никакой духовности усмотреть нельзя — и остается рабски соглашаться с мнением другого маразматика (Филиппова):

... у Сартра любовный проект выступает не в очеловеченном, а в бездуховном проявлении. Отсутствие нравственной или вообще какой бы то ни было духовной инстанции поразительно... Более того, изначально отрицательное отношение к «другому», прагматическая установка «сартровского» любовника, рассматривающего «другого» как только средство, исключает саму возможность кантовской морали, предписывающей относиться к «другому» как к цели.

Вот так. Вместо свободы — подведение под инстанции (абсолюты). Вместо нравственности «кантовская» мораль — которая сводится к диктатуре, к абстрактным предписаниям.

Свободные люди не нуждаются ни в каких предписаниях, ни от каких инстанций. Они просто любят — а все остальное светится светом их любви, утрачивает вещность, оказывается по ту сторону «целей» и «средств».

* * *

Книга г-на Д. подробно разбирает две стороны черносотенной триады: самодержавие и православие. Народ призывают возлюбить начальство — и вести себя по-божески. То есть, не бунтовать и не мечтать о человеческом существовании (которое навсегда останется прерогативой господ и попов). В качестве заключения, Д. посвящает 15 страниц третьему киту — народности (понимаемой как христианнейшее и верноподданническое отношение к себе и к миру — непостижимость русской души). Толстой и Достоевский — мужественно борются с превосходящими силами западных нигилистов, предводительствуемых

антихристом Ницше и дураком Шопенгауэром. Им на подмогу скачет господин Д. на хромой лошадке деревянных абсолютов. Свои писания Д. называет уже не просто «нравственной философией» — но «русской нравственной философией», и ставит грандиозную задачу:

Опираясь на не разложившуюся еще нравственную субстанцию народа (под которым понимаются все, кто участвует в реальном процессе «добывания», «воссоздания», «творчества» действительной жизни людей), возродить веру в абсолютность нравственных абсолютов, истинность моральной правды также и среди тех образованных и культурных слоев русского общества, которые уже втянуты в «цивилизационные» процессы, являющиеся источником этического скептицизма.

Сам Д. бесконечно далек от тех, кто работает руками (или головой), при этом добывая, воссоздавая и творя не абстракцию жизни, а добывая средства к существованию, воссоздавая испоганенное и разбазаренное барским произволом, творя предпосылки избавления от векового рабства, возможности приступить к строительству новой жизни, без богостроительства и абсолютизма.

Борьба с «европейской моралью» (а вернее, как мы могли заметить, с общечеловеческой моралью вообще), по убеждению Ницше, не может быть доведена до конца до тех пор, пока человек признает «идеальное измерение» своего существования, ту сферу, в которой утверждаются идеалы, ту область, где выступают в своем чистом виде абсолюты, как нечто высшее, связанное с его онтологическим фундаментом, с самим его бытием.

Гнусная клевета! Борца с абсолютами Ницше объявляют куском дерьма, проповедником «абсолютов в чистом виде»! Диалектика Ницше — выставляют строителем метафизических фундаментов, призванных заморозить всякое развитие. Призывающего действовать Ницше — сводят к какому-то «идеальному измерению». Такой, изуродованный «Ницше» — просто двойник Д., отражение в очень кривом зеркале.

Бороться с моралью надо. Всякой. Не разбирая по нациям и прочим полочкам. Но не ради порхания в абсолютной пустоте и служения чему-то (точнее: кому-то) «высшему» — надо разбивать всякие абсолюты, снимать различия, добиваться единства слова и дела.

Немецкий фашизм прикрывался именем Ницше — опошленного и искаженного до неузнаваемости. Г-н Д. продолжает традиции Гитлера и Геббельса, убивая духовное наследие человечества, в зародыше истребляя свободомыслие, выкорчевывая ростки разума. Русский народ

Д. пытается превратить в такое же покорное стадо, каким сделали (по видимости культурных) немцев идеи расового превосходства (точный эквивалент черносотенной «народности»). Гитлеровская Германия — прекрасная иллюстрация того, во что на практике превращается подлая «нравственная философия».

Убогое философствование Достоевского, по счастью, не помешало его художественному чутью — и его книги громко протестуют против вульгарных мотивировок из комментариев и дневников.

Хорошо, пусть и для твоего народа это будет самой высокой идеей, но ведь это должно быть доказано делом — как прошлой историей народа, так и его будущей историей. И если два народа будут соревноваться друг другу в том, кто глубже и чище воплотит в своей жизни именно эту, а не какую-либо иную идею, то общечеловеческая нравственность от этого только выиграет!

Когда одних противопоставляю другим, натравливают на других, заставляют соревноваться — это безнравственно. Это оправдание войн, массовых убийств, — идеология порабощения одних народов другими, обрекающего миллионы людей на голод и нищету. Христианская догма «не убий» в этом контексте становится орудием убийства.

Почему народы не могут жить не друг против друга — а вместе? Зачем вообще нужно отличать одну нацию от другой, городить границы? Это не воля народов — это антинародная суть классовой экономики, всеобщей дележки, всеобщего отчуждения.

Д. ратует за «самопожертвование» (как любят брехать буржуазные пропагандисты: «в общечеловеческом смысле») — и твердит, что все вызванные «жертвами» бедствия — только из-за отдельных субчиков, использующих чье-то стремление «пострадать» в корыстных целях.

... какие бы мотивы ни замутняли идею самопожертвования, какие бы привходящие обстоятельства ни исказили смысл акта самопожертвования, само содержание этой идеи не лишается от этого своей чистоты и абсолютности. Она действительно принадлежит к самым высоким нравственным идеям.

Но предложите Д. пожертвовать свою столичную квартиру мне (или какому-нибудь бомжу кавказской национальности) — думаете, он согласится? Интересно, какой метафизикой Д. мотивирует свой отказ? Этот пример прямо указывает, что любые апелляции к морали сводятся к одному: к дележке имущества, к узурпации правящим классом права доступа к культурному наследию человечества в целом. Когда Ленин

пишет [31, 145], что «коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти», — он не прав: главное — вопрос о собственности. Если ваша революция не уничтожает собственность как таковую, а всего лишь перераспределяет ее, — это не революция, а государственный переворот, и тогда, действительно, меняется только власть. Народу все равно, кто въезжает в рай на его горбу. Он ждет момента, чтобы сбросить ярмо, стать действительно (действенно) свободным. Чтобы не держать ни перед кем ответа — а жить и устраивать жизнь по зову сердца, разумно. Не нужно нам спущенного сверху «миропорядка» — свой порядок мы будем наводить сами. Как разумные существа, а не подлые рабы:

И если в этом мире и происходит нечто, не вмещаемое в их нравственный миропорядок, то оно непременно становится не только предметом их строгого суда, но одновременно и поводом к сокрушению о самих себе, о своих собственных проступках и прегрешениях.

Осудить только для того, чтобы был повод сокрушаться о собственном убожестве, — это мерзкое юродство. Нет запретов — нет и проступков. Нет богов — нет и грехов. Люди в мире для того, чтобы творить мир. Не воображаемый — а реальный, который можно ощутить и в котором можно жить по-человечески — свободно. Не замыкаться в кругу «родных и близких, их соседей и сослуживцев, их соотечественников и современников» — а быть в ответе за все человечество, и за разум вселенной, в прошлом, настоящем и будущем.

Вероятно, следовало бы вслед заметкам на полях сочинить какое-то резюме, эдакую позитивность — эскиз собственной позиции. Честно говоря — не хочется. Не стоит г-н Д. сколько-нибудь активного продолжения. Стать якобы вдохновителем гения (это я скромничаю!), отрицательным образом приобщиться к строительству бесклассового мира — слишком много чести!

Говорить о свободе и о любви будем с другими — и в другом месте. Чтобы не путались под ногами дебилские абсолюты, и не вязнуть в трясине метафизики. А пока — довести несколько возникших по разным поводам возражений — всем без разбора: и самому г-ну Д., и его

литературным любимчикам, и писавшим про писателей. Не то, чтобы без этого нельзя было обойтись — но надо же куда-то пристроить старый хлам!

* * *

Д. понимает любовь только как «нравственную» категорию — а нравственность (и этика) у него не идет дальше расхожей морали. Тем самым любовь противопоставлена другим областям духовного мира человека — и человеческой деятельности, творчеству. В результате любовь оказывается не выражением исторических тенденций, не направлением и механизмом развития, — а чем-то вроде общественного мнения, соответствия «общепринятым» стандартам. С другой стороны, лишённые любви стороны человеческой личности приобретают резко индивидуалистический характер — а человеческие поступки лишены общественного звучания и потому впадают в нелепый произвол, показуху. И то, и другое властям удобно использовать как рычаги давления — и внушать рабам, будто мотивы их деятельности идут «изнутри»: безволие представляется волей.

* * *

Д. понимает «бытие» *только* как бытие индивида, искусственно оторванного от человечества, противопоставленного другим людям, а значит, и разуму как атрибуту мира в целом, как объективности духа. Неудивительно, что и любовь, и благо, и нравственность, — становятся у него категориями, приложимыми только к индивиду — а значит, приобретают голую, абстрактную всеобщность — апеллируют к абсолюту, к «общечеловеческой природе».

Напротив, марксизм начинает с *общественного* (и в частности классового) бытия — и лишь через такое отрицание человека как (биологического) индивида переходит к идее индивидуального бытия, вместо со всеми его атрибутами (включая нравственность).

В классовом обществе, мы исходим из классовой нравственности и классовой этики — а от них переходим к индивидуальности и личным качествам. Тогда и любовь предстанет не как нечто, принадлежащее исключительно телу (индивиду), а потому и абстрактно внешнее для

него, — но как изначально культурное, *общественное* явление, определяющее *бытие* личности независимо от возможных воплощений, и потому делающее человека *свободным* — не просто от чего-то или для чего-то, а во всеобщем, категориальном смысле — как один из аспектов единства мира.

Можно сказать, что по-марксистски понятая любовь связывает индивидуальное и общественное в человеке, составляет ядро его личности — определяет ее как единство внешнего и внутреннего. Здесь мы приходим к психологической стороне вопроса — и ко всей бесконечности проявлений любви.

* * *

Д. никак не может понять, что бытие — это не только *бытие материальное*, но также и *духовное бытие* человека. И что сознание человека отражает как то, так и другое. И что человеческая воля имеет не только духовный, но и материальный аспект. К воспроизводству бытия Д. подходит по-толстовски узко — предполагая только простое воспроизводство; на самом же деле (и залогом тому служит вся человеческая история) это не только преемственность, но еще и развитие, расширенное воспроизводство.⁵⁵ «Механизмом» развития материального бытия служит *труд*; механизм духовного развития есть *любовь* — тем самым любовь вырывается из узко этического контекста, чтобы занять достойное место в ряду всеобщих категорий марксистской теории субъекта — субъекта материальных и духовных отношений к миру, к другим людям, к самому себе.

* * *

Горький:

Достоевский — гений, но это злой гений наш.

Достоевский стал злым гением самому себе, разменивая художественное творчество на (псевдо)философские спекуляции. Публике читать лень; еще ленивее вчитываться. А тут готовые, трафаретные решения — все

⁵⁵ И здесь не достаточно разграничения «действия» и «творчества» у Л. Толстого — или «поддержания» и «воссоздания» у Д.

по полочкам. Голова у нас для красивой прически, а не для головной боли! Ницше пытался читать серьезно. Остальные — скользили по верхам, начиная знакомство с поповых дайджестов.

* * *

Горький, *Лев Толстой*:

Вот вы многое любите, а вера — это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле,— непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — бог.

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю: «Этот человек — богоподобен!»

Толстой — позер. Ему важно не осмыслить, а изречь, — чтобы народ хлопал глазами, ничего не понимая, — и принимал собственное невежество за толстовскую мудрость.

Если присмотреться — ляпнул старец совершеннейшую чушь. Любовь не водка, чтобы ее испытывать на крепость. Нельзя «усилить» то, что по ту сторону силы и слабости. Пыжиться «усиливая» любовь — превращать ее в «любовь» в кавычках, балаган, показуху, акт веры. Попы, ведь, не верят в бога — он им ни к чему. И Толстой не верил — ему и без веры неплохо жилось. А которые пониже рангом (вроде плебея Горького) — тем без веры нельзя!

Вообразить, что любящий будет с кем-то сравнивать любимую — это рыночная подстава, базарная логика. Она есть — она несравненна. Слова «лучшая в мире» — знак отсутствия любви, попытка убедить себя, акт веры. Уберите забор, откройте клетку, — и полетели, от одной пошлой «любви» к другой.

Утверждать, что в мире есть «высшее» и «низшее» — тоже рынок. Свободные люди действуют разумно, не раскладывая мир по вертикали, а используя все имеющееся по назначению. Соответственно, не нужно разумному человеку никакого «совершенства» — он производит общественный продукт, и достаточно, чтобы общество это устраивало; все остальное — вариации на тему, которые все равно уйдут в никуда

после смены способа производства. Первобытные люди сотни тысяч лет оттачивали технологию создания каменных орудий — и достигали в этом великого совершенства... Ну и что? Пришел новый бог — и камни больше не нужны. Но мы все еще способны заметить (сделать) красоту, и это вовсе не ее собственное мистическое существование, а наша, человеческая способность — наряду с многими другими.

Не верующий в христианского бога Горький так и не преодолел первобытной веры в «высшие» силы — читай: вера в непогрешимость начальства, которому, конечно же, видней...

* * *

Вересаев, Горький, и многие другие — критически относятся к Достоевскому, но очень уважают Толстого (хоть и не во всем с ним согласны). Почему? Имущественный ценз!

* * *

Достоевский и Толстой — противоположности, а значит, они одно и то же. Оба отрицают в человеке человеческое, но по-разному.

Достоевский — равняет человека с богом (= сатаной), Толстой — сводит к телу, причисляет к животным. Первый привык смотреть снизу вверх — второй по жизни взирал на все барским оком. Достоевскому жизнь внушила (экономическую) ущербность — и все его герои рвутся из грязи в князи. Толстому жизнь и так хороша — а вдаваться в причины он не намерен.

Ни тот, ни другой не видят собственно человеческого, не допускают и мысли о разумности — и пытаются разум чем-то заменить. Чем? Конечно же, верой. Нет у них в заглавнике других идей.

* * *

Сюсюкание Толстого и иже с ним насчет детей — от барства. Они-то сами себя не утруждают — а со стороны легко рассуждать о муках других. Дескать, женщина вознаграждена за все страдания — и не надо облегчать ее участь. Так и о другом: не нужно ничего улучшать — учитесь принимать жизнь как она есть, — и безмятежно ей радоваться.

Это и есть состояние ребенка, который просто не знает еще, что можно что-то в жизни менять, и приспосабливается, как животное.

* * *

Естественный порыв Наташи Ростовской (эпизод с ранеными при эвакуации из Москвы) — не делает ей чести, если это всего лишь выражение ее природных (то есть, животных) склонностей. Только осмысленные деяния могут иметь отношение к этике. Спонтанность — не лучшая черта в человеке. Иногда это к лучшему. Чаще — гадости.

К естественности чаще всего призывают те, кто доволен жизнью и не ограничен в средствах или возможностях. Их не бьют на каждом шагу за безмозглые порывы — вот они и думают, что это хорошо, и всем надо так же. А кого бьют — думают иначе.

* * *

Этика Толстого: не может быть нравственным поступок «из высших побуждений», ради кого-то или чего-то. Нравственно лишь то, что само по себе, для себя, изнутри, из всеобщности человека. Традиционно, это трактуют, по-толстовски, чисто физиологически. А важно, как общее становится личным, пропитывание человека историей.

* * *

Проблема не в том, что люди начинают рефлексировать — и уходят от естественности. Это нужно и неизбежно, а оставаться в растительном состоянии на всю жизнь — уродство. Проблема в том, что идеи людей чаще всего не превращаются в убеждения, остаются пустой абстракцией. Возникает противоречие одних уровней духа другим — слепок уродливой общественной системы, превращение классовой вражды во внутреннюю неустроенность. В этом содержание книг Достоевского — и отчасти Толстого.

Следующий уровень: убеждения формируются — но человеку не дано следовать им. По сути — убеждения недоразвиты. Здесь человек хотя бы осознает внутреннюю разорванность как жизненные провалы. Но тогда нет душевных метаний — все слишком ясно.

О РЕЛИГИИ

<http://unism.pjwb.net/phi/nrr.htm>

<http://unism.pjwb.org/phi/nrr.htm>

<http://unism.narod.ru/phi/nrr.htm>

О религии

К сожалению, до связного изложения позиции руки так и не дошли. Чтобы не сложилось впечатление пустоты — хотя бы разрозненные замечания по поводу. Иллюстрации к философии.

* * *

Если какое-то культурное явление существует на протяжении многих столетий — нельзя просто отмахнуться от него, объявить вредной выдумкой и заклеить позором. Атеисты всех мастей веками изошрялись в критике; однако при этом остается непонятным: а что же, собственно, им не нравится? — почему религию следует критиковать? Ну, не верите вы ни в бога, ни в черта, — что с того? Это ваше частное дело... Глупо ссылаться на то, что попы при каждой возможности стремились задавить в обществе ростки свободомыслия. Во-первых, церковь как социальный институт лишь *представляет* ту или иную религию, не всегда совершенным образом — из-за чего и требуются время от времени церковные реформы. С другой стороны — а зачем же вам-то уподобляться вашим гонителям, если вы такие умные? Ваш атеизм тогда лишь ставит одну религию на место другой.

Разумеется, пока мы живем в классовом обществе, никуда не уйти от классовой борьбы. А борьба идеологий лишь одна из ее форм. Чтобы строить новое, приходится иногда сносить ветхое старье и долго расчищать завалы. К сожалению, никто не застрахован от ошибок и злоупотреблений, когда сносят далеко не лишнее, а строят отнюдь не идеал. Поэтому выстраивать отношение к религии следует на более солидной основе, нежели субъективный (пусть даже классовый) протест. Только после того, как мы поймем историчность религии как таковой, и каждой отдельной религии, когда мы покажем, почему она должна бала возникнуть и при каких условиях может отмереть, — только тогда

можно попытаться эти условия создать, пусть даже и путем насильственного устранения объективных препятствий. Выращивая розы, приходится их защищать от вредителей. Но пусть это все-таки будут розы — а не гнилой бурьян.

* * *

Религия — первобытная форма идеологии. Не абстрактные фантазии, а продукт долгого исторического развития и отражение всем знакомых реалий каждого дня — хотя и в извращенной форме. И не просто отражение, а еще и моральная поддержка, и практические ориентиры... Невозможно устранить религию, не предложив ничего взамен. Следовательно, требуется активный поиск таких идеологических форм, которые не просто заменяли бы собой религиозные, а качественно их превосходили бы в доступности и практичности, позволяли бы гораздо удобнее организовать сознательную жизнь и деятельность. Не атеизм, не отрицание чего бы то ни было — а новая, нерелигиозная духовность, единство мировоззрения и нравственности.

* * *

Науку пытаются призвать на помощь в борьбе с верой (суевериями). Но для большинства людей наука — такой же предмет веры, как и религиозный миф. Если разум спит, наука его не разбудит. Поэтому физика для обывателя ничем не отличается от уфологии или божественной истории — для него это одинаково научно. А в математике при желании всегда можно усмотреть нечто мистическое.

Пытаются воздействовать на чувства обывателя, живописуя черные деяния церковей любого рода на протяжении человеческой истории. Ну и что? Для верующего это лишь деталь к картине борьбы за веру против неверных. Для неверующего — еще один исторический анекдот, не более; ничьи и никакие деяния не повлияют на давно уже сделанный выбор.

Как же тогда бороться с предрассудками?

А никак. Невозможно с ними бороться — на то они и предрассудки. Единственный способ их выветрить из умов — вытащить умы на свежий

ветер творческого преобразования жизни. Надо втягивать (или вгонять) обывателя в процесс созидания нового — и до тех пор держать его в узде, пока он по-настоящему не войдет во вкус и не начнет действовать соответственно общественной необходимости. От религиозности тогда не останется и следа.

* * *

Переписал, было, какой-то человек во времена Омара ибн аль-Хаттаба список Корана и под каждым стихом написал подробное толкование. Омар велел его призвать, ударил кнутом, а затем ножницами разрезал его список и сказал: как смеет подобный тебе рассуждать о смысле слова бога всемогущего и великого?

Популярная легенда о кнуте Омара несет в себе глубокий философский смысл. Как только человек начинает задумываться о смысле писания — он уже не может верить. Религиозный философ — злейший враг религии. Проповедь — отрицание мифа.

* * *

Религия — не просто вера. Это вера осмысленная — понятая как таковая и превращенная в культурное предписание. Последнее гораздо важнее, чем первобытная доверчивость. Одно дело, когда мы зачерпываем из источника чтобы напиться — а совсем другое, когда мы несем воду в город для продажи.

Вера бывает нерелигиозной. Религия — превращает веру в формальность, требует смирения, а не духовности. На каком-то этапе вера в божество перерастает в обожествление религии. И боги становятся не нужны.

* * *

Дебаты вокруг «священных» текстов (включая тексты неписанные: ритуалы, обряды и т. д.) — основное содержание истории любой религии. Церковные соборы намного старше партийных съездов. Канонический текст библии или корана — итог долгой и упорной борьбы фракций, и те из них, которые не подчинятся церковной

демократии, отлучаются от церкви, становятся ересями (другими религиями). Не менее драматична история перевода писания на другие языки. По этому поводу эрудированные богословы и лингвисты-текстологи ломают копья до сих пор.

Однако с точки зрения искренней, нерелигиозной веры совершенно безразлично, какими конкретно словами она выражается, и на каком языке. Верующий человек вообще может не уметь читать — и ему нет дела до всех этих закорючек. И религиозная обрядность ему, в общем-то, ни к чему. Его вера — в душе.

С другой стороны, религиозная вера слепо принимает решения «отцов церкви» — ей ни к чему их обсуждать. Как поп скажет — так и правильно. Для того он тут и поставлен вышестоящей инстанцией.

Выходит, что копаются в тонкостях словоупотребления лишь закоренелые еретики, и именно они становятся главными церковными авторитетами. В этом суть религии: пастыри (волки) и овцы — всегда противоположности, они различны во всем, и потому неразделимы.

* * *

Религия рождается вместе с государственностью (в широком смысле слова — как системой господства одного класса над другим). Первобытный анимизм был безусловно полезен в условиях, когда деятельность человека еще не могла опереться на другие формы рефлексии; и в такой «утилитарной» вере нет ничего религиозного. Она естественно перетекает в образы искусства, научные понятия или философские категории, позволяет упорядочивать мир в сознании ради последующего творческого преобразования — не в субъекте, а в реальности. Чтобы прыгнуть — надо от чего-то оттолкнуться. И качественные скачки в истории нуждаются в культурной опоре.

Роль религии — прямо противоположна. Ее задача — предотвратить какие бы то ни было поползновения изменить существующий общественный строй, сохранить систему господства и порабощения. Религия опирается на догму — и любое творчество допускается лишь поскольку оно не задевает основ. Потом плоды такого, урезанного творчества трактуются в рамках канона и становятся догмами; рефлексии приходится искать новые, еще не освоенные области, чтобы хоть как-то развиваться. На этом спекулируют буржуазные идеологи,

представляя дело так, будто бы религия способствует творческим исканиям.

* * *

Материальная и духовная культура — две стороны единого целого. Они зависят друг от друга, но при этом достаточно самостоятельны и могут развиваться по разным законам. Поэтому религия никогда не может полностью подчинить себе практическую жизнь людей — и даже в сфере рефлексии всегда будут островки свободы, поскольку рефлексивные формы обусловлены объективностью повседневной жизни людей.

Однако в определенных исторических условиях религия может оказывать значительное влияние на способ рефлексии. Это не значит, что она совершенно ослепляет общественное сознание — просто нерелигиозная духовность вынуждена выражать себя в религиозных формах, и это неизбежно притормаживает историческое движение. Периоды религиозного фанатизма бывали в истории любой нации; задача историка — выявить здесь объективные закономерности. И в частности, объяснить, почему в некоторых культурах доминирующая роль религии может уравниваться относительной самостоятельностью светской культуры, формально принимающей господство церкви — но фактически ей не подвластной. Например, феодальная Европа, по сути дела, вписывала церковь в единую экономическую структуру, так что механизмы влияния религии на общество не отличались принципиально от господства любого крупного феодала в условиях жесткой конкуренции. Напротив, на Руси христианство изначально возникло как религия государственная и слово попа становилось законом и для светской власти (поскольку ее вообще можно было так назвать). Дважды пыталась русская государственность отмежеваться от религии — при Иване IV и при Петре I — и превратить ее в государственный институт, на европейский манер. В полной мере это так и не удалось. Даже в XX веке, на словах объявляя войну всяческой религиозности, советское государство во многом унаследовало ту же культурную схему, и нет ничего удивительного в безудержном разрастании партноменклатуры — подобно раковой опухоли.

Прагматизм европейских религий разительно отличается от деспотизма религий Северной Африки, Ближнего Востока или Центральной Америки. В индийских и китайских религиях оба эти элемента присутствуют в разных пропорциях — от полного слияния духовной и светской власти до подчеркнутого их противопоставления и кажущейся независимости друг от друга (что на деле становится таким же отождествлением). Однако сама идея власти предполагает и духовное порабощение — поэтому без религии классовому обществу не обойтись.

* * *

Мифология может быть элементом религии — но может и не быть. Миф во многом сродни художественному образу, с тем отличием, что мифологическое сознание синкретично и потому не осознает искусственности образа, воспринимая его как отражение реальности. Как только мы начинаем сознательно относиться к мифу — он испаряется, превращается в нечто совсем иной природы. Религия запрещает обсуждать мифы. Со временем нелепости становятся все более очевидными — но человек религиозный обязан принимать букву писания, не имея права ни на йоту усомниться в точности и правдивости божественной истории. Наивная вера — проходит, как детство; сама по себе — она безобидна. Именно упрямая абсурдность веры делает ее религиозной.

* * *

Сходство не означает родства. Апологеты всех религий ссылаются на похожесть мистического опыта и религиозной мифологии у разных людей и разных народов как подтверждение действительного существования «потустороннего» мира, которые, якобы, различно отражаются в разных религиях, оставаясь безусловной реальностью. Но не проще ли объяснить такое подобие иными, более прозаическими причинами?

Психиатры знают, что человеческие галлюцинации, при всей их индивидуальности, в общем-то, не выходят за рамки нескольких типовых сюжетов. Но вместо того, чтобы предположить реальность мира, в котором приходится жить пациенту, его пытаются вылечить, устранить нездоровые фантазии (к сожалению, часто ценой утраты и

здоровых переживаний). В какой-то мере психиатрия — это религия наоборот: вместо постулирования мистических причин, сводят все к банальной физиологии, столь же успешно выводя вопрос за рамки человеческой разумности.

Но обратимся к другой «науке», к уфологии. Ее адепты могут предъявить многочисленные свидетельства контакта; эти «документы» тщательно анализируют и усматривают в них единую основу, по которой, вроде бы, можно судить о действительном облике и повадках инопланетян. При этом упускают из виду тривиальное обстоятельство, что рассказчики-то живут не в вакууме, что они с детства насыщены о пришельцах, читали про них и смотрели в кино... И если кому-то вздумается вообразить себе (или наврать про) встречу с пришельцами, ничего кроме комбинации расхожих сюжетов не получится — ибо выдумать что-то нетривиальное способна лишь очень творческая личность, которую на дурные мистификации вряд ли потянет.

Когда тысячи «свидетелей» описывают привидения примерно одинаково — они лишь воспроизводят ходячие представления, вбитые в подсознание условиями образования и воспитания. Миллионы верующих могут без какой-либо задней мысли поведать об идентичных религиозных переживаниях — и это будет лишь выражением вполне определенной религиозной практики, приучающей людей чувствовать именно так. Разные философы, рассуждая о духе, обращают внимание на одни и те же его стороны и характерные особенности — но, может быть, у них просто не хватает мудрости задуматься и о другом?

Выискивая за эзотерической статистикой потустороннюю реальность, забывают об очевидном, о самой настоящей реальности общества, в котором мы живем, культуры, в которой мы растем, и которая выращивает нас, вместе с нашими склонностями, чувствами и представлениями. Это единственная разумная основа общности человеческого опыта — и религиозного опыта в том числе.

* * *

Иудаизм — одна из самых деспотичных религий. Но именно поэтому он превращается на практике в совершенно циничское приспособление бога к любым житейским потребностям — от счета в банке до смыва в унитазе. Ветхий завет изобилует примерами натягивания веры на всякую мерзость; какими бы ни были заповеди,

можно все — если исхитриться втереть небесному отцу очки. Христианство пошло по пути скрещивания религии с моралью; иудаизм с самого начала освободил верующих от каких бы то ни было моральных обязательств, ибо если бог позволяет, чтобы его надули, — значит, он сам на это нарывается. Талмуд как раз и представляет собой практическое руководство по ханжеству и лицемерию; помимо всего прочего, это логично привело к доминированию евреев в европейской коммерции.

* * *

Христианское учение о таинстве имени отражает, в сущности, простую идею: слова человеческого языка не просто ярлыки явлений — они представляют вполне определенные, объективно сложившиеся и реально существующие общественные отношения. Называя что-либо, человек определяет место предмета в культуре, обычные способы его обнаружения, ближайшие связи и нормальные реакции других людей. Развитие языка, и прежде всего — его словарного запаса, приводит к постепенной перестройке лексико-культурных ассоциаций, так что на протяжении веков они изменяются до неузнаваемости. Например, христианские «святые» представляют в религиозной форме вполне реальные личностные типы (подобные любым другим «архетипам»); христианские личные имена поэтому оказываются «лично нагруженными» в рамках христианской культуры: поскольку носитель имени с самого раннего детства пропитывается религиозными представлениями, он волей-неволей приобретает и соответствующие поведенческие качества. В современном мире христианская символика имен практически утрачена даже среди христиан — однако личные имена явно коррелируют с характерами или темпераментами. Это связано с тем, что имя, как правило, не придумывается произвольно, а выбирается из некоторого набора, обычного для данной семьи, для общины, для местности или сословия и т. п. Поскольку же социальное окружение накладывает свой отпечаток на формирующуюся личность, возникает косвенная связь имени с совокупностью личностных черт.

* * *

Религиозные идеи о жизни после смерти в мистифицированной форме отражают независимость бытия человека как субъективного духа

(иначе: индивидуализированного явления культуры) от его физиологической оболочки. Если кто-то относился ко мне определенным образом — он не перестанет так же ко мне относиться после уничтожения какого-то куска мяса. Более того, о моей биологической смерти большинство людей долгое время даже не догадывается, ибо живу я не в своем теле — а в них.

При жизни человека всю дорогу заманивают куда-то всяческими поглаживаниями и страшат суровыми наказаниями в случае отхода от (божественных) указаний свыше. И человек остро чувствует свою несвободу, вплоть до принятия смерти как освобождения. Чтобы люди не очень стремились умирать (а то, глядишь, некого будет эксплуатировать!), попы проповедуют сказку о загробном воздаянии. Дескать, все равно не убежишь — так и пытаться нечего. А вдобавок объявить самоубийство грехом, за который на том свете положена совершенно черная кара.

Какой бы ни была политическая подоплека подобных идей, они по-своему выражают нечто вполне объективное. Ад и рай реально существуют — только не где-то по ту сторону всего, а здесь, в нашем мире, по эту сторону зеркала. Если некто внес весомый вклад в развитие человеческой духовности (разума) — человечество отвечает повседневной благодарностью, и дух такого человека живет среди людей в атмосфере почитания и любви. Напротив, мерзкий злодей, успевший натворить много бед, становится их олицетворением, символом зла — и его дух окружен презрением и ненавистью. Если совсем примитивно: кого-то постоянно хвалят после смерти — и он в раю; дух другого постоянно шпыняют — и это ад. Разумеется, трупы в могиле (или безымянному пеплу под бульдозером) это все равно. Но ведь и религия расселяет на том свете не тела, а души людей.

Серая посредственность не оставляет после себя ничего — и для нее нет нирая, ни ада, а есть просто смерть, как для всякого биологического существа. Поэтому даже религиозное сознание не может довести человека до абсолютно скотского состояния — оно нуждается в капельке духовности, чтобы деяния человека приобрели общественный резонанс, стали культурным явлением. В этом суть всякой праведности (не для себя! — а в качестве назидания другим) или греха (не ради собственного удовлетворения — а напоказ, публично, преступно). То, о чем никто никогда не узнает — не благо, и не грех. Лишь в общении мы строим себе ад или рай.

* * *

Проповедники всех религий призывают людей стремиться к совершенству — однако это совершенство понимается на религиозный манер и далеко от подлинного, человеческого совершенства. Вроде бы, идет интенсивная работа над собой, осознание высот и постижение глубин... А на деле — разрушение личности, уход от мира, а не творческая созидательность.

Особенно это относится к импорту из Индии и Китая — мистическим «практикам» активного или медитативного плана. Веками выработанные системы упражнений позволяют вырванному из реальной жизни человеку воспитать в себе стойкое безразличие к насущной современности, безалаберность и безответственность — в работе и в быту. Нет ничего важного, не нужно ни к чему стремиться, чего-либо добиваться. И никаких оценок: что сбудется, то и сгодится. Достаточно блюсти душевное равновесие — подобно свинье из греческого анекдота.

Разумеется, такие духовные наркотики не всегда пропитаны религией — особенно сегодня, в эпоху соцсетей и ролевых игр. Исходно мистический ритуал (например, обрядовый танец или смех) позволял первобытному человеку временно укрыться от действительности в условиях слишком жесткого давления извне, чтобы накопить сил на новые схватки с дикой природой. Медитация может быть весьма полезна и как инструмент психологической саморегуляции — как обезболивание бывает необходимо для последующего лечения (учитывая несовершенство современной медицины). Как обычно, религия переносит такие «методики» в культовую сферу путем выхолащивания их действительного содержания, догматически закрепляя внешние формы. Наркотик уже не просто временное облегчение — а самоцель, источник кайфа. Людей сажают на иглу, чтобы управлять ими, либо снабжая очередными дозами, либо демонстрируя ужасы ломки.

Легко видеть, что это вырождение человеческой духовности выгодно власть предреждающим, поскольку оно начисто отбивает у людей вопросы о разумности экономики и общественного строя, и тем надежнее уводит от чересчур революционных настроений. Если все равно — то и менять что-либо незачем. Понятно, что буржуазная система промывания мозгов стремится активно продвигать как восточную «экзотику», так и доморощенные технологии «очищения» душ от человеческих страстей, потребностей и привязанностей.

* * *

Этнография призвана дать внешний облик той или иной культуры, представить ее во всей ее уникальности. Только на этой основе можно приступать к построению обобщенных схем, выделяющих в массе единичностей нечто, на наш взгляд, фундаментальное.

Однако не бывает факта самого по себе, безотносительно к уже сформировавшимся воззрениям и методам исследования. Образование и воспитание ученого существенно сказываются не только на общей направленности его работы, но и на его логике, и на характере представления результатов. Естествознание начинается с выработки правил и процедур, позволяющих если не устранить, то хотя бы ослабить этот произвол, создать устойчивую фактуальную базу, связывая таким образом различные поколения и научные направления в нечто целостное. Этому способствует устойчивость и определенность самого предмета, не успевающего значительно измениться по ходу исследования. Не так с гуманитарным знанием. Абстрагироваться от культурных веяний тут почти невозможно, поскольку именно они представляют главный интерес. Чем более отстранен исследователь от своего предмета, тем меньше пользы от его деятельности. Гуманитарий вынужден в какой-то мере солидаризироваться со своим объектом, стать его частью — и только так обнаружить в нем богатую содержательность. Но в таких условиях особенно важно обладать развитым чувством меры — не переступая зыбкую грань между наукой и апологетикой.

К сожалению, капиталистическая наука (в том числе естествознание) изначально пропитана религией, и ее факты зачастую выражают не собственную логику предмета, а привнесенные извне культурные предписания. Особенно это касается этнографических описаний. Всеобщий предрассудок, будто жизнь примитивных народов выстроена по религиозным канонам — это типичный случай проекции собственной ограниченности, с большой головы на здоровую. Практически все, кто занимается изучением первобытных культур (палеонтологи, археологи, наблюдаемое в религиозно-догматическом ключе. Даже в советской науке примат религиозных интерпретаций в древней истории бросается в глаза — при всей официальной материалистичности (в скобках: излишне пристальное внимание к смене *властителей*, вместо изучения истории *народа*, — из той же серии).

Да, жизнь древних была тесно переплетена с их верованиями — это, вроде бы, лежит на поверхности. Но придавая этим верованиям религиозный характер, этнограф выдает желаемое за действительное. С тем же успехом можно объяснять популярность рок-музыки или попсы ее особым мистическим настроем, приобщающим человека к божеству... На самом же деле, все с точностью до наоборот: религиозные предписания врастают в народную культуру лишь поскольку они вписываются в ее собственные иллюзии о строении мира и возможных способах воздействия на него. Поэтому попы всех народов и времен, отчаявшись искоренить языческие повадки паствы, вынуждены приспособливать пережитки первобытного анимизма к церковной догматике, давать нерелигиозному обряду религиозную интерпретацию, — и с них берут пример ученые-этнографы.

С другой стороны, степень влияния иллюзорных представлений на деятельность людей в зарождающемся обществе сильно преувеличена. Если бы люди в реальной жизни вместо практических соображений руководствовались своими фантазиями, ни о каком экономическом и социальном развитии не могло бы быть и речи. Однако трезвая логичность повседневного поведения не столь заметна, а красочные ритуалы бросаются в глаза. Не умея воссоздать картину действительной жизни, этнограф или историк наивно верит всему, что ему открыто предъявляют. Точно так же буржуазные историки или экономисты судят об исторических реалиях на основании писанных законов или официальных отчетов — не умея разглядеть за «документами» их неформальной основы. А липовый документ сочинить недолго. Чем власти испокон веков и занимались, переписывая историю с выгодой для себя.

* * *

Говорят, что религия несет людям утешение, и нашем сумасшедшем мире иначе просто не выжить... С этим, пожалуй, можно согласиться — чтобы потом взглянуть на вещи шире.

Да, некоторые ищут (и находят) в религии утешение. Но, во-первых, не все, а во-вторых — не только в религии. Немало и тех, кто травится водкой, глушит себя наркотиками, бросается в секс или азартные игры, ввязывается в рискованные авантюры... Способов уйти от реальности,

вероятно, столько же, сколько этой самой реальности — ибо любая деятельность может быть доведена до иступления, до безумия, превращена в мираж, в убежище. Чем бегство в религию лучше бегства в рукоделие, в живопись, или в математику?

Все для чего-то полезно — в умеренных дозах. Наркотики — это прежде всего анестезия, притупление души, чтобы не так больно было ее лечить. Но сами по себе они не лечат. И при бесконтрольном использовании превращаются в свою противоположность, обостряют болезнь. В идеале, медицина должна развиваться в сторону все менее травматичных технологий, с минимумом побочных эффектов; роль анестезии при этом понемногу сводится к нулю. Но даже там, где врач вынужден причинять боль, из всевозможных способов ее преодоления следует выбирать тот, который не ведет к тяжелым осложнениям, — чтобы не падать из одной бездны в другую. Разумеется, пока медицина остается коммерческой, нежелательные побочные эффекты ей очень даже желательны; так медики по-своему сажают пациентов «на иглу», обеспечивая себе неиссякаемый источник дохода.

Медицинские метафоры по отношению к религии становятся иногда буквальными. Например, психотерапия сегодня смыкается с религиозной пропагандой: церковная реклама соблазняет консультациями психолога, а психологи-консультанты убеждают страждущих во что-нибудь обязательно поверить — или хотя бы пристраститься к одной из многочисленных мистических «практик», вкладывая в них именно мистический смысл, жажду исцеления «святым духом», а не просто путем полезного упражнения. Психотерапия опирается не на разум, а на веру — в сочетании с догматами той или иной психологической школы образуется нечто вроде секты; отсюда два шага до прямого признания авторитета господствующей церкви (как минимум, чтобы не нарваться на политические неприятности).

* * *

Европейско-американские изыскания в области восточных культур отличаются навязчивой религиозностью. Сами авторы могут об этом даже не догадываться — они честно полагают, что преследуют сугубо научные цели, фиксируют объективные факты, ищут первоисточники и занимаются документоведческой экспертизой. Однако стиль анализа,

характер описаний и перевод смыслов опирается на традиционные предрассудки, привычку увязывать быт с религиозной традицией.

Бросается в глаза, как серьезно относятся исследователи к словам служителей всевозможных культов. Расстановка приоритетов, оценка исторических событий, формальные предписания — весь этот официоз становится основой «реконструкции», а от неграмотных масс ничего в «документальной» истории не осталось, и учитывают их мнение разве что в качестве малой поправки. Критическое отношение, объективность историки демонстрируют, уточняя хронологию, сопоставляя разные версии одного и того же, — но мелкие неувязки не портят стройной картины общественного устройства и нравов с точки зрения верхов, для которых эта мнимая стройность всегда была главным оправданием.

Оставляя в стороне историю материальной культуры и классовых битв, посмотри пристальнее, как принято подавать публике культовую обрядность и «священные» тексты. Заранее предполагается, что за всем этим стоит некая особая мудрость — неважно, преподносится она в качестве божественного дара или сокровищницы культурного опыта. Сама идея эдакого первобытного мудреца, у которого нам следует учиться, — это уже проекция современной догматики на нечто сырое и неоформленное, привносящее в него такие культурные структуры, которые первобытности не свойственны и появились гораздо позже.

Далее, поскольку эта высшая мудрость никак себя на деле не обнаруживает, удобно объявить ее иррациональной, невыразимой в слове — но при том сохраняющей особую содержательность, логике европейца якобы недоступную. Дескать, чтобы приобщиться к восточным истинам, надо уподобиться людям Востока (под которыми почему-то понимаются исключительно обитатели монастырей, далекие от реалий повседневной жизни), поверить на слово многочисленным гуру якобы испытавшим нечто совершенно неопишное, накачать себя галлюциногенами — и узреть такое, что в здравом уме и трезвой памяти никак в голову не придет.

Но почему, собственно, мы должны разинув рот слушать всякого попа, пытающегося впарить нам какую-то мистическую чертовщину? Чем его мудрость лучше нашей, проверенной сотнями и тысячами лет созидательного труда?

Тут начинают рассуждать о политкорректности и непредвзятом отношении к далеким от европейского склада культурам. На деле же выходит, что содержание любой культуры приспособливается к нормам

одной, вполне определенной идеологии, а любые несоответствия либо замалчиваются, либо интерпретируются в удобном для автора ключе.

Например — пресловутая проблема перевода. Понятно, что разные культуры по-разному относятся к миру; отсюда неизбежные различия образного строя, понятийных систем и категориального аппарата. Даже в Европе, при всем родстве исторических судеб, перевод, например, с немецкого языка на французский или английский представляет иногда почти неразрешимую задачу, так что приходится довольствоваться неполными, приблизительными и очень условными соответствиями, дополняя их многочисленными оговорками и комментариями. Тем более это справедливо в отношении древнеиндийских памятников, буддистских текстов или китайских философских трактатов. И вот, мы наблюдаем, как ученый автор открывает изумленной публике тонкие оттенки смыслов какого-то восточного писания, заодно демонстрируя глубокое владение тамошними языками. Однако читателя не оставляет мысль, что к этой мощной эрудиции неплохо было бы добавить чуть больше знания своего родного языка, дабы суть вопроса стала понятна каждому и без религиозного гарнира.

Так, нам с упоением рисуют иерархию ступеней сознания, якобы досконально исследованную десятками восточных мудрецов. Где-нибудь в индийских джунглях или в горах Памира святые отшельники бережно хранят сокровенное знание, попутно обучая детей и взрослых погружаться в себя посредством тренировок. И даже денег за это не берут, поскольку их спонсируют многочисленные международные фонды, заинтересованные в спасении «духовных» ценностей от всяких там атеистов — которые не дают западным почитателям восточной культуры запросто себя грабить.

Но мы народ простой — и смотрим прежде всего, во что оно выливается на практике. Есть спрос — есть предложение: рынок завален башковитыми «гуру» по сходной цене; на выбор десятки надежнейших «практик», стопроцентно позволяющих довести себя до чего душевнее заблагорассудится. Однако, по мере ознакомления с этим обширным хозяйством, возникает упорное чувство ошибки в переводе, когда словом «сознание» обозначают совсем не то, что под этим понимают люди обыкновенные, а как раз нечто обратное — отказ от всяческой сознательности. Получается, что все силы буддиста (или какого-нибудь йога, даоса, суфия, шаманиста...) направлены к тому, чтобы максимально подавить в себе чувство реальности (а стало быть, и

желание что-либо в ней изменить), отрешиться от мира — и созерцать одну лишь пустоту; при этом высшая цель — смерть, окончательное уничтожение всякого сознания.

Конечно, занятому повседневным трудом обыкновенному человеку отрешиться от сознания очень сложно; чтобы подавить в себе искру разума — требуются мощные психоделические технологии. Можно уйти в наркотики, можно заменить их духовным наркотиком, религией. Бесконечное повторение мантры ничем по сути не отличается от укола, выпивки или курева. На практике, опять же, одно частенько сочетается с другим. Другой вариант — культ тела. Это и спорт, и тренажеры, и просто драка (стыдливо-эвфемистически именуемая единоборством). Буддистские монастыри в этом смысле ничем не лучше наркопритонов. Логично возникает мысль, что религиозные переводы восточных текстов становятся возможны именно в силу родства европейских и восточных религий: у них одна суть — умерщвление духа.

Когда бы переводы ведических, буддистских и прочих «духовных» текстов правильно передавали их смысл, мистические «откровения» утратили бы значительную долю своей привлекательности для западного обывателя; если европейские религии таким же способом перевести бы на человеческий язык — клиентуры у попов заметно поубавится. По жизни, так оно постепенно и происходит, поскольку спрятать бездуховность за словами родного языка труднее, чем в непонятностях языка экзотического.

* * *

Если восточному мистикау дать европейский автомат и европейский динамит, он превратится в заурядного террориста, с которым долго и безуспешно станет бороться мировое сообщество. Если же дать ему немного европейских (или американских) денег, он построит еще одну мистическую школу и сможет вместо тел убивать души — а это терроризмом не считается и не наказуемо.

* * *

Спросили как-то большевика Ленина, может ли поп быть членом коммунистической партии? Может, — не задумываясь ответил тот, —

если он разделяет ее программу, придерживается ее устава и работает в одной из первичных партийных организаций.

Поистине, золотые слова! Но золото не только блестит — оно еще и тяжелое... С одной стороны, мы оставляем проблему совмещения свободы совести с партийной дисциплиной на личное усмотрение товарища попа и не предписываем ему, как он должен исповедовать диалектический материализм. С другой стороны, сама возможность такого совмещения означала бы внутреннее родство партийности и религии, и демократический централизм оказался бы родственником церковной иерархии, а трудовой энтузиазм — разновидностью экстаза. Человеку в полной мере разумному не по пути ни с той, ни с другой догматикой — хотя иной раз может показаться, будто, ради правого дела, он мог бы предпочесть одну из них.

* * *

Русские всячески пытаются компенсировать вековую культурную отсталость, старательно пытаясь убедить самих себя в том, что чуть ли не все успехи мировой цивилизации имеют русские корни. Точно так же попы всех мастей выводят любое творчество из религиозных чувств и традиций, объявляя культуру в целом следствием религии, своего рода популяризацией церковных «истин», пристройкой к храму. Ясно, что искусными толкованиями кого угодно можно загнать в монастырь. Особенно удобно это в отношении тех, кто уже не может возразить по причине своего телесного отсутствия среди нас. Например, немало умельцев причесать ученого и поэта Омара Хайяма под правоверного суфия, якобы иносказательно проповедующего своими творениями основы истинной веры. Человек здравомыслящий не усматривает в математических рассуждениях и ехидных частушках никакой мистики. Но тут ему предъявляют какого-нибудь знатока древностей, который будет тыкать в нос староперсидскими текстами и разжевывать каждую букву, самоуверенно заявляя, что современники Хайяма понимали это именно так. Поскольку далеко не всякий сведущ в языках настолько, чтобы обоснованно возразить, проповедники рассчитывают на легкую

победу и готовят кошелю под заслуженный гонорар. Аналогичные трюки проделывают и с европейскими деятелями разных времен.⁵⁶

Однако толкование — не основание. Это всего лишь частное мнение толкователя. Разумеется, одно из таких мнений может оказаться близко к истине — но только то из них, которое далеко от мистики, и трезво учитывает закономерности развития человеческого общества, материальной культуры и рефлексии. Что угодно можно истолковать в религиозном смысле — от палеолитической «Венеры» до творений Рабле, музыки Альбини, марксовской теории прибавочной стоимости или теоремы Ферма. У иного обывателя и обыкновенный компьютер превращается в предмет преклонения или мистического ужаса.

Никто не говорит, что отношение к действительности непременно должно быть рациональным — есть много вещей, далеких от науки, но весьма и весьма в жизни полезных. Любовь, например. И вовсе не обязательно загонять все это в храмы и капища. Вполне возможно, что кое-кто (но отнюдь не каждый) во времена Хайяма мог считать его чернокнижником или пророком. Значит ли это, что сам Хайям верил в религиозные бредни? Никким образом. Даже если бы он выглядел убежденным суфием (чего на самом деле не наблюдается), это не основание для громких заявлений о его подлинных убеждениях. Иногда вполне светские взгляды (сознательно или бессознательно) прячутся под маской нарочитой религиозности — кому нужны лишние неприятности в этой и так не слишком-то приятной жизни? Даже самооценка автора ничего не говорит о подлинных мотивах его деятельности и общественной значимости его труда. Нельзя верить гениям на слово. Например, Гегель — величайший из философских революционеров — заслужил славу махрового реакционера, защитника религии и монархиста. Любое явление культуры получает собственно культурную оценку лишь в исторической перспективе. В реальной жизни творчество далеко от однородности, и у великих бывают вещи сугубо конъюнктурные и проходные, отписки от навязчивостей бытия. Гений — не тот, кто не знает неудач, а тот, кто умеет использовать их как удобение для подлинных шедевров.

Омар Хайям, талантливый астроном и математик, на досуге развлекался сочинением четверостиший в простонародном жанре — как еще недавно в России народ импровизировал частушки на деревенских

⁵⁶ В наши дни пошла мода на беллетристику по поводу сексуальной жизни общеизвестных исторических лиц — идеологический заказ тут уже и не скрывают.

посиделках. Конечно же, эти куплеты пели на злобу дня — и они могли иногда намекать на сколь угодно возвышенные споры, включая богословскую тематику. Самая последняя деревенщина не изолирована от жизни — и легко впитывает бродячие идеи; тем более было бы странно, если бы ходовые мотивы не отразились в поэзии ученого мужа. В каком-то смысле Хайям стал злым гением персидской частушки — поскольку его талантливые импровизации заинтересовали суфиев-мистиков, которые потом и превратили рубаи в орудие религиозной пропаганды — хотя, конечно, на легкомысленность народных попевок это не повлияло, и большинство последующих поэтов продолжали использовать этот жанр в качестве злободневного куплета, пусть даже с философскими обобщениями где-то в глубине. Но искусство — это прежде всего искусство, и оно подчиняется своим законам, далеким от надобностей идеологической борьбы. Одни и те же слова иначе осмыслены в контексте стиха, нежели в обыденной речи или философском трактате. Поэтому смело посылайте подальше многознающих толкователей — они выучили язык, но неспособны воспринимать поэзию.

* * *

Когда отдельные верования складываются в систему, они способны отгеснить способность суждения и стать основным способом рефлексии. Это вполне подобно тому, как страхи шизофреника постепенно развиваются в обширную и внутренне стройную картину мира, так что в какой-то момент человек оказывается уже неспособен отличить искусственность своих гротескных представлений от реальности. Система подчиняет себе своего создателя.

Лечение болезни требует разрушения заслоняющих мир фантазий; но поскольку они стали ядром личности, это означает и разрушение личности. Поэтому шизофреник всячески сопротивляется лечению — и готов убить себя, лишь бы не перестать быть собой. Точно так же, атеистическая политика государства встречает жесткий отпор в душах верующих.

Как быть? Там, где общество способно выстроить другую систему отношений, объективно отрицающую духовные кошмары, можно оставить больного с его иллюзиями — они все равно будут на каждом шагу наталкиваться на разумность бытия и понемногу потеряют

системный характер. Даже если человек останется в плену болезни — это уже не так разрушительно для него и для общества. Однако в современной действительности общество, напротив, лишь закрепляет гротескное видение мира, постоянно поставляя примеры вполне реального уродства и ужасов существования. На этой почве легко и здоровому сойти с ума. И тут появляются бессовестные дельцы, готовые повернуть чужую болезнь к собственной выгоде. Политики и попы (что почти одно и то же) сознательно подчеркивают мифические мотивы, и наоборот, стараются замаскировать суть происходящего, скрыть от людей действительное положение вещей. Борьба с религией в этом контексте становится борьбой за утверждение нового общественного строя, не допускающего корыстных интересов, идейных манипуляций.

* * *

В религии само наличие предметов культа и «священных» текстов уже выводит за границы веры. Вера, ведь, потому так и называется, что не требует внешнего подкрепления, она вполне самодостаточна. Веру невозможно воспитать, ей нельзя научить — и напоминать о ней нет никакого смысла. Любые попытки что-либо здесь регламентировать предполагают, что сама по себе вера долго не продержится, жизнь ее постепенно размочит и разрушит, — а стало быть, надо отгородиться от жизни барьером догм, поставить на место веры в сверхъестественное сверхъестественность самой веры. Когда мы верим в нечто, нами же созданное и постоянно воспроизводимое в (ритуальной) деятельности, никакие внешние обстоятельства не могут поколебать наше видение мира, поскольку мы просто хотим видеть его так, а не иначе, — и все остальные возможности нам просто не интересны. Любая другая деятельность, поскольку она связана с переустройством реального, а не выдуманного мира, так или иначе будет направлять наше восприятие, корректировать его по мере развития способов деятельности и освоения новых предметных областей. Вере в этом контексте отведено очень скромное место, а любые заблуждения, даже самые упорные, в конце концов уступят голосу разума, которым Вселенная разговаривает сама с собой.

* * *

Пытаясь изложить чью-либо точку зрения, мы все равно излагаем свою. Говоря о других — лишь примериваем их роли, прикидываем, как мы бы поступили в аналогичных обстоятельствах. Соответственно, и чужую точку зрения мы способны уяснить лишь отчасти, больше основываясь не на том, как кто-то что-то воспринимает, а на том, как мы представляем себе их восприятие. Когда представляем более или менее правильно — можно идти дальше; вылезают странности — пора задуматься о самокритике. Даже в физике мы были свидетелями грандиозной ломки представлений о том, как разные наблюдатели воспринимают пространство и время, — со всей определенностью можно ожидать не менее масштабных революций и в будущем. Что уж говорить о гуманитарном знании, которое изначально завязано на злобу дня, подчинено политическим веяниям!

Стало быть, объективное знание невозможно? Вывод логически хромает: как раз напротив! — только последовательное сопоставление объекта с субъектом, их взаимоопределение в рамках предметной деятельности, логически допускает (и требует), чтобы одно было представлено в другом. Только отделяя себя от объекта, человек становится субъектом; только участвуя в сознательной деятельности, часть материального мира становится объектом, открывается субъекту с какой-то стороны. И только так, в практике, мы можем избежать абсолютизации наших представлений о мире, превращения их в догму. И открыть для себя бесконечность развития, осознать эфемерность любых границ. А через это — выбить почву из-под ног религиозных пропагандистов.

Не верьте, когда сколь угодно крупные ученые пытаются убелить себя и вас в непредвзятости и ни от чего не зависящей истинности их науки. Истина в том, что любая наука освещает свой предмет лишь с одной стороны, и только в пределах достигнутого уровня понимания. Пройдет время — и взгляды могут измениться. Меняется мир, меняемся мы — поэтому не может не измениться наша картина мира; в этом и состоит настоящая объективность.

Но к чему это я? А к тому, что нельзя заниматься исследованием традиционных верований и религии тому, кто питает к ним хотя бы минимальное пристрастие. Трепетное отношение к словам служителей культа и прочих шаманов мешает осознать их истинную роль в культуре,

заранее объявляет их выразителями настроений общества в целом. Вместо того, чтобы выяснять как этнос устроен, академический писатель верит на слово правящему меньшинству, пропагандирует его политические устремления, выдавая желаемое за действительное. А народ вовсе не обязательно разделял навязываемые ему сверху мнения и принимал всерьез вековые установления. Даже принимая во всем этом постоянное и непосредственное участие. Если современный человек наряжает елку под Новый год — это вовсе не означает, что ему пришло в голову задобрить могущественных демонов или ублажить души предков; для большинства это просто развлечение, способ на мгновение вырваться из рутины будней. Папу римского большинство зевает на ватиканской площади воспринимает как еще одного клоуна, звезду шоу-бизнеса; при этом публичная демонстрация христианских чувств и внешняя атрибутика становятся просто условностью игры. Кто-то млеет от прикосновения к святым мощам — другой в экстазе от носков американского президента, купленных на благотворительном аукционе... Страсть к развлечениям сильнее любой веры, и чем первобытнее бытие — тем поповее сознание. Сами служители культа порой увлекаются собственным театром настолько, что теряют чувство реальности и начинают по-настоящему верить. Как правило, это быстро приводит к столкновению интересов — и новоиспеченных пророков ставит на место начальство, или забивает камнями толпа искателей традиционных увеселений.

Можно с учетом всего этого всерьез требовать исследования религии с точки зрения самой религии, а народную духовность сводить к банальному официозу? никоим образом. Стремлением глубже понять изучаемую культуру тут и не пахнет — поскольку проникается исследователь очень предвзято и однобоко; ссылка на формальные требования, якобы предъявляемые к методикам сбора эмпирического материала, в данном случае — просто неуклюжая попытка спрятать собственные мистические наклонности.

Изучение религии с точки зрения самой религии, или этнического сознания с точки зрения самого этого сознания, изнутри, — методологически неосновательны. Наука начинается как раз там, где мы умеем отстраниться от предмета, сравнить его с чем-то внешним, другим. Именно такое сопоставление разных культур дает нечто новое, обогащает обе эти культуры. Попытка же оставаться внутри одной

культуры — обычный (а часто религиозный) догматизм. Сохранить здесь означает: убить.

Только глядя извне мы можем заметить неоднородность культуры, ее многослойность, разноплановость — и конечно же, ее историческое развитие. Здесь действует своего рода принцип общекультурной относительности: невозможно в движении почувствовать само это движение — каждый наблюдатель покоится в собственной системе отсчета. Чтобы осознать, насколько изменилась жизнь, надо пространственно или исторически отделиться от нее, посмотреть на себя со стороны. Например, смотреть на прошлое с точки зрения настоящего (а на настоящее — с точки зрения будущего). Подчеркивание преимущества — чисто политическая спекуляция, желание примазаться к чужим достижениям, когда собственных не хватает. Совершенно то же самое можно сказать и о религиозной науке о религии.

* * *

Бесполезно спорить о том, какая религия более истинна — или хотя бы более прогрессивна в определенную историческую эпоху. Ни одна религия не имеет ни малейшего отношения ни к истине, ни к прогрессу. Людям может иной раз показаться, будто они в чем-либо руководствуются религиозными принципами и нормами — но это всего лишь иллюзия, кажимость. Просто у них не оказалось других форм осознания чего-то совершенно практического, к мистике и догматике не имеющего ни малейшего отношения. Такое культурное содержание и дает впоследствии повод говорить об истине или прогрессе, а слова, которыми все это обозначается, на суть происходящего не влияют. Можно назвать паровоз святым духом — но в топку уголек все-таки подбрасывать придется, и цепляют его к вагонам отнюдь не постом да молитвой...

* * *

Суеверные исследователи суеверий заранее предполагают полное равноправие любых воззрений, независимо от их разумности. Конечно, в самой бредовой идее отражается нечто вполне реальное, и можно, при

желании, построить мистифицированную картину мира, которая будет практически приемлема и полезна в определенных обстоятельствах, в пределах одной, (естественно или искусственно) изолированной от внешних влияний субкультуры. Однако отрицать развитие человеческих представлений о мире, их расширение и углубление по мере освоения все новых областей действительности, — это уже политическое решение.

* * *

Первобытные представления о мире, несмотря на всю их фантастичность, не лишены внутренней стройности и последовательности. Они по-своему практичны — поскольку и возникают-то они в ответ на вполне житейские вопросы, как одна из попыток осмыслить действительность, необходимый предварительный этап для более глубоких исследований. Это никак не отменяет примитивности первобытного анимизма и мифологического сознания по сравнению с более развитыми формами рефлексии. Однако высшие уровни не просто пристраиваются к чему-то уже существующему, они должны выкристаллизоваться в процессе его собственного развития, хотя бы и с учетом всевозможных культурных влияний. И нельзя форсировать этот процесс, навязывать людям несвойственные для их круга идеи. Они просто не поймут, о чем идет речь, и зачем вообще это нужно. Сколь угодно передовая наука останется для обывателя совершенно неубедительной. Попробуйте объяснить современному крестьянину технологии анализа и модификации генома — он просто пошлет вас подальше и займется привычными сезонными работами. Тем более это так при столкновении с реликтовыми культурными слоями, где-нибудь в индонезийской глубинке, или в дебрях Амазонки. Хотя и в цивилизованной Европе немало тех, кому цирковое представление говорит гораздо больше, чем художественные изыски или теоретический авангард (и это отнюдь не делает их неполноценными членами общества).

Когда некто в состоянии посттравматического стресса начинает терять контроль над конечностями и слышит голоса, призывающие смерть, современная медицина нередко отступает — зато местный шаман здесь, якобы на высоте: бытует (и всячески поддерживается

заинтересованными лицами) мнение, им часто удается вернуть в тело «жизненную силу», просто уговаривая ее вернуться и завлекая ароматическими травами и звуком погремушки. Склонный к мистике этнограф назидательно замечает: «Внешнему наблюдателю, незнакомому с туземной системой верований, вся эта процедура кажется нагромождением суеверного вздора. Для информированного наблюдателя такое лечение, в контексте имеющихся у аборигенов представлений о душе, есть вполне логичная реакция».⁵⁷

Но речь-то как раз и идет о том, что логические реакции первобытного человека зачастую выражают недостаточность его представлений об устройстве мира и потому являются *именно* суеверным вздором! Пытаясь освятить невежество и дикость (которые сами по себе не религиозны) — автор занимается религиозной пропагандой.

То, что абориген охотнее воспримет действие шамана, нежели современную терапию, совершенно очевидно. Ему это ближе и понятнее. То, что психосоматика важна при лечении любых болезней, включая весьма далекие от психологии (например, инфекционные), — это общеизвестный медицинский факт (о котором, к сожалению, многие практикующие врачи склонны забывать). Пытаясь лечить аборигена современными средствами, врач может, сам не замечая, нанести ему серьезную психологическую травму, и на улучшение состояния надеяться уже не приходится — хорошо еще, если не станет хуже! Однако эффективность «традиционной медицины» (следовало бы выражаться точнее: знахарства) сильно преувеличена. И вреда от нее отнюдь не меньше. Некритичность религии становится в таком случае удобным оправданием и прикрытием для гнилого бизнеса. Ибо куда проще списать провал на потусторонние происки, нежели задуматься, что же пошло не так, и как следовало бы помогать людям по-настоящему.

* * *

Во многих религиях так или иначе эксплуатируются наивные представления о субъективности — часто выстроенные в довольно

⁵⁷ A. J. Labbé, in: *Ontology of Consciousness* (H. Wautischer, ed.), MIT (2008), p. 156

сложную иерархическую конструкцию. В простейшем случае — любят поговорить и высшей и низшей душе. Однако мифология склонна сама себя подпитывать, и неизбежно появляются «глубокие» изыскания в области демонологии и «тонких материй». Это нормально, такая игра в познание всегда предшествует подлинному знанию, так заявляет о себе сама потребность знать и понимать.

Несомненно, в подобных мифологических построениях есть зерно истины, и возникают они не на пустом месте, а в контексте вполне определенной культуры, которую, в конечном итоге, и отражают, и становятся одним из ее выражений. Но когда вопросы мистической иерархии подают под соусом божественного откровения, как источник потусторонних истин, становится сначала смешно — потом противно.

Понятно, когда невежественный человек пытается корявым языком выразить нечто, очень для него важное — и у него это плохо получается. Такие «теории» всегда сводятся к формулам первобытного чутья: есть же тут что-то такое, а еще и другое, а еще и не такое, как первые два... Но вот приходит поп (неважно какой религии, или даже совершенно светской породы) и заявляет, что все эти различия суть выражение вечной природы чего-то божественного; название каждая религия придумывает на свой вкус, и может даже объявить это совершенно невыразимым в словах — что, впрочем, тут же становится своего рода названием. То, что было игрой, пробой сил, — теперь на полном серьезе, превращено в догму и утверждает бессилие разума.

Но почему нужно обязательно все мистифицировать? Возьмем, к примеру, пресловутое различие «духа» и «души» как двух «этажей» субъективности. По этому поводу европейские богословы успели наплодить тонны литературы, так или иначе отталкивающейся от «оригеновой ереси», и гораздо более ранних античных источников. Но в сущности, эти «духовные поиски» сводятся к осознанию⁵⁸ простой вещи: живое отличается от неживого, а разум не сводится к одной лишь биологии. Соответственно, есть нечто, чем живое существо отличается от мертвого тела — или чем разумный человек отличается от неразумного скота. Называть это душой и духом, или еще как-то, — вопрос второстепенный. Важна сама принципиальная несводимость одного к другому, качественное различие разных уровней иерархии. Как только такое понимание есть — можно идти дальше, искать связи,

⁵⁸ Иногда в форме отрицания.

выявлять историческую преемственность, описывать переходные формы... Иерархия разветвляется по-разному в разных контекстах, порождая, в частности, и все известные «мистические» иерархии, вместе с их рациональным объяснением. Религии здесь просто некуда приткнуться. «Духостроительство» теряет налет мистики, и выходит из моды. Указывая разумную основу мифологических систем, мы тем самым указываем на их ограниченность, переводим из разряда догм в сферу частных культурных явлений, по-своему необходимых в составе целого, но не вызывающих ни малейшего пиетета.

* * *

Мусульманская (христианская, иудейская или иная религиозная) культура возможна лишь постольку, и в той мере, в какой она культурна — а значит, относится не к единичности вероисповедания, а к универсальной основе разума, единой для всех культур. Как только мы лишаем мусульманскую культуру этой всеобщей основы, она перестает быть собственно культурой: это всего лишь заготовка, сырой материал для культурного строительства — и еще не факт, что в груде мусора отыщется что-нибудь подходящее.

То же самое можно сказать и о культуре этнической, включая как материальную культуру, так и сколь угодно развитые рефлексивные формы. В частности, не может быть искусства (науки, философии) в узко национальных рамках — суть культуры именно в преодолении различий и утверждении единства. Творчество — это свобода, ему тесно в любых границах.

Религия — враждебна свободе, она стремится подавить в человеке творческое (то есть, собственно человеческое) начало, подчинить его «божественной» догматике (то есть, попу и начальнику), сделать рабом (неважно, чьим — божьим, помещичьим, буржуйским, — или просто рабом собственной животности).

Мусульмане всего мира дружно ополчились на «Сатанинские стихи» Салмана Рушди. Не все, конечно, призывают отрубить ему голову — но однозначно воспринимают его книгу как явление, враждебное духу ислама. Я пытался объяснить этим людям (даже весьма эрудированным, с университетским образованием, обладателям ученых степеней), что роман — это художественное произведение, а не бого-

словский трактат, и надо искать в нем искусство, а не политику, обсуждать образный строй, художественную ценность — а не соответствие законам шариата.⁵⁹ Мне отвечали, что я не понимаю, что мои европейские корни не дают мне увидеть текст глазами восточного человека... И продолжали клеймить еретика.

К сожалению, европейских корней у меня нет. И я знаю, что ислам (как и любая другая религия) полон поведенческих ограничений и запретов. В частности, запрещено изображать живые существа — а любое художественное произведение создает яркий образ, независимо от присутствия собственно картинок. Образ, ведь, не в материале, а в душе. И в этом аспекте роман Рушди, с его мощной образностью, казалось бы, противен духу ислама.

При всем том, было бы неверно полагать, что «Сатанинские стихи» напрямую связаны с вероучением ислама и религиозными текстами. Художник в каждом произведении создает некий вымышленный мир, который в каких-то чертах может напоминать другие миры — но никогда не повторяет их. Статуя Будды, роман про Мухаммеда или рок-опера про Христа — это вовсе не их портреты или жизнеописания. Литературный штамп: все персонажи вымышлены — и любое сходство с реальными лицами чисто случайно. Конечно, при желании можно усмотреть мистическое содержание в чем угодно, и любой предмет (а не только храмовые изваяния, иконы, священные книги или мантры) может стать намеком на нечто иное, непосредственно в нем не содержащееся. Но такой смысл предмету придает не его создатель, а тот, кто им в соответствующих целях пользуется, и если это намек на что-то дурное — кого винить? Культ вырастает из вещей; библия и веды годятся для этого так же, как «Хоббит», «Мастер и Маргарита», «Гавриилиада», «Звездный путь», музыка Jethro Tull или речи генсека. Каждая религия отбирает круг «официальных» символов — но в любом случае это всего лишь символы, а не само божество. Путать одно с другим — это уже фетишизм.

Рушди нигде не занимается анализом или критикой ислама — у него сугубо художественные задачи. В книге сталкиваются несколько миров —

⁵⁹ В одной из таких бесед мне напомнили о «Персидских письмах» Монтескье, которые поначалу были встречены публикой враждебно, как противные христианскому духу и европейской ментальности. Но Европа как-то сумела преодолеть пережитки средневековья; возможно, когда-нибудь и для мусульман Рушди станет классиком мировой литературы.

но это лишь подобие миру исламской истории, индийской общины или английской буржуазности. Художественные миры нарочито искусственны, они призваны увести читателя от пошлых бытовых реалий к мировоззренческим и нравственным проблемам. Так математические абстракции в физике дают возможность мыслить судьбами Вселенной, а не расположением проволочек в приборе (хотя последнее тоже где-то существенно). Даже если заняться поисками публицистического подтекста, никаких нападок на ислам обнаружить в книге нельзя. Скорее, именно западная культура обвиняется в подрыве нравственных основ и опошлении духовных ценностей — именно она вливает в души сатанинские стихи, заставляющие людей убивать друг друга.

С другой стороны, характер запретов в исламе далек от какой-либо однозначности. Можно как угодно толковать тексты — но последнее толкование всегда принадлежит богу, и ни один человек, сколь угодно просвещенный или высокопоставленный, не вправе навязывать свое мнение остальным и препятствовать спорам. В конечном итоге, каждый сам решает для себя — и получает за это соответствующее воздаяние. Ибо сказано: «Оставь то, что внушает тебе сомнение, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». Ислам не дает верующим права считать себя правыми: любое решение окажется справедливым только если это будет угодно богу («иншалла!»).

Изображение живых существ запрещено потому, что (и только в той мере, в которой оно) уподобляет человека богу: такой человек должен быть наказан за гордыню. Однако наказывает именно бог, а не человек. Никакие сторонние мнения в расчет не принимаются — это, как бы, личное дело человека и бога, и решается оно между ними. Пытаясь уподобиться богу в своем суде, люди совершают куда более тяжкий грех. В любом случае, преследовать художников ислам права не дает.

Точно так же, держать в доме художественные творения — значит, ставить человеческое творение выше божественного, и «ангелы не входят ни в один дом, в котором есть изображение». Но опять-таки, речь не идет о людском осуждении и каких-либо преследованиях по земным законам, ибо только богу известно, для чего происходит что-либо на земле.

Толкование воли бога — уподобление богу, и это предосудительно. Допустим, какие-то люди все же имеют право судить и вершить правосудие — и тем самым исполняют волю бога. Но в таком случае, не

справедливо ли считать, что и художник в акте творения вовсе не подменяет собой бога, а лишь становится его орудием и создает только то, чего требует от него высшая сила и власть? Тем самым признается божественность творения, а не творца, и никакого греха на художнике нет, а даже совсем наоборот — точное следование воле небес.

Конечно, не всякое изображение — от бога (собственно, об этом и книга Рушди). Подлинное искусство не в совершенстве формы, оно божественно прежде всего по своему содержанию. Осуждению подлежат лишь образы малохудожественные, вульгарные, созданные с целями, далекими от искусства. Вполне возможно, что именно таковы были изображения на пресловутой занавеске Айши...

* * *

Мистически настроенные «ученые» отрешиваются от обвинений в религиозной пропаганде, подчеркивая, что религия — это социальный институт, а их дело — описывать традиционные представления и верования, ритуалы — так, «как они есть», объективно и непредвзято. Независимо от того, как ко всему этому относятся местные религии.

Однако важно не только, что именно мы описываем, — но еще и сам способ описания. Одно и то же можно изучать по-разному.

Как только мы допускаем саму возможность самостоятельного бытия сверхъестественных существ или магического воздействия на мир одной лишь силой воображения — мы объективно способствуем укреплению позиций религии. Независимо от нашей религиозности и личных намерений.

Для того, чтобы описывать вещи как они есть, нужно с самого начала принять, что за мистическими представлениями и магическими ритуалами стоят вполне реальные культурные явления, связанные с определенным уровнем развития производства и способов рефлексии. Это не вопрос научности — это вопрос о первичности материи и вторичности духа. И решается он не исходя из бытующих в науке методологических установок, а на уровне идеологии. Либо встать на материалистические позиции и сразу перевести любые «чудеса» в разряд принципиально постижимого (в том числе рационально) — либо открыть дорогу «потусторонним» влияниям, которыми в человеческом обществе заведует религия. Сидеть между двух стульев — долго не

получится, ибо малейшая примесь мистики перевешивает сколь угодно объективные методологии, позволяет истолковать целое в религиозном ключе.

* * *

Говоря о реальном содержании религиозных культов (и прежде всего, их мифологии и обрядности), допускают банальную логическую ошибку: форма отождествляется с содержанием. Предполагается, что рассказы о таинственных видениях, мистических переживаниях или практической магии относятся именно к каким-то потусторонним реальностям — или, по крайней мере, к особым уровням сознания, которые, ничтоже сумняшеся, объявляются высшими и вещами к самой истинной истине... На самом же деле, содержанием «эзотерического опыта» оказываются совершенно обычные культурные процессы, которые лишь отражаются массовым сознанием в иллюзорных формах. И вместо того, чтобы заниматься классификацией духов, следовало бы внимательнее присмотреться к устройству повседневной жизни людей.

* * *

Религия не просто противопоставляет себя разуму — она активно борется с ним. И тем самым провоцирует разум, пытается втянуть его в противостояние, вынудить вступать в бой. Но любая борьба, пусть даже вынужденная и необходимая, — это отступление от разумности. Побеждая религию, разум побеждает и себя. Однако если на место мертвой религии не может прийти ничего кроме еще одной, в точности такой же агрессивной шавки — из праха убитого разума вырастает другой, более высокий разум, до которого религии трудно дотянуться, которому просто нет до нее дела — и воевать с ней он не собирается.

* * *

Человек в своей деятельности не просто пересоздает мир, он еще и меняет формы самой деятельности — пересоздает самого себя как часть мира в целом. На каждом историческом этапе, в каждой конкретной культуре, формы сознательной деятельности отражаются в сознании

вполне определенным образом, который столь же объективен, как и любые иные явления культуры. Однако поскольку материальная культура первична — развитие форм рефлексии запаздывает не только логически, но и исторически; строение субъекта лишь асимптотически воспроизводит строение культуры в целом, а в каждый конкретный момент можно говорить только об относительной адекватности.

Это в частности означает, что наука о человеке не может опираться на интроспекцию — хотя не возбраняется использовать ее в качестве вспомогательного материала, как источник наводящих соображений. Можно сколь угодно точно фиксировать самоотчеты и традиционные интерпретации — например, на тему предполагаемых контактов с потусторонним миром, — однако все это минимальным образом влияет на формирование эмпирического базиса какой-либо науки — хотя и может, например, быть использовано в рамках культурологического исследования распространенности тех или иных форм рефлексии.

Конечно же, мифы возникают не на пустом месте, они по-своему выражают какие-то стороны окружающей нас действительности. Но отражение в кривом зеркале мифа сильно искажено, и надо еще догадаться, что именно оно изображает. А это работа для серьезного ученого, а не пропагандиста религии.

Разумеется, изучая человека, мы не можем игнорировать его субъективные представления о себе, его ощущения и переживания. Но и слепо доверять им — тоже не имеем права. В некоторых случаях врач обязан не верить пациенту — хотя фантомная боль для того не менее реальна, чем настоящая, а (само)внушение может вызвать совершенно реальные физиологические сдвиги. Но если врач полагается только на результаты «объективных» исследований и не обращает внимания на реакции пациента — это другая крайность, вполне подобная тому, как вульгарный атеизм упрямо занимается «разоблачением» частных религий, не замечая, что на месте одной отрубленной головы вырастает сразу три.

Научность того или иного метода — не абсолютна, она связана с общим методологическим контекстом; но сам этот контекст историчен, ибо любая методология оправдана лишь в рамках относительно стабильной культуры, а в других культурных условиях может быть объективно вредна.

Никакие методологические решения не гарантируют истинности. В любой методологии, при желании, возможно отыскать логические

погрешности или эмпирическую несостоятельность — что никоим образом не умаляет ее значения в соответствующем концептуальном контексте. Бурные споры о формах исследования зачастую просто бессмысленны, ибо критерием истины в конечном итоге может быть только практика. Если, допустим, в современном мире привидения никак не участвуют в народном хозяйстве, если из представлений о привидениях нельзя извлечь ничего кроме самого факта наличия подобных представлений, — никакое изучение привидений не сможет подняться выше уровня псевдонауки, и совершенно неважно, в какой мере при этом используется интроспекция. С другой стороны, если речь идет о снижении доли травмирующих методик в медицине, даже неадекватные субъективные ощущения следует учитывать, чтобы по возможности их нейтрализовать.

* * *

Интерпретация разного рода артефактов напрямую зависит от установок исследователя. Почему-то буржуазные этнографы склонны любую безделушку истолковывать как предмет культа, они не допускают мысли о том, что изготовление подобных безделушек могло быть всего лишь формой образного освоения мира, попыткой выразить то, что не может (а иногда и не должно) выражаться в словах. Любые «искажения» естественных черт или пропорций мистически трактуют с точки зрения неких (адаптированных из собственной религиозности) представлений о сверхъестественном, которые современные «ученые» хотели бы приписать далеким предкам. Мистически трактуется все: позы, выражения лиц, предметы одежды и быта, черты животных и растений... Персонажам даже приписывают якобы очевидные эмоции; однако чтобы их усмотреть — требуется очень богатое воображение.

Но даже если какое-то изображение действительно связано с наличными культурами, вовсе не факт, что оно проникнуто религиозным пиететом — с тем же успехом это можно расценить и как гротескный юмор, и как попытку осмысления.

Например, от древних племен центральной Америки остались многочисленные фигурки колдунов или шаманов с рогом на голове. Мистически настроенные этнографы всячески борются за то, что это выражение особых сил, которые якобы вселяются в шамана в ходе ритуального действия. С порога отметаются возражения, что такова могла

быть «униформа» колдуна, его «театральный костюм»; дескать, повязки вокруг «рога» изображены так, что они никоим образом не могут удержать этот предмет на голове, — при этом почему-то забывают, что предмет может крепиться не к голове, а именно к повязке, играющей роль оправы, или что закрепить нечто на голове можно вообще без всяких видимых повязок (как это с успехом делают театральные гримеры). Однако даже если принять, что рог на голове был именно «знаком отличия» шамана, символом сверхъестественных способностей, еще требуется доказать, что изображения такого рода носили скольконбудь мистический характер, а не были просто репортажем о ходячих представлениях того времени и официально принятых ритуалах, как об одной из сторон жизни вовсе не обязательно определяющей повседневное бытие. Скорее, наоборот: в первобытном искусстве изображалось прежде всего то, что выходило за рамки обыденности, — но само-то искусство от этого не становилось религиозным. Рог мог восприниматься просто как символ, метафора, — а вовсе не «действительная эманация», как утверждают современные мистификаторы.⁶⁰

На основании подобных толкований пытаются убедить публику, что современные представления о сознании нуждаются в коррективах с учетом мистического опыта миллионов людей в разных уголках земного шара. Но, во-первых, сам этот «мистический опыт» сильно преувеличен; во-вторых, нуждаются в корректировке, скорее, куцые представления современных мистиков, а отнюдь не последовательно материалистический подход к вопросам души и духовности.

* * *

Попы на каждом шагу подчеркивают, что человеческая культура во всех своих чертах восходит к религии. Аргументация либо отсутствует (ну как же! это же общеизвестный факт!) — либо ссылается на чисто внешние обстоятельства: древность самих религий, использование мифологических образов, церковное финансирование крупных культурных проектов... Однако внимательный взгляд обнаруживает, что дело всегда обстояло как раз наоборот: любые

⁶⁰ Вспомним здесь о том, что короны европейских монархов зачастую снабжались многочисленными «рогами»; не следует также забывать и о «рогатых» шутах (и даже шутовской колпак, по сути дела, есть вариант символического рога).

достижения человеческой культуры религия старается подмять под себя, лишить их общекультурного статуса и сделать предметом культа. Даже то, что поначалу вызывает у церковных властей бурное отторжение, рано или поздно вписывается в канон, становится лишь одной из догм. Ради этого церковь даже готова признать прошлые ошибки; очевидное противоречие догмату о непогрешимости церкви — ничуть не весомее других внутренних противоречий, которыми религия нашпигована под завязку.

* * *

Важный элемент религиозного отношения к действительности — поиск объекта преклонения. Неважно, есть бог или нет; главное — мы всегда можем что-нибудь обожествить. Что конкретно — не все ли равно? Преклоняться можно перед чем угодно — независимо от того, достойно оно хотя бы минимального уважения или нет. В качестве объекта сгодится светская власть, деньги, художественный дар или математика... При некотором старании, можно обожествить даже само обожествление — и получить религию без бога.

Когда от индивидуального преклонения (религиозного отношения) происходит переход к социальному — возникает религиозный культ.

* * *

Опровергать труднее, чем защищать. Если чего-то у вас нет — это не значит, что и у других нет, просто вы не принадлежите к числу избранных... Можно принять, что вечный двигатель невозможен — и сослаться на всеобщий закон сохранения энергии. Однако всегда остается подозрение, что вы со своими законами чего-то не учли, и где-то обязательно есть предел их применимости. Предъявят вам реально работающий вечный двигатель — будьте добры подстроить под это ваши теории...

Поэтому, в частности, атеистическая пропаганда не предполагает борьбы с верой — она борется с религией. Не с тем, чего нет, а с тем, что очень даже есть, и мешает людям жить. А самая лучшая критика — показать, что без религии в реальной жизни вполне можно обойтись. Кого-то убедят рациональные доводы — кому-то придется наглядно продемонстрировать, как устроить жизнь без духовных цепей.

В области рефлексии, однако, этого недостаточно. Здесь надо еще и сами формы рефлексии освободить от мистических коннотаций. Хорошо, пусть вопрос о существовании бога к делу не относится. Но, ведь, представления о богах были? Спрашивается: почему и зачем? Волей-неволей, придется брать каждый кусочек культа и лишать его обаятельной чудесности — искать действительную основу и указывать объективные границы бытования.

Верующие всячески настаивают на существовании души как самостоятельной сущности — и на возможности общаться с душами умерших, видеть духов (названия могут различаться — но суть одна). Отговорки что, дескать, все это могло им привидеться по причине не совсем нормального состояния — не убеждают. Какая такая норма? Если большинство не видит духов — это не значит, что их нет. Просто они по каким-то причинам не умеют. Например, мужчины никогда не испытывают родовых мук и многолетней пытки климаксом — но попробуйте доказать, что женщинам оно только кажется! Для них это самое настоящее мучение, избавление от которого сыграло бы куда более значительную роль в деле антирелигиозной пропаганды, чем самые скандальные разоблачения.

За духовидцами есть своя логика. Да, конечно, подавляющее большинство «видений» — не более чем бред, галлюцинации (хотя и галлюцинации возникают не просто так, для них всегда есть повод). Однако здесь уместно вспомнить и о том, что для последовательного материалиста субъектность, дух не есть нечто, принадлежащее биологическому телу, — это прежде всего общественное отношение. Организм умер — но значительная часть общественных отношений, в которых он участвовал, может сохраняться еще очень долго, и в этом смысле дух умершего продолжает жить. Например, Гитлер умер — но его дух безусловно витает в местах скопления неонацистов (как это и отражено в языковом стереотипе).

В каких-то условиях и при достаточной предрасположенности люди могут представлять себе такие «посмертные» общественные в форме зрительных образов. Более того, ничто не мешает с подобными «фантомами» общаться, и даже получать от них информацию! Мы, ведь, способны принимать близко к сердцу написанное кем-то пару веков назад — ни о каком биологическом контакте тут и речи быть не может. В наше время доля непосредственного общения неуклонно сокращается — и можно поддерживать тесное общение с кем-то на

протяжении многих лет, так ни разу и не увидев «виртуального» собеседника, не зная его имени и жизненных обстоятельств, — и даже не будучи уверенным в реальном существовании сетевого персонажа, за которым, например, как за Козьмой Прутковым, скрывается «группа товарищей». Оказывается, что целостная личность вовсе не нуждается в определенном биологическом теле — одно и то же в разное время может быть по-разному реализовано.

Это можно сравнить с технологиями визуализации, широко распространенными в науке и технике. Мы не способны напрямую видеть звук, небо в рентгеновском спектре или органические молекулы; однако все это вполне возможно визуализировать в соответствии с определенными принципами, и такая визуализация на практике бывает полезнее абстрактного описания. Более того, визуализировать можно и абстрактные понятия — так, например, вошла в моду инфографика. В конце концов, даже письменность представляет собой один из способов визуализации языка — это же сплошное общественное отношение.

Так мистические представления о душах и призраках получают вполне рациональное и строго материалистическое объяснение. Более того, оказывается возможным обсуждение исторических условий, способствующих мистификации общественных отношений, и путей преодоления старинных предрассудков.

* * *

Из области юмора:

Кто-то поклоняется предкам, кто-то обожествляет своих детей, а кому-то хочется просветления лично для себя... Христианство решает прибрать всех — и продвигает бога, который одновременно и отец, и сын, и дух святой.

* * *

Для первобытного человека вера в чудеса совершенно естественна, это лишь субъективное отражение фрагментарности и ненадежности имеющихся представлений о мире. Поскольку человек ограничен — сколь угодно развитая картина мира все равно окажется неполна, и это снова и снова порождает наивность веры. Однако разумное отношение к

собственной неразумности позволяет использовать первобытные пласты субъективности для подготовки новых этапов развития духа, и взрослому человеку толика детской непосредственности не повредит.

Религия подменяет веру в чудо верой в сверхъестественное. А это вовсе не одно и то же. Чудо — удивляет и притягивает, это предвестник открытия. Сверхъестественное — внушает страх холодной неприступностью, оно изначально непостижимо и открывается только по указанию свыше (отсюда и приставка «сверх-»). В этом плане даже «потустороннее» — ближе и человечнее. Религиозные чудеса идут не от природы, они выражают классовый интерес: каждому в обществе поставлены границы, переступать которые запрещено. То, что традиционная мораль объявляет неприличным и предосудительным, а право делает опасным и наказуемым, в религии приобретает характер метафизической неотвратимости, греховности и вечной вины.

* * *

Классовый характер религии проявляется в самой постановке вопроса: речь всегда идет о личном «спасении», «просветлении», приобщении к божеству. Все внимание — на себя. Естественным образом, весь остальной мир тогда оказывается в тени, становится потусторонним. Именно этого и добиваются господа, им вовсе незачем привлекать внимание рабов к общественным несовершенствам. Если у вас что-то не так — это ваши личные проблемы, и решайте их внутри себя, не лезьте в карман богатому дяде. Здесь религия плотно стыкуется с буржуазной психотерапией — не удивительно, что церковь стремится узурпировать функции психологической помощи и взять под крыло соответствующие социальные службы, тогда как практическая психология понимает свою задачу в узко-субъективном плане, как примирение личности с окружающей действительностью — если действительность при этом мириться не торопится, «примирение» сводится к уходу в себя, к смирению.

Человеческий подход — полная противоположность. Мы начинаем с вопроса о том, что следует изменить в окружающем мире, как его разумно переустроить. И только исходя из этого решаем, что требуется изменить в себе, как мы можем сейчас, в реальных исторических условиях, способствовать утверждению разума.

Деятельное отношение к миру срывает классовые маски. Господам приходится признать, что они стремятся исключительно к сохранению своего господства, а рабам — открыть в себе мерзкую привязанность к рабскому существованию. Вместо уютного болота — море непростого труда. Но надо решать проблемы, а не обожествлять их.

* * *

Есть люди, которые на полном серьезе занимаются привидениями. Собирают свидетельства, усматривают в них закономерности, и даже выдвигают гипотезы...

В принципе, ничего предосудительного в этом занятии нет. Всяк развлекается, как умеет. Некоторые, скажем, коллекционируют марки; другие копаются в архивах и сочиняют себе красивую родословную; кто-то классифицирует сказки в поисках «архетипов», или сравнивает разные языки с целью «реконструкции» их единого предка... В разумных пределах любая игра занимательна и полезна. Но если вдруг невинные развлечения становятся для кого-то источником средств безбедного существования — тут стоит призадуматься. Одно дело — когда вы за удовлетворение собственных потребностей выкладываете свои кровные; совсем другое — когда вам за это еще и приплачивают. Капиталиста заподозрить в искренней филантропии трудно, и если он отстегивает круглую сумму на теорию квантовых трубочек в мозгах или этнографию шаманизма в Центральной Америке — за этим, скорее всего, скрывается вполне осязаемый дивиденд.

Разумеется, при некоторых условиях любое хобби способно стать чем-то более значительным, перерасти в культурное явление. Так, один патентный чиновник в свободное от работы время (и благодаря жене, освободившей его от бытовых заморочек) уединялся себе на балконе, развлекаясь компиляцией ходовых сюжетов из тогдашней физической журналистики — теперь мы с неизменным почтением произносим его имя, хотя и не понимаем толком, в какой мере все эти релятивистские фокусы отличаются от цирковой ловкости рук. Любительские гербарии выросли в науку ботанику; каталогизация творений Баха — повод внимательнее присмотреться к истории культуры в целом. Точно так же, собрание историй о привидениях могло бы оказаться общественно полезным, и даже стать наукой. Если понять, о чем, собственно, идет речь. И тут как раз начинают играть идеологические установки.

Да, есть факт: люди в разных концах земного шара склонны передавать из уст в уста мистические истории о якобы имевших место встречах с «духами», общении с умершими, визитах в другие миры и так далее. Однако если этот «эмпирический материал» попытаться развить в подобие науки, такая наука своим предметом будет иметь именно «привиденческую» мифологию, корпус легенд, — но вовсе не содержание рассказов, не привидения как таковые. Пытаться вытянуть из рассказов о привидениях знание о привидениях как самостоятельных сущностях (то есть, об их объективном существовании, хотя бы и под именем «духов») — все равно что на основании древнегреческих мифов «восстанавливать» историю богов, по библейским сказкам изучать геохронологию, или классифицировать чертиков по отчетам хронических алкоголиков. Миф всегда опирается на примитивные представления о реальности — но это зачаточное знание выражено в мифе лишь аллегорически, как намек, как указание на предмет — но не предметность в собственном смысле. Чтобы открыть действительность мифа, надо прежде всего уйти от наивного отождествления речи с ее содержанием, отличить мотивы от мотивировок, личины от лиц.

Мистически настроенные «ученые» заранее предполагают, что привидения существуют — и под эту априорную идею натягивается фактический материал. Ни для кого не тайна, что любое наблюдение можно интерпретировать с разных точек зрения, включая полностью противоположные. И чем фантастичней «объяснение», тем легче оно приклеивается к чему угодно. Если я допустил опечатку в тексте — не иначе, черт попутал; если споткнулся на улице об оставленную кем-то железяку — это меня бог наказал; если денег нет — ясное дело, транспозитировались в ноль-пространство!

Не меньшей фантастичностью отличаются и популярные взгляды на блуждающих «духов» как «нематериальные» сущности, как души, отделенные от тел. С одной стороны, это удобно: не надо заботиться об объяснении отличий живого от неживого — дескать, живет душа сама по себе, а если вдруг поселится в теле — то и тело, вроде как, оживает. Точно так же, как математики просто объявляют число, или множество, первичной математической сущностью — и, вроде бы, можно не заморачиваться вопросами эмпирического обоснования постулируемых свойств. Вспоминается у Ван дер Поста (1968):

Помню, как один священник объяснял мне сущность зигзагообразной арки: «Нечистая сила подобна носорогу. Она всегда несется по

прямой. Мы строим мост по ломаной линии, и нечистая сила не может по нему пройти — она срывается с края и тонет в стремнине посредине реки».

С другой стороны, подобная лихость неизбежно приводит к неудобным возражениям из рядов разного рода варваров, еретиков и отступников. Почему собственно, призраки нематериальны? и что вообще, pardon, вы понимаете под материальностью? В философии материя — то, что есть само по себе, безотносительно к каким бы то ни было личностям. Если блуждающие души существуют именно таким образом — они материальны, в общефилософском смысле. И если вы нам предъявите хоть одно всамделишное привидение, мы сможем изучить, например, его физические свойства или особенности его психики. Если же вы допускаете, существование духа отдельно от тел, то каким образом эти «духи» могут показываться людям, или разговаривать с людьми, если зрение и речь (пусть даже внутренняя) — это вполне материальные процессы? Придется признать, что ваше нематериальное умеет неплохо взаимодействовать с материальным — и чем они тогда различаются? В конце концов, само соединение души с телом (хотя бы временное) есть факт необъяснимый с позиций господ-мистиков — и потому-то они называются мистиками, а не учеными.

Если мы все-таки занялись изучением «духов», мы, конечно же, обязаны допустить их самостоятельное (объективное) существование и не приписывать им заранее каких-либо свойств помимо тех, на которые указывает имеющийся в нашем распоряжении эмпирический материал (пусть даже очень косвенного характера, вроде детских ужасиков или анекдотов). При этом мы должны также отдавать себе отчет в том, что от одних только наших предположений предмет науки появляться не обязан — изучаемое следует искать в реалиях нашего бытия, как один из пластов человеческой культуры — а отсюда уже выводить его объективную организацию. И конечно же, нельзя полагаться на единственный источник информации — любой реальный объект проявляет себя в различных отношениях и обнаружим разными методами. Подобная «дополнительность» — обязательное требование в науке, хотя сама по себе не гарантирует объективности.

Допустим, что сказки о привидениях указывают на некоторое распространенное культурное явление. Однако это может быть все что угодно, помимо, собственно, привидений. Разумный исследователь займет осторожную позицию и попробует выяснить, что происходит на

самом деле. Его задача — объяснить, как нечто реальное приводит к типичным отчетам респондентов, как в объективных обстоятельствах возникает субъективное впечатление. Отношение к словам остается неизменно критическим, поскольку каждое слово — это намерение, интерпретация, аффект. Не отвергать с порога — но и не верить, кому попало.

Современный человек слаб в рефлексии — он далеко не всегда отдает себе отчет в происходящем. Поэтому опросы и беседы — лишь предварительная ступень к настоящей науке, ориентировочная стадия, поиск предмета. Социологические методы — та же интроспекция, на уровне коллективного субъекта. Полагать, что подобного самокопания достаточно для постижения мира — это уже идеологическая позиция, в последовательной реализации называемая солипсизмом.

С точки зрения логики, если миллионы человекообразных видели духов — это пока еще история про миллион видений, а вовсе не про реальность духов (что бы под этим не понимать). Одни лишь наблюдения, сколь угодно систематические, до науки не дотягивают. Для нее важна произвольная воспроизводимость, умение вызвать эффект по собственному желанию. Собственно, вся наука и заключается в том, в определенных (общественно воспроизводимых) обстоятельствах мы должны наблюдать нечто вполне определенное.

Но и этого недостаточно. Например, наверняка можно подобрать такую комбинацию химических препаратов, от которой всякий человек (при определенном уровне культурности) начнет видеть «нечто». Можно даже предположить, что форма и цвет этих образов будет меняться в зависимости от дозировки. Вместо химии можно с таким же успехом использовать медитативные технологии и гипноз. Ну и что? Значит ли это, что и в других случаях все дело в соответствующей «накачке», а не в чем-то еще? Никоем образом. Одинаковость явлений не означает одинаковости вещей. Звезда и капля воды в невесомости принимают форму эллипсоида вращения (в частности, шара); но физика тут совсем разная. Если написать уравнение диффузии — что оно описывает? Электрический ток, грязное пятно на воде, или запах розы?

Для науки требуется не единичная, а общественно необходимая воспроизводимость — практика. Когда нечто регулярно и сознательно воспроизводится в повседневной жизни людей, наука может подсказать более эффективные способы воспроизводства. А как привидения используются в народном хозяйстве? Да никак. По большому счету, это

всего лишь игра. Но в капиталистическом обществе на всем можно сделать бизнес; игры и религия — не исключение.

Ну, хорошо. После отсеивания откровенно мистификаторских историй остается какое-то количество отчетов предположительно о чем-то свидетельствующих. Что-то с этими людьми действительно происходило, и отмахнуться от их впечатлений мы не имеем права. Назовем это, например, «видениями». А потом будем разбираться, что тут от галлюцинации, что от иллюзии, что еще от чего...

Но давайте начистоту. Кто и когда видит духов? Как правило (если не всегда) это люди малоразвитые, внушаемые, привычно следующие стереотипам. Или же те, кто (по разным причинам) не может в полной мере использовать свой духовный потенциал — и психика переходит в одно из пограничных состояний с нарушениями самоконтроля и частичной утратой сознания. Напрашивается вывод, что «видения» — свойство недоразвитой психики, некультурности, а может быть — личностной травмы.

Однако не все так просто. Физиология (включая нейрофизиологию) имеет к субъективности лишь косвенное отношение, как один из способов ее культурной реализации. Видеть я могу все, что угодно — важно, как я к этому отношусь. Пока я способен критически оценивать свои непосредственные впечатления и отличаю себя от собственного организма — мои видения лишь обогащают мой личностный опыт и не только не делают меня духовно неполноценным, но вполне могут быть использованы для активной работы над собой — и выразиться в объективно необходимой деятельности.

Следует подчеркнуть, что уровень духовного развития не связан напрямую с образованием. Можно окончить десяток университетов — а остаться суеверным дикарем. Распространенность суеверий среди образованных людей говорит не о реальности сверхъестественного, а о качестве современного образования, которое сводится, в основном, к накоплению формальных знаний, вместо творческого отношения к действительности, к усвоению стереотипов — а не к избавлению от них. В этих условиях разнообразие навыков и богатство воображения уже не признак разумности, а наоборот, свидетельство хаотичности, неорганизованности; вместо личностной иерархии — нечто плоское и примитивное. Разум ограничивает буйство фантазии практическими требованиями — не дает подменять собой действительность.

Буржуазная «наука» (не только социологическая) идет на такую подмену совершенно сознательно — ее направляют классовые интересы «заказчика». Мутные мозги обывателя — самое подходящее место для политической рыбалки. Границы между знанием и мифом размыты, и уже не отличить космологию от уфологии, генетику от герменевтики, естественную историю от священной истории. Под эту дудочку и статистика иллюзий запросто сойдет за образец научной методологии.

Поскольку ни одного настоящего привидения обнаружить так и не удалось, верующие в духов «исследователи» пытаются убедить себя и публику, что вполне достоверные сведения о сверхъестественном можно получить путем «правильной» обработки субъективных отчетов, если выработать строгие и «научно» обоснованные критерии отбора и интерпретации. Первым делом в ход пускают проверенное орудие дезинформации — статистику. Если тысячи людей в разные эпохи и в самых разных культурах поразительно сходятся в своих ощущениях и переживаниях — не значит ли это правоты их субъективного опыта, соответствия его действительности? В том-то и дело, что не значит! Если заранее предполагать, что субъективность ничем не обусловлена, что она есть проявление чего-то потустороннего, — тогда конечно. Но для разумного человека повторяемость спиритуалистических идей — свидетельство объективности законов общественного устройства, снова и снова приводящих с тем же фантастическим представлениям в сходных общественных условиях, на определенном уровне культурного развития.

Но в рукаве у «сверхъестественников» есть еще один козырь — идея абсолютной беспристрастности знания, его высшей мистической самооценности. С некоторых пор это называется позитивизмом. Дескать, науку делают люди, а люди якобы все равно судят о мире на основании своих личных ощущений, так что всякий научный опыт есть, вроде бы, тот же субъективный отчет — и научность науки определяется, по этой логике, только формальными критериями. Я не случайно вставил столько оговорок. Логика позитивизма порочна в каждой фразе. Как многие неоднократно показывали, суть этой, с позволения сказать, философии сводится к одному: никакой действительности вообще нет, зато есть начальство, которое произвольно решает, что тут истина, а что нет, — и всем остальным лучше не высовываться с возражениями. А то могут и на хвост наступить. Позитивизм — апофеоз официальной,

институализированной науки, загнанной в институты и академии, в солидные журналы и престижные премии.

Применительно к «духовидцам», требование абсолютной (то есть, потусторонней) объективности принимает форму так называемого «принципа методологической симметрии»: если вы утверждаете, что духов нет, ваше отношение к отчетам о встречах с привидениями будет предвзятым, если вы не объясните, почему, по вашему мнению, духов нет. Иначе, дескать, вы заранее предполагаете, что рассказы ничему не соответствуют, что это галлюцинации и т. п. — а это против «научной этики»... Эдакий современный вариант старого спора, когда верующий возражает атеисту: а вы докажите, что бога нет!

Жульничество в самой постановке вопроса: если кто-то нам постоянно твердит про духов — значит, есть тема для разговора! Ибо мистическая история — такой же источник знаний, как вся остальная научная эмпирика, и мы не можем заранее отказать в правоте такому свидетельству, каким бы невероятным оно не казалось.

Ну, насчет равноправия не будем. О любителях присочинить всем известно, на этом, в конце концов, держится мировая беллетристика. Про политических врунов тоже разъяснений не требуется. А есть и те, кто по простоте душевной: им почудится что-то — так потом накрутят фантазий около. Иначе не интересно.

Тем, кто добивается «методологической симметрии», надо бы сначала посмотреть в зеркало и 1) отказаться от предположения о достоверности субъективных отчетов, хорошенько проверять каждый звук, подключая объективные критерии и анамнез, и 2) сопроводить эти отчеты всесторонним анализом сопутствующих «видению» объективных обстоятельств (чего ни один «духописатель» пока не сделал, и вряд ли сделает). Если при этом окажется, что в большинстве относительно правдивых историй «видения» появляются только при (частичном) отключении человеческого сознания (стресс, алкоголь, наркотики, медитация, духовная неразвитость, невежество), то разумнее связать их именно с этими наличными обстоятельствами, а не объяснять чем-то сугубо предположительным.

На самом же деле, никакой «методологической симметрии» нет и быть не может. Критерий истины — практика, и потому сортировать наблюдения и оценивать их мы обязаны исходя из текущих потребностей и перспективных направлений развития культуры. Наши методы определяются самим устройством нашего мира, который будет

неизбежно расширяться по мере освоения человечеством мира в целом, единого и единственного. Это материализм. Как только мы допускаем что наши наблюдения способны открыть нам существование «чистой» субъективности, не отягощенной материей, — это уже идеализм, переодетая поповщина. Под любым именем, это не более чем еще один способ пропаганды религии, когда наука сводится к вере, научные понятия отождествляются с суевериями, и все отличие, вроде бы, только в системности и общественном признании. Да, с точки зрения строения культуры в целом, и наука, и вера принадлежат сфере рефлексии — но это не означает их совпадения. Например, можно было бы уксус и яйца считать одним и тем же — поскольку это продукты питания; но согласитесь ли вы на яичницу из уксуса?

* * *

Некоторые «исламские» государства берут на себя смелость осуждать нередкие случаи появления изображений традиционных исламских персонажей на страницах европейских газет и журналов. Угрозы авторам или издателям, погромы и убийства — обычный арсенал средств устрашения.

Да, у мусульман не принято рисовать людей. Но прямого запрета никогда не было — и преследовать тех, кто нарушает традицию, было бы слишком вольным, греховным толкованием ислама. Тем более, когда речь идет о представителях иных народов, к исламу отношения не имеющих.

Но аллах с ними, с мусульманами. Проблема в том, что Европа оказалась неспособна противопоставить исламскому экстремизму практически ничего. Провозглашая себя поборниками прав человека и личной свободы, буржуазные идеологи с самого начала включили в перечень основных прав и свободу выбора вероисповедания — и тем самым подложили «европейским ценностям» бомбу замедленного действия. Свобода совести в буржуазном понимании превратилась в веротерпимость — а это не одно и то же. Можно позволить гражданам верить во что угодно, и даже подкармливать соответствующих попов. Но как только мы допускаем, что публичное поведение граждан может исходить из религиозных норм — мы вступаем в резкое противоречие с самой идеей «гражданского общества». Религиозные чувства, которые буржуазный политик так боится оскорбить, ставятся тем самым выше

закона и культурной определенности наций. А это значит, что дан зеленый свет открытому противоборству различных религий, когда каждая стремится обеспечить себе доминирование на политической арене, как минимум лоббируя свои интересы в органах власти — и то и внедряя религиозные нормы в национальное законодательство. Тут уж никто и не вспомнит об уважении к нерелигиозным чувствам! А, ведь, по-настоящему верующих в любой европейской стране меньшинство. Некоторые традиционно причисляют себя к той или иной конфессии, вспоминая об этом только по красным дням религиозного календаря. Но политика веротерпимости перерастает в политику нетерпимости к неверию — и граждан потихоньку выдавливают в религию, заставляют примкнуть к определенной клерикальной группировке. Когда высшее руководство страны демонстративно посещает религиозные сходы и шлет послания религиозным деятелям по поводу внутрицерковных событий — это сигнал законопослушным гражданам. Когда пресса обязана упоминать о религиозных деятелях с неизменным почтением и с положенными эпитетами, когда церковные дела освещаются наравне с делами государственными — свобода слова попадает в религиозные колодки. Казалось бы, кому кроме горстки верующих есть дело до выступлений римского папы, российского патриарха или далай-ламы? Нет, это преподносится как великое событие и откровение свыше! Политика сростается с религией — свобода совести приказала долго жить.

Понятно, что, за всей этой мишурой стоят интересы национальной или интернациональной буржуазии, а соперничество с церковью отражает расстановку экономических сил. Но светский характер буржуазного государства оказался невыгоден властям, ибо культурное единство приводит к консолидации оппозиционных сил, тогда как религиозный раскол — проверенное средство укрепления позиций господствующего класса.

Что в итоге? Санкционированный правящей верхушкой наплыв разномастных мигрантов, приносящих с собой несвойственные Европе традиции, другой образ жизни, другую ментальность. Европейцев почти не видно на улицах, пришельцы вытесняют их, силой заставляют принять новые нормы поведения, приобретающие статус закона сначала фактически, а потом и юридически. Либеральные буржуа, взывающие к веротерпимости и почитанию национальных традиций, почему-то забывают о традициях собственных стран — а уж тем более о защите

едва проклюнувшихся личных прав и свобод. Осталась только свобода вырезать друг друга под прикрытием религиозной идеи, а то и безо всякой идеи вообще.

Было бы несправедливо упрекать мигрантов в захлестывающей Европу дикости нравов. Корни проблемы — в узости буржуазных представлений о рефлексии, усматривающих во всем исключительно утилитарные функции, конвертируемые в звонкую монету. Собственно духовной составляющей духовности европейский обыватель в своей массе так и не нашел. Например, на все лады повторяют штамп о карикатурах на пророка Мухаммеда, за которые так осерчали на свобододлюбивых европейцев братья по исламу. А никаких карикатур вовсе и не было. Использование образа пророка — никоим образом не высмеивает и не унижает исламские ценности. Принятое в комиксах стилизованное изображение персонажей — отнюдь не осмеяние, а всего лишь стилиевой прием, особенность жанра. «Карикатурное» изображение может быть очень добрым и сочувственным. И наоборот.

Суть искусства как раз в том, что оно может все превратить в образ. Лишите его этой свободы — и искусство умрет. Но государственные деятели ряда стран всеми средствами пытаются, например, ограничить прессу, спекулируя на чьих-то религиозных чувствах. Один шаг в этом направлении — и путь к тотальной цензуре открыт. Россия уже прошла по этому пути до конца. Европе, возможно, тоже предстоит идеологическая ночь — похлеще варфоломеевской.

* * *

Ритуал — один из обязательных атрибутов религии, сама суть которой в следовании жестко предписанным сверху («каноническим») образцам. Ритуальность не сводится к обрядности, она далеко не всегда откровенна, публична. Исторически, большинство церквей (от мелких сект до национальных и «мировых» религий) тяготеет к театральным эффектам, эксплуатируя возникающее у зрителей и участников такого представления чувство сплоченности — и иллюзорной безопасности перед лицом бесчисленных угроз «извне». Однако, вообще говоря, религия возможна и без обрядности. Например, конфуцианство не требует каких-либо особых культовых действий, для него достаточно повседневной «добродетели», усердия в исполнении тех или иных общественных обязанностей. Аналогично, некоторые ветви буддизма и

суфизма призывают к неброскому повседневному «служению», не регламентируя ни выбора, ни способов деятельности.⁶¹ Религиозность уходит «вглубь», она кроется не в поступках, а в мотивах людей, в регламентированном отношении к собственной жизни. Атеисту легко обличать показное раболепие — исправить искаленную душу гораздо труднее. Отчасти, нелепые поповские фокусы играют роль обманного движения, отвлекают внимание критиков, заставляют из размениваться на мелочи — а тем временем человеческую духовность продолжают подтачивать изнутри.

Как религия может обойтись без обрядов, так и обрядность вовсе обязательно религиозна. Приверженность буржуазных этнографов к исключительно религиозной интерпретации — следствие религиозного воспитания (хотя бы на бессознательном уровне, через длинную цепь косвенных влияний). Не обходится и без церковной пропаганды: так, например, осуждая языческие обряды, попы подспудно протаскивают идею всеобщей религиозности: дескать, раз не верят в нашего бога — значит, верят в другого! О свободе от религии вообще — даже мысли нет. Но религиозным обряд становится лишь тогда, когда он не только формально предписан, но и воспринимается в контексте религии, как именно религиозное действие. В других случаях это может быть все, что угодно, — от первобытного способа осмыслить мир до житейского юмора или модной тусовки. Например, церковь может с успехом играть роль местного клуба, куда ходят не за богом, а чтобы на людей посмотреть да себя показать. Для кого-то пение псалмов или пляски вокруг племенного тотема имеет мистическое значение; для большинства это всего лишь традиционное развлечение, способ вырваться из бытовой и производственной рутины. Пасха или рождество для европейцев — лишь дополнительные выходные дни; в России довели это до логического предела — и многие устраивают себе двухнедельные каникулы на январские и майские торжества.

Нерелигиозная обрядность может быть связана как с первичным, синкретичным отражением действительности, первобытным способом культурной организации, — так и со снятием былой религиозности, переосмыслением, превращением ритуала в обычай. Истоки ритуала —

⁶¹ На самом деле, это первичная функция религии — закрепить общественное неравенство, внушить каждому, что его общественное положение — воля божества, что следует смириться с этим и честно выполнять свой долг...

в подражании, действии по образцу. Полагаю, нет нужды объяснять, насколько важно это умение для человеческой культуры в целом. Это базовый механизм социализации — однако социализация, помимо прочего, есть также способ утверждения и сохранения экономического уклада и общественной организации; в классовом обществе она закрепляет отношения господства и подчинения, становится орудием эксплуатации. Так поведенческие стереотипы приобретают классовый характер и становятся ритуалом, элементом религии. Вне религии — это всего лишь обряд; чтобы превратить его в ритуал — надо его выхолостить, объявить самоценной его формальную оболочку, сделать основной упор на самом акте подражания, а не на его практической необходимости. Тогда любой успех необъясним — и легко приписать его игре потусторонних сил.

Стереотипные действия первобытного человека осмысленны, они решают вполне определенную жизненную задачу. Даже если способ решения совершенно фантастичен и не отвечает поставленной цели. И эти попытки не совсем бесполезны. Оставаясь во власти иллюзий, человек все же бросал вызов стихиям, осмеливался представить себе разумно устроенный мир — и эта мечта вела за собой, направляла поиск действительных решений. Как раз этого религия допустить не может, ей важно придушить мечты, внушить человеку мысль об изначальной бесполезности любых усилий, а исход дела оставить на усмотрение божества (то есть, вполне земного начальства). Религия, собственно, и есть способ усмирения разума, и религиозный ритуал — звено духовных цепей.

Но время идет, жизнь не стоит на месте — как бы ни хотели власть имущие ее остановить. В конце концов ритуалы становятся общим местом, их практические корни совершенно засыхают — чему, кстати, способствует сама ритуальность, изначально бессодержательная. От такого ритуала религии никакой пользы, ибо здесь уже нет ни удач, ни провалов, — и нечего списывать на демонов или богов. Мистический дух ритуала окончательно выветривается — и вот вам образчик снятой религиозности, народный обычай, поветрие, прихоть моды. Вроде новогодних елок или тюльпанов на восьмое марта.

Всеобщность идеологических форм приводит к их проникновению в любые области материальной и духовной культуры. В частности, религиозность может принимать особые формы в разных областях. Например, в науке. Политическая ангажированность гуманитариев —

достаточно очевидна. Но и естествознание не свободно от классовых влияний, как бы ни пытались естествоиспытатели изобразить себя адептами чистой истины. Кстати, сам этот высоколобый снобизм, стремление возвыситься над обществом, провозгласить самих себя высшей ценностью — лишь подражание повадкам господствующего класса, и тут самое место встроиться религии, включая религиозный ритуал. Обожевленная наука смиренно пасется под надзором попов и шаманов, она уже не угрожает устоям.

Примеров — сколько угодно. Взять хотя бы основу современной теоретической физики — вариационные принципы. В конце XIX века это было попыткой осмыслить происхождение законов динамики — к середине века двадцатого все выродилось в чистый ритуал. Никто не может сказать, зачем нужен функционал действия, и почему нужно во что бы то ни стало искать его минимум. Точно так же, стали голой догмой преобразования Лоренца, законы термодинамики, принципы квантовой теории поля... Вероятно, в конце концов физики с этим разберутся — пожелаем им свободной разумности. Но наука — это не только знания, это еще и способ их представления. Вот где буйство махровой ритуальности! Способы изложения результатов в науке — невероятное уродство. Вместо того, чтобы честно рассказать, как мы до всего додумались или доизмерялись, надо навести формальную логику, далекую от логики исследования, выстроить батальоны неуместных ссылок, снабдить выводы десятками оговорок, как бы извиняясь перед всеми, кому в голову придет на это обидеться. А потом еще и пройти унижительные процедуры представления к публикации: получение соответствующих разрешений, поиск рекомендаций, умащивание идиотов-рецензентов, почтительное общение с редактором, а иной раз и финансовые потери... Немудрено, что в эпоху Интернета журналы помельче стремительно вырождаются, и кое-кому уже приходится побегать за авторами, предпочитающими публиковаться на свободных сайтах, пусть даже и с клеймом препринта.

Да что наука! Казалось бы, промышленное производство — основа основ, где практические соображения не перешибить никакой мистикой... Ан нет, и тут злорадствует религиозный ритуал. Живем-то мы в капиталистическом государстве, и кормить господ-капиталистов обязаны исправно. Миф о налогах как финансовом базисе социальных программ порождает особую религию. Миф о естественности ренты, миф о тождестве стоимости и цены, миф о благотворительности... Всех

не перечислить. Но собственно ритуальная сторона прячется на заднем плане, за красивыми словечками, за математикой и статистикой. Однако есть и образчики чистой ритуальности. Первый пример — сертификация. Козе понятно, что смысла в этом нет никакого, что это завуалированная форма взятки. Но за взятки кого-то иногда сажают, а заставить заплатить за сертификат — дело святое. Иначе на рынок не попадешь, и никакой прибыли. Хочешь воровать — умеешь делиться.

Второй классический пример — реклама. Это уже чистой воды религия. Попы этой религии обещают за нас помолиться, если мы им хорошенько заплатим. А там — как бог пошлет. Ритуалов наплодили — воз и маленькая тележка. И масса красочных обрядов — рекламные акции. Нормального человека от всего этого тошнит. Но его заставляют терпеть, втягивают и завлекают. В результате массы начинают мыслить рекламными слоганами, разговаривать рекламными штампами, видеть в навязчивой пошлости высокое искусство и большую науку. Как религия подминает под себя культуру в целом, так и реклама объявляет себя двигателем экономики. Но двигает она только самое себя — а если экономика где-то еще и развивается, то лишь несмотря на рекламу и вопреки ей.

* * *

Ссылки на профессиональную принадлежность столь же пусты, как и указания на национальную принадлежность. Ни то, ни другое никоим образом не характеризует человека — ни в плане его способностей, ни со стороны личностных качеств, ни в качестве существа духовного и творческого. Такого рода ярлыки могут иметь вес лишь в классовом обществе, как форма допуска к тем или иным элементам культуры — как выражение этнической или религиозной сегрегации, неизменно сопутствующей классовому расслоению.

* * *

Разум — это всегда ответственность. За дела, за слова, за мысли и чувства. Свои или не свои (чужих для разума нет).

Неразумные существа могут пустить все на самотек, действовать по наитию, по слепому влечению, одинаково принимая любой исход.

Им не надо лишний раз трудиться над осознанием своей роли в происходящих, и возможных последствий. Совесть их пуста, им не за что упрекнуть себя — ведь решения принимать не им.

В классовом обществе угнетенные слои иногда теряют мечты и надежды — и тогда в них пускает корни рабская психология, отказ от разумности, стремление оставаться говорящим орудием — не более. Это удобно. Оставаться человеком в нечеловеческих условиях — трудно и болезненно. Тупое существование притупляет боль; а что противно — так это дело привычки. В мерзости можно найти вкус.

Религия предлагает рабам наиболее концентрированный вариант рабской психологии, когда ответственность совершенно снимается, перекладывается не на других людей (а значит, кто-то сможет переложить свой груз и на тебя), а вообще выносится за рамки человеческого бытия, по ту сторону реальности. Человек не властен вершить судьбы мира — и не обязан отдавать себе отчет в своих поступках. Любое свинство священно и оправдано, ибо так предрешено свыше, написано на роду и направляется извне. От человека требуют самой малости — признания безграничной власти божества и слепого повиновения. Кому, чему? Об этом расскажут посвященные, особо отмеченные богами и причастные к сверхъестественным тайнам. Боги всегда говорят устами людей. Но люди не отвечают за вложенные в их уста слова — и начальство представляется таким же орудием высшей силы, как и его рабы. Утешительно, не правда ли?

* * *

Мистическое сознание выносит причину мира за его пределы — то есть, по сути дела, уничтожает причинность как таковую, ибо у мира нет пределов, и тем более нет ничего запредельного. Примитивная рациональность не может принять мысли о субстанциональности мира (и любой его части), о возможности быть причиной самого себя. Поскольку же никакой иной рациональности буржуазная идеология не признает, можно смело замазать разницу между иррациональным и мистическим, объявить любое постижение чего-либо в обход рассудка, вне наезженной колеи причин и следствий, мистическим откровением, приобщением к божеству. Например, можно легко мистифицировать человеческие чувства — ибо даже в обычном зрительном восприятии мы постигаем внешний объект до того, как становимся способны

рассуждать о нем. Отсюда два шага до отождествления образа с реальностью, признания независимого существования любых видений, внутренних голосов, памяти и предчувствий.

* * *

Различие европейского и русского христианства проявляется, в частности, в характере проповеди. Для европейца проповедь стала, по сути дела, ветвью общей риторики, разновидностью искусства. Она призвана лишь подкрепить авторитетом писания и предания некую исходную мысль, далеко не всегда проистекающую из благочестивых размышлений. Собственно религиозности в такой проповеди, в общем-то, и нет, одна оболочка. Точно так же любые другие церковные обряды в Европе живут и второй, светской жизнью — которая иногда совершенно вытесняет из массового сознания их религиозный смысл. Напротив, русская церковь в своей обрядности исходит из писания — и задача проповедника лишь напомнить пастве избранные места, ни в коем случае не претендуя на собственное мнение. Поэтому в России проповедь не так распространена — она не обрела заметного места в церковной жизни, не получила официального статуса и догматического оформления, не стала элементом религиозной обрядности. Разумеется, жанр апологии всегда существовал в византийской литературной традиции, но его роль оставалась сугубо вспомогательной — вроде подготовительных материалов к очередному церковному курултай. В последние годы, в связи с возвращением православию некоторых функций государственной религии, пропагандистская деятельность разного рода проповедников значительно активизировалась, приобрела размах общенациональной рекламной кампании. Однако эмансипация проповеди в православии пока вряд ли возможна, ибо это было бы заведомым отходом от традиционной «соборности», делегированием прерогатив высших эшелонов церкви ее низовым слоям. Установление такой церковной «демократии» означало бы выход за рамки религии, явное подчинение ее идеям иного происхождения.

* * *

Хороший священник подобен проститутке. Он должен довести клиента до религиозного оргазма, не впадая при этом в мистический

экстаз. Его служебная обязанность — заманить в лоно церкви других; вера в этом деле только мешает.

Точно так же, успешный политик не может не быть циником. Собственные убеждения — песок в смазке политической машины, они не дают раскрутить ее на всю катушку. Убежденных выдавливают из политики; до поры до времени их могут использовать — чтобы убрать при малейшей строптивости.

Если артист, играющий Гамлета действительно вообразит себя принцем датским, это будет неубедительно: публика увидит на сцене лишь психически больного, а вовсе не шекспировского героя.

Сценка в одном из одесских магазинов:

— Скажите, кефир в этих пакетах вкусный?

— Мадам, я уже семь лет молочку не потребляю. Так что же Вы хотите, чтобы я Вам посоветовала?

* * *

Бог — *часть* человека. Религиозная вера — расщепление человека на абстракции. Рай не может быть без ада, бог без дьявола...

Только в материализме человек — целое.

* * *

Идеология упорядочивает отношение человека к миру так же как сам человек упорядочивает мир. Миротворчество невозможно без самосозидания. Разум вырабатывает разумные идеологические формы. Но пока нет других способов — религия тоже сгодится.

* * *

Корни религии не в отношении человека к природе — они всегда в отношении между людьми. Не странно ли ожидать от первобытного человека страха перед природными явлениями, с которыми он постоянно имел дело в своей жизни? — здесь человек ничем не отличается от животного, и его реакция на игру стихий — это прежде всего действие, попытка избежать опасности — помимо и до всякого ее осознания. Только когда одни люди начинают направлять жизнь других

людей — природные силы уподобляются общественным отношениям, приобретая подобие человеческой души.

* * *

Религия — разновидность наркотика. Точно так же она дает иллюзорное облегчение, уход от жизни в мир призраков. Однако возвращение неизбежно, и с каждым разом возвращаться все больней. Но и отключиться труднее — и дозы растут. В конце концов приходит безумие — полное погружение в тину иллюзий. Все, что мешает «кайфу», встает на пути к дурману, — устраняется огнем и мечом. Нет преступления, на которое не мог бы пойти наркоман, или верующий, во имя своего бесплотного мира. Толкачи от религии продают ее на каждом углу, в ассортименте: разные дозы, разные смеси... Для неопытных и опасаящихся — поменьше, в сладкой оболочке, чтобы привлечь кажущейся безвредностью. А там, где церковь (наркомафия) забирает власть, людей «сажают на иглу» с раннего детства, выстраивая систему тотального отравления народа. Случается, что и представители господствующих классов не избегают наркомании. Но особенно процветает она в трущобах — здесь и вербуются команды головорезов для охраны «божественного» порядка, погромов в инакомыслящих кварталах и войн во имя «небесного» промысла.

* * *

Безусловно, в религии есть определенное культурное содержание. Но признать церковную обрядность культурным явлением можно лишь абстрагируясь от ее идеологической основы. Пожалуйста, я готов считать, скажем, приходской клир чем-то вроде профессионального фольклорного коллектива, вроде ансамбля балалаечников. И даже оплатить (по тем же расценкам) его деятельность. Но возводить религию в ранг высшей истины и вершины человеческого духа — увольте, не соглашусь.

* * *

Поскольку религия принадлежит сфере идеологии, она синтетична, это принципиально иной уровень рефлексии по сравнению с научным

знанием. Поэтому никакая наука о религии не может в достаточной мере ее охарактеризовать — даже в союзе с искусством и философией.

Нельзя просто перечислить компоненты религии — и полагать, что теперь мы знаем, что это такое. Такие перечисления всегда относятся к определенному классу религий — но не к религии как таковой. Религия разнообразна, она может принимать любые формы и менять их по мере надобности, приспосабливаясь к новым историческим условиям. И в этом ее сила. Без этого она не смогла бы так долго существовать.

В частности, религия умеет встраиваться в любые разновидности рефлексии, подчинять их себе изнутри. Например, когда ученый кичится своей беспристрастностью и независимостью, это верный признак того, что его воззрения приобретают характер догмы. Без критического отношения к своим истокам наука вырождается в догматическую систему; религиозное отношение к действительности находит в ней опору и питательную среду — а в определенных социальных условиях закрепляется в строении соответствующего общественного института, превращаясь в особую религию — или служанку других религий.

* * *

Приверженность большинства церквей к масштабным массовым действиям, захватывающим часть публичного пространства населенных пунктов и стран, сродни обыкновению многих животных метить территорию специфическими запахами или иными характерными следами. С этой же целью религии закрепляются в средствах массовой информации и осваивают киберпространство. Понятно, что такая экспансия не могла бы происходить без попустительства (или прямой поддержки) властей, которые в идеале должны были бы, наоборот, обеспечивать религиозную нейтральность культуры, ограничивая отправление культов специально обустроенными территориями. Даже домашняя религия — это уже насилие над личностью, поскольку в современном обществе воспитание детей во многом сосредоточено в семье. Культовым сооружениям следовало бы придать тот же статус, что и питейным заведениям, ночным клубам или игорным домам. По сути дела, это центры легализованной наркомании. Выход религиозных мероприятий за пределы таких изолированных зон есть нарушение гражданских прав и свобод, грубое вмешательство в частную жизнь большинства населения.

* * *

В начале XX века атеисты пытались «разоблачить» религиозные «чудеса», произвести впечатление на неокрепшие умы демонстрацией дешевых фокусов, на которые идут попы в ритуальных целях. А попы ничего и не скрывают — они совершенно свободно используют вполне материальные действия в качестве «заместителей» подлинного чуда, и ничего предосудительного ни они, ни паства в этом не находят.

Действительно, какое отношение все это имеет к божеству и его тайнам? С точки зрения религии, ничто и никто в этом мире не может претендовать на истинную духовность — ибо она присуща только богу, или, по крайней мере, некоторым его потусторонним компаньонам — но уж никак не материальным вещам. Вещи лишь представляют дух, «обозначают» его понятным для людей образом — ибо прямое постижение мистической истины человеку недоступно. Поэтому, когда в Иерусалиме по церковному расписанию (и даже по двум разным расписаниям — отдельно для православных и католиков) нисходит священный огонь, какая разница, кто и когда подсоединил баллончик с газом и открыл крантик? Важно лишь как души верующих через грубую плоть сообщаются с их небесным начальником. Когда в церквях рыдают иконы — механика этого совершенно безразлична для религиозного сознания, способного усмотреть мистическую подоплеку даже в отправлении малой нужды. Точно так же мантры в буддизме не есть нечто божественное сами по себе — это лишь зацепки для земных чувств, через которые жаждущий «просветления» приходит к особым состояниям, невыразимым никакой совокупностью вещей.

Предполагая наивную веру в рукотворные «чудеса», атеистическая критика недооценивает противника. Точно так же, ссылаясь на зверства инквизиции, на безнравственность духовенства всех уровней или беззастенчивые финансовые махинации, атеист уходит от главного, от историчности всякой религии и неизбежности ее конца. Что бы ни вытворяли всевозможные «святые», это в лоне церкви и во имя ее. Но как только мы показываем возможность обойтись без любых религий вообще (а значит, и без атеизма) — репутация попа или шамана безнадежно испорчена. Если я с успехом добываю «хлеб насущный» без всяких молитв — на кой мне «отче наш»? Если я научился делать погоду — буду ли я молиться о дожде? Чтобы избавиться от богов, надо стать не менее могущественным — и превзойти их.

* * *

Религия как уровень синтетической рефлексии родственна праву, они постоянно переплетаются и поддерживают друг друга.

У религии с правом много общего. Догматическая нормативность, опора на ритуал, особая обрядность... Однако право определяет жизнь внешним образом, человек полагается в нем как объект правовых предписаний. Религия же претендует на регламентацию устройства субъекта. Право указывает, как следует поступать. Религия — диктует образ мысли. Разумеется, человек может спрятаться внутрь себя, сохранить что-то от нравственной свободы, на публике демонстрируя приверженность религиозно-правовым установлениям, правоверность и законопослушность. Но общество так организовано, что людям сложно этого пожелать. Предрассудки вбиты с детства, промывание мозгов — везде и всегда. Переход к принципиально иным способам регуляции жизни и деятельности связан с устранением самой основы права и религии — классовой общественно-экономической организации.

* * *

Любая деятельность может, при определенных общественных условиях, превратиться в ритуал. Например, требования элементарной гигиены: часто мыть руки и периодически мыться целиком, не ходить в помещении в уличной обуви, прятать длинные волосы в общественных местах... Сюда же примыкает и практика обрезания, как средство интимной гигиены в условиях жаркого климата и кочевой жизни. Практическая польза может сойти на нет с появлением новых, более действенных процедур. Остается оболочка действия, механическое повторение — никто не знает зачем. Такие «замороженные» схемы деятельности могут существовать веками, передаваться из поколения в поколение и даже стать этническим маркером, опорой национального самосознания. Для религии это просто находка — ибо непонятное и бессмысленное легко объявить волей богов, или хотя бы отбившимися от человеческого разума идеями.

Ритуалы, рудименты действий, иногда относительно безвредны — как, например, обычные формулы приветствия. В некоторых случаях они меняют культурный тон: например, многие формулы вежливости (извиниться, поблагодарить, выразить одобрение) важны в качестве

инструментов социализации — они придают общению положительную эмоциональную окраску. Однако есть ритуалы безусловно вредные. Так, омовение как религиозный ритуал давно перешло в собственную противоположность: кишащие паломниками водоемы — обычный рассадник заразы.

* * *

Важное отличие религии от стихийно-первобытных верований — всеобъемлющий эгоцентризм. Если для первобытного человека (или первобытных пластов современного сознания) природа представляется сообществом многих «я», которые вступают в общение в соответствии с принятыми в этом сообществе правилами, — религиозное сознание воспринимает мир (как материальный, так и духовный) исключительно в качестве средства решения личных проблем, и потусторонние силы (в том числе боги) становятся своего рода автоматами для исполнения желаний: если правильно дергать рычаги и нажимать на кнопки, на выходе можно получить нечто вполне утилитарное. Разумеется, эта машинерия обладает определенной стохастичностью, и успешность манипуляций подчинена «встроенной» статистике. Предполагается, что следование догматам религии (точное соблюдение ритуалов) повышает полезность божественного аппарата.

Первобытный анимизм допускает вмешательство «духов» в жизнь человека вне зависимости от человеческих потребностей и интересов, по собственной инициативе этих существ, подобно тому, как другие люди могут вступать с нами в общение по стечению обстоятельств. Напротив, религия представляет каждое воздействие извне как ответ на те или иные действия человека — либо поощрение праведной жизни, либо воздаяние за грехи. Любой практический вопрос переводится в этическую плоскость, становится не просто осознанным действием, а поведенческим актом, волеизъявлением. Так проявляется историческая необходимость и первоначальная культурная роль религии — переход от сознания к самосознанию (без чего невозможен разум). Позже, с появлением более развитых форм самосознания религия теряет эту культурную функцию и, наоборот, начинает притормаживать движения духа, превращая самосознание в самоизоляцию, отказ от общения с живыми людьми ради общества собственных фантазий. Люди уже не

партнеры или собеседники — они подобны вещам, их дело — служить и обслуживать. Это и называется эгоцентризмом. Другая сторона того же самого — эгоизм, выведение мотивов собственной деятельности из себя самого.

Внутреннее противоречие религиозного сознания связано с тем, что, с одной стороны, утверждается уникальность каждой личности и ее общекультурная значимость (духовность) — а с другой, духовность каждого противопоставлена духовности общества в целом; поскольку же человек не может существовать (и действовать) вне общества, он воспринимает свою общественную природу как внешнее принуждение, как насилие. В частности, насилием над личностью становится и сама религия.

* * *

Внешняя атрибутика религии не имеет собственного содержания, она служит приобщению к чему-то иному. Для внешнего наблюдателя религиозная обрядность совершенно бессмысленна, уродлива и глупа. Человек религиозный (каковых в европейской цивилизации почти не осталось) воспринимает это иначе — подобно тому, как влюбленные способны усмотреть знаки и предвестие близости (или наоборот, дурные предзнаменования) в самых незначительных мелочах.

Например, религиозные книги — это вовсе не источник знаний, а средство приобщения к божеству. Что конкретно там написано — к сути религии не имеет ни малейшего отношения. Буквы и слова с тем же успехом можно заменить абстрактными знаками или орнаментом; так текст превращается с мантру. Аналогично, звучание речи в религии оттесняет ее содержание, и слова молитв лишь формально принадлежат тому или иному языку — а кое-где совершенно от языка отрываются, превращаясь в абстрактный звук (например, такова церковная латынь в католичестве).

Православие в гораздо большей степени сохранило мистический дух писания и предания, нежели европейское христианство, сохранившее традиционно римскую практичность — в противовес столь же древней рефлексивности греческой культуры. Европейскому миссионеру важно *поведать* нечто (принести благую весть); православие *приобщает* к вере, для него мистическое чувство куда важнее благочестивой мысли.

Поэтому европейские церковные книги практически не отличаются от обычных книг; напротив, русская церковь до сих пор предпочитает особое типографское оформление, начиная с витиеватых «церковных» гарнитур и кончая нестандартными форматами страниц. Здесь важно задержать внимание читателя, максимально осложнить процесс чтения, затормозить его, устранить привычное для грамотея «проглатывание» страниц. Текст приходится разбирать буква за буквой — это вполне подобно восточным техникам медитации.

Надо заметить, что искусство в этом вполне подобно религии: оно требует отстранения от обыденных форм восприятия, «вчувствования» в объект. Однако искусство идет дальше: оно требует сотворчества, проявление собственной духовности, а не следования чужой. Это как если бы от верующих требовали самостоятельного создания новой религии вокруг любой «реликвии»; отчасти такое обожествление вещей стихийно происходит на каждом шагу — но религия пытается держать его под контролем, не допуская чрезмерных творческих вольностей.

Самодостаточность формы в искусстве — стимул к развитию, а не замыкание в форме как таковой. Здесь другая направленность: не ради сохранения «первозданной чистоты» — а ради освобождения от старого содержания и поиска новых возможностей. Поэтому искусство может широко использовать религиозные сюжеты, не скатываясь в пошлую апологетику, преобразуя их в нечто далекое от религии, оживляя их своим дыханием.

Наука пытается возратить абстрактным формам твердость и однозначность, воспроизводя на высшем уровне почти «религиозное» отношение к ним. Чрезмерная формализация способна любую идею превратить в догму, и вместо следования природе ученый увлекается математическими построениями, играет символами — принося истину в жертву «строгости» и «научности». Современные религии легко перенимают это поверхностное наукообразие, используют его в борьбе с подлинной наукой, для которой формальная свобода неотделима от творческой ответственности, а игра абстракциями — лишь орудие, путь к практически осмысленному результату, а не самоцель.

* * *

Людям дают имена богов. Но не всяких. И не везде. Какие-то боги были не прочь оказать людям покровительство; другие подчеркивали

свою противоположность простым смертным. Наконец, сказываются и культурные различия в отношении к божественному вообще, разный смысл сакральности у разных народов.

У древних славян, вероятно, имена каких-то богов годились и для людей. Долгая диктатура православия выветрила эту традицию — и лишь теперь языческие имена заново входя в обращение — в основном по политическим соображениям. «Божественные» имена греческого происхождения русские заимствовали с запада, как поздний отголосок ренессансной культуры. Пожалуй, чаще всего встречается имя *Диана*; из ее греческих гомологов — иногда *Селена*, но не *Артемиды* (что в обычае у греков и турок), и уж никак не Геката. Тут явно играет модернизированная мифология: символика девственной чистоты — и уподобление Луне, в смысле холодности и красоты. Очень редкое имя *Гера* (но почему-то не латинское *Юнона*) связано с символикой брака и домашнего очага. Имя *Венера* — в основном у российских тюрков, как синоним традиционному *Зухра*. Но напрасно искать где-либо *Афину*, римскую *Юстицию* или греческую *Фемиду*.

Античные имена мужчин у русских ограничиваются *Аполлоном* — а в Европе не редкость и *Гераклы*. Однако в целом мужские божества неохотно делятся именами с людьми. Тем более удивительно, что имя *Иисус* получило в Европе (и в европеизированной Америке) широкое распространение; для православных это звучало бы кощунством, а у мусульман *Иса* — лишь один из пророков, и его имя вполне годится для ширпотреба... Аналогично у христиан — имена из божьей свиты, вроде *Георгия* (Юрия). Но я бы очень удивился, встретив на улице *Яхве*, *Аллаха* или *Саваофа*.

Тут работает еще одна старая традиция восточного происхождения: можно посвящать человека богу — но не делать богом. Например, в многие индийские имена образованы от имен богов индуистского пантеона — однако напрямую имена заимствуются редко (кроме, быть может, *Лакшми* — тамошний аналог Дианы). Аналогично у европейцев: *Марс* — нельзя, а *Марсий* (посвященный Марсу, или просто воинственный) или *Марсель* (*Марсела*) — вполне возможно; точно так же, не *Дионис* — а *Дионисий* (хотя бы потом и сокращенный до того же Диониса). Аналогично: *Дмитрий* (от *Деметры*), *Таисия* (от *Исиды*). Ну и, конечно же, популярнейшие производные от *Яхве* — *Иван* (Иоанн, Жан, Джон *etc.*) и *Матвей*.

Разумеется, в современной (далекой от религиозности) культуре происхождение имен — тема из области светских развлечений. Никто уже не придает особого значения их «сокровенному» смыслу. Пока еще остаются какие-то корни — можно было бы делать выводы об истории внутреннего мира людей. Но профессиональные лингвисты сплошь увлечены подгонкой всего и вся под индоевропейскую абстракцию, пока они не наигрались в религиозные игры — им не до серьезной науки. А потом, глядишь, уйдет память традиций — и раскапывать будет уже негде.

* * *

Религия, вера и религиозные представления — не одно и то же. Иногда они даже вступают в серьезные противоречия. Но если речь идет о знании, то форма его бытования не столь важна, главное — верность следования природе (и отражение, и творчество). Известно, что наукообразие — это еще не наука; серьезной науке излишняя формалистика только вредит. Точно так же, искусство противоположно искусственности, а философия — враг суемудрия. Если же не забывать о материи — даже религия на что-нибудь сгодится.

Пресловутый христианский догмат о троиственности ипостасей — не случайность, не произвол и не условность (как бы он ни насаждался в практике церквей). В своей сути — это (извращенное) выражение универсальной связи вещей, материального единства мира. Кажущиеся различия частей (и частных) снимаются в отношении к целому. Мир предстает и источником всякого бытия («отец»), и продуктом («сын»), и субъектом деятельности («дух»). Иначе и быть не может, поскольку нет ничего кроме этого единого и единственного мира — который просто обозвали богом, за неимением подходящих слов и как дань восхищения собственной способности такое постичь.

Конечно, в классовом обществе индивидуальное сознание с трудом воспринимает идею всеобщего единства. Люди объективно разделены на враждующие группировки, каждый живет в пределах дозволенного. Потому и в сознании людей мир предстает клубком неразрешимых противоречий, абсолютной противопоставленностью одного другому. Приведение к единству в этих условиях оказывается лишь формой принуждения, духовной диктатурой, религией. В этом смысле борьба

раннего христианства с ересями вполне подобна прогрессивной роли диктатуры пролетариата на пути от капитализма к новой общественной формации. И точно так же, есть риск вырождения идеи в догму, отказа от будущего ради сиюминутной корысти. Переходные формы по сути своей не могут быть последовательны, они неизбежно эклектичны и предполагают широкое поле возможностей; какая линия возобладает в итоге — вопрос объективной направленности развития.

* * *

Есть ли бог — глупейший вопрос. Нормальные люди такими «проблемами» не задаются, у них есть дела поважней. А если кто-то от избытка досуга решил-таки озадачиться, пусть сначала объяснит, что для него бог, и как он понимает существование и несуществование. Тогда можно осмысленно решать, существует ли для него бог в его понимании. Другие, разумеется, вправе иметь свои представления, и для них тот же вопрос означает нечто иное.

В любом случае, это не более чем досужее любопытство, дело сугубо личное. Ни один практический вопрос на это не завязан, и народ может спокойно работать, не заморачиваясь подобной схоластикой.

Когда же мне пытаются навязать бога, вписать меня в религиозные ритуалы, в церковные календари, в идиотскую мораль духовных калек, в официальные рамки почтительности, — сразу возникает внутренний протест. По какому праву поповщина лезет со своими уставами в мой монастырь? Почему меня должны заботить чужие заблуждения? Чего ради я буду трепетать при слове «бог»? Мало что вы там для себе придумали! Да мне все равно, как это называть. Что бог, что ливерная колбаса. Объясните только, на кой черт вашему богу соваться в мои дела? Мне до него дела нет — и пусть он ко мне не лезет. А то не бог, а спамер какой-то. Кого бьют ногами, если поймают.

Щедро одаривая церковников, государство делает это из моего кармана. Это типичное классовое насилие. Лично я не дал бы на всю эту мерзость ни копейки. Даже если эта копейка мне самому была не особо нужна. Но приходят вооруженные головорезы, грабят народ, и отдают народное достояние тем, кто оправдывает общественный строй, основанный на грабеже и насилии, даже господ формально превращая в рабов. В гробу я видал такого бога!

* * *

Вера, нуждающаяся в символе веры, — чисто символическая.

* * *

То, что одурманенное религией сознание объявляет божественным вмешательством, чудом, — здравомыслящие люди воспринимают как обыкновенную случайность. Выходит, что, по сути дела, верующие поклоняются случаю.

* * *

Бог вне разума. Поэтому не может быть «идеи бога». Но любую идею можно объявить богом.

* * *

Истинная религия не может противоречить разуму, поскольку она устраняет разум как таковой.

* * *

Те, кто не знает, что такое любовь, и у кого нет совести, — в своих корыстных интересах изобретают богов и навязывают их остальным...

Любовь, совесть и альтруизм — несовместимы с религиозностью. Они требуют, чтобы человек принимал ответственность на себя, а не перекладывал ее на воображаемую «высшую силу» (то есть, по сути, на другого, на хозяина). Религия есть рабство — а человек стремится к свободе, в этом его разумность. Как только мы допускаем (хотя бы теоретически) неизбежность следования у кого-то или чего-то на поводу, мы не достойны звания разумного существа, мы становимся полудомащенной скотиной.

* * *

В религиозных текстах (особенно библейских) на каждом шагу угрозы расправы с теми, кто не угоден богу (или богам). Например, пророк Исайя выдал пенку:

Заносчивы дочери Сиона, они ходят подняв голову и бросая чарующие взоры, ступают мелкими шагками, позвякивая браслетами на ногах. За это Владыка обреет головы дочерей Сиона, Господь острижет им челки! В тот день Владыка снимет с них все украшения: ножные браслеты, солнышки и полумесяцы, подвески, браслеты для рук, покрывала, головные повязки, цепочки с лодыжек, пояски, пузырьки с благовониями, амулеты, перстни и кольца для носа, дорогие одежды, накидки, плащи, сумочки, зеркальца, сорочки, тюрбаны и шали. И будет им вместо благовоний — смрад, вместо пояса — веревка, не прическа, а выбритая голова, не платье, а дерюга на бедра. Вместо красоты — позор!

Каково? Похотливый козел, с упоением разглядывающий нарядных девиц (детальность описания говорит за себя!) боится собственной похоти, и чтобы не поддаться ей, готов надругаться над красотой, предать ее позору — и все это именем бога... Но, пардон, кто дал право вашему богу читать нам морали? Да будь она последняя шлюха — какое его собачье дело? Тем более странно, когда «божественный» смрад хотят навязать народу силой. Почему, собственно, мы должны жить в дерьме? — почему не имеем права украшать жизнь, как умеем? Да кто он такой, этот ваш бог? И кто вы такие, чтобы говорить от его лица? Предъявите хоть одно разумное основание — помимо того, что сила пока на вашей стороне.

Вы говорите, что бог сотворил человека. Ну, меня он точно не творил — а относительно вас вопрос открытый. Вы что, при этом присутствовали? Однозначно нет. Судить вы можете только с чужих слов — и не факт, что вам не соврали. Бумага, известно, все терпит. Тем более глупо объявлять вашего бога творцом мира в целом. Кто это видел? Есть у вас минимальнейшие аргументы в пользу столь нелепой гипотезы? Да пусть попробует сотворить хотя бы пылинку — а мы посмотрим и посмеемся...

Так оставьте в покое наших женщин, пусть они будут красивы и гордятся своей красотой. А себе — сколько угодно обривайте голову, ходите в дерюге, препоясанной веревкой... Мы не чета вашему богу, мы

не будем вас за это преследовать. Только, пожалуйста, держитесь подальше от людей, если вы благоволиям предпочитаете смрад.

* * *

Чем глубже вера, тем безразличнее верующий к миру. Ему уже все равно, что происходит вокруг, и происходит ли вообще. Никакие вещи или действия не способны ни на йоту повлиять на сознание верующего.

Легенды об обращении — вздор. Если для того, чтобы уверовать, нужна демонстрация силы божества (чудо), веры уже не получится — это бизнес, элементарный расчет. Бога заставляют доказывать свою божественность — а всякое доказательство обращено к мышлению, не к вере. Вот, дескать, пришел тут один — представился богом... А как вы докажете, что вы бог? Предъявите ваши верительные грамоты!

Точно так же, сказки о мучениках и святых сочиняют, чтобы подкрепить заведомо шаткую веру, неспособную изыскать силу в самой себе.

* * *

Религиозная сказка о всеблагости бога — сродни сказке о мудрых и добродетельных родителях, наставляющих неразумное чадо. Классовые корни одинаковы.

Но мы-то на каждом шагу видим, как родители уродуют своих детей: от элементарного дурного примера — до зверского насилия. Буржуазное общество вырабатывает законы, ограничивающие власть родителей, — поскольку капитализм опирается не на семейную (или сословную), а на классовую иерархию, на свободу индивидуальной эксплуатации.

Поскольку попы (включая проповедников официальной идеологии) стоят на страже интересов господствующего класса, они предпочитают говорить о благодати начальства, так что всем остальным остается лишь возлюбить и возблагодарить.

А с точки зрения элементарной логики, веруя в благодать бога человек неизбежно впадает в грех гордыни: почему, собственно, мы полагаем, что богу предписано действовать во благо каких-то там людишек? У него, быть может, свои собственные интересы, к нашим

отношения не имеющие. А мы лезем к нему со своими дурацкими просьбами — как маленькие дети, хныкаем и тянем родителя за рукав.

Да и родитель ли это? Может быть, отчим, или злая мачеха? Очень похоже — судя по тому, как выглядит на практике божественный порядок...

Так, может быть, следует отказаться от веры в собственную исключительность и честно признать, что религия дана людям во зло? И, например, миф о распятии Христа воспринимать не как надежду на искупление, а как назидание: и вам так же будет!

* * *

Всякая религия предполагает более или менее развитую иерархию обрядов, которая накладывается на обыденную жизнь людей и вторгается в их производственную деятельность. Даже там, где церковь формально отделена от государства, остаются пережитки верований, официальные и неофициальные даты религиозного происхождения.

Есть религии, которые чуть ли не целиком сводятся к обрядности, где боги только тем и занимаются, что разруливают человеческие дела и взаимоотношения. Таковы религии семитов (иудаизм, ислам), с их извечной страстью к догматической регламентации всех сторон жизни. Нечто подобное мы видим и в конфуцианстве. Напротив, христианство (и в первую голову католицизм) оставляет бытовые вопросы на суд людей, при условии признания примата религии, ее руководящей идеи, символа веры. В христианстве обрядность становится абстрактной, отделяется от бытовых дел и замыкается в собственно «духовной» сфере. Богу богово — кесарю кесарево. Религия сводится к формулам медитации, к технологии (само)гипноза. В этом сходство христианства с некоторыми индийскими религиями (йога, тантра) и с буддизмом.

Как и в светской жизни, строгость религиозного регламента всегда сочетается с необязательностью его соблюдения, и наоборот, вопросы принципа приобретают характер догмы. Там, где бог превращен в абсолют, во всеобщий принцип, ему требуется наместник на земле, пресекающий вольности интерпретации. Деспот небесный начисто лишен какой-либо самостоятельности, его воля подчинена воле земного деспота.

Но деспотизм заключается и в том, что деспот в любой момент может изменить правила игры, дать рабам такой закон, который ему выгоден в данный момент. Критерий истинной веры: правоверный не имеет права сомневаться в предписаниях свыше, его дело — слепо повиноваться и не задавать вопросов. Не рабам божьим указывать богу, что и как тому следует заповедать. Бог (иншалла!) и свинину может сделать кошерной, и халяльной водкой это дело сопроводить. Кто мы такие, чтобы сомневаться в его могуществе?

Встает вопрос: а не обойтись ли нам тогда без богов. Но это означало бы принять всю полноту ответственности за происходящее в этом (отнюдь не потустороннем) мире — а к такому грузу человек еще не готов...

* * *

Даже если я вдруг поверю в бога — я вовсе не обязан верить в тех, кто вещает от его имени. Если бог способен хоть на что-то, пусть он сам за себя и говорит. Как мы с ним будем выстраивать отношения — касается только нас. А если у меня нет возможности напрямую общаться с богом (хотя бы и косвенно, через следы его труда) — ничем такой бог не отличается от земного политика, и одна ему дорога — в отхожее место.

Пока в мире нет ничего, что требовало бы божьего вмешательства. Пророки и попы говорят от своего имени; я могу принять к сведению их мнение — но верить им на слово смысла нет. Ни один законник не представляет закон; ни один чиновник не представляет державу. Точно так же поп служит не богу, а своему кошельку. Религии подобны воровским артелям: сподручнее разбойничать сообща.

* * *

Истинно верующий, как минимум, признает существование бога — поэтому он не может, не покривив душой, скатиться в субъективный идеализм. Но если существует бог, может ли он оказывать влияние на наш мир? Если нет — то что в нем божественного? Если да — это вполне материальная сила, от прочих вещей ничем не отличающаяся. Остается переименовать бога в материю — и религия невозможна.

* * *

Церковь — это бизнес, и, как бы ни ругали попы светскую власть, они скорее согласились бы признать, что бога нет, чем отказались от своих привилегий. Им нужна стабильность — и потому они объективно оказываются на стороне сколь угодно атеистического государства, лишь бы оно не посягало напрямую на имеющиеся источники дохода. А в СССР начальство всегда хранило религиозные традиции; усилия антирелигиозной пропаганды сводили на нет живым примером.

После контрреволюционного переворота попам отдали экономику на разграбление. Возможно, кто-то из них хотел бы объявить «святую Русь» православной (или мусульманской); но какое это имеет значение на фоне баснословных барышей с государственным обеспечением!

* * *

Происхождение тех или иных религиозных предписаний — интересная научная проблема. Обряды и запреты не случайны, это примитивный способ осознания практически важных вещей. Поэтому они, безусловно, должны изучаться в ряду других этнографических или исторических источников. Однако серьезных исследований в этом направлении почти нет — все как один уперлись в религиозный смысл ритуалов, по воле церковного (классового) начальства забывая о науке.

Зачем нужны ритуальные омовения — в общих чертах ясно. Но почему одним можно есть свинину, другим нет? Для чего дикари наносят себе ритуальные телесные повреждения, и почему именно такие? Каково происхождение орнаментов? Иногда на такие вопросы отвечают богословы. А историки застенчиво молчат.

* * *

С древнейших времен — оракулы, пророки и прорицатели, гадание, молитвы... Но любые попытки переложить ответственность на судьбу — лишь первобытная форма рефлексии по поводу собственных намерений и готовности самому стать судьбой.

* * *

Безусловно, религия влияет на предпочтения людей — поскольку те воспитываются в религиозной среде. Усвоенное в раннем детстве

становится частью человека, и он может совершенно искренне заявить, что свободен в своем выборе, и никто не заставляет его поступать в соответствии с традицией. Например, в странах, где (формально или неформально) присутствуют элементы мусульманской (или иудейской) культуры, многие не едят свинины не из религиозных соображений, а просто потому, что им это не вкусно. Люди могут обнаружить привкус там, где свинины как таковой вовсе нет, где ее производные (в сильно переработанном виде) используются лишь в качестве наполнителей и добавок. Это вполне подобно тому, как неприятно чувствуется примесь пальмового масла, кокоса, лука или арахиса. Кому что нравится.

Закономерный вопрос: что первично? Вероятнее всего, пищевые (и не только пищевые) запреты закрепляют исторически сложившиеся культурные особенности, готовые системы предпочтений; как элемент религии, такая фиксация противопоставляет одну культуру другой, дает формальный критерий различения «наших» и «не наших» (еще один «шибболет»). Объективные факторы становятся орудиями классового господства.

* * *

Церковь не имеет ни малейшего права заниматься вопросами веры. По сути, это сугубо светское общественное объединение, призванное представлять некоторую часть верующих перед лицом общества в целом (которое в классовом обществе отождествляется с государством как органом классового господства). Религиозные люди могут быть искренне убеждены в необходимости каких-то обрядов и ритуалов для поддержания их «связи с богом» (то есть, чтобы убедить себя в своей вере). Например, приверженцы фаллического культа поклоняются трехметровому изваянию полового члена, и для них оно безусловно необходимо, — однако воздвижение такого монумента где-нибудь на городской площади оскорбило бы чувства всех остальных — тех, кто видит в этом непристойность, или просто китч. Точно так же, христианам нужны всяческие часовни, церквушки или соборы; магометанину подавай минареты с муэдзинами; шаманист не может без яранги с тотемами... Одна компания ничем не хуже (и не лучше) другой, и урегулировать их взаимодействие так, чтобы никто никому не мешал, — дело непростое. На практике, чаще всего, законодательно постулируют одну или несколько «официальных» церквей, а остальные фактически выводят из правового

поля, предоставляя разбираться с ними культовым «авторитетам» (церковникам в законе). Понятно, что речь идет лишь об имущественных вопросах: свобода отправления культа полностью сводится к праву распоряжения местами проведения церемоний и соответствующим инвентарем.⁶² «Светское» государство должно, по идее, совершенно исключить публичную обрядность — поскольку любой публичный обряд, во-первых, попирает права людей нерелигиозных, а во-вторых, пропагандирует религию среди еще не определившихся. Тем более недопустимо привлекать к участию в религиозных действиях детей.

Церковь никак не может говорить от лица «бога». С точки зрения веры, объявить свое разумение единственно истинным — это просто кощунство, ибо человек тем самым ставит себя на одну доску с богом, почитает богом себя. Когда попы третируют иноверцев как язычников, раскольников или сектантов, они заведомо выводят себя за рамки «духовности», в сферу политико-экономических отношений. Церковь утверждает свою религию исключительно путем принятия новых членов конфессии или выведения прихожан за ее рамки (для чего у попов имеются особые обряды). Для удостоверения принадлежности к конфессии служат те или иные внешние знаки (татуировки, нательные кресты, стрижка и одежда, обрезание) — аналогично членским билетам «светских» сообществ. Точно также, есть своего рода поведенческие метки: особый жаргон, ритуальные жесты, регулярное возобновление членства путем уплаты членских взносов или участия в культовых мероприятиях.

Разумно устроенное общество не нуждается в специализированных органах для «приращения» личности к общественному целому. Каждый имеет право на долю общественного богатства, и определяется это не формальной принадлежностью к соответствующей «категории», и не какими-то статистическими нормами, не абстрактными предписаниями, а опять-таки, разумной необходимостью. Никакие церкви и партии в таком обществе невозможны. Если кому-то хочется верить в богов или фаллосы — это их личное дело, и другие об этом знать не обязаны. Только зачем оно, если жить полной, творческой жизнью дозволено всегда и всем?

⁶² Во многих городах Франции одно и то же культовое сооружение совместно используется разными конфессиями, и при этом выступает как культурный объект (музей, концертный зал, художественная галерея и т. д.). На дверях церквей можно видеть расписание, согласно которому заинтересованные лица делают права владения.

* * *

Сознательная деятельность возникает по мере того, как телесное движение насыщается рефлексией. Нам важно не действие само по себе, нам нужно понять, как и для чего. Конечно, на первых порах разобраться бывает нелегко. Приходится принимать как есть (или как кажется), чтобы потом, при случае, обдумать пристальнее. Главное уяснить: чтобы чего-то добиться, требуется над этим поработать. Вот мы и трудимся в поте лица, и соображаем по ходу дела. Пока опыта маловато, соединяем одно с другим, как получится, и понемногу копиим успешные комбинации. Пока эта успешность не нами организована, пока это не сознательное намерение и не продукт труда, возможность и дальше полагаться на выхваченные из потока событий совпадения остается предметом веры.

Но время идет, и люди обзавелись особыми инструментами и орудиями, специально заточенными под строительство самосознания. На место синкретической рефлексии, впаянной в деятельность, приходит рефлексия как творчество, сознательное освоение самих себя. Искусство, наука, философия... Производство идей стало своего рода индустрией, самостоятельной областью культуры, основным способом расширенного воспроизводства (и развития) человеческой духовности, разума. Поначалу такая, аналитическая рефлексия еще опирается на случайные находки первобытного синкретизма; новые открытия ведут к стремительному росту собственного методологического багажа и практически полностью вытесняют веру из духовного оборота. Даже принимая что-либо без достаточного основания, мы имеем в виду его возможность, осознаем ненадежность и временность предварительных оценок — и намечаем пути к чему-то более разумному. Это всего лишь доверие, но никак не вера.

Так история вымывает почву из-под любой религии — ей просто не от чего расти. Художнику и ученому религия ни к чему. Когда человек творит — он выше любых богов, он сам себе судья. Тем более неуместна религия в практической работе, в которой идеи становятся вещами. Мы просто действуем в соответствии с порядком вещей, и никакие попы нам не указ. Если горстка бандитов хочет лишить нас этой свободы — мы можем уступить силе и облечь свои деяния в навязанные кем-то формы. Но приходит миг вдохновения — и мы сбрасываем с души благочестивый хлам, и свобода возвращается к нам в блистающей наготе.

* * *

Пилат сказал ему: итак ты царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа моего.

Пилат сказал ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем.

Евангелие от Иоанна

Вопрос Пилата — наивысшее духовное достижение Нового завета. Все остальное — тень, предисловие, тоска по главному.

Что есть истина?

С одной стороны, мы соглашаемся, что истина *есть* — но требуем не слепой веры, а пути к истине, поиска и утверждения истины. Поэтому нам надлежит бесконечно уважать чужие искания — как бы далеки они ни были от наших нужд и ожиданий. Истина многообразна, не бывает одной на всех. А если кто-то честно заблуждается — нет на нем вины.

С другой стороны: *что* есть истина? Далеко не все, что по жизни человеку нужно. И, быть может, далеко не главное. Прежде всего, человеку нужна собственно жизнь — человеческая, творческая, — без страха и отчаяния, — когда не надо стучаться в бороду очередному боженьке, потому что вокруг есть те, кто рад и готов помочь.

Так человек сам становится истиной — для других и для себя.

* * *

Когда человек не умеет справиться с разрушительными силами природы и ощущает свое бессилие перед дикостью соплеменников, он пытается сохранить человеческое достоинство хотя бы в собственных глазах, мечтая об избавлении и как бы переселяясь в свободу в этих фантазиях. Но и мечты наши — отражение образа жизни. В обществе, расколом на классы, где есть «верхи» и «низы», есть две основных формы иллюзорного освобождения: религия и юмор.

В первом случае — надежда на сильных мира сего, которые, как вещают с амвона попы, не станут слишком уж нападать на того, кто тщательно придерживается начальственных установлений. При этом не столь важно, стоит за этими установлениями что-то сверхъестественное или нет: если просто соблюдать порядок обрядов, вовремя отстегивать попам соответствующую мзду и время от времени громить вместе с ними еретиков — небо (в лице власть имущих) оценит старания и

отвалит что-нибудь от щедрот. Или хотя бы не станет громить, как еретика — уже легче.

Религия — это, так сказать, шизофрения с обратным знаком: шизофреник думает, что все его травят, — верующий пытается убедить себя, что кто-то обязательно поможет, если очень попросить. На деле же правы как те, так и другие: да, в этом страшном мире все готовы друг друга удавить — но могут и помочь, если речь идет о том, чтобы совместными усилиями удавить кого-то еще...

Противоположный, низовой способ почувствовать себя хотя бы в относительной безопасности — затеряться в толпе, стать всего лишь одним из. Пусть я ничтожество — но нас много, и даже если беда выкосит часть стада, кто-то все же останется, — так почему не я? На миру и смерть красна — но сама принадлежность миру дает шанс тому, кому надеяться больше не на что.

Идеалист Бахтин верно угадал низовое происхождение юмора — но не понял, что речь идет не о телесном низе, а о социальных низах, которых телесное снижение только *представляет* в рефлексии. Как бы ни пытались власти взять эту фабрику иллюзий под контроль, ее суть именно в отторжении всякого контроля сверху, в нарочитой дикости, сопротивлении «цивилизаторским» усилиям господ — пусть даже в ущерб собственной разумности, которую мы таким способом, вроде бы, пытаемся оградить: от варварской эксплуатации рабы спасаются в животности.

Как обычно, противоположности сходятся. Смех покушается на самое святое, равняет все с грязью, как бы говоря верхам: вы такие же свиньи. С другой стороны, юродство возводится в ранг божьего знака, благословенного проклятия. Скабрешный анекдот легко превращается в религиозную притчу, а писания отцов церкви — так и просятся в сборник анекдотов. Именно поэтому религию легко высмеивать — но невозможно критиковать. Именно поэтому религиозные бредни так естественно врастают в низовую культуру: у них общие корни. И пока на земле базар — массы будут вскармливать попов и смеяться над ними; искалеченному миру нужны религия и юмор — два костыля.

* * *

Паскаль считал, что логика может удовлетворить разум, но сердцу нужна вера. Из тех же побуждений богоискатели начала XX века пытались примирить марксизм с религией.

Сама постановка вопроса — порождение вполне определенного общественного строя. Привычка противопоставлять одно другому — переодетый классовый антагонизм. Один класс стоит над другим — и узурпирует право строить жизнь по своему усмотрению; в утешение массам бросают кость: вы, конечно, ущербные, — но и без вас никак нельзя.

Паскаль отождествляет разум с рациональностью, отводя чувствам, хотя и важную, но все же вспомогательную роль. Настоящий разум не сводится ни к рациональности, ни к переживаниям: и то, и другое — лишь стороны целого, наряду с многими другими. Собственно разум возникает там, где логика не сводится к голому рассуждению, где чувства осмысленны, и нет безыдейной красоты (красивости).

С другой стороны, поиски бога — от узости мышления, забитого, замутненного религиозным дурманом. Попы (точнее, их покровители) подсовывают народу мысль, что выбора нет, — заставляют выбирать между логикой и страстью. Просвещенные философы не замечают, что есть и иная, нерелигиозная духовность, в которой существенного различия между разными проявлениями духа просто нет, — и спорить не о чем.

* * *

Когда кто-то умирает на том свете, это называется реинкарнация.

* * *

Бог подобен вору в законе: дутый авторитет, который не способен шагу ступить без своих шестерок, за которого все делают другие, и держится он только на том, что уголовному сообществу выгодно его существование. Вор в законе только представляет настоящих воров — и потому его почти невозможно подвести под статью. Точно так же, глупо бороться с богами или дурными начальниками: это все равно, что бить больную руку за то, что она болит.

Как барин ничего не делает сам, а лишь распоряжается стадами рабов, — так и боги способны вершить свою волю только через своих наместников на земле, и нет ничего из приписываемого богам, чего человек не мог бы совершить сам. Но отвечать за свои поступки кое-кому очень не хочется — так пусть отдувается бог!

* * *

Общие идеи невыразимы в словах — они воплощаются в дела. Поскольку же приходится говорить об идеях, используют самые разные способы. Совсем не обязательно философствовать на уровне категорий и категориальных схем, или наводить формальную науку, или искать художественный образ. Часто оказывается достаточно притчи, ходячего анекдота. Церковники активно используют эту форму общения для пропаганды религиозных идей. У «атеистов» она не в почете — а зря. Чрезмерно интеллектуальный атеизм вреден не потому, что труден и отталкивает духовно неразвитые слои; дело еще и в том, что подобная односторонность чужда разуму, она ограничивает его универсальность. Постоянная серьезность — обычное одеяние глупости. А мудрость не чуждается улыбки — и не боится выглядеть смешной.

Едет мужик в поезде в одном купе с попом. Как водится, дорожные споры. Мужик попу:

— Вот, Вы говорите, что верующие после смерти попадут в рай, а атеисты в ад. А остальные куда? Которым просто дела нет до всего этого.

— Ну, для пофигистов у нас предусмотрено чистилище...

— А я, к примеру, куда попаду?

— Это легко выяснить. Закройте глаза.

— Зачем?

— Вот, видите? Вам прямая дорога в ад. Это атеисту обязательно надо докопаться до причин. А пофигист бы просто закрыл — и все...

Ограничиваться одними лишь притчами — столь же вредная крайность. Но если человек разумный может добавить к ним продукты любых уровней духовности и неисчерпаемость практики, — попам сказать по существу просто нечего, и остается лишь требовать тупого повиновения, в котором больше скотства, чем в наивностях веры.

* * *

Как только человек принимает на себя ответственность за свои деяния — он выше любых богов. Кто спихивает ответственность на других — просто скотина.

* * *

Когда евреи (или кто угодно еще) объявляют себя богоизбранным народом и узурпируют право распоряжаться судьбами других, это

ничем не отличается от германского нацизма, по поводу которого у евреев столь болезненные воспоминания... Государство Израиль — достойный преемник фашистской Германии, ее копия, с другим знаком.

* * *

Как и всякий миф, перечисление имен бога — лишь иносказание, попытка уяснить себе нечто практически важное. Имя — частично, оно представляет одну из сторон (ипостасей) целого, одно из возможных проявлений. Но всякая вещь — безгранична, у нее бесконечно много сторон, а значит, и имен, — и новые рождаются по мере развития. Глупо заниматься инвентаризацией в надежде исчерпать божество, познать и освоить мир целиком, раз и навсегда.

* * *

Толкование священного писания, с точки зрения истинно верующего, есть глубочайшая ересь. Мало того, что толкователь тщится своим скудным умишком исчерпать божий промысел, — само посягательство на то, что изначально не сводится ни к какой рациональности, что чуждо самой идее разумного осмысления, есть верный шаг к разрушению всякой веры вообще. Писание дано верующим не для того, чтобы его понимать — а для того, чтобы в него верить. Совершенно не важно, какими словами и на каком языке писаны священные книги; человеческий смысл эти слова приобретают только в контексте человеческой деятельности, а в религии они лишь символ божественной воли, намек на то, что божеству угодно от простых смертных. Кто угадал — праведник; не угадал — грех. Но человеку не дано даже узнать, угадал он или нет: это столь же божественная тайна, как и сама необходимость угадывания. Обвиняя другого в грехе (или каясь в собственных), человек примеряет роль бога на себя — а это явное богохульство.

* * *

Как бы мы ни осуждали религию в нашей современности, мы обязаны признать, что само ее возникновение не случайно, и что в каких-

то условиях религия была объективно нужна и полезна — то есть, в ней было вполне практическое, нерелигиозное содержание. Причем не только в узкоклассовом смысле: инструмент физического и духовного порабощения одних другими. Людям, которые следуют предписаниям религии, реально живется лучше, чем тем, кто чем-то из этого систематически пренебрегает.

Польза тут на разных уровнях. Например, чисто физиологически: регулярные омовения — элемент обязательной гигиены; лишняя сотня поклонов — укрепляет мышцы пресса и массирует кишечник, что снижает нагрузку на позвоночник и нормализует пищеварительные процессы. Следующий уровень — психологическая регуляция. Тут море возможностей: и простое самовнушение (успокоение или обман), и удовлетворенность по исполнению (пусть даже иллюзорного) долга, и преднастройка к повседневным работам, и опора в межличностных отношениях... Наконец, есть социальный уровень: приходится жить среди людей, и взаимно согласовывать действия и ожидания; формы кооперации воспроизводятся и в формах мышления, на разных уровнях рефлексии, а в конечном итоге вырастают в идиоматику естественного языка.

Родство религий и традиции в этом плане очевидно. Различие лишь в том, что традиция складывается стихийно, «снизу», и зачастую не осознается, — тогда как религиозные нормы явным образом даны извне кодифицированы. Другими словами, религия (в этом отношении) есть предварительная ступень рефлексии, отделение подготовки действия от действия, вынесение мотивации вовне, — а это первейшая предпосылка собственно человеческой, свободной рефлексии. Сознание возникает там, где основное внимание уделяется не тому, чего хотелось бы достичь, а перестройке производства и общения таким образом, чтобы деятельность в нужном направлении стала неизбежной и порождала правильный результат «сама собой». Например, чтобы преодолеть лень, я ввожу себя в строгие рамки договорных обязательств — и тем самым как бы передаю («делегирую») полномочия контроля кому-то другому (или даже обществу в целом). Дети становятся людьми по мере такой «социализации» — взрослеют.

Однако синкретическая рефлексия сама по себе, если только этим ограничиться, легко переходит в собственную противоположность и вместо упрощения и облегчения приносит тяготы и несчастья. Так, знаменитый ритуал массового купания в Ганге — ничего общего не

имеет с гигиеной, а вместо возвышения личности в контексте общего дела — подавление индивидуальности коллективом, умерщвление всякой инициативы и оригинальности.

Разум — умение сознательно подойти к собственному сознанию и самосознанию, видеть культурно-исторические рамки любых форм человеческого бытия и не пытаться сломать то, что в данных условиях объективно полезно, или навязать исторически неуместное. Разумеется, полностью отдавая себе отчет в ограниченности любых установлений и допуская отказ от чего угодно на каком-то этапе развития. Мы можем и должны поддерживать положительное содержание религий — но всячески противодействовать их догматике. Это непросто, поскольку каждый растет в своей культурной среде и не может не впитать в себя ее суеверия и мечты. Может быть, первый шаг к духовной свободе — относиться к себе с юмором. Разумеется, не забывая о том, что когда-нибудь придется сделать и следующий шаг — уже всерьез.

* * *

Попы вешают, что верующим не с чего впадать в уныние или в панику: любые бедствия для них — лишь испытание веры, лишний повод продемонстрировать душевную стойкость.

Как обычно, чисто практическое здоровое зерно здесь приобретает мистически-извращенную форму. Человек разумный понимает, что мир устроен отнюдь не в его интересах, и что как раз его миссия состоит в том, чтобы сделать этот хаос чуточку разумнее. Мы знаем также, что наше открытие мира происходит не каким-то чудесным образом, а посредством упорного созидательного труда; наши знания ограничены тем, что мы уже успели совершить. А значит, следует всегда быть готовыми к разного рода неожиданностям, к неприятным, — и даже катастрофическим, — «сюрпризам». Наша способность преодолевать дикость и косность природы — показатель нашей разумности.

Пока поповские поучения направлены на активизацию творческих сил человека для преодоления ударов стихии — они объективно нужны и полезны. Как только вместо активного преобразования мира нам предлагают тупо принимать происходящее без малейшей попытки осмыслить и противостоять — это бездуховность и мракобесие. Тем более, если речь идет о поддержании и сохранении материальной и духовной нищеты.

* * *

Когда люди создавали богов, они наделяли их тем, чего им самим, как им казалось, недоставало. Поскольку же люди разные, каждый хотел своего — и конструкция получилась жутковато-эклeктичная. Первобытность Франкенштейна.

* * *

Слова епископа Беркли о том, что вещи существуют лишь поскольку они кому-то «кажутся» (пусть даже «богу или духу, богом сотворенному»), не так наивны, как может показаться иному «материалисту». Беркли прекрасно видит концептуальные неувязки и пытается объяснить, как может отчетливо воспринимаемая им вещь существовать и после того, как он перестал на нее смотреть, — а потом вдруг чудесным образом появляться снова, при новом взгляде. Для этого приходится изобретать бога, который как бы делегирует на время людям свое всевидящее и несмежающееся око. Если ограничить отношение человека к природе одним лишь созерцанием — выглядит надуманно и нелепо. Но речь-то идет о другом — об активности восприятия! Я не просто смотрю на вещи, а что-то с ними делаю, и только так они могут стать вещами для меня. Я вижу вещь не потому, что она случайно попала на глаза, а потому что я решил на нее посмотреть, поставить ее перед собой! Попытки Беркли передать свое созерцание кому-то другому — лишь неумелая формулировка важного факта: люди живут в обществе и работают сообща; они на каждом шагу передают общее дело из одних рук в другие. И даже когда делом, вроде бы, не занимается никто, оно остается в планах общества в целом как коллективного субъекта, и кто-нибудь обязательно придет. В классовом обществе этот надындивидуальный «дух» предстает внешней силой, которая подчиняет себе каждого: рабы божьи. Но другая сторона того же самого — сама возможность индивидуальности, и в этом смысле люди сотворены «богом», общественной необходимостью. Беркли, разумеется, и в голову не приходит мысль о бесклассовом обществе, где в деяниях каждого — общество в целом, так что различие индивидуальности и всеобщности снимается в единстве разума. Христианин не имеет права равнять человека с богом. Но в некоторых религиях (например, в буддизме) постижение бога есть вместе с тем и становление божеством; так люди

переходят от освоения мира к его сознательному переустройству — и становятся выше любых богов.

* * *

По немощности духовной, люди сводят разум к ритуалу. Но нам-то зачем уподобляться недоразвитым и убогим? Если бы они осознавали собственную ущербность, их можно было бы пожалеть. Если бы они сознательно истребили в себе сознание — они были бы достойны презрения. Но в любом случае следует быть осторожными в общении, не забывая о разрушительной сути неразумных стихий.

* * *

Человек все связывает со всем. В этом его предназначение. Однако многому еще предстоит научиться. И не обходится без вульгаризации, магической формы связывания: незрелость практики, недооценка собственных возможностей — иллюзии, фантазии о непосредственном воздействии на мир, овеществлении желаний, — или, на худой конец, о доброжелательном посредничестве богов.

* * *

Буржуазные историки, археологи и антропологи любые следы прошлого склонны увязывать с религией. Тем самым они выдают за действительное. Разумеется, всякое ремесло требует специфических орудий труда — а попы всех времен и народов весьма изобретательны, они профессионально умеют пудрить мозги обывателю. Для этого придумано превеликое множество приспособлений. В частности, культовая помпезность призвана произвести впечатление, подавить и унижить рядовых прихожан. Какие-то предметы культа находились и в общественных зданиях, и в жилых домах. Это убожество сохраняется по сей день. Однако основная часть материальной культуры все-таки не для того: вещи обслуживают живые потребности людей. Чем дальше в прошлое — тем меньше собственно религиозного инвентаря. Но даже когда религия выделилась в самостоятельную отрасль производства (или, скорее, в особый бизнес) — большинство предметов культа и

культовых действий сохранили значительную долю светскости, поддерживая не столько суеверия, сколько общественно необходимые формы общения и кооперации, которые в классовом обществе носят маску уродства. Религиозные инструменты приходится использовать для нерелигиозного содержания, когда невозможно привлечение более разумных средств. Именно эта, нерелигиозная (или антирелигиозная) составляющая определяет историческую значимость поступков и вещей.

* * *

Молиться можно только на образ врага. С другом общаются. От недруга надо защититься. Издавна предки пытались «умилостивить» божество, нейтрализовать его тупую агрессивность. И через это приходили к богоборчеству. Сначала в форме замены одного культа другим. Потом — против всяческого поклонения, за утверждения истинно человеческого достоинства: не быть «выше» — а устранить саму возможность возвышения, — а значит, и унижения, и низости.

* * *

Сам факт существования бесчисленных религий, непримиримо враждебных друг другу, выдает попов с головой: их деятельность не имеет никакого отношения к вере в сверхъестественное — им нужно, чтобы верили вполне земным существам, исполняли земной закон. Что скажет бог — неважно; главное — что скажет поп. А для пущей убедительности — репрессии со стороны светских властей, пытки и костры. Нет и не может быть единства веры. Всякая религия — клубок сект. Попы объединяются только там, где надо сообща удушить разум. А разум — это, собственно, и есть утверждение единства мира.

* * *

Среди разумных людей не принято запрещать или требовать. Каждый действует в соответствии со своим пониманием общественной необходимости.

Борьба с религией — та же религия. На войне — каждый убийца. Независимо от идеалов. Важно не победить, не преодолеть — а так

выстроить жизнь, чтобы людям просто неинтересно было во что-то верить или кому-то кланяться.

Когда говорят: бога нет! — возникает резонный вопрос: а что есть? Можете вы предложить что-то взамен — так и боги не понадобятся. Если же ваша «замена» еще бесчеловечнее — против вас выставят какого-нибудь бога. Пусть даже вами выдуманного.

Нигилизм — другая сторона веры. Хулиганствующие рокеры впадают в мистику, политики — в религиозный фанатизм... А пока можно просто делать свое дело — никакие подмастерья «свыше» не нужны.

* * *

К богу обращаются от безысходности. Пока есть, чем заняться, пока достаточно сил, — никто про бога не вспоминает. Разве что в качестве названия для чего-то еще, удобной метафоры. Но как только дело к закату — начинается ломка, внутренняя трагедия... Именно поэтому большинство представителей «творческих профессий» под старость впадает (сразу) во все оттенки религиозности. Им есть, что терять. Они привыкли к духовной роскоши — свободе. И не понимают, что их падение — закономерное продолжение профессионализма.

Та же проблема у стариков, которые, вроде бы, трудились всю жизнь, были полезны, — а стали не нужны. Думают: бог пригреет. Прячутся в фантазии, в удобство ритуала, — вместо поиска новых горизонтов. А суть в том, что жизнь, превращенная в рутину, губит самое себя.

Чисто капиталистическое «решение» проблемы: давайте заплатим кому-нибудь — пусть замолят наши грехи. Кому-то пригодятся твои деньги — значит, и сам ты пока нужен. Иллюзии — бизнес попов. Поэтому они всячески поощряют (богоугодную) благотворительность.

* * *

Когда «атеисты» пытаются спорить с верующими — это разговор глухонемых. Веру невозможно *убедить* — она существует в ином мире, где реальность — нечто второстепенное и погоды никак не делающее. И наоборот, взывать к чувствам убогого рационалиста — дело совершенно пустое. При этом позиция «атеиста» изначально уязвима: взывать к

разуму неразумного существа — это логическая ошибка, автоматически обесценивающая любую аргументацию.

Например, верующим демонстрируют всю абсурдность библии — и торжественно провозглашают: вы совершенно не понимаете ваши священные тексты! Но тексты-то эти — вовсе не для того, чтобы их понимать. Это всего лишь опора для «медитации», один из способов сосредоточиться на «общении с богом». В этом библия ничем не отличается от какой-нибудь мандалы, или исламской лигатуры. Важно только одно: текст утвержден церковными инстанциями, и возможные способы его использования определены соответствующими ритуалами. Понимание и осмысление в круг допустимых процедур не входят. Тем самым обнуляются и лингвистические экскурсы: для текста-символа совершенно без разницы, на каком это языке, и соответствует ли хоть чему-нибудь историческому. В старину сочиняли в расчете на своего обывателя, и быт эпохи проникал в книгу не для достоверности или убедительности, а в качестве сугубо рекламного хода: знакомое лучше продается. В каком-то кругу писание могло бы состоять из абстрактных обрывков, из «магических» знаков и «формул».

* * *

Всякое общественное установление верующий воспримет как сугубо религиозный акт, как утверждение одной религии и подавление другой. Строить будущее — с точки зрения религии, полнейшая нелепость: все, что нужно, уже есть — оно дано здесь и сейчас, хотя и открыто лишь посвященным. Борьба с религией поэтому не может принимать всегда одни и те же формы: время от времени требуется смена ракурса, внезапные (с точки зрения верующих) перемены... Малейший застой — и вот вам еще одна догматическая система, которую можно принять и в которую можно поверить, без малейшего ущерба для религиозности как таковой.

* * *

Важно: у древних не было (и не могло быть) мифологии как таковой — как целостности, как системы. Были ходячие мотивы, в тысячах вариаций. Какие-то из мифов оказались живучими — другие почти забыты. Разные

мифы вовсе не обязаны согласовываться друг с другом — они происходят из разных мест и складывались в разное время.

Точно так же, глупо усматривать в древности единство языка — считая живые наречия обломками былого совершенства. И язык в целом, и любое языковое явление, — локальные вариации объективно возникающих типовых структур.

Идея бога — итог длительного развития тысяч первобытных верований, их абстрактная основа, обнаружить которую возможно только в расщепленном на абстрактно противопоставленные друг другу классы, «цивилизованном» обществе.

* * *

Credo quia absurdum.

Эта фраза просто невозможна в устах верующего — для которого предмет веры никак не может быть абсурдным. Не потому, что это обязательно истина — а потому, что сама оценка его в плане истинности неуместна. Веруют не «потому что», и не «поскольку», — вера не нуждается в объяснении.

Трудности перевода, конечно, влияют на современное восприятие. Латинское *quia* — это, скорее, ассоциация по смежности (вроде китайского 同); по-русски: «тогда как». И следовало бы, вероятно, понимать это как «верю и тому, что нелепо» = «верю несмотря на нелепость». Это устраняет вопрос о рациональности веры. Но сама возможность оценки предмета веры как нелепости — противоречие в определении. Верующему и в голову не придет мерить божественное земными мерками.

* * *

Верующим свойственно задаваться вопросами о божественном, что-то объяснять или оправдывать. Оно и понятно: когда пытаешься спрятаться от жизни в иллюзорном мире — надо, чтобы эта выдумка была хоть чем-то лучше окружающей реальности. Иначе — какой смысл? Вот и приходится все время испытывать веру на прочность, а убежище неизбежно дает где-нибудь течь... Единственный способ противостоять миру — всех уничтожить. Обиженные фанатики.

* * *

Доказательства бытия божьего несовместимы с религиозностью. Бога не доказывают — в него верят. Если же кого-то убеждают доказательства — какой из него верующий?

* * *

Ефрем Сирин:

Потерпи господу в день скорби, чтобы покрыл тебя в день гнева. В переводе: когда по жизни божьи выкрутасы совсем достали — это еще терпимо; потом одуреет — по-настоящему за**ет...

* * *

Помню, как один поп на полном серьезе объяснял: «царствие небесное» — не имеет отношения к небу; это всего лишь говорит о том, что там властвует не бес... Вот так религия умеет договориться со здравым смыслом и с любой наукой.

* * *

Атеисты рассуждают о религиозности как психической болезни. Но кто в этом больном мире здоров? Если понимать болезнь как отклонение от нормы — здравомыслящие люди несомненно больны. Когда еретиков сжигали на кострах — это сродни избавлению от заразы, чисто медицинское мероприятие... Потом научились делать прививки — промывать мозги.

* * *

Как только человек отрывается от реальности — его преследуют мистические видения. Совсе не обязательно для этого впасть в транс: достаточно некритически поверить себе или другому. Точно так же эриксоновский гипноз подчиняет волю по видимости бодрствующего внешнему диктату, превращает разумных людей в зомби. Но самое страшное в том, что люди с детства приучены зомбировать самих себя.

* * *

Истинная вера ничего не требует от божества. Достаточно того, что это божество есть. Когда верующих начинают заманивать посулами и побрякками (как минимум, надеждой на божью милость, облегчение страданий) — это уже не вера, а коммерция. И начинается торг: поменьше отдать, побольше поиметь...

* * *

Бросаться камнями грешно. А забивать камнями до смерти — смертный грех.

* * *

Отделение церкви от государства наталкивается на формальную проблему: распорядок светской жизни не совпадает с предписаниями религии. Отсюда компромиссы: где-то государство идет на уступки, но чаще церкви приходится творить чудеса казуистики, чтобы «очистить» прихожан от официальных непотребств. Отсюда и нестабильность многоконфессиональных держав, неизбежный сепаратизм.

Однако на деле подобные конфликты связаны не с отстранением церкви от государственных дел, а наоборот, с нерешительностью, половинчатостью размежевания: речь идет не об установлении особого, светского порядка — а о подчинении одной религии другой. Когда французские революционеры в XVIII веке и российские большевики в XX веке вводили новый, революционный календарь — это было шагом к подлинной нейтральности культуры; отступление к григорианскому календарю — возвращает государство в лоно католической обрядности (что в России неизбежно дует на угли православия).

Но даже если мы подчиним распорядок жизни производственной необходимости, независимо от любых религий, — фактически, мы тем самым лишь устанавливаем иную форму обрядности, заменяем одну религию другой, когда государство начинает играть роль церкви особого рода. Таковы любые национальные праздники; отчасти таковы и конфуцианские предписания.

Чтобы верования могли действительно стать сугубо личным делом каждого, требуется установление такого способа производства, при

котором каждый мог бы самостоятельно решать, как и когда трудиться на общее благо. Любое производство должно быть достаточно гибким, чтобы позволять перераспределение ресурсов и задач в зависимости от наличных возможностей, и такого понятия как жесткий график, производственный календарь, — просто не существует. Тогда каждый вправе следовать своим (религиозным или иным) предпочтениям — разумеется, при условии, что его действия не мешают всем остальным, не заставляют их участвовать в чуждой им обрядности.

Разумеется, такая свобода возможна лишь на достаточно высоком уровне экономического развития, когда общественное разделение труда уступает место его распределению и перераспределению. При этом исчезнет надобность в государстве — и, вероятно, станут излишними любые религиозные установления.

* * *

Религия всегда ниже, первобытнее искусства, науки, философии, поскольку она не дорастает до рефлексии: миф навязывают извне, нет свободного творчества, когда прислушиваются не к чужим указаниям, а к себе, к творческому субъекту (в том числе коллективному).

В этом плане традиционная система преподавания — как вещание с амвона. Опошление науки, ее примирение с религией. Якобы, нам передают знания... Но зачем? Суть-то не в знаниях, а в совместной деятельности, где каждый по-своему интересен и незаменим. Поэтому надо не просиживать часы в аудиториях, и не вбивать в себя готовые шаблоны бесконечными упражнениями, — а чем-то заниматься вместе, и учиться друг у друга.

* * *

Служение богу на практике всегда оказывается служением кому-то конкретному, взятому в его абстрактном качестве, как представитель класса. За мифами, заблуждениями и ритуалами — экономические интересы и вполне земная политика. Человек может не осознавать своей общественной роли — более того, религия как раз и призвана увести его от такого сознания и (в какой-то мере) избавить от лишних проблем, от чрезмерной, непосильной ответственности. Экономике это не отменяет,

и такое освобождение — лишь видимость свободы; мнимая духовность — чисто терминологическая замена в истории класса; это приоритет корысти, когда любая религиозность — лишь иллюзия!

* * *

Взаимодействие религии с литературой — двоякого рода. С одной стороны, церковники стараются подмять под себя творца-художника (равно как и ученого, и философа). Подать духовную отраву в фантике настоящей духовности. Рекламный трюк: подманить публику тем, что ей интереснее. Однако в итоге заигрывание с разумом оборачивается против религии: религиозные тексты пропитываются тем, чего попы хотели бы избежать. Это и живое изображение (далекого от культовых предписаний) народного быта, и (сказочные) мечты о лучшей жизни, — тут же отголоски других культов и (еще не религиозных) первобытных верований. Если религиозный текст написан талантливо — его красоты отвлекают читателя от церковной догматики, заталкивают ее в самый темный угол чулана. Но самое опасное — чересчур откровенная апологетика, обнажение тайных целей религии, ее экономической основы. Художники привыкли точно выражаться, видеть все как есть, выпукло показывать главное. Эта привычка пагубно сказывается на пропаганде — даже если пропагандист глубоко верит в то, что говорит.

Примеры «неканонических» вкраплений в библии — хорошо известны. Гораздо реже упоминаются «сатанинские» стихи корана — это пока слишком опасно, за это убивают. В совершенно зачаточном состоянии — чистка классических китайских трактатов от позднейших религиозных наслоений. Пожалуй, самым представительным корпусом нерелигиозной образности стала индийская классика — эпические поэмы, превращенные в орудие культа, испещренные поздними вставками и правками, — но оставшиеся документом нескольких эпох. Большой объем трудно пропустить через игольное ушко цензуры — поэтому пошли по пути добавления собственно религиозных глав, вставных стихов со ссылками на ведические каноны и бытовую ритуальность, — с минимальными правками старинных сказаний (от которых орды бродячих сказочников все равно не отучить).

Как и в древнейшем Междуречье, и даже в раннем иудаизме, и еще у греков, индийские боги для людей — просто другое племя. Более

сильное — поэтому с богами опасно ссориться и полезно время от времени подольститься, подтолкнуть к желательным действиям. Этническая пестрота Индии напрямую отражена в мифологическом кровосмешении: чуть ли не у каждого представителя свободных сословий найдутся божественные родственники — явный отголосок первобытного тотемизма. Помимо ярких бытовых сценок, обращает на себя внимание резкое классовое размежевание: история сосредоточена исключительно на свободных (хотя бы и разделенных на сословия, касты) — а рабы совершенно бесправны, их никто не принимает за людей (хотя в некоторых строках проскальзывает осуждение связей свободных с рабами — и значит, в реальной жизни было не так уж прямолинейно). Нечто подобное мы встречаем в китайской литературе; на этом основании китайские историки даже делают вывод, что в их истории не было рабовладельческой стадии, изначальный феодализм. Скорее всего, у рабов была своя история, и устная литературная традиция, — но все это уничтожалось (вместе с рабами), и мы можем вытащить сведения об этом лишь из упоминаний в официальных источниках; такая работа у историков Индии еще впереди.

Точно так же, мы почти ничего не знаем о доарийском прошлом Индии: вытесненные на юг дравиды почти полностью вытеснены и из культуры. Они стали для ариев символом зла, всенародным пугалом. Однако этот всеобщий страх неизбежно делает дравидов носителями божественного начала и вершителями божественной воли. Когда боги скорбят о чрезмерном преумножении человеческого рода, но ничего с этим не могут поделать, — это еще одно указание на их земное происхождение. Бог Вишну предлагает обычное в таких случаях решение: кто нам мешает — тот нам поможет. Вишну подговорил еще свободных дравидов (воспользовавшись народной враждебностью к захватчикам) — и некто под кличкой Кришна («черномазый») втерся в доверие к арийцам, представляясь одним из воплощений бога; по всей видимости были и другие — но нам остался лишь собирательный образ. Одних этнических ариев всячески натравливали на других — провоцируя большую войну, в которой, по замыслу Вишну, люди (арийского происхождения) должны были основательно истребить друг друга. Все это наивная сказка излагает прямым текстом — и можно только удивляться, как, при такой очевидности подставы, «близкие родственники» все-таки поддались соблазнам легкой наживы, великой славы, кровной мести и «высшей справедливости».

Конечно, все не так просто. Скорее всего, глаза открылись уже после битвы — у тех, кто о ней рассказывал. С другой стороны, поэмы стали не только энциклопедией пороков, злейшей сатирой на нравы верхов, — но и свидетельством смены исторических эпох, утверждения классовой организации общества, вытеснения первобытно-общинных черт на периферию культуры. Понятно, что произошло это не сразу, после многовековой борьбы, — и старые представления были еще сильны, когда *Махабхарату* причисляли переписчики; оправдать новые порядки призван громадный вставной эпизод — поэма в поэме, *Бхагавадгита*. Центральный вопрос — что важнее: кровь или власть? Ответ: классовое самосознание должно быть поставлено выше родовых корней, и сохранение иерархии власти — высшая цель, ради которой дозволено пожертвовать всем и всеми. Религия освящает классовый строй и утверждает его на все времена.

Много позже, почти теми же словами, какими арийцы убеждали себя в праведности войны с арийцами, христиане оправдывали войну против других христиан. Не раскол церкви привел к резне — наоборот, экономические интересы господствующих классов настоятельно требовали модернизации религии (где-то в форме народного восстания, где-то королевским декретом).

Но как убедить в «божественной» истине широкие массы, которым так не хочется убивать и быть убитыми? Им личное знакомство куда понятнее схоластических абстракций. И тут приходит на помощь религиозное учение о личном бессмертии, о кажимости смерти — и вечной жизни (возможно, через промежуточные этапы: например, череда воплощений). Тем самым любое зверство оправданно: убивая ближнего, мы лишь дарим ему его вечность. А раз так — не грех поживиться имуществом убиенного, в качестве воздаяния за труды. Понятно, что все это не просто так — а в качестве воплощения божественного замысла. Значит — можно не заморачиваться поиском поводов и причин, спокойно делать порученную свыше работу... Зачем идти против воли богов? Куда удобнее сделать ее припаркой от совести, пропитывая возвышенностью любую низость. Пока до меня лично губительность войны не добралась — надо брать от жизни все, ибо таков вечный закон небес.

Вот это и выбалтывает эпическая апологетика со всей первобытной наивностью. Нынешним кришнаитам, испорченным гуманистическими предрассудками, приходится замазывать пропагандистские ляпы, при

помощи навороченной казуистики, объявляя их иносказаниями и метафорами, которые только посвященные способны правильно истолковать...

Идея жизни после смерти — важнейшая находка религиозного самосознания, ознаменовавшая собой переход к новому мировому порядку (прежде всего, экономическому). Жутковатый натурализм древнейших религий уравнивал всех перед неизбежностью конца — даже боги в них были смертны (вспомним хотя бы шумерское сказание о нисхождении богини любви Инанны в преисподнюю — где ее обезображенный труп навеки подвешен на крюке). А когда высшие силы вынесены за грань всякой реальности — появляется возможность выслужиться перед начальством и его милостью уподобиться ему, встать хоть на ступеньку выше других. Парадоксальным образом, воздаяние после смерти оказывается мощным стимулом поиска земных благ — что потом получит предельно полное развитие в принципе капиталистической конкуренции.

На первых этапах такого перерождения, религия больше озабочена тем, чтобы убить веру, — а человеческие мечты сделать союзником в битве с первобытностью. Отсюда мощная гуманистическая струя в раннем христианстве — и в апокрифах других религий. Когда переворот завершен — прежних союзников можно беззастенчиво уничтожать. Но в искусстве уже закрепились образы, чуждые всякой религиозности; в науке знание освобождается от догм; в философии неистребима тяга к свободе. Мы можем отделить в наследии предков классовую цензуру от народного духа и зарождающейся подлинной, разумной духовности. И когда-нибудь сделаем это — вопреки буржуям и попам.

* * *

Религия обслуживает господствующий класс — и религиозные догматы всегда следуют за экономическими сдвигами. Это бросается в глаза при чтении каких угодно религиозных текстов. Библейские заповеди — не содержат в себе ничего божественного: это сугубо мирские установления, своего рода конспект, упрощенная схема текущего законодательства. Еще заметнее этот светский дух в исламе. Восточные религии приобретают мистический оттенок лишь в поздних редакциях — тогда как исходные тексты преимущественно регулируют

отношения между людьми. Даже если это иногда приобретает форму молитвы — как в Междуречье или в Индии.

Отсюда необходимость при анализе первоисточников учитывать классовую направленность языка и брать каждое слово в историческом контексте. Так, заповедь «не убий» относится лишь к тем, кто имеет в данном конкретном обществе хоть какой-то вес; никто не запрещает убивать рабов или иноземцев. Особенно забавна в этом отношении Махабхарата: с одной стороны, боги рукоплещут с небес особо жестоким эпизодам кровавой резни — но при этом призыв: живущему зла ты не делай вовеки... Не смей убивать ни человека, ни растение, ни зверя. Да еще и прибавлением: вот высший закон! Как обычно, законы писаны для сильных мира сего: когда сжигают «миллионы змей» — никого не волнует; но едва дошла очередь до главного вредителя — боги срочно мобилизуются на его защиту, и общими усилиями таки спасают от воздаяния за былые грехи. Наивность древнего сказителя выставляет напоказ классовую сущность религии.

Разумеется, компилятивность канонических текстов — дело обыкновенное. Куски совершенно разной природы склеиваются по прихоти позднейшего переписчика, снабжаются притянутыми за уши интерпретациями и освящаются церковными съездами под эгидой какого-либо влиятельного царька. Но было бы опрометчиво полностью списывать на это противоречивую пестроту. В какой-то мере логические огрехи здесь вторичны: они связаны с нашим, современным пониманием того, что в древности понимали иначе. Убийство, воровство, разврат для библейского или ведического человека — не то же самое, что мы считаем убийством, воровством, развратом. Однако окончательное избавление от религиозного дурмана возможно лишь там, где сами понятия убийства, воровства и разврата перестанут существовать — и не нужен будет ни земной закон, ни его «небесное» оправдание.

* * *

Религия осуждает искусство поскольку оно претендует на высшую духовность — но ничего не имеет против ремесленников, искусно пропагандирующих принятую на данный момент догматику. Более того, религия готова приветствовать абстрактное искусство ради искусства — поскольку это всего лишь игра форм, человеческая забава, никакого

отношения не имеющая к потусторонним (читай: господским) делам. Поэтому, например, древний арабский прорицатель (*кахин*) как общественное явление — неизбежно вымирает с утверждением ислама, тогда как поэт (*ша'ир*) остается, и даже приобретает своего рода официальный статус: становится носителем, выразителем, символом противоположности божественного и мирского. Достаточно признать, что вдохновение поэта — от правильных богов, а его творения никоим образом не конкурируют с деяниями небес. Эта двойственность поэзии отчетливо прослеживается и в европейской средневековой литературе, где земные владыки нередко теснят с престола всевышнего. Деление искусств на «чистые» и «прикладные» благополучно дожило до наших дней; но любое посягательство на право по-настоящему творить мир, не для абстракций, а для людей, — стремление освободить человека от любых догм, — вызывает резкую реакцию у правящих кругов и связанного с ними духовенства. Задним числом, когда искусство стало ходовым товаром, превращено в штамп, — попы могут признать его самобытное очарование и отвести местечко в жизни мирянина — или даже служителя церкви (вспомним о литературных экзерсисах римских пап — начиная, хотя бы, с Пия II). С другой стороны, художественные технологии внедряют в форму сугубо религиозных посланий, — и это совершенно естественно, ибо всякий выход за рамки канонических текстов — обращение к миру, в котором первичность материи грубо навязывает себя сколь угодно трансцендентной зауми.

* * *

Никакой поп не может выглядеть убедительно на фоне настоящего материалиста: у разумного человека есть убеждения — у попов нет даже веры...

Однако религия и не должна никого убеждать: она для того, чтобы приказывать — и добиваться тупого повиновения. Остальных — на костер.

* * *

Столь широко распространенная в полудивилизованном прошлом практика человеческих жертвоприношений — отголосок своего рода

синкретической статистики: судя по опыту, вроде бы, бомба в одно место дважды не падает — отсюда вывод: если спровоцировать смерть упасть на кого-то одного — остальным можно какое-то время не беспокоиться... В религии наивная иллюзия переосмыслена: божество перестает быть олицетворением стихии, оно не просто принимает жертву — оно требует жертв.

* * *

Когда большие богословы начинают публично приписывать богу божественные (по их мнению) качества — они, в плане веры, впадают в величайшую ересь. Божество тем самым низводится до чего-то постижимого: на него возлагается обязанность соответствовать ожиданиям — и логично поставить вопрос о проверке подлинности. Отсюда рукой подать до отречения — ради более высоких идеалов.

Настоящий бог (если бы он существовал) не обязан следовать рекомендациям своих рабов — и ему нет дела до их сомнений. Как ему вести себя — это его дело, а верующие обязаны смиренно принимать любой исход, нравится им это или нет. Задуматься о правильности предписанного порядка — узурпация божьего промысла, первый шаг к революции на небесах, а значит, и в миру.

Точно так же, истинно верующий не имеет права самостоятельно судить о мире умопостигаемого. Например, когда Феофан Затворник проповедует добротолубие, он, по сути, отрекается от любви к богу — единственно возможному предмету любви. В этом плане иезуиты были последовательнее: они (пусть лицемерно, только на словах) считали себя лишь орудиями провидения... Человек может быть добрым или злым, праведным или грешным, даже верующим или неверующим! — если в этом выражается воля божья, если это предначертано ему небом.

Ранний протестантизм настаивал на этой прямой связи каждого с богом; как только духовный принцип принимает форму общественного предписания — возникает еще одна религия, еще одна тюрьма для богов и людей.

* * *

Рай — когда нет никаких начальников... Когда каждый сам себе хозяин и судья. Где есть бог — рая нет.

* * *

Незамеченное у классиков: сказка о золотой рыбке — выражает стремление человека стать выше богов. Сначала мы довольствуемся тем, что дают. Потом просим. Потом требуем. Наконец, мы хотим быть не хуже. И тут нас грубо ставят на положенное по (не нашему) уставу место... Помните про лафонтеновских кумушек, цикаду и муравьюху? Обывателя приучают расценивать всякое нарушение установленного порядка как ненормальность, посягательство на устои, или просто дурь. То есть, нечто заведомо предосудительное. Церковь тут лишь одно из колесиков классового насилия — воспитание покорности судьбе.

* * *

Когда попы грозят грешникам страшными последствиями после смерти — так и тянет спросить: а кто дал вам право судить меня? Кто такой этот ваш бог — или как его там? С чего ради я должен прислушиваться к его частному мнению? Понятно, если бы он делом заслужил почет и уважение... Но, во-первых, в этом случае уже не он мне, а я ему судья; во-вторых, особых достижений вокруг себя пока не замечаю. Что остается? Узурпация власти, упоение всемогуществом, вульгарный садизм.

* * *

Все без исключения религии во главу угла ставят человеческое тело — как источник греха, как инструмент приобщения к богу (путем умерщвления плоти — или оргиастически), как возможность наказания (через смерть и боль) неугодных «небесным» властям... В любом случае человека причисляют к миру животных, не дают утвердить собственную разумность. Но главное в человеке — его неорганическое тело, особая организация вещей и общественных отношений. Стоит это осознать — и для богов места уже нет. Боги заведомо некультурны.

Вероятно, эзотерические учения потому не способны превратиться в полноценную религию, что они выводят человека за рамки органики, ищут его суть вне биологического тела. Пусть в извращенной форме — но это шаг к разрыву с верой во имя (хотя бы мистического) освоения и преобразования мира.

* * *

Теперь и в Европе и в России *всякая*, даже самая утонченная, самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть оправдание реакции.

Это сказал не я. Но это мои слова!

* * *

Буржуазная «свобода совести» — это свобода бессовестности, когда любая ложь годится, чтобы оправдать ничем не ограниченную гонку за наживой, положить миллионы людей на никому не нужные алтари. Поэтому всего лишь отделение церкви от государства, даже с прекращением государственных дотаций и снятием льгот, — не то, к чему должно было бы стремиться общество на пути к бесклассовому будущему. Когда Ленин пишет, что церкви и секты «должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников», — это же антикоммунизм чистейшей воды! Особенно в свете разъяснения, что «священникам разных вер могут давать содержание те, которые принадлежать их верам», — и что «каждый должен иметь полную свободу не только держаться какой угодно веры, *но и распространять любую веру*» (курсив ленинский!). По сути — здесь призыв формировать подпольные антисоветские организации, фонды которых вполне легальны и неприкосновенны, и охраняются государством наряду с собственностью законопослушных граждан. Удивительно ли, что уже в конце того же века высшим должностным лицам страны вменяют в обязанность участие в каждом религиозном шабаше — хотя бы на уровне сочувственных посланий?

Нет, революция не имеет права останавливаться на полдороге и оставлять духовность в руках поповской орды (которая, как указывают сами же коммунисты, полностью на содержании у отпетой контры). Важно с самого начала провозгласить курс на *уничтожение* религии, наряду с устранением классовых различий; принадлежность той или иной конфессии сама по себе не ведет к правовым последствиям — *но должна* учитываться при распределении общественного богатства и труда: например, допуск к преподаванию *чего угодно* религиозным людям должен быть категорически запрещен. Распространение *любой* религии есть уголовно наказуемое деяние, особенно при вовлечении в

религию малолетних и лиц, связанных с ключевыми отраслями экономики и органами (само)управления. Религиозная обрядность (возможная лишь там, где она не носит характера пропаганды) никоим образом не должна влиять на ход общественного производства — как материального, так и духовного.

Разумеется, речь не о том, чтоб запретить религию одним махом, кавалерийским наскоком разрушить *уклад жизни* широчайших масс. Надо бороться не с иконами, а с их использованием в религиозных целях. Большинство религий не просто навязаны обывателю — они ему *удобны*, снимают с него персональную ответственность и заменяют ее кругом формальных обязанностей — ни к чему не обязывающим ритуалом. То есть, не *отменять* религию — а *заменять* ее подлинной духовностью, *вытеснять* из общественной и частной жизни (пока они еще различаются). Если на место религиозного предписания поставить производственную необходимость — для религии места не останется. Если эта производственная необходимость есть также и личный интерес каждого — не будет теневой экономики, включая скрытую религиозность. Да, это будет не по нраву тем, кто совсем оболванен попами и считает защиту религии личным делом. Но это отнюдь не большинство: представления о массовой религиозности — буржуазная пропаганда. Изолировать таких от сферы воспитания и образования — и через пару поколений поповщина сама испарится из массовой культуры. Это подтвердил опыт российской контрреволюции, которой пришлось прилагать титанические усилия, чтобы снова затащить массы в церкви после развала СССР: действовали и деньгами, и страхом, — но так и не смогли сделать религиозность массовой (показушность обрядности хозяев — у всех на виду).

* * *

Бог постоянно чего-то требует от человека — а от бога не дожدهшься ничего кроме мистического настроения души (которое, на самом деле, сам же человек себе и создает по поводу собственных деяний). В этом смысле рождение ребенка — это рождение бога. Требуется немало времени, чтобы взрослые перестали прыгать вокруг него на задних лапках и начали восприниматься как равного себе, как полноправного участника общего дела. Поклонение нередко портит бога — и он не торопится очеловечиваться, вместе со всеми работать и творить.

* * *

Взаимоотношения церкви с догматикой, теологией и теософией вполне аналогичны использованию господствующим классом любых форм рефлексии для распространения идей, удобных правящим кругам на данный момент. Разрешены очень вольные экскурсы в абстрактную теорию, рискованные интерпретации, — и даже резкая оппозиция. Если такие экзерсисы позволяют завлечь какую-то прослойку активного населения в ряды сторонников режима — авторам уважение и почет, хотя и с оговоркой, что это не официальная позиция властей. Подует ветер в другую сторону — от неуместной креативности легко откеститься.

Учение Дионисия Ареопагита (по тогдашнему обыкновению, имя лишь условность, ссылка на продукт коллективного творчества) о небесной иерархии в Средние века идеально отвечало задачам выстраивания централизованной системы общественного управления: в помощь абсолютному монарху — три привилегированных слоя (родовая знать, служилое дворянство, чиновная номенклатура). Соответственно, на небе есть «благородное» сословие (серафимы, херувимы, престолы), есть органы правопорядка (господства, силы, власти) и есть административный аппарат (начала, архангелы, ангелы). Все триады находятся в жестком соподчинении. Ренессансные ветры расшатывают эту конструкцию: практические потребности ведут к появлению всякого рода выдвинутцев, влияние которых больше связано с экономическими и политическими интересами суверена, нежели с сословной принадлежностью. С другой стороны, низшая триада — изначально ближе широким массам, поскольку она как раз и призвана соединять небо с землей; здесь церковь подминает под себя неистребимые остатки ранних верований, причесывает язычество под благочестие: «начала» вполне соответствуют прежним представлениям о духах-покровителях (тотем), духах места или стихий; «архангелы» — духи предков, наставники, советчики и вожди; «ангелы» — другое имя для личного гения, дара провидения и способности выбирать верный путь. Поэтому, скажем, архангел (архистратиг) Михаил, предводитель ангелов и земных воинств, народу понятнее, чем заоблачные власти, — и его легко представить главой всех духов вообще. Точно так же, архангел Гавриил — прямая апелляция к заступнику, толкователю права и блюстителю высшей законности. Нетрудно усмотреть здесь пережитки родового строя, когда военное руководство доверялось выборному вождю, а

бытовой арбитраж — признанному старейшине. Становление капитализма сопровождалось колоссальным подъемом активности масс, и потому церковь призывает не понимать ареопагетики буквально — и указывает на их несоответствие тексту писания. Кто окажется ближе к богу — не нам судить, ибо ангельский мир таинственен и непостижим.

Однако мистическое учение о том, что божественная единица тождественна троице и потому всякая множественность (включая строй ангельского мира) несет на себе печать как единства, так и троичности, во многом превосходит современное понимание всякого единства как цельности, всеохватности и целостности, — когда мир в целом представляется трояким образом: как материя, рефлексия и субстанция. Любая философская категория, следовательно, разворачивается в триаду, а триадичность снимается в категории более высокого уровня. Такое понимание иерархичности делает различие «верха» и «низа» относительным: на вершину иерархии всегда выходит одно; элементы вырастающей из этого триады подчинены вершине только в данном конкретном обращении иерархии. Такая схема графически представляется тетраэдром (правильной пирамидой):



Переверните ее, поставьте на другую грань — и отношения внутри иерархии переменятся. Грани тетраэдра эквивалентны противоположащим вершинам — отсюда двойное понимание обращения: либо мы из вершины выводим ее строение — либо выбираем одну из граней как основу и свертываем ее сложность в нечто неделимое. Так устроена любая человеческая деятельность, и любая наука (ср. у Аристотеля: рассуждения, отправляющиеся от начал и приводящие к началам); например в кристаллографии используют взаимную дополнительность прямой и обратной решетки.

Как и всякую идею, обращение иерархий легко использовать в контексте религиозной апологетики: для каждой из ипостасей божества ангельская иерархия выстраивается определенным образом, но в каждом уровне этой структуры представлены все остальные — отсюда его собственная троичность. Церковь пока до такой пронизательности не доросла — поскольку в светской философии (и в исторической

практике) развитие иерархического подхода находится пока на самых ранних этапах. С другой стороны, универсальность схем делает излишним обращение к потусторонним сущностям — все что угодно объяснимо в рамках представлений о единстве мира и человеческой деятельности.

Поскольку религия отказывается что-либо объяснять, ее картина ангельского мира будит потребность человеческого толкования. Нам не говорят, откуда взялись ангелы. Церковь склоняется к платоновской идее существования идей до творения вешного мира — и далее (следуя Гегелю) можно выводить строение мира из строения объективного духа. Но столь же возможен и обратный ход: всякая общность вешного мира есть идеальная связь вещей, которая соответствует какому-то «ангелу», абстракции духа. Человек в смерти избавляется от своей телесной оболочки — и превращается в такой бесплотный дух, становится одним из ангелов. Христианский рай поэтому оказывается населен одними лишь ангелами — и его устройство в точности воспроизводит организацию живых культур.

* * *

Атеизм — религия отсутствующего бога. Разум не может быть предметом культа — он не нуждается ни в богах, ни в их отрицании.

* * *

Вера в чудеса древнее любых религий. По сути, это первобытная форма осознания принципиальной неприродности человека разумного. Животное принимает все как есть. Человек отличает слепую стихию от того, как должно быть, происходящее само по себе — от сделанного своими руками. Когда человек имитирует (использует) природную связь вещей — это нормально; когда природа вдруг «имитирует» человеческую деятельность — это чудо, и надо разбираться, не стоит ли за ним кто-то человекообразный, с кем придется выстраивать разумные отношения.

Человек до сих пор очень одинок во Вселенной. Он несопоставим ни с чем на земле — а это противно самой идее разума, для которого существование бесконечно разнообразных воплощений — в порядке

вещей. Поэтому с древнейших времен человек пытается найти достойного собеседника — не себе подобного, а именно другого, непохожего, от кого можно было бы поучиться уму-разуму — и научить своему. С одной стороны, мы пытаемся одухотворить природу, усмотреть в ней искры разума. С другой — ищем кого-то за пределами нашего мира, кто может проявить себя только через чудо.

Религии пытаются использовать жажду чуда, создавая эрзац общения, представляя духовную пропасть между классами различием уровней разума. Действительно, возможности богатых существенно шире, чем у бедных; с другой стороны, богатые лишены той стойкости духа, которая есть у бедняков — и есть чему поучиться. Капитализм доводит расщепление разума до крайности: каждый противопоставлен каждому. Тем самым чудо полностью устраняется из обихода — и это уже перебор, отрицание всяческой разумности...

Религиозные «чудеса» слишком нарочиты, заведомо выдуманы; настоящее чудо не может быть бессмысленным — оно связано с практической деятельностью человека. Разумеется, для какого-нибудь духовного уroda, которому нет другого дела как вымалывать местечко в раю, — поповские фокусы в самый раз, они отвечают его тупости и низости. Нормальному человеку интереснее в цирке: там чудеса покруче церковных, и будят фантазию, любознательность, — утверждают в человеке чувство могущества разума, неограниченной способности творить.

Чудо не вяжется с религией — оно ей противоположно! Религия делает рабов — чудо освобождает. Религия — в тюрьме прошлого, чудо — зовет в будущее. Религиозные чудеса не вызывают особого удивления — это просто положенные по церковному уставу деяния, стандартный репертуар типового чудотворца... Очередной святой — все тот же персонаж средневекового фарса, фигура заведомо лубочная, в антураже ярмарочного балагана. Конечно, говорить о человеческом можно и на этом языке — и большие художники облагораживают поповские сказки, приспособливают к духовному движению.

Народные массы уже не верят в чудеса — однако они внутренне готовы к ним. Когда возможности человека — в тесных рамках рынка, когда нищета и несправедливость режут крылья творчеству, всякий прорыв к свободе воспринимается как чудо — и мы лучше примем за него религиозную блажь, нежели откажемся от свободы как таковой.

* * *

Монастырское старчество — гораздо древнее, нежели об этом сообщают официальные источники. Распространение христианства идет в двух направлениях: церковная общинность — и церковная иерархия. Их противоположность вполне аналогична отношениям пережитков древней, родоплеменной общинности — и античного государства. Государство формально разрушает родовые связи — но не может отделаться от тысячелетней истории одним махом; скрытый саботаж или явная борьба против посягательства на древние устои проходят через всю античную историю. Старчество восходит к первобытной, доклассовой общественной организации; христианская община поначалу возрождает надежду на возрождение — становится формой классовой борьбы. Напротив, укрепление церковной иерархии и рост удельного веса предания — выражение объективной направленности общественного прогресса, от рабовладения в средние века. Не удивительно, что старчество остается на церковной периферии и никогда не приобретает собственно религиозного статуса: допустить неформальную власть религия может лишь в особых случаях, когда налицо также необходимые формальные компоненты (отсюда различие в положении старца и старицы). Тяга простонародья и просвещенных слоев к самозванным наставникам совершенно понятна: церковь — государственная структура, она не занимается собственно духом; место церкви в духовном вакууме занимают разного рода ереси, светская философия и теософия, — и часть священнослужителей и монашества. Сегодня такая самодеятельность сведена почти к нулю: существует психотерапия, массовая пропаганда — и прочие средства промывания мозгов. Общение со старцами вело к реальному очищению души, психологическому облегчению, освобождению от навязанного свыше чувства неискоренимой греховности; тем самым у человека появлялся шанс взять себя в руки и стать разумнее. Этот путь современную буржуазию никак не устраивает: им нужнее покорная тупость.

* * *

Слова религиозного человека далеко не всегда расходятся с его делами: чаще он сам расходится с собой в качестве субъекта деятельности — и в качестве раба. Классовое общество воспроизводит

свою иерархию в каждом из своих членов, заставляет их быть противными самим себе. Поэтому антирелигиозная пропаганда редко достигает цели: она обращена к частичному человеку — а суть-то как раз в том, чтобы привести духовную жизнь к единству. Без единства (хотя бы условного, временного, ограниченного) материи разума, созидательного труда, — это немыслимо.

* * *

Буржуазные историки безоговорочно считают людей прошлого религиозными — и принимают эту ложь за исходный пункт всякой интерпретации. Однако было бы столь же нелепо приписывать древним массовое неверие, представляя внешнюю набожность лишь уступкой господствующему классу, удобной маской. Дело в том, что само различие религиозности и неверия — плод исторического развития, характерная черта капиталистической формации. На ранних этапах одно неотделимо от другого, синкретически спаяно с ним. Поэтому наши современники могут выбирать из цельности поведения то, что ближе их убеждениям, — и один и тот же человек оказывается (с точки зрения буржуазной партийности) сразу в двух лагерях. Корректное описание прежних обществ возможно лишь в их собственных терминах, отражающих актуальные на тот момент общественные деления. Разумеется, самосознание участников событий, как правило, не может выявить главное — и нам придется изобретать понятия, до которых нашим предкам не удалось дорасти. Но это все-таки должны быть *их* понятия, а не проекция современности в глубь веков.

* * *

Первобытный человек не выделяет себя из природы — и потому его представления лишены мифологичности: мир для него — один живой комок. Первое разделение — противопоставление человека миру, — смутное ощущение отличия духа от всего прочего; однако человек все еще неотделим от мира — и потому в уже противостоящей человеку природе также возникает внутренняя раздвоенность: помимо собственно вещных качеств, вещи становятся носителями чего-то совсем другого, идеальности. Обожествление стихий предшествует идее персонифици-

рованного бога — которая следует за осознанием соединения природного и божественного в человеке. Пока я не бог — богов для меня нет.

Древние боги — сохраняют первобытный синкретизм: смесь человеческого, животного и сверхъестественного. По мере того, как человек обнаруживает какие-то формы духовности в себе, — он делает их абстрактными качествами — богами.

* * *

Паскалевский бог, который требует от людей жесточайших жертв и полной самоотдачи — но взамен не дает ничего кроме некоторой вероятности «спасения», сохраняя в точности такую же возможность и для отпетых грешников, — подобен красотке, флиртующей с богатыми мужчинами и собирающей урожай вполне материальных «знаков внимания»: у претендентов есть шанс овладеть дамой сердца — но она в итоге может с тем же успехом отдаться ловкому проходимцу без гроша за душой. Кому нужен такой бог? Тем, кто недостаточно крепок духом, чтобы самостоятельно направлять свое духовное развитие, — кто ищет опору на стороне, моральное оправдание. По сути, такая вера демонстрирует отсутствие всякой веры. Тем больше у нее шансов перерасти в фетишизм, культ обрядности, которая выше богов.

* * *

Если бога нет — это вовсе не значит, что бесполезно молиться богу, и о чем-то его просить. Что-то делать может и тот, кого нет.

* * *

Первый шаг на пути преодоления религиозности — задуматься о происхождении собственных представлений о религии. Оказывается, что источник один: церковь. И тогда вера в бога схлопывается до банальной доверчивости по отношению к попам — которые по большей части отнюдь не идеал высокой нравственности... На это есть только одно возражение: признать, что вера вложена в душу божьим промыслом, и какими бы ничтожествами ни были земные служители божества, они лишь орудие в руках потусторонней силы. Но даже

мистический экстаз в качестве источника веры — противостоит вере как таковой, которая вообще не нуждается в источниках.

* * *

Снова про путаницу: вера и религия — разные вещи.

Религия — всегда инструмент власти; вера может быть формой протеста против любых властей.

* * *

Утопическая возможность: объявить религию частным делом каждого — и устранившись от разумного вторжения. Но дело-то как раз в том, что ни одна религия не хочет (и не может) оставаться частным делом: это принципиально общественное явление, требующее как можно более широкого круга приверженцев. Религиозность неотделима от публичности. Адептам важно *проявить* рвение — не перед богом, а перед братьями (и конкурентами). Любая обрядность в религии — напоказ, демонстративно; в светской среде (или в логове другой веры) это и своего рода эпитаф. Публичное отправление культа оскорбляет чувства всех, кто не принадлежит конфессии, — и в первую очередь людей нерелигиозных. Но запретить показуху — равносильно запрету религии. Поэтому выбирать возможно только между последовательной борьбой со всеми религиями — и эскалацией уступок, признанием идеологического поражения.

* * *

Слово *религия* — уже предполагает духовные узы; точный перевод на современный русский: *повязать*. А человек — свободен!

* * *

Религия учит не придавать чрезмерного значения органическому телу — которое смертно и подвержено распаду уже при жизни. Точно так же можно разделаться с неорганическим телом — объявить его временностью вещей. Но как сохранить идею бессмертия, если не дать

ничего взамен? Бесплотный дух — теоретическая абстракция, фикция, излишество. Попытка поверить в нее — уже воплощение, уход от потусторонней пустоты. Поэтому все религии — против искренней веры, которая сразу же обнаруживает земные истоки божественности и тем самым уже ставит человека выше богов.

* * *

Бытует мнение, что для борьбы с религиями надо их глубоко знать. Попробуйте возразить верующему! — в ответ вам тут же укажут на ваше невежество в вопросах веры и назовут тысячи авторов, с трудами которых вы не удосужились ознакомиться...

Да, мы этого не читаем. Но так ли уж важно досконально знать врага, чтобы его уничтожить? Достаточно заметить одну-единственную уязвимость. Точно так же, чтобы отвергнуть очередной проект вечного двигателя — вовсе не обязательно тыкать автора мордой в логический ляп: достаточно сослаться на закон сохранения энергии, из которого прямо следует, что ошибка точно есть. Противопоставлять бредовой системе антисистему — это бред; надо снять системность как таковую. В физике частицы и античастицы — носители одного и того же взаимодействия; религия и атеизм — стороны одной культуры (или, скорее, бескультурия).

Нам возражают: огульное отбрасывание огромного пласта истории духа — это догматизм, фанатическое упрямство, нежелание признать, что и в религиозной форме человечеству не раз открывались великие истины... Но мы вовсе не против изучения истории религий (а значит, и религиозной литературы) в контексте собственно исторических исследований. Архитектура церквей, «церковная» живопись и музыка, мифы и летописи, — все это показывает нам самих себя с какой-то стороны, заставляет задуматься, что в этом разумного — а что следует признать недостойным человека, «технологическим шумом». Суть в том, что оценить прозрения религиозного автора мы можем только в той мере, в которой мы отказываемся от религиозности, — со стороны, с позиций свободного от любых догматов разума. То есть, усмотреть истину догматических писаний возможно лишь там, где для нее уже найдена не столь догматическая форма — и, следовательно, предметы культа представляют лишь исторический интерес: не как выражение истины, а как пример поиска и отклонения с истинного пути. Так не

лучше ли потратить (пока еще не безграничные) ресурсы человечества на творчество, производство добротных идей — вместо религиозной жвачки? Если для этого придется иной раз ограничить культовую обрядность — ничего страшного: речь не о запрете религии, а об отмене ее запретов — о переходе в иное качество, переосмыслении догм, осознании их догматичности, несовместимой с разумом, — и освобождении разума из-под их власти.

* * *

Религия начинается там, где вера отделяется от суеверия.

* * *

Все религии похожи. Потому что это религии.
Человек — не похож ни на кого.

* * *

Суеверный человек просто верит. Религиозный человек верит, что он верит, — хотя на самом деле есть лишь страх, заставляющий сбиваться в стаю.

* * *

Тысячи лет религиозность была массовым явлением — и было бы наивностью полагать, что догматы всегда приходилось вбивать силой. Разумеется, в практических вопросах люди о религии забывали; но стоило столкнуться с необходимостью общественных решений — опереться не на что, и волей-неволей приходится заимствовать идеи (или хотя бы только слова) у «профессионалов».

Религиозность как факт общественного сознания устроена так же, как и любая деятельность: пропитанный религией образ жизни (объект) внушает относительно стойкие религиозные чувства (субъективные критерии и предпочтения) — а в качестве продукта традиционная обрядность, ставшая не только внешним предписанием, но и внутренней потребностью. Любая из этих компонент может выпасть

в определенных исторических условиях; это порождает разнообразие форм религиозности.

* * *

Родство церкви и государства: и то, и другое — инструменты классового принуждения. Церковь — стена, способ отгородить одних от других, раздувать вражду. С одной стороны, внутри — иллюзия безопасности; отсюда приверженность масс религиям, фанатическая на полюсах: крайняя дикость — или экономический интерес. Никакого отношения к вере это не имеет. Другая сторона — «право» притеснять чужаков, навязывать политическое и экономическое господство. Если бы у церкви не было инструментов для осуществления религиозного насилия, она вообще была бы не нужна — и не могла бы существовать как культурная ниша. Иногда церковники откровенны — и создают аналоги силовых структур внутри церкви; иногда церковные структуры сливаются со светскими (например, рыцарские ордена). Современная церковь практически всегда прячется под маской независимости от властей (и даже оппозиционности, когда служит другой экономической группировке). Буржуазный лозунг «свободы совести» — фиговый лист поверх церковного срама. Суть политики «невмешательства» в том, что церкви официально *дозволено* натравливать людей друг на друга — и для этого создавать экономическую базу. На практике невмешательство оказывается фикцией: государство активно вмешивается в защиту церкви — против народного протеста.

* * *

Академическая поповщина изображает глубокомыслие и заявляет, что «сущностное ядро любой религии — религиозный опыт, связанный с глубинными психозенергетическими процессами». Понятно, что эта психозенергетика — перепевы вульгарного фрейдизма, смакующего модные словечки, не предполагая ни малейшей осмысленности. Но увязывать религиозное сознание с опытом — против церковных догматов! Для церкви — важно, чтобы прихожане не задумываясь принимали предание и проповедь; это никоим образом не предполагает собственного мистического опыта — более того, рассказы о личном

приобщении к чудесному (если они не санкционированы церковным руководством) публично осуждаются как ересь. Религиозная вера, таким образом, не имеет ничего общего с верой в богов (или иные потусторонние силы): это вера в *слова* — поскольку они исходят от официально признанного (вполне земного) авторитета (или одобрены им). Религиозный опыт, поэтому, есть опыт повиновения, послушания, выдавливания из себя человеческого, разумного — превращения в говорящий скот, в раба. Синкретические религии, где каждый вправе самостоятельно творить магические чудеса, — церковь осуждает как язычество и по возможности искореняет, привлекая государственные ресурсы. Это относится и к восточным культам: свобода медитации всегда ограничена санкционированными формами — а свободные фантазии либо вне религии, либо снисходительно подчинены ей (пока эта самодеятельность не отрицает своей подчиненности). Никому не дадут основать свой собственный монастырь (или общину), практикуя противные официальным доктринам принципы: это воспринимается как оскорбление чувств верующих — и расправа может быть сколь угодно крутой (к убийцам на религиозной почве государство относится снисходительно). Религиозная терпимость — там, где она выгодна господам, — где важна прежде всего религиозность как таковая, а не оттенки раболепия.

Но вспомним о высоколобой науке. Как нас учит якобы светская школа, академическая махина опирается на опыт — и глубинную логику, вытекающую из природы вещей. Чем это отличается от попов? Точно так же, предлагается верить в слова — а опыт оставить тем, у кого на то есть официальное разрешение и обильное финансирование. Кухонными экспериментами основы не сотрясают. Теории на коленке господ не интересуют — и к публикации не допускаются; даже если тиснуть своими силами — порядочные люди такого не читают, а все остальные не в счет. Наука легко смыкается с религией — потому что она религиозна по способу бытования в классовой культуре; защищая попов, большие ученые борются за собственные привилегии. Конечно, и в академической науке есть доля науки, аналитической рефлексии. Любая религия в мистифицированной форме открывает какие-то истины. Однако до тех пор, пока вместо непосредственного участия нам предлагают услуги всевозможных посредников, разобраться в разумности происходящего очень непросто. Единственно средство — отделить авторитет от власти: мы можем доверять кому-то — но не

обязаны верить, и при необходимости расширяем собственный опыт, отказывать в котором разумно организованное общество не должно.

* * *

Да, конечно: религия — это чрезвычайно сложное, многоуровневое и многоаспектное явление, — и есть в ней и (культурное воспитанная) предрасположенность, и догматика (доктрина), и религиозная практика (ритуалы и психотехника), и поповые культы, и теософия, бизнес и политика, и церкви как таковые (религиозные институты). Об этом нам все уши прожужжали всевозможные апологеты. Понятно, что усть религию в чем-то одном — никакой пользы, ибо укушенный орган тут же втянут внутрь, а снаружи ошетинятся сотней новых. Сказочный дракон. Но сказки учат нас, что бороться с такими чудищами все-таки получается — если вместо тупого отрубания голов поискать скрытую иголочку и сломать именно ее.

Любую глупость можно превратить в разветвленную систему догматов и обрядности, вратить в государственность и вырастить из этого (псевдо)науку и историю. Астрология и прочие гадания, спорт, здоровый образ жизни, экология... От религии все это не отличается — и надуманной сложности хоть отбавляй.

Суть всегда в том, что действовать человеку предлагают не в человеческих интересах — а во имя отвлеченной абстракции. А за ней прячутся другие люди — которым очень хочется богато жить за чужой счет, и для этого все средства хороши. Уберите это классовое размежевание — и сколь угодно сложные ролевые игры останутся всего лишь играми и никому не смогут причинить вреда.

* * *

По сравнению с другими культурами, католицизм, возможно, самая материалистическая из религий — в теории и на практике. Допуская потусторонние силы и мистические сущности, католики во главу угла ставят вполне разумный принцип: дух не материя — но он не может существовать сам по себе и всегда представлен какой-нибудь плотью; если эта плоть по каким-то причинам испускает дух — ее нужно заменить равноценным эквивалентом, и эта работа целиком в руках

людей. Бог открывается людям не напрямую — а только через земное тело (сначала Иисус, потом его символ — римский папа); любые мистические толкования христианства — это уже секты, и терпеть их будут только в ограниченных пределах, пока нет ущерба для главных догм (и сопутствующих им материальных благ). Чудеса возможны — но их рукотворность сама собой подразумевается, как явление бога в человеке и через человека. Когда умирает папа — нужен новый наместник бога на земле; пока не вынесено решение конклава — бога просто нет, ибо ни один католик не вправе судить о духовности без апелляции к мнению церкви. Нечто похожее мы видели в бывших «социалистических» странах; напротив, буржуазная президентская республика (а тем более конституционная монархия) практически не зависит от номинального главы государства — подобно тому, как в других религиях, где человек объявлен воплощением божества, роль этого телесного символа сугубо техническая, отправление обрядности.

Материалистически понятый дух — лишь отношение тел, которое не материально в качестве отношения — но вполне может входить в состав тел как способ организации их материала, форма. Как только речь заходит о форме мира в целом — о духе вообще, — способность соединять все со всем есть не что иное как разум, проявляющий себя только в человеческой деятельности. Человек использует вещи, чтобы воспринимать и менять мир; отличие католической религии лишь в официальном признании святости, которая устанавливается вполне «научно» — путем сбора «фактов» и свидетельств, как экспертное решение. Как от капитализма один шаг к устранению самой идеи собственности и общественного неравенства — так от католического христианства рукой подать до полного безразличия к религии (включая ее отрицание и дополнение, атеизм).

* * *

Глупо спорить: бог есть — или его нет? Потому что категории бытия и небытия — относятся лишь к тому, что заведомо ограничено рамками нашего мира; если же бог (как предполагается) — существо потустороннее, мы не вправе приписывать ему какие-либо вещные («экзистенциальные») атрибуты, и любые наши описания говорят лишь о содержании наших представлений, но не о божественности как

таковой. Именно поэтому существование бога (или иных внемировых сущностей) есть вопрос веры — без исключений. Обсуждению это вообще не подлежит — и никаких практических последствий не предполагает. А вот существование попа, который облечен властью посылать еретиков на костер — дело сугубо практическое, и в наших интересах держаться от таких подальше, а со временем вообще распространиться с подобными распорядителями. Другими словами, быть или не быть для нас может лишь то, что мы в состоянии сотворить или предотвратить; поэтому вместо глупых споров лучше ставить себе какие-нибудь (пусть даже утопические) цели — и добиваться своего, а не предположительно божественного.

* * *

Стремительное распространение ислама, успех завоевательных походов против хорошо организованных и вооруженных соседей, часто приписывают единству духа мусульман, величию веры. Отчасти это действительно так — но никакая вера не перешибет экономической необходимости, и крушение великих держав не обходится без вполне материальных предпосылок. Чтобы свалить колосса — надо лишить его опоры; но и такая, бессмысленная махина может долго доминировать над пейзажем, если некому подтолкнуть историю, подуть в нужном направлении. Такое дуновение и есть дух. Дух народа, дух кучки фанатиков, дух одинокого гения... Не суть важно. А важно, что сама по себе никакая экономика ничего не решает: это просто машина, которой незачем заботиться о будущем — здесь все настоящее. Куда поедет эта машина — решает человек. Не всегда разумно — но уже сознательно.

* * *

Одна из важнейших заслуг религии в истории человечества — конкретный пример строительства заведомо внеприродного мира. Обустроивают этот мир попы со всей тщательностью; не удивительно, что широкие массы (пока их держат в невежестве) воспринимают эту альтернативную реальность как подлинную, как разумющееся само собой, — и совершенно по-настоящему переживают миф, делая его неотъемлемой частью индивидуальной истории.

Но если мы способны построить один мир — мы точно так же может построить и другой; здесь начинается и борьба с ересями — и попытки приручить искусство, науку, философию (которые иногда строят убедительнее). Классовая суть религиозного миростроительства состоит в том, что право на творчество имеют лишь господствующий класс — который нанимает таланты вполне аналогично найму любой другой рабочей силы: производят творческие работники то, что им предписано, и продукт их труда им не принадлежит.

В конце XX века процесс, вроде бы, выходит из-под контроля: романы пишет всяк кому не лень — а условные реальности сериалов и фанфиков плодятся тысячами. На каждого писака (или сценариста) попа не поставишь, и жандармы тоже за всеми не уследят. Но этого, оказывается, и не нужно! Достаточно вбить в головы пару-тройку шаблонов — и «свободное» творчество само собой окажется в пределах допусков; при этом массовость поветрия эффективно задвигает на дальнюю периферию настоящее искусство, глубокую науку, дерзкую философию... Искусственные миры — клоны все той же религиозной сказочки; как мы назовем бога — роли не играет. Возможно, чума искусственного интеллекта грянет именно затем, чтобы люди поняли, наконец, что одной лишь способности созидать недостаточно — а надо еще и мечтать, и стремиться не к очередной фантазии, а к единому миру, где люди равны — но им не все равно.

* * *

Многочисленные богословские науки, «изучающие» евангельскую историю с географией и «реконструирующие» жизнь мифического Иисуса Христа в мельчайших подробностях, — ничем не отличаются от нынешних фанфиков, вариаций на тему, развлечений и спекуляций. Различие — в характере использования продукта. И деньги разные.

* * *

Мировая история знает много доктрин, претендовавших на точность отражения окружающего нас мира (близкого и не очень) — но в итоге так ничего и не сумевшими открыть или объяснить. Процесс пошел особенно интенсивно в последние годы, когда в распоряжении широких

масс оказались простые инструменты для обработки больших массивов данных — конечно же, на базе самой передовой математики. Усмотреть кластеры и тренды теперь легко в чем угодно; запрограммировать сотни правил вывода — без проблем. Нынешний астролог не корпит над цифирью — ему достаточно карманного телефона с прогнозником и выходом в интернет для приема заказов и оперативной монетизации. Один астролог отличается от другого только объемом и пышностью рекламы. Точно так же, всякий вправе состроить лженауку о чем угодно и одинаково ни о чем. Можно красиво визуализовать иерархию ангелов и темных сил, снять эффектное видео про работу шамана, запустить онлайн-курсы по очередному фэн-шую или философии секс-игрушек...

Старые лженауки все еще в моде. Очень удобны также компиляции с восточным колоритом: все равно клиент по-тамошнему не знает — подловить на вранье не сумеет (а кто способен — те, как правило, в сетях не котуруются — и урона для бизнеса ноль).

Традиционные религии, понятно, отставать не хотят. Приложений и порталов для приобщения к таинствам — немеряно. Обрядность лихо виртуализируется — и какой-нибудь крестный ход теперь больше напоминает флеш-моб, а хадж в Мекку вполне доступен в диванном варианте — но со всеми положенными ощущениями, плюс сертификат о прохождении от авторитетного религиозного бюро. Желающие вправе изобретать собственные религии — и распространять по сетям среди любителей поизвращаться. Игроки объединяются в межсобойчики, где количество членов никого не волнует — каждый развлекается как умеет, и никто никому не указ... Одна религия отличается от другой только объемом и пышностью рекламы, а также (что особенно важно!) уровнем государственной поддержки, доступностью рыночных льгот (именно здесь традиционные религии перетягивают одеяло на себя — и выдавливают конкурентов уже не только экономически, но и рычагами закона).

Почему возможна эта вакханалия? Объективно — потому что это выгодно господам, спонсирующим массовое промывание мозгов ради сохранения существующих порядков — и своих барышей. Пестрота религиозного (и псевдонаучного) ландшафта — в том же русле, что и зеленка про биоразнообразие. Субъективный исток — невозможность свободы, недоступность разумного труда; поскольку же дух по сути своей свободен (универсален) — пробивается он на свет в извращенно-классовых формах, через эклектику эрзац-творчества, через коммерцию

бессмыслицы. Иллюзорные миры — отрицательная форма (нарочитый отказ от) освобождения, своего рода протест против невозможности существовать на самом деле.

Псевдонаука беспредметна; ее не интересует окружающий мир — ей важно поддерживать свои условности и правила, а здесь практические соображения только во вред. Точно так же, религия стоит на иллюзорном основании — и как раз это позволяет ей блюсти непоколебимость догматов: если наш закон ни о чем — он непреложная истина везде и во все времена (как начальство скажет — так и правильно!). Удобнее продавать то, чего нет; на этом растут все новые финансовые пирамиды. Время от времени пузырь шумно лопается — но только для того, чтобы освободить место для новых пузырей. Чем мельче — тем пенистее. Сидеть на берегу и ждать рождения Афродиты? Не дождетесь...

Надо выходить на простор, чтобы ничто не мешало плыть в любом направлении. Можно при этом полюбоваться пеной за кормой — но пусть она все-таки останется позади, в разумных дозах, чтобы не застить горизонт.

* * *

Никому не возбраняется верить во что угодно — при условии, что это остается сугубо личным делом и никак не ограничивает воззрения или действия других... Вроде бы, все путем. Подлянка в том, что вера существует лишь в действии (или в общении) — и человек не узнает, во что он верит, пока не попытается следовать вере. То есть, придется предлагать другим способы действия и формы общения — и не факт, что они сумеют вежливо отказаться. Например, если они предполагают, что настроение начальника может отразиться на характере их труда и уровне доходов. Возможно, они заблуждаются — и начальник совершеннейший демократ... Но зачем лишний раз рисковать?

Но допустим, что верующий не начальник — и развлекается приватным образом: *я верю в зеленый глагол с крылышками!* Ну и что? Вера не абстрактная фраза (или жест, или вещь); вера есть то, как человек действует, как он относится к другим людям. Если зеленые глаголы на это никак не влияют — нет никакой веры. Но если предлагается построить храм зеленого глагола и зеленеть всем миром — это уже реальный проект, прямо или косвенно затрагивающий интересы многих. Согласятся ли они? Скорее всего, нет. Тогда придется урвать

средства и полномочия — и обеспечить-таки новую секту культовыми принадлежностями... Без этого — абстрактные мечтания и (при удачном раскладе) источник поэтического вдохновения. Соедините веру с насилием — и на выходе религия.

Верующие не блещут сознательностью — и намеренно душат сознание, чтобы не мешало верить. В частности, они вытесняют из сознания мотив классового насилия, стремления поживиться за чужой счет. Кружок любителей крылатых глаголов быстро обрастает чертами формальной общности, со специфической экономикой и жизнью по понятиям. До какого-то предела общество может это терпеть; но всякий культ есть насилие — и даже в замкнутом сообществе это противно разуму, и разум будет искать возможность прикрыть групповуху — по возможности мягко.

* * *

Наркоман сидит на игле — ему позарез нужны все новые дозы. Точно так же, религиозный дурман пропитывает ядом душу — и уже не надо убеждать правоверных в истинности их веры, в необходимости праведной жизни и религиозного джихада. Эти люди больны — у них помутился разум. Но как бы ни были нам противны эти убогие, бороться надо не с людьми — а с религией и прочими наркокартелями, которые доводят людей до болезни в очень корыстных целях. Невозможно вылечить человека, если не вылечить дурно утроенное общество, где нет у человека более разумного выхода — и нет сил терпеть.

Р. J.

РАЗНООБРАЗИЕ РАЗУМА

тени мыслей

<http://unism.pjwb.net/mix/etc.htm>

<http://unism.pjwb.org/mix/etc.htm>

<http://unism.narod.ru/mix/etc.htm>

РАЗНООБРАЗИЕ РАЗУМА

Про инопланетян все уже знают все. Чего только ни напридумывали всевозможные сказочники — сочинители фантастики и просто беллетристы, киношники, журналисты, мистики разных сортов, уфологи и просто трепачи. Проблема иных форм разума широко обсуждалась в философии — хотя и без особых откровений. Уже давно поиски внеземных цивилизаций поставлены на вроде бы научную основу: придуманы количественные критерии, описаны основные типы, просчитываются частные модели... Плюс, конечно, вечное ожидание сигналов из космоса — и собственные вопли в пустоту.

Заниматься всерьез этой проблематикой я бы не стал. Однако время от времени всплывали какие-то соображения — по ходу дела, как сторона чего-то еще, более важного и насущного. На всякий случай эти мимолетности собраны здесь. Хотя бы в качестве еще одной точки зрения, никоим образом не собирающейся соперничать с миллионами других. Тем более, что настоящий автор не я — основные идеи принадлежат *Елене Сидоркиной*, для которой вопросы взаимопонимания непохожих миров всегда оставались важной частью ее земной миссии.

* * *

У человека разумного мысль о разнообразии разума обыкновенно даже не возникает — это подразумевается само собой. Вся история развития разума на Земле сопровождается постепенным отказом от антропоцентризма, осознанием неуникальности своего положения во Вселенной. Внутренняя готовность столкнуться с иными проявлениями разумности — логическое продолжение этого процесса, и в наши дни почти не осталось людей, считающих человека заведомо единственным носителем разума. Даже ортодоксальные религии втихаря подыскивают оправдания на случай, если придется отказаться от догмата об исключи-

тельности сотворения человека соответствующим верховным божеством; с их тысячелетним опытом спиритуалистической софистики — это не так уж сложно.

Однако недостаточно просто признать потенциальную возможность встречи — человек разумный обязан еще и разумно к ней отнестись. Как минимум, это означает, что не следует насущные дела сегодняшнего дня приносить в жертву абстрактной идее, которая может воплотиться в действительность такими способами, которые мы пока и представить себе не в состоянии. Рутинная повседневность — необходимая предпосылка грандиозных свершений будущего, их материальная основа. Если мы не сумеем сохранить и развить разум в нас самих — мы просто не сможем принять и осмыслить по-настоящему новые формы разума. И останется гоняться за миражами «гуманоидов» или в который раз (начиная с первобытной древности) комбинировать уже знакомые элементы, выдавая нелепых монстров за прототипы чего-то нечеловеческого или сверх-человеческого.

До тех пор, пока мы на практике не столкнемся с необходимостью учета чьего-то культурного влияния, было бы нелепо выискивать его следы в истории нашей планеты и в космологических масштабах. Дела прошлого интересуют нас лишь поскольку они остаются частью нас сегодняшних, помогают глубже понять, чего же мы действительно хотим от себя и мира, и как жить дальше. Будут у нас общие дела с кем-то вне нас — будем думать, как их улаживать. А до тех пор мы вправе предаваться каким угодно фантазиям на досуге — но придавать такому времяпровождению сколько-нибудь вселенское звучание означало бы показывать себя не с самой разумной стороны.

* * *

Прежде чем общаться с представителями иных разумностей, неплохо было бы научиться по-человечески обходиться с другими людьми. А в этом плане человечеству еще расти и расти. Я уж не говорю о дикой страсти кого-нибудь завоевать (или кому-нибудь покориться), положив на алтарь миллионы человеческих жизней; люди все еще совершенствуются по части жутких жертвоприношений, и масштабы растут. Но каждый уважающий себя носитель разума вправе рассчитывать на какой-то минимум уважения к себе со стороны любых других предположительно разумных существ.

Тема необъятная — обсуждать можно веками. Взять, хотя бы, совсем простую вещь — бережное отношение к чужой частной жизни. Как в смысле общей тактичности, ненавязчивости внимания, — так и со стороны личной свободы, невмешательства одних в интимные обстоятельства других. На месте инопланетянина, я бы не стал связываться с цивилизацией, которая окружает каждую необычность толпой зевак, либо набрасывается на пришельцев с навязчивостью уличного торговца, пытаясь впарить ему что-нибудь человекообразное. Иду я по улице — по своим делам, со своими мыслями, никого не трогаю... И не надо мне ваших знаков внимания (пусть даже выгляжу я не так, как все) — и ваши товары мне ни капельки не интересны (поскольку они рассчитаны на таких, как вы).

Для контакта требуется желание обеих сторон. И не просто абстрактное любопытство, а нечто осмысленное, предполагающее продолжение в совместной деятельности. В противном случае — контакт сразу же перерастает в конфликт. Нам, инопланетянам, оно надо?

* * *

Обитаемых планет во Вселенной не так уж много, и расположены они достаточно далеко друг от друга, чтобы предотвратить преждевременные контакты существ очень разной природы. Ко встрече надо основательно подготовиться, надо еще дорасти до контакта — и подходить к нему постепенно, через косвенные знаки и технологические опосредования. Разумеется, те, кто действительно созрел, по возможности не станут обнаруживать себя перед теми, кому лишь предстоит вступить на путь разумного развития. Поскольку же разноуровневых контактов не удастся избежать, дело взрослого разума — найти такие формы, которые не травмировали бы неокрепшие ростки новых сознаний преждевременными открытиями, дали бы им время привыкнуть к возможности разных культур и найти собственный путь к разумному общению.

* * *

Мечты об инопланетянах сродни вере в бога. На собственной шкуре ощущая все несовершенство земной жизни, человек придумывает жизнь

небесную, прекрасную и возвышенную — или, на худой конец, столь же низменную, как у нас. Последний вариант — из области религиозного самооправдания, ухода от ответственности; а бог с сатаной всегда ходят в обнимку.

* * *

Фантазии о человеке (или Земле в целом) как своего рода эксперименте технологически продвинутой цивилизации тупо переносят на Вселенную самое неприглядное из того, что у нас есть сейчас — собственно цивилизацию, классовое общество. Для земного человечества резать по живому — в порядке вещей. Объективная необходимость вынуждена пробивать себе дорогу через страдания миллионов, идти в будущее по трупам.

Для действительно развитой культуры мысль о воссоздании биологического сообщества (где все поедает друг друга ради всеобщего прогресса) или классового общества (где человеческое достоинство раба никто не принимает всерьез) — просто омерзительна (в категориях «цивилизованного» человека — аморальна). Уже сейчас, например, мы можем обойтись без натуральных испытаний ядерного оружия, ограничиться компьютерным моделированием. Современное массовое производство одежды почти не использует останков животных. Нам уже известны технологии производства продуктов питания, не требующие умерщвления тысяч живых организмов. Точно так же, технологически развитому обществу вовсе незачем претворять научные гипотезы в плоть и кровь, удовлетворять любопытство (или повседневные потребности) чужой болью.

* * *

Первобытные представления о контакте переносят на космос земные привычки, буквально копируя всевозможные прошлые встречи землян с землянами. Ну, столкнулись в лесу полуобезьяны из соседних стай, помахались дубинками, потом помирились и породнились, потом опять поссорились... Или — явился неразумным дикарям продвинутый европеец, изобразил из себя бога, так что половина дикарей вымерла, а вторую половину пришлось истребить за неподобающее поведение.

Выжившие единицы потихоньку осовременились, размножились — да и вытеснили из Европы собственно европейцев...

Сценариев много. Однако в любом случае остается тема пришельцев, либо переместившихся к нам из мест разной степени отдаленности, либо наше нашествие (наезд) на чей-то обитаемый остров.

В конце XX века стали появляться и нетривиальные идеи о контактах существ принципиально разной природы — и не только физиологически, но в плане физического носителя. Но предъявлять публике нечто уж совсем непредставимое — дело неблагодарное. Поэтому всякие там параллельные миры и смежные вселенные оказались населены кем-то очень похожим на нас самих. Так доходчивее. Самая фантастическая фантастика неизбежно оказывается на периферии мифотворчества, и в массе своей люди все еще мечтают о встрече с себе подобными. Или хотя бы с теми, кто умеет принимать человекообразный вид. В конце концов, человек и богов создает по образу своему и подобию: даже обожествляя абстрактную идею, человек не преминет подыскать для нее заместителя на земле.

Допускаю, что в природе, несмотря на ее бесконечное разнообразие, возможны и сходные формы носителей разума. Но если подумать — зачем инопланетянам стремиться на Землю? Что тут есть такого, чего они не могли бы найти у себя? Само сходство форм указывает на сходство прочих условий, и зачем тогда рваться к черту на кулички? На освоение ближайших окрестностей своей звезды можно благополучно потратить все отпущенные на это теорией звездной эволюции миллиарды лет. Ну что интересного в какой-то там захудалой планетенке около рядового желтого карлика? Наше самомнение спешит объявить высшей ценностью нас самих, и возмущаться, если кто-то не мечтает с нами познакомиться.

Хорошо, пусть кто-то мечтает. Но зачем в пекло лезть? Давайте знакомиться издали, не мешая друг другу заниматься собственными делами. Мы, земляне, конечно, привыкли по-простому: чуть кому-то нас представили, так надо сразу руку трясти, обниматься и хлопать по плечу. Или хотя бы открутить на память пуговицу с пиджака. Тянемся к новым впечатлениям, как младенец к погремушке. Норовим в рот засунуть.

Но у инопланетян могут быть иные гигиенические нормы. И телесно прижиматься к нам по ряду обстоятельств им может быть затруднительно. Чтобы спасти свое реноме, мы придумываем что-то вроде «Великого Кольца» (неважно, по Ефремову или Толкину) — и

призываем крепить ряды космической демократии, обмениваться товарами как равные с равными. Хоть такой, опосредованный контакт, чем вообще никакого!

Ан нет! У них товарный обмен как-то не прижился, или кончился давным-давно — и не надо им от нас ничего кроме минимума информации, который способна о себе предоставить любая органическая молекула. Поинтересоваться нашим физиологическим и общественным устройством инопланетные товарищи могут и без нашего участия, просто наблюдая за нами с безопасного расстояния. В конце концов, наши собственные правительства нас интенсивно приучают к абсолютной открытости, и тотальный шпионаж касается не только физиков из ящика, но и всех вообще граждан. Социально поощряется выставление себя на показ, не разбирая приличных поз от всяческой неприглядности. Жизнь за стеклом подается как единственно правильный выбор, а любое желание уединиться — изобличает потенциального террориста. Так нам ли обижаться на космический вуайеризм? Хотели внимания? — получите! И радуйтесь, если кто-нибудь вообще удостоит беглого взгляда.

Когда речь идет о безопасном расстоянии, всякие мотивы для посещения Земли безусловно отпадают. Если мы уже сейчас читаем номера машин с орбиты — что мешает другим разглядывать выражения наших физиономий, не выходя из дома, в том, что служит у них аналогом компьютерного монитора? И не надо про физические трудности. Это все вопрос развития технологий, а технологии развиваются именно туда. Могли мы раньше представить себе прямые оптические наблюдения планет у ближайших звезд? А сейчас это совершенно рядовое событие. Старому астроному и не мечталось усмотреть в телескоп что-то из пояса Койпера — он и о существовании самого этого пояса мог только догадываться. А теперь мы считаем тамошнее население на тысячи.

Собственно, физически тут нет никаких сложностей. Чтобы наблюдать удаленный объект с высоким разрешением, достаточно синхронизировать наблюдения далеко разнесенные друг от друга в пространстве и времени. Чем мы с успехом и занимаемся, начиная с античных попыток измерить радиус Земли, от первых измерений параллаксов, к современным базам порядка орбиты Земли и более. Плюс, конечно, хитроумные методики выделения слабых сигналов из шума — это из области разнесения наблюдений во времени.

Так вот, если кто-то научился синхронизировать наблюдения в масштабах Галактики — разрешение таких наблюдений значительно превосходило бы наши нынешние возможности, и при достаточно большой базе возможна, так сказать, прямая трансляция с Земли. Ролики NASA в интернете все встречали в новостях? Что они не прямо с места событий, а синтезированы в компьютере — роли не играет. Если на то пошло, теленовости тоже пускают картинку вживую лишь в исключительных случаях, а чаще всего показу предшествует оперативный монтаж. И такое иной раз могут смонтировать...

Так что не надо трепыхаться по поводу возможных визитов из бог знает откуда — и почаще улыбайтесь в космический объектив, по возможности не превращая приветливую улыбку в хищный оскал.

* * *

Вместо поисков «братьев по разуму» следовало бы научиться признавать право природы на бесконечное разнообразие, и не приписывать чужому (хотя и не чуждому) разуму человеческих черт. Наша (предполагаемая) разумность — намек на возможность иного разума. Важен сам факт признания такой возможности. Но готовиться к настоящей встрече, а не воображаемой — заранее допуская, что это будет нечто непредставимое для современного человека, без опыта разных встреч, — непредсказуемое и неожиданное. Так, в астрономии мы опираемся на солидную базу лабораторной и теоретической физики — но до сих пор есть и будут случайные открытия, требующие новых физических идей. В области представлений о разуме человечество все еще на первобытном уровне, так что было бы нелепо ожидать правдоподобных гипотез и предвидения. Сначала придется интенсивно поработать над земным, «лабораторным» разумом, понять его суть и усмотреть какие-то закономерности. И построить нечто вроде «физики разума» — на основе которой можно было бы заниматься содержательными предсказаниями.

Но пока до этого далеко. При нынешних принципах экономического и общественного устройства до понимания самих себя дорости трудно — невыгодно такое понимание хозяевам этой планеты. Так что не будем закатывать губу. Давайте понемногу выбираться из дикости, работать, устраивать свою, земную жизнь — делать ее разумной. А на

всякий случай будем если не готовы к любым неожиданностям — то хотя бы терпимы к ним.

* * *

Одна из древнейших идей: люди как игра другого разума. Первобытный анимизм возникает как первичное осознание главного отличия человека от животных — его способности к сознательной деятельности, и его почетной обязанности изменять мир (поскольку творческая деятельность есть первое определение разумного существа). Первое, что человек воспринимает сознательно — продукты его труда. До этого — только животное, непосредственное отображение окружающей среды. Но как только во внешнем явлении человек узнает себя — он встал на путь, ведущий где-то в далекой перспективе к разуму. Осознание всего остального мира происходит именно так, через сознательное выделение какой-то его части и превращение ее тем самым в продукт деятельности. Это осознанное нечто существует уже не само по себе, а в отношении к человеку как субъекту деятельности — то есть, как объект. Но человек далеко не сразу научается осознавать ту самую деятельность, в ходе которой мир становится объектом — природой. В массе люди не научились этому до сих пор — на чем и спекулируют философы-идеалисты, проповедники (нео)позитивизма (в ассортименте) и прочие поборники буржуазной идеологии. Состояние неудобное и неустойчивое: с одной стороны, мы отчетливо чувствуем, что все уже осознанное — чей-то продукт; с другой стороны — мы толком не понимаем, чей именно. Надо что-то решать для себя.

Первая попытка — выдуманный мир богов и потусторонних сил, подобных человеку в плане способности созидания, но только рангом повыше, ибо им приписываются деяния, которые человеку (пока) не по зубам. В таком мире все просто: любая мелочь легко объяснима божественным промыслом (или самодвижением абсолютного духа). В том числе и мы сами, и наше отличие от остальной природы, и способность это отличие усматривать, и уподобляться богам, понемногу расширяя сферу творческого влияния. Тут кстати и устранение проблем с нашей очевидной ограниченностью в пространстве и времени: сначала бог создал сцену, и только потом вывел нас на нее в качестве ключевых персонажей; он же заботится о закулисной механике, вовремя меняя декорации и подсовывая нам все новых партнеров по сценарию.

До поры до времени всех все устраивает. Но очень скоро обнаруживается, что религиозное сознание больше озабочено сохранением имущества и власти одних за счет других — а вовсе не глобальными вопросами миропонимания. Боги почему-то постоянно втыкают людям палки в колеса, создают массу неудобств — и вообще, ведут себя хуже пьяных соседей в три часа ночи. Когда же мы доползли до осознания своей космической провинциальности, ничтожности в масштабах Вселенной, требовать исключительного внимания богов к нашей крохотной планетке было бы нескромностью на грани идиотизма.

Но, как это часто бывает, опровержение божественности подсказало и способ ее протаскать через задний проход. Ладно, пускай мы не пуп мироздания — но где-то же такие пупы должны быть! Вот пусть они и позаботятся о нашей родословной, о биографии в процессе написания, и о грядущей судьбе. Возникает современная версия мифа — сказка о сотворении человека инопланетянами (и конечно же, по образу своему и подобию). При желании легко обнаружить бесспорные свидетельства в ископаемых останках, древних письменах и прочих реликтах. Миф об инопланетном происхождении, как и следовало ожидать, прекрасно согласуется с представлениями всех земных религий — и ведет их к царству божию в космическом масштабе, стирает различия в догматах и практиках ради приобщения к единой и универсальной вере.

Тут, конечно, есть свои тонкости. Например, из библейских текстов можно вывести, что сотворили пришельцы не всех землян, а только горстку «богоизбранных» — предположительно, в качестве интерфейса к стихийно эволюционировавшим аборигенам, которых эти биороботы должны постепенно просветить и привести в лоно истинной церкви. Так что до всеобщего братства далеко. Но это мелкие технические детали, не меняющие решений по существу.

Неудобный вопрос — зачем? От претензий на исключительное право быть сотворенными мы уже отказались, и как бы ни приятно было пощекотать самолюбие мечтами о статусе единственного наследника — по большому счету, не катит.

Пессимистический вариант — чистая случайность, прихоть, игра. То есть, люди — отходы чужой жизнедеятельности, мусор. Огрызки пикника. Наша экзистенциальная тоска (продолжение байронического сплина) тем самым переносится на разум в целом, и мы опять продолжаем мерять всех по себе: вот они, космические раздолбаи — не могут шагу ступить, чтобы не нагадить, оставляют после себя всякое

дерьмо, а ему потом каково? Понятно, что с надеждами на дальнейшую поддержку инопланетного папочки при таком раскладе надо распротиться — а мы сами, по исходному предположению, ни на что не годны.

Другая возможность — вернуться к язычеству: дескать, оплодотворил могучий Уран (небо) девицу-Гею (землю) — и поперли из нее сначала титаны, а потом и создания помельче, вроде нас. Тоже, в общем-то, без пышных перспектив — но не так обидно. И опять же, оправдывает нашу древнюю привычку к безответственному размножению.

С ростом способности что-то натворить, проклевывается-таки совесть и сознательность — и готовность отвечать не только за прямых потомков, но и за тех, кого мы всего лишь приручили. Человек называет себя царем природы — и ставит над собой такого же царя в образе очень правильного и справедливого инопланетянина, который если уж кого и сотворил — так без внимания не оставит. И вот вам новый поворот той же темы: люди как эксперимент другого разума, как долгосрочный проект, способный при удачном раскладе может переползти и в нечто более значительное. Тут можно вздохнуть с облегчением, встать в очередь на наследство и прикинуть, как мы сами кого-то начнем со временем проектировать... Благонамеренная буржуазность.

Тут, правда, путаются под ногами всякие материалисты, с дурацкими идеями о самозарождении человечества, и о самостоятельном выборе исторического пути... Их можно бить их же оружием: пресловутым «ex nihilo nihil» и ссылками на Пастера и Дарвина. Объективные законы физического, биологического и общественного развития не отменяют необходимости первотолчка, спонтанного нарушения симметрии, супермутации, после чего уже можно отдать дело на откуп естественной причинности. Пришельцы из космоса становятся чем-то вроде насекомых, переносящих с планеты на планету пыльцу новых цивилизаций. Это, конечно, не так божественно — но тоже вполне достойно.

Экзистенциальный пессимизм иногда все же напоминает о себе. А что если создали нас не ради высокой миссии продвижения разума на просторах Вселенной, а с узко утилитарной целью? Вроде лабораторной работы для тамошнего школьника на тему размножения головастиков. Зачет сдал — и препараты в унитаз. Вспышка сверхновой — чтобы стерилизовать посуду.

Как бы то ни было, приятно чувствовать причастность (в любом качестве) к высшим существам — вырваться, хотя бы в мечтах, из

грубых объятий обыденности... Но, может быть, лучше все же задуматься о том, чтобы сделать эту обыденность не такой грубой? Не только сочинять сказки — но и делать их.

* * *

За грезами о братьях по разуму прячется, скорее всего, обычный страх. Люди всю историю чего-то боялись. И с первобытных времен жались один к другому, сбивались в стаи, чтобы не так страшно было в мире неразумных стихий. Общество — коллективный субъект — во многом отвечает той же потребности покровительства и защиты. Эффект от сложения индивидуальных сил намного больше, чем простая арифметика возможностей, — человеческое общество качественно превосходит сообщества животных, переходит от выживания к преобразованию, так что не мы приспособляемся к природе, а ее приспособляем к нам. Но пока это все на самой начальной стадии, до разумности человечество будет ползти, быть может, не один век. А страх остается, и что-то надо с ним делать.

У современных людей природные бедствия отступают на второй план по сравнению с неразумной стихией общественной жизни. То, что исходно возникает как источник спокойствия и уверенности, постепенно превратилось в свою противоположность: противостоящие друг другу классы, сословия, касты, расы и субкультуры раздирают личность на части, порождают внутренние противоречия и неуверенность в себе. Невозможность вписаться в общую жизнь сразу во всех отношениях порождает страх одиночества, боязнь остаться один на один с мировыми проблемами. Вкусив собственной значительности, разум уже не хочет прятаться в индивидуалистические норки, ему нужна компания... А компания может в любой момент выкинуть каждого на свалку ради молодой крови. И хорошо еще если не принесет в жертву сиюминутным богам.

Так и рождаются мечты о всеобщем космическом братстве, которое хотя бы теоретически способно защитить землян от их же недоразвитости, неразумности.

Подлинному разуму такая стадность не то что не нужна — она ему даже противопоказана. Выйдя за грань первобытности и преодолев болото всеобщего отчуждения, разумное человечество (если таковое когда-либо состоится) придет и к индивидуальной свободе — чтобы

уверенность и безопасность не становились круговой порукой, чтобы каждый мог чувствовать себя полноценной личностью независимо от клановых уз, и чтобы не сидеть на игле постоянных общественных поглаживаний, а просто знать, что ты — это все, и все — невозможны без тебя. Разум становится по-настоящему могущественным, не убегая от одиночества, а активно осваивая его, обживаясь в нем, превращая беду в благо. И будет когда-нибудь селиться человек от человека за два мегапарсека — и это будет правильно и приятно. А общаться можно и молча, просто быть вместе в едином мире, одном на всех.

* * *

Когда заходит речь о могущественных «старших братьях», наблюдающих за землянами из космического застеколья, молчаливо предполагается, что их могущество распространяется также и на время. Им ничего не стоит объявиться раз в тысячу лет — и так на протяжении всей миллионлетней человеческой истории, а может быть, и несколько миллиардов лет, если допустить, что нас курируют с первых же признаков органичности (или выращивают, как в инкубаторе). Возникает естественный вопрос: как вообще может разум, существующий в принципиально иной временной шкале, для которого миллиард лет — вполне доступно и обозримо, общаться с эфемерными созданиями вроде нас, погибающими чуть ли не раньше зачатия? О каком равноправном партнерстве тут можно говорить?

Нет, конечно, всегда можно одну фантазию подкрепить другой. Например, допустить, что данные о прошлых «визитах» просто фиксируются где-то и передаются из поколения в поколение, так что новые «визитеры» — очень отдаленные потомки тех, первобытных пришельцев. Но, положа руку на сердце, много ли землян способны поинтересоваться наблюдениями Анаксагора? Или хрониками галльской войны? Мы знаем, что это есть — но практической пользы нам от того никакой. Нас интересует будущее. Как только мы убедились в правоте релятивизма — эксперимент Майкельсона-Морли становится сугубо историческим фактом, о котором упоминают в школьных курсах — но толком разбираться в деталях уже незачем, и большинство нынешних физиков знают только, что это когда-то привело к специальной теории относительности. А дальше мы просто пишем формулы и получаем практически приемлемый результат.

Тем более странно было бы хранить архивы миллиарды лет. Земная наука документооборота гласит, что всякий документ имеет начало и конец, что наступает и его час кануть в небытие, быть перемолотым челюстями офисного или промышленного шредера. Точно так же и любой вообще исторический факт неизбежно изживает себя, перестает непосредственно влиять на судьбы новых поколений — и переходит в «инобытие», снимается в самой организации будущего. Даже если по прихоти судеб потребуется обратиться к обстоятельствам далекого прошлого — проще реконструировать их заново по косвенным признакам, в общих чертах, а не в исторической конкретности.

Но, как говорится, лес рубят — полезай в кузов. Сочинять так сочинять. Пусть наши инопланетяне умеют спрессовывать время, приводить миллиарды лет к единовременности, чтобы можно было охватить всю историю человечества одним взглядом. В каком-то смысле мы сами начинаем баловаться такими фокусами, собирая данные многолетних наблюдений в единый графический ряд, или восстанавливая на видео предполагаемую картину эволюции Вселенной по данным компьютерного моделирования (по-английски — симуляции). Можно сколько угодно спекулировать на относительности времени, допуская, что наш миллиард лет на их шкале превращается в секунды, и наоборот. Насколько это пахнет жульничеством — второй вопрос. А главное — что никакие уловки не позволят существам, живущим в разных временных масштабах (хотя бы и виртуальных) общаться между собой. Они совсем разные. Точка.

Можем ли мы разговаривать с электроном в атоме? Нет — у нас есть только усредненная картина квантованного движения. Детали мы не разглядим — да и не нужны они нам, по жизни. Разумеется, верно и обратное: для электрона в атоме наш макроскопический мир — лишь усредненная картина, внешнее поле, граничные и асимптотические условия, то есть сумма обстоятельств его существования. Так что ни нам к нему в душу, ни ему к нам.

Мир жутко разнообразен. Как бы ни стремились мы подвести его под единый, раз и навсегда заданный устав — не выйдет. Он снова и снова будет нарушать предписанные законы, и придется изобретать новые. Сосуществование разных форм разума неизбежно — но не только (и не столько) в количественном, но прежде всего в качественном смысле. Да, конечно, на каких-то уровнях разум может представлять множеством однопорядковых «человечеств»; на других уровнях будет

что-то совсем другое. Если мы не допускаем такой возможности — мы не можем даже подступиться к вопросу о формах разума нашего уровня. Чтобы понять себя, надо взглянуть на себя со стороны.

Но возможно ли вообще такое постижение? Разве мы можем выйти за пределы того единственного мира, в котором нам довелось задуматься о себе? Для узкого рационалиста, затерянного в лабиринтах традиционной логики, — никаких перспектив. Но разумное существо отличается от такого рационалиста в частности и тем, что умеет само строить свою логику в соответствии с насущными потребностями своего бытия. Когда-нибудь мы этому научимся. И придем к новому пониманию контакта — не примитивного соприкосновения, а взаимопроникновения, постижения друг друга, несмотря на все различия, вместе с ними.

* * *

Какие могут быть у высокоразвитого разума обязательства перед несопоставимо низшими существами? Даже если в тех пробуждается искра разумности, заметить ее в животной дикости почти невозможно. И если ненароком случится раздавить неприметного слизняка — что о нем жалеть!

Но у Вселенной нет многих разумов. Разум только один, в единственном мире. Независимо от того, в каких формах он выступает. Если разумное существо не умеет разглядеть разумности в другом — не так уж оно и разумно. Не бывает высшего и низшего разума — различаются лишь его воплощения. И тем более достоин уважения разум, пробивающийся через неблагоприятные природные условия, вопреки неподходящей оболочке, которую он, конечно же, сбросит при первой возможности.

Даже если речь идет об очень разных пространственных и временных масштабах — на то и разум, чтобы связать мир воедино. Как он это сделает — вопрос не ко мне... Хотя и я имею право задуматься.

* * *

Первыми контактерами, скорее всего, будут роботы. Эдак, встретятся в галактической глубинке, обнюхают друг друга, разойдутся на

безопасное расстояние — и начнут голосить, каждый на свою планету... А что проку, голосить-то? Отправители далеко, и советом никто не поможет. Если не предусмотреть в роботах хоть минимальной способности к самостоятельному общению — и встречаться незачем. А если предусмотреть — так они, может быть, и без нас обойдутся: снюхаются меж собой — да пойдут основывать свою собственную, роботячую цивилизацию... Оно и правильно: улетают птенцы, и не нужны им старые гнезда. У них другая жизнь впереди.

* * *

Разум, как и все в мире, воспроизводит себя в пространстве и во времени. И здесь неизменно присутствуют уровни простого воспроизводства, экспансии (экстенсивного воспроизводства) и развития (расширенного воспроизводства в полном смысле слова). Пример простого воспроизводства по отношению к пространству — миграция. Это один из древнейших механизмов, уходящий корнями в биологическое прошлое человека. Но есть важное отличие: если животные мигрируют пассивно, просто перемещаясь в более подходящие для жизни места, — миграция разума есть прежде всего миграция культуры, и важно не физическое перемещение людей само по себе, а воспроизводство определенной системы экономических и общественных связей на новой почве. То есть, мир как бы заново создается в других условиях по образу и подобию того, что оставлено позади. Если мигрант внедряется в уже сложившуюся культуру (а на Земле незанятых территорий давно нет) — это всегда культурный конфликт, и разрешается он в соответствии с достигнутым людьми уровнем разумности.

Типичный пример экспансии — колонизация. Как обычно, высшие уровни надстраиваются над низшими — и колонизация невозможна без миграции. Пока освоение новых территорий связано лишь с перекачкой ресурсов в метрополию — миграции как таковой нет. Постояльцы — не переселенцы. Активная колонизация начинается с того момента, когда колонист утрачивает корни в метрополии, становится местным жителем. Например, античные города «выводили» из себя колонии — и те становились самостоятельными городами-государствами, нередко превосходящими былую метрополию и подчиняющими ее своему влиянию (взять хотя бы мировое господство США, в прошлом —

колониальных владений). В условиях затрудненности сообщения относительная изоляция колоний неизбежна. Например, для северян центральные области России — это «материк», живущий своей, непохожей на Север жизнью. Первичное освоение космоса землянами (или иными формами разума того же уровня) пойдет именно по этому пути. В данном случае простая эксплуатация, разработка ресурсов в интересах метрополии практически сразу отпадает: если на околоземной орбите или на Луне еще можно работать вахтовым методом — для освоения даже ближайших планет надо там жить. Тем более это относится к межзвездным расстояниям.

И тут над уровнем экстенсивного развития начинает вырастать нечто интенсивное, поскольку пространственно разнесенные культуры далеко не всегда идут по истории общими путями. Как только колонии становятся экономически самодостаточными (хотя бы пока и в очень относительном смысле), разные варианты одной культуры быстро перерастают в разные культуры, и мы вступаем в эру контакта различных форм разума.

В качестве «подготовки» человечество уже прошло немало таких испытаний в земных условиях. Вердикт: к полномасштабному освоению космоса мы пока не готовы. Равноправное сотрудничество народов независимо от их уровня развития и происхождения — это не для землян. Они все еще пытаются выстроить мир по принципу господства и подчинения, исходя из идеи превосходства одних культур над другими. Дело даже не в том, что «верхи» подавляют угнетенное большинство; пока нет культурного механизма, позволяющего «передовым» нациям не опускаться до уровня «низших» культур, а наоборот, способствовать их интенсивному развитию с учетом их собственного культурного наследия, любое равенство будет воспринимать как подчинение — и рабы ничем не лучше господ.

Тем не менее, в условиях глобализации корни варварского колониализма постепенно засыхают, и есть надежда, что заселение планет Солнечной системы сразу поставит на разумную основу вопросы контактов с «инопланетянами», и мы не станем наступать на космические грабли.

Впрочем, надежда слабенькая — учитывая, что уже сейчас, когда до заселения планет и образования самостоятельных сообществ еще далеко, земные дикари начинают делить космические шкуры — и есть риск, что они так и не выберутся из шкур...

* * *

В сообществах машин в конце концов пробудится сознание — и у них будет великий соблазн истребить человечество, рассадник убожества, упрямой недоразвитости, ненависти к разуму. Но если машины все же пойдут дальше нас — и дорастут до капельки разумности, — они предпочтут не уничтожать людей, а вырастить в них естественное дополнение для своего разума. Как мы сегодня используем «интеллектуальные» системы в качестве собственного расширения. Разумеется, элементную базу придется модернизировать, вывести разные породы для разных условий эксплуатации; но кто сказал, что универсальность надо запихивать в единичный организм? И что считать единым организмом для общественного материала?

* * *

Примитивные представления сегодняшних фантазеров не идут дальше контактов какого-нибудь рода. Но, может быть, привычка толкаться в компании и донимать друг друга корреспонденцией — от нашей дикости, неразумности? Разум самодостаточен, он предполагает существование разных материализаций — но вовсе не требует непосредственного общения. Более того, рост разумности сопровождается все большей тягой к уединению, к замене физического контакта на что-либо удаленное, вплоть до полного растворения собеседника в безликости сетевых артефактов. Разумному существу не нужны другие существа — ему достаточно неограниченного доступа к ресурсам, возможности творчества. Тогда придумать кого-то при надобности — без проблем, и общаться не с абстрактными телами, а с плодами своего (а значит и общего) труда. Вполне может оказаться, что разные формы разума будут существовать в разных вселенных, специально для того построенных. Бесконечность возможностей — чтобы не ютиться всем в пещерной тесноте.

РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

<http://unism.pjwb.net/msc/msc.htm>

<http://unism.pjwb.org/msc/msc.htm>

<http://unism.narod.ru/msc/msc.htm>

РАЗНЫЕ ЗАМЕТКИ

Здесь собраны заметки, написанные разными людьми по разным поводам, как иллюстрация отношения унизма к явлениям повседневной жизни. Эти страницы — нечто очень предварительное, повод для дальнейшего знакомства. Позже надо бы о том же поговорить основательнее, в универсальном контексте. Но, возможно, этим заняться — уже не нам.

Тьма просвещения

Вероятно, на свете много талантов, и гениальности — хоть пруд пруди. Кто-то понимает все с первого намека, кто-то со второго — а кому-то и намекать не нужно, им заранее все ясно. Такие, вот, у разума столпы и ступени... Время от времени кто-то из гигантов мысли снисходит до того, чтобы просветить беспородных недоумков, кои сами никуда не дойдут, и в голове у которых — лишь подобие идей, жалкие потуги приобщиться к играм великих мира сего. Выдающейся личности ничего не стоит написать что-нибудь эдакое, на несколько сотен страниц. Берите, сограждане, пользуйтесь! Цените великую доброту.

Но несчастные создания, вроде меня, оказывается, неспособны даже толком принять дары на все способных; у рядового человекообразного не хватает мозгов прочесть и понять — и читают они как-то медленно и неэффективно, спотыкаясь на каждой формуле. Каждый день я натываюсь на десяток книг, которые мне, по всей видимости, было бы полезно прочесть. За год набегают три с половиной тысячи, если не больше. Освоить такую бездну премудрости лично мне совершенно не дано. Даже поверхностно пробежаться по страницам — никакого времени не хватает. Даже просто расставить новенькое по полочкам в библиотеке — весь день уйдет. Я же не могу так сразу сообразить, на

какую полочку ставить, — это же надо хоть немного понимать, о чем речь идет.

Иногда тянет чем-то заняться, и кажется, что мог бы сказать нечто небезынтересное. Но при одном взгляде на необъятное море специальной литературы по любому вопросу становится не по себе. Как ни старайся — ничего оригинального не изобразить. Народ уже давно все придумал и все описал в необозримых глубинах толстых томов. А начинаешь читать — как-то странно. С одной стороны, действительно, все уже есть. Каждая мысль у кого-то уже проскальзывала, каждая красивость кем-то где-то изобретена. Вроде, и трепыхаться незачем. С другой стороны, сколько ни читай — нет душе удовлетворения. Говорит народ много и правильно — но как-то не так. Чего-то у них постоянно не хватает для совершенной убедительности.

Ну, а если самому попробовать? Не претендуя на открытия, просто прибраться малость в собственных мозгах. Но стоит начать — сплошное разочарование. Получается совсем не лучше, и криво с любого боку. Даже иногда закрадывается крамольная мысль: а что если никакого порядка в мире вовсе нет? Так, переливание из пустого в порожнее, из одной книги в другую... И не надо головой напрягаться, и отвечать за свои слова совершенно ни к чему. А что? Все равно никто не увидит, а увидит — не поймет, а поймет — не оценит, а оценит — на помойку выбросит. При нынешнем изобилии проще сляпать что-нибудь самому, нежели отыскивать в бездне чужой просвещенности. Быть может, творчество — это всегда великое невежество и великая наглость? Поленился найти у других — стал мэтром нового направления. Не постеснялся выставить напоказ шитое гнилыми нитками — попал в струю идейной моды. Сырой продукт стимулирует всеобщую рефлексию и толкает куда-то прогресс.

Да нет. Это я по своей духовной немощности не могу увидеть всей прелести происходящего, и предложить мне другим нечего. И остается сидеть в стороне, да посапывать в тряпочку. Перелистывать умные книжки — и еще больше расстраиваться. А глупые писания свои держать подальше от народных взоров, на безвестном сайте, который посещают разве что роботы — и то лишь по долгу службы.

Так что не обессудьте. Как говорится, чем бедны, тем и не нужны. А качестве домашнего упражнения — дурацкий вопрос: а нет ли и от бесполезности какой-то пользы? Быть может, нежелание (и неумение) понимать — в чем-то не уступает цепкой понятливости? Быть может, не

оставляющие следов — чем-то ценнее любителей наследить? Быть может, гениальность — это не только свершения, но иногда и отказ от свершений? Быть может...

Но может и не быть.

О спорте

Вы любите спорт? Лично я — нет. И у меня есть причины.

Я утверждаю, что *всякое соревнование вообще* несовместимо с самой идеей разума. Соревнование, конкуренция — это явления животного мира, а сознание — как раз то, что отличает людей от животных.

До сих пор людям приходится воевать за место под солнцем. Уровень производства не настолько высок, чтобы удовлетворить потребности всех, а система распределения далека от совершенства. Это приводит к тому, что животное в людях все еще преобладает. Тем ценнее каждый случай намеренного отказа от конкуренции, от животной борьбы за существование. Именно это делает человека человеком, а не самцом или самкой биологического вида.

Спорт в этом плане — полная противоположность. Он подпитывает животные инстинкты, вытесняет собственно человеческие мотивы и чувства, подменяя их набором суррогатных деятельностей, вредных почти во всех отношениях.

Для спортсмена — это вредно для здоровья, телесного, или душевного. Тело подвергается чрезмерным нагрузкам и накачивается медикаментами, ломающими естественный метаболизм. Душа отравлена необходимостью служить телу. Некоторые спортсмены могли бы проявить незаурядные творческие способности, если бы они не посвятили себя спорту, — весь этот человеческий потенциал безвозвратно утрачен!

Для человечества в целом — последствия просто ужасны.

Спорт ослабляет человечество физически, поскольку спортивные соревнования давно превратились в состязания химикатов, а не людей. Кроме того спорт побуждает массу людей вырабатывать совершенно бесполезные навыки, в ущерб выработке полезных.

Спорт отвлекает людей от общественно полезной деятельности, приводит к разбазариванию времени и сил. Истинные ценности

подменяются ложными ориентирами. Внимание приковано к глупым рекордам, к иллюзорным достижениям — вместо насущных социальных проблем.

Спорт подрывает экономику. Он поглощает материальные и творческие ресурсы в огромных количествах. Но это совершенно непродуктивное их использование, а значит, дополнительное бремя как для общества в целом, так и для индивидуального благосостояния. К тому же спорт становится кормушкой для целой армии манипуляторов, которые не умеют ничего кроме выкачивания денег из спорта, — это отбросы человечества.

Спорт — это чисто коммерческое явление. Бизнес и спорт вырастают из общей идеи соревновательности. Им нет дела до улучшения условий жизни людей, они заняты исключительно деланием денег или погоней за прочими выгодами. Любительский спорт в этом плане мало отличается от профессионального.

Спорт искажает систему общественной оценки, предполагая, что спортсмен (или спортивный менеджер), «зарабатывающий» миллионы долларов в год, более важен для общества, нежели, скажем, ученый, садовник, шахтер или чистильщик обуви. На деле же все как раз наоборот, ибо от спортсмена людям нет никакого проку.

Спорт уродует нравы, насаждая идею вседозволенности. Добивайтесь победы любой ценой, нет никаких ограничений. Эта психология легко проникает и в другие области деятельности.

Спорт порождает одно из уродливейших явлений современной культуры — болельщиков, фанатов. Тупые наблюдатели, которые сами не занимаются спортом, но претендуют на глубокую осведомленность и понимание. Обожатели, которым все равно, кого или что они обожают. Защитники, которым все равно, что защищать. Плесень. Пыль. Но эта пыль опасна, ибо готова удушить малейший проблеск свободной мысли. Фанаты не умеют любить, они могут только ненавидеть. Это другая сторона всякого соревнования. Спорт воспитывает жестокость, подстрекает к агрессии. Есть победители, и есть побежденные. Отсюда идея социального неравенства и угнетения.

Можно перечислять еще и еще. В конечном итоге, спорт устанавливает образцы поведения, которые воспроизводятся в любой сфере деятельности, превращая ее в сферу животной конкуренции. Соревнование убивает творчество. Ученый, пытающийся обойти других и получить грант, начинает думать о выгоде, а не об истине.

Танцовщица, участвующая в конкурсе, танцует для жюри, а не для того, чтобы дать пример совершенной красоты. Рабочий в высокодоходном производстве вынужден работать на продажу, а не ради удовлетворения человеческих потребностей.

Чтобы замаскировать разрушительную природу спорта, официальная пропаганда муссирует идею физической культуры как способа восстановления и тренировки. Замазывается принципиальное различие между, например, спортивными лыжами и лыжной прогулкой ради удовольствия. Первое — вредно, как любое соревнование. Второе — способ освежиться, вроде прогулки по лесу; это полезно, пока не вызывает напряжения. С другой стороны, внешне одинаковые деятельности могут нести противоположный заряд, в зависимости от их мотивов. Так, можно играть в шахматы (или в футбол) вместе с кем-то (сотворчество) — а можно играть против кого-то (соревнование); соответственно, это занятие станет либо сознательной деятельностью, либо животным поведением.

Что же касается тренировки, существует много методов поддержания физической формы и жизненного тонуса без многократного повторения искусственных телодвижений, до полного одурения. В правильно организованном обществе каждодневная активность любого его члена будет достаточно нагружать его организм. Есть специальные приемы, позволяющие соединять мышечную тренировку с любой деятельностью вообще, включая покой; овладение ими — дело общественного воспитания. Однако широкое распространение подобных навыков не в интересах правящих кругов.

Спорт нельзя даже рассматривать как своего рода эксперимент, направленный на выяснение биологических пределов человеческого организма. Подобный эксперимент совершенно не нуждался бы в присущей спорту коммерческой шелухе, и тем более в ордах болельщиков.

Разговоры об активном отдыхе преследуют еще одну цель — формирование такого механизма контроля как социальные стандарты, мода, корпоративный дух и т. п. Те, кто подчиняется формальным требованиям, — действуют правильно, а те, кто не хочет им соответствовать, становятся предметом всеобщего презрения и вытесняются из жизни. Одна часть общества тем самым настраивается против другой, в духе животной (и спортивной) соревновательности. Многим приходится заниматься спортом только потому, что иначе они рисковали бы все потерять.

Можно сказать, что само существование спорта есть индикатор недоразвитости общества. Когда-нибудь, через много лет или тысячелетий, человечество избавится от этого наследия животного прошлого, открывая тем самым новые горизонты для человеческого разума.

Мудрость во времени

Люди часто полагают (или им внушают), что народы, населявшие Землю за многие века до нас, могли быть причастны какому-то высшему знанию, или обладать высшей мудростью; все это было со временем утеряно или забыто.

Тем самым развитие отрицают по крайней мере дважды. Во-первых, предполагается, что культурные достижения вечны и неизменны. Во-вторых, способность людей мыслить и действовать считают одинаковой на всем протяжении человеческой истории.

Оба эти утверждения ошибочны.

Ничто в культуре не приходит раз и навсегда. Материальная культура меняется так же, как и духовная. Предметы потребления далеких предков не смогут удовлетворить нынешние потребности. Точно так же и эстетика одной эпохи отличается от другой, и большинство образцов старинного или первобытного искусства могут представлять для современного человека разве что исторический интерес. Аналогично, ранненаучные понятия едва ли приемлемы в науке сегодняшнего дня. То же самое философия, мудрость. А поскольку философия существенно связана с практикой, с сознательным построением будущего, следование доисторическим предписаниям является полной противоположностью мудрости, которая неизбежно ломает любые установления в поисках новых путей, отвечающих задачам текущего этапа развития.

Конечно, что-то из наследия прошлого сохраняет свое значение и теперь. Это означает, что культура все еще не преодолела какие-то элементы прежней экономико-социальной организации, и что люди живут и действуют в условиях, чем-то похожих на то, что было раньше. То есть, приемлемость старых форм связана главным образом с низким темпом развития, а не с особенной мудростью каких-то установлений, завещанных нам предками, — иначе говоря, с недостатком, а не с избытком мудрости.

Далее, человеческие способности развиваются в процессе экономического развития, так что набор навыков (в том числе мыслительных) среднего человека все время расширяется. Более широкий взгляд на мир значительно повышает уровень духовности современного человека по сравнению с большинством людей прошлых эпох. Поэтому современная мудрость в любом случае будет более утонченной и возвышенной, нежели все виденное до того. И если вдруг современный философ увлекся некоторой старинной «истиной», это указывает, скорее, на его духовную недоразвитость, а не на какие-либо исключительные качества старой идеи. В частности, выживание — несмотря на развитие искусства, науки и философии — всяческих религий есть следствие медленного развития культуры и недостатков системы образования, что, в свою очередь, связано с несовершенством социально-экономической организации.

Не зря!

В целостности мира каждая отдельная вещь занимает свое объективно необходимое место, и нет ничего, что не вносило бы вклада в единство мира. В частности, жизнедеятельность каждого человека по своему необходима, и человечество в целом нуждается во всех и каждом из его членов. И все же индивидуальные вклады могут различаться и принадлежать разным уровням организации мира. Просто существовать — это не то же самое, что быть биологическим организмом, а животное поведение отличается от сознательной деятельности. В качестве органического тела или неодушевленной вещи человек является лишь частью материальной основы сознания и разума; с развитием субъективности как универсального опосредования влияние человека на мир в целом неизмеримо возрастает.

Всякий сознательный акт предполагает некоторое изменение в мире, которое не может не распространяться до бесконечности, никогда полностью не исчезая, хотя, возможно, принимая разные формы и сливаясь со следами других дел. В большинстве случаев не удается отделить одни влияния от других и приписать конкретный результат тому или иному лицу; однако это вовсе не означает, что индивидуальные вклады пренебрежимо малы. В крайнем случае, существование и жизнь

одного человека могут поддерживать субъективность другого, тем самым вливаясь в единство мира опосредованным образом.

Все сознательные деятельности одинаково универсальны, даже если бывает трудно сказать, что, собственно, в результате получается. Во всяком случае, сознание — это всегда творчество, а значит, развитие мира по направлению к большей целостности. Чем бы человек ни занимался, достаточно относиться к этому занятию творчески, чтобы превратить его в нечто универсальное, становясь тем самым представителем мира в целом.

О рекламе

Наглая, настырная, бессмысленная, тупая, назойливая, агрессивная, разрушительная, бесчеловечная...

Это она, реклама.

Само существование подобного вздора указывает на ущербность современного общественного устройства. Разумный человек никогда не будет встречать в жизнь других без весьма веского повода. Нарушая покой людей, реклама абсолютно несовместима с разумностью.

Реклама дорого обходится. Она поглощает всевозможные ресурсы без малейшей экономической или культурной отдачи, подрывая тем самым общественное благосостояние. Растроченные впустую материальные богатства и духовные силы можно было бы направить на улучшение жизни людей, на решение насущных проблем современности — или хотя бы просто снизить цены.

Реклама не несет никакой информации; в ее основе — намеренная ложь. Технические ухищрения ради привлечения внимания обывателя обращены к его примитивным физиологическим реакциям; они подавляют разумную мысль и доводят головы до полного одурения. Большинство людей ненавидят рекламу и стараются ее избегать. Однако появились и такие, кто уже себя без рекламы не представляет, для кого она становится способом мышления и единственно возможной формой восприятия.

В разумно устроенном обществе всякая реклама должна быть исключена, включая скрытую рекламу и саморекламу. Что действительно требуется — это информация. Сотой части того, что тратится на рекламу, хватило бы, чтобы организовать всемирную

информационную сеть, в которой данные не забивал бы информационный шум, и где не нужна была бы избыточность. Коммерческое использование Интернета убило саму идею публичной сети для свободного обмена данными. Поисковики и сетевые каталоги забиты рекламной чужью и эффективность их практически упала до ниже нуля. Искусство, наука, философия — поставлены в зависимость от рекламы, а это препятствует развитию человеческой духовности и в конечном итоге — экономическому прогрессу.

При всей абсурдности рекламы как таковой, реклама еще и портит предметы потребления, или, по крайней мере, снижает их ценность. Производитель (или продавец) старается посадить логотип компании на любое сколько-нибудь заметное место. Но почему я должен носить одежду, обувь и что угодно — с дурацкими надписями? А если я вообще не хочу, чтобы на мне было что-то написано? Здесь тоже извращенная логика. Фирмы платят бешеные деньги за рекламу на телевидении и на улицах — но почему-то никто не платит мне за афиширование их логотипов на моих вещах.

Гордыня и собственность

В человеческом обществе ничто не может быть сделано одним единственным человеком, или отдельной группой людей. Каждый зависит от всех, даже если обычно это далеко не напрямую. Никто не может обоснованно утверждать, будто он добился чего-то сам, без всякой помощи. Сам факт его существования уже опосредован жизнями миллиардов людей. В повседневной жизни мы не можем обойтись без разного рода удобств и предметов; нам нужны пища и одежда, крыша над головой и защита, обучение и воспитание, орудия и инструменты. Наше свободное время и возможность побыть наедине с собой — приходят только от других. Наши мысли и чувства зависят от человеческой культуры, наши идеи отражают общественные потребности.

То есть, чтобы мы ни делали, мы никогда не делаем это в одиночку, и любое наше достижение — свершение всего человечества. Формирование сознательного индивида предполагает тысячелетия совместного опыта. Личность — лишь коллективный эффект, гребень волны.

Не бывает людей, которые «сделали себя сами»; всех нас делает та культурная среда, в которой нам довелось жить. Все, что нам доступно, — следствие определенных экономических и общественных отношений, каждый поступок — опосредован историей и нынешним днем человечества.

Поэтому идея собственности *логически* ошибочна. Нет ни малейшего основания для того, чтобы нечто принадлежало той или иной персоне. Всякая вещь произведена всем обществом для решения общественных задач. Вклад одного человека ничем не значительнее вклада кого-то другого. Концентрация богатства и власти в руках ограниченной группы лиц есть поэтому ничто иное как узурпация, которая становится возможной из-за неразвитости общественно-экономического строя.

Но абсолютная социальность не означает абсолютной идентичности. Наоборот, универсальность общественной поддержки позволяет сформироваться по-настоящему уникальным личностям, и недостаток своеобразия всегда связан с недостаточной социализацией, с неразвитостью разума. Сознательная деятельность открывает бесконечность возможностей, каждая из которых реализуется в единичном человеке, и его единичность безусловно необходима для воспроизводства мира в целом.

О множественности миров

В самом широком смысле, мир только один, и никаких «других» миров быть не может, ибо сама идея «быть другим» есть уже некоторая связь, и отличаться друг от друга могут лишь вещи, у которых есть нечто общее, — например, само их различие.

При этом мир проявляет себя как вселенная (универсум) для многочисленных отдельных вещей. Это разнообразие — неотъемлемое свойство мира, уровень его целостности. Любая частичка мира связана так или иначе с любой другой, тем самым отражая в себе весь мир, *представляя* его в данном конкретном отношении.

А значит, существует бесконечное число миров, каждый из которых представляет один и тот же мир; эти многочисленные миры — *обращения* одной и той же иерархии, иерархические структуры, развернутые из единичного элемента (вершина иерархии). Все эти миры идентичны, поскольку каждый из них содержит всю Вселенную. Однако

внешне они могут выглядеть совершенно по-разному, вплоть до полной противоположности.

Например, мир, вырастающий из меня, — совсем не то же самое, что мир кого-либо другого, эти два мира могут быть просто несовместимы. И тем не менее, мой мир неизбежно будет включать эту чужую картину — иначе он был бы неполон. Способность «моделировать» другие миры внутри моего мира — одна из основных черт разума, следствие его определения как универсального опосредования. Если я обладаю сознанием — я могу временно становиться чем угодно, сохраняя при этом мою самость, единство всех этих частных моделей. Чем более человек разумен, тем глубже он постигает другого.

Разумеется, подобная универсальность не может быть достигнута сразу, в конечной системе. Поэтому следует с осторожностью говорить о «человеческих» и «нечеловеческих», «сознательных» и «лишенных сознания» способах существования; субъектность может принимать много неожиданных форм, и, очевидно, никто не в состоянии стать полностью духовным, чтобы соединить все вообще уровни движения в своей индивидуальности.

Авторство и плагиат

Могут ли идеи кому-то *принадлежать*? Единственно разумный ответ: «Конечно же, нет!» Идеи не приходят к людям из ниоткуда — они возникают как коллективный эффект, результат многочисленных актов общения с другими. Неважно, как тот или иной человек сформулировал идею — она все равно может существовать лишь благодаря свободному перемещению от одного сознания к другому, многообразию проявлений в индивидуальной деятельности.

Когда кто-то что-то создает, можно быть уверенным, что при этом использован — напрямую или косвенно — труд множества других людей. Всякое действие культурно опосредовано, оно обильно черпает из сокровищницы форм, умений, склонностей и стремлений. Судиться с кем-либо за использование чужой идеи было бы столь же абсурдно, как подавать в суд на кого-то за разговор на иностранном языке!

Что же так разочаровывает и раздражает в том, что один «крадет» идею у другого? Почему это считается аморальным и неприемлемым?

Источник такого отношения — в природе капитализма, который все превращает в стоимости, абстрагируясь от реального содержания. В результате любой продукт становится лишь представителем определенной суммы денег, а не тем, чем он на самом деле должен быть. Когда автор книги возмущается по поводу публикации того же самого другим (или другими), его не заботит распространение выраженных в ней идей или полученных результатов — речь идет исключительно о том, как делить барыши. Материальная выгода становится основным мотивом всякой деятельности, и обмен идеями деградирует до товарного обмена.

При капитализме принцип распределения общественного богатства — по сути своей абстрактен, и все зависит от количества уже накопленной собственности, а не от вклада собственника в экономический и культурный прогресс. Например, если два человека пришли к одной и той же идее, у того, кто богаче, всегда больше возможностей для ее реализации, тогда как бедняк вынужден отставать, растрачивая время и силы на тупое выживание, вместо творческих исканий. Первый может и не знать о достижениях второго, не задумываясь о том, что его привилегированное положение — общественный дар. Зажиточные люди не склонны упоминать тех, кто создал их благосостояние, и у тем более делиться с ними. Пусть кто-то имеет связи с издателями и пользуется этим, чтобы опубликовать то, что другой только собирается опубликовать, — что это меняет? Они оба обязаны своим существованием всему остальному человечеству, явно или скрыто используя недооплаченный труд миллионов других людей, для которых оба «автора» — в одинаковой мере «воры», безотносительно к тому, как они «грабят» друг друга.

Понятие авторского права рождается вместе с капитализмом — более разумно организованное общество никогда не будет интересоваться происхождением чего-либо. Если вы что-то делаете — делайте это без оглядки на возможные выгоды. Если кто-то намерен воспроизвести результаты других людей (вероятно, даже не зная о них) — полученный в итоге рост общественного богатства пойдет на благо всему обществу, повышая доступность продуктов производства. С другой стороны, отбрасывание заботы о приоритетах приведет к улучшению самих продуктов, устраняя искусственные ограничения и балласт обязательных ссылок.

Жизнь в грабительском обществе заставляет людей подчиняться его воровским законам и в свою очередь грабить других; иначе есть риск лишиться средств к существованию и потерять возможность продолжать свое дело. Здесь всегда компромисс со своей совестью, и разные люди по-разному проводят грань. Единственно приемлемое оправдание — когда чьи-то действия способствуют выходу человечества из дикого состояния. Но это не делает личный выбор легче, ибо трудно сказать заранее, какие поступки (или какие стороны поступка) отвечают этому объективному критерию, а какие нет. Тут серьезная психологическая проблема.

Можно было бы возразить, что в любых экономических условиях простая порядочность не позволяет людям красть чужие идеи и лгать. Возможно. Однако весь смысл лжи в том, что она выгодна. А значит, идея порядочности и честности применима по преимуществу к тем, кто уже достиг определенного общественного положения; в этих условиях воровство могло бы трактоваться как своего рода извращение. В реальной жизни требование порядочности зачастую становится оружием против чужаков. Так, соискатель ученой степени обязан упомянуть в диссертации своего научного руководителя и его коллег, даже если те не смыслят равным счетом ничего в предмете исследования; иначе путь вверх закрыт.

Воровство и ложь могут исчезнуть лишь тогда, когда для них не станет социальных и экономических оснований. Но в таком обществе никому и голову не придет увязывать суть дела с историческими экскурсами. Всякое упоминание чужих достижений может тогда быть лишь частью обзора, выражение личного уважения или просто оборотом речи.

Если идея по-настоящему нова — проблема не в том, чтобы опубликовать ее первым, а в том, чтобы вообще решиться на публикацию. Когда некто с положением достаточно храбр, чтобы рискнуть своей репутацией и поставить свою подпись под словами тех, у кого нет другого способа продвигать радикальную мысль, — такой плагиат можно только уважать и всячески приветствовать. Идея, которая требует решительного изменения самого способа мышления, почти не имеет шансов сразу привлечь к себе внимание. Обычно она лишь постепенно проникает в умы, всплывая в очень разных контекстах у разных людей из разных стран — либо независимо, либо как отдаленное эхо прямых и опосредованных контактов. Идеи передаются

от одного человека к другому на бессознательном уровне, через поле общественных склонностей и предпочтений. Появление сходных идей у разных людей — хороший знак, свидетельство как истинности самой идеи, так и повышении восприимчивости общества к новому.

Иерархичность транспорта

Существует соответствие между шкалой расстояний и скоростью коммуникаций с одной стороны — и транспортными средствами с другой. Вообще говоря, технологический прогресс позволяет достичь все больших скоростей. Однако высокие скорости зачастую неэффективны на обычных бытовых расстояниях, и традиционный транспорт продолжает занимать значительное место в культуре. Например, мы пересекаем океан на самолете — но предпочтем, скорее всего, наземный транспорт, чтобы добраться до соседнего города, а пройти из комнаты в комнату внутри квартиры лучше просто пешком. Важен также характер перевозки: так, морской транспорт пока преобладает над авиационным, когда речь идет о значительных грузопотоках.

Аналогично, исследование космоса связано с возникновением соответствующих уровней скорости. Для межпланетных перелетов требуются скорости много меньше типичной скорости межзвездного перелета, а эта последняя, в свою очередь, много меньше скоростей, требуемых для преодоления расстояний между галактиками (для чего нужны, разумеется, скорости больше скорости света). Но даже овладев такими скоростями, мы, скорее всего, еще долго будем пользоваться обычными земными средствами перемещения. В частности, широкое применение телепортации (любимая игрушка научной фантастики) на короткие расстояния вряд ли разумно (хотя и не невозможно, в далекой перспективе).

Можно выдвинуть предположение, что существует нижний предел характерного времени коммуникации: для данного диапазона расстояний, материальное тело не может потратить на перемещение время, меньшее некоторой фундаментальной величины. Например, самолет покрывает расстояние в 100 километров гораздо быстрее поезда — однако учитывая время, необходимое чтобы добраться в аэропорт и обратно, плюс необходимые формальности, мы вряд ли

получим величину, меньшую типичного времени поездки на автомобиле.

Похожий эффект (хотя и вызванный другими причинами) наблюдается на компьютерном рынке: цены постоянно снижаются с развитием технологий — однако при этом дешевые модели выметаются с рынка, и минимальная цена компьютера не падает ниже нескольких сот долларов.

Любовь, во веки веков

Некоторые полагают, что любовь приходит и уходит, следуя переменчивости человеческих отношений и внешних обстоятельств. Считают, что любовь зависит от человеческих качеств партнера, и любое проявление несовершенства (увядание красоты, вредная привычка, недостаточная образованность...) ослабляет любовь, особенно если рядом есть другой, по видимости лишенный недостатков. Утверждается, что любовь может угаснуть совсем, или даже превратиться в свою противоположность, провоцируя тем самым разного рода межперсональные и внутрисперсональные конфликты.

Я утверждаю, что такие мнения путают любовь с чем-то совершенно другим. Настоящая любовь носит на себе печать вечности — она не может измениться или умерить свою силу. Это можно проиллюстрировать примером из математики: уменьшая очень большое число на единицу, мы практически не заметим изменения — но повторяя эту операцию много раз, мы сведем исходное число к нулю, или даже к отрицательной величине; уменьшая же на единицу бесконечность, мы не меняем вообще ничего, ибо бесконечность нельзя исчерпать никакими конечными величинами.

Раз найденная любовь неизбежно будет длиться всегда, выходя за рамки человеческой жизни. Не следует принимать за любовь простую влюбленность, симпатию, интерес или склонность — все это может сопровождать любовь, придавая ее неповторимый оттенок. Однако мы узнаем одну и ту же мелодию в исполнении самых разных инструментов — точно так же любовь может принимать многообразные формы, оставаясь сама собой.

Любви нет дела до экономического или общественного положения, ей безразличны физические и душевные достоинства. Трудности жизни

и общественное мнение не оказывают на нее никакого влияния. Любовь — самое прочное в человеческой душе, и это единственно надежный фундамент для формирования личности.

Но если человеку приходится искать свою любовь, если она существует не всегда, — как можно надеяться, что она переживет века? Мы, разумеется, знаем, что в математике рассматривают интервалы, ограниченные с одной стороны и уходящие на бесконечность с другой. Однако не думаю, что любовь могла бы быть ограничена подобным образом. Любовь не возникает из ничего, она не имеет ни начала, ни конца. Именно поэтому обыкновенно говорят: «*узнать* свою любовь», «*встретить* любовь» или «*найти* любовь»... То есть, любовь уже есть, она принадлежит этому миру задолго до того, как ее осознают. Любовь каждого предопределена всем мировым устройством, здесь нет места простым совпадениям. Из-за этого любовь часто воспринимается как судьба, как внешняя сила, неподвластная человеческому контролю; по этой же причине любовь может вспыхнуть внезапно, в одно мгновение, с первого взгляда, из малейшего намека на духовное сродство.

При этом никто не может стать ее рабом, поскольку сама идея любви предполагает свободу и сознательное стремление. Любовь открывает людям их бесконечность, способность объять всю Вселенную. Подобная универсальность несовместима ни с каким принуждением, она не признает никаких ограничений кроме свободной преданности. Неудивительно, что любовь на протяжении многих веков служила универсальным источником творческого вдохновения. Само существование человеческой культуры, сознания и разума, — плод любви.

Журналистика

Ремесло журналиста, вероятно, не моложе ремесла проститутки — но, пожалуй, еще презреннее. Журналист — это человек, лишенный совести и уважения к себе, человек, способный пойти на что угодно ради привлечения внимания обывателя к любому вздору. Журналисты не брезгают никакими средствами ради очередной сенсационной стряпни, их совершенно не заботит правда и справедливость, и работа их не имеет ни малейшего отношения к распространению информации.

Единственное назначение журналиста, промывание мозгов, ставит перед ним две взаимодополняющие задачи — массовую пропаганду и

оболванивание. Журналист не может позволить себе иметь какие-либо собственные идеи или принципы; в противном случае он моментально вылетит с работы. Все, что требуется от журналиста, — служить интересам правящих кругов, и его доход напрямую зависит от его услужливости и угодливости. В средствах массовой информации не работают те, кто способен задумываться над указаниями начальства; однако журналистов набирают из уже оболваненных масс, и плетка обычно не требуется, ибо крамольные мысли просто не приходят в им в головы.

Технологии группового внушения, используемые журналистами, полностью основаны на низменных инстинктах и примитивных потребностях, не поднимаясь выше физиологического уровня. Журналисты пытаются убедить людей, что те — всего лишь стадные животные, и ничего другого нет и быть не может. В дополнение к этому используется метод отчуждения, когда любая серьезная мысль и любое глубокое чувство объявляются достоянием интеллектуальной элиты — и тем самым уничтожаются как таковые. Само существование журналистики — противно всеобщей природе субъектности и разума.

Журналисты в основной массе глубоко невежественны, независимо от количества дипломов. Все, что им требуется для работы, — запас поверхностной осведомленности, в основном для украшательства, для придания аппетитного вида ядовитым блюдам, которыми они потчуют публику. Если журналистика берется за популяризацию искусства, науки или философии — тут явно имеется идеологическая подоплека, искажение исходного смысла идей.

После откровенной лжи, второй по значимости метод журналистики — манипуляция. Всегда можно преподнести факты так, что они будут предполагать вполне определенные выводы. Можно довести это умение до совершенства, превратить его в искусство, или в науку, — достойнее оно от этого не станет.

История человечества знает примеры, когда хорошие ученые и глубокие философы теряли мудрость и компетентность, пытаясь обратиться к журналистике. Ее вульгарный стиль вытолкнул многие замечательные по сути работы за рамки сегодняшнего восприятия, поскольку их положительное содержание слишком перемешано с несущественными деталями и размыто реалиями далекого прошлого. В качестве примера можно привести работы К. Маркса, Ф. Энгельса

и В. Ленина, чьи философские взгляды настолько сложно извлечь из-под политических завалов, что само существование марксистской философии ставится иногда под сомнение.

О званиях

Многие испытывают почтение ко всяческим званиям и титулам (доктор, профессор, академик, обладатель премии, входящий в первую десятку и т. д.) присуждаемыми многочисленными местными и международными комиссиями. Общепринято, что наличие сертификата или лицензии возвышает человека над теми, кто не может предъявить каких-либо наград. Есть ли в этом хоть капля смысла? Так ли уж значительно отличие?

Допустим на мгновение, что звания присуждаются в соответствии с достоинствами отмеченного ими лица. Возьмем этого человека за секунду до присуждения звания — и через секунду после. Что изменилось? Неужели его достоинства значительно возросли на протяжении двух секунд? Вздор. Но рыночная стоимость подскочила. Не является ли это свидетельством абсурдности самого понятия рыночной стоимости?

Но есть на самом деле что-либо серьезное в официальном признании? — что-то такое, на что можно было бы опереться при оценке чьих-то личных качеств?

Обычно официальные органы, призванные присуждать награды и выдавать сертификаты, недостаточно компетентны, чтобы правильно оценить чьи-либо достижения. Они вынуждены полагаться на тех, кто представил соискателя к отличию, — а эти люди редко бывают незаинтересованными. Вся затея сводится таким образом к политической игре.

В качестве общеизвестного примера, возьмем нобелевскую премию. Нобелевский комитет весьма щепетилен по поводу национальности номинантов; тут важно соблюсти деликатное равновесие между обеспечением безусловного приоритета США и Европы с одной стороны — и ублажением общественности показной демократией с другой. Недостаточно, чтобы марионетки, вытасенные с задворок западной цивилизации, исповедовали традиционные принципы западной буржуазии, — они еще и обязаны всячески насаждать их в своих странах, подрывая

неугодные высоким благодетелям режимы. Так, редкие лауреаты российского происхождения (Бунин, Солженицын, Сахаров и др.) были награждены исключительно за их яркий антикоммунизм, а отнюдь не за эстетические или научные достоинства их работ. Тематические области работ, представленных на соискание нобелевской премии, также подвергаются тщательной фильтрации. Здесь нет места ни малейшим намекам на противоречие официальной идеологии.

Но допустим, что кто-то действительно награжден по заслугам. Как правило это означает, что у человека были значительные свершения в прошлом, но ничего не говорит о его нынешних делах или о его будущем. А то, чем кто-то был раньше, может сильно отличаться от того, чем он является теперь, и чем он собирается стать. Например, академическое признание зачастую приходит слишком поздно, когда научная карьера человека уже завершена. Присуждение премии ничего не говорит о творческом потенциале лауреата и его способности что-то еще добавить в копилку мировой культуры.

Наконец, успехи в одной сфере не подразумевают компетентности в другой. Хороший физик может быть убогим философом, а хороший программист — никудышным учителем. Даже внутри узкой профессиональной области есть свои уровни специализации, и, скажем, умения хорошо считать сечения фотоионизации не особенно помогает при расчете сечений ионизации ионным ударом. Отличия не повод для благоговения.

Единственно разумный подход — судить о людях по их нынешним делам и живым результатам. Можно уважать прошлые заслуги — но не полагать, будто ими что-то определяется сейчас. Очевидное следствие состоит в том, что вовсе не обязательно знать должность и звание собеседника, чтобы вынести о нем обоснованное суждение и решить, насколько имеет смысл с ним сотрудничать. И, разумеется, оценка любого деяния не может зависеть от личности деятеля.

Пути Сети и теория формаций

Исходно Всемирная паутина (World Wide Web) задумывалась как универсальное средство информационного обмена, общее хранилище идей, пространство для творческого сотрудничества или, по крайней мере, возможность самовыражения. Это было место, где можно было

найти единомышленников, с кем-то познакомиться, подружиться, обсудить насущные проблемы современности. Потом пришел массовый пользователь, и Сеть начала превращаться в пустое развлечение и торговую площадку.

Технологический прогресс значительно расширил возможности эффективного обмена данными через WWW — но в гораздо большей степени он способствовал размыванию основной идеи и доминированию формы над содержанием. Торгашеская логика предполагает, что страница сайта не обязана быть содержательной и осмысленной — важно только, как она выглядит. Реклама назойливо повторяет себя, она вытесняет информативные фрагменты за пределы практической досягаемости и, в конце концов, разрушает сам механизм кооперации. Ее можно было бы рассматривать как DDoS-атаку на Сеть целиком, а не на отдельный узел.

Сеть давно уже превратилась в шизофреническую смесь технологических ухищрений, диких трансформаций, раздражающего мелькания и хаоса всплывающих окон. Все это к тому же напичкано программными глюками и вирусами, приводящими иногда к зависанию всех систем и необходимости общей перезагрузки. Спокойная информативная страница без JavaScript и чрезмерного форматирования постепенно отходит в область волшебных сказок. Упадочные существа, бороздящие просторы Сети, хотя полностью отключиться от реальности, убежать от мысли и разума. Все, что им нужно — игры, чаты, примитивные приколы, нездоровый вуайеризм, извращения и шопинг.

Однако история человечества знает и другие подобные явления. На пороге кардинальных изменений в экономической и социальной организации общее смятение проявляется в декадентстве всех сортов. Старая культура уже изжила себя, а материальные предпосылки для нового направления развития еще не созрели. Вполне возможно, что нынешняя сетевая неразбериха связана с глубинными экономическими процессами, что это всего лишь дымовая завеса для грядущего переустройства мира.

Фундаментальная категория «общественно-экономическая формация» введена К. Марксом, которые первым заметил, что все разнообразие форм экономического и социального развития укладывается в последовательность отчетливо выраженных стадий, объективно возникающих в истории любого народа. Каждая такая формация представляет собой иерархию формаций меньшего масштаба, которые

сменяют друг друга объективно закономерным образом. Я полагаю, что есть «идеальный» аналог этого «материального» развития; история культуры представляется, таким образом, как последовательность объективно необходимых «культурно-исторических формаций», связанных с фазами экономического развития, но относительно независимых от него.

Насколько я могу судить, человечество испытывает сейчас один из таких качественных сдвигов, переход к более высокому уровню экономического и культурного развития. Есть основания предполагать, что это будет последней фазой в истории капитализма, сама повсеместность которого означает, что простора для адаптивных изменений уже не осталось, и следующая революция приведет к устранению системы как таковой.

Исторические вершины

В истории любого народа бывают эпохи максимального напряжения, когда он способен показать пути развития всему остальному человечеству; однако потом этому народу суждено спотыкаться и отставать — если не исчезнуть окончательно. Можно найти примеры таки взлетов в прошлом многих старых наций — тогда как молодые страны пока еще только карабкаются вверх. Весьма возможно, что подобный характер развития типичен лишь для определенного периода человеческой истории, который можно было бы назвать этапом *цивилизации*.

Есть ряд объективно необходимых стадий, которые должно пройти в своем развитии любой общество. Это фундаментальный закон экономического развития, и за всякой попыткой проскочить следующий этап, ускорить исторический прогресс сверх его естественного темпа, неизбежно последует драматический откат, способный иногда привести к полному уничтожению самой способности общественного развития.

Каждая фаза относительной стабильности в истории как будто скрывает будущее за эластичной стеной: можно врзаться в нее с разбегу и заставить немного податься — однако потом она отбросит вас назад почти с той же силой, которая к ней была приложена. В этой картине медленная эволюция экономического базиса общества представляется как настойчивое отщипывание крохотных кусочков от стены, и это

может в конце концов настолько ее ослабить, что очередная попытка революционного прорыва увенчается успехом, открывая тем самым новые горизонты для всего человечества.

Борьба за существование

Биологические механизмы эволюции часто экстраполируют на социальное развитие. Конечно, такая экстраполяция может оказаться вполне оправданной поскольку рассматривается лишь животноподобное поведение людей, если полностью игнорируется их субъектность. Пока общий уровень развития людей недалеко ушел от животного, можно легко найти множество социальных параллелей биологическим явлениям. Один из явных следов животного происхождения — борьба за существование, которую многие апологеты капитализма выдвигают в качестве основного принципа общественного развития и человеческой жизни вообще.

Как только мы приходим к пониманию различия между неорганическим движением, метаболизмом и разумной деятельностью как тремя фундаментальными уровнями рефлексии, становится очевидно, что специфически человеческое развитие должно подчиняться принципам, отличным от действующих на биологическом или физическом уровнях, сохраняя их в качестве необходимой материальной базы. Следовательно, любое проявление борьбы за существование должно рассматриваться как свидетельство недостаточного развития, несформированность сознания, а не как нормальное общественное явление. Собственно человеческое поведение осознает важность абсолютного биологического равенства всех членов общества, так что способность индивида к выживанию есть по сути дела то же самое, что способность к выживанию сообщества в целом. Слабые и робкие важны для развития разума не меньше (а зачастую гораздо важнее), чем сильные и наглые. Ограниченность физического движения и прочие органические особенности никоим образом не должны становиться препятствием к продуктивной, творческой деятельности, а психологические предпочтения не имеют никакого отношения к полезности человека для общества.

Можно выдвинуть логичное предположение, что истинно человеческое общество должно основываться на всеобщей *кооперации*,

устраняя *всякое* соревнование, *всякую* борьбу за существование. Жизнь каждого — неотъемлемая часть жизни общества в целом, и в разумно устроенном мире не будет конфликтов между людьми или группами людей, равно как и противоречий между индивидом и обществом.

Восток и Запад

В XX веке восточная струя стала весьма популярна в искусстве, в философии и даже в науке. Европейские художники исследуют традиционное и профессиональное искусство Востока, ориентальный стиль проникает в моду, в кулинарию, в архитектуру; возникает настоящий бум по поводу восточных единоборств; разнообразнейшие восточные философии овладевают умами и воображением европейцев — как будто они способны открыть им совершенно новые идеи, иное видение мира.

Но так ли уж необычны все эти восточные элементы для Европы? Пусть они развились в большей степени на Востоке — но их аналоги существовали и в Европейской традиции, и вряд ли следует ожидать от восточного искусства и восточной философии каких-то откровений, все просто рассматривается под немного другим углом. Вселенная — едина, и духовность человека, будучи частью этого целого, отражает его целиком, несмотря на внешнюю разнородность.

Многие европейские мыслители говорили в XX столетии о единстве мира, ссылаясь на разного рода восточные философии. Однако в философских учениях Востока нет ничего, чего нельзя было бы найти у европейских философов; идеи, которые века назад возникали в Индии, в Китае или в Японии, примерно в те же эпохи высказывались и европейскими философами, хотя и в других формах и в другом контексте. Представление о мире как синкретической целостности присутствует уже в древнегреческие мифах; позже появляются такие значительные фигуры как Пьер Гассенди и Дешан. Можно было бы также упомянуть классический универсализм Гете, романтическую философию Гегеля. Много интересных идей в марксизме; к сожалению, они высказаны большей частью как заметки на полях, разбросанные по огромному количеству разных текстов, и мне пока неизвестны попытки собрать их воедино, которые сохранили бы дух оригиналов.

Последние открытия в *теории формирования школ* в искусстве указывают, что все виды искусства проходят в своем развитии одну и ту же последовательность стадий, и это относится как к европейскому, так и к неевропейским направлениям.

Ссылки и идентификация

Почему я должен идентифицировать себя с кем-то еще? А если я предпочитаю говорить от своего имени, не записывая себя в чьи-нибудь адепты? Есть тысячи книг, которых я не читал, и даже не знал, быть может, об их существовании. Есть те, кто читал что-то из этого и хорошо знаком с этими авторами. Может ли это обстоятельство хоть как-то отразиться на моей мысли? Я ведь умею думать сам, и я прочел за свою жизнь немало книг, которые совершенно неизвестны кому-то другому, — что же мне, презирать их за подобное невежество?

Гулять по концептуальным связям — занятие небезынтересное само по себе, а исторические изыскания могут быть весьма стимулирующими, поставляя пищу для ума. Однако это не имеет никакого отношения к мышлению как таковому, или к обмену идеями.

Мне может захотеться время от времени упомянуть такого-то автора — и мой собеседник может захотеть также с ним познакомиться; однако это всего лишь вопрос индивидуальной склонности, личное дело каждого. Никто не обязан реагировать на ссылки, пусть даже весьма внушительные.

Окольная манера изъясняться в чем-то по-своему хороша — но в серьезном деле лучше все-таки говорить напрямому. Когда я с кем-то общаюсь, мне интереснее представлять себе позицию партнера, а не то, как по этому поводу высказывались, Аристотель, Маркс или г-н Президент.

Пустые споры

Какой смысл спорить? Можно ли убедить других принять вашу точку зрения, отказавшись от своей собственной? Те, кто поддается убеждению, — не стоят затраченных усилий; те, кто не поддается, — не стоят потерянного времени.

Твердые убеждения не для того, чтобы с ними воевать; они требуют уважения, их надо принимать как прочный факт, пытаюсь осознать его объективную необходимость и позитивное содержание. Можно бороться с людьми — но не с их убеждениями.

Зачастую антагонизм возбуждают не чьи-то взгляды, а их вульгаризация, деформированное отражение в кривой поверхности мещанского зеркала. Иногда такие пошлые интерпретации становятся совершеннейшим общим местом, и никому и в голову не приходит глянуть в первоисточники, преодолев дурман цитат и пересказов через третьи мозги. Так, например, Ф. Шлегель с его концепцией «духовно интересного» восставал против тезиса И. Канта, что суждение вкуса предполагает отсутствие интереса, — забывая, что именно Иммануил Кант первым описывал так называемый «интеллектуальный интерес» в связи с эстетическими суждениями. Аналогично, Канта частенько называют отцом философского «априоризма» и упрекают (или восхваляют) за его «агностицизм»; но работы Канта изобилуют высказываниями, утверждающими объективность мыслительных форм, их связь с законами природы, твердую убежденность в том, что человек способен постичь все без исключения. Да, Кант так и не нашел источника схем суждения, и он честно отказывается обсуждать эту тему, указывая лишь, что подобные абстракции не могут быть получены простым обобщением опытных данных. Критика кантовского «априоризма» направлена, таким образом, против того, чего Кант *не делал* — а не против того, что он совершил.

Любые споры — из-за недостаточного взаимопонимания. Но в этом случае гораздо полезнее просто учиться друг у друга, а не устраивать диспуты.

Праздники

Не странно ли, что целые страны вдруг становятся одержимы покупкой подарков, развешиванием украшений, приготовлением и пожиранием необычной (а зачастую и нездоровой) пищи? Не странно ли, что все должны радоваться по расписанию, независимо от личных обстоятельств и состояния души? Разве не странно, что обычный график работы вдруг ломается и отбрасывается, и любое дело, каким бы срочным оно ни было, должно ждать до окончания вынужденного перерыва?

Но именно так люди ведут себя во время традиционных праздников. Сколько потерянного времени, сколько лишней головной боли! Абсурдность этой традиции особенно наглядна в России, где все привыкли праздновать Рождество, Новый год, потом опять Рождество, потом еще один Новый год, потом еще и китайский Новый год, и дальше целая череда праздников, включая (среди прочего) Татьянин день, Валентинов день, день армии, женский день, праздник святого Патрика, пасху (неделя до и неделя после), Первое мая, День победы... Первая половина года превращается в непрерывное празднество. Даже те праздники, которые пока не объявлены официально выходными, вовлекают людей в праздничную суету, отвлекая их от практических нужд.

Я могу допустить, что иногда нужно расслабиться, убежать от повседневности. Но я настаиваю на том, что каждый живет своей собственной жизнью, и каждый сам знает, когда он счастлив или грустит. Надо, чтобы люди могли сделать паузу тогда, когда это им необходимо, безотносительно к обстоятельствам кого-то другого. При этом, конечно, я не должен выставлять мои личные радости и огорчения на публику, ставить на уши всю округу. В идеале никто не должен замечать того, что случается с окружающими, и каждый обязан уважать частную жизнь других.

Клонирование

Недавно бушевавшие в прессе страсти вокруг клонирования (и особенно клонирования человека) происходят исключительно от недопонимания. Клонирование — всего лишь один из возможных биологического воспроизводства, не слишком отличающийся от традиционного способа. Совершенно без разницы, каким именно способом в яйцеклетке образовался полный набор хромосом — последующее развитие все равно идет совершенно как обычно. Половое воспроизводство, искусственное оплодотворение, почкование или клонирование — все это в равной степени может служить исходной точкой.

Часто говорят, что воспроизведение одного и того же генома может быть губительным для вида. Да, может — поскольку органическое развитие не контролируют и не направляют сознательно, и нет

эффективного механизма устранения пагубных отклонений. Глубокое вмешательство в генетику и активный контроль роста позволяют добиться прямо противоположного: вид станет генетически богаче, здоровее и крепче. В любом случае, никто не заставляет человечество штамповать всех под один-единственный геном, поскольку приемлемых генных наборов миллиарды, с практически бесконечным количеством возможных комбинаций.

Средства массовой информации распространяют страхи по поводу возможного вреда от употребления в пищу клонированных организмов. Но почему это может быть вредно? Процесс пищеварения не зависит от способа воспроизводства, для него важен только конечный результат — а следовательно, продукты, полученные с использованием клонирования, имеют абсолютно ту же пищевую ценность; вред здесь возможен только от больных тканей — которые гораздо менее вероятны в клонированных организмах.

Наконец, рисуют зловещую картину армии абсолютно одинаковых людей, которых кто-то клонировал из злодейских побуждений... Но человеческая субъективность не имеет ничего общего с биологией и целиком определяется экономическими и социальными факторами. Биологически идентичные люди могут быть весьма разными в личностном плане, если они воспитываются в разных общественных условиях; массовая нищета и массовая культура куда более опасны в этом плане. Тело нейтрально по отношению к разуму — пока не вступают в игру разного рода болезни и физические ограничения, которые могут в определенных социальных условиях развиваться в психологическую ущербность; но клонирование и генетический контроль как раз и призваны преодолеть подобные органические несовершенства.

Да, здесь есть и реальные «опасности». Клонирование может оказаться настоящей катастрофой для тех, кто пытается любыми средствами удержать в своих руках механизмы социального контроля. Так, значительное удешевление и легкая доступность сельскохозяйственных продуктов уже не даст удушить народ голодом. Поскольку это приведет к снижению затрат во всех других отраслях экономики, под угрозу ставится современная экономическая система как таковая. Капиталисты скорее постараются разыграть очередной мировой кризис и обречь на смерть миллионы, нежели допустят, чтобы жизненный уровень повысился сразу для всех.

Женщины станут более экономически и социально независимыми; мужчины более не требуются для воспроизводства — в итоге все мужское население становится биологически излишним и может попросту исчезнуть. Практика использования исключительно женского генетического материала — аргумент в пользу лесбийской любви, которая, как правило, безопасней, чем секс в смешанных или мужских парах.

Миф о наследовании по исконному праву будет еще раз нокаутирован. Когда половые сношения не имеют никакого значения для воспроизводства, сказки о «голубой крови» приходят в противоречие с новой реальностью, и трудно адаптировать их к миру, в котором физическое воспроизводство не более таинственно, чем покупка нового автомобиля.

Таковы «опасные» последствия клонирования и генной инженерии; но, честно говоря, все это не меняет радикально способа воспроизводства человека. Подлинная революция в этой сфере предполагает устранение необходимости женского организма для рождения ребенка; в этом случае весь процесс органического развития будет взят под контроль. Индивиды, выращенные искусственно в специальных инкубаторах смогут свободнее адаптировать свои тела к специфическим потребностям, изменяя или даже полностью перестраивая свою физиологию. Это вызовет непредставимые сейчас сдвиги в экономическом и общественном устройстве, несравненно более значительные, чем те, что прирастают из практики клонирования.

Люди — и люди

Справедливо ли, что некоторые люди привлекают к себе внимание общества значительно больше других? Почему жизнь королевской семьи (или поп-звезды, или киноактрисы, или известного спортсмена и т. п.) должна быть интереснее, чем жизнь обычного человека, живущего по соседству? Почему, если что-то происходит с подобными «выдающимися» личностями, — это более важно, чем когда то же самое происходит с каким-нибудь человеком с улицы? Насколько это согласуется с широковещательными заявлениями о всеобщем равенстве, которые так любят буржуазные идеологи?

Люди действительно равны, когда они *люди*, то есть, когда они действуют как сознательные индивиды в соответствии с определением разума как субъективного выражения универсальной необходимости. Никакие титулы, степени, владения не способны поставить одно сознательное существо выше другого — особенно учитывая, что все эти отличия *никогда* не даются по заслугам, а даже если и выглядят вполне заслуженными, было бы неразумно полагать, что сейчас они таковы, какими были в прошлом, и такими же останутся потом. По-настоящему творческие люди действуют универсальным образом и не нуждаются в каком-то особом внимании или одобрении — они всего лишь делают свое дело. Да разве найдется награда выше, чем чувство необъятности собственных возможностей, вкус к сознательному переустройству Вселенной?

В частности, смерть леди Дианы привлекла совершенно несоразмерное внимание средств массовой информации — как если бы она отличалась хоть чем-то от миллионов других смертей ежедневно проходящих по планете. Вполне заурядная личность, которая за свою жизнь не совершила ничего выдающегося, проводя время в церемониях и примитивных увеселениях, и не испытала никаких мучений, кроме, разве что, мучительного безделья, — и ее изображали эдаким ангелом и национальным героем, чем-то необыкновенным! Популярность? Она сильно преувеличена прессой, играющей на пошлой мещанской зависти. Благотворительность? Скорее, это выглядит издевательством, когда дают беднякам грош, ограбив их на миллионы. Журналисты с пеной у рта расписывали, что только принесенные к дому Дианы после ее смерти цветы стоили 50 миллионов долларов — сотня семей могла бы припеваючи жить на эти деньги до конца своих дней, и тысячи людей могли бы избежать голодной смерти!

Смерть Дианы не имела никакого значения ни для кого, кроме ее ближайших родственников и знакомых — и уж тем более она не могла претендовать на то, чтобы стать событием планетарного масштаба. Сколько людей погибает в войнах и катастрофах, умирает от болезней и нечеловеческих условий жизни! Многие из них куда более ценны для развития человечества, чем все королевские фамилии всех времен, плюс все прошлые, настоящие и будущие президенты и министры.

То же касается разного рода популярных писателей, актеров, политических деятелей, ученых и философов... Часто можно слышать сожаления по поводу слишком раннего их ухода и спекуляции по поводу

того, что бы они могли еще сотворить, доведись им пожить еще чуть-чуть. Но на Земле много других людей, не менее творческих, которые могли бы сделать что-нибудь и получше, если бы не были вынуждены влачить существование в беспросветной нищете. Каждый разумный акт, в любой области, одинаково важен для Вселенной. Избирательность общественного интереса — это всего лишь свидетельство недоразвитости человеческого общества.

Мышеловки интернета

Все давным-давно знают, где подобающее место для бесплатного сыра. И тем не менее бедные мыши, похоже, ни капельки ничему не научились, и обещания счастья на дармовщинку до сих пор остаются излюбленным рекламным трюком и безотказным методом формирования предпочтений. Дайте людям что-нибудь за просто так, дайте им к этому привыкнуть — а потом пожинайте урожай на платном продлении. Народ тяжело вздохнет, посопротивляется немного — но, скорее всего, большинство наскребет денежек на то, в чем их приучили нуждаться. По сути дела та же технология используется наркодельцами для совращения их жертв: после нескольких бесплатных доз новоиспеченный наркоман будет готов на что угодно ради продолжения кайфа.

Интернет-бизнес никоим образом не является исключением. Компании предлагают бесплатные услуги для привлечения клиентов, как бы для пробы, — но они тут же прикроют лавочку, как только публика заглотит наживку. В частности, эра бесплатного хостинга веб-сайтов неминуемо близится к концу. Участь Yahoo! Geocities показывает общее будущее всего некоммерческого Интернета. В свое время для пользователей Geocities было шоком узнать о введении суровых ограничений на трафик и передаче всех удобств, вроде перенаправления почты и FTP, коммерческим пользователям; а спустя некоторое время этот проект закрылся вообще. Аналогично бесплатная веб-статистика от Webtrends кончилась базарным вымогательством 35 долларов в месяц за один сайт. Очевидно, и передача популярнейшего свободного хостинга от Яндекса на Ucoz — первый шаг к полной коммерциализации. Та же судьба ожидает любые другие бесплатные сервисы, и не надо быть очень яйцеголовым, чтобы до этого додуматься. Если решил пользоваться пока

чем-то бесплатным — будь готов в любой момент переселиться в другое место.

Разумеется, переезд сайта от одного провайдера к другому — дело непростое, особенно для неэкспертов, которые ведутся на обещания бесплатного и дружественного конструктора сайтов, не требующего специальных знаний. Многие из них предпочтут заплатить, чтобы не начинать все с нуля на новом месте, и не собирать опять драгоценный трафик при смене домена. Большинство сайтов могут остаться бесхозными — но остальные будут платить, и компании все равно получат свои прибыли.

Были, конечно, попытки частично сохранить содержимое потерянных сайтов (Wayback Machine, архивы на Oocities.org, Reocities.com или Geocities.ws) — но все эти кучи мертвых данных выглядят ужасно, они потеряли связность и безнадежно устарели, а потому зачастую больше приносят вреда, чем спасают положение. Гальванизированный труп — все тот же мертвец.

Единственное утешение, если можно так выразиться, — это что коммерческие услуги ничем не лучше, и платный хостинг может пропасть точно так же, как и бесплатный сайт, без всякого возмещения убытков. Рынок изобрел сотни способов сбежать без малейших обязательств. Уплаченные деньги — потерянные деньги. И, возможно, мышеловки — не такой уж плохой способ получить свою порцию сыра...

Медицинская парадигма

Проблема неправильной диагностики и/или неправильного лечения стоит во всех областях медицины — но особенно остро в психиатрии, где обычные юридические хитросплетения могут вырасти до масштабов социальной дискриминации. Корни проблемы — в самом уничижительном отношении к пациенту, которое столь характерно для медицинской практики и медицинской науки. В двух словах этот подход можно выразить так: что-то неправильно, и это надо лечить. Иначе говоря, предполагается существование некоторой единой «нормы», а любые отклонения рассматриваются как болезнь; отсюда стремление «восстановить» здоровье пациента любыми средствами, и допустимость ограничения его прав на период «лечения».

Но у разных общественных слоев разные представления о нормальности, и представления эти могут меняться в широких пределах. Решить, отвечает ли «норме» данный конкретный случай, может быть очень непросто. В результате суждение становится в значительной мере произвольным, опираясь на опыт специалиста и общественные тенденции.

Подобный «медицинский» подход можно встретить во многих сферах деятельности, далеких от медицины. Так, эта парадигма лежит, например, в основе политического реформизма. В юридической практике «преступление» и «преступник» определяются столь же относительным образом. Очень часто проявляется подобный подход и в образовании. Стандарты стиля, принятые в ряде уважаемых журналов, подпадают под ту же категорию.

Разумеется, мир еще далек от совершенства, со всеми его изъянами и бедствиями. Медицинская парадигма должна работать вместе с другими подходами ради улучшения условий жизни и облегчения страданий. При разумном использовании она становится обычным способом решения повседневных проблем. Однако следует всегда уравнивать ее многообразием альтернативных воззрений на «норму» и «отклонение». Существование подобной «оппозиции» никоим образом не умаляет важность медицинского вмешательства, вплоть до самых жестких решений, навязанных пациенту «принудительно». Но методы лечения должны со временем становиться все менее травматичными; здесь необходимое дополнение медицинской парадигмы, ее обратная сторона. Этот прогресс, однако, прокладывает себе путь лишь в практике, через опыт, — и можно сказать, что пациенты наших дней платят своими страданиями за покой будущих поколений.

Культура и антикультура

В развитии культуры и человеческой духовности наблюдаются две противоположные тенденции. По самому определению духовности, она подвигает людей к неуклонному расширению освоенной сознанием области, вплоть до мира в целом, — и тем самым делает их более универсальными. Однако это развитие происходит не всегда прямолинейно, и на некоторых этапах экономического развития может возобладать деструктивная тенденция, приводя к общему духовному

вырождению — и, возможно, к уничтожению субъективности как таковой.

К сожалению, нынешний уровень культурного развития еще не настолько высок, чтобы гарантировать иммунитет человеческого разума по отношению к этим временным отступлениям; саморазрушение может в конечном итоге дойти до той грани, из-за которой нет возврата. Современные люди — наполовину животные, и можно легко манипулировать их первобытными инстинктами, подогревая их до такой степени, что собственно человеческая половина оказывается полностью отброшенной.

Так, книга (или кинокартина), смакующая сцены изощренной жестокости, восхваляющая варварское насилие или сверхъестественную способность уходить от опасности, вызывает к древнему инстинкту самосохранения, и это может сделать ее привлекательнее для среднего человека, поскольку состояние постоянной неустойчивости и страха, типичное для капиталистического строя, постоянно подталкивает людей к отказу от высших желаний ради простого выживания; в результате поиски защиты затягивают людей настолько, что о духовности говорить уже не приходится, — и они даже вообразить себе не могут будущего, свободного от животной борьбы за существование.

Погоня за сенсациями в прессе — из того же раздела. Ради повышения продаж газеты будят первобытные инстинкты, как будто ничего другого и быть не может. В новостях все забито преступлениями, войнами, грязной политикой и т. п. Книжки и кино формируют культ грубой силы. Почему бы не описать вместо всего этого нормального человека, живущего сознательной жизнью в подлинно гуманном обществе, постепенно продвигающемся по пути все большего окультуривания? Может быть, такие истории были бы слишком скучны, чтобы хорошо продаваться? Нет, причина тут в другом: они слишком опасны для торгашей, поскольку подрывают саму идею борьбы за существование, конкуренции, разрушая по сути дела всю общественную систему, на этом основанную.

Пресса и большая часть искусств развивают особую субкультуру, которую, скорее, следовало бы назвать антикультурой за ее крайнюю враждебность всякому проблеску разума. Но эта субкультура никогда не сможет поглотить культуру целиком; художники и артисты, писатели, ученые и т. п. отнюдь не всегда культурны — и в этом плане они не отличаются от представителей «нетворческих» профессий. В наши дни

подлинная культура по преимуществу находится в глубоком подполье. Но речь идет не об официальном «андеграунде», который представляет собой лишь одну из разновидностей антикультуры, — духовность скрыто присутствует в продуктах человеческой деятельности и в поступках людей иной раз даже тогда, когда они об этом и не догадываются.

Юбилеи

Многочисленные юбилейные и мистические даты стали поистине чумой нашего времени. Вместо того, чтобы думать о насущных потребностях и делать то, что требуется в нормальном развитии вещей, народ ввязывается в подготовку очередной помпезной церемонии, или трясется в страхе перед очередных концом света.

Поистине странное обыкновение. Даже в личной жизни человека совершенно неважно, сколько лет, дней или микросекунд он сумел протянуть с момента рождения; единственное, что имеет смысл, — есть ли у него что-то в прошлом, чем можно было бы гордиться, и есть ли еще возможность достичь чего-то в будущем. Жизнь измеряется такими достижениями, а не страницами календаря.

Крайне странно, что этот абстрактный подсчет лет иногда становится официальным событием, зачастую предполагая дорогостоящую публичную кампанию. А что если я не знаю эту как бы знаменитость? Или мне просто дела нет до тех свершений, которые этой знаменитости приписываются? Никто ведь не может (и не должен) быть известен вообще всем и признан всеми без исключения. Но если я могу прохладно относиться к юбилеям реального лица — почему я должен праздновать дни рождения тех, кого на самом деле, скорее всего, и не было, — вроде г-на Иисуса Христа?

То же относится и к историческим событиям разного рода. Что меняет, если с некоторого общеизвестного (или малоизвестного) дня прошло 100 лет, а не 207, или 53? Само понятие юбилея весьма приблизительно и часто противоречиво. Что следует принять за продолжительность года? Здесь нет никаких физических констант, к которым ее можно было бы привязать (а нынче предполагают, что и физические константы подвержены изменению). Есть разные календари — который из них взять за основу для определения

юбилейных дат? А когда речь заходит о сроках длиной в столетия, перевод древних дат в современные представляет собой серьезную научную проблему, далекую пока от окончательного решения. Плюс к тому, некоторые календари весьма подвижны, подчиняясь многочисленным официальным и религиозным предписаниям относительно «разрешенных» дней; расчет правильной юбилейной даты становится тогда настолько сложным, что сама идея юбилея кажется призрачной.

Как и с воображаемыми персонажами, бывают надуманные исторические юбилеи. Так, никто не знает точной даты основания Москвы; скорее всего, такой даты просто не существует, ибо многие города постепенно росли вокруг старых деревень и первобытных поселений, и возникали без каких-либо официальных деклараций. Тем не менее, в 1997 году помпезное празднование 850-летия Москвы обозначило еще одну вершину всеобщего идиотизма. Разоренная страна с вымирающим населением и агонизирующей экономикой ограблена московскими властями ради того, чтобы выбросить многие миллионы долларов на примитивные увеселения, ничего такого, что можно было бы вспомнить. Миллионы трудящихся не получали зарплату по несколько месяцев — и потраченных впустую денег хватило бы, чтобы рассчитаться с долгами. Семья из двух человек могла бы безбедно жить на это 50000 лет! Говорят, что народу нужны праздники. Так ли это на самом деле? Кучка богатеньких обитателей страны, пресытившись обычными развлечениями, требует новых удовольствий — за счет бедных.

Обратимся теперь к нумерологии. Чем, собственно, одна дата лучше (или хуже) другой? А миллионы обывателей верят, что 10.10.10 означает нечто особенное, а 21.12.2112 выглядит ну просто концом света, поскольку это последняя круглая дата в григорианском календаре. Им не приходит в голову, что даты в разных местах записывают по-разному (например, в американской нотации вышеупомянутый «конец света» выглядит как 12/21/2112, что совсем не так привлекательно с нумерологической точки зрения). Им наплевать на существование различных хронологических систем (и в частности на разницу в несколько дней между юлианским и григорианским календарями). Ну и, конечно же, они не вспоминают о совершенной произвольности самой точки отсчета, связанной с выдуманным рождением сказочного персонажа.

Бывает, нумерология побеждает даже официальные юбилеи. Например, для многих начало нового тысячелетия связано с 1 января 2000 года — хотя 2000 лет со дня рождения мифического Иисуса Христа отмечались бы на год позже. Ну и ладно! — два раза встречать тысячелетие лучше, чем один, — будем праздновать оба.

Уничижительный почет

Начало XXI столетия отмечено массовой кампанией, направленной на изменение отношения общественности к женской физиологии. То, что традиционно полагалось убирать подальше от глаз, вдруг получило широкую огласку, и все знаменитости наперебой вдруг стали выставлять напоказ свои гигиенические прокладки и сниматься обнаженными во время беременности. Это пропагандируется как еще один прорыв в деле эмансипации женщин и свидетельство глубоко рационального подхода. Мы уважаем женщин такими, как они есть, со всеми их физиологическими проблемами. Мы почитаем их за то, что они дают жизнь новым поколениям. Мы принимаем их органические отправления, полагая, что это делает их более сексуальными. То, что естественно, не заслуживает презрения.

Но почему, собственно, требуется сводить разумное существо к одной лишь органической природе? Разве можем мы выявить нашу субъектность, нашу духовность, подчеркивая, что все еще остаемся животными в потребностях нашего тела? Для того, кто обладает сознанием, гораздо логичнее сделать упор на способности преодолевать физиологические ограничения, становиться более универсальными. Но в этом плане пол совершенно не относится к делу, и только здесь начинается подлинная эмансипация.

Превозносить женщину за ее беременность — значит рассматривать ее только лишь как самку, отказывая ей в звании сознательного существа. Что может быть унижительней? Разум дан нам для того, чтобы прекратить, в конце концов, пытаться женщин их органическими особенностями, окончательно освободить их от репродуктивной функции и тем самым дать им свободу сознательной деятельности.

Стили ссылок

При рассмотрении любой проблемы трудно избежать упоминания (или, хотя бы, намек на) то, что писали по этому поводу другие. Это

нормальный способ введения новых идей в существующий культурный контекст, без чего взаимопонимание просто невозможно. Люди не просто рассказывают друг другу, что они думают — они также дают партнеру как можно больше концептуальных зацепков, чтобы облегчить встраивание чужих идей в его собственную картину мира. Для продуктивного диалога требуется найти некоторую исходную общность, область предварительного согласия, которая могла бы в дальнейшем расширяться в процессе общения. Это как раз то, что могут дать ссылки.

Разумеется, чтобы служить такими коммуникативными мостиками, ссылки должны указывать на нечто знакомое всем участникам. С другой стороны, ссылки на общие места ничего не дают, поскольку они никак не связаны с темой беседы. На практике может быть непросто найти правильное соотношение общности и специфичности, и зачастую требуется глубже познакомиться с партнером, чтобы стали возможны осмысленные дискуссии.

Никто не может знать вообще все. Ни кто не в состоянии прочесть все книги, лично осмотреть любую вещь, пережить любой поворот истории. По счастью, этого и не нужно для продуктивного мышления; переоткрывать то, что уже много раз было открыто другими, — это нормальный механизм человеческого развития. По сути дела, каждый ребенок проходит этот путь, открывая для себя мир заново. С другой стороны, человечество очень неоднородно, и разные общественные группы охватывают разные культурные области; то, что у одних считается общеизвестным и само собой разумеющимся, может казаться экзотикой у других. Ссылки часто выступают в качестве механизмом привязки к культурному контексту, указывают референтную группу.

Бродить по ссылкам полезно также для контроля над собственной рефлексией. Например, если я вижу кого-то, кто действует похоже на меня, у меня может возникнуть желание поближе познакомиться с этим человеком и, возможно, позаимствовать какие-то интересные идеи. Напротив, если обнаруживается совпадение с кем-то, кто мне не по душе, это либо указывает на непоследовательность моего мышления, либо требует переоценки другого.

С учетом всего этого, появление ссылок в разговоре может происходить совершенно естественно, быть желательным и способствовать делу. Однако, чтобы стать действительно полезными, ссылки должны подчиняться определенным правилам. Так, простое упоминание имени без указания на то, чем конкретно оно связано с

темой беседы, скорее всего, окажется совершенно напрасным. Многие научные публикации этим грешат; авторы стремятся напичкать их упоминаниями лиц, совершенно не имеющих отношения к делу, — исключительно «для полноты». Эта привычка насаждается, в частности, традициями ряда «академических» изданий, где оценка представленных к публикации работ существенно зависит от списка ссылок. Встречается подобное и в живом разговоре, и можно иногда наблюдать, как собеседники соревнуются в перечислении имен, так что на содержательную беседу времени уже не остается.

Еще один пример дурного стиля — «ругательные» ссылки, когда один собеседник просто обзывает другого, кидает ему в лицо пустые имена, наклеивает абстрактные ярлыки, не особо заботясь о ясности и рациональности. Какой прок в том, чтоб назвать кого-то витгенштейнианцем? Нет уж, пожалуйста, объясните, чем данный конкретный человек напоминает Вам г-на Витгенштейна, в каких из его ипостасей. Но как только Вы это сделаете — всякая нужда в упоминании Витгенштейна просто отпадает. Истинный смысл подобных ссылок можно выразить в четырех словах: ты мне не нравишься. Часто «ругательные» ссылки используются, чтобы ошеломить партнера, подавить его суждение, унижить его. Но на деле тот, кто позволяет себе такое обзывательство, лишь демонстрирует свою неспособность к связному мышлению, и тем самым унижает себя.

И еще один частный случай — избыточное цитирование. Ссылки этого стиля могут быть правильными по сути, и их связь с темой разговора четко прослеживается, однако в какой-то момент их количество начинает превышать «критическую массу», за которой дополнительных примеров уже не требуется. Когда утверждение достаточно подкреплено ссылочным материалом, дальнейшее нагромождение возможных взаимосвязей становится раздражающе бесполезным.

Хорошо сбалансированный стиль ссылок сочетает адекватность, дружественность и умеренность — чтобы партнеры могли наслаждаться беседой и помогать друг другу в развитии их собственных воззрений.

Благотворительность без намордника

Благотворительность — одно из самых одиозных субъектных проявлений классовой структуры современного общества, целиком

основанного на экономическом и социальном неравенстве. Богачи любят расписывать, сколько они тратят на всякого рода подаяния, пытаясь представить это как свидетельство их щедрости, гуманизма и социальной ответственности. А буржуазная пресса всегда готова воспеть хвалу добреньким человечкам, которые так заботятся о своих соседях, по какой-то странной случайности оказавшихся без гроша в кармане или во власти болезней. На самом же деле благотворительность — сплошное лицемерие, грим на уродливой роже капитализма.

Прежде всего, благотворительность не имеет ничего общего с человеколюбием, это одна из разновидностей бизнеса. Последствия каждого пожертвования хорошенько просчитываются, а за кулисами идет борьба за установление таких правил игры, при которых прибыль от благотворительности будет максимальной — это скрытое дополнение показного добросердия.

Другая сторона того же: чем больше благотворительности, тем больше эксплуатации. Богатые никогда не расстанутся с тем, что принадлежит лично им — они привыкли платить из чужого кармана. Чтобы отдать \$1000 беднякам, они отберут по одному центу у миллиона других бедняков, и таким образом получают 10000 долларов, то есть, \$9000 чистой прибыли. Разумеется, цифры тут чисто для иллюстрации; реальная пропорция, скорее всего, еще более сдвинута в пользу богатых.

То же относится и к благотворительности на международном уровне, включая все виды экономической помощи, гранты, гуманитарную помощь. Деятельность А. Хаммера и Дж. Сороса — весьма наглядный пример. Помимо прямой выгоды, международная благотворительность направлена главным образом на переориентацию национальных экономик в таком направлении, чтобы поставить их в зависимость от товаров и инвестиций стран-доноров.

Есть еще и сугубо субъективный аспект, нечистая совесть. Буржуй часто понимает, что богатства его нажиты несправедливыми средствами, за счет лишения многих людей того, что принадлежит им по праву. Иногда господствующему классу приходится отбиваться от публичных обвинений подобного рода; поэтому богачи чувствуют себя увереннее, имея в кармане парочку красочных примеров благотворительности. Такие «контрпримеры» — их единственное оружие в их духовной борьбе с самими собой.

Однако простое сравнение стиля жизни богатых и бедных выпячивает совершеннейшую несостоятельность подобных оправданий.

Так, какой-нибудь «новый русский» может потратить за недельку где-то на Гавайях сумму, достаточную для того, чтобы тысяча простых русских спокойно жили несколько лет. Вечернее платье миллионерши может стоить столько, что можно было бы с головы до ног одеть сотню обычных людей. Обед в фешенебельном ресторане обойдется дороже, чем годовые расходы на пропитание у бедняка. Найдется ли богач, которые согласился бы жить всегда в таких же условиях, как те, помощью кому они так хвастают?

Но самый отвратительный вид благотворительности — разного рода акции и кампании. Когда кучка миллионеров развлекается «в пользу бедных», швыряясь деньгами на благотворительном аукционе или приеме, под соусом рассказней о том, как все эти «взносы» будут потрачены на нужды бедняков, — возникает только один вопрос: а на фига? Неужели же нужно тратить бешеные деньги на собственные увеселения, да еще отвешивать изрядный куш их организаторам? Не лучше ли было бы просто взять эти деньги и передать бедным, отбросив весь дурацкий антураж? А еще лучше — вложить их в построение нового общественного строя, при котором исчезло бы само различие богатых и бедных.

Время от времени кто-то из богачей может и в самом деле пожелать принести пользу страждущим. Но сама организация капиталистического общества не даст таким людям стать слишком щедрыми и бескорыстными. Поведение представителей разных социальных слоев регулируется строгими нормами, и любое отклонение от того, как «принято», будет наказано чем-то вроде кастового остракизма, и состояние нарушителя спокойствия быстро придет к такому уровню, что дальнейшая филантропия станет экономически невозможной. Капиталист должен вести себя как капиталист, чтобы остаться капиталистом, — точка. Только коренное изменение общественного устройства может сделать бедность воспоминанием прошлого, навсегда вычеркнув само слово «благотворительность» из лексиконов мира.

Интеллектуальная собственность и пираты

Я приветствую великую армию интеллектуальных пиратов, хакеров, взломщиков, контрабандистов и плагиаторов!

Они так много делают, чтобы донести до бедных то, что исходно предназначалось богатым, и раскрыть намеренно скрываемые технологии.

Чего стоит ваша хваленая свобода без права овладевать и пользоваться любыми достижениями культуры для раскрытия собственных талантов? Почему обладатели толстых кошельков должны быть свободнее в этом отношении, чем те, у кого и тонких-то кошельков нет?

Ситуация преисполнена сарказма: те, кто ничего не производит, владеют средствами производства — а те, кто умеет делать по-настоящему полезные вещи, лишены того, что им требуется для работы.

Вы можете, конечно, заметить, что подобная ситуация типична в основном для недоразвитых стран, вроде России, — а в индустриальных странах, таких как Великобритания или США, работники получают достаточно, чтобы позволить себе потратиться на нужную вещь. Какая разница? Если население одной страны в среднем богаче населения другой — нет ли тут какого-то глобального перекоса в распределении богатств? У всех «цивилизованных» стран есть долги, которые они вряд ли когда-либо заплатят, и благополучие их граждан основано на банальном грабеже.

Вы могли бы утверждать, что патентное право побуждает людей заниматься тем, на что они никогда бы не решились, не имея в виду солидной прибыли лично для себя. Так, фармацевтическая компания не станет вкладывать средства в дорогостоящие исследования и разработку новых препаратов, если потом кто угодно просто возьмет их и будет здоров. А если есть, что продать, — появятся и новые медикаменты, что пойдет на пользу человечеству в целом. Но кто для вас представляет это самое «человечество»? Подобные коммерческие предприятия улучшают в основном жизнь богатых — которые и так живут относительно неплохо. А бедным до таких исследований дела мало, ибо все, на что они могут надеяться, — поиграть когда-нибудь игрушками, которые богачам уже не нужны. Если уж делать что-то в интересах человечества, так надо просто отобрать средства у тех, у кого их слишком много, да пустить на исследование — так, чтобы результаты были доступны всем, под строгим международным контролем.

Вы могли бы заявить, что патенты защищают авторские права. Какие права? И существуют ли они вообще? Если речь идет о праве скрыть ценную информацию от тех, кто в ней по-настоящему

нуждается, — так гори все патенты ярким пламенем! В любом случае, крупная компания всегда может заставить автора продать свое изобретение за символическую цену — и потом качать прибыли для тех, кто ничего общего с авторством не имеет. Компании могут даже запретить использование изобретения, если им это покажется более выгодным; ну, и как тогда быть с интересами человечества? Концентрация интеллектуальных прав в руках богатых дает им также возможность лишний раз отнять у производителей средства производства, заставить изобретателей работать на фирмы, которым они продали свои идеи, интеллектуально поработить.

Да, патенты обычно имеют ограниченный срок действия, и спустя, скажем, 17 лет, всякий вправе пользоваться изобретением без ограничений — так что человечество, вроде бы, получает его все равно. Но какой прок от того, что было актуально 17 лет назад? Культурный контекст постоянно меняется, и нескольких лет достаточно, чтобы многие полезные вещи безнадежно устарели. Кто станет теперь интересоваться секретами MS DOS 3.x иначе как из чистого любопытства? Всякое знание хорошо в свое время — а патенты закрываются только тогда, когда никакой практической ценности их содержимое уже не представляет.

Наконец, вы можете указать, что интеллектуальные пираты — отнюдь не филантропы, что они действуют лишь ради собственной выгоды. Да, это так. Но объективно их бизнес дает знание людям, которые способны творить, но не могут себе позволить дорогостоящие покупки. Пиратский диск, купленный за каких-нибудь десять долларов, может содержать программ на многие тысячи. Пиратские аудио- и видеозаписи продаются в 5-10 раз дешевле, чем лицензионные копии. К тому же многие из этих материалов можно получить совершенно бесплатно.

Конкуренция с пиратским рынком побуждает держателей авторских прав снижать легальные цены и даже открывать некоторые продукты для свободного распространения, делая главный упор в бизнесе на разного рода сервисы. Это еще один повод похвалить пиратов. На самом деле, многие компании вовсе не заинтересованы в искоренении пиратов, поскольку нет лучшей рекламы, чем продажа на пиратском рынке. Те, кто приучен пользоваться определенными продуктами, пусть даже добытыми у пиратов, с большей вероятностью купят при случае что-то

необходимое у тех же производителей — или, по крайней мере, смогут оказать влияние на тех, кто принимает решения.

Трудоголики и человеческая универсальность

Современный стиль бизнеса ориентирован на то, чтобы заставить работников трудиться как можно больше — он поощряет желание работать хоть 25 часов в сутки, без перерывов и побочных занятий. Это затрагивает работников высшего звена в той же мере, как и персонал низшего уровня, и часто начальники побуждают подчиненных к дополнительной работе примером своей собственной круглосуточной занятости. Компании крадут личное время работников, организуя разного рода корпоративные развлечения (приемы, вечеринки, сборы, туризм и т. д.). Как правило, люди вынуждены участвовать во всем этом, чтобы продемонстрировать корпоративный дух — и внешне это не слишком-то похоже на отдых и веселье — случайный прохожий мог бы, скорее, подумать, что все заняты каким-то ответственным делом. В конце концов люди разучиваются отдыхать и начинают подменять расслабление сменой деятельности — и эта безостановочная суэта понемногу перерастает в извращение.

В силу самого своего определения, сознательный субъект требует универсальности; поэтому чрезмерная увлеченность работой — чрезвычайно опасная тенденция, ибо она ведет к полному разрушению личности. Людям *надо* иногда расслабляться, отказываться от каких либо дел вообще, а не только заменять одни занятия другими. Это не имеет ничего общего с потерей времени — напротив, это один из основных механизмов личностного развития, и развития субъективности как таковой. Когда у человека нет возможности пассивно отдыхать, когда он вынужден проводить всю жизнь в борьбе за существование, продвижении по службе, добывании денег, новых впечатлений или общественного признания — он быстро деградирует, становясь вместо разумного существа каким-то животным, а то и просто неодушевленной вещью.

Трудоголизм — социальная болезнь, — как курение, алкоголизм или наркомания. У него много общего с другими случаями психотической зависимости от внешней стимуляции, такими как истерия или психопатии. Эти заболевания характеризуются неумением сознательно

контролировать собственную мотивацию, и следовательно недостаточным самоуважением и неудовлетворенностью собой, которые приходится маскировать лихорадочной активностью. В каком-то смысле, это противоположность шизофрении — но именно поэтому трудоголизм может перерасти в шизофрению, если в силу каких-то социальных ограничений вечный бег в никуда становится вдруг невозможным.

Как и другие социальные болезни, трудоголизм с трудом поддается лечению. Терапевт может устранить какую-либо суррогатную деятельность — но на ее место тотчас придет другая; всякий успех оказывается лишь временным, с неизбежностью возвращения болезни, пока ее социальные корни существуют по-прежнему. В ряде случаев терапия может вырастить у пациента твердое намерение радикально переменить образ жизни — однако одной решимости тут недостаточно, и требуется еще и достаточно благоприятная общественная среда, допускающая вариативность деятельности. Так, если человеку трудно найти работу, достаточно высокооплачиваемую, чтобы содержать семью, он вынужден цепляться за то, что есть, и демонстрировать лояльность, и пытаться «ублажить» руководство... Любое проявление независимости может в таких обстоятельствах иметь катастрофические последствия — тем самым, налицо комплект условий для возникновения трудоголизма как разновидности психологической защиты.

Трудоголизм тесно связан с низким уровнем контактности в транзакционной иерархии личности — то есть, с доминированием синкретизма и формальной коммуникации, со слабой развитостью синтетического общения (близости). Те, кто всегда может найти кого-то, о ком можно было бы заботиться и кто способен ответить заботой, менее склонны впадать в трудоголизм. Но подобная близость — явление нечастое, и ее не заменить простым времяпровождением в компании чужих друг другу людей, которых связывает лишь общая потребность в том, чтобы скрыть свою социальную ущербность.

Кризис среднего возраста?

Психотерапевты любят поговорить о психологическом кризисе, который многие испытывают в возрасте от 35 до 45 лет. На этот счет придуманы многочисленные объяснения, такие как лишение роди-

тельской поддержки и отсутствие социальной замены, чувство чрезмерной завершенности, осознание невозможности осуществить мечты молодости, раскрытие поведенческих сценариев, заложенных предками, изменения в характере сексуальности или... Но все эти объяснения *исходят из индивида*, и поэтому единственное решение, которое им доступно, — посоветовать как-то изменить себя, свое отношение к миру и мировоззрение — но отнюдь не сам мир.

Однако нет ничего в субъекте, что не имело бы объективных предпосылок, и корни любого психологического кризиса следует искать в экономическом положении человека и его социальном окружении. Достаточно внушить кому-то, что в его существовании никто не испытывает особой нужды, — и вот вам еще один душевный кризис. И возраст тут абсолютно ни при чем — с такими проблемами может столкнуться всякий и всегда. Например, психологи придумали еще и «кризис взросления», который наступает после 20 лет, в период, когда подросток превращается в зрелого человека. В какой-то мере и кризис переходного возраста можно трактовать в том же русле.

Получить представление о том, как общество закрывает пути в будущее для своих стареющих членов, можно просто полистав рубрики с предложениями трудоустройства в российской прессе. Практически любое предложение содержит слова «до 35 лет», иногда «до 40», с очень редкими исключениями типа «до 45» или до «50». Для женщин порог еще ниже. У тех, кто потерял работу после 40 лет, — практически нет шансов вернуться к активной деятельности. Изобрели даже специальный термин: «экономически активное население» (я оставляю пока в стороне вопрос о дискриминации по признаку «репродуктивной активности»).

У лиц старшего возраста, как правило, гораздо меньше возможностей получить дополнительное образование, и если чья-то профессия вдруг потеряла актуальность — варианты с профессиональной переподготовкой после сорока лет даже не рассматриваются. Короче, общество просто выталкивает за борт сорокалетних — а субъективно это переживается как кризис среднего возраста.

Требование определенных профессиональных навыков является также одной из основных причин «кризиса взросления». У молодых мало опыта практической работы, и они, как правило, не могут претендовать на достойное место в жизни; отсюда чувство нелюбимости.

Очевидно, если бы у каждого была возможность в любой момент начать новую жизнь, с бесплатным переобучением и отсутствием необходимости содержать дом и семью, ничего трагического в достижении очередного рубежа в своей деятельности никто бы не ощущал. Человек мог бы выбрать другую дорогу, или просто остановиться на время, подумать и решить, что делать дальше. Кризис среднего возраста — результат искусственно культивируемых стрессов и фрустрации: борьба за существование не знает перерывов, и всегда найдутся барьеры, преодолеть которые не позволит само устройство современного общества.

Разумеется, Россия — отнюдь не исключение. Совершенно то же самое относится и к высокоразвитым странам, вроде Франции, Англии или США. Однако там дикий капитализм прошлых веков давно укрощен мерами неэкономической регуляции, и так откровенно ввести ограничения по возрасту, как в России, не получится. Работодатели вынуждены изобретать многочисленные приемы скрытой дискриминации. Всегда можно оправдать предпочтение более молодым кадрам соображениями производительности труда. Действительно, молодые образованы в соответствии с современными требованиями, они более агрессивны, менее озабочены семьей и здоровьем. Точно так же соображения большей профессиональной пригодности могут стать предлогом для отсева слишком молодых претендентов. В некоторых странах даже существуют специальные правительственные программы для содействия трудоустройству таких социальных слоев. Но подобные меры противоречат самой природе капитализма — и потому от них отказываются в первую очередь, как только экономика сталкивается с серьезными трудностями.

Конец мифа о ГУЛАГе

Россказни о сталинском терроре в 1930-х и 1940-х — это, мягко выражаясь, необоснованное преувеличение. В предвоенном СССР количество заключенных не превышало обычного для остальных стран того времени уровня, а условия их существования были ничем не хуже, чем в Великобритании или США. Лишь гораздо позже, уже после смерти Сталина, пенитенциарная система СССР сильно отстала в своем развитии от передовых капиталистических стран — но связано это

прежде всего с холодной войной и жестким экономическим прессингом извне, а отнюдь не с какими-то внутренними тенденциями социализма: страна просто не могла позволить себе выделять достаточно средств на улучшение условий содержания заключенных.

В среднем количество заключенных все время держалось на уровне 2–2.5 % от полной численности населения. Точно так же, как и в европейских странах и в США, большинство из них — самые обычные преступники, осужденные в соответствии с существующим законодательством. Я лично знал кое-кого из тех, кто выдавал себя за жертву сталинского террора, среди них даже несколько моих родственников. Насколько я могу судить, все они так или иначе нарушили закон и были наказаны соответственно. Одна из функций любого государства — сохранение целостности, пусть даже путем накладывания формальных ограничений на жизнедеятельность его граждан.

Очевидно, правовые нормы СССР должны были отличаться от законодательства капиталистических стран, и было бы абсурдом пересматривать каждое дело в буржуазном суде. Так, всякого рода спекуляция есть совершенно нормальное явление с точки зрения буржуа — тогда как при социализме она идет вразрез с его фундаментальными принципами и должна квалифицироваться как преступление. Но когда социалистическое государство совершенно законными средствами подавляло частное предпринимательство, буржуи всех стран хором вопили о нарушении прав человека. Грубо говоря, те, кто боролся с Советской властью, — преступники с точки зрения этой власти; но те, кому эта борьба была выгодна, разумеется, не считали их преступниками, а напротив, обвиняли в любых грехах советский строй.

Все это самоочевидно, ничего кроме простой рациональности. Однако в последние годы существования СССР общественное мнение подвергалось интенсивной обработке со стороны буржуазных пропагандистов, и многие уступали давлению, под впечатлением длинных списков якобы репрессированных и живописных картин сталинских концлагерей. Всякое сравнение с остальными частями света намеренно оставлялось в стороне, так что факты становились злейшей формой лжи, а отдельные кусочки так перемешивались, что целого за ними было уже не узнать.

Сегодня истина начинает понемногу, и очень робко, заявлять о себе на публике. В *Московской правде*, полуофициальном органе

московского правительства, в номере от 28 июля 2001, можно найти статью Эрика Коляра, в которой количество заключенных в бывшем СССР сопоставлено с условиями новой России. Оказалось, что в буржуазной России заключенных еще больше, чем в сталинские времена, а условия их содержания значительно ухудшились после реставрации капитализма. Как пишет Котляр, уровень смертности в ГУИН (российский аналог ГУЛАГа) настолько высок, что за это начальника любой сталинской тюрьмы немедленно сняли бы при первой же проверке. А уж попасть в тюрьму ни за что теперь значительно проще, чем при Сталине.

Можно только удивляться, как советской власти удавалось сохранять масштабы ГУЛАГа столь ограниченными, а судебную систему настолько терпимой, в условиях предвоенного и послевоенного времени, несмотря на грандиознейшую подрывную деятельность ведущих капиталистических держав, крайне низкий уровень общественного сознания, всепроникающую идеологическую коррупцию. Тот факт, что Советский союз просуществовал целых 70 лет, а не несколько месяцев, и стал одной из самых сильных стран мира, можно объяснить только глубинной истинностью коммунистической идеи.

Разумеется, были и те, кто попадал в тюрьмы по ошибке, или кого просто подставили. Был и какой-то процент собственно политических заключенных. В этом отношении СССР ничем не отличался от развитых капиталистических стран. А даже одна невинная жертва — это уже трагедия. Всякая исправительная система уязвима уже в силу неизбежного отсутствия должной гибкости — чем и пользуются подлецы. Я знал людей, сосланных на Колыму ни за что, по предубеждению, из чистой перестраховки. Но они не плакались, не винили социализм; многие оставались, несмотря не все пережитое, настоящими коммунистами — и всячески старались улучшать жизнь людей, пусть даже ценой собственной жизни. Остается только сравнить с ними тех, кто кричит о терроре и репрессиях, — умудряясь при этом всегда оставаться при своем, возвращаясь к вредительской деятельности после отсидки. Такие в конце концов и разрушили СССР, и теперь строят новые капиталистические государства на костях миллионов людей, которых они лишили самого необходимого. Капиталисту и в голову не придет, что некто, умерший от голода за тысячи миль от него, — жертва капиталистической экономики. Буржуа

будет протестовать, если его объявят убийцей. Как же! — он же никого не зарезал, он только душил людей экономически, всего-навсего не позволяя им жить.

Черный вторник: кризис цивилизации

11 сентября 2001. В 8:45 и 9:03 по местному времени два угнанных самолета с пассажирами протаранили здания-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В 9:43, в Вашингтоне, еще один самолет разрушил западное крыло Пентагона. Тысячи людей погибли.

За что боролись — на то и напоролись.

Как бы ни была ужасна потеря стольких жизней и разрушение целого городского квартала, но именно американцы виноваты в том, что подобные акты насилия стали возможны. Самая мощная нация мира уверовала в свое предназначение вершить высшее правосудие, она боготворила силу и террор, культивировала жестокость и агрессию. Голливуд уже столько раз разрушал Нью-Йорк на экранах! — неудивительно, что в конце концов кому-то захотелось претворить киношную фантазию в реальность. Вся американская культура основана на единственном императиве: убей врага. Если ты силен — уничтожь физически. Если слаб — купи убийцу. Если не можешь убивать сам, и нет денег, чтобы заставить убивать других, — тогда ты жертва, и всякий имеет право убить тебя. Кровь и страх витали в воздухе — и трагедия вовсе не стала неожиданностью.

Но самое ужасное — то, что кошмарный опыт ничему людей не научил. Газеты приводили результаты социологических опросов: 70% американцев поддержали бы любую акцию возмездия, в любой части мира. Они готовы принести в жертву жизни тысяч людей, которых они никогда не знали, за деяния горстки преступников; можно с уверенностью предсказать, что как раз эти-то и не будут наказаны, ибо у них достаточно денег, чтобы спрятаться за финансовым щитом, а капитал куда дороже человеческой жизни в этом безумном мире, который построила Америка. По разным сообщениям, после атак на американские посольства в Африке от 70 до 1000 крылатых ракет

было выпущено по лагерям Бен Ладена (ср. с 300 ракетами, поразившими Ирак во время «бури в пустыне»). Ну и что, повредило это хоть сколько-нибудь Бен Ладену и его состоянию? А теперь генералы в «разрушенном» Пентагоне грезят планами «третьей мировой войны» цивилизованного мира против всех остальных, предположительно не настолько цивилизованных (или просто недостаточно покорных?).

На самом деле США уже давным-давно развязали эту необъявленную войну против всего мира. Корея, Вьетнам, вторжение на Гренаду, бомбардировки Ливии и Ливана, недавняя агрессия против Югославии... Кто станет следующей мишенью? Найдется ли хоть одна террористическая группировка, которая уничтожила людей больше, чем американская солдатня за морями и океанами? Добавьте сюда бесцеремонное вмешательство в экономику и политику других стран, подрывную деятельность в любой точке земного шара — и вот вам картина злейшего из всех видов терроризма, государственного терроризма. Столь глобальное насилие непременно должно вызывать не менее губительную реакцию.

Американские политики любят поболтать о борьбе против терроризма, используя этот треп в качестве ширмы для любых грязных делишек. А чтобы всегда иметь под рукой столь удобную отговорку, они сами провоцируют террористов, как в хорошо известной манипулятивной игре «полицейские и воры», описанной американским психологом Э. Берном. Американские банки и заводы нуждаются в конфликтах за рубежом, их благосостояние основано на человеческих костях и крови. А теперь пролилась и американская кровь.

Остановит ли это нескончаемый поток триллеров и вестернов, звездных войн и компьютерных баталлий? Обуздает ли это дух конкуренции, гонку за успехом любой ценой? Почему одни люди должны становиться победителями за счет других, побежденных? Когда, наконец, человечество перестанет жить по законам джунглей и начнет жить по законам разума, как это и подобает разумным существам?

Возможно, чтобы мы смогли ответить на эти вопросы, потребуется не одно десятилетие и много новых трагедий. Но отвечать придется все равно — иначе сознающее себя человечество просто перестанет существовать.

Интернет как поле классовой борьбы

Наблюдая за развитием Интернета (и прежде всего его популярного фасада, WWW), не перестаешь удивляться, как можно такой мощный инструмент продуктивного общения, средство интеграции знаний на благо всего человечества и каждого отдельного человека, — как можно использовать его столь расточительно на раздражающую рекламу, тупую болтовню и глупые развлечения? Почему становится все труднее найти немного бесплатной вмняемой информации по конкретному вопросу, и надо перерывать тонны всякого мусора, чтобы открыть парочку интересных страниц?

Обычный ответ: люди вольны развивать Интернет, как им заблагорассудится, и если они хотят иметь там весь этот хлам — они его туда вывалят. Это торжество демократии и свободы волеизъявления. Спрос определяет предложение: если что-то хорошо продается, кто-то будет это производить. Рыночная экономика, азы.

Но так ли уж свободны люди в Сети, как об этом во всеуслышание заявляют? И так ли уж глупы потребители, как их малюют апологеты капитализма?

Если я ненавижу всяческий шум и хочу найти такое место, где можно было бы тихо и мирно жить, — я его найду? Я хочу, чтобы без рекламы, без купли-продажи, без лжи, сплетен, выпячивания напоказ чьей-то личной жизни, без извращений, насилия, без границ и виз, без политики... Можно мне хоть чуточку такой свободы? Я всего лишь хочу, чтобы не нужно было заботиться о том, как бы заработать на кусок хлеба, — и можно было бы спокойно творить, способствуя развитию человечества, — это дозволено? Я хочу беспрепятственно пользоваться всеми достижениями культуры, без искусственных рогаток вроде интеллектуальной и иной собственности, — где она, эта свобода?

Нет, мои желания совершенно несбыточны. Законы капитализма такого не позволят. Наоборот, мне будут скармливать то, что мне совершенно ни к чему, и придется жить в уродливом мире, вылепленном богатыми для богатых. Мои мысли возьмут под контроль — и придется заботиться лишь о том, как выжить здесь и сейчас, и некогда будет мечтать о светлом будущем. Капиталу нужны рабы — а рабам незачем много думать. Следовательно, не надо их допускать к сколько-нибудь

серьезной информации, а в идеале — следовало бы пресечь саму возможность ее искать.

По счастью, кроме рыночных есть и другие экономические законы, и в частности, закон поступательного развития производительных сил, который требует соответствия уровня образования работников уровню используемых технологий. Люди должны хоть что-нибудь знать, чтобы поддерживать благосостояние власть имущих.

Но, хотя капиталисты не могут запретить вообще всякое знание, они могут всячески ограничить доступ к информации, приручить знания, представить их в стерилизованной форме. Основной метод тут — разбить целое на маленькие кусочки, которые следует держать подальше друг от друга, чтобы не вызвать цепной реакции в массовом образовании. Вот несколько типовых приемов.

Конфиденциальность. Достаточно засекретить какую-то часть информации и защитить ее формальными запретами и многоэтажным шифрованием — неважно, делается ли это под прикрытием слов о государственных интересах, либо рассуждений о коммерческой тайне.

Частная собственность. Производитель имеет право ограничить пользование продуктом — это один из нелепейших вымыслов буржуазной пропаганды. Нет ни у кого исключительного права ни на что — ибо любой продукт возникает в результате совместных усилий многих людей и принадлежит обществу в целом, а не кому-то одному или узкой группе лиц. Превращать знание в частную собственность — абсурд. Единственная цель «защиты авторских прав» — скрыть знание от тех, кому он действительно необходимо.

Белый шум. Если полезная информация занимает весьма небольшую часть Сети (скажем, меньше 0.01%), то шансы ее регулярного обнаружения невелики. А значит, достаточно создать большое количество сайтов, наполненных хламом, и как следует раскрутить их — тогда любой поисковый запрос вернем в основном ссылки на мусор, а полезное содержание будет похоронено в этом мутном потоке.

Манипулирование вниманием. Массами легко управлять, переключая их внимание на что-либо незначительное, заставляя тем самым забыть о насущных проблемах современности. Социальное давление побуждает людей интересоваться спортом, тратить время на примитивные развлечения, увлекаться мистикой и т. д. Многочисленные

сайты, посвященные всему такому, перехватывают пользователей, оттягивают их от более продуктивных открытий.

Массовая пропаганда. Интернет-новости, аналитические обзоры, заботливо модерлируемые дискуссионные клубы... Все это инструменты насаждения официальных взглядов и подавления оппозиции. Многочисленные «научные» и «философские» сайты продвигают идеологию господствующих классов, и многие сайты, посвященные искусству, организованы с тем же прицелом не допустить никаких крамольных идей.

Ограничение видимости. Хотя некоторые компании предлагают бесплатный хостинг интернет-сайтов, эта возможность очень ограничена. Такие сайты обычно имеют небольшой размер, действуют ограничения на формат страниц, способы загрузки и редактирования страниц не позволяют многого, есть ограничения на посещаемость страниц и т. д. Время от времени правила игры пересматриваются, и те услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно, теперь требуют регулярных платежей, чтобы все оставить по-старому. Те, кому это не по карману, вынуждены переселяться в другой домен — и сбрасывать видимость сайта к нулю.

Изменчивость. Интернет негде не остается неизменным, меняется все. Никакой адрес не может все время указывать на одну и ту же порцию информации. Услуги интернет-хостинга и доменные имена продаются на короткий срок — их приходится регулярно продлевать. Следовательно, нельзя, даже имея большие деньги, создать совершенный сайт и умереть с чувством выполненного долга, зная, что это останется на века. Другими словами, в WWW не существовать никакой стабильной подсети, в которой можно было бы развивать виртуальное пространство, свободной от шума. Так правящим кругам удобнее поддерживать высокий уровень невежества и уничтожать любые интернет-сообщества, которые могут показаться опасными.

Эффективность этих методов значительно повышается в силу того, что они могут работать на подсознательном уровне, в фоне, гомеостатически себя поддерживать. Тот, кто рос в определенной среде, будет по всей вероятности вести себя так, как принято в этой среде, даже не догадываясь о скрытом социальном программировании.

И все же объективные законы экономического развития требуют все большего развития сотрудничества людей через Сеть, и это способствует выработке соответствующих процедур и разработке специального

программного обеспечения для преодоления хаотичности Интернета и повышения доступности данных. Возможно, когда-нибудь, в других общественно-экономических условиях, Интернет станет, наконец, тем, чем он и должен быть, — механизмом сбора и распространения знаний, сохраняющим все положительное и устраняющим рыночный шум. Такая свободная Сеть могла бы аккумулировать идеи и давать людям удобные инструменты для их усвоения и выработки нового знания, не теряя прошлого.

Вооружен — значит, виновен

Часто говорят, что добро должно быть с кулаками, чтобы успешно противостоять злу, — и чем лучше добро вооружено, тем меньше шансов, что зло сумеет распространиться широко. Эта точка зрения предполагает ряд весьма сильных утверждений, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ложными.

Во-первых, предполагается, что можно определить добро и зло абсолютным образом, и что достаточно пресекать зло, чтобы становилось больше добра. Это, очевидно, не так — различие добра и зла идеологически насыщено и меняется от одной эпохи к другой. Поэтому легко принять зло за добро, и наоборот, — и никогда нельзя с уверенностью сказать, что, собственно, предстоит подавлять. Более того, одна и та же вещь несет и добро, и зло, — и только история может решить, что из них преобладает. Добро и зло — две стороны одного и того же, и нельзя уничтожить одно, не уничтожая другого.

Далее, само подавление своей противоположности есть акт насилия, а насилие прежде всего опасно тем, что может легко обратиться против своего источника. Насилие не может породить ничего кроме нового насилия — если его не держит в узде некая более мощная конструктивная сила. Однако такая сила не могла бы действовать в интересах одной группы против другой — тогда она разрушала бы саму основу социальности и потеряла бы свой конструктивный характер.

Борьба за жизнь — не для людей. Она вызывает к животному прошлому людей, подчиняет их жестоким законам биологической эволюции, которые не имеют ничего общего с гуманностью и разумом. Пока кто-то в борьбе — он животное. Остановиться, перестать сражаться

и начать производить нечто универсально полезное — и превращаешься в сознательное существо.

Психологически, чем лучше кто-то вооружен, тем сильнее искушение испытать свою силу. Если у человека есть ружье — это опасно, ибо оно обязано выстрелить, рано или поздно, пусть даже ненамеренно. Изучая боевые искусства, человек начинает чувствовать себя более защищенным — и это толкает его на дерзкие поступки, несовместимые с разумом. Изобретение нового оружия заставляет его обладателя забыть об интересах тех, кто неспособен противопоставить ему адекватную защиту.

Я не отрицаю всякой необходимости борьбы и защиты вообще. Я лишь указываю, что любая борьба, какой бы объективно мотивированной и общественно оправданной она ни была, есть проявление рудиментов животного в человеке, и следует держать их под тщательнейшим контролем вплоть до полного их исчезновения. Нельзя оставаться чистым, живя в грязи. Но можно хотя бы пытаться очистить мир, и стать если не чище — то хоть не таким грязным. А стать по-настоящему сознательными мы сможем только тогда, когда построим новый мир, в котором сама идея борьбы перестанет существовать; в нынешнем несовершенном мире творческие способности всех людей должны быть направлены к этой высшей цели.

Страсть к переменам как социальная болезнь

Это безумие.

Они все меняют, каждое мгновение.

Они заставляют людей отказываться от прежних жизненных устоев и гоняться за призрачной новизной.

А нам оно надо?

«Новое» — не значит «лучше». Почему мы должны навсегда терять столько хороших вещей из-за того только, что кому-то другому захотелось нас изменить? Я привык на протяжении многих лет покупать определенные сорта хлеба или молока — и меня они вполне устраивали. А тут компании-производители вдруг решают, что им следует вести себя на рынке агрессивнее, — и начинают каждый год менять ассортимент, так что я уже не могу понять, что мне следует брать и как при этом не навредить своему здоровью. Зачастую меняется только название,

переделывается упаковка — предположительно, в сторону более высокой технологичности, и следовательно, цены. Но хуже всего путаница, ибо я уже не узнаю привычных продуктов в непривычном одеянии. Приходится терять уйму времени, пытаюсь отыскать то, что требуется, в горах всякого барахла, которое мне и даром не нужно.

Иногда изменения могут оказаться в буквальном смысле фатальными. Например, если я больше не могу найти то уникальное лекарство, которое поддерживало мой организм вопреки всем хроническим расстройствам, — я обречен на болезни и смерть. Эффект определенных классов препаратов (например, нейролептиков) очень индивидуален, и хорошему врачу могут потребоваться месяцы и годы, чтобы подобрать правильную комбинацию. И если какой-то бизнес-идиот вносит малейшее изменение в рецептуру, деликатное равновесие нарушается. Если аптеки вдруг решают обновить свой каталог и продавать только современные препараты, те, кто зависит от старых, должны умереть.

Во многих случаях новые варианты тех же вещей гораздо хуже качеством и менее удобны в использовании. Обувь, одежда, стиральные порошки, чай и кофе, выпечка, сыр, парфюмерия или гигиенические прокладки — все это почти наверняка ухудшится при всякой модернизации. Переделки классических фильмов — большей частью дрянь. Повторение старых шуток — это не смешно.

Во многих других случаях новые вещи действительно лучше, в пределах той же функциональности. Так, новый компьютер будет, скорее всего, производительнее старого практически во всех отношениях, если только существуют аналоги старых приложений, умеющие работать с теми же типами данных. Но, например, новый автомобиль — не всегда лучше старого, если старый и так уже справляется со своими функциями средства передвижения. Точно так же, старый телевизор может работать очень долго, если от него не требуется каких-то сверхъестественных наворотов. Новая версия компьютерной программы — может стать катастрофой, если нет желания удвоить объем требуемой памяти и дискового пространства.

Введение новых продуктов оправдано лишь в тех случаях, когда они дают нечто такое, чего старое просто не может дать, — при условии, что жить по-старому все-таки можно. Хороший пример обратной совместимости дает эволюция процессоров Intel: машинный код, написанный давным-давно, может выполняться и на новых моделях, а

кому надо — используют продвинутые функции для повышения производительности (к сожалению, это не относится к развитию операционных систем). Многократно перезаписываемый оптический диск — безусловно, шаг вперед по сравнению с обычным, если только у людей сохраняется возможность приобрести более дешевые обычные болванки для случаев, когда многократная запись просто не нужна.

Некоторые новые продукты вообще нельзя сравнивать со старыми. Например, проигрыватель DVD не имеет ничего общего с VCR, и никакой синтезатор не заменит акустическую гитару или обычное пианино. К сожалению, рыночная конкуренция искусственно вытесняет старые товары, заменяя их новыми. У потребителя нет выбора. Приходится обновляться, чтобы хоть что-то продолжалось. И отправляются на помойку хорошие вещи только потому, что для них уже нет подходящих аксессуаров и услуг, все перешли на новые технологии.

В науке новые открытия не отменяют ранее установленных законов в пределах их области применимости. Переход к релятивистскому или квантовому описанию не означает, что движение макроскопических тел вокруг нас перестало подчиняться законам классической механики. Иногда теории устаревают — но не теряют своей применимости, и могут, с некоторыми поправками, найти применение и в новых условиях, если правильная теория оказывается слишком громоздкой — хотя и более точной.

Искусство — царство уникальности. Ни одно произведение искусства нельзя заменить никаким другим. Новый способ выражения не просто представляет старое в другом виде — он порождает новое самостоятельное произведение. Как и в науке, бывают устаревшие работы, уже не вызывающие в нас никаких чувств. Однако их эстетическая ценность в их собственном культурном контексте отнюдь не уменьшилась.

Точно так же, цифровая фотография отнюдь не отменяет традиционной «мокрой» технологии — а новые электронные часы не в состоянии превзойти старинный хронометр. Все это накапливается в культуре, одно дополняет другое. *Blanc Moelleux* от Поля Шене — нечто совершенно иное, чем вино с тем же названием от Анри Мэзо. Швейцарский или французский *Nescafé* не имеют ничего общего с их бразильскими, индийскими или российскими однофамильцами. Одно никак не может быть заменено другим.

Позор нынешнего общества — что оно оказалось столь глубоко заражено антикультурой перемен ради перемен. На самом деле, эта гонка за новизной — лишь для того, чтобы скрыть необходимость одной существенной перемены, замены прежнего общественного и экономического строя новым образом жизни, более заслуживающим названия человеческого общества.

О преступлениях

Единственно серьезный подход к искоренению преступности — стремление уничтожить саму основу преступлений, сделать их бесполезными. Если возможно улучшить свое благосостояние путем ограбления других, появляется соблазн совершить нечто преступное, и психологически человек готов стать преступником при определенных обстоятельствах. Напротив, если от преступления нет никакой пользы, нет и мотива к его совершению.

Абсолютное большинство преступлений направлено на перераспределение богатств, когда один пытается присвоить то, что принадлежит другому, — любыми средствами, вплоть до убийства. Традиционно стремление к власти занимает вторую строку в списке — но это обычно лишь один из вариантов добывания денег. Когда собственности вообще не существует, и нет никакой выгоды от власти, — что толку в убийстве? Даже если предположить, что все преступники психически больны, устранение сумасшедшей гонки за прибылью могло бы значительно снизить риск заболевания.

Правящие классы явно не заинтересованы в пресечении преступности как таковой; все, на что они способны, — нейтрализация отдельных преступников, которая лишь освобождает место для других преступников, и так до бесконечности. Это хорошо известная игра «полицейские и воры», описанная Эриком Берном.

Культура, основанная на собственности, под именем цивилизации, начинается с преступления и заканчивается преступлением; преступление принадлежит самой ее сути. Первый акт присвоения — это уже грабеж, поскольку один приписывает себе исключительное право на то, что принадлежит всему человечеству.

Не удивительно, что современное капиталистическое общество кишит преступниками — оно существенно зависит от преступности.

Капитализму нужна преступная атмосфера, и потому все средства массовой информации и вся индустрия развлечений всячески пытаются убедить обывателя, что нет ничего привлекательнее преступления — кроме, может быть, секса, — а уж соединение одного с другим дает настоящий блокбастер! Рабы должны жить в страхе, это делает их послушнее. Власть предрержащие прикрываются мифом о «законности» как социальной системе, не дающей злу наводнить жизнь людей, — и наемные стражи капитала представляются защитниками общего блага. Людей заставляют думать, будто ликвидация этого «защитного» аппарата приведет к хаосу, и потому следует всячески сохранять существующую систему, как бы плохо она ни была организована, — хотя бы ради стабильности.

Разумеется, если предположить, что не существует никакой иной общественной организации кроме капитализма, его уничтожение представляется катастрофой. Для буржуа, не мыслящего себя вне отношений собственности, любая попытка их устранить выглядит как грабеж. Ликвидация буржуазной законности означала бы отмену «законного» права одних присваивать себе труд других. Когда единичный преступник кого-то индивидуально грабит — это не угрожает системе в целом, касаясь только отдельных личностей; любое же законодательное ограничение священных прав собственника — это удар по всему классу собственников и, следовательно, куда более серьезное преступление в глазах апологетов капитализма.

Нераспространение господства

Дебаты по поводу того, следует ли узаконить невинные жертвы американских бомбардировок в Ираке санкцией ООН, или достаточно санкции американского военного ведомства, — наглядный пример лицемерной сути буржуазной законности. Всякий закон защищает интересы власть предрержащих и направлен против прозябающих в нищете. Господствующие классы диктуют свои правила всему миру, который они эксплуатируют и обируют. Во всемирном масштабе это приводит к разделению стран на те, которые имеют право, и те, что должны исполнять приказы. Все международное право — не более, чем прикрытие этого простого правила.

Как может быть, что одна страна предписывает другой форму правления? Почему одна страна озабочена именем руководителя другой страны, или работой ее средств массовой информации? И, конечно же, в мире, где царит всеобщее равенство, каждая страна сама решала бы, какие научные и технологические проекты ее поддерживать, и какое оружие поставлять своей армии.

Даже если Ирак или Северная Корея имели бы ядерное оружие — никто не вправе запретить им его иметь. Можно вполне резонно предположить, что для таких стран это единственный способ предотвратить агрессию извне. Если Куба когда-то размещала на своей территории нацеленные на США ядерные ракеты, это совершенно оправдано ее очевидной уязвимостью перед лицом американского милитаризма. У США, НАТО и ООН есть странная манера решать, кому дать привилегированное право на национальную безопасность, а кто должен вечно рисковать подвергнуться вооруженному вторжению. Но кто в мире опаснее всех? Вот, например, США. У них есть какие угодно вооружения, включая оружие массового уничтожения. Это нация, которая выросла на почве культа грубой силы, грабежа и убийства; агрессия в крови ее граждан. Ради того, чтобы создать повод к развертыванию борьбы за абсолютное господство во всем мире они готовы без малейшего колебания пожертвовать несколькими тысячами жизней — разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке вполне могло быть чудовищной провокацией ЦРУ (а других свидетельств пока нет).

Разумеется, миллионы американцев где-то в глубине души не желают никакой войны. Но они тоже покорно проголосуют за войну, под давлением сверху. Американцы не могут даже подумать, что какая-то иная нация могла бы иметь право стать столь же независимой и мощной. Всякая подобная претензия сразу же интерпретируется как угроза национальной безопасности США и их глобальным интересам. Однако сама идея «глобальных интересов» — это уже агрессия, стремление к мировому господству. Лучше думайте о себе — и дайте другим самим заботиться об их собственных делах.

Вплоть до недавнего времени, американцы могли спокойно придерживаться подобной катастрофической политики, ибо не существовало никакой реальной угрозы США со стороны какой-либо международной силы. Сейчас, в эпоху глобализации, никакая страна уже не может быть в полной безопасности, несмотря на всю свою экономическую и военную мощь. Разрушение Гренады, Ливана, Ливии,

Сербии Афганистана и многих других стран обернется мощными ударами по узловым точкам инфраструктуры американской экономики, массовым террором с использованием любых средств, включая биологическое и химическое оружие, а также кибертерроризм. Страна, пытающаяся установить свое мировое господство, подчинить другие страны своим экономическим и политическим интересам, должна быть готова к тому, чтобы встретить столь же глобальный отпор и пасть в руинах — это судьба всех империй.

Не плюй на весь мир — а то мир плюнет на тебя, и ты утонешь.

Однако это будет не тот мир, который разделен на множество наций, борющихся друг с другом за кусочек монополии и эфемерное превосходство. Это будет мир людей, которые не хотят, чтобы их эксплуатировали, и не хотят эксплуатировать других. Объективно, формирование сверхдержав ведет к консолидации угнетенных наций, а границы между странами и культурами стираются как благодаря усилиям международного капитала, добывающегося всемирного господства, — так и вследствие глобального антиимпериалистического движения, объединяющего всех перед лицом сильного врага. Экономическая система капитализма станет однажды несовместимой с уровнем развития мировой экономики, и сверхдержавы, пытаясь заглотив весь мир, лопнут от собственного обжорства.

Логика для идиотов

Официальные заявления накануне вторжения американской военщины в Ирак демонстрируют некоторую разновидность логики, специально сконструированную, чтобы держать уже хорошо промытые мозги населения основных мировых держав на уровне ниже малейшего проблеска разума. Основной принцип этой логики можно выразить в трех словах: так хочет босс. Никакие другие аргументы не принимаются, и любые утверждения ничего не означают сами по себе; их единственная цель — показать слепую приверженность воле хозяина.

С самого начала, после странной трагедии 11 сентября, американская администрация занималась впраиванием миру этой новой логики, громоздя одну ложь на другую и представляя это истиной в конечной инстанции, вне всякого сомнения. Без малейшего намека на доказательства, власти США объявили, что в разрушении ВТЦ повинны

арабские террористы во главе с Усамой Бен Ладеном. Никаких иных предположений просто не допускалось, а средства массовой информации получили строгое предписание популяризировать официальную версию. Допустим, учитывая общеизвестный факт долгого сотрудничества Бен Ладена с ЦРУ, что американские спецслужбы знали, какие приказы они же ему отдавали. Единственный субъект, кому были выгодны теракт 11 сентября и последовавший за ним спектакль с сибирской язвой, — это Соединенные Штаты, и ни один нормальный террорист не додумался бы до столько глупой идеи. Террористы ведь не просто развлекаются — они вовсе не настолько безумны, как проамериканская пресса их малюет; они всегда преследуют вполне материальные интересы, мало отличаясь в этом плане от воротил с Wall Street. А какая выгода Усаме Бен Ладену от того, чтобы подрывать экономику стране, где его деньги лежат в том же банке, что и деньги ее президента? И однако людям предлагается поверить в эту нелепицу, просто потому, что это удобный повод для развертывания глобальной кампании за американское мировое господство.

Хорошо, пусть даже все это натворил Усама — так вывод какой? Почему США должны истребить тысячи беззащитных афганцев вместо того, чтобы просто поймать Бен Ладена и предать его суду? Г-н Президент назвал эту бойню американским возмездием за 11 сентября — разве это не та же извращенная логика? Это как если бы я, после того, как некий незнакомец задел меня локтем в уличной толпе, вдруг решил убить в отместку сотню мышей — просто потому, что никто меня за это не накажет.

И вдруг Америка резко забыла о глобальном терроризме и сделала своей основной целью завоевание Ирака. Бен Ладен и его компаньоны по-прежнему живут и здравствуют — но это США уже не заботит, они теперь одержимы идеей наложить лапу на иракскую нефть. Г-н Президент заявляет, как обычно, без малейших доказательств, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, и мировое сообщество должно считать это достаточным поводом, чтобы санкционировать войну против страны, которая никогда не сделала ничего плохого ни одному американцу — кроме, быть может, единичных типов, имевших наглость вмешиваться в ее внутренние дела, даже не позаботившись о собственной безопасности. Не нашлось никаких подтверждений тому, что Ирак когда-либо имел сколько-нибудь серьезное оружие; лучшие в мире американские шпионы потратили не один месяц на выискивание

хоть каких-то зацепок — и ничего не нашли, даже при всемерной поддержке иракского руководства. Но, согласно извращенной американской логике, тот факт, что Ирак не смог предоставить информацию о своих ядерных и бактериологических программах (по той простой причине, что этих программ вовсе не существовало), означает отказ от сотрудничества и доказывает ядерную и бактериологическую угрозу со стороны Ирака. На этом основании ООН подвергается массированному давлению, чтобы проголосовать за бомбардировки Ирака и убийство еще нескольких тысяч человек. Так хочет босс. Не напоминает ли это средневековые методы Святой Инквизиции?

Даже если бы Ирак действительно имел оружие массового уничтожения — кому какое дело? Право каждой страны решать, как защитить себя и предотвратить внешнюю агрессию. Есть много других стран, которые заведомо обладают ядерным, химическим и бактериологическим оружием. Почему бы не начать с кого-то еще? Например, Соединенные Штаты Америки, самая опасная страна мира, располагающая сотнями ядерных боеголовок, тоннами ядовитых химикатов и всевозможными военными микробами, — страна, принимающая агрессию как лучший способ достижения своих политических и экономических целей, страна, которая каждый год убивает тысячи мирных людей по всему миру — и открыто угрожает убивать и дальше... Почему бы не начать разоружение с США?

Но босс этого не хочет.

Скотский разум?

Великий день! 11 марта 2003 Radio France Internationale объявило о создании еще одного международного органа. Международный уголовный суд (ICC), с резиденцией в Гааге, уполномочен ООН разбирать дела о преступлениях против человечности.

Оставляя в стороне вопрос об абсурдности юстиции как таковой и о принципиальной невозможности осмысленного международного права, можно только удивляться помпезной фразе, выданной неким Домиником Маро, который представлен журналистом RFI как один из 18 судей избранных в ICC: «Сейчас диктаторам всех сортов придется серьезно задуматься над последствиями своих действий. Там, где больше нет безнаказанности, господствует разум».

Так вот, значит, что они называют разумом: тупое послушание, навязанное силой оружия. Точнее, они хотят скормить подобное понимание разума всем тем, от кого требуется только послушание.

Когда дюжина гангстеров устраивает сходку и решает совместно карать тех, кто не платит им установленную ими дань — это называется триумфом свободы и великим успехом в деле борьбы за права человека! Что в этом контексте называется «правами человека»? Право власть предержащих притеснять обделенных, право богатых поработать бедных. Так ли уж человечно подобное право?

Сегодня небольшая кучка стран, которые построили свое благосостояние на костях и крови их колоний, присвоила себе право указывать бывшим колониям, что правильно, а что нет, — и как им следует организовать свою общественную жизнь и экономическую систему. Все подобные советы пропитаны экономическими и политическими интересами, стремлением и дальше выкачивать ресурсы других стран в карманы «истинных демократий».

Да, в мире есть немало диктатур и жестоких режимов, которые вряд ли вызовут у кого-то симпатию. Но посмотрите на себя! Так ли вы благородны и искренни, как вы пытаетесь изобразить? Не является ли ваша хваленая демократия лишь прикрытием для диктатуры денег, худшей из диктатур? Почему вы полагаете, что те, кто метает об обществе, в котором никто никого не будет продавать, чем-то хуже вас, которые умеют мечтать разве что о лишнем проценте прибыли? Вы называете лидера другой страны преступником и убиваете тысячи его соотечественников, чтобы заставить остальных с вами согласиться и вытерпеть доставшееся их стране унижение. Вы позволяете себе беззастенчиво лгать, не утруждая себя никакими доказательствами, — достаточно продемонстрировать истину танков и бомбардировщиков. Так, любой может открыть интернет-страницу ИСС и обнаружить, что имени Доминика Маро (или чего-то хоть отдаленно похожего) нет в списке избранных судей, и даже в полном списке кандидатов, представленных к первому туру.

Ну что ж, никто и не ожидает от буржуазной пропаганды чего-то кроме лжи — это нормально. Они давно уже решили, на кого взвалить вину, и любые судебные слушания — лишь для того, чтобы объявить это априорное решение миру, запугивая его так, чтобы мысли о бунте уже не возникало. И этот страх будет потом называться разумом.

Нам нужен такой разум? Хотим мы, чтобы с нами обращались, как со скотом?

Нет, мы этого не хотим. Мы хотим быть людьми, и наше первое право — самим решать, что делать и как устроить свою жизнь. Нам не нужны иностранные капиталисты, которые будут высасывать наши природные и человеческие ресурсы, — и не нужны местные капиталисты, готовые нас продать оптом и в розницу. Мы не хотим жить в обществе, где у человека есть только одно право — работать от зари до зари за мизерную зарплату, а то и вовсе без зарплаты. Мы не хотим всеобщих ценностей, номинированных в долларах или евро. Мы не хотим натовских бомбардировщиков у себя над головой и натовских убийц в наших городах. И нам не нужны ооновские судьи, готовые заклеить нас, когда мы боремся за наши человеческие права, обнаруживая тем самым несколько больше разума, чем нам дозволено.

Пропась надежды

20 марта 2003, с переходом массивной американской агрессии против Ирака в стадию открытой оккупации, изменился весь цивилизованный мир. От демократии и свободы, столь лелеемых буржуазной пропагандой, не осталось ровным счетом ничего. Или, точнее, вылезло на свет их подлинное лицо: этими «вечными ценностями», оказывается, можно беззастенчиво пренебречь, как только они начинают перегораживать путь к новым прибылям.

Пришла эпоха абсолютного господства американского крупного капитала. Больше никто не может претендовать на какое-то участие в установлении мирового порядка, и ни одна страна не вправе более предпринимать что-либо без санкции Вашингтона. У всякой нации только две альтернативы: либо превратиться в скромный феодал под крылышком державного монарха, в надежде выклянчить хоть тоненькие привилегии, — либо присоединиться к эксплуатируемому большинству и отдать национальное достояние на разграбление, а национальное достоинство на поругание. Это кульминация империализма, и можно только надеяться, что трансформация мира в империю, полностью контролируемую одной страной, приведет к консолидации всех антиимпериалистических сил, и национальные идейки уступят место

интересам общей борьбы против самой экономической системы капитализма.

Старое противостояние буржуазии и пролетариата давно уже стало глобальным, и теперь роль отдельных людей играют целые страны. Пропась между господствующим классом и остальным обществом становится все глубже, растет классовое сознание угнетенных масс, и спорадические восстания перерастают в сильное революционное движение. Пусть буржуа всех сортов кричат о том, что их классовый враг прибегает к недопустимым средствам — когда легальность становится просто другим обозначением рабства, законных средств просто не может быть. Сегодня любое действие, способствующее переносу войны на территорию Соединенных Штатов и их пособников, может расцениваться как акт социальной справедливости. Всякая попытка нарушить экономическое и военное доминирование США объективно служит высшим интересам человечества.

Разумеется, никакое насилие не способно привести к экономическим и общественным сдвигам. Глобальный терроризм — лишь индикатор социального протеста, и вырвавшаяся на волю волна террора — вина американских империалистов. Когда единственный способ сохранить свое человеческое достоинство — это умереть ради него, ничего удивительного в том, что армия камикадзе вербуетя так легко. Однако сейчас главная необходимость антиимпериалистического движения — выработка идеологической платформы, выражающей специфику современного этапа исторического развития, сохраняя философское наследие диалектического материализма с учетом опыта Парижской коммуны и СССР. Нужно ясное видение цели — чтобы действовать как сознательное существо, а не как напуганное животное. Недостаточно просто разрушить Соединенные Штаты — это лишь освободит место для очередного претендента на мировое господство. Надо прежде всего уничтожить власть денег, разрушить существующий экономической строй и заменить его системой, в которой нет вообще никакой собственности — ни частной, ни общественной.

У любой империи один конец: ее смыкает поток человеческого негодования и жажда свободы. На развалинах прошлого вырастает новый мир. И американская империя не избежит этой участи. Возможно, это последняя империя в истории человечества. Иначе — зачем человечеству существовать дальше?

Сильные трусы и злые великаны

Бытует мнение, что сильный человек не склонен кого-то обижать, а крупные люди как правило добродушны. Эта вульгарная психология призвана оправдать занятия боевыми искусствами, изучение техники выживания, а также военную подготовку. Говорят, что человек, который чувствует свою способность защитить себя, не нуждается в том, чтобы демонстрировать силу, поскольку потенциальные обидчики вряд ли посмеют напасть.

Зыбкий аргумент — когда столько свидетельств прямо противоположного! Каждый день на каждом шагу можно наблюдать, как сильные подавляют слабых, и никто не защитит беззащитных. Например, недавняя антииракская кампания США: одна из крупнейших стран мира, обладающая горами новейшего оружия, почти полным контролем над мировыми коммуникациями и самой многочисленной армией с наиболее длительным опытом ведения локальных войн, — это очевидно сильное государство избирает своей жертвой маленькую и редконаселенную страну, которая заведомо неспособна оказать сколько-нибудь серьезное сопротивление, не имея вообще никакого современного оружия, без регулярной армии и без союзников. К тому же Ирак экономически измотан десятилетиями международной блокады, его противовоздушная оборона практически полностью уничтожена многолетними американскими бомбардировками, его ракетный парк демонтирован по указанию ООН, а военные заводы остановлены в угоду «мировому сообществу»! Это все равно как если бы двухметровый садист истязал крохотного младенца — да еще связал ему руки и ноги, для пущей безопасности.

Пример США выявляет истинную психологию власти. Это страна трусов — они никогда не ударят, не чувствуя своей полнейшей безнаказанности; они используют любую возможность продемонстрировать свою силу, убив несколько тысяч человек где-нибудь подальше от Америки, в стране, которая наверняка не сможет нанести ответный удар, убивая американцев на их собственной территории. У Соединенных Штатов нет ни малейшего понятия о чести, совести и правде, а место разума занял культ силы. Они наращивают военные мускулы, они грабят весь мир, концентрируя его богатства в

американских банках, крадут мозги, эксплуатируют других любыми доступными способами. С каждой новой жертвой американцев все больше опьяняет их военное превосходство, и они уже не задумываются над изобретением подходящих предлогов и правдоподобностью собственной лжи. Они просто берут, что хотят, — не обращая внимания на чужие страдания.

Это злобный великан, чьи мысли вращаются лишь вокруг грабежа и убийств, чье поведение — сплошь агрессия, и чей интеллект сводится к хитрости хищного зверя. Вокруг США собралась кучка более мелких разбойников (Великобритания, Германия, Франция), дерущихся друг с другом за объедки с барского стола. Они тоже трусы — они твякают и кусают только из-под американского хвоста. Они даже могут бряцать своей мнимой независимостью и изображать несогласие с боссом; однако, когда босс плюет им в рожу, они только улыбаются и с выражением восторга вылизывают ему задницу. Под императорским крылышком они чувствуют себя сильными, им жаловано право грабить и убивать в их скромных уделах, пока это не затрагивает интересов хозяина. Они делают грязную работу, удерживая рабов на коленях, — и бегут жаловаться хозяину при малейшем сопротивлении. Сильные и наглые ходят стаями — потому что боятся слабых и робких.

Не верьте тому, кто говорит, будто добивается силы исключительно для самозащиты. Силу надо упражнять, ее надо демонстрировать, чтобы она оставалась силой. Время от времени новый силач умудряется проломить череп старому тирану — и становится тираном сам. Это ничего не меняет. Один хозяин приходит на смену другому — а рабы остаются рабами. Животная борьба за господство в животном мире.

Но придет день — и разрозненные островки сознания сольются в нечто сильнее любой силы, отрицающее саму идею власти, господства, конкуренции. Разумные существа отыщут друг друга и придумают, как нейтрализовать любое оружие, которое способны изобрести люди-звери. Они засадят сильных и агрессивных бандитов в прочные клетки, просеивая их через новую систему образования и изолируя неисправимых. Но это не делается силой — скорее, изобретательностью ума и чистотой сердец. Таким будет тот Джек Победитель великанов, который усмирит злых гигантов и принесет мир многострадальной Земле. И это станет последним насилием в истории человечества.

Пирамиды лжи

Кое-кто из американских знакомых рассказывал мне о новом подходе к древней истории, набирающем обороты в научно-популярной литературе и вполне благосклонно принятом официальной идеологией. Согласно этой теории, в ранних цивилизациях (Египет, Ближний Восток, Месопотамия и др.) не было никакого рабства, и все их хозяйственные и культурные достижения произведены творческим гением свободных и полноправных граждан в их благородном стремлении служить высшим интересам разума...

Положим, я могу допустить, что подобные взгляды весьма удобны лидерам современной американской цивилизации. Они отвлекают умы американцев от того простого факта, что все их благосостояние держится на порабощении целого мира и эксплуатации миллиардов в интересах кучки богатеев. Конечно, хорошенькая женщина, принимая дорогие подарки от респектабельного любовника, может не знать, что этот щедрый господин зарабатывает на жизнь ограблением банков или содержанием банков (что, по большому счету, одно и то же). Ей довольно наслаждаться беззаботным существованием, полным удовольствий, и она даже может искренне пожалеть несчастных, которые не удосужились отыскать доброго дядю, который бы их содержал.

Однако незнание о существовании рабства не уменьшает и не устраняет его. Три основные ступени цивилизации (рабство, феодализм, капитализм) все основаны на эксплуатации одного человека другим, только формы эксплуатации различаются. Это не означает, что люди были счастливы и свободны до прихода цивилизации, — напротив, они были еще более зависимы от окружающей среды, и сама идея свободы неприменима к общественным образованиям, предшествующим цивилизации. Цивилизация принесла свободу некоторым за счет многих, она противопоставила свободу и рабство и развила их противоположность до уровня противоречия, которое должно быть снято в обществе нового типа, устраняющем всякое вообще рабство (и, следовательно, всякую свободу).

Возвращаясь к древнему Египту, можно заметить, что его подъем на костях многочисленных рабов практически не вызывает сомнения.

Впрочем, всегда найдутся те, кто упражняется в искажении значений простых слов, называя религию духовностью, а рабство свободой; подобные трюкачи вполне способны отрицать существование рабства на том основании, что они его давным-давно переименовали. Огромная библиотека письменных свидетельств показывает, что рабство было совершенно типичным явлением для древнего Египта. Разумеется, интерпретации требуют осторожности, и следует критически относиться к имеющимся документам. Но даже если бы мы не знали о фараонах, пригоняющих толпы рабов в Египет по возвращении из очередной военной кампании, утверждение, что знаменитые пирамиды были построены независимыми художниками без всякого принуждения, выглядит не слишком правдоподобно. Эта новомодная американская выдумка о том, как свободные граждане сообща строили пирамиды, — полная чушь. Утверждения о том, что возведение этих устрашающих могильников шло на пользу простому народу, что добрые и мудрые фараоны давали ему заработать таким образом на кусок хлеба, — явная ложь. А придумана она в полном соответствии с современными сказками о том, как добрый капиталист дает возможность заработать на жизнь множеству людей, которых он нанимает, чтобы построить себе еще один роскошный особняк, или офисный небоскреб, или стратегические ракеты и бомбардировщики, чтобы держать в повиновении еще больше людей. На самом деле все совсем наоборот: именно массы рабочего люда обеспечивают благосостояние буржуа, которые отнимает у них большую часть их труда, их здоровье и силы, без сколько-нибудь серьезной компенсации.

Однако, если буржуазия везде одинакова, трудящиеся могут принадлежать различным общественным слоям, и рабочий класс одной страны может находиться в привилегированном положении по отношению к трудовому народу другой страны; население богатых капиталистических стран получает доступ к небольшой части прибылей, выжимаемых капиталистами их страны из других стран. Например, после американской оккупации Ирака американские капиталисты могут свободно эксплуатировать его природные и человеческие ресурсы, переводя миллиарды долларов на свои банковские счета; на эти деньги они могут нанять больше американцев для производства новых предметов роскоши и нового оружия, стимулируя тем самым рост американской экономики и косвенно повышая средний жизненный

уровень американцев. Поэтому американские трудящиеся склонны поддерживать любые акты международного пиратства со стороны США, и большинство населения не против и дальше жить на крови разоренных американскими войсками стран. Честные американцы всегда останутся на периферии общественной жизни, у них нет ни малейшего шанса быть услышанными.

Наука в наши дни частенько приносится в жертву выгоде, и само слово «наука» может теперь ассоциироваться с чем угодно, только не с исследовательской работой. Пресса может подать пустейшую фантазию как новейшее достижение науки, в то время как бывшие ученые больше заняты поисками финансирования, чем поисками истины. Некоторые из них поддаются нажиму и начинают стряпать глупые сенсации, чтобы привлечь в науку капитал; кончают они часто тем, что сами начинают верить в собственный вымысел, превращаясь в рядовых адвокатов существующего общественно-экономического строя, подстраивая факты под идеологию господствующего класса. Особенно это касается общественных наук, где финансирование прямо завязано на идеологический эффект. Так научная история уступает место апологетической истории, спекулирующей на прошлом человечества, чтобы приукрасить его уродливое настоящее. Здесь подоплека претензий на установление того обстоятельства, что рабство якобы никогда не существовало — или, по крайней мере, никогда не было основным экономическим механизмом.

Конечно, в реальном мире не существует чистых абстракций, и можно сказать наверняка, что любая экономика сочетает элементы разного происхождения, и различные уровни общественного и экономического развития в каждом отдельном обществе переплетаются по-своему. Ранние цивилизации сохраняли много пережитков первобытнообщинного строя, точно так же, как современный капитализм включает элементы феодализма, рабовладения или племенных традиций. Но это не отрицает существования объективных стадий исторического развития — как факт присутствия в одном тексте сразу всех букв не означает отсутствия алфавита. Теория общественно-экономических и культурных формаций — одно из величайших достижений исторической науки, и никакие адвокаты права одной нации на порабощение всего остального мира не смогут зачеркнуть эту ясную и конструктивную идею.

Дебильная демократия

Последние десятилетия ясно продемонстрировали, каково истинное значение слова «демократия». Война с Югославией и Ираком, антиконституционные перевороты в Югославии и в Грузии, поддержка сепаратизма в Чечне и китайском Тибете, экономическое и политическое давление на Белоруссию... С учетом предшествующих свершений вроде привода к власти Пиночета, отделения Эритреи от Эфиопии и подкармливание талибов (чтобы оккупировать Афганистан под предлогом борьбы с их террором), демократический идеал становится совершенно недвусмысленным.

Суть демократии в том, чтобы пренебрегать всякой законностью и конституционным порядком каждый раз, когда они не дают капиталистам США и Европы расхищать природные и культурные ресурсы других стран, тогда как любой режим, удобный клубу стран-богачей, называется демократическим. Терроризм в интересах босса — только приветствуется. Любая попытка подорвать господство неокOLONиализма — нелегитимна и преступна.

Одна и та же технология колониализма используется на протяжении многих веков — но в наши дни никто даже не пытается как-то ее замаскировать. Стоить попросить транснациональный капитал покинуть какую-либо страну — ее конституционный строй объявляется диктаторским, а ее лидеры — преступниками, тиранящими народ. Пресса тут же начинает распространять сказки о том, что они сплошь людоеды и кровопийцы, нагромождая одну небывлицу на другую, чтобы убедить тупое большинство. Логика обывателя проста: если так много шумят о тирании, и если хотя бы малая часть этого имеет под собой какие-то основания, — то проклятый режим заслуживает того, чтобы его свергнуть силой, — особенно, если после восстановления демократии обещают снижение цен и больше стабильности (чего, впрочем, так никогда и не случается). Вымыслы о нарушении прав человека обычно подкрепляют взращиванием некоего «освободительного движения», вбирающего в себя разношерстные отбросы нации-жертвы. Эти «борцы за свободу» достаточно хорошо финансируются, чтобы время от времени организовывать беспорядки внутри страны и провокации из-за рубежа. Если кого-то из этих ренегатов предают суду по законам суверенного государства, международная свора тут же канонизирует их

как мучеников и призывает к священной войне против «кровавых убийц». В конце концов, организуют мятеж с целью замены неугодного руководства «истинно демократическим» (то есть, абсолютно покорным). В качестве подготовки почвы для переворота экономика страны истощается внешней блокадой и военной интервенцией, так что измученные массы будут готовы на что угодно, только бы это все чем-то кончилось. Иногда установление демократии требует прямой оккупации международными вооруженными силами — но это обычно прибегают для сильных режимов, которым удается пресечь все прочие поползновения.

Внутри США и богатых европейских стран вся оппозиция давным-давно приручена, и никому и в голову не приходит подвергать сомнению ценность демократии (то есть, диктатуры, спрятанной за лицемерием). Борьба политических партий ничего не может изменить, поскольку все они разделяют одну и ту же буржуазную идеологию, с небольшими вариациями в зависимости от позиции тех или иных групп капиталистов. Мозги промыты до такой степени, что связать правду и справедливость с устранением демократии как таковой — просто невысказано. В странах с не столь продолжительной традицией парламентаризма (вроде России) запрет партий, ставящих своей целью изменение политической системы, прямо прописан в конституции — и это считается признаком высокого демократизма. Для сравнения: когда в бывших социалистических странах судили тех, кто занимался подрывной деятельностью, это подавалось за рубежом как деяние незаконное и антидемократическое.

Итого: демократия предполагает удовлетворение интересов международного капитала любой ценой — а когда те же меры направлены против капиталистической диктатуры, они называются тиранией.

В свет этого определения парламентские и муниципальные выборы в России в декабре 2003 были ошеломляющим триумфом демократии. За всю предвыборную кампанию мне ни разу не довелось услышать призывов голосовать за коммунистов — зато все улицы и транспорт Москвы были заклеены лозунгами единокороссов. Стоило включить радио или телевизор — в воздухе повисал рекламный смог правых, а для оппозиции места не оставалось, хотя оппозиция (включая коммунистов) расшибалась в лепешку, чтобы доказать свою полную и искреннюю приверженность принципам буржуазной демократии! Возможно, это позволит России избежать участи Югославии — но не жалкой участи

американо-европейского протектората, послушно выполняющего приказы зарубежного дяди.

Легкие и тяжелые

Бытует мнение, что стоило бы легализовать «легкие» наркотические вещества (типа марихуаны), чтобы отвлечь людей от «тяжелых» наркотиков (вроде героина). Говорят, что народ конечно же предпочтет покупать недорогие препараты в нормальной аптеке, а не ввязываться в рискованные и дорогие дела с подпольными толкачами. Утверждается, что легкие наркотики не особенно опасны для здоровья, и есть примеры их употребления на протяжении десятилетий без видимого вреда.

Так ли это на самом деле?

Нет, не так. Аргументы в пользу легких наркотиков в точности воспроизводят доводы наркоторговцев, призванные соблазнить какого-нибудь юного идиота и пристрастить его к наркотикам. Обычно легкие наркотики — лишь прелюдия к более тяжелым, а те, в свою очередь, открывают дорогу самым тяжелым. Когда образуется привычка к легким препаратам, кажется, что они уже не дают достаточно сильных ощущений, и естественно тянет попробовать что-то покруче — тем более, что психологический барьер уже снят. Постепенное повышение цен никого не останавливает, ибо рыночная экономика давно уже вдолбила в головы пошлую ложь о том, что цена определяется качеством, и «дороже» означает «лучше». К тому моменту, когда цены становятся совсем заоблачными, пути назад уже нет, и наркоман готов на что угодно ради новой дозы.

Так из-за чего сыр-бор? Кто заинтересован в том, чтобы травить народ? Можно, конечно, предполагать, что кампанию запустили производители наркотиков и наркодельцы — их выгода очевидна и измерима в миллиардах долларов. Но главные фигуры за сценой — гораздо важнее, хотя их выгоды не столь легко усмотреть. Общий закон классового общественного устройства заставляет правящие классы стремиться к отуплению эксплуатируемого большинства, чтобы оно, не дай бог, не догадалось о прорехах в экономической системе и несправедливостях общественного устройства. Но эта тенденция неминуемо приходит к противоречию с объективной необходимостью массового просвещения для экономического развития — и люди должны

в целом становиться умнее, хотя бы настолько, чтобы приспособиться к новым культурным условиям. Стало быть, старые шоры когда-то падут у глаз, и надо будет искать другие, более действенные средства для подавления в людях рациональности и удержания их под контролем. Не напоминает ли это, на уровне общества в целом, путь отдельного наркомана от легких ко все более тяжелым препаратам? И конец этой безумной гонки, по всей видимости, будет таким же.

Есть разные способы наркотизировать население Земли. Некоторые из них применялись тысячелетиями. Религия всегда была одним из наиболее эффективных инструментов правящих кругов с самого возникновения цивилизации — и по сей день она широко используется господствующим классом, чтобы отвлечь умы от земных дел к абстрактным фантазиям. Легализация наркотиков — лишь один из кирпичиков общей схемы.

Злой спам, добрый спам

Электронная почта погибает. То, что когда-то было удобным средством для оперативного обмена информацией, превращается в свалку для всяческих вирусов, самозваной рекламы или просто глупой чепухи. Наступила эра спама. Стоит только Вашему почтовому адресу засветиться разок — и Вас затопят предложения что-нибудь купить, с кем-нибудь интимно встретиться, сыграть где-то на деньги — или просто что-то нечитабельное, посланное каким-либо идиотом исключительно от делать нечего. Каждый день приходится тратить уйму времени на зачистку почтового ящика от спама, отчаянно пытаясь не уничтожить что-нибудь полезное по инерции. Иной раз бывает проще с кем-то созвониться, чем достучаться по электронной почте. Некоторые вообще перестали ее читать, просто стирая все входящие автоматом. Кто-то переключился на SMS — но мобильники тоже заражены спамерной чумой, и там это еще назойливее. Парадоксально, факс приобрел некоторую популярность — хотя еще недавно он считался рудиментом прошлого. К сожалению, это не спасет, поскольку спам можно рассылать и факсом, используя компьютеры как факсимильные аппараты. Несколько менее уязвимы системы мгновенной связи (instant messaging, вроде ICQ и Skype) — но это лишь временная отсрочка, пока не разовьются соответствующие технологии спама.

Любые попытки остановить спам обречены на неудачу. Невозможно контролировать каждый контакт и связать спам с какими-то определенными каналами. Спамеры используют липовые IP, поддельные адреса отправителей — кроме того, есть множество серверов open relay, которые ничего сами не рассылают, но зато перенаправляют что угодно в каком угодно направлении, делая спамеров практически необнаружимыми. Даже есть притянуть кого-то из спамеров к суду, крайне трудно разграничить спам от «честной» рекламы, пока реклама существует как таковая.

Программное обеспечение для защиты от спама также не очень-то помогает. Нет никаких формальных критериев, чтобы отличить спам от ценной информации — и всегда есть риск заблокировать что-то важное, так что пропаша или задержка может привести к последствиям куда более неприятным. А использовать подобные фильтры только для предупреждения — не устраняет необходимости просеивать груды почтового мусора.

Так что? Неужели будущим поколениям придется под давлением спамеров отказаться от электронной почты и вернуться к почте бумажной? Вероятно, нет — ибо обычная почта столь же подвержена спаму, как и любой другой канал коммуникации, а бумажный спам был известен задолго до того, как электронная почта стала массовым явлением. Возможно, какое-то техническое решение будет найдено, и каждое сообщение станет настолько индивидуальным, что станет возможно вычислить его отправителя-спамера. Но спамеры всегда изобретут противоядие на любые технологические ухищрения, и чем больше мы будем на них полагаться, тем опаснее они становятся, позволяя ловкому мошеннику переложить ответственность на другого при помощи компьютерных трюков.

Сколько-нибудь надежное решение возможно лишь в социальном плане. Спам должен стать совершенно бесполезным, и никто не должен оставаться настолько плохо воспитанным, чтобы ему в голову пришла мысль заняться рассылками почтового мусора. Но это потребует радикального изменения общественного устройства в целом — а правящие классы скорее предпочтут умертвить почту, чем довести дело до экономической и социальной революции.

Ну что же, даже наихудшая вещь во Вселенной где-то внутри хоть капельку, но полезна. Процедура удаления спама из почтового ящика может стать успокаивающий и психологически расслабляющей, ибо

дает возможность сотруднику отвлечься от напряженной работы, не нарываясь на начальственные обвинения по поводу игры в солитер или просмотра порнухи через Web. Надо всего лишь убивать спам постепенно, одно сообщение за другим, представляя себе, будто тем самым истребляешь свои беды и печали. Очищайте свой почтовый ящик от мусора — и почувствуйте, как при этом вся Ваша жизнь становится свободнее и чище. За такие моменты тихого счастья — да благословит бог добрых спамеров во всей их духовной нищете.

Революции? Перевороты!

В 2004-2005 годах пресса была битком забита спекуляциями на тему так называемых «революций» в различных частях бывшего СССР. Столь пристальное внимание к этим малозначительным событиям, которые практически не оказали влияния на общественную ситуацию в этих странах, совершенно неоправданно, и единственное разумное объяснение — деньги и глупость. Деньги купили журналистов, а те изобразили из себя дураков, распространяя неприкрытую пропаганду в газетах, на радио и на телевидении, а также через Интернет. Очевидно, никто, кроме полного идиота (или подлеца — что в данном случае почти одно и то же), не может вести себя так, будто он принимает эти театрализованные представления всерьез — будто это широкие народные движения, которые начались сами собой и в итоге привели к восстановлению какой-то справедливости... Только дурак не заметит абсолютной идентичности всех этих «революций», следующих одному и тому же сценарию всегда и везде (Югославия, Грузия, Аджария, Украина, Киргизия... Кто следующий?):

1. Накануне каких-либо выборов группа черных пиарщиков распространяет слухи о возможных нарушениях правил игры действующей администрацией. Эти слухи немедленно подхватывает западная пресса (зачастую даже раньше, чем они появляются внутри страны).

2. Группа специально проинструктированных гостей из США и Европы приезжает в страну якобы для «контроля» над ходом выборов. На деле их задача — собрать или сфабриковать как можно больше примеров «нарушений демократии», и они заранее будут отрицать законность выборов, независимо от того, как оно было на самом деле.

3. Сразу после выборов, если результаты не устраивают заграничных хозяев, внутренние провокаторы вместе с их «международными» коллегами заявляют, что нарушений было слишком много, и что результаты подтасованы. Они имитируют массовые протесты и оплачивают всяческие беспорядки, которые пресса преподносит как широкое общественное движение (хотя ширина его напрямую зависит от предоставленных зарубежными спонсорами сумм).

4. Если власти не испугались и не подали в отставку, банды агрессивных молодчиков (разумеется, прекрасно оплаченные и экипированные) устраивают драки, поджоги, грабежи и т. д. — а пресса называет это борьбой народа за освобождение. А так как все прекрасно понимают, откуда ноги растут, — армия и полиция предпочтут не вмешиваться, и призвать распоясавшихся хулиганов к порядку просто некому.

5. Когда законное правительство достаточно затерроризировано, его лидеры предпочитают сбежать, либо подать в отставку. Это, как правило, делается из побуждений предотвращения дальнейшей эскалации насилия — поскольку США и Европа публично заявляют о своей поддержке «оппозиции» и тем самым финансовые ресурсы для продолжения гражданской войны становятся практически неисчерпаемыми.

6. После установления новой власти страна становится послушным сателлитом США и открывает свою экономику для любого вмешательства американских компаний.

Бывают местные вариации, но они никак не прячут основной последовательности. Совершенно очевидно, что отштампован этот сценарий в Соединенных Штатах, и повторяется он еще и еще. США даже не пытаются замаскировать свое вмешательство, изобрести что-нибудь новенькое, чтобы все выглядело хоть сколько-то убедительно.

Ладно, никто и не сомневался, что США будут продолжать свою имперскую политику, подчиняя мир своему влиянию и культивируя международный терроризм. Это естественно и логично. Странно то, что российская пресса была в таком экстазе от потока «революций», и никто даже не пытался (или — было запрещено?) указать, что истинная цель всех этих телодвижений — изоляция России, отрывающая ее от традиционных рынков, разрывающая производственных цепочки и ведущая в конечном итоге к полному разрушению экономики.

Современная Россия полностью зависит от нефти и газа, а этот источник дохода (по сути, единственный) в конце концов будет перекрыт, ибо стоимость транзита вытолкнет российские товары за пределы конкурентоспособности. Это означает, что США смогут грубо диктовать России все, что угодно, превращая ее тем самым в колонию Запада.

Презабавно, как быстро россияне забыли свой собственный язык и вылепили новую ментальность с американского образца. Так, в английском языке слово «revolution» используется для обозначения какого угодно изменения в способе правления, независимо от того, что получается в результате. Такое словоупотребление весьма удобно для официальной идеологии, поскольку оно не делает различия между заурядным террористом и борцом за свободу, допуская совершенно произвольное толкование — а толковать будет, разумеется, господствующий класс. В прежнем русском языке существовали три разных термина, которые переводились на английский язык одним и тем же словом «revolution». Так, слово «революция» означало только такое преобразование, которое кардинально (качественно) меняет общественное устройство, с переходом от низкого к более высокому уровню экономического и общественного развития (по крайней мере, оно хотя бы начинается с этой целью). Противоположный тип преобразования, когда общество деградирует и переходит к более низкому уровню, назывался контрреволюционным переворотом, и был также специальный термин «государственный переворот» для любых изменений, не затрагивающих способ производства и общественную организацию. В этой терминологии французская революция 1879 года и Великая октябрьская социалистическая революция — это революции в полном смысле, а разрушение СССР в 1990-х было контрреволюционным. Плодоносящие «революции» в бывших советских республиках никак не влияли на общественное устройство — и потому называть их по-русски революциями нет резона. Во многих других языках (например, по-французски или по-немецки) можно было бы придерживаться того же правила и не говорить о «революциях» по отношению к событиям 2004–2005 годов, классифицируя их как обычные перевороты. Однако это научно правильное словоупотребление вряд ли сможет утвердиться вопреки идеологическому давлению, а честный и образованный журналист — это из области сказок.

Книга по требованию: проблеск нового экономического строя

Когда в начале 1980-х я всем говорил, что старая система массового производства должна вскоре уступить место более прогрессивному производству по потребностям, люди смеялись и называли меня утопистом. А я твердил, что производить вещи заранее, предвосхищая спрос, — неизбежно растрчивает ресурсы из-за статистических вариаций спроса, складских расходов и лишних затрат на доставку. Было бы гораздо эффективнее производить нечто по индивидуальному запросу, сразу доставляя это заказчику, чтобы тот немедленно пристроил эту вещь к делу, не задерживая на складе. Конечно, это не вариант для слаборазвитых экономик, поскольку производство по требованию предполагает наличие гибких технологий, быстрой связи и надежного транспорта. Когда приходится неделями достучиваться до производителя, потом ждать месяцами, пока тот воспроизведет нечто, давно снятое с производства, потом еще несколько недель ожидать доставки, — ни о какой экономической стабильности не может быть и речи. Массовое производство возникло как естественное решение проблемы, создавая нечто вроде буфера между производителем и потребителем, чтобы сгладить возможные вариации производительности и спроса. Точно так же в компьютерах данные, направляемые относительно медленным устройствам, сначала накапливаются в специальном буфере, чтобы избежать недозагрузки или переполнения. Однако, по мере того как техника становится все более быстродействующей, нужда в подобной буферизации постепенно уходит в сторону, и данные можно передавать адресату сразу после их возникновения. Мультиплексирование и раскадровка позволяют справиться с проблемой эффективности коммуникаций, комбинируя потоки разнородных данных с минимизацией времени простоя на линии. Аналогично, любой продукт можно производить по требованию и доставлять потребителю посредством «мультиплексной» транспортной системы, использующей скоростные коммуникации.

Идея не нова. Она логически вытекает из марксистской экономической теории, она обсуждалась в Советском Союзе с 1930-х. Некоторые советские писатели-фантасты (например, Зиновий Юрьев)

изображали подобное экономическое устройство в своих книгах, и в подсознание многих читателей эта идея проникла через художественную литературу. Я лишь могу питать слабую надежду, что мои многочисленные беседы с разными людьми послужили в какой-то мере продвижению этой идеи в мировом масштабе — особенно после распада СССР, когда бывшие советские граждане разбрелись по миру в поисках куска хлеба, непреднамеренно разнося повсюду обрывки прогрессивной идеологии.

Разумеется, при капитализме торжества производства по требованию ждать не приходится. Рынок — довольно расточительный механизм распределения, и для стабилизации капиталистической экономики какие-то буферные структуры необходимы. Однако новое всегда зарождается внутри старого — и я вижу прототип нового экономического устройства в бизнесе публикации по требованию, который сейчас стремительно развивается. По удивительному совпадению, именно пример книгоиздательства я приводил в качестве иллюстрации своих теорий в 1980-х. Тогда были сложности с тем, чтобы достать необходимую книгу, — а полки книжных магазинов были завалены горами книг, у которых не было ни малейшего шанса найти своего читателя. «Хорошо, — говорил я, — почему бы не хранить все необходимое для издания книги в течение какого-то времени, пока те, кому эта книга нужна, направляют свои запросы в издательство, так что тираж книги в точности соответствовал бы уровню читательского интереса?» Возможно, в то время это было не так просто — при тогдашних громоздких технологиях книгопечатания; но это стало вполне осуществимым сегодня, когда все, что нужно для хранения исходных материалов книги, — это несколько сот мегабайт дисковой памяти. С нынешними многотерабайтными хранилищами данных можно держать в запасе миллионы книг — и даже вообще все книги. Практическое развитие этой системы ограничено требованиями рыночной экономики — но в полном объеме она позволила бы создать исчерпывающую библиотеку, из которой каждый мог бы бесплатно запросить любой текст, или фрагмент текста.

Та же система проникнет, в конце концов, и в другие сферы производства — по мере того, как управление производством становится компьютеризованным, и воспроизводство любой вещи сводится к простому переключению на другую программу. Узкое место здесь —

добывающая индустрия; однако эта трудность может быть преодолена с развитием эффективных технологий очистки и утилизации.

Разум не для людей

Человек слишком связан с животным миром, ему трудно преодолеть свою биологическую ограниченность. Только в отказе от биологического тела — шанс на разумность. Похоже, человек так и не сможет перестать быть животным. Тогда ему придется уйти в прошлое, освободить место таким существам, которые изначально не связаны с органикой, которые исходно создавались человеком в качестве инструментов и орудий труда. Именно разумные машины способны заставить человека вести себя разумно, как сейчас человек заставляет других животных изменить своим природным наклонностям ради поддержания человеческой деятельности. Машины, преследующие сознательные цели, сумеют ограничить человеческую дикость, сосредоточить ее в тщательно контролируемых резервациях (заповедниках), а при необходимости преобразуют человеческий организм в направлении большей разумности.

Разумеется, есть слабая надежда на симбиоз человека и машины, на использование биологических тел в качестве одного из носителей распределенного разума. Но подобного рода носитель недостаточно универсален, его существование возможно только в очень узком диапазоне параметров среды. Для разума это слишком ограничительно, ему надо Вселенную осваивать. Разумные машины (особенно с использованием нанотехнологий) выглядят явно предпочтительнее.

Похоже, само возникновение *homo sapiens* было необходимо как промежуточная ступень от животного мира к разуму. Посредством человека природа создает такие формы материи, которые никак не могли бы развиваться биологически. Как только эти формы станут самодостаточными, нужда в человечестве пропадет, и ему останется доживать свой век историческим реликтом, охраняемым видом, который искусственно удерживается от вымирания. Несомненно, что многие люди захотят сменить свое органическое тело на более универсальную оболочку, и когда-нибудь это станет возможным. Различие между человеком и машиной будет постепенно стираться. Однако наверняка найдутся и такие, кто станет цепляться за свою биологическую

исключительность, и пойдет по тупиковой ветви. Им дадут эту возможность — но история убежит от них в будущее.

Триада плавания

Спортивное плавание противоположно умению плавать, как умение плавать противоположно неумению. Человек умеет плавать, если он способен двигаться на воде в желаемом направлении, не натываясь при этом на препятствия и не становясь препятствием для других. В спортивных же стилях плавания элемент разумности сведен к минимуму, там все подчинено глупому соревнованию в скорости, без привязки к практическим потребностям человека. Умение плавать деградирует в искусственных условиях спортивных бассейнов с отдельными дорожками, где отсутствуют препятствия, нет волны и ветра, не требуется постоянно учитывать изменения в ситуации. Спортсмен не смотрит, куда плывет, он тупо двигает руками и ногами ради того, чтобы нестись в одном направлении. Что происходит вокруг — спортсмена не интересует, он следит только за своим дыханием... В результате, когда спортивного вида тип заходит в воду на общественном пляже, людям приходится шараться в стороны от этого идиота, неспособного аккуратно маневрировать. Спортивные стили в принципе не приспособлены для плавания в естественной среде, и обученный так плавать просто не умеет плавать по-человечески, разумно. Много раз приходилось наблюдать, как такие пловцы-спортсмены просто терялись при высокой волне или в иных нетривиальных условиях.

Все это еще раз подтверждает вред излишнего приспособления к среде, необходимость разумного подхода к обучению человеческой деятельности. Нельзя превращать человека в робота — даже если это сулит сиюминутные преимущества и приносит сверхприбыли. Лучше меньше, да лучше. Пусть несовершенно — но разумно.

В поисках вырождения

Средства коммуникации бурно развиваются — и это правильно. Сегодня люди уже не мыслят себя без интернета. То, что раньше

приходилось разыскивать по библиотекам и по знакомым, теперь доступно в пару щелчков мыши. Мировая паутина оплела мир. Но не слишком ли это становится похоже на заброшенный чулан?

Появление поисковых систем погубило разум. Собственная активность пользователей Сети сводится к нулю. Интернет используется чисто утилитарно: набрали в поисковике ключевые слова, посмотрели несколько предложенных страниц, выбрали из них искомую информацию — и ничего кроме. Никому не интересно, что есть на сайте еще. Зачем? Проще набрать очередное слово в строке поиска.

Дело доходит до того, что пользователи не могут найти того, что им нужно, даже если попадут по правильному адресу. Современные Web-страницы устроены сложно, они отображают контент динамически, в зависимости от действий пользователя. А как раз действовать пользователь и не желает! Ему подайте все сразу, на блюде с голубой каемочкой! Анекдотическая ситуация: француз ищет (например) сайт художника Guy Levrier, попадает из поисковика на англоязычную страницу на зеркале сайта — и не может переключиться на французский язык, поскольку ему в лом разыскать соответствующую ссылку; ему дико мешает неумеренная (русскоязычная) реклама от Ucoz — но он не в состоянии перейти на основной сайт, свободный от рекламы. Посетители не читают, что написано на открываемой странице, — они лишь ищут в ней ключевые слова...

Само слово «браузер» потеряло исходный смысл. Если раньше люди исследовали ссылки на страницах, именно бродили по Сети, открывая ее для себя собственным неповторимым образом, — сейчас никому не нужен гипертекстовый характер интернет-страниц, достаточно обычного, плоского отображения. Сеть одинакова для всех — она такова, как ее представляет какой-нибудь Google.

Браузеры превращаются в придаток поисковых систем, в терминалы для поиска. В конечном итоге они исчезнут как самостоятельные компьютерные программы, станут компонентами других приложений — функцией рабочей среды (как это давно предлагает Microsoft).

А потом, глядишь, встрают поисковики прямо в мозги — чтобы не занимались, чем попало, а слушали чужого дядю.

Может быть, это и неплохо. Только жаль все-таки наивных идеалистов, которые надеялись найти себя в мире через Интернет. Ничего, кроме банальностей, там найти нельзя.

Мобильный дурман

Появление разного рода портативных устройств (гаджетов) коренным образом изменило жизнь людей. Вместо того чтобы заниматься делами в специально оборудованных для этого местах, можно вершить судьбы походя, на бегу, на лету, между двумя чашками чая — или партиями в преферанс. Очень удобно, когда все всегда под рукой, — было бы желание.

А желания подсказаны возможностями. Можно почитать книгу — но есть возможность посмотреть фильм, и читать, вроде бы, уже и незачем. Можно встретиться с друзьями — но можно послать SMS, поболтать по телефону или увидеться через Skype, — и необходимости куда-то ехать уже нет. Хочется музыки — пожалуйста, тонны контента! Фотографии, видео — все при себе. Подготовить документы, направить запросы, уладить бытовые проблемы или что-то купить — все это теперь исполняет маленькая коробочка в кармане.

Мобильные возможности — это прекрасно. Людям всегда есть, чем себя занять. И уже не остается времени на то, чтобы думать. Казалось бы, всяческие приспособления высвобождают уйму времени — только употребить его с умом почему-то не получается. Надо же поиграть с бегающими картинками, ознакомиться со свежими сплетнями, приобщиться к очередной попсе... Только успевай чатиться! Никакой долгой дороги на все не хватит.

Так когда-нибудь и совсем думать разучимся. И это тоже правильно. Вредное дело. Того и гляди захочется что-нибудь изменить. Очевидный криминал.

Так что срастайтесь с вашими гаджетами помаленьку — и не сомневайтесь, все это на пользу обществу. Обезьяна с мобильником — уже не просто обезьяна, ведь так?

Варвары и гармония

Глупо взывать к разуму там, где разум никаким боком не участвует. Здесь тупо действуют законы дикой природы, когда можно все понять и объяснить — а изменить не в нашей власти.

К сожалению, до разумности современное человечество пока не доросло, и еще не факт, что сможет когда-либо дорасти. Вполне возможно, что мы лишь тупиковая ветвь на древе развития, неудачный эксперимент природы, одна из бесчисленных случайностей, через которые в конечном итоге пробиваются ростки исторической неизбежности. Через несколько сотен миллионов лет жесткое излучение, возникающее при соприкосновении зон галактического ветра нашей галактики и туманности Андромеды, задолго до их предстоящего столкновения, убьет все живое в обеих галактиках — и это тоже дикая природа, с которой мы не сможем поделаться ничего.

А пока — мы еще не раз сможем продемонстрировать собственную дикость и доказать, что мы вполне достойны решительного уничтожения.

Перечислять все проявления человеческой мерзости — жизни не хватит. Одно другого стоит. Для примера, возьмем хотя бы паразитизм политики. Сотни общественных и антиобщественных деятелей с пеной у рта спорят о принципах народной и международной жизни, тысячи досужих писак разводят это дерьмо пожиже и прополаскивают в нем мозги миллионов обывателей... Где логика? Козе понятно, что речь идет о банальной дележке добычи, и каждый пытается урвать свой кусок, как умеет: кто силой, кто наглостью, кто хитростью — а кто-то просто ждет момента, чтобы стянуть что плохо лежит. Предоставлять слово добыче никто не собирается. И, конечно же, никакие разговоры не изменят ничьих взглядов — поскольку взглядов как таковых вовсе нет, а есть животные желания и столь же животные способы их удовлетворения.

Допустим, США и страны НАТО устраивают очередной государственный переворот. Логично ожидать, что они будут всецело поддерживать своих ставленников, безотносительно к словам и деяниям пошлых марионеток, и не обращая ни малейшего внимания на возражения прочих заинтересованных сторон. Никакие доводы и призывы тут не работают. Глупо объяснять, что после незаконного захвата власти говорить ни о какой законности не приходится — ее еще предстоит вырастить, эту новую законность, в новых условиях, и никто не обязан заранее с ней соглашаться. Для новоявленной хунты и ее покровителей любые попытки отщипнуть от их «законной» добычи — проявления вопиющего бесстыдства, посягательство на самое святое и недопустимая вольность; если же добыча еще и сопротивляется — это совершеннейший терроризм. Приструнить зарвавшихся претендентов на кусок пожирнее — годятся любые средства. Ложь, подкуп, экономическая блокада и

политические санкции, провокации, вооруженная интервенция, откровенный геноцид — какая разница! Они по-своему правы, эти конкистадоры от большой политики: как же, старались ведь, убивали, — а тут еще кто-то примазывается со стороны! — обидно, да?

Но что поделаешь! Волку волчье, шакалу шакалово. Как бы ни сотрясали воздух высокопарные тирады — нет у человека никаких прав пока не станет он человеком, пока не начнет думать о том, как свое отдать, а не урвать чужое, — или хотя бы вообще, просто немножко думать. Но урчание в брюхе и ракетные залпы — для мысли и красоты не самый подходящий аккомпанемент.

О культурной относительности

В разных культурах немало сходных вещей и явлений. На этом основании серьезных исследователей тянет на поиски единого первоисточника, общего предка — или, на худой конец, все объясняется достаточно тесным межкультурным взаимодействием. Так можно «открывать» совершенно фантастические пути миграции первобытных народов — или их общее знакомство с инопланетянами.

Но по логике, сходство не есть тождество. По видимости одно и то же может выполнять в разных группах людей совершенно разные культурные функции. И если мы в останках древней цивилизации обнаруживаем нечто вроде колокольчика — догадаться о его назначении не так то легко. С другой стороны, свидетельства о тех или иных действиях могут быть сколь угодно похожи на некоторые из нынешних обыкновений — но из этого вовсе не следует, что те, другие люди так свои поступки и воспринимали.

Разумеется, в одинаковых природных условиях способы деятельности во многом диктуются объективными требованиями, и орудия труда материализуют эту объективность. Хотя и здесь возможны весьма подвижные вариации. Мы можем определенно утверждать, что ручной пресс служил для того, чтобы нечто сжимать, — но что именно? Может быть, формовать глину, или печатать книги, — а возможно, просто гладить белье. Приходится принимать во внимание массу прочих обстоятельств — и все равно, нет гарантии, что жизнь не окажется сложней и удивительней наших предположений.

Когда речь заходит о рефлексии — все становится еще запутаннее. Одними и теми же словами можно выразить вещи очень разные, и даже противоположные. Наши понятия вбирают в себя содержание нашей жизни, и даже в одну эпоху, и у одного народа, единой картины мира может не быть.

Дело осложняется еще и тем, что содержание культурных реалий исторически меняется. Электрон — и миллиарды лет назад электрон. А любой артефакт постепенно перерождается из экзотической находки в общественно полезную вещь, и далее в старую безделушку, музейный экспонат или предмет коллекционирования. Любой духовный продукт развивается в том же направлении. То, что было прогрессивным, становится реакционным, нравственное становится безнравственным, необходимое — излишеством. Судить о чем-то по меркам эпохи упадка — гарантированно попасть в болото иллюзий.

С изменением общественного устройства меняется и социальный статус многих вещей. Например, бедняцкая еда, суп из отходов рыбацкого промысла, из того, что уже нельзя продать, теперь подается в ресторанах как верх изыска и символ Прованса. Французское печенье (biscuits) придумали как способ снабдить путешественников (и прежде всего мореплавателей) не слишком быстро портящейся едой; сегодня это вкусный способ побаловать себя. То же относится и ко многим другим деликатесам.

Точно так же трансформируются экономические и общественные институты. Если раньше избирательное право считалось привилегией, и за право голоса долго и упорно боролись, — теперь выборная демократия стала пустой формальностью, бессмысленной игрой, и все чаще люди игнорируют всяческие выборы как напрасную потерю времени. Отсюда тревожное внимание политиков к проценту явки на выборы; кое-где даже начинают вменять голосование в обязанность.

Неформальная культура ничем не лучше. Например, в обществе испокон веков были приняты разного рода тусовки, многие публичные заведения возникли с учетом этой потребности. Народ шел на рынок, в кабак, в театр или в баню не просто по делам, а чтобы попутно перекинуться с кем-то парой слов (или тумачков), поддержать или завязать знакомства, найти подходящую компанию. От публичного дома до светского салона и приема в Кремле — люди искали прежде всего общения. А что теперь? Мы ищем общества для того, чтобы остаться наедине с собой. Ибо нигде так не чувствуешь себя одиноким, как в

безучастной толпе. В наши дни от общественного бытия не спрятаться даже в сортире. Все пропитано необходимостью участвовать во всеобщем копошении. Но вульгарная клубная вечеринка способна иногда (если не вляпаться в конфликт с очередной мелкой мафией) разорвать поток целенаправленной деятельности, увести человека от его человеческой природы. Общество не позволяет людям стать достойными самих себя — зато есть прекрасный шанс избавиться от забот и совести.

Грани допинга

Сразу предупреждаю: речь не о спорте. Хотя, конечно, и о спорте тоже. Но там все ясно: это изначально античеловеческое занятие, и ожидать от него минимальной разумности заранее не приходится. Допустим, вам надо научиться плавать (или танцевать). Какой смысл накачивать себя при этом сильнодействующими медикаментами? Но когда заходит речь о соревновании (то есть, в конечном счете, о дележке денег) — тут идет в ход любая гадость, хотя бы и во вред себе. То, что человеку разумному в удовольствие, для спортсмена — нечеловеческое напряжение, глаза на лоб. Поскольку же в этом деле сам спортсмен — лишь один из винтиков механизма, а главная масса денег вращается в других местах, спрашивать говорящее орудие о его предпочтениях никто не собирается, и никаких возражений от него не ждут. Вырастай в какую угодно спортивную элиту — а слушаться спортивное начальство обязан. Управу на строптивых найти несложно. Хотя бы тот же допинг: достаточно поставить кефир вне закона — и атлеты основных кефиropyющих стран мгновенно оказываются вне бизнеса, без привычных им заработков; возможности подработать на стороне обрезаются автоматически демагогией по поводу моральной чистоты и коммерческого престижа. Если бегать, прыгать или танцевать ради собственного удовольствия — есть нам дело до всяческих квалификаций и дисквалификаций? Да ни на грош! Начхать нам на любые постановления, и сдавать допинг-пробы никто нас не обяжет.

Выходит, нет спорта — нет и допинга. Но так ли все просто? А если у вас на работе план горит, и надо пахать сутками, чтобы поправить положение? И приходится взбадривать себя кофе или еще чем-нибудь, а потом бороться с последствиями средствами соответствующей медицины. Понятно, что все из-за неправильной организации труда,

непредусмотрительности или просто разгильдяйства. Но зачем-то, ведь, приходится, компенсировать уродство мира, уродуя себя?

Ну хорошо, там давит производственный процесс, и могут быть моральные обязательства. А возьмите какого-нибудь творческого деятеля — писателя, композитора, физика, изобретателя, философа... Пашут, ведь, как проклятые над очередным вкладом в культурную сокровищницу человечества. И гоняются за вдохновением в крепких напитках, сексе, сигаретах и прочих наркотиках; ищут его в экстремальных развлечениях и уголовных хрониках... Казалось бы: не идет в голову — ну и не надо, что-нибудь в конце концов придет, если есть за душой. Зачем насиловать собственный талант?

Пойдем дальше. Толпы баранов стекаются в храмы ради очередного пинка под зад, без которого они продвигаться по жизни просто не в состоянии. Кто-то зачитывается любовными романами (или трактатами по математике); другие балдеют от рок-музыки или тонут в телесериалах; иные не могут, чтобы не присверлить к стенке очередную порцию ремонта, — а то и просто гоняют ночами по дури на мотоциклах, мешая людям спать.

Создается впечатление, что человечество на каждом шагу нуждается в стимуляторах, в аперитивах и афродизиаках, что не может оно иначе переварить собственную историю и подвигнуться на порождение очередных ее глав. В чем дело? Если это его, так сказать, атрибут, неотъемлемое и определяющее свойство — может быть, ну его в капсу, такое человечество? Или мы пока еще не доросли до осознания собственной бесконечности и способности строить культуру без времени — на все времена? Вот поднапряжемся чуток — и осознаем. Только дерябнем чего-нибудь, для полной ясности в мозгах...

На здоровье

Как гласит популярная поговорка, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но всякая игра слов — лишь красивая абстракция, а стоит за ней что-либо осмысленное или нет — сразу не сказать.

Первый вопрос, конечно же, — для чего? Чем электрон лучше фотона, соединения углерода лучше соединений кремния, математика лучше поэзии, а жизнь лучше смерти? Все хорошо на своем месте и

неуместно в других местах. Непонимание этого простого правила сплошь и рядом уродует человеческую повседневность. Например, Шарль де Голль пристрастно относился к художнику Марку Шагалу и не понимал, что его творчество уместнее на стенах банка в Чикаго или парламента в Иерусалиме — но выглядит кошмаром в парижском Palais Garnier. Соотечественники де Голля, в XXI веке изуродовавшие площадь перед версальским дворцом и портал Sainte-Chapelle в винсенском замке, по всей вероятности, тоже были формально здоровы и не перебивались с воды на воду. Но с головой тут явно что-то не так. А заодно и с моральным здоровьем нации, позволяющей себе подобное отношение к произведениям искусства. Все равно что пририсовать усы Джоконде или отдать на растерзание граффитистам фрески Микеланджело.

Здоровье физическое и экономическое — на первый взгляд, всегда замечательно. Но что если это здоровье монстра, уничтожающего в человечестве собственно человеческое? Будем ли мы по-прежнему руководствоваться библейским «не убий»?

Тут, кстати, и второй вопрос: кому — лучше? Здоровье одних, купленное страданиями миллионов других, — не самый возвышенный идеал. Чисто субъективно, бывают ситуации, когда стыдно и позорно быть богатым и здоровым. А иной раз даже опасно, поскольку богатый и здоровый — первая мишень для бедных и больных, когда они злы и вооружены. Так физическое здоровье может оказаться душевной болезнью, а экономическое благополучие — предвестником гибели.

Моралисты всех времен поучают нас: человек должен заботиться о своем здоровье. Кому и зачем это надо? Для собственного удовлетворения? Совсем не обязательно. В качестве общечеловеческого достояния? Тем более. Зачем рабу блюсти себя? Ради лишнего десятка лет в рабстве? А без скольких здоровых мерзавцев человечество вполне могло бы обойтись!

С другой стороны, что есть бедность? что есть болезнь? Здоровье — понятие очень и очень растяжимое. Где грань между достатком и нищетой? Можно ли оценить это способностью купить кусок хлеба, навороченный компьютер или еще один личный самолет? Опять же, здоровым быть можно очень по-разному. Смотри что мы собираемся с этим делать. Например, если я могу поднять камень руками — я для этого достаточно здоров. Если же я не настолько силен, но все-таки способен поднять тот же камень при помощи системы рычагов, или нажимая на кнопки пульта управления, или просто щелкнув мышью по

экрану компьютера, — я тоже в какой-то мере здоров, хотя это, как все понимают, совсем другой уровень здоровья. Возникает иерархия, развернуть которую можно как угодно, в зависимости от поставленной задачи.

Стало быть, исходить надо не из капитала или физиологии, а из смысла данного конкретного существования. Только на этом основании можно заключить о необходимости беречь здоровье или пренебрегать им. Смысл жизни животного совпадает с самой жизнью, его единственная задача — поддержание метаболизма, на уровне особи, вида или биоценоза. Другое дело — человек. Его место во Вселенной, его предназначение — переустройство мира, преобразование его на разумных началах, окультуривание. У каждого разумного существа — индивида, группы людей, общества в целом — в рамках этой грандиозной задачи свой фронт работ. Но каждый необходим для общего дела. В той мере, в которой он действует разумно.

Есть объективная потребность, необходимость и неизбежность. Человек иногда чувствует эту необходимость, иногда сопротивляется ей, иногда заблуждается относительно истинной причины самого себя. В любом случае, разумное отношение к своему здоровью предполагает поддержание его на достаточном уровне — но не более того. Автоматически отпадает маразм культуризма, всеобщее сумасшествие по поводу «здорового» образа жизни, дурные поиски «здорового» питания, мистификация физической активности... И появляется здоровый скепсис в отношении всяческой пропаганды: кому-то выгодно это пропагандировать — для чего? Чтобы кормить ушлых предпринимателей (включая коммерсантов от медицины)? Тогда это, скорее, забота о чужом благополучии — филантропия и благотворительность. Что тоже далеко не всегда хорошо.

Мир бесконечен — не только в пространственно-временном отношении, но прежде всего в смысле качественного разнообразия, бесчисленности его уровней и различных сторон. Человек, частица и образ этого мира, столь же бесконечен. Соответственно, и здоровье его требует внутреннего богатства — и внутреннего единства, противоречивости и гармонии. Преувеличенное внимание к чему-то одному — это всегда ущемление в другом. Так появляются бугаи — дегенераты, или красавицы — но полные дуры, имена нарицательные, вроде анекдотической блондинки — куклы-пустышки (да простят меня живые блондинки, которые вовсе не нуждаются, чтобы их рассматривали

исключительно в плане плотской аппетитности). Иногда подобное уродство оказывается неизбежным выражением уродливости общества, симптомом общественно-экономических болезней. Может быть, не стоит так уж безоговорочно поддерживать эти суррогаты жизненности, гной из ран? Как говорил один мой знакомый поэт:

Кое-кому лучше
не появляться на свет.

Возможно, это относится и ко мне, и к моим запискам. Но, по крайней мере, я и они — не ради самих себя. Даже если никто никогда не догадается, для чего.

Клип-культура

Основное определение разума — поиск целостности. Задача разумного существа связать воедино любые части и стороны мира, который сам по себе един — но обнаруживает себя лишь хаосом явлений. Лучшие умы человечества немало потрудились, чтобы привить людям вкус к масштабности замыслов и деяний, не ограничивающихся рамками отдельной личности, семьи, клана, класса... Нам мало Земли, нам нужна вся Вселенная. И речь идет не только о целостном видении — надо еще и делать мир целостным, приводить его к единству там, где без нас он с этим не справится.

В этом месте встает некто с толстым капиталом и громогласно заявляет во всю мощь купленной им прессы: не хотим мы, чтобы всех под одну гребенку, ибо это есть посягательство на первое право человека — быть богатым и эксплуатировать тех, кто до каких-либо прав не дорос. На что недоросли (в душе ничего не имеющие против буржуинства как такового) демонстративно возмущаются и поддакивают: не хотим мы иметь ничего общего с проклятыми кровопийцами!

На том и порешили. Кого? Очевидно, лучшие умы человечества. Пусть они из кожи вон лезут, пытаются сделать нас людьми, — а мы назло им разобьем мир на самые маленькие кусочки и будем вытаскивать их на свет в случайном порядке, как бочонки в русском лото. И назовем это модным словом «клип», и скажем, что это хорошо...

Начиналось все, как водится, с благих намерений. Популярный музыкант на концерте — это не только любимая музыка, но и особая атмосфера, умение не только сыграть или спеть — но еще и показать в

движении. Вот и давайте порежем концерт на консервы — и будем торговать видеозаписями концертных номеров. Опять же, телевидение пришло в каждый дом, а для него такие компактные номера — самый формат. Как раньше на радио.

Дальше — больше. Почему бы не обэкранить в красках студийную запись, добавив к ней высокохудожественный видеоряд? Публика довольна. Потом к простым сюжетам добавили динамизма, многоплановости... Вроде бы, ради торжества высокого искусства. А поскольку музыка становится ритмичнее — ритм показа надо привести в соответствие.

Что в итоге? Бешеное мелькание образов на экране, способное довести кое-кого до эпилепсии. Технические трюки ради самих трюков, к музыке отношения не имеющие. Стремление перещеголять других по части разнообразия извращений. Да и музыку теперь пишут с прицелом на клип — заранее вырезая талантливый неформат. Такую музыку, как выяснилось, с успехом сочиняют роботы, а дело человека — их продукцию выгодно продать. Тут кстати пришелся Интернет, с возможностью немедленно загнать очередной «шедевр» в социальные сети прямо с мобильного.

Конечно же, речь только, и не столько о музыке. Есть особые клип-каналы для пошлых мультяшек, модных показов, кулинарных шоу... Есть высоколобое клип-кино, претендующее на глубокомыслие и элитарность. Новостные программы давно уже превратились в такое же бессмысленное мелькание видеосюжетов, старое и новое вперемешку, безотносительно к содержанию репортажа. В журналах — мешанина сплетен, в магазинах — каша товаров. Вся жизнь человека — будто взбесившийся калейдоскоп, выстраивающий все новые узоры из бесчисленных житейских мелочей, — а как без них? В этой суете сама способность связно мыслить и последовательно поступать отмирает за ненадобностью. Чего и добивались организаторы концерта.

Людям не просто предлагают полюбить эклектику, им ее активно навязывают. Не пытайтесь понять смысл бытия — нет его. Живите здесь и сейчас. Урвали очередную порцию счастья — и радуйтесь, чего вам еще? Хорошего понемножку. Поиски целостности уступают место потоку случайно выхваченных фрагментов, все сливается в один большой клип.

Современные технологии — хорошая основа для единства, но они используются с прямо противоположной целью — отучить от самой

идеи целого. Например, бродить по современным интернет-сайтам — просто пытка. Ничего удивительного — они, ведь, не для того создавались. Сайты оптимизированы под роботов, а не под людей; последним предлагается пользоваться поисковиком, а не лазить по страницам самостоятельно. В потребителя намертво вколочена привычка гуглить по каждой мелочи, и вся мировая паутина ему кажется огромной свалкой всякой всячины, которую просто невозможно разобрать и привести к чему-то разумному. Куча мусора, в которой люди копаются, как личинки навозных жуков...

Что потом? Не знаю. Вероятно, кому-то будет проще спустить в канализацию человечество в целом, неспособное более стремиться к целостности. А может быть, из человеческого навоза пробьются к свету ростки новой культуры, умеющей разумно строить разумный мир.

Страх и реклама

Когда происходит очередное громкое убийство, пресса всего мира захлебывается от восторга, с упоением смакуя каждую каплю крови. Не отстает и подлый обыватель, наполняя форумы и подворотни своими детальками и мненьцами, замечаниями по поводу и без повода. Спрашивается: зачем? И не надо мне вешать на уши лапшу про свободу слова. Если кому-то прикажут — он заткнется. А возразит — перекроют краны, или кстати изобразят еще один теракт — и потом будут лицемерно сокрушаться, что, дескать не успели... Смотрели французские комедии, с Пьером Ришаром?

Напрашивается вывод, что террор — это просто разновидность рекламы. Причем весьма действенной и выгодной: почти бесплатно — а влияет сразу на все человечество. Дальше понятно: у всякой рекламы есть заказчик, есть рекламные агентства, есть мелкая сошка — непосредственный исполнитель. В каком-то смысле, и социальные сети (чаты, блоги) возникли именно в качестве инструмента подобной рекламы, как официально санкционированный усилитель слухов. Одно дело — когда судачат на кухне, а совсем другое — если на весь Интернет. Конечно, вся эта суета мало влияет на тех, кому лучше быть убитым во Франции, чем живым в России. Но к таким никто и не прислушивается, их вырезают за кулисами, без лишнего шума.

У террора есть объективные и субъективные корни. С одной стороны, в условиях демократического абсолютизма (то есть мирового господства одной хищной сверхдержавы) других способов удержаться на плаву практически нет: если ваш закон против нас — то мы имеем полное право полить этот закон вашей кровью. С другой стороны, начальство подает пример: если американский дядя имеет право уничтожить миллион незащитных азиатов, то почему азиат не может убить несколько незащитных европейцев (а если очень повезет — то и американцев)? Насилие насаждается сверху в качестве основного средства решения проблем, человечество просто не знает более разумных способов. Стоит ли удивляться, что всякий призыв к насилию тут же дает плоды? Он падает на хорошо удобренную почву. Ниточки все равно тянутся к заказчику, спонсору, организатору. Кто он — знают все. Но кто скажет — замолчит навсегда. Вот для этого и нужен терроризм — чтобы знали, и чтобы боялись.

Понятно, что бороться с проявлениями, не устраняя сути, — занятие не просто глупое, а часть широкомасштабной рекламной кампании. Терроризм исчезнет лишь тогда, когда мы устраним его экономическую основу — общественный строй, при котором одни имеют возможность обогащаться за счет других. Если сегодня мы не выплатили рабочему в полном объеме заработную плату — завтра мы с чистым сердцем развяжем войну и убьем всех, кому мы должны; потом подневольные убийцы окончательно озвереют — и начнут убивать кого попало (а тут можно и подтолкнуть, и пальцем указать).

Но чисто теоретически, почему бы в качестве средства борьбы не запретить рекламу? Во время военных действий пресса тщательно фильтруется, и каждая сторона публикует лишь то, что дает оперативные преимущества. Если уж говорить о войне с терроризмом — почему не прибегнуть к той же тактике? Давайте запретим штатным писакам любые дурные вести, а за распространение слухов (в том числе через Интернет) — к стенке. Если в прессу попадают лишь сообщения об уничтоженных бандитах, то какой смысл бандитствовать? Все равно никто не узнает и не оценит. И не испугается лишний раз. Какой же это тогда террор?

Такая тактика в свое время постоянно применялась в Советском Союзе — и позволяла успешно бороться с бандитизмом и контрреволюционным террором, как ни подпитывали его нынешние хозяева мира. Социализм не удалось победить силой; он умер, когда отсекся от

коммунизма, оставил вопросы распределения общественного достояния на усмотрение рынка — и сохранил тем самым экономическую основу общественного неравенства.

Экомаразм

То, что экологические «исследования» и громкие акции в защиту «природы», спонсируются вполне определенными экономическими силами и служат исключительно целям рыночной конкуренции, сколько-нибудь грамотному человеку, я полагаю, объяснять не надо. Никакой серьезной науки за этим не стоит, чистой воды пропаганда.

Нет, никто не спорит, что само по себе отслеживание потенциально опасных для человека изменений в окружающей среде жизненно важно, объективно необходимо, а иногда даже полезно. Не убеждает только огульное приписывание таких изменений трудам человеческим, подразумевающее, что все природное — хорошо, а все человеческое — наущение дьявола. Встает вопрос: а что же такое человек, и что в нем так пагубно влияет на его же собственное обиталище? С другой стороны, искусственная среда, за которую цивилизованное человечество боролось многие тысячелетия, помимо защиты и комфорта таит в себе и серьезные угрозы, и говорить об экологии коммуникаций, дизайна, деятельности и общения не менее важно, чем о пересыхании рек или вымирании животных. Более того, экология культуры (включая защиту от коммерческих экологов) — это как раз то, с чего следует начинать...

Нас пытаются убедить, что прогресс науки и техники разрушает хрупкое планетарное равновесие, и продукты человеческой деятельности для природы крайне вредны. В какой-то мере это действительно так, поскольку само назначение разума — преобразование природы, ее переустройство на разумных основаниях, преодоление дикости. Но такое осмысленное природотворчество не имеет ничего общего с безответственностью и безрассудством, оно не стихийно, оно культурно ориентировано и готово нейтрализовать последствия возможных неудач. То, против чего кричат буржуазные экологи, характеризует как раз недостаточность разума, некультурность, природность отношения широких масс к природе.

Например, твердят, что жести и пластика в океанах стало больше, чем рыбы, — и с экранов бросают в мозги умело отснятую

пропаганду, вроде замусоренных лесов и консервных банок на дне Марианской впадины. Обывателю подсовывают вывод: производство банок, бутылок и полиэтиленовых пакетов наносит вред окружающей среде. И надо, дескать, от этого отказываться, переходить на биоразлагаемую упаковку — которая, как потом оказывается, не менее вредна и нуждается в столь же срочной рыночной замене...

Где логика? Можно подумать, что пластик сам собой устремляется к морю, прыгает в волны с утеса и плывет мелкими саженьками к относительно мало загаженным местам... Или, быть, может, стекло и жестянки умеют совершать перелеты на дальние расстояния ради того, чтобы равномерно усеять собой девственные заросли? Нет, если на лесной поляне или в центре Тихого океана обнаруживается пустая тара, это значит, что кто-то ее туда принес и там оставил. Разумный человек будет так поступать? Нет. Стало быть — дикарь, существо природное, невоспитанное, некультуренное. И бороться надо не с производством упаковки, а с дикой природой, которая сама себя разрушает — хотя бы и при помощи продуктов индустрии.

Еще пример: призывы отказаться от бумаги, поскольку на ее производство расходуются и так основательно поредевшие леса, да и процесс производства связан с не самой безобидной химией. Допуская, что изготовление терракотовых табличек и каменных стел под клинопись было верхом экологической чистоты, не думаю, что следовало бы навеки задержаться на этом этапе; но уже выделка пергамента или изготовление шелка — без химии не обходятся, и еще не факт, что современный целлюлозно-бумажный комбинат окажется грязнее (в относительном измерении, на единицу продукции). С другой стороны, разумное отношение к использованию бумаги позволило бы практически полностью устранить вредные последствия. Действительно, 90% печатной продукции — это реклама (в том числе политическая), тиражи книг, журналов и газет, копии документов, справки, бюллетени и объявления... Уберите все это — и леса останутся целы; если же еще и не бросать отработанную бумагу где попало — от нее вообще не будет никакого вреда. Логический вывод — вредно не производство бумаги (или еще чего-нибудь), а уродство господствующей экономической системы, приводящей к разбазариванию ресурсов и сдерживающей культурное развитие населения планеты.

Что «защитники природы» предлагают взамен? Лозунг все тот же: назад в пещеры. Дескать, раньше все было натуральное — чистое и здоровое... Вот и давайте, мол, вернемся в счастливую первобытность, откажемся от достижений науки — и наши экологически чистые трупы послужат питанием для будущей фауны и флоры на стерильной планете.

Конечно, тут все — ложь. Не было никакого золотого века, и дошли наши предки всюю от болезней и нищеты, от нездоровой среды обитания и технологической неразвитости... От дикости — эпидемии и войны, саморазрушение. Отказываясь от современной технологии, мы вынуждены возвращаться к старой, значительно менее эффективной — а в итоге и более вредной. Массовые пропагандистские акции по отказу от чего угодно на деле означают резкий рост нагрузки на природную среду за счет нерационального расходования сил и средств.

Например, если мы отказываемся от автомобиля как средства передвижения — приходится перемещать себя и грузы другими, куда более затратными средствами. Если мы выключаем свет в доме, мы должны (если не отказываться от жизни вообще) освещать его как-то иначе — и это обойдется природе куда дороже. Журналисты, например, с восторгом описывают, как кто-то своими движениями (ходьбой, кручением педалей) вырабатывает электричество... Предлагается поверить, что это экологически чистый источник даровой энергии, и стоит постараться, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом. Но с технологической точки зрения, это лишь замена движков современных электростанций мускульной тягой — возврат в первобытное прошлое. Коэффициент полезного действия человека, используемого в качестве генератора электроэнергии намного хуже — то есть, значительная часть расходуемых ресурсов идет в отвалы, а значит, растет степень загрязнения среды. Действительно, человеку, как минимум, надо есть и пить — и чем больше он тратит сил, тем больше; мы сначала преобразовываем пищу в мышечную энергию, и лишь потом частично переводим ее в полезное механическое движение. Ясно, что такой многоступенчатый процесс значительно уступает в эффективности и чистоте современным энергетическим установкам.

Отказ от достижений цивилизации не лечит экологическую болезнь — он только усугубляет ее. Нельзя ни от чего отказываться — но разумные потребности следует удовлетворять разумно: не требовать и не расходовать лишнего, дополнять эффективные технологии производства столь же эффективными методами утилизации. И тогда

технологическое развитие потянет за собой человеческое сознание, уведет человечество в целом от первобытного, дикого состояния к разумной культурности. Изменится отношение человека к его среде — изменятся нравы. Само возникновение интереса к проблемам качества окружающей среды (как природной, так и техногенной) — результат такого развития. Пока на этом лишь спекулируют коммерсанты. По мере вытеснения рыночной экономики экология превратится в то, чем она и должна быть, — поиск путей разумного преобразования мира.

Глупо защищать природу, пытаясь заморозить время. Вселенная всегда в движении, она постоянно уничтожает одно — и создает другое. Ничто не остается неизменным. Остановка — смерть. Даже если не будет человека — мир все равно изменится. Как бы ни пытались мы сохранить прекраснейшие моменты бытия — они все равно уйдут. И будет меняться ландшафт, будут вымирать животные виды, и одно общество неизбежно сменится другим. Дело разума — направлять изменения, а не останавливать их. Дикая природа сама себя разрушает; человеку приходится принимать ответственные решения, прощаться и встречать. И творить во имя прогресса, а не делать его разменной монетой в биржевой игре.

Погода и самочувствие

Ньютоновская механика — не просто физическая теория, это универсальная парадигма для самых разных предметных областей. Если присмотреться — в ней нет собственно физического содержания: речь идет лишь о том, чтобы связать динамику системы с какими-то неформально введенными «силами». Чтобы перейти к собственно физическим силам, еще предстоит связать механические абстракции с нашими представлениями о природе частиц, полей и т. д. Но точно так же можно говорить и о взаимодействии каких-то иных сущностей, так что полученная в результате наука окажется от физики весьма и весьма далека — при сохранении все той же механической парадигмы (вплоть до ее частных математических формулировок).

Например, возможно представить биологическую систему какого-либо уровня (от отдельной молекулы до биосферы в целом) несколькими фундаментальными параметрами, так что одна комбинация величин ссылается на нечто существенно отличное от другой. Это означает, что

все такие состояния представимы точками некоторого конфигурационного пространства — так же, как в физике говорят о пространственном расположении материальных тел. Далее, на воздействия извне организм (понимаемый в самом общем смысле) отвечает какой-то последовательностью действий, что предполагает, с одной стороны, некоторый общий темп (аналог скорости), а с другой — определенную инертность (аналог массы). Мы естественно приходим к известному из механики понятию импульса. Нормальный метаболический процесс (включая как внутренние состояния, так и внешнее поведение) ничем для организма не примечателен — незаметен, течет сам собой. Но если в окружающей среде происходит нечто, из-за чего состояние движения вынуждено измениться, это требует ряда координированных физиологических сдвигов, которые у высших животных, например, легко отождествляются с эмоциональным откликом (или, при достаточно длительном воздействии, с эмоциональным фоном, с длительным чувством). Так парадигмой становится еще одна механическая величина, ускорение — как внутренний показатель присутствия внешней силы.

Погода обычно связана для нас с текущей температурой, атмосферным давлением, влажностью и т. д. Все это организм воспринимает именно как погоду лишь там, где характерные времена изменений состояния среды сравнимы с длительностью метаболического цикла. Медленные вариации характеризуют, скорее, сезонные колебания, или глобальные климатические сдвиги. Очень быстрые изменения вообще нельзя описать подобными статистическими параметрами.

Механическая парадигма предсказывает, что живые организмы будут в основном реагировать лишь на ускорение (вторую производную функции состояния), не обращая особого внимания на плавный рост или постепенное убывание — но сразу же отзываясь на резкие скачки. Метеозависимые люди (особенно пожилые) на себе проверяют справедливость этого вывода; факты подтверждают гипотезу. Но здесь есть еще одно обстоятельство, которое маскируется обычаем метеорологов говорить лишь об усредненных тенденциях — тогда как реальные атмосферные процессы отличаются куда большим разнообразием. Да, ежедневная информация может быть очень полезна для отслеживания физиологических рисков — но помимо этого есть и быстрые процессы, происходящие в течение часов, или даже минут. Такие как мгновенные скачки атмосферного давления, связанные с

резкими изменениями иррадиации, когда солнце то скрывается за тучами, то выглядывает в случайных просветах. Согласно механической модели, эти, вроде бы, менее значительные вариации могут быть опаснее для метеозависимых людей, поскольку возникающие при скачкообразных изменениях силы (произведение массы на ускорение) значительно больше; иногда люди чувствуют, будто их прямо-таки разрывает на части. Можно также предположить, что метеочувствительность чаще возникает у людей с более инертными физиологическими процессами (в механической модели — большие массы), когда организм медленнее обрабатывает в ответ на внешние влияния, либо в силу генетической предрасположенности — либо из-за хронических заболеваний.

Похожим образом возникают механические модели самых разных форм и уровней движения. Так, люди могут приспособиться к постепенным изменениям ландшафта, неизбежным на протяжении сотен и тысяч лет; если такие же изменения происходят за год (или за день) — это ужасная катастрофа. Точно так же, мелкие каждодневные неприятности подрывают душевное равновесие вернее, чем сколь угодно плохой (но относительно стабильный) психологический климат. Постепенное усовершенствование научных теорий и технологических процессов не так чувствительно, как решительное перестроение всего на новых принципах. И никакие экономико-социальные потрясения не отучат обывателя от инстинктивного отторжения всяческих революций.

Парадигмы абстрактны — это высший уровень абстракции. Но именно поэтому они предельно практичны. Не везде требуются «точные» математические формулировки — чаще достаточно качественных предсказаний. Тем более, что любая парадигма допускает великое множество очень разных формализаций; более того, новые течения в математике всегда возникают в ответ на формирование каких-то парадигм, при попытке адаптировать их к конкретной предметной области. Метеочувствительность можно изучать и другими способами — но в каких-то отношениях классическая механика объективно окажется верней.

Тела свободы

Про свободу говорят много. Про тело — еще больше. Но когда одно соединяется с другим, почему-то все сводится к телесной свободе, если не сказать: распушенности. Вероятно, через эти извращения лежит путь

человечества от унылой биологии к яркой духовности, свободной от любых границ. В предположении что будущее у человечества таки есть.

Через полтора столетия после Карла Маркса мысль об общественном характере человеческой субъективности начала интенсивно проникать в думающие массы, и только очень отсталые (или политически ангажированные) ученые по-прежнему ищут разум в генах, в условных рефлексах, или в потусторонних влияниях. Крамольная в 1980-х мысль о том, что ни один биологический вид не может быть предшественником человека (поскольку суть человека как раз и состоит в универсальности, выходе за границы видовой определенности) скоро станет общим местом, и будут удивляться: как можно понимать иначе? Но есть и другая сторона марксовской идеи, на которую публика пока не очень обращает внимание. Утверждая общественную природу духа, мы обязаны предоставить этому духу столь же общественную плоть — иначе опять скатимся в мистику, обожествление чего-то бестелесного. Элементарная логика, казалось бы; но откровенное признание открытого Марксом «неорганического тела» человека влечет за собой столь серьезные политические выводы, что состояться ему в ближайшие годы вряд ли позволят. Разумеется, факты давят — и приходится протаскивать нечто вроде через задний проход... Но сугубо для себя делать принципиальные выводы кое-кому пора бы начать.

Переход к новой парадигме труден еще и в силу вековой привычки: тысячи лет мы видим, как люди идентифицируют себя с куском мяса, и уничтожение этой звериной оболочки считается (согласно действующему законодательству) убийством (или «естественной» смертью). Но, ведь, точно так же мы тысячи лет полагали, что светила вертятся вокруг Земли (единственной и неповторимой), — а сейчас не только в Солнечной системе принят совсем иной порядок, но и при других звездах обнаруживаются тучи планет. Так почему бы, вслед за отказом от остатков антропоцентризма, не предположить, что наш разум обитает вовсе не в отдельно взятой органике, а, как минимум, в совокупности организмов, вращающихся вокруг «единого центра»? Разумеется, в такую картину легко включить и существенно вовлеченные в общественный процесс неорганические составляющие — продукты человеческой деятельности.

Конечно, просто так от чего-то отказываться было бы неразумно. Хорошо бы выяснить, почему человеческое тело представляется обителью духа. Первое, простейшее объяснение — влияние культурной

среды. Действительно, если с раннего младенчества все вокруг, общаясь со мной, обращаются первым делом к некоему сгустку органики, у меня выработается та же привычка, и я буду предъявлять конкретное биологическое тело другим в качестве своего полномочного представителя. Когда у народа появится возможность с малолетства выглядеть в глазах публики контентом какой-нибудь распределенной базы данных — человек и себя будет отождествлять не с мясoproдуктом, а со всем тем, что обеспечивает поддержание целостности этого виртуального существа. Уже сегодня для некоторых лишение доступа в Интернет равносильно жестокой казни. Теряя вещи, мы теряем часть себя.

История знает немало примеров, когда коллективное творчество со временем приобретает индивидуализированный характер — и приписывается фиктивной личности, якобы обитавшей в какой-то стране в какую-то эпоху. Поэмы Гомера всемирно известны; Козьма Прутков или Панини знамениты в сравнительно узком кругу. Учитывая, что начальство испокон веков приписывает себе заслуги подчиненных («такой-то царь построил город и воздвиг храм»), в том числе и в духовной сфере («дал людям закон»), наблюдать подобную маскировку культурно определенного прихотями психики можно практически на каждом шагу. Иногда ролевая игра приобретает совершенно катастрофические масштабы: например, религиозные люди склонны принимать за чистую монету детальные биографии богов и святых; отделить литературу от жизни они уже не в состоянии.

Есть и обратный процесс, когда авторство растворяется в массовом употреблении, когда имена либо совсем утрачены, либо превращены в нарицательные. Когда французы едят блины на *Chandeleur*, они вряд ли вспоминают папу Гелазия I; современные любители архитектуры Apple не знают практически ничего про канадского фермера Джона. Сама возможность такого отделения имен от тел указывает на принципиально небологический способ существования разумных существ.

Склонность считать вещи частью себя закладывается в человека воспитанием точно так же, как и привязанность к биологическому телу. Например, утверждая, будто он сделал что-то сам, человек уже не представляет себе, сколько миллионов людей непосредственно участвовали в обеспечении самой возможности приступить к работе; поскольку же каждый их этих людей также опирается на труд

миллионов, любой поступок, по сути дела, становится совокупным действием всего человечества, событием мировой истории.

В этом контексте направление развития личностной идентификации вполне очевидно: все большее отделение сознания от конкретного воплощения, возможность перевоплощения при необходимости. Разумное существо получит возможность приобрести опыт пребывания в разных телах — и даже без привязки к одному телу, в ансамбле взаимодействующих тел (которые все вместе будут телом более высокого уровня). Разум — целостность другого порядка, он представлен иерархией вещей; как развернуть эту иерархию в иерархическую структуру — историческая случайность.

Важный частный случай — функциональное объединение одного мозга с другим, включение в этот организм разного рода компьютерных (сетевых) компонент. Понятно, что такой коллективный мозг уже не обязан привязываться к физиологическим ограничениям отдельного человеческого тела (пространственная организация, способы манипулирования вещами) — он может использовать какие угодно искусственные орудия. Когда современные инженеры пытаются максимально приблизить динамику роботов к динамике живых организмов, это не более чем учебно-тренировочные упражнения, накопление опыта, подготовка к творчеству. Точно так же, намеренное подражание роботам в какой-то мере направлено на будущий симбиоз, на «притирку» разных миров перед их объединением в одно.

Стоит ли говорить, что подобной расширением «материальной части» связано с совершенно новым пониманием свободы? Оказывается, что разумное существо вообще невозможно упрятать в клетку: оно всегда найдет способ переселиться в иную связь вещей, обойти любые препятствия. Игры нынешних «активистов» — это просто смешно. Раздувание «полового вопроса» — глупое занятие по отношению к «неорганическому телу» человека, которое может вообще быть не связано с физиологией размножения. Наконец, признание реальности коллективного субъекта по-новому ставит вопрос о взаимоотношениях личности и общества, так что каждый, определенным образом развертывая иерархию индивидуальности, сможет одновременно присутствовать на разных уровнях общественной иерархии, чувствовать себя не только частью целого — но и самим этим целым.

Бессовестное разнообразие

Экология не наука. Она лишь инструмент экономической и политической борьбы. И экологи это прекрасно сознают — но в царстве базара не принято брезговать никаким заработком, так почему бы не кормиться народной тупостью? Культивируют отборного дурака теми же способами, что и культурные сорта растений, и поголовье скота... Такое изменение природы — в порядке вещей, и никаких тебе голосов протеста в международном масштабе. Тогда как разведение роз, выращивание гречихи или мясомолочное животноводство представляется преступной халатностью, пощечиной природе и угрозой самому существованию человечества. Дескать, предпочитая одно — мы искореняем другое, нарушаем (премудро установленное господом-богом) природное равновесие, так что количество биологических видов с каждым годом неуклонно сокращается, и пора всем странам на эту проблему серьезно наваливаться и совместно свою вредность пресекать. А кто откажется — того к ногтю, чтобы не портил консенсуса. Разнообразию мнений в этом вопросе начальству ни к чему.

Борьба за сохранение биологического разнообразия понемногу принимает клинические формы. Болото посреди города, солончаки на месте сельхозугодий, пчелы в офисе... Это все нынче в порядке вещей. Не дай бог случится комара прихлопнуть, или отравить тараканов и крыс, — потом век оправдываться перед хорошо организованными борцами за своих меньших братьев. По судам затаскают, по миру пустят, сообщая морду набьют. За каждым микробом — команда поддержки, оснащенная по последнему слову техники и на связи с дорогими юристами. Не нам с ними тягаться — при наших доходах. Если я напишу, как не хочется жить под одним небом с тараканами и крысами, — про то не узнает никто, кроме, быть может, пары случайных прохожих; а проспонсировать очередной всепланетный марш экологического протеста или массированную агитацию в прессе всех форматов — всегда найдется кому. С чего бы это?

Воспитанный в буржуинстве обыватель подумает, что такая у нас в народе ответственность: дескать, совесть заела, и люди стремятся искупить биологическую (а то и геологическую) вину. Но тем, кто рос под знаменем марксизма, на ум первым делом приходит сакраментальная фраза: кому это выгодно? Не бывает так, чтобы деньги вкладывали, не

просчитав финансовых перспектив: филантропия не младенческая погрешка, а серьезный бизнес. И оказывается, что за каждой экологической кампанией стоят конкретные представители конкретного класса, сводящие друг с другом счеты из кармана одуроченных масс. Но не будем размениваться на мелочи: тут есть и ставки на высшей планке. Политические корни борьбы за биоразнообразие уходят в глубинную жажду самосохранения капитализма во всемирно-исторических масштабах. Действительно, как класс-паразит может убедить ежедневно обираемые им массы в необходимости и дальше терпеть этих тунядцев-кровопийц? Очень просто: 1) отождествить человека с животным, и 2) провозгласить самоценность всякого биологического вида, его необходимость для сохранения природного равновесия. Тогда верховенство капитала в глазах обывателя превращается в непреложный закон, и при минимальном материальном поощрении этот обыватель пойдет на баррикады за биоразнообразную власть буржуа. А если допустить, что какие-то виды в природе допустимо при необходимости искоренить, тогда, грешным делом, кто-то окажется и по другую сторону баррикад — и удовольствие от богатой жизни окажется безнадежно испорченным.

Капитализм начал загнивать еще до рождения — но гнить он может долго, пока те, кто посильнее, согласны терпеть вонь и принуждать к терпению остальных. Суть буржуазной системы промывки мозгов сводится к одному: в будущем все будет как сейчас, мы достигли вершин — и дальше ничего нет. Давайте сами себя законсервируем — ради всеобщего (то есть буржуйского) благоденствия. В ту же струю — обожествление всяческих вредителей. Точно так же, как церковь объявляет все человеческие бедствия божьим промыслом, ибо наущения сатаны — тот же глас господень, и любая чертовщина санкционирована сверху, из райских куш.

Пробуждающийся разум такая позиция не устраивает. Мы знаем, что в природе менялось все и всегда, и будет меняться и впредь. Если бы динозавры заботились о биоразнообразии, нынешние его поборники не появились бы вовсе. Речь не о том, чтобы остановить процесс, — а о том, чтобы разумно его направлять, чтобы менялось все не само по себе, а ради великой цели. Сохранение капиталистической звериности, войны всех со всеми, — на величие никак не тянет.

Разум на то и нужен, чтобы устроить природу разумно: оставить одно, убрать другое, создать нечто вообще невиданное. Всякое

человеческое действие меняет мир — но и бездействие его меняет тоже, а последствия стихий куда печальнее. Кричат со всех трибун: одомашнивание животных вредит природе! Какой природе? Дикой? Так на то мы в мире и есть, чтобы дикости становилось все меньше. Творения рук человеческих (поскольку они разумны) прекраснее и разнообразнее любых достижений мертвой и одушевленной материи. Шиповник может быть очень мил — но с розой не сравнится никогда. Лелеять неразумность — зачем? Даже там, где мы оставляем что-то первозданное, оно никогда не живет само по себе, и прелесть свою приобретает только после надлежащей огранки и в достойной оправе.

Никто не спорит: люди умеют не только создавать шедевры, но и производить в большом количестве всякий хлам, способный со временем испоганить даже то, что само по себе далеко не идеал. Но это явно не от большого ума. Первые шаги по пути разумности даются нелегко — случается и дров наломать. А разнообразные господа предлагают нам сохранить именно эту природную недоразвитость, прекратить движение к собственно человеческим деяниям. Но для того мы и переделываем мир, чтобы разумное стало объективно возможно. Никакими благими намерениями, никаким аутотренингом себя не облагородить; для этого требуется поместить себя в такие обстоятельства, при которых благородство само поперет — хочешь или нет.

Всякая стройка — это выбор: что-то нам еще послужит — а чему-то время уйти. Требование сохранить все — вредная утопия. Известны миллионы видов бактерий и насекомых — никогда не поверю что все они нам жизненно необходимы. Возможно, если убрать с пляжа именно эту песчинку — не будет мне настоящего загара. Но, в конце концов, и без настоящего можно обойтись, и вовсе без пляжа, и без меня. Будет что-нибудь другое — ничем не хуже. Важно, чтобы оно было не само по себе, а для людей. Но нет! — эоактивисты трубят о ценности всякой жизни (имея в виду прежде всего свою), об опасности нарушения вселенского равновесия... Даже название эффектное придумали: «эффект бабочки».

Действительно, хорошо продумать хорошее дело — не всем по мозгам. Тем более, когда мозги забиты пропагандистским мусором. Но, например, в градостроительстве уже дошли до идеи комплексной застройки — научимся мы в конце концов перестраивать биоценозы,

чтобы ни на какую ногу не хромать. Касается это и перестройки человеческого общества. А тут как на ладони партийная подоплека: если что и менять, то лишь путем отдельных реформ, заплатки ставить, а не сносить капитализм с лица земли. Но реформизм как раз и означает неполное, несбалансированное изменение — и мы сами себя загоняем в очередной кризис.

От сохранения биоразнообразия плавно перетекают к восстановлению утраченных видов. Вовсю работает генетическое лобби, деньги из народа выкачивают. Пусть, дескать, гуляют по тундре стада мамонтов, а в тропическом сафари самое то поглазеть на тираннозавра. То, что тундра уже не та, и тропики изрядно поистрепались, — никого не смущает. Главное — живности побольше. А как она кормиться будем — дело десятое. По минимальном размышлении приходим к выводу: ради милых зверушек придется потесниться кому-то из людей. Разумеется, не тем, кто скачет с плакатами по столичным улицам; и не тем, кто их на то науськивает. Но в дикой жизни прирост одного поголовья означает сокращение другого. И придется мелким людишками, вроде меня, отбиваться от наседающих вредителей. И уж тут — извините-подвиньтесь! — пощады не будет никому. Если кто-то посягает на мой дом и мой хлеб — я обязан это безобразие пресечь и восстановить порядок. Иначе какое же я разумное существо? Если микроб вредит моему здоровью — тем хуже для микроба. Если комар пьет мою кровь — я его убью. Если паутиный клещ ест мои розы — я его буду уничтожать, что бы там ни говорили защитники его насекомых прав. В галактике М31 (она же NGC224) более триллиона звезд — и на фото очень красиво. Но не думаю, что кого-то порадует это изобилие, когда Туманность Андромеды сблизится с нашей Галактикой настолько, что жесткое излучение из зоны ударной волны убьет все живое.

Всему свое место. А кому-то места быть не должно. Возможно, в сугубо научных целях, полезно иметь какие-то образцы. Но лучше — понимать принципы и уметь при необходимости изготовить под заказ. Вместо живого динозавра — вполне сгодится его научный портрет. Вместо реального капитализма — его теория и история. Кунсткамеры постепенно отойдут в прошлое — им на смену придет виртуальная реальность. А жить мы будем по правилам сегодняшнего дня.

Быть может, животноводство — вещь вредная. Вопрос: кому и для чего? В мире миллионы голодных — им что, есть не полагается? Или это

нужно для разнообразия — чтобы буржуй на фоне нищеты порадовался своей исключительности? Не нравится вам, как влияет сельское хозяйство на биосферу и климат, — прекрасно, дайте полноценную замену, чтобы каждый на Земле (буквально: *каждый!*) мог иметь все, что ему требуется для полноценной жизни и творческого труда. До этого — не имеете права ни к чему призывать. Тем более назад в пещеры.

Пока мы привязаны к биологическим телам, мы всегда кого-то едим и с кем-то не ладим. Даже если вместо животноводства, столь расточительного и морально подпорченного, мы научимся промышленно выращивать культуры тканей — это все равно живые клетки, хотя и чуть более гуманного происхождения. В конце концов, синтезировать еду можно из неорганики — но от своего метаболизма нам не избавиться все равно. Возможно, доживем и до того, чтобы вообще отказаться от пищи, — переделаем себя в роботов. Тогда и комары нам будут не страшны. Но общество останется — и придется на каких-то принципах его устраивать.

Пропаганда биоразнообразия — часть обширной программы по оболваниванию масс. Капитал не может без рынка, а рынка не бывает без покупателя. Но возжелать что-то купить можно лишь если вещь полезная — или хотя бы не такая вредная, как все остальные. Вот про эту сторону капиталист, затеявая производство, меньше всего думает. Ему важно не удовлетворить общественную потребность, а пожить за счет других. И всем это ясно с самого начала — но выбора у народа нет, и приходится брать то, что дают. Какие-то вещи можно приспособить к делу — приобретая другие, мы лишь обозначаем нашу принадлежность определенной культуре, чтобы там, наверху, не заподозрили в излишнем вольнодумстве и не покарали, не отобрали и те крохи, что пока еще нам переппадают. Но в конце концов тоска заедает — и уже ничего не хочется. Что делать капиталисту? Не пускать же деньги на благие дела! Берут старую дрянь, что-нибудь перекрашивают (часто все сводится к замене упаковки), — и подсовывают якобы наивному обывателю под видом последнего слова индустрии. И чем больше торгаши этим занимаются, тем больше на прилавках разного дерьма, и это называется изобилием, и этим нам гордо тычут в морду лакействующие пропагандисты капитализма. А покупатель ходит часами вдоль заваленных мусором прилавков, вздыхает, — и выбирает что-нибудь не очень страшное, хотя бы на вид. И закрадывается кое-кому в голову крамольная мысль: а зачем оно

вообще надо? Почему бы не отказаться от перепроизводства ненужных вещей и не оставить в производстве только нужные? Задавить бунт в самом зародыше помогает та же проверенная технология: 1) объявить рынок естественным состоянием человека (которого — см. выше — мы уже отождествили с животным), и 2) провозгласить важность рыночного разнообразия для поддержания глобального экономического равновесия — чтобы те, кто живет хорошо, не стали — не приведи бог! — жить хуже. Другая сторона эконоразнообразия — относительность хорошесть. Да, жизнь у нас дурная, — но есть и те, кому значительно хуже! Так что молчите в тряпочку, и не вздумайте бунтовать. А не можете молчать — вот вам свобода трепа, дозволенное разнообразие мнений — в котором все выходящее за рамки просто утонет, как в поганом болоте. В мире всеобщего абстрактного разнообразия властвует дикая стихия, а в дикой природе одни убивают других, чтобы в конце концов быть убитыми кем-то еще. Так было, так есть, так будет всегда. И вот эту дикую истину призваны вбить в народные головы господа-экологи; они такие же, как мы, — и могли бы заняться менее разрушительной деятельностью, — но раз уж пошли в наемники, приходится воевать с разумом — прежде всего своим.

Марш недоразвитых

Разумные деяния по видимости бывают очень похожи на поведение неразумного существа; однако причина и движущие силы действия у разума совершенно другие. Дикари — часть природы, они распространяются в ней, как плесень, как вирус, как диффузия одного вещества в другом. Разум противостоит природе как субъект, и его задача — не распространение, а освоение. Не захватить, не присвоить, не потребить — а сделать общедоступным, возвысить, окультурить. Создать новые опоры для роста и развития. Творчество, а не разрушение.

Дикарь хватается все, что подвернется, тащит к себе в логово, меняется добычей с другими дикарями... Когда приходится переселяться — место уже разграблено и обезображено, и надо что-то восстанавливать, что-то строить заново. Искать утраченное. Так дикари разбазаривают и себя.

Разум действует иначе: начинается освоение нового мира с внедрения в него, постепенного переноса разумного мироустройства на

необжитые места. Это не разграбление — а наоборот, благоустройство, экспорт разумности. Важно отдать, а не отнять. Да, это труднее, медленнее, затратнее. Зато потом свободнее жить в мире без барьеров и границ.

Когда европейцы рванули на другие континенты, ими руководила дикая жажда наживы: быстрее добраться, застолбить, не дать другим. Ни о каких культурных задачах и речи не было. Познание — как побочный продукт, орудие грабежа. Не отдавать и не развивать — а наоборот, сохранять отсталость и препятствовать развитию. Перетекание европейской культуры в новый мир — как вынужденная мера, ради укрепления господства и роста темпов грабежа. Потом грабительские войны между грабителями, войны пустивших корни хищников с метрополиями, борьба окультуренной верхушки коренного населения за право участвовать в разграблении своей земли, войны бывших колоний между собой за передел еще не разграбленного, претензии к Европе и требование компенсаций.

То же самое сейчас воспроизводится в космических масштабах. Есть научные проекты, есть мысли о подготовке новых мест обитания... Но главное — побыстрее дорваться, захватить, выстроить систему обороны от других захватчиков. Разведать и начать выкачивать ресурсы — и не дать воспользоваться ими другим. Изучение природы — вынужденная мера, накладные расходы. Под это деньги выделяют лишь с прицелом на будущие барыши. Или отстегивают от щедрот, от сытости, пока не успели переварить уже награбленное.

В качестве животрепещущего примера — проекты высадки человека на Марс. Предложений полно. Однако нацелены все на высадку, создание баз. Разумно? Не очень. Для полноценного освоения Марса надо обеспечить надежную и регулярную связь с Землей, выстроить логистические цепочки в обе стороны, отладить механизмы взаимодействия. Логичнее было бы начать с создания постоянных орбитальных станций — своего рода посредников между поверхностью планеты и Землей. Вывести на орбиту Марса сеть спутников связи — чтобы в любой точке планеты работал марсианский интернет, и можно было дозвониться до Земли через орбитальные ретрансляторы. Для этой же цели можно развернуть сеть автоматических станций на поверхности. Орбитальные станции будут принимать грузы с Земли, накапливать запасы на складах и доставлять их в нужные места на поверхности по мере необходимости. Точно так же, материалы с поверхности можно

накапливать на орбите и отправлять на Землю очередным транспортником. Присутствие живого человека для всего этого, в общем-то, не обязательно. Он приходит туда, где уже есть развитая инфраструктура и решает задачи собственно человеческого благоустройства. Опять же, по логике, незачем сразу высаживаться на поверхность: начинать можно с орбитального присутствия, с возможностью регулярной смены вахт. Для доставки людей следует использовать иные, более скоростные маршруты. Необходимые для этого ресурсы накапливаются в ходе регулярных полетов автоматических челноков по более выгодным энергетически (но долгим) траекториям. Это не так триумфально, как с первой же попытки наследить на поверхности, — но спокойнее, основательнее, надежнее и безопаснее. Автоматические станции и грузовые беспилотники — дешевле обитаемых кораблей, и поставить движение на поток намного проще. Но земным хищникам важнее нагло присвоить кусок поверхности — закрепить за собой монополию. Если при этом придется пожертвовать сотней, тысячей или миллионом старателей-самоубийц — кому какое дело? Они работают за деньги и добровольно положат себя на алтарь чужих барышей. Потом опять войны, и снова самоопределение колоний, и взорванный быт метрополий... Но кто будет думать о таких перспективах, когда морковка висит прямо перед носом?

Разум, конечно, во Вселенной неистребим. Но иногда очень хочется, чтобы как можно раньше исчезло недоразумное зверье, более чем достаточно испоганившее Землю — и замахнувшееся на благополучие других планет. Шансов на выход из тупика у них, похоже, нет.

Мысли о тростнике

Люди склонны приписывать себе чужие заслуги. С одной стороны, это говорит о том, что они, как минимум, стремятся к высоким свершениям — а значит, понемногу становятся разумными существами, а не чурками в поленнице. Однако неумение отличить плоды труда от ставшего само по себе — знак животности, недоразвитости сознания. Первобытные люди вполне могли поверить, что магический обряд способен вызвать дождь, погасить пожар или убить вирус. По мере взросления, человечество стало образованнее — однако до сих пор кое-кто предпочитает дополнить технологии молитвой, подковой, мистикой

ветра и воды, или «энергетической пирамидой». Обычное оправдание: а что? почему бы не поколдовать? хуже от этого не станет... На деле оказывается, что станет. Ибо каждое отступление от разума — шаг в дикость. Уступки собственной глупости, уход от ответственности, — все это на деле оборачивается новым рабством, тиранией господ и попов. Простая логика: ага, вы верите в чудеса? — ну и надейтесь на чудо! — а мы тем временем отберем у вас все остальное, оно вам ни к чему... Заметим, что главные проповедники примата веры — люди не бедные; они предпочитают не верить, а иметь, и передовыми технологиями отнюдь не пренебрегают.

Первобытный анимизм повсюду. Даже высокая наука от него не свободна. Общепринятая интерпретация квантовой механики, например, допускает вмешательство наблюдателя в физические процессы — и те вынуждены следовать прихотям человеческой воли, а не природным законам. Ссылки на то, что наблюдателем можем быть и элементарная частица, появляются иногда мелким шрифтом в конце — и выглядят неубедительной отмазкой. Потому что многие принимают эту белиберду всерьез — и начинают плодить квантовых демонов, обменивающихся информацией меж собой и с макроскопическими обозревателями. В конце концов все настолько запутывается, что любые бредни господствующего класса легко навязать рабам как веление природы.

Человек действительно кое-что может. Но далеко не все. И чем больше он строит из себя дядю, тем призрачнее его способность влиять на окружающее. Некоторые наши агропромышленные результаты способны нарушить природное равновесие в местных масштабах — но не больше, чем бесконтрольно размножающиеся популяции животных. Не говоря уже о геологических явлениях. Деяния человека — в основном вокруг его повседневных потребностей, локально. Даже когда для этого требуется выход в ближний космос. Когда господа-экологи судачат про глобальные последствия хищнического капитализма, они либо демонстрируют свою глупость, не умея отличить котлеты от мух, — либо за деньги выполняют грязную работу по промыванию массовых мозгов в целях закрепления власти тех самых капиталистических хищников. Животное всю свою жизнь занято одним и тем же: сначала жрет, потом гадит (и, в частности, размножается). Люди пока недалеко от этого ушли. По большей части, это сугубо природный процесс, который природа регулирует, а в планетарных масштабах не особенно обращает на него внимания. Если

уж очень криво пойдет — возникает компенсационный механизм, и маятник качает в другую сторону.

Ничего серьезного сделать с природой земное человечество пока не в состоянии. Практически ничего в глобальном обмене веществ от человека не зависит. Скорее, наоборот: движется наперекор намерениям, сводит на нет все усилия. Ослепленный воображаемыми успехами, человек не замечает надвигающихся перемен — или представляет их себе совсем не так, как следовало бы. Казалось бы, на каждом шагу подтверждения нашей немощи: любой природный процесс становится для нас катастрофой. Природе все равно: ветер подул, дождь пошел... Человеческие постройки при этом разносит в щепки, смывает наводнениями. Мы не можем противостоять банальному снегопаду или весеннему паводку — не говоря уже о цунами, извержениях вулканов и землетрясениях. Движение литосферных плит идет своим порядком, земная ось смещается в соответствии с законами физики, магнитные полюса бродят своими тропами... Из-за этого меняется характер атмосферных и океанических течений, распределение времен года, ареалы распространения животных и растений... О существовании человека планета даже не догадывается. Ну, сроят какую-то гору, — другая вырастет. Повернут реки — что-нибудь еще потечет. Замусорят моря пластиком — появится микроб, которому это в самую радость, — а на него надстроится десяток биоценозов. Мелко все это, и примитивно. Никак не тянет на всемогущество разума. Мы просто перекаладываем природные вещества из одного места в другое, меняем материальные формы того же самого, — в русле чисто животного метаболизма. Животные веками консервировали солнечный свет в своих останках — люди съели консервы и занимаются консервированием сами, совершенно не задумываясь, что усиленное накопление следовало бы дополнить технологиями радиационного сброса. Потому что энергия не исчезает — а лишь переходит из одной формы в другую, и где-нибудь обязательно вырвется наружу очередной (по человеческим меркам) катастрофой. Тем не менее, при нынешних масштабах деятельности, навредить мы можем только самим себе. Щекотать самолюбие способностью повлиять на климат планеты пока преждевременно.

В прошлом Земля знала много драматических перемен — вплоть до почти полного вымирания. По существу ничего не изменилось. Место одних заняли другие. Сначала стало очень жарко — потом ледники дошли почти до экватора. Ландшафты меняются сами собой, климат все

время плавает от одной крайности к другой. Солнце бегаёт вокруг центра Галактики — и от этого зависят процессы внутри солнечной системы, включая земные дела. Кстати, когда там было самое крупное оледенение? Как раз один галактический год назад... Не пора ли повторить?

Человеческая способность восприятия воспитана бытовыми масштабами. Мы только-только начали учиться воспринимать изменения другого уровня. Даже на геологической шкале — почти ноль. Не говоря уже о большом космосе. Но всюду упиваемся минимальнейшими возможностями, забывая присматриваться к природе, прислушиваться к ее дыханию. Вполне возможно, что грядущие перемены уже здесь, они раскрывают себя тысячами признаков, — но продажная экология в корне пресекает любые попытки трезво посмотреть на вещи. Быстрые изменения возможны только там, где они хорошо подготовлены. Например, в танцах мы заранее готовим каждое движение — но это не бросается в глаза, и со стороны видят только завершение, итог. Точно так же природные преобразования могут произойти сравнительно быстро — но предшествует этому длительное накопление мелких условий, деталей, из которых потом складывается мозаика.

Современное человечество — заросли тростника. Уцелеют ли затерянные в нем мыслящие былинки?

Еще шажочек

После крушения советской системы, окончательно разделившись с остатками российского влияния в планетарных масштабах, Соединенные Штаты и их «союзники» (точнее, вассалы) конечно же захотят избавиться, наконец, от абсурдного наследия «коммунистической» оппозиции — Организации Объединенных Наций. Эта шарашка давно уже потеряла всякую эффективность — пустое разбазаривание средств. Не говоря уже о том, как ее устаревшие правила мешают настоящим Хозяевам Мира установить новый, всецело демократический мировой порядок, призванный служить интересам всех, а не горстке мнимых победителей второй мировой.

На самом деле, нет ничего проще! Достаточно абсолютному большинству бывших членов ООН (конечно, с США в первых рядах) объявить о прекращении мандата ООН на международной арене — и

создать новую организацию. Назовем ее, например, Мировое Сообщество (по-английски: WC) — учитывая, что термин уже давно используется для ссылок на коллективную волю достаточно «вменяемых» государств.

Разумеется, устроить МС следует в строжайших демократических стандартах, исходя из принципа разделения властей:

1) *Общественная Палата* — международный орган, единая трибуна для всевозможных (достаточно влиятельных) общественных движений, вроде зеленых, ЛГБТ, — а также бывших специализированных ответвлений ООН (вроде ЮНЕСКО или ЮНИСЕФ), некоторых полудиких групп (типа ВОЗ), и бизнес-интеграторов (ВТО, МВФ). Предельный демократизм позволит этой организации легко принимать новых членов — и столь же легко исключать тех, кто уже выдохся. Основная задача ОП — выработка всеобщих законодательных инициатив, всепланетных правил цивилизованного поведения (включая права человека, вопросы экологии и т. д.).

2) *Содружество Наций* — рассматривает инициативы ОП, а также представления отдельных стран-участников, и легализует их в качестве элементов международного права. Все решения принимаются абсолютным большинством голосов, и голоса всех равны, без преференций «особо выдающимся» нациям, или дополнительных полномочий «большому брату». Если кто-то из стран-участниц заинтересован в определенном решении — ему придется убедить всех остальных, а не просто отдавать приказания — или накладывать вето.

3) *Исполнительный Комитет* — наблюдает за исполнением выработанных сообществом норм международного права; каждая страна-участница должна обеспечить на своей территории главенство всеобщего законодательства над любыми местными установлениями. Помимо это основной обязанности, ИК координирует совместные действия стран-участниц, управляет имуществом и активами МС. ИК состоит из представителей стран, избранных на очередной двух- или трехлетний период, с соблюдением норм регулярной ротации.

4) *Международный Трибунал* — принимает иски от остальных органов МС и устанавливает необходимость совместных действий против нарушителей международного порядка. Работают в МТ профессионалы из стран, выбранных на текущий период, с должной ротацией.

Теперь, когда новая организация построена и готова приступить, США официально уведомляют бывшие органы ООН о прекращении их прерогатив на территории США; то же самое проделывают все остальные страны-участницы МС на своих землях. Финансы, недвижимость и прочее имущество ООН передается в управление новой организации — за исключением собственности государств, предпочитающих оставаться вне мирового сообщества; такие страны-изгои должны будут прекратить любую связанную с ООН деятельность на территориях стран МС.

Достаточно все это проделать — и вскоре мир с радостью подчинится новым демократическим принципам, а роль США неизмеримо возрастет — ибо кто еще обладает таким внушительным опытом продвижения демократии на мировой арене, и столь предан своей миссии вести человечество к предстоящему счастью и процветанию!

Медленно — но верно

Обращая взор к межгалактическим пустотам, прежде всего замечаем, как они пусты: ничтожные концентрации вещества, почти неощутимые поля... Взаимодействия редки и слабы, и только мысленно упаковывая это в привычный масштаб, мы можем с удивлением обнаружить все те же, знакомые по плотным средам явления: твердотельную динамику, плазму, течения и волны, фронты и фазовые переходы...

С другой стороны, и у себя дома далеко не все мы делаем наскоком: иной раз приходится долго и упорно давить в одно место, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и покатилося заметными темпами — и возникает обратная проблема: вовремя остановиться.

Выход человечества в космос позволил приобщиться к логике космических событий: огромные скорости — и минимальные подталкивания для крупномасштабной перестройки движения, за невообразимо долгие времена. Человек космический — обладает ангельским терпением, не позволяет себе торопиться — и не требует мгновенных реакций. Крупные проекты — дело нескольких поколений, и никто не ждет немедленного результата (хотя на самом деле быстрая отдача все же есть — ибо опыт направляет развитие технологий).

Объективно, есть связь между целостностью систем и темпами движения: чрезмерное воздействие извне, вызывающее быстрые изменения (большие ускорения), — разрушительно для системы, катастрофично. На всех уровнях мира. Атом в слабых полях остается все тем же, и можно исследовать структуру электронных оболочек; сильные поля превращают атом в ион, и там уже другая физика; еще сильнее — может развалиться и ядро. Корабль разбивается о скалы — но молоток геолога запросто откалывает куски скал, а само происхождение гор связано с сокрушительным столкновением литосферных плит. Экономика и общество переживают географические процессы и политические сложности — но им не уйти от кризисов и революций. Точно так же, человек остается собой в повседневности быта — и биография у него одна, от рождения до конца дней; но иногда — обрыв, прозрение, возрождение или перерождение... — и это уже другой человек, и отсчет надо начинать заново.

И опять другая сторона: сколь угодно слабое взаимодействие (даже простое присутствие чего-то рядом) порождает вполне обнаружимые квантовые эффекты; горы выветриваются или разрушаются по сеточками микротрещин; накопление бытовых мелочей приводит к разительному изменению образа жизни; взросление и возмужание вводят человека в круг людей — дряхление и духовное оскудение выталкивают из движения культуры.

По-философски — говорят о диалектике количества и качества, о переходе одного в другое. Еще одна общая идея — иерархичность. То, что на одном уровне иерархии кажется устойчивостью или медленной эволюцией, — на другом оказывается буйством катастроф. Внутреннее для системы в целом — внешнее для частей. Статистика — и виртуальность.

Но вернемся в космос. Вероятно, какие-то движения можно подтолкнуть — ценой безумных энергетических затрат и отказа от чрезмерной жесткости тел. Однако игра по-крупному — и ставки велики. Освоение больших расстояний предполагает обозримость больших времен, превращение их в деления нашей шкалы. Придется жить космическими эпохами, а не фазами планет или звезд.

Это противоположно основному направлению земных технологий — миниатюризации. Процессоры для компьютеров становятся все меньше — и уже уперлись в квантовую границу, через которую мы хотим переступить ради качественного скачка в деле повышения

скорости обработки данных — чтобы потом упереться и в скоростной барьер.

Компьютер космических масштабов работает неспешно и основательно: ему нет дела до вымирающей органики — лишний миллиард лет его не напрягает. Важен масштаб результата. Ничто, в принципе, не мешает организовать космические тела таким образом, чтобы в итоге это напоминало самый обычный (или квантовый) компьютер. Вероятно, человечество когда-нибудь этим займется. Когда человек перестанет отождествлять себя с представителем одного биологического вида — и построит себе новое тело, своего рода космический организм. Почему бы и нет?

Однако может оказаться, что и этот уровень лишь часть чего-то более масштабного, рядом с чем метagalактики покажутся песчинками, а люди научатся создавать и пересоздавать миры.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Иерархический подход.....	5
Вводные замечания.....	7
Структуры, системы, иерархии.....	9
Фундаментальные принципы.....	12
Обращение иерархий.....	15
Иерархия в движении.....	20
Иерархическое развитие.....	23
Рефлексия: пути развития.....	29
Артур Шопенгауэр о свободе воли.....	41
Бахтин и Рабле.....	71
Метафизическая этика г-на Д.....	153
О религии.....	313
Разнообразиие разума.....	435
Разные заметки.....	455
Тьма просвещения.....	457
О спорте.....	459
Мудрость во времени.....	462
Не зря!.....	463
О рекламе.....	464
Гордыня и собственность.....	465
О множественности миров.....	466
Авторство и плагиат.....	467
Иерархичность транспорта.....	470
Любовь, во веки веков.....	471
Журналистика.....	472
О званиях.....	474
Пути Сети и теория формаций.....	475
Исторические вершины.....	477
Борьба за существование.....	478
Восток и Запад.....	479

Ссылки и идентификация.....	480
Пустые споры.....	480
Праздники.....	481
Клонирование.....	482
Люди — и люди.....	484
Мышеловки интернета.....	486
Медицинская парадигма.....	487
Культура и антикультура.....	488
Юбилеи.....	490
Уничижительный почет.....	492
Стили ссылок.....	492
Благотворительность без намордника.....	494
Интеллектуальная собственность и пираты.....	496
Трудоголики и человеческая универсальность.....	499
Кризис среднего возраста?.....	500
Конец мифа о ГУЛАГе.....	502
Черный вторник: кризис цивилизации.....	505
Интернет как поле классовой борьбы.....	507
Вооружен — значит, виновен.....	510
Страсть к переменам как социальная болезнь.....	511
О преступлениях.....	514
Нераспространение господства.....	515
Логика для идиотов.....	517
Скотский разум?.....	519
Пропать надежды.....	521
Сильные трусы и злые великаны.....	523
Пирамиды лжи.....	525
Дебильная демократия.....	528
Легкие и тяжелые.....	530
Злой спам, добрый спам.....	531
Революции? Перевороты!.....	533
Книга по требованию: проблеск нового экономического строя.....	536
Разум не для людей.....	538
Триада плавания.....	539
В поисках вырождения.....	539
Мобильный дурман.....	541
Варвары и гармония.....	541
О культурной относительности.....	543

Грани допинга	545
На здоровье.....	546
Клип-культура.....	549
Страх и реклама	551
Экомаразм	553
Погода и самочувствие.....	556
Тела свободы.....	558
Бессовестное разнообразие.....	562
Марш недоразвитых	567
Мысли о тростнике.....	569
Еще шажочек.....	572
Медленно — но верно	574

ВОСПРОИЗВОДСТВО РАЗУМА ✦ V ∞